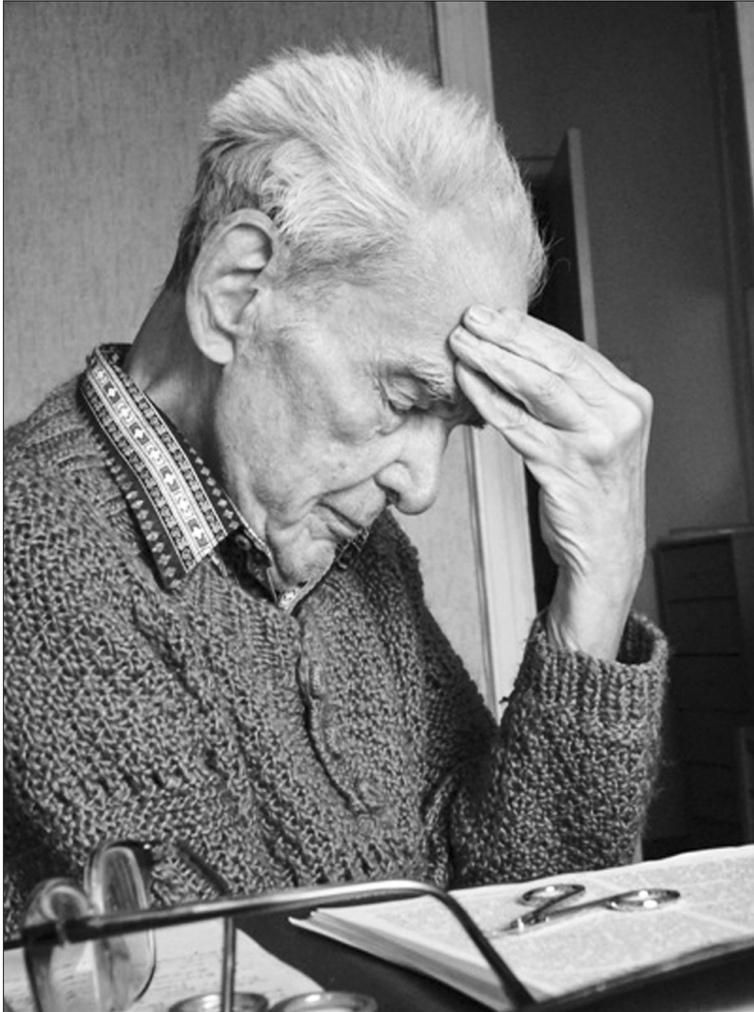


По благословению
Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Александра
Митрополита Рижского и всея Латвии

Издание посвящено 100-летию
Бориса Федоровича Инфантьева

Книга издана при финансовой поддержке
Латвийской Православной Церкви,
Балтийской Международной Академии



Борис Фёдорович Инфантьев (1921–2009)

Борис Инфантьев

**РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ**

**Krievu-latviešu
literārie sakari**

Старообрядческое общество Латвии
Рига 2022

Инфантьев Б. Ф. Русско-латышские литературные связи. – Рига: Старообрядческое общество Латвии, 2022, – 632 с. Приложения.

Научный консультант профессор *И. С. Кошкин*

Издание книги «Русско-латышские литературные связи» посвящено столетию выдающегося латвийского ученого Бориса Федоровича Инфантьева – хабилитированного доктора педагогики, доктора филологии, профессора Балтийской международной академии, преподавателя Рижской Духовной семинарии, кавалера Ордена Трех Звезд – высшей правительственной награды Латвийской республики. Книга «Русско-латышские литературные связи» – итог его размышлений о взаимодействии культур русского и латышского народов.

Первая книга Б. Ф. Инфантьева о взаимовлиянии культур – «Балтославянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор» – издана при жизни автора в 2007 году и в настоящее время является библиографической редкостью. В книге в сопоставительном аспекте рассматриваются мифологические представления балтов и славян, фольклорные жанры и образы.

Монографию «Русско-латышские литературные связи» подготовил автор в середине 2000-х годов. В ней анализируются разнообразные связи почти ста русских писателей с Латвией, с латышской культурой и литературой.

Обобщенные в книгах многолетние исследования Б. Ф. Инфантьева в области латышско-русских культурных и литературных связей созвучны с современными актуальными проблемами компаративистики и регионалистики.

Руководитель проекта *Ил. И. Иванов*

ISBN 978–9934–611–04–9

© Борис Инфантьев, 2022

© Старообрядческое об-во Латвии, 2022

© Обложка Татьяна Зубарева, 2022

Отпечатано в типографии «ZELTA RUDENS PRINTING» Tel. +371 25879121

Infantjevs Boriss. Krievu-latviešu literārie sakari. – Rīga, Latvijas Veticībnieku biedrība. 2022. – 632. lpp.

Zinātniskais konsultants *prof. J. Koškins*

Grāmatas «Krievu-latviešu literārie sakari» izdošana veltīta izcilā Latvijas zinātnieka, habilitētā pedagoģijas doktora, filoloģijas doktora, Latvijas Republikas augstākā valdības apgalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Borisa Infantjeva simtgadei.

Grāmata ir pētījumu un pārdomu kopsavilkums par krievu un latviešu tautas kultūru mijiedarbību.

B. Infantjeva pirmā grāmata par kultūru savstarpējo ietekmi «Baltu-slāvu kultūras sakari. Leksika, mitoloģija, folklorā» izdota autora dzīves laikā 2007. gadā un pašlaik ir bibliogrāfisks retums. Tajā salīdzinošā aspektā pētīti baltu un slāvu mitoloģiskie priekšstati, folkloras žanri un tēli.

Monogrāfiju «Krievu-latviešu literārie sakari» izdošanai sagatavoja pats autors 21. gadsimta pirmās desmitgades vidū, tajā analizēti vairāk nekā simts visdažādākie krievu rakstnieku sakari ar Latviju, ar latviešu kultūru un literatūru.

Grāmatā apkoptie B. Infantjeva daudzu gadu pētījumi latviešu un krievu kultūras un literatūras sakaru druvā sasaucas ar mūsdienu aktuālajām komparatīvās un reģionpētniecības problēmām.

Projekta vadītājs *Il. Ivanovs*

ISBN 978-9934-611-04-09

© Boris Infantjevs, 2022

© Latvijas Veticībnieku biedrība, 2022

© Tatjana Zubareva, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ (КОНТАКТЫ)..... 10

Древнейшие времена (XIII–XVII века)..... 13

XVIII век

Михайло Ломоносов (1711–1765)..... 19

Гавриил Державин (1743–1816)..... 21

Денис Фонвизин (1744–1792)..... 21

Андрей Болотов (1738–1833)..... 23

Борис Пестель (1751–1811)..... 25

Вольнодумцы конца XVIII века в

Динамюндской крепости..... 27

Александр Радищев (1749–1802)..... 28

XIX век. Первое десятилетие

Николай Карамзин (1766–1826)..... 31

Иван Крылов (1769–1844)..... 34

Василий Жуковский (1783–1852)..... 39

Константин Батюшков (1787–1855)..... 41

Сергей Шутов (1806–?)..... 44

Иван Лажечников (1792–1869)..... 48

Декабристы

Павел Пестель (1793–1826)..... 51

Федор Глинка (1786–1880)..... 51

Александр Бестужев (Марлинский) (1797–1837)..... 52

Вильгельм Кюхельбекер (1797–1846)..... 56

Фаддей Булгарин (1789–1859)..... 58

Александр Пушкин (1799–1837)..... 60

Николай Языков (1803–1846)..... 67

Михаил Лермонтов (1814–1841)..... 72

Николай Гоголь (1809–1852)..... 75

Нестор Кукольник (1809–1868)..... 78

Александр Герцен (1812–1876)..... 79

**РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА**

Александр Островский (1823–1886).....	82
Юрий Самарин (1819–1876).....	87

Роль и участие российских научных обществ в организации целенаправленного и широкого собрания и публикации латышского народного творчества.....	90
--	-----------

**Политический резонанс фольклористической и
общественной деятельности Кришьяниса Валдемарса**

Кришьянис Валдемарс и Михаил Катков.....	104
Кришьянис Валдемарс и Иван Аксаков.....	117
Иван Гончаров (1812–1891).....	122
Федор Гютчев (1803–1873).....	128
Иван Тургенев (1818–1883).....	134
Дмитрий Писарев (1840–1868), Марко Вовчок (Мария Маркович) (1833–1907).....	140
Николай Чернышевский (1828–1889).....	142
Николай Некрасов (1821–1878).....	147
Николай Лесков (1831–1895).....	152
Петр Боборыкин (1836–1921).....	158
Глеб Успенский (1841–1902).....	165
Иван Желтов (1822–1900).....	168
Е. Козин (?).....	169

НА ГРАНИ СТОЛЕТИЙ (XIX И XX)

Федор Достоевский (1821–1881).....	172
Лев Толстой (1828–1910).....	179
Антон Чехов (1860–1904).....	194
Евгений Салиас (1841–1908).....	203
Константин Случевский (1837–1904).....	205
Константин Головин (1843–1913).....	209
Всеволод Чешихин (1865–1934).....	209
Василий Чешихин-Ветринский (1857–1923).....	212

На пути к Революции 1905 года

Михаил Пришвин (1873–1954).....	214
Сергей Сергеев-Ценский (1875–1958).....	218
Леонид Андреев (1871–1918).....	223
Максим Горький (1868–1936).....	230

Серебряный век

Валерий Брюсов (1873–1924).....	241
Александр Блок (1880–1921).....	252
Константин Бальмонт (1867–1942).....	273
Алексей Ремизов (1877–1957).....	277
Анна Ахматова (1889–1966).....	285
Федор Сологуб (1863–1927).....	291
Михаил Кузмин (1875–1936).....	293

Первая Мировая

Александр Куприн (1870–1938).....	301
Николай Гумилев (1886–1921).....	305
Леонид Соболев (1898–1971).....	316
Дмитрий Фурманов (1891–1926).....	319
Николай Тихонов (1896–1979).....	324

«Туземные» русские классики

Юрий Тынянов (1894–1943).....	332
Леонид Добычин (1894–1936).....	341
Александр Кононов (1895–1957).....	347
Василий Ян (1875–1954).....	354
Осип Мандельштам (1881–1938).....	361

В независимой Латвии

Илья Эренбург (1891–1967).....	374
Игорь Северянин (1887–1941).....	379
Георгий Иванов (1894–1958).....	387
Аркадий Аверченко (1881–1925).....	393
Андрей Белый (1880–1934).....	398
Владислав Ходасевич (1886–1939).....	407
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945).....	413
Владимир Маяковский (1893–1930).....	428

Аполлон Коринфский (1868–1937).....	448
Николай Островский (1904–1936).....	454
Борис Зайцев (1881–1970).....	458
Андрей Седых (1902–1994).....	464
Михаил Шолохов (1905–1984).....	472
Иван Шмелев ((1873–1950).....	474
Иван Бунин (1870–1953).....	478
Александр Фадеев (1901–1956).....	482

Великая Отечественная

Алексей Сурков (1899–1983).....	484
Яков Хелемский (1914–2003).....	487
Илья Сельвинский (1899–1968).....	497
Александр Твардовский (1910–1971).....	501

НАША СОВРЕМЕННОСТЬ

Самуил Маршак (1887–1964).....	503
Николай Асеев (1889–1963).....	506
Константин Паустовский (1892–1968).....	512
Евгений Евтушенко (1933–2017).....	526
Андрей Вознесенский (1933–2010).....	538
Роберт Рождественский (1932–1994).....	549
Сергей Баруздин (1926–1991).....	553
Александр Солженицын (1918–2008).....	556
Евгения Гинзбург (1906–1977).....	566
Варлам Шаламов (1907–1982).....	576
Анатолий Приставкин (1931–2008).....	582
Давид Самойлов (1920–1990).....	601

Послесловие	604
--------------------------	-----

Personu rādītājs	606
-------------------------------	-----

<i>Mihailovs Ivans Jānis. Literatūru dialoga krustpunkts</i>	613
--	-----

Дополнение к библиографии Бориса Инфантјева / Borisa Infantjeva bibliografijas papildinājums	617
---	-----

От издателя	632
--------------------------	-----

РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ (КОНТАКТЫ)

Литературные контакты – высшая форма культурных связей народов, высшая потому, что она базируется как на разуме, так и на чувствах человека, объединяет рациональную и эмоциональную сферы человеческой деятельности.

В процессе исторического развития сформировалось несколько направлений изучения литературных связей.

Первое, наиболее раннее и распространенное в Латвии, названное нами «академическим», было то направление, которое в свое время в Институте литературы и искусства Академии наук Латвии (Вера Вавере, Георгий Мацков) и в Университете (Светлана Иванова, Инна Бергмане, Людмила Спроге) принесло довольно осязаемые результаты.

В программу этого направления входили:

- история познания русского писателя в Латвии;
- история переводов его произведений, публикации, рецензии, отклики, цитирование и реминисценции из произведений русских писателей в творчестве латышских (со ссылками и без них), и как наивысшая форма восприятия творчества русских писателей в Латвии – фольклоризация их произведений на русском и латышском языках;
- постановка пьес русских драматургов в театрах Латвии;
- иллюстрации к произведениям русских писателей, выполненные латышскими художниками, скульпторами;
- музыкальное оформление спектаклей, песни на лирические стихи, оперы и симфонии;
- более отдаленные реминисценции творчества русских писателей, формирующие новые литературные циклы и направления, «влияния» различных уровней, интенсивности, размаха.

Второе направление – «краеведческое» – сложилось в школах, в Исследовательском институте педагогики Латвии (Михаил Николаев, Борис Инфантьев, Александр Лосев, Александр Гусев, Сергей

Журавлев; к этой плеяде можно причислить и ту огромную массу учителей, которые в середине 80-х годов XX века организовали общереспубликанскую олимпиаду по изучению темы «Русские писатели в Латвии»).

Исследовательская деятельность в этом направлении начинается с констатации о пребывании русского писателя в Латвии или с установления контактов русских писателей с латышскими, латышской культурой вне пределов Латвии.

Это огромная разносторонняя деятельность, требующая:

1. а) детального изучения творчества писателя, его дневников, писем, документов (в том числе и в архивах, и в частных коллекциях);
б) опубликованных и рукописных исследований об изучаемом писателе и его творчестве;
в) опросов, анкетирования людей, знавших изучаемого писателя, ознакомления с теми местностями в Латвии, в которых писатель побывал, общения с теми людьми, которые «сохранили тепло рукопожатий исследуемого писателя» (А. Лосев), а также с исследователями творчества писателя.
2. Анализа художественных произведений, в которых отображена Латвия, ее природа, люди, история. Сопоставления пейзажей и характеристик (например, исторических персонажей) с теми пейзажами и характеристиками, которые даны в творчестве других русских и латышских писателей (например, Даугава, Балтийское море, Петр Великий и Екатерина II). Выявления сходных элементов и различий, попыток объяснить эти сходства и различия.

Разумеется, не остаются втуне и задачи академического сопоставления, но они занимают как бы второе место в связи с их сравнительной элементарностью по сравнению со сложностью краеведческих заданий.

Из краеведческого направления выкристаллизовалось направление, которое условно названо «этнопсихологическим», так как главная его задача – показать этнопсихологические особенности русских писателей и их персонажей по сравнению с латышскими (в самых различных социальных, профессиональных, региональных областях).

Иными словами это направление исследует те этнопсихологические причины, которые заставили (или побудили) латышских писателей изображать русских именно так, а не иначе. С другой стороны, исследование этого направления предполагает также изучение этнопсихологических особенностей русских, которые самим русским не бросились в глаза, пока латышские их собратья по перу им на это не указали.

Особо следует отметить исследовательскую деятельность таких крупных ученых как Роман Тименчик, Юрий Абызов, Борис Равдин, которые объединили в своих изысканиях все вышеназванные направления и тем самым внесли ценный вклад в развитие латышско-русских взаимоотношений.

Как изучать все эти направления? Наиболее целесообразный вариант – не изолированно, а в диалектическом единстве, распределив материал по эпохам, а в более близкие к нам времена и по более мелким периодам времени, связанным с такими событиями как великие войны XX века, изменения политических структур в Латвии. Таким образом наметились следующие периоды для комплексного рассмотрения краеведческих, академических и этнопсихологических аспектов изучения русско-латышских литературных связей.

Следует заметить, что русско-латышские литературные связи мы понимаем расширенно, распространяя их и на контакты писателей России с людьми Латвии, понимая под ними не только латышей, но и латвийских русских, немцев, евреев, а также русских и русскоязычных писателей Латвии.

Опубликованные материалы воспроизводятся (разумеется, в сокращении без сносок, отсылая читателей к соответствующим публикациям).

ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА (XIII–XVII ВЕКА)

Если мы, минуя данные русского и латышского фольклора, о котором уже была речь (Латыгорка в русских былинах, русский в латышских народных песнях и преданиях, например, об Иване Грозном, Петре Великом)¹, то первые контакты в письменных источниках восходят уже к началу письменности на земле латышей – первым хроникам, начиная с Генриха Латвийского. В этой связи необходимо напомнить, что в сферу нашего исследования входит все, что относится к территории теперешней Латвии – написанное не только русскими и латышами на русском и латышском языках.

В хронике Генриха Латвийского² находим как групповые, так и индивидуальные характеристики русских – врагов рыцарей. К первой группе относится замечание о том, что русские не умеют стрелять из лука (X, 12), не умеют пользоваться камнеметательными снарядами (X, 12). Крестоносцы знают, что на святках (эпифаниях), когда русские обычно заняты застольем и пиршествами – в это время удобно на них напасть (XX, 5). К индивидуальным характеристикам русских следует отнести высказывание летописца о шурине епископа Альберта, Аутинском фогте Владимире Мстиславиче, который, якобы, «собирает плоды там, где не сеет», иными словами занимается лихоимством (XVIII, 4; XVIII, 2). Но особенно убийственные характеристики заслуживает Кокнесский, затем Юрьевский (Дерптский) князь Вячко, который в хронике Генриха всюду трактуется как русский. Ему вменяются в вину и «предательские замыслы»: тайное убийство безоружных немцев, пришедших в Кокнесе укреплять замок (XI, 8, 9). Но особенно

¹ Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. – Рига: ВЕДИ, 2007. – 312 с.

² Indriķa Hronika. – R.: Zinātne, 1993. В русском переводе эта и другие местные хроники – в четырехтомном сборнике материалов по истории Прибалтики Е. Чехихина.

возмущен хроникер действиями Вячко в Юрьеве. «С самого начала он был корнем всех бед в Ливонии; обманом он убил верных ему немцев» (XXVIII, 3), затем соединившись с эстонскими язычниками, долгое время был против христианизации эстонцев.

Характеристики русских в последующих немецко-латинских хрониках (Вартберга, Руссова и других), затем современников о событиях Ливонской и обеих Северных войн (в частности, характеристика Ивана Грозного и Петра Великого) – обильный и благодарный материал для последующих исследований.

Предметом изучения восточнославяно-балтийских литературных (культурных) контактов можно в какой-то степени рассматривать и Евангелие 1270 года, называемое Юргиевым Евангелием.

Уже русские, белорусские, латышские ученые М. Срезневский, В. Ластоўски, Т. Зейфертс обратили внимание на послесловие хранящегося в Московской национальной библиотеке Евангелия 1270 года¹.

«В лето 6778 кончены были книги сия (...) писах же книги сия аз Гюрги сын попов глаголемого лотыша с городища...»

Упомянутые выше исследователи не сомневались в том, что речь идет о латыше как этнониме. Эту мысль оспорили языковед Янис Эндзелинс и палеограф Болеслав Брежго, указав на то, что этноним «латыш» впервые встречается лишь в XVII веке в документе, опубликованном Б. Ларином в изданном им «Парижском словаре москвитов 1586 года», изданном в Риге в 1948 году. Я. Эндзелинс толковал слово „лотыш» как «болтун», Брежго – как «торговец с лотка».

Вопреки этим толкованиям, известный латышский портретист Либертс в серию написанных им портретов латышских «королей» (древнелатышских вождей) включил также портрет Юргиса, а Янис Ниедре написал повесть «И ветры гуляют на пепелище» (Рига: «Лиесма». – 1984).

Языковед В. Цытович при окончании Латвийского государственного университета избрала темой своей дипломной работы –

¹ Источники в статье Б. Инфантьева «Православие в латышском фольклоре. Православие в Латвии». – Рига: Благовест, 1997, – С. 51.

изучение языка этого Евангелия (с целью отыскать летицизмы и тем самым доказать латышское происхождение переписчика). Таковые найдены не были, и Алексей Апинис в своей публикации «Latviešu grāmatniecība» (Рига: «Лиесма», 1977. – С. 25. – 1-е примечание) призывал прекратить непродуктивную дискуссию, поскольку ясно, что «лотыш» здесь не этноним.

Нам же кажется утверждение А. Апиниса не таким уж убедительным с психологической точки зрения. Кто из переписчиков Евангелия – занятие весьма уважаемое, – станет хвалиться, что отец его – поп – то ли болтун, то ли торговец-офеня. В то время похвалиться тем, что отец твой – латыш, а ты переписываешь (возможно, с большим трудом!) Евангелие, большая честь, и стоит о том специально поговорить.

О древнейших русско-латышских контактах свидетельствуют «Борисовы камни» в верховьях Двины с надписью «Помоги, Господи, рабу твоему Борису», относящейся, вероятно, к походу на Семигалию Бориса Всеславовича и его брата за данью в 1106 году. Поход, как известно, окончился трагично для русичей.¹

Надпись Ницгалского камня: «Да не убоится душа моя врага моего, яко твердою рукою десницы отрасли Святополка Александр» – относится либо к Святополку Владимировичу Окаянному, либо к Святополку Изяславовичу, современнику Мономаха, которые, следовательно, ходили «на полюдь» в землю латышей.²

Соответственно нашей концепции о русско-латвийских литературных связях в эту категорию можно зачислить и литературное творчество князя Андрея Курбского и Ивана Грозного. Письма, созданные на территории Латвии – в городе Валмиера, кстати, также относятся к сфере русско-латышских исторических и культурных связей: город по одному из преданий основан Аутинским, впоследствии Идумейским фогтом, тем же князем Владимиром Мстиславичем, заслужившим такую отрицательную характеристику в хронике Генриха Латвийского.

¹ Тейван Л. «По Латгалии». Москва: Искусство, 1988. – С. 35.

² Jansons V., Trukšāns L. Augšdaugavas dabas pieminekļi. II Daugavas Raksti. No Kokovicās līdz Daugavpilij. R: Kult. Fonds, 1996. – lpp. 229.

Как известно, именно в Валмиерском замке, на пути из Юрьева-Дерпта в Литву Андрей Курбский написал свое знаменитое письмо Ивану Грозному, которое прочно вошло в историю русской литературы. В той же Валмиере, на сей раз – «нашей вотчине городе Володимирце», Иван Грозный пишет ответное письмо Курбскому.

И пусть оба эти произведения своим содержанием никоим образом к ливонским делам не относятся, одно то обстоятельство, что эти памятники созданы на территории Латвии, дают нам возможность также зачислить их в сферу наших интересов и исследований.

Но вот оказывается, что Иван Грозный сочинял и стихи, при этом возможно, на немецком языке. Об этом рассказывает Н. Карамзин¹. Эти стихи, по свидетельству немецких современников, развешивались во всех лютеранских церквях Ливонии, занятых русскими войсками.

Приводим далее эти стихотворения:

Iwan Basiliuitz bin ich genant,
Und hab unter mir so manches Landt,
Wie dann mein Titel ausweisend ist,
Und bin dazu ein gutter Christ;
S. Pauli Lehr halt ich fein:
Habe die gelernt von den Aeltern mein.
Wie dann mein Muscowiter alle
Die mir dienen mit reichem Schalle.

* * *

Ich bin der Reutern Herre gutt,
Geborn von meiner Eltern Blutt;
Kein Tittel ich durch gab und Bitt
Von niemand erkauffet nit,
Keinem Herren ich gehorsam zwar,
Darin Christo Gottes Sohn ist War.

¹ Карамзин Н. «История государства российского»: Кн. III, Т. IX, примечание № 476–477, – Москва: Книга, 1989. – С. 108–109.

По цитированному Карамзиным свидетельству немецких современников: стихи эти написаны («сделаны») самим царем («von ihm selbst gemacht»).

К древним литературным связям можно отнести и переписку Ордина-Нащокина (из Кокнесе) с Алексеем Михайловичем (до 1680 года), главная мысль которой – «Беречь крестьян – помощь большая на шведов»; «Если лифляндские мужики, видя милость, обдержатся, то и к солдатскому учению будут охотны».

XVII век и начало XVIII века характеризуются завершением Второй Северной войны и присоединением Лифляндии к России, а также подчинением русскому политическому влиянию Курляндии.

Три имени в этой связи академик В. Топоров называет в своей статье «О русской культуре в Латвии» (Даугава, 1989, – № 10. – С. 105–109). Упоминает прежде всего имя Йоганесса Рейтера (1635 – 1695 или 1697), который конец своей жизни провел в Дудергофе, в местности, которая находится в современном Петербурге, в качестве пастора шведского прихода. В свое время по выводам многочисленных исследователей он в Гамбурге мог пробудить интерес к латышскому языку у своего коллеги Эрнста Глюка (1652–1705).

Уже в Алуксненский период своей деятельности (перед пленением при взятии Алуксне войсками Петра) Глюк при помощи монахов печерского монастыря переводит на русский (не церковнославянский!) язык Библию и составляет учебник русского языка, якобы, для староверов соседних Латгалии и Курляндии. Перевод Библии погиб в Алуксненском пожаре, а учебник русского языка в Москве восстановлен в количестве 32 страниц, переписанных рукою ученика Глюка – Паузе, составителя учебников русского языка. Копия глюковского манускрипта по сей день хранится нерасшифрованной в рукописном фонде библиотеки Академии Наук в Петербурге¹.

В Москве Глюка ожидали новые поприща, новые возможности. Наивно полагая, что оказываемое Петром уважение и почтение

¹ О Глюке, кроме статьи В. Топорова, см. Инфантьев Б. «Русский язык в Остзейском крае до XVIII века». // Acta Baltico-Slavica XIII. Варшава: 1980. – С. 102–104.

к лютеранству может привести к обращению россиян в эту веру, он начал переводить на русский язык лютеранские песнопения – хоралы. Мечты и надежды Глюка не осуществились, но переводы хоралов сыграли исключительно важную роль в русской литературе: не более не менее как положили основу формирования современной системы русского стихосложения: Ломоносов, Сумароков, Третьяковский оказались всего лишь продолжателями начатого Глюком дела.

Роль Глюка как основоположника современной системы русского стихосложения доказал и обосновал уже в 20-е годы академик В. Н. Перетц¹. В сталинское время его концепция строжайше замалчивалась и только в 1989 году В. Топоров восстановил истину.

Третий ливонский немчин, приобретший популярность в России XVII–XVIII веков – Готхард Фридрих Стендер-Старший (1714–1796), известный энциклопедист и разносторонний писатель, автор и духовной и светской литературы. Такие его труды как «*Clavis Magiae*» (1794) («Волшебный ключ»), были весьма популярны среди московских масонов. Известной популярностью в их среде пользовались также «*Wahrheit der Religion wider den Unglauben der Freigeister und Naturalisten*» (1772) («Правда религии против неверия свободомыслящих и натуралистов»), «*Gedanken eines Geistes ueber den nahen Zustand jenseit des Grabes*» («Мысли духа о близком загробном состоянии»).

В своей латышской энциклопедии «*Augstā gudrības grāmata no pasaules un dabas*» («Книга высокой мудрости о мире и природе» – первая естественнонаучная энциклопедия) (1774, 1796) Стендер рассказал о России. Удивление вызывают изложенные в книге краткие сведения по истории России. Читатель может составить себе представление о том, что Иоанн III является чуть ли не наследником Чингисхана и Тамерлана. В то же время ни слова не говорится о Ливонской и совсем недавней Северной войнах.

¹ Перетц В. Очерки по истории поэтического стиха эпохи Петра Великого. // Журнал Министерства просвещения, 1905.

XVIII ВЕК

Михайло Ломоносов (1711–1765)

Имя Ломоносова хорошо известно латышским читателям, а такими были не только усадьбовладельцы, но и батраки почитывали латышские газеты и журналы – уже с 1874 года, когда неутомимый просветитель своих соплеменников Фрицис Трейланд-Верноземцев-Бривземниекс (Fricis Brīvzemnieks-Treiland) опубликовал довольно основательное исследование о простолюдине, ставшем великим ученым, собеседником царей. Бривземниекс примером Ломоносова хотел воодушевить латышскую молодежь, показать, что и из простого звания человек может стать великим. Повесть о Ломоносове была по заслугам оценена Кришьянисом Валдемарсом («Latviešu centīgiem jaunekļiem». «Baltijas Vēstnesis», 1875, 21. maijs¹); Аусеклисом (Auseklis) (Darbs, [Труд] – 1878, – №№ 30–31), Матеру Юрисом (Māteru Juris) («Skola, Baltijas zemkopja pielikums» [«Школа, Приложение к Балтийскому землепашеству»], 1875, № 3).

О Ломоносове в связи с 200-летием и 150-летием кончины латышские газеты и журналы пишут: «Dzimtenes Vēstnesis» («Вестник Родины», 1910, № 299), «Jauna Raža» («Новый урожай» XII, 1910, с. 205), «Latvija» («Латвия», 1910, № 297), «Jūrnieks» («Моряк», 1911, № 2), «Domas» («Мысли» [Думы], 1912, I, с. 103), «Ņevas viļņi» («Волны Невы», 1915, № 25).

Поэт Петерис Саркис (Pēteris Sarķis) (1862–1895) целых 10 строф посвятил мальчику в рыбацкой лодке отца, стремящемуся познать бытие всего сущего. Стихотворение завершается путешествием в Москву к источникам познания.

¹ «Молодым амбициозным латышам». «Балтийский вестник», 1875, 21 мая.

...Kā lauskas sper un grūti dvašo
Dažs labs caur ziemas aukstumū,
Bet jauneklis iet ātri soļo
Un panākt steidzas vezumu...
– Ak jauneklis, kurp gribi doties?
– Uz Maskavu ar cerībām
Es projām gribu steigties
Man prāts, lūk, slāpst pēc zinībām!¹

Делаются попытки переводить стихи Ломоносова. Так в 1881 году Теодорс Весминыш² в газете «Baltijas Zemkopis»³ публикует перевод из Ломоносова «Zemes griešanās» (Вращение земли).

В наши дни о Ломоносове статьи публиковали А. Апинис (Aleksejs Arīnis) и Я. Страдиньш (Jānis Stradiņš).

Лия Бридака (Lija Bīdaka) посвящает ученому и поэту стихотворение «Talanta ceļš» («Karogs», [«Путь таланта». «Знамя»] – 1966, № 12).

Что знал о латышах Ломоносов?

В недавно найденной библиотеке Ломоносова в латышской грамматике Г. Адольфия рядом с латышским словом Perkons написано рукою Ломоносова русское соответствие этого мифологического существа «Перунь».

Известна также заметка Ломоносова о «Курляндском языке», который он считал сродни русскому, а также интерес к жемчугу, вылавливаемому латышами в Гауе (об этом: Уханова И. «М. В. Ломоносов и лифляндский жемчуг. Из истории естествознания и техники Прибалтики», Рига, – IV – 1972, – с. 5–9).

Переводя на русский язык с немецкого книгу Соломона Губерта «Stratagema Oeconomicum oder Akker-Studien» (о сельском хозяйстве в Прибалтике), Ломоносов познакомился также с латышскими сельскохозяйственными приметам и обычаями (об этом:

¹ «Tēvija», – 1885 – № 2, с. 11–12

² Teodors Vēsminš. «Наша гордость. Ригас Балсс.» – 1961, – 18 ноября.

³ «Балтийский землепашец». «Lomonosovs un Latvija». Rīga: Zinātne. – 1987. – С. 17.

М. Stepermanis «Vidzemes ekonomija», – Сīņa, [М. Степерманис. «Экономика Видземе». – «Циня»] – 1961, – № 273).

Литературную деятельность Ломоносова подробно анализирует А. Григулис в статье «Mihails Lomonosovs un viņa nozīme latviešu sabiedriskās domas attīstības vēsturē» – Literatūra un Māksla, – 1961, – № 46.¹

Гавриил Державин (1743–1816)

Контакты Г. Державина с нашим краем ограничиваются всего лишь его служебной деятельностью: как выяснил Б. Брежго², она заключалась в следующем.

В 1783 году Казимир Плятер забрал землю четырех деревень, в 1786 году повысил повинности. В 1789 крестьяне подают прошение министру финансов и царю.

Дело рассматривалось в Белорусском главном суде 1 мая 1803 года (Белорусская казенная палата).

После этого приезжал Державин, признал жалобы крестьян правильными. Однако после его отъезда все пошло по-старому. Тогда в 1815 году крестьяне стали отказываться выполнять требования помещика.

Денис Фонвизин (1744–1792)³

Как явствует из самой фамилии писателя, происхождения он немецкого, однако считал себя русским-прерусским и при каждом удобном случае стремился это подчеркнуть.

Известному журналисту и драматургу неоднократно приходилось пересекать западную границу Российской империи в нередких его поездках за границу. Это было в 1762, 1777 годах, но

¹ «Михаил Ломоносов и его значение в истории развития латышской общественной мысли». – Литература и искусство, – 1961. – № 46.

² Брежго Б. «Очерки по истории крестьянских движений в Латгалии (1577–1907)» Рига: АН Латвии, – 1956, – с. 27; Иешин Н. Державин в Латгалии. Падомью Даугава (Илукстенский р-н), – 1961, – 4 апреля.

³ Источники см. в книге Б. Инфантьева, А. Лосева, «Латвия в судьбе и творчестве русских писателей». – Рига: Звайгзне, – 1994, 1996, – с. 68–79 (далее: «Латвия»).

особенно примечательной оказалась поездка 1784 года через Эстляндию и Лифляндию, охваченные величайшим из всех бывших восстаний эстов и латышей.

В письме матери Фонвизин писал:

«Мужики крепко воинским командам сопротивляются и, желая свергнуть рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежели возвратиться в рабство (...) Мужики против господ, а господа против них так остервенились, что ищут гибели друг друга».

Видя насилие остзейских баронов, Фонвизину вспоминаются и его переживания, когда управляющий писательским поместьем барон Ф. Медем так же бессердечно вопреки воле самого хозяина притеснял его крепостных. Не помогли ни обращения в суд, ни жалобы в письмах своему бывшему шефу графу Петру Панину.

В письмах Фонвизина много не менее примечательных бытовых зарисовок: и его обед в Рижском замке, где разиня-прислуга залила его новый комзалец жирным соусом, и сверчки на почтовой станции в Бартау, и замок в Добеле, который напоминает Турден Трунк в «Кандиде» Вольтера, и рижская гостиница Миллера на большой Кипсальской улице, где дочери хозяина развлекали своего постояльца игрой на фортепьяно.

По глубокому убеждению Александра Лосева, «домашние неурядицы», невозможность обуздать зазнавшегося остзейца привели к величайшей трагедии в жизни Фонвизина – его болезни – параличу.

И не случайно главный положительный герой «Недоросля» Стародум не перестает ратовать за освобождение крепостных от произвола злых помещиков.

Непрестанно усиливающийся недуг приводит драматурга снова в Прибалтику, сначала на Балдонский курорт, славившийся уже тогда по всей России, затем в Елгаву (истор. Митава, столица Курляндско-Семигальского герцогства, вошедшего в состав России в 1795 году).

С первого же дня лечения (19 июля 1789 года) писатель ведет подробный дневник, примечательный во многих отношениях.

Во-первых, это бесценный материал к биографии писателя. Затем, не менее ценный материал для истории медицины в Прибалтике. По совету врачей Фонвизину ежедневно надлежало погружаться в теплые еще внутренности только что убитого быка. Новый мясник вместо быка убил борова, во внутренности которого драматург погружаться не пожелал.

В дневниках отмечены все визитеры, посещавшие русского писателя в Балдоне и Елгаве, все его визиты к окрестным помещикам, таможенные досмотры у Олайне, где проходила российско-курляндская государственная граница. Отмечены здесь и культурные начинания, свидетелем которых становился русский писатель в Латвии.

В Балдоне местные крестьяне под игру на гусях слуги Фонвизина расплясались, а в Митаве местный литератор Биркель читал драматургу свой немецкий перевод его комедии (неизвестно только, которой). Встречаются и зарисовки социального характера – избивание крестьян, косивших сено на чужой земле, и сочувственное отношение писателя к пострадавшим.

Андрей Болотов (1738–1833)¹

Андрей Тимофеевич Болотов – ученый, селекционер, врачеватель, живописец, архитектор, экономист, историк, блестящий стилист-писатель. Для своих потомков описал он свою жизнь; это описание в 4-х томах было издано в 1870–1873 годах, в сокращении было переиздано в 1986–1988.

Письмо 8-е «В Курляндии» рассказывает о пребывании автора воспоминаний в Бауске, в мызе Пац. Письмо 9-е повествует об учении у господина Нетельгорста в 16 верстах от местечка на самой польской границе. «Он имел изрядный у себя дом и подле него прекрасный регулярный сад, украшенный множеством статуй». Учитель Чаах научил Болотова «держат в руках кисть».

О своем деде Болотов в 3-м письме рассказывает: «Умер в 1719 году в Риге. Детей дед отдавал в немецкую школу.»

¹ Источники в книге С. Журавлева «Русские писатели в Риге, Митаве, Динабурге и других городах Остезейского края», – Рига: – «Улей», – 1990, – с. 121–126 (далее: «Русские писатели»).

Отцом своим автор записок очень гордился, особенно выполненным им одним поручением, данным самим Петром Великим – «отвозом немецких жнецов в наши степные места».

Наряду с повествованием о сугубо семейных делах, в записях Болотова встречаются и эпизоды о слышанном и виденном, о трагических происшествиях, в том числе, происходящих и с местным латышским народом. Таково повествование о том, как работник Пацовского имения подобрал в зимнем лесу мальчика и его до бесчувствия пьяного дядьку-кучера. Испугавшись совы, их лошадь с одноколкой ушла далеко вперед. По вине того же дядьки мальчику довелось испытать страх при встрече с целой стаей волков. Спасло его то, что звери шли за волчицей, «ходились».

В других письмах, где повествуется о жизни автора воспоминаний в Риге и других местностях, складывается целая повесть о нашем крае в XVIII веке.

25-е письмо (1789) по времени событий совпадает с пребыванием в Остзейском крае Фонвизина и Карамзина, творчество которых знал и любил Болотов.

С. Журавлев высказывает предположение, что Болотов мог быть автором анонимного романа «Несчастный Никанор, или Приключение жизни российского дворянина Н.». Предположение это навеяно тем, что Болотов хорошо знал географию и быт Риги, нравы ливонских немцев, русской военной службы, литературный стиль. В те же годы Болотов пишет драму «Несчастные сироты» (1781), его воспоминания также называются «Жизнь и приключения...»

В основе романа, по мнению С. Журавлева, скорее всего лежит реальная жизненная ситуация, купец Гра..., его приемная дочь и офицер Н. были известны не только автору, но и остальным рижанам.

Высокую оценку болотовским запискам дал Д. Писарев (три рецензии в 1859 году), один из первых их читателей.

А. Гулыга в предисловии к изданию «Жизни и приключений Андрея Болотова» (1986) пишет: «Болотов – один из лучших прозаиков XVIII века. Смело настаивать: пора изучать его в школах.

Для начала хотя бы в высшей. Не сомневаюсь, скоро его имя войдет в учебник по истории литературы».

Борис Пестель (1751–1811)¹

Книга Б. В. Пестеля «Примечания о городе Риге» (Москва, университетская типография, 1798) – одно из первых общественно-хозяйственных отображений рижского быта, по стилю ближе к беллетристике.

Деревянные дома и тесные улицы, длинные фуры и роспуски; изрядное освещение улиц, «милой вид форштадта».

К достопримечательностям Риги автор относит надпись на колоколах одной из православных церквей: «Дай проникнуть в ухо твое и сердце».

«Лавки с товарами в городе под домами. В форштадте построены две большие деревянные связи лавок. В них торгуют российские купцы российскими товарами и частью иностранными. Сии купцы все говорят по-немецки и по-латышски, а иные так хорошо и чисто говорят на немецком языке, что только одежда и оттощенная борода препятствует почести их за немцев». (с. 6)

Рассказывается также о найденном в одном из домов замурованном знатном человеке, одетом в шелковое платье. Автор повествования видел у профессора Бротце «бант и лоскут его платья».

Б. Пестель весьма положительно оценивает социальные отношения в городе Риге: «Дворянство любимо мещанами за их с ними ласковое и неунизительное обращение». В то же время: «В Риге жить дорого. Дороговизну оной равняют с дороговизной Лондона».

Отмечается превышение ремесленниками их финансовых возможностей: «Все ремесленники, их жены и дети одеваются сверх своего состояния; имеют со вкусом меблированные дома и даже визитную комнату, едят и пьют сладко, содержат лошадей».

«Горнишные девушки ходят в чепчиках, а на улицах в флеровых завесах и сапогах; пьют кофе, получая от 20 до 24 рублей в год жалованья. Приезжий, не знающий сию служанок роскошь, повстречаясь с ними на улицах, принимает их за барынь или барышень. Женский пол вообще здесь прекрасен» (с. 12).

¹ Источники: «Русские писатели», с. 30–37.

Примечательно весьма оригинальное наблюдение русского бытописателя над особенностью местного немецкого языка: «на немецком языке говорят в Риге чище и лучше, чем в самой Германии». Столь же обоснованны и другие оценки местного быта: «С заезжими не знакомятся, а надобно ему знакомиться. Познакомившись, найдешь в Риге отменное, любовное и почтенное общество и можешь наслаждаться приятнейшим пребыванием. На столах рижских жителей нередко находить можно предметы всех четырех краев света. Из Африки Канское вино, из Америки сахар, из Азии астраханский виноград, из Англии портер и сыр, из Польши и Пруссии оленьё мясо».

Рижские жители «ласковы, добронравны, приятны и просвещенны».

Между культурными учреждениями отличается «общество под названием die Muse, то есть праздное или свободное время. Основатель оного покойный Действительный Тайный Советник, Сенатор и Кавалер Иван Федорович фон Фитингоф». В доме «ди Мусе» имелся бюст учредителя клуба; о программе же культурного общества в очерке сообщалось немного: за напитки и яблочный пирог платится особенно, «после 4 часов пополудни не разрешается курить табак, чтоб не обеспокоить табашным запахом прекрасного пола»; пять раз в неделю дает представление немецкий театр. По поводу музыкальной жизни Риги очевидец замечал, что музыкальное искусство здесь очень развито, «много виртуозов поют отменно», летом очагами его становятся загородные дома дворянства. Лучшая близ города прогулка – Ивная плотина. (Неподалеку находился и дом, в котором размещалось семейство Висльгорских, о которых далее).

Вспоминает Пестель и некоторые исторические связанные с Ригой события, присутствие Карла XII на Спилве во время известного сражения, отрешение Августа от польского престола и «выборы» в короли Станислава Лещинского.

Не забыт в описании и Иванов день 24 июня. «Церковь во все сие время отворена и через нее ходят к лавкам, ее окружающим, Ярмонка начинается и оканчивается со звоном».

«У крыльца Ратуши положены два камня – стыда или бесчестия. На сии камни ставятся проступившиеся против благочиния. На грудь привязывается им доска с надписью их преступления. В 1790 году в августе, в самое время биржи, стояла на одном камне женщина с доскою на груди, на которой написано было: содержательница развратного дому. Она стояла час и после выгнана из города и проведена за границу». (с. 27)

В описании Пестеля нашли место и Дом Черноголовых, и богатство городской ратуши, и императорский лицей, основанный в 1675 году Карлом XI, и церковные школы, сиротские дома.

Особенного внимания заслуживает библиотека с редкими изданиями XV века, а также типография Давида Гилхена, основанная в 1594 году.

Таким образом, «Примечания о городе Риге...» Б. Пестеля стали целой энциклопедией этого города.

Вольнодумцы конца XVIII века в Дюнамюндской крепости¹

Секунд-майор В. В. Пассек с 1793 года отбывает заключение в Дюнамюндской (Усть-Двинской) крепости за сочинение акrostиха, направленного против императрицы Екатерины II:

А рушителя покоя,
Изверга природных прав
Правда, став в лице героя,
Свергнет, власть его поправ.
(из ранних стихов Пассека)

Помогал Пассеку сочинять акrostих А. Плещеев; встречался с видным тогда литератором-стихотворцем П. Пнином (1773–1805), стихотворцем И. Инзовым.

Был отправлен в Дюнамюндскую крепость и будущий декабрист П. Каховский.

¹ Источники: «Русские писатели», с. 37–40.

Александр Радищев (1749–1802)¹

В юные годы Александру Радищеву судьба сулила познакомиться с Ригой. Город этот – первое зарубежье, хотя и частица Российской империи, произвёл на юного студента такое впечатление, что он неоднократно возвращается к нему и в своей художественной и научной публицистике.

В «Житии Ф. В. Ушакова» рассказывается такой «смешной эпизод» из очередной остановки студентов в Риге проездом в Лейпциг:

«В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. М. Ушаков согнул персты [перчатки, лежавшей на столе] образом кукиша, положив оную возможно прямо пред поющего нашего духовника. Растворив зажмуренные глаза свои [отец Павел] не мог воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним».

Рига снова возникает в знаменитом радищевском «Путешествии» в разделе «Городня»:

«Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества (...). В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца (...). Получив свободу, он в Риге же отпустил своего надзирателя».

Ригу вспоминает и отпущенный на все четыре стороны француз – «надзиратель»: «[Я] отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милостынею. В Риге счастье и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань».

Рига как ворота на родину в Россию волнует сердце и разум Радищева также в его письмах; так, своему бывшему соратнику он напоминает: «Вспомни о восторге нашем, когда узрели между, Россию от Курляндии отделяющую!».

Однако, знаменитое «Путешествие...» роднит Радищева с Латвией не только упоминанием Риги. Его неприятие крепостничества формировалось и закреплялось не только наблюдением над реальной действительностью – крепостничеством в России. В

¹ Источники: «Латвия», с. 80–84.

ненависти к рабству укрепляла его и найденная в библиотеке Радищева книга остзейского автора Г. И. Яннау [Heinrich Johann Jannau (1753–1821)] Jannau «История рабства и характер лифляндских и эстляндских крестьян».

Ненависть к крестьянскому рабству Радищев сохранил и после своего осуждения и ссылки. А. Лосев, который детально изучил всю корреспонденцию Радищева этого периода, указывает на постоянные эпитеты – «ябеда», «лгуны», на которые не скупился Радищев в своих письмах из Сибири, говоря об остзейских помещиках. В многочисленных публикациях Радищева А. Лосев открыл до того почти неизвестный в литературоведении памфлет Радищева «Памятник дактилохореическому витязю...», в котором резко высмеял сверхсложные однообразные тяжеловесные высказывания Тредьяковского. Нас этот памфлет интересует потому, что в нем излагается продолжение фонвизинского «Недоросля». Оказывается, злостных крепостников помиловали, поместья им вернули. Они же, чтобы и впредь не иметь неприятностей от властей, свои поместья в российской глубинке продали и обзавелись поместьями и крепостными в Копорье, благо на западе империи (очевидно, имелся ввиду остзейский край) помещик властен творить с крепостными все, что угодно, – все ему с рук сходится.

Много внимания исследователи влияния радищевского «Путешествия» на развитие антикрепостнических идей в Прибалтике размышляли над тем, какими путями в Латвию проник список «Путешествия», хранящийся ныне в Национальной библиотеке Латвии. По мнению С. Журавлева это были заключенные в Дюнамюндской крепости вольнодумцы. Большинство же исследователей, начиная с М. П. Николаева, который первым начал разрабатывать эту тему, был рижский друг и впоследствии сослуживец Радищева в Коммерц-коллегии Герман Даль (Hermann von Dahl) – начальник петербургской и рижской таможни. Работая в том учреждении, Радищев пишет и публикует ряд научных статей о рижской торговле. Вместе с Далем Радищев разрабатывает новое городское положение для города Риги, за что получает от государыни богатое вознаграждение.

В салоне Даля, единственном месте, в котором бывал Радищев по свидетельству современников, бывал и Гарлиб Меркель (Garlībs Helvīgs Merķelis). В этом факте многие видят совпадение многих мыслей в «Путешествии» Радищева и главном произведении Меркеля «Латыши».

Этой проблеме обстоятельное исследование посвятил уже названный М. Николаев, первый исследователь проблемы в наше время. Ранее на общие идеи указывал уже Янсонс-Браунс (Jānis Jansons-Brauns) (в 1917 году).

М. Николаев отмечает, что нет указаний на то, чтобы Меркель был знаком с «Путешествием», тем более поражает и общность суждений, и текстовые соответствия:

- и в изображении ужасного положения русского и, соответственно, латышского крепостного, полного бесправия;
- зреющей в крепостных мятежной энергии;
- тщетные надежды на «благие намерения» дворянства;
- необходимость полного уничтожения крепостного «права», предоставление крепостным всех подлинных прав свободного гражданина, в том числе и права на землю;
- необходимость в революционном решении проблем;
- признание освобождения народа обновлением нации.

Наблюдаются и различия.

У Радищева художественная манера преобладает над публицистической. У Меркеля – наоборот. Радищев – революционер, Меркель – просветитель.

Кстати сказать, сравнение Радищева и Меркеля на страницах «Рижского вестника» увидело свет уже в 1870 году (№ 114).

В 50-80 годы 20-века в Латвии о Радищеве опубликовано большое количество статей, среди авторов: историк Я. Зутис (Jānis Zutis), литературоведы М. Николаев, В. Ауструмс (Vilis Austrums), А. Даугавиетис (A. Daugavietis), А. Янсонс (Alberts Jansons), В. Ливземниекс (Viktors Līvzemnieks), Я. Ниедре (Jānis Niedre).

ХІХ ВЕК. ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТІЕ

Николай Карамзин (1766–1826)¹

М. Н. Розанов в монографии о Я. Ленце («Поэт периода «бурных стремлений» Яков Ленц» – Москва, 1901) аргументированно доказывал: становление юного Карамзина как поэта, мыслителя, историка, основоположника сентиментализма в России происходило под непосредственным влиянием ближайшего соседа по московскому месту жительства Якоба Михаэля Рейнгольда Ленца (1751–1792) – замечательного немецкого поэта, в прошлом – друга самого Гете.

Ленцу принадлежала идея знаменитого путешествия Карамзина в Европу. Немецкий поэт составил маршрут поездки, наметил, с кем его юному другу следовало бы познакомиться и побеседовать.

В Эстляндии ментором Карамзина стал старший брат Ленца – пастор, знаток эстонского и латышского языков, автор религиозных книг для крестьян. Он-то и сообщил автору «писем русского путешественника» об особенностях диалектов – эстляндского (что около Ревеля-Таллинна) и лифляндского (что около Тарту), воспроизведенных в «Письмах» Кармазина и вызвавших недоумение немецких переводчиков карамзиновского сочинения, понявших наименование «лифляндский» как «латышский».

Поездка Карамзина и претворение впечатлений в художественные эссе осуществлялись одновременно с пребыванием на Балдонском курорте и в Елгаве Фонвизина. Но какая разница в краеведческой интерпретации творения обоих писателей. У Фонвизина такая масса фактов, требующая дальнейших поисков, размышлений. У Карамзина преобладают его собственные размышления, тем паче излияния чувств. Поэтому Рига для него всего лишь крупный портовый город, Митава – резиденция герцога

¹ Источники: «Латвия», с. 85–124.

Курляндского, бытовые уклады эстляндцев и лифляндцев, как уже говорилось, вызывали некоторое недоумение современников.¹ Зато фраза: накануне Ливонской войны «Земледельцы трудились в поте лица, обременяемые налогами алчного корыстолюбия», по мнению А. Лосева являет собой подлинные гражданские, новиковские позиции.

«Письма русского путешественника» в свое время возвестили о рождении нового направления в русской литературе – сентиментализма. Но и в наше время они далеко еще не «история». Свидетель того – Айварс Калве² (Aivars Kalve), пригласивший своего читателя сесть в почтовую карету и отправиться вместе с Карамзиным в то самое путешествие, которое тот совершил 200 лет тому назад.

«История Государства Российского» на много десятилетий определила пути развития русского общества. Ею зачитывались все. Объективность в описаниях военных действий. Храбрость и самоотверженность в постоянных столкновениях присущи и русским, и ливонцам. Даже Великий князь литовский Витовт (а с литовцами новгородцы и псковичи состояли в непрекращающемся ни на минуту противостоянии – так же как с ливонцами), заслуживает от Карамзина восторженных дифирамбов. С другой стороны русский Иван Грозный показан во всей своей неприглядной жестокости без каких-либо прикрас и извинений.

Перед написанием самой истории предстояло собрать материалы, проверить их подлинность и достоверность, а в многочисленных случаях сомнений – попытаться найти дополнительные материалы. Помогало прежде всего блестящее знание немецкого языка – во всех его стилевых и грамматических особенностях, а также содружество с остзейскими друзьями и единомышленниками, с которыми он нашел много общего во время своей исторической поездки.

Особо тесное сотрудничество у Карамзина сложилось с остзейским историком и общественным деятелем В. Унгерн-Штербергом.

¹ Redelien A. «Karamsin's ausgewählte Reisebriefe. Zur Erinnerung an die vor 100 Jahre erfolgte».

² Kalve A. «Senā pasta ceļā vilina...» Literatūra un Māksla, – 1989, – № 31.

Совместными усилиями решили они скопировать Кенигсбергский рыцарский архив, хранивший уникальные документы как тевтонского, так и ливонского рыцарских орденов. Немецких баронов это мероприятие интересовало в чисто практических целях – чтобы доказать исторические права на свои титулы и земли. У Карамзина были чисто научные интересы.

Испрашивание русским историком, пользующимся уважением при дворе, у Александра I 20 тысяч для означенных целей завершилось ассигнованием одной тысячи. Пришлось первоначальные замыслы снять, факсимиле с документов заменить лишь копированием содержания. Однако и эта малость оказалась судьбоносной для истории Ливонии: Кенигсбергский архив сгорел, и бесценные документы оказались доступными историкам в копиях, изготовленных тщанием и частично средствами Карамзина.

Еще в 60-е годы XX века в Государственном историческом архиве Латвии хранились письма Карамзина, адресованные своему остзейскому другу – в фонде 4038, оп. 2, д. 204, 206.¹

Хотя уникальное произведение Карамзина и названо «Историей Государства Российского», многие страницы, и не только страницы, но и многочисленные сноски, примечания, почерпнуты из различных немецких источников, многие из которых современны тем событиям, о которых идет речь, и посвящены основательному освещению истории Прибалтики – древней Пруссии, Великого Литовского княжества и Ливонии. Подробно излагаются целые фрагменты из хроник Дусбурга, Грунава, Малецкого, Ласицкого, Стрыйковского, Генриха Латвийского, Вартберга, Руссова, Кельха, Арндта, соотнося информацию немецких источников с известиями, почерпнутыми из русских летописей.

Русский читатель времен Карамзина – а это были Пушкин и Бестужев-Марлинский, Греч и Булгарин, Петр Пестель и Петр Вяземский, Иван Крылов и Иван Лажечников – и многие, многие люди, оставившие мощный след в истории русской культуры, хорошо знали и рассказанную Дусбургом-Грунавом легенду об

¹ Енш Г. А. «Н. М. Карамзин и Н. П. Румянцев и археология Прибалтики начала XIX века». Исторический архив, – 1960, – № 6, – с. 177–182.

идеальном праотце Прибалтов – Видевуте, о первосвященнике Криве, о происхождении названия «латыш», о дани, которую вся Ливония платила князю Владимиру, об основании в 1030 году Юрьева, о печальном исходе похода братьев Всеславовичей в 1106 году на Семигалию, о крещении князем Рюриком Ростиславовичем в 1117 году в Лучине (Люцине) сына и построении церкви во имя святого Михаила, о прибытии в Икесколу Зеgeberгского миссионера Мейнгарта.

А в многочисленных примечаниях, почерпнутых из немецких же источников, находим хотя и на первый взгляд незначительные детали, которые при пристальном их изучении оказываются уникальными для решения все еще спорных вопросов древней истории Латвии.

Так, в томе II, главе IV, примечании 151 читаем: В летописи *Livland Chronik I*, 74–75 сказано, что владетель Ерсики Всеволод, испрашивая мир у епископа Альберта, называет его словом *patschka*, которое Карамзиным расшифровано как «батюшка», следовательно, Всеволод с Альбертом говорил по-русски. Это свидетельствует о двух возможных толкованиях: 1) то ли Всеволод был русским (восточным славянином); 2) то ли русский язык был языком дипломатии, языком международного общения. Вспомним, что грамоты русских князей и иерархов даже в Рим писались по церковно-славянски!

Иван Крылов (1769–1844)¹

Крылов открывает собою плеяду русских писателей (в том числе и классиков), для которых Рига, Остзейский край, впоследствии Латвия, становилась первым зарубежным государством, в котором удалось побывать. Это зарубежье многому учило, прививало новые знания, умения, навыки, превращало человека из ничего чуть ли не в гения. Так было и с Крыловым. Из третьестепенного петербургского драматурга и журналиста, к тому же непрестанно навлекающего на себя недовольство «великих мира сего», после «рижского» своего периода он превращается в великого баснопис-

¹ Источники: «Латвия», с. 125–140.

ца, прославившегося не только по всей Руси великой, но и далеко за пределами ее, в том числе и в земле латышей. Из всех русских писателей и поэтов первые латышские литераторы – немецкие пасторы, на латышский язык переводят именно Крылова: начиная с 1847 года в газете «Latviešu Avīzes» («Латышские газеты»): в № 11 – «Ēzelis un lakstīgala» («Осёл и соловей»), в № 33 – «Vilks un Pelēns» («Волк и мышенок»), «Vilku draudzība» («Волчья дружба»), в № 35 – «Milzis» («Великан и карлики») – все в переводе Юриса Барса (1808–1879) (Georgs Heinrichs Bārs).

Вторая особенность Крылова как личности, так и писателя – это лакомый кусок для исследователя-литературоведа: все в нем необычно, неизвестно, неточно, приблизительно.

Когда Крылов появился на улицах и площадях Риги?

2 октября 1801 года генерал-губернатор Остзейского края князь Сергей Голицын в рапорте сенату просит назначить секретарем «уволенного кабинета Его Императорского Величества Горной экспедиции провинциального секретаря Ивана Крылова», что сенатом и удовлетворено 11 октября. Однако во всех других источниках называется другая дата – 5 октября. Примечательно, что имя Ивана Крылова – теперь уже важного чиновника при генерал-губернаторе не удалось отыскать ни в одной из ежедневных публикаций в немецких газетах о всех прибывших и выбывших из Риги. В то время как о предшественнике Крылова – фон Нагеле на этот счет имеются точные указания.

Еще менее ясности в вопросе о том, когда Крылов покинул Ригу.

Известно только, что некий сведущий чиновник Сергеев сменил Крылова на посту секретаря генерал-губернатора никак не позднее середины мая 1802 года. Покинул ли Крылов к этому времени рижский замок, генерал-губернаторские апартаменты? Журналист Решаль предполагал, что будущий баснописец перебрался на частную квартиру по ул. Паулуччи (ныне Меркеля), ссылаясь на какие-то только ему одному известные источники.

О дальнейшей «рижской истории» Крылова литературоведы не располагают никакими данными. Предполагают, что все остальное время, примерно до 1803–1804 годов Крылов все еще в Риге,

но уже теперь разъезжает по различным ярмаркам, где занимается ... карточным шулерством. К картам он пристрастился в бытности своей секретарем князя Голицына – там будущему баснописцу приходилось всячески развлекать своего благодетеля, в том числе и карточной игрой.

Наконец в 1805 году Крылов снова в Петербурге, и начинается его новая жизнь – жизнь баснописца, прославившегося на весь мир.

Не менее неясными и противоречивыми являются сведения о служебной деятельности Крылова на посту секретаря генерал-губернатора.

Прежде всего следует отметить, что по долгу службы Крылов попал в Риге в весьма сложную ситуацию. Новому генерал-губернатору предстояло сломить непокорность и национально-сословную спесь остзейского баронства после его беспредельного господства во времена Павла и графа Палена, фактического правителя России. Позицию нового генерал-губернаторства красноречиво характеризует бывший председатель рижского магистрата А. Бульмеринг: «Добросердечный генерал Голицын с самого начала своего правления краем являлся предубежденным против магистрата. Князь сам, а чаще его канцелярия (то есть Крылов!) вмешивались в дела магистрата и не скупилась на гневные слова».

По долгу службы Крылову приходилось сопровождать князя в его поездках по краю, бороздить балтийское море, ездить на острова.

Оценка служебной деятельности секретаря генерал-губернатора и правителя канцелярии более чем противоречива.

Старинный знакомец Крылова, его сослуживец и первый биограф баснописца М. Лобанов вспоминает: «Сочинитель в Риге наиболее занимался делами вовсе не литературными». Затаенный упрек слышится в самом перечислении занятий правителя губернской канцелярии. Это и «забавы всякого рода», и желание «сидеть на пирах».

Вместе с тем Лобанов признает, что «чтение в досужие минуты всегда оставалось любимым его упражнением». Вот и секрет кры-

ловского «перевоплощения»: в Риге он хорошо освоил немецкий язык и смог читать не только басни Лафонтена, но и немецких авторов, а частые поездки в 1803–1804 годах по российским ярмаркам и кирмашам обогатили его речь тем складом-ладом русской речи, который стал главной причиной популярности его басен.

Сходную информацию находим и у Н. Терновского:

«К этой должности и вообще к службе Крылов никогда не чувствовал призвания и способности».

Однако в аттестации Крылова, подписанной самим С. Голицыным 26 сентября 1803 года, говорится совсем иное:

«Отдавая справедливость прилежанию и трудам служащего при мне секретарем Крылова, сопрягающего с расторопностью, с каковою он выполнял все на него возлагаемые дела, как хорошее познание должности, так и отличное поведение, долгом почитаю засвидетельствовать сим, что достоинства его заслуживают внимания».

Вот что значит быть другом знатного вельможи!

Не меньше вопросов возникает в связи с драматургической деятельностью Крылова в рассматриваемый рижский период.

Известно, например, что комедия Крылова «Пирог» была сыграна в домашнем Голицынском театре в 1802 году. Но где происходил этот спектакль – в Риге или в родовом поместье князя – Казацком, так и остается загадкой. Трудно представить себе, чтобы князь со всеми чадами и домочадцами для этого предпринимал длительное и утомительное путешествие. С другой стороны, рижская постановка оставила бы какой-либо след в записях современников, которые фиксировали все, и менее важные события.

Другая проблема связана с комедией «Подщипа» («Трумф»). Каких немцев высмеял автор в этой комедии? Господствующее мнение – гатчинских, придворных, столь влиятельных при Павле. Сам Крылов временем и местом создания пьесы называл 1802 год и Ригу. Однако в крыловском архиве найден текст пьесы, помеченный 1800 годом и селом Казацким. Если так, то явно: высмеиваемые немцы – не те, с которыми познакомился писатель уже в

Риге после 1800 года. Но тут явилось неожиданное дополнение к проблеме в виде констатации факта, что будущий правитель генерал-губернаторской канцелярии побывал в Риге и, следовательно, мог познакомиться с остзейскими немцами задолго до ноября 1800 года, а именно в конце 1790 г., то ли когда писатель с целью посетить своего друга и бывшего коллегу по изданию журнала Клушина, который направился было за границу и замешкал в Риге (правда, по И. Сергееву – в Ревеле), то ли в 1796 году, сопровождая Голицына в его инспекторской поездке в Вильну.

За рижских немцев в памфлете говорит наименование главного героя комедии «чухонским грибом», но это, разумеется, проблемы еще не решает.

Тщательный анализ типичных для немца ошибок в русском языке «Трумфа» выявляет хорошее знакомство Крылова с этими особенностями. Последовательно выдерживаются в его речи:

– замена женского рода мужским: «прелесна мой княжон, кохда пудешь жон, прелесна тфой фикур, красафис мила мой»;

– притягательные местоимения вместо личных: «мой ноши весь не спит, курит ли трупка мой, из трубка тфой пихтишь, или мой кафе пил, тфой в шашешке сидишь»;

– повелительное наклонение для выражения неопределенной формы: «на всех стреляй фелит, мой псарь тотшас тафай, он фухтеля на спинка, на кларинет тепе и край я путит марш, я не шути, кохта пуфай сертит»;

– глухие согласные вместо звонких: «старофа, княшон, шас, кохта, пудешь, серса».

Как уже отмечалось, Крылов был первым русским литератором, который переводится на латышский язык уже в I половине XIX века. Во II половине он стал также одним из наиболее часто переводимых, басни которого, как уже отмечалось в разделе о фольклоре, записывались как латышские народные сказки.

Главным переводчиком Крылова со временем стал Фрицис Адамовичс (Fricis Adamovičs), переведший все басни Крылова. В качестве примера переводческого мастерства Адамовичса обычно приводится мычание быка в басне «Мор зверей»:

И мы грешны. Тому пять лет,
Когда зимой кормы
Ir mūs, viņš mauj, ko jēdz
Griež grēka slogs. Pa mūsu pusi...

К удачным переводам крыловских басен относят и «Две бочки», выполненный Мирдзой Кемпе (Mirdza Ķempe): бесшумное, «без шума, шажком» движется полная бочка, – в латышском тексте переводится долгими гласными и замедленным, размеренным ритмом. Для пустой бочки, которая «вскачь несется», «от ней по мостовой и стукотня, и гром», подбираются краткие гласные: «skaļi klab un grab» и соответствующий случаю разухабистый размер: «Bet otrajā Nav it nekā».

Удачами озаменованы также переводы Имантса Аузиньша (Imants Auziņš). В басне «Крестьянин и змея» сохраняется огласовка на з-с, ж-ш:

Я <u>с</u> роду никогда не только не ку <u>с</u> ала,	Tik pretīgs ļaunums man,
Но так гну <u>ш</u> алась <u>з</u> ла,	Ka šavu dzeloni es izraut būtu
Что <u>ж</u> ало у <u>с</u> ебя я вырвать бы дала,	atļāvusi,
Когда б я <u>з</u> нала и т. д.	Ja zinājuši, ka es bez viņa dzīvot spēju utt.

Василий Жуковский (1783–1852)¹

Василий Жуковский прежде всего интересуется эстонских исследователей. И тем не менее латвийским краеведам также нет недостатка материала для дальнейших исследований. Это прежде всего путевой дневник посещения Риги и Митавы проездом в 1820 году, сопровождая великую княгиню Александру Федоровну.

«5 октября. Рига. Приехали в три часа. Hôtel St. Pétersbourg на площади. *Памятник* (Речь идет о гранитной колонне, воздвигнутой в честь Александра I и побед русской армии в Отечественной войне 1812 г.). Поутру к Кубе (Леонтию Ивановичу, лифляндскому губернскому прокурору, впоследствии лифляндскому вице-губернатору). Вино. Выехал в половине второго. Вечеру в Митаве.

¹ Источники: «Русские писатели», – с. 61–70.

6 октября. Между *Бекгофом* и *Фрауенбургом*. Цецернское озеро, на левой руке от дороги. Прекрасный вид. Большой лес сосновый на высоте равнины. Длинною в 1^{1/4} мили. – *Фрауенбург*. Станция. Поместье графа Ливен (Мезотен).

7 октября. Из *Обер-Бартау* в *Руцау* переезд ночью. Темнота и дождь. В *Руцау* комиссар, бывший в прусской службе. 11 детей. Комиссар Таубе.»

Дневник возвращения 1822 года.

«4 февраля. Вечеру в *Руцау*. Плут инвалид.

5 февраля. Обер Бартау, рассказы почтмейстерской жены о Перовском. Тидоннен. Дроген. Шрунден. Здесь спал.

6. Фрауендорф. Бекгоф. Доблен. Митава. От Митавы до Риги. Солдат.

7. Рига. У Кубе. У Петерсена. Доктор. Обед у Кубе. Две жизни. К Петерсену спать. Вечер в театре. Очень, порядочно. Intermezzo. В муссу¹. Зонтаг, Гиль, Фелкерзам, Тидебель, Вагшлегер.

8–9. Дорога из Риги в Дерпт».²

Удалось выяснить занимаемые должности и общественное положение некоторых из названных здесь лиц.

Вот некоторые сведения о рижских друзьях Жуковского.

Кубе Л. И. – бывший Лифляндский губернский прокурор, впоследствии – лифляндский вице-губернатор.

Петерсен Евстафий Федорович (Георг-Густав) – впоследствии Лифляндский губернский прокурор.

Зонтаг Карл-Готлиб – доктор богословия и философии, председатель Лифляндской обер-консистории (1765–1827).

Фон Фелькерзам Егор Федорович – правитель канцелярии Рижского военного генерал-губернатора, впоследствии Лифляндский вице-губернатор, с 1829 по 1847 – губернатор.

Тидебель Андрей Богданович – советник губернского правления по части крестьянских дел.

¹ В муссу... – от нем. die Müsse («свободное время», «досуг») – клуб в Риге, основанный в 1786 г.

² К статье «В. Жуковский». Примечания, исправления, внесены в соответствии с текстом: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804–1833 гг.

Фон Вагшлагер Яков Иванович – Лифляндский губернский казначей.

Большим другом В. Жуковского был герой Отечественной войны 1812 года Т. Е. фон Бок, завершивший трагически свою жизнь в крепости, куда был заключен за письмо к императору с требованием свободолюбивых реформ.

Своему другу Жуковский посвятил длинное-предлинное стихотворение, из которого здесь приводятся начальные строки.

Мой друг, в тот час, когда луна
Взойдет над русским станом,
С бутылкой светлого вина,
С заповедным стаканом
Перед дружиной у огня
Ты сядь на барабане –
И в сонме храбрых за меня
Прочти *Певца во стане*,
Песнь брани вам зажжет сердца!
И, в бой меня кровавый,
Про отдаленного бойца
Вспомнят чада славы!

Константин Батюшков (1787–1855)¹

Большая «классическая» любовь Константина Батюшкова к бесподобной нежной красавице Эмилии Мюгель – также неразгаданная загадка русско-латвийских литературных контактов. Чтобы отыскать, наконец, загадочную и мистичную Эмилию Мюгель, в Ригу специально приезжал президент Академии Наук Российской империи Леонид Майков. Однако, и его поиски так и остались тщетными, и мы остаемся при той же загадке. Что это – творческое воображение гениального поэта-классика или реальная действительность – лечение раненого?

С Ригой и ее окрестностями Батюшкову пришлось знакомиться неоднократно. Первые встречи вызывали только юмористические

¹ Источники: «Латвия», с. 141–152.

заметки в письмах к А. Оленину и к Гнедичу. Тут и «уморительная немецкая гвардия» и сетования о «печальном положении раненых под Гейльсбергом русских офицеров»...

Но вторая встреча оказалась совсем иной.

«После трудов, голода, ужасной боли приезжаю я в Ригу, и что ж? Меня принимают в прекрасных покоях, кормят, поят из прекрасных рук: я на розах... Я счастлив и не желаю Питера... Адресуй прямо в Ригу. Город прекрасный» (из письма Н. Гнедичу).

«Я в отечестве курительного табаку, бутерброду, кислого молока, газет, лакированных ботфортов и жеманных немок. Живу весело и мирно, меня любят, хозяйка хороша, а дочь ее прелестна: плачут, что со мною должно расставаться. (Из письма Н. Гнедичу 12-го июля).

Страстное увлечение двадцатилетнего поэта Эмилией Мюгель проявилось в цикле стихотворений: «Выздоровление», «Воспоминание 1807 года», «Разлука», элегия «Воспоминания», «На смерть Лауры» (из Петрарки).

Из «ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ»

Но ты приблизилась, о, жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы пламенем сверкающих очей,
И поцалуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов
Для сладострастия призвали.

Неподалеку от дома Мюгелей, там же за Двиной находилось и жилище семейства графа Виельгорского, выходца из Польши, принесшего вместе со своей многочисленной семьей традицию уважительного отношения к культуре, искусству, музыке. Многочисленные концерты членов этого семейства создали в Риге музыкальную ауру, а стихи М. Виельгорского стали популярными песнями не только в Риге.

Из «ВОСПОМИНАНИЯ О 1807 ГОДЕ»

Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках

....

Ее, текущую воздушною стезею. [...]

....

«Души моей супруг»,
Мне шепчет горный дух,
Там, в тереме готовом
За светлую Двиной.
Увижуся с тобой!..

Нежная душа Батюшкова не могла пройти мимо семейства Виельгорских, одному из этой семьи он посвящает прочувствованное стихотворение:

ПОСЛАНИЕ ГРАФУ ВИЕЛЬГОРСКОМУ

О ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Вспомни, милый граф, счастливы времена,
Когда нас юношей увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламент, и новые законы
В глазах прелестницы читать!..

....

Счастливые места, где нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вокруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
«Люблю, люблю тебя!» – пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами! (1809)

Сергей Шутов (1806–?)¹

С 75 по 107 номер газеты «Рижский вестник» за 1870 год печатаются из номера в номер уникальные воспоминания старожила, который воспроизводит события рижской жизни с 40-х годов, помнит генерал-губернатора Паулуччи, фон дер Палена и Головина, помнит 12-й год и небывалый пожар Риги.

«Стиль воспоминаний, – отмечает С. Журавлев, – сказ рижского старожила настолько оригинален, что не поддается пересказу без утраты «русского духа». Этот стиль был весьма органичен для страниц чешихинского издания, именно таким языком говорили и писали старые русские рижане. Воспоминания С. Шутова местами перекликаются с очерками С. Самарина:

«Строгие времена мы переживали в старину, не то что теперь. Торговать – так не угодно ли в Гостином дворе, да и в год мы имеем право продать товару столько-то, а больше ни-ни: убирайся вон и с торговлю, вот тебе и весь сказ, – и то доплати подать. Попробовал бы ремесленник заниматься своим делом, не записавшись в цех, лучше и не пробуй, коли не хочешь разориться вконец. Русский хлебник попробуй-ка испеки к Пасхе кулич на продажу – сейчас тебе штраф, а кулич в Двину. Строгие времена были». (с. 304)

О происхождении русских рижан старожил свидетельствует:

«Наши предки, разумею русских купцов, все или ярославцы или тверичи или смоляни, вышедшие для торга в Риге в царствование Екатерины. Это наши деды. Все они по большей части были крестьяне, потом откупились за большие деньги». Некий купец за выкуп двух своих сыновей уплатил 30 и 25 тысяч рублей, хотя и погорел в 1812 году. Как многие другие купцы». (с. 306)²

«Стойкие бывали люди – не скоро их бывало сломишь. А все-таки это были люди одиночные: сила их даром пропадала».

«Старые люди рассказывают, что прежде русские преимущественно были менялы. Меняльные столы целым рядом стояли на рынке, на нынешней пристани, и за столиками сидели купцы.

¹ Источники: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии», с. 75–79.

² Воспоминания С. Шутова по изданию: «От Лифляндии в Латвии. Прибалтика русскими глазами. – сост. Ю. Абызов. – М. – 1993 г. – ч. 1.

Давно только это было, гораздо ранее 12 года. В Риге ходили деньги всевозможных государств, выменивались на какие угодно деньги. Богатейшие впоследствии рижские русские фирмы начали по большей части с мены денег, дед был менялой, отцу передавал свой промысел, и уж только сын становился торговцем или купцом». (с. 308)

Учился с 1813 по 1819. Семи лет мальчика отдали в иезуитскую школу. Детям приходилось зубрить длинные латинские тексты, учить французский язык, но немецкий почти не учили, что сердило отца Шутова. Применялось в училище и телесное наказание.

«Шалунам да ленивым плохо приходилось у патеров: чуть что неладно, сейчас тебе начнет гулять по ладони, а то и по прочему канчук. Коли вина поменьше повесят тебе на шею азинуса (рисованный осел) и поставят в угол отдежурить, да этак часика на три, не сходя с места. (с. 310)

По окончании уроков бегали мы, бывало, всякий день смотреть на огромную разрытую яму на площади против замка. Тут выводили фундамент для памятника 1812 году. Помнится мне, что тогда же рассказывали, что на том месте, где ныне поставлен этот памятник, когда-то был проведен ров, некогда окружавший замок, что место под колонну пришлось как раз на бывшем рву, и потому приходилось производить огромные фундаментальные работы, чтобы колонна могла получить надлежащую устойчивость». (с. 311)

Князь Голицын приказал школу закрыть, иезуитов из Риги выслать. Потом в уездное училище – во дворце Петра.

«Училище показалось нам дворцом: широкие и отлогие лестницы, в сенях огромные картины, изображавшие Европу, Азию, Африку и Америку, пространные комнаты, великолепный вид из окон на Двину. Всех нас учеников было в 1816 году, помнится, до 120, делились мы на три класса, учителей было пять человек». (с. 311)

Между учениками этой и Домской школы нередко происходили бои на валах крепости.

«Патриархальность нравов и полиции были таковы, что бой считался делом совершенно законным и естественным. [...] В одном из таких боев, происходивших на валу во время ледохода,

Домская школа так храбро и так отчаянно напирала на училище, что заставила его ретироваться. В схватке я понес поражение и был низвержен с вала вниз. Думали – тут мне и капут. Ничего – отходили». (с. 311)

В училище мальчики за три года «забыли дочиста все, что знали у иезуитов, забыли русскую грамоту, но зато выучились бегло говорить по-немецки. Мы не учились, а баловались разными науками – это верно».

«По выходе из школы я все бывало только и слышал, что про француза, да про 12-й год, а про пожарище так все еще рассказывали даже в 1820 году. Ходило в Риге четверостишие про генерал-губернатора Эссена, велевшего поджечь форштадты вследствие неверного донесения разведки о приближении неприятеля: (с. 315)

Губернатор Эссен // Умом тесен,
Маркиз Паулуччи // Того не лучше». (с. 318)

Рельефно описывает Шутов нравы купеческого мира:

«В старые годы в Риге русские купцы между собою сохраняли строго данное слово и больше делали дела на словах, не прибегая ни к канцелярам, ни к нотариусам, а старообрядцы-купцы между собою – так те даже и не любили векселей и боялись формальностей и бумаг пуще антихриста... В Гостином дворе нередко бывали сцены такого рода между старообрядческими купцами:

– Петр Денисович, дай извернуться тысяч десятков.

– А тебе надолго?

– На столько-то.

– Ну, ладно.

Отсчитывает деньги, да на стенке у себя в лавке и напишет мелом: такому-то дано столько-то тогда-то. Приходит срок – не несет денег должник.

– Эй, любезный, гляди в оба – деньги-то отдай, а то, видит Бог, – сотру. Это значит: сотрет со стены заметку и тем лишит должника жизни, то есть, кредита.

– Батюшка, Петр Денисыч, не погуби, дай отсрочку. Принесу такого-то числа.

– Вот тебе мой сказ, – отвечал бывало Петр Денисыч, – не принесешь в срок, сотру и знать тебя больше не знаю.

И надувательства не было». (с. 321)

«Нужно, бывало, отправить деньги за товар в Москву или другое место – посредства почти никто не требовал. Отправляются просто к первому русскому купцу, едущему в Москву, и дают ему денег для передачи кому следует. Расписки, бывало и требовать не могли. Обидится купец и денег не возьмет и выберит, еще пожалуй.»

Холера 1831 года.

«Иду как-то по Европейской улице, вижу едет телега, на которой заболевших холерой в холерное отделение возили; едет медленно, шажком, только вижу поднимается голова из телеги. «А ты, дяденька, куда меня везешь? – спрашивает голова по-русски у кучера, тоже судя по одежде, мещанина с Московского форштадта. – А куда вашего брата возят – потрошить в холерное отделение. – Что ты? – Известно, – ну уж нет, брат, поезжай-ка ты один, а я тебе не седок». Живо поднялся, мигом соскочил с телеги да давай Бог ноги. Кучер лошадей бросил да за ним. «Держи, держи! Холерный убе! – Как же держи, шмыгнул куда-то и след простыл. – Ах, анафема, ведь убежал, – ворчал кучер. – Что теперь в части сказать? – Да так и скажи, что бежал. Где вы его взяли? – Да на улице валялся, анафема. Квартальный увидел, велел везти его в холерное отделение. Говорил я квартальному, что его не в отделение нужно, а в часть, там проспится. Вези, говорит, он от болезни обессилел». (с. 333)

Говоря о русских купцах Шутов отмечает:

«Тогда мы вовсе не знали общественных собраний. Мусса, как общество по преимуществу аристократическое, было недоступно нашим русским купцам: да мы, признаться, и не любили ни клубов, ни клубной жизни. Давали мы поочередно друг у друга обеды, не блиставшие обстановкой (роскоши не знали) или богатством столов (не красна изба углами, а пирогами), и поздравляли

друг друга как со светлым праздником: Париж взят! Вот были празднества, так празднества, именно в нашем русском сословии! Купцы служили молебны по церквам, целую неделю ходили друг к другу в гости на обеды и ужины». (с. 331)

Прибывают струги с товарами. «Вскрылась Двина благополучно, начали один за другим прибывать и струги, – все больше и больше, так что к концу апреля буквально покрыли всю реку у Московского форштадта (тут они причаливали всегда). Больше 1000 стругов пришло, а с ними несколько тысяч судорабочих (ижевцами их у нас называли, от села Ижева, Смоленской губернии, кажется).»

«Вскрытие Двины – это было некоторым образом торжество, праздник для всех. Публика гуляла на городских валах (тогда было такое положение: дозволять всякой публике гулять на валах с того времени, как лед тронется по реке, до тех пор, пока трава зеленеть начнет), разряженная, точно в гости шли. Пальба из пушек – значит, переправы нет. Только и было разговору: «А вот завтра польский лед пойдет (так в те времена называли лед с верховьев Двины), а там и струги не замедлят». (с. 350)

Записки Шутова стали таким знаменательным документом своего времени, что в 1907 году их вновь печатает «Рижский вестник» (№№ 207–282), в 1993 году Ю. Абызов в сборнике «От Лифляндии – к Латвии», I. (Москва, – Арканор, – с. 304–376).

Иван Лажечников (1792–1869)¹

С позиций проблематики русско-латышских литературных связей примечательно избрание темы для русского исторического романа. И один из первых русских исторических романов – «Последний Новик» (1833 год), и высшее достижение в области русского исторического романа – «Петр I» Алексея Николаевича Толстого посвящены Второй Северной войне, проходившей на территории современной Латвии.

Автор «Последнего Новика» с полной ответственностью подошел к своему заданию правдиво отобразить ту местность, где про-

¹ Источники: «Латвия», с. 192–213.

ходили исторические события. Два года Лажечников проводит в Юрьеве, знакомясь с окрестностями, памятниками ливонской старины. Несколько месяцев он живет и у алуксненского пастора Рюля, слушая его рассказы из истории края, а также сам путешествует по всей окрестности, чтобы побывать во всех тех местах, где только проходило действие его романа.

О своем замысле писатель говорил: «На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа Лифляндию, которой одно имя звучит уже иноземно, скажу, что в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Бельта – колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы».

В романе, действительно, немало батальных сцен, и самое впечатляющее – взятие русскими Мариенбурга – Алуксне, пленение пастора Глюка и его воспитанницы Марты Скавронской.

Но ни они, ни другие исторические личности не стали основными героями романа. Таким оказался «последний Новик» – сын царевны Софьи и Василия Голицына, в свое время пытавшийся убить Петра, а теперь здесь в Лифляндии искупающий свой проступок верной службой Петру в качестве разведчика. Ему помогает маркитантка – латышка Илзе Треймане и другие вымышленные персонажи разных наций, разного происхождения, разного занимаемого в лифляндском обществе положения. Нет недостатка и в исторических личностях в виде Паткуля, различных чинов мариенбургского шведского гарнизона – штык-юнкера Гоштлига, цейгмейстера Вульфа, шведского полководца Шлиппенбаха, русского военачальника Шереметева.

Как уже отмечалось в разделе фольклора, в романе автор своеобразно истолковал латышские народные песни в качестве пароля и отзыва, причем звучат они, разумеется, на латышском языке и в устах латышки-маркитантки, и в устах сына царевны Софьи. Вообще с лифляндскими языками русский романист явно не в ладу: латыши в романе Лажечникова обращаются к эстонскому юмале, эстонцы же перемежают свою речь латышскими поговорками, распевают латышские песни. Но может быть жители

Алуксненского округа – двуязычны? И в таком случае в романе вряд ли следовало это двуязычие представлять.

Роман переведен на латышский язык и опубликован в газете «Dienas Lapa» (Дневной листок) в 1888 году (№№ 1–43) под заглавием «Vidzemes iekarošana Pēterā Lielā laikā» («Завоевание Видземе¹ во времена Петра Великого»).

Еще остается только отметить исключительную популярность «Последнего Новика», который за непродолжительное время выдержал несколько изданий. Высокую оценку ему дал сам Пушкин.

В 1853 году Лажечников волею судьбы оказался на одной из самых важных ступеней в администрации Витебской губернии, и жители Динабурга не раз видели вице-губернатора на своих улицах. Во время беспорядков 1863 года, захлестнувших всю Латгалию, автор исторических романов не мог оставаться в стороне. И результатом на сей раз оказался роман «Внучка папцырного боярина». Симпатии автора и на этот раз на стороне русских и тех поляков, которые не польстились на нереальные посулы вождей восстания.

Роман для нас примечателен высокой оценкой крестьян-староверов, которые дают им те же польские помещики. В то же время обстоятельное описание самого города Динабурга восторга его жителей не вызывало и начиналось не совсем обычно: «Скучнее и грустнее города (...) я не знаю. Когда я жил в нем, он мне казался местом заточения. Не скажу, чтобы местность города на Двине была неприятна. Напротив того, по своему положению на этой реке, он имел бы живописную физиономию, если б не накрыла его своим мрачным наметом польская и еврейская характеристика. Русский любит строить жилища свои и особенно храмы Божии на берегах рек и на высотах, чтобы куполы этих храмов и шпили их колоколен весело возносились к небу, весело глядели на всю окрестность. В Белорусии, в Литве, сколько знаю, для церквей и костелов избирают плоские, низменные места, в котловинах, так что они издали не видны. Не говорю о синагогах с неприятной их

¹ Видземе – историческая область в центральной Латвии, с начала XVII века часть шведской провинции Лифляндия.

наружностью. При въезде в город с московского шоссе вас встречает пустырь. Незаметно здесь садов, которые в некоторых великороссийских, и особенно в малороссийских губерниях в весеннее время облиты цветами и к осени на солнышке играют роями своих золотистых и румяных плодов».

Декабристы

Павел Пестель (1793–1826)

Адъютант командира 1-го армейского корпуса генерала Витгенштейна П. И. Пестель в Митаве находится с 1814 по ноябрь 1818 года. П. Пестель – член «Союза спасения» уже с начала 1816 года. В Митаве была создана «отрасль» Союза в составе 30 членов, среди них полковники Петрулин, Свободовский, подполковник Тимченко, майор Авенариус. Именно в Митаве Пестель начинает работу над «Русскою Правдою» – манифестом декабристов, будущей конституцией России.

На 42-й странице излагается положение латышей в новой свободной России:

«Что касается до латышей, то находятся они в состоянии гораздо менее благоприятном, нежели крестьяне русские, несмотря на мнимую вольность, им дарованную. И потому обязывается Временное Верховное правление: все меры принять для совершенного окончательного искоренения остатков феодализма и для приведения положения латышей в согласие с коренными правилами, долженствующими служить основанием всякому благому устройству в государстве». (Пестель П. «Русская правда». – Спб. 1906, с. 42).

Федор Глинка (1786–1880)¹

Федор Глинка с 1805 года – адъютант генерала Милорадовича; участник в войне 1805–1806 годов под Аустерлицем, в 1812 году – участник обороны Смоленска.

¹ Источники: «Русские писатели», с. 54–60.

Руководил Вольным обществом любителей российской словесности.

В «Письмах к другу» (1816–1817) продолжает отстаивать мысли о необходимости создать историю Отечественной войны 1812 года.

В письме находится место и для Риги: «Рассмотрение любопытных грамот в Риге обновило во мне мысль о составлении путешествия по древней первобытной России. Пусть кто-нибудь представит нам славяно-русского Анахарсиса, путешествующего из края в край еще не разделенной России; пусть нарисует полную картину обрядов, языческого богослужения и подле нее выставит другую – картину священную и величественную водворения веры христианской».

С этими памятниками познакомился он в Рижской городской библиотеке.

Рига отразилась и в стихах Глинки:

Но я расстался с милым сном,
И чужеземная картина...
Сияла пышно предо мной
Немецкий город – все красиво;
Но я в раздумье молчаливо
Вздыхнул по стороне родной.

Стихотворение Ф. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825), как отмечалось уже в разделе фольклора, стало популярной русской песней, перешедшей и в латышский фольклор.

Александр Бестужев (Марлинский) (1797–1837)¹

Один из первых русских писателей, которого вполне можно признать и «латвийским» по обилию произведений, посвященных нашему краю. Кто знает, может быть, любовь к Остзейскому краю была у Бестужева уже «в крови»: ведь мать его происхождением из Нарвы и предположительно немало рассказала своему сыну об

¹ Источники: «Латвия», с. 153–174.

этом загадочном необычном для россиянина крае. Как бы то ни было, но уже на школьной скамье А. Бестужев переводит с немецкого первую главу «Латышей» Меркеля. Эта глава по сей день хранится в фонде Эдуарда Волтера в Архиве Академии Наук в Петербурге.

Перевод, выполненный Бестужевым, был сопоставлен М. П. Николаевым с более поздним переводом А. Шемякина. Оказалось, что Бестужев придал меркелевским определениям больший радикализм, приближая их подчас к радищевским. Так, если у Шемякина «крестьяне обрабатывают поля своих господ», то у Бестужева подневольные люди «обрабатывают поля своих тиранов». Оброки Меркель и Шемякин квалифицируют как «большие», в то время, как Бестужев говорит о «тяжелых податях», меркелевско-шемякинская неограниченная власть у Бестужева становится «деспотической».

В 1818 году писатель переводит на русский язык статью французского посланника Дебрея «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян», о которой была речь в разделе фольклора.

«Поездка в Ревель» мощно затронула и проблемы латвийской части Ливонии.

«Ни один скальд, ни один повествователь, – писал в этом путевом очерке Бестужев, – из среды ливонцев, не передал подвигов своего народа веком позднее. Славные дела их погасли с зарею дней, бывших свидетелями оных. У врагов их, немцев, сохранились только немногие имена героев Ливонии. Кабо [Каупо], сподвижник Альберта, и Дабрель (из Торейды, т. е. Трейдена) были воеводы ливские. Русин (из Сотекла), Варидот (из Аутины) и Талибальд (из Беверина) были летты, а Лейбит (из Леаля) – эстонец. Ремеко и Друввальд, сыновья несчастного Талибальда, замученного эстами, под знаменем рыцарским отомстили сторицею смерть отца и сродников, на самом Лейбите и его верных. Более ста начальников и многие тысячи эстов погибли на кострах или в мучениях жестоких.»

«Замок Венден» написан под живым впечатлением пребывания автора со своей военной частью вблизи хорошо сохранившихся еще развалин овеянного легендами замка. Сюжет повести – одно из трагических событий в кровавой истории ливонского рыцарства – междоусобиц в самом ордене, непрерывных конфликтов с архиепископом и рижскими бюргерами. В то же время жестокая эксплуатация поработанных латышских крестьян, чинимые несправедливости. «Рыцари, воюя Лифляндию, изобрели все, что повторили после того испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества. Смерть грозила упорным, унижительное рабство служило наградой покорности».

В повести «Замок Нейгаузен» появляются и русские князья – пленники немецких рыцарей. На этот раз и пленник, и его господин соревнуются в рыцарской доблести и чести, причем этого соревнования победителем выходит русский князь. Дело не обходится и без плененной русской княжны, которая обречена на трагическую гибель. Все повести Бестужева-Марлинского исполнены трагизма до предела.

Верен ливонской теме Бестужев-Марлинский остается в повестях «Кровь за кровь», где ливонский колорит представлен исключительно ярко, «Гедеон Бестужев», «Замок Эйзен».

В публицистической статье «Ливония» (1829 г.) Бестужев-Марлинский выступает с резким осуждением остзейских феодальных порядков, одновременно высказывает слова признательности Прибалтийскому краю, которому суждено было стать первым поприщем любопытства писателя, его «нравственного и физического становления».

Второй этап обращения Бестужева-Марлинского к Прибалтийской истории связан с перемещением его полка в Латгалию. Путешествие это из имения Зеленополь, где Бестужев жил, учился польскому языку и наблюдал за окружающей жизнью – все это он описал в письмах к матери, – нашло отражение в новой его, на этот раз пространной повести «Наезды» из времен агрессии польских панов на оставшуюся без законного царя Россию (в 1613 году).

Сопоставляя письма Бестужева матери с текстом романа можно констатировать много схожего. К примеру, описание встречи с раскольником-крестьянином. Этот эпизод полностью воспроизведен в повести.

В письме читаем:

«В Витебской губрении это были почти все раскольники-филиппоны. Ни на ком из них не было лица человеческого: все бледны, худы, приучены к нужде.

– Ты что тощий такой, с болезни или с печали?

– Да с голоду, господин офицер. От барина своего мы получаем полгарнца ячменю на человека в год. Ни ржи, ни мяса не видим. С чего толстеть?

– Что же вы едите?

– Рыбу ловим, картошку копаем. Теперь с русскими спокойнее стало, а как были иезуиты, так еще хуже бывало».

И везде эта нужда – грязь. Города Себеж, Люцин, Режица походили на запачканные гнезда. Оборванные евреи и полунагие дети их скитались по грязным улицам. Зато русские помещики жили роскошно, даже богато».

В романе этот эпизод представлен следующим образом:

«В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низенькой, некованой тележке ехал за сеном и, увидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, но вместо того, чтобы поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота; белый изодранный балахон не прикрывал дыр на рубашке.

– Далеко ли до Сампося, добрый человек? – спросил князь.

– В старину было пять миль, паночек, да панья смиловалась, велела только трем быть.

– Добрая же у вас панья.

– И храни Бог, какая добрая, сама нам сказывала, как из церкви выходит, что за нас молится; да пан экононом нас обманывает – последнюю курку отнимает, а в год на спине кожи две обновил, да все приговаривает: панья велела.

– Ну брат, Зеленский, это видно по-нашему: у ханжей да пус-тосвятов одним кошкам масленица.

– Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с поль-ским: тот не продается наряду с баранами и, дождавшись Юрьева дня – поклон да и вон от злого барина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят, да его же и в грязь топчут. Я знаю неко-торых панов, которые отдают выкармливать своих щенков корми-лицам, отымая у них грудных младенцев».

Последний эпизод заимствован Бестужевым у Гарлиба Мер-келя, которого он начал было переводить.

Третий эпизод контактов Бестужева с нашим краем – пребыва-ние его в Риге, посещение театра со смешной пьесой о будущем человечества и прогрессе техники, посещение приморского ку-рорта в Нейбаден-Саулкрастах – осталось в творчестве Бестужева не реализованным: после декабристского восстания, ареста, суда и отправки на Кавказ в действующую армию, яркие кавказские военные впечатления затмили бледные рижские.

Большой любви Бестужева-Марлинского к коренному населе-нию Латвии была отдана соответствующая дань уважения и в обновленной Латвии – в 1992 году были изданы его ливонские повести с предисловием и комментарием Л. Сидякова: *Bestužēvs (Marlinskis) A. Vendenas pils. Stāsti. Rīga, – 1992 [Бестужев (Мар-линский) А. «Замок Венден. Рассказы». – Рига. – 1992 г.]*.

Вильгельм Кюхельбекер (1797–1846)¹

Вильгельм Кюхельбекер – потомок остзейских немцев, люте-ранин, в своей жизни и творчестве объединял две стихии: и уро-женца окрестности Авирона, и стремления русских передовых патриотов – мечту о падении рабства, торжестве добродетели, свободы, человеколюбия.

Первое свидетельство контактов природного остзейца Кюхель-бекера с родным, еще не забытым краем – путевые заметки его путешествия на Запад в 1820 году в качестве секретаря главного директора императорских театров А. Л. Нарышкина.

¹ Источники: «Латвия», с. 175–191.

А. Лосев усмотрел в путевых заметках Кюхельбекера «кинема-тографическое зрение»:

«За Дерптом природа уже гораздо свежее, и чем более приближаешься к Риге, тем она становится разнообразнее и живописнее». Потом ландшафтные картины укрупняются: «...перед самую столицю Лифляндии пески несносны... Предместье красиво». И наконец, чередуются крупные пласты: «город, кажется, по большей части архитектуры готической». Продолжая кинопанораму, можно заметить: камера уходит в затемнение, Риге в Кюхельбекерском дневнике не повезло – город предстает в двух-трех кадрах. Причина тому – болезнь автора дневника. Куда счастливее оказалась Курляндия. Все вокруг кажется Кюхельбекеру достойным внимания путника. «Замок Деблен – развалины из веков рыцарских, лежит прелестно на зеленом круглом холмике над водою и весь обсажен деревьями»¹.

Медноствольные липы на обочине дороги, одинокие и печальные ели, в два обхвата березы на заснеженных полянах, подпирающие вершинами небеса, напомнили путешественнику леттских «древних богов: – Перкуна, Пикола, Потримбоса». «И ста лет еще не прошло с той поры, когда местные жители возлагали к подножию зеленых источников свои приношения».

Из дневника языческие эти боги пришли на страницы самой современной кюхельбекерской прозы – повести «Адо» – о борьбе эстонцев с крестоносцами. Последние в качестве своих слуг-помощников используют леттов, оставляя их в качестве надсмотрщиков-охранников в поселениях только что покоренных эстов, ненавидящих своих поработителей и жаждущих мести. Леттской охране страшно, с ужасом пробираются они сквозь полчища требующих возмездия эстонцев, и хотя все считаются правовеерными христианами-католиками, в душе своей призывают на помощь тех же – Перкуна, Пикола и Потримбоса.

Второй эпизод контактов Кюхельбекера с землей леттов – трехлетнее заключение декабриста в Динабургской крепости (1827–1831).

¹ В. К. Кюхельбекер. «Путешествие. Дневник. Статьи.» Ленинград: Наука. –1979.

Благодаря снисходительному отношению к государственному преступнику со стороны начальства – коменданта крепости генерала Криштофовича, динабургских офицеров и в крепости, и за ее стенами, имевших к заключенному прямой доступ, учеников школы прапорщиков – Кюхельбекер получил не только возможность читать и писать, но и переписываться (разумеется, нелегально) с Пушкиным, Грибоедовым.

Под его руководством возникла целая школа переводчиков, среди которых было несколько талантливых юношей, прежде всего Тадеуш Скржидловский, Александр Шишков, П. Манасеин, Александр Посяговский, А. Рылинский. Рижский же учитель словесности А. Бернгоф нашел возможность организовать переписку Кюхельбекера с Пушкиным.

Недаром со скорбью расставался Кюхельбекер с местом своего заключения: «Динабург я покидаю с чувством горести, хотя это и была моя тюрьма».

Фаддей Булгарин (1789–1859)¹

По политическим причинам многосторонняя деятельность Ф. Булгарина и Н. Греча замалчивались, хотя в издаваемой ими «Северной пчеле» печаталось много материалов о Прибалтике, в частности, фельетоны о Рижском взморье. Правда, фельетоны эти весьма однообразны, речь в них идет только о русских «отдыхающих», латыши в них полностью отсутствуют.

Более примечательны в контексте нашего исследования путевые заметки Булгарина из его эстонских поместий в Ригу и Семигалию.

Информация эта до сих пор не освоена ни краеведами, ни литературоведами. Больше внимание уделялось информации, которую Булгарин доставлял в III Отделение о «направлении умов», экономике, культуре, таможенной службе в Остзейском крае (1827 год). Приводим несколько извлечений из этих сведений:

¹ Источники: Журавлев С. «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии (2-я половина 19-го века)», Рига: «Улей», – 1995, – с. 27–37 (далее: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии»)

– «Дух революции не принят в наших остзейских провинциях»;

– «Люди, недовольные правительством: 1) русские чиновники-взяточники; 2) маркиз Пауллучи, друг Аракчеева, из оскорбленного самолюбия; 3) мужики, особенно из Курляндии и Лифляндии, возле Риги»;

– латыш Рихтер просит «спасти добрую старую Либаву от банкротства».

В разделе о Риге специально отмечено:

«Между прочими вопиющими поступками чиновников более прочих возбуждали тогда негодование: 1) старание министерства отнять у города место для сделания огороженной биржи; 2) арестация позволенных товаров у купца Пихлера, на мосту в Риге, перед ярмаркою; о «прижимках» иностранным шкиперам, которые прижимки отваживают их от поездки в Россию».

По материалам остзейской истории Булгарин написал немало рассказов и повестей, которые до сих пор не подвергались ни литературоведческому, ни краеведческому осознанию. Мы успели только бегло ознакомиться с повестью Булгарина «Падение Вендена», опубликованной в 1845 году в дельвиговых «Северных цветах».

Самое примечательное в повести – образ Ивана Грозного, представленного мудрым и справедливым, хотя и грозным, но способным и миловать, и быть великодушным, что уж к событиям в Вендене менее всего можно отнести.

Большое внимание уделено образу вещего предрекателя – «вещуна» Марко, который постоянно предсказывает, как бы регулирует ход трагических событий. Анализ повести ждет еще своего исследователя, мы же приведем здесь лишь начало этого незаслуженно забытого произведения:

«Грозен был вид высоких башен и окон Вендена для покоренных туземцев Ливонии. Подобно исполину возвышался замок над городом и над холмистыми окрестностями, ограждая власть Гермейстеров Ордена Меченосцев. Уже сокрушилось могущество Ордена, Ливония переменяла властелинов; но унылый потомок вольного

некогда племени в уничтожении еще дивился силе, воздвигнувшей сии громады сросшихся от времени камней, которые презирали и буйство стихии и вражду человеческую. Неприступная, древняя твердыня, поросшая мохом, возбуждала к себе уважение, подобно сединам старца, свидетелям исчезнувших поколений. Теперь, в раздоре трех держав за обладание Ливонией, укрывался здесь беспоместный Король ливонский, Магнус, от гнева Русского Царя, от страшного гнева Иоанна Грозного!»¹

Не стала достоянием литературоведов и другая многообещающая повесть Булгарина «Мазепа».

Александр Пушкин (1799–1837)²

Через всю жизнь Александра Пушкина красной нитью проходит его пристальный интерес к Прибалтике, в том числе к Риге, к соседним с Михайловским местам Латвии, к Ревелю, на курортах которого частенько бывали родители поэта, также к местопребыванию своего прославленного предка – прадеда А. П. Ганнибала, которого поэт неоднократно упоминает в своих стихах, и который связан не только постоянным своим местопребыванием с Эстонией, но и с Ригой, которую навещал в своих инспекторских поездках.

Интерес к древней Ливонии подкрепляло у Пушкина увлеченное чтение Карамзина, а также его остзейское окружение: прежде всего директор лицея А. Энгелгардт, лицеисты, дружбу с которыми он сохранил до последних дней своих, – А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, А. Горчаков (владелец смежного с порубежной Латгалией поместья Лямоново), Н. Корсаков, уроженец Литвы, К. Данзас.

В Михайловском у Пушкина ни на мгновение не исчезает ощущение соседства, близости старинных западных рубежей Руси, близкое соседство Польши, Литвы, Ливонии. Здесь коренятся «чувства истории», приведшие поэта к созданию «Бориса Годунова»,

¹ Булгарин Ф. «Полное собрание сочинений», Т. VI Спб.: М. Д. Ольхин, – 1843, – с. 65.

² Источники: «Латвия», с. 219–249.

«Истории Петра», в которой событиям второй Северной войны на территории Латвии и Литвы отводится большое место.

И не случайно же «тоска» Пушкина по Риге и трижды отвергнутое императором прошение матери поэта разрешить сыну поездку в Ригу для лечения. Причина отказа – нежелание видеть поэта в Риге, предотвратить встречу с Анной Петровной Керн, увезенной П. А. Осиповой из Тригорского подальше от Пушкина. Поэту пришлось ограничиться циклом посланий в Ригу к А. П. Керн и П. А. Осиповой, который П. Антокольским назван «аппассионатой в письмах», «живой стенограммой чувств, равной по силе самым избранным строфам пушкинской лирики».

В письмах Пушкина присутствует не только любовь и нежные чувства, но и чувство ревности. Пушкин ревнует Анну Петровну даже к паркету Рижского замка, которого касается божественная ножка возлюбленной.

Однако в письмах не только излияния любви. В них звучат и политические мотивы: ведь до Риги вести из Западной Европы доходят быстрее, чем до Михайловского, а ведь в Европе в те годы так много знаменательного!

Наконец из Риги, из рук Анны Петровны Пушкин получает тома столь любимого им Байрона.

И недаром в Риге рядом с цитаделью, где проживала Анна Петровна, и Петропавловским собором по инициативе Президента Академии наук Латвии Яниса Страдыньша был поставлен бюст Анны Петровны, а несколько лет спустя и мемориальная доска Пушкину.

Сохранился в Валке и домик генерала Керна и Анны Петровны.

Эти-то рижские друзья Пушкина и Алексей Вульф, предположительно, являются источником рижской побывальщины о похищении неким студентом из усыпальницы одной рижской церкви скелета рижского штатсхалтера – барона Дельвига, заместителя Вальтера Плеттенберга. Одновременно в руки Пушкина попал действительно череп, приписываемый барону Дельвигу, хранившийся, как нам удалось выяснить, у рижского аптекаря Вульфа, родственника Алексея Вульфа. Пушкину доставило большое удовольствие передать череп своему другу Дельвигу, потому что рижского

штатсхалтера, снабдив посылку пространным стихотворением в 300 строк, по своим художественным достоинствам не уступающим «Украинской ночи» из «Полтавы».

Стихотворение начинается словами:

Прими сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.

Далее о самом черепе:

Ну, словом, череп сей хранил
Тяжеловесный мозг барона,
Барона Дельвига. Барон
Конечно был охотник славный,
Наездник, чаши друг исправный,
Гроза вассалов и их жен.

Покойником в церковной книге
Уж был давно записан он,
И с предками своими в Риге
Вкушал непробудимый сон.
Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.

Но вот в Риге появился странствующий студент:

С витою трубкою в зубах,
В плаще, с дубиной и в усах,
Явился в Риге. Там спесиво
В трактирах стал он пенить пиво,
В дыму табачных облаков;
Мечтать об Лотхен, или с горя
Стихи писать да бить жидов.

Здесь Пушкин допустил неточность: «жидов» в Риге тогда не было – им запрещено было в Риге селиться. Ошибся Пушкин и в другом, отправив своего героя гулять вдоль моря. Пушкин знал от родителей о том, что Ревель стоит на самом берегу моря и предполагал, что то же происходит и с Ригой.

Пушкин в своем стихотворении нигде не отметил, в какой именно рижской церкви был погребен Дельвиг. А вот переводчик Карлис Штралс (Kārlis Štrāls) в свой перевод стихотворения без всякого сомнения или оговорок включил указание на место захоронения – Домский собор. Долгое время оставалось загадкой, откуда переводчик почерпнул такие убедительные, по крайней мере для него, сведения.

В собранной Карлисом Эгле (Kārlis Egle) обширной библиографии переводов Пушкина и статей латышских писателей о Пушкине, правда, оказалось несколько заметок об этом стихотворении, но они были не только кратки, но и сбивчивы до нелепости. В одной даже рижский штатсхальтер был назван другом Пушкина. И только ученики одной из рижских школ принесли своей учительнице Гессе Камайской неизвестную даже Карлису Эгле полноценную и убедительную статью об этом стихотворении Пушкина, подписанную инициалами В. Л. (мы расшифровали: «Вилис Лейниекс», т. е. Плудонис (Vilis Plūdonis) – хороший знаток русской литературы). Здесь безапелляционно указывалось на место захоронения барона Дельвига – Домский собор. [«Mājas draugs», («Домашний друг») – 1939, – № 4, – с. 119].

Критики концепции Плудониса напоминают о том, что во времена пребывания в Риге Анны Петровны и Алексея Вульфа из всех рижских церквей трупы были изъяты. Но рассказанное в побывальщине событие могло относиться к периоду, предшествовавшему изъятию из рижских церквей трупов.

Проблема возможных источников стихотворения рассматривалась и в общероссийском масштабе, и если Валерий Брюсов, хороший знаток Риги и рижских древностей, говорил о реальности событий, которые отозвались в «Послании Дельвигу», то П. Морозов считал сюжет вымыслом то ли самого Пушкина, то ли его информаторов.

Контакты Пушкина с людьми, причастными к Остзейскому краю, разумеется, не ограничиваются названными именами. Следует вспомнить о названных уже рижском учителе А. Бернгофе, и о декабристе В. Кюхельбекере, к которому можно присоединить еще декабриста – уроженца Остзейского края – Е. Ф. Розена.

Второй не менее важный аспект близости Пушкина к земле латышей проявляется в его работе над историей Петра, в частности, над историей Северной войны. Детально перечисляет Пушкин все местности, где появляется Петр, где проходили военные события.

Начал было Пушкин и широко задуманную повесть «В 179* возвращался я», события которой должны были происходить в Северной Лифляндии.

Первые переложения Пушкина на латышский язык появляются лишь в середине XIX века – во втором издании «Песенок» Юриса Алуанса (Jūris Alunāns), в переводе М. Каудзите (Matīss Kaudzīte) «Кавказский пленник». Затем уже Райнис (Jānis Rainis) берется за такое сложное произведение Пушкина как «Борис Годунов», одновременно знакомя с исчерпывающей биографией русского поэта и драматурга. Перевод Райниса (так же как и его работа над «Фаустом» Гете) стал знаменитой вехой в развитии латышского языка.

Подлинным переводчиком лирики Пушкина стал Карлис Круза (Kārlis Krūza). Большой друг русской литературы и русских литераторов Викторс Эглитис (Viktors Eglītis), по аргументированному признанию В. Вавере (V. Vāvere) и Л. Спроге (Ludmila Sprōģe) («Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras «sudraba laikmets», – Rīga, Zinātne, 2002, с. 149–151) («Начало латышского модернизма и «серебряный век» русской литературы. Р. – Зинатне. – 2002), главного героя своей поэмы «Pelēkais barons» («Серый барон») (1910, 1933) Лудвига Сею и по характеру, и по поступкам уподобил Евгению Онегину.

О популярности самого имени Пушкина и его произведений свидетельствует переход ряда его произведений («Сказка о рыбаке и рыбке», «Узник», «Черная шаль») в латышский фольклор.

Начиная с 20–30-х годов XX века популярности Пушкина среди латышей во многом способствовала постановка опер на сю-

жеты его произведений: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов». Последняя опера ставилась в обработке ученика Мусоргского Эмилса Мелнгайлса (Emils Jūlijs Melngailis).

Эдуардс Меклерс (Eduards Mēklers) (1884–1973) написал и издал несколько монографий о Пушкине: «A. S. Puškins» (А. С. Пушкин) (1935).

С большой помпой отмечались Пушкинские дни в Лифляндии и Курляндии, которые в 20-30-е годы превращались в дни русской культуры. В 1880 году руководство Латышского общества отсылает в Москву на открытие памятника поэту стихотворное послание, автор которого пока не уточнен:

Гордися, древняя столица!
Приветствия к тебе несутся;
Со всех концов России многолюдной
Не торжеству победы грозной
В честь ликования раздаются,
Но вечной памяти поэта,
Кем слава нации воспета,
Ты воздвигаешь монумент,
Но гению племен славянских
Все просвещенные народы
Дань достодолжную приносят.
Прими, о славная столица,
Прими младенческий привет
И от латышского народа!
На путь духовного рожденья
Едва вступив, и он вкусил
Его поэзии бальзам целебный,
И он с признательностью детской,
Но искренней чистосердечной
Пред гением склоняется главой.

Торжественно прошли пушкинские дни в 1899 году. Страницы «Рижского вестника» своими исследованиями и рассуждениями

заполнили Н. Малиновский и Г. Кутепов, были опубликованы стихи местных русских поэтов конца века, посвященные Пушкину. Рижский епископ Филарет прокомментировал обмен стихами Пушкина и московского Филарета.

Следующий знаменательный Пушкинский день в Латвии был в 1937 году, когда по писателю самим митрополитом Августинном была отслужена панихида, слово о Пушкине в которой сказал настоятель Христорожественского собора протопресвитер Янис Янсонс. Была организована посвященная русскому писателю выставка. В театре Дайлес поставлен только что написанный Янисом Гротсом (Jānis Grots) мюзикл («Puškina. Pēdējās dienas») («Пушкин. Последние дни»), весь построенный на стихах поэта (в том числе и песен на эти слова), а также на стихах современников Пушкина. В благодарность за созданную пьесу Гротс был приглашен в советское полпредство, где отмечалась память Пушкину, однако он не воспользовался приглашением, так как не смог нигде получить фрака, необходимого в те годы, чтобы появиться в советском полпредстве.

В 90-е годы XX века в латышском юношеском театре ставилась пьеса Ф. Дейча (Felikss Deičs) «Puškina pēdējās dienas».

Пушкинские юбилейные даты латыши отмечали не только на родине. В 1949 году в ознаменование пушкинского юбилея в Любеке, оказавшимися там легионерами была издана в издательстве бывшего легионера Яниса Абуца (Jānis Abučs) «Пиковая дама» («Pīķa dama») с замечательными иллюстрациями бывшего легионера Юриса Сойканса (Juris Soikans), а в издательстве Яниса Шина «Домик в Коломне» (Namiņš priekšpilsētā), специально переведенный для этого издания одним из создателей и руководителей легиона Александрсом Пленснерсом (Aleksandrs Plesners) с иллюстрациями того же Юриса Сойканса.

Там же в латышской эмиграции поэт Петерис Эрманис (Pēteris Ērmanis) пишет стихотворение «Puškina sūdzēšanās Gētem» («Жалобы Пушкина Гёте»), где сопоставляет столь различные судьбы обоих гениальных поэтов и драматургов.

Память о Пушкине в Латвии конца 80-х годов проявилась в конференции, организованной культурным центром Балтославянско-

го общества и Союзом писателей Латвии в ознаменование 190-летия со дня рождения поэта. В Музее истории литературы и искусства была организована выставка, посвященная этому событию. Визма Бельшевица (Vizma Belševica) в ознаменование юбилея перевела на латышский язык крымские сонеты Пушкина.

2004 год ознаменовался изданием объемистой книги «Латвийский листок в венке славы А. С. Пушкина».¹

Неутомимый добытчик новых фактов русско-латышских литературных контактов, поэт и руководитель «Улья» Сергей Журавлев собрал уникальный материал, характеризующий восприятие Пушкина в Латвии. Не в силах перечислить все огромное содержание этого уникального сборника, назовем здесь имена наиболее значимых авторов:

Я. Райнис, Я. Порукс (Jānis Poruks), Е. Лаутенбахс (Jēkabs Lautenbahs), Аспазия, Я. Акуратерс (Jānis Akuraters), Я. Гринс, Я. Витолс (Jāzeps Vītols) (композитор), Э. Смигис (режиссер), А. Берзиньш (театровед), А. Тентелис (историк), А. Перов (журналист), А. Упитс, Я. Судрабкалнс, Я. Страдиньш (историк культуры), В. Вавере. Поэты: Э. Вирза, В. Плудонис, О. Вацietис, А. Веянс, М. Чаклайс, Я. Плаудис, М. Кемпе, В. Белшевица, Им. Аузиньш, Я. Гротс, А. Дале, А. Кениньш, З. Пурвс, И. Ласманис, А. Пормале, А. Элксне, М. Лосберга, П. Эрманис, М. Бендрупе, О. Гутманис, Х. Скуя, Л. Сакне, А. Круклис, В. Эглитис, В. Гревиньш.

Николай Языков (1803–1846)²

Хотя Н. Языков и принадлежит к сфере русско-эстляндских (преимущественно немецких) культурных контактов, место действия главных его произведений «Ала» и «Меченосец Арам» – окрестности Вендена и избиваемые крестоносцами летты, а также такие стихи как «Ливония» распространяют свое обаяние на всю Ливонию – это и вводит Языкова также в сферу наших интересов.

Все семь лет своего пребывания в Юрьеве Языков непрерывно поддерживает письменную связь с многочисленными своими

¹ «Латвийский листок в венке славы А. С. Пушкина. Мемориальный сборник», – Рига: «Улей».

² Источники: «Латвия», с. 250–276.

рижскими друзьями, интересуется самыми различными политическими и бытовыми проблемами, волнующими рижан. Получает не только письма своих друзей и почитателей, но как прославленный уже стихотворец и первые пробы пера начинающих русских поэтов на земле латышей – Александра Степанова, военнотружущего из Митавы, Валентина Мызникова. В Риге начинающим стихотворцам не к кому было обратиться.

Итак, одно из главных произведений Языкова – «Ала», его действие относится к событиям Второй Северной войны, и как уже отмечалось, не обходится без латвийских «деталей»! Уже самое начало вызывает в нашей памяти центральную Латвию, окрестности Вендена:

В стране любимой небесами,
Где величавая река
Между цветущими берегами
Играет ясными струями;
Там, где Албертова рука
Лишила княжеского права
Неосторожного Всеслава;
Где после Грозный Иоанн,
Казнил за Магнуса граждан
Неутомимо беспощадно;
Где добрый гений старины
Над чистым зеркалом Двины
Хранит доселе как святыню
Остатки каменной стены
И кавалерскую твердыню.

Именно здесь родилась героиня поэмы Ала, которой судьба уготовивала жизнь, тесно связанную с именем «патриота Ливонии» Иоганна Рейнгольда Паткуля, героя произведений Лажечникова, Лермонтова, Алексея Толстого, И. Тургенева.

Н. Языков в этом же стихотворении Паткулю адресует такие строки:

Меж тем в соседней стороне,
Устами Паткуля, к войне
Свобода храбрых вызывала;
И удалого короля
Им угнетенная земля
С валов балтийских принимала.
Когда, прославившись мечом,
Он шел с полуночным царем
Изведать силы боевые,
Не зная, дерзкой, как бодра
Железной волею Петра
Преображенная Россия.

Если героический подвиг Алы, представленный в поэме Языкова, ясен любому читателю, то даже ближайшим друзьям было весьма непонятно, что, собственно говоря, хотел сказать Языков своей поэмой «Меченосец Аран». На недоуменные вопросы читателей автор отвечал, что в поэме все сказано и каждый сам должен понять заключенную в ней мысль. И никому не удалось узнать большего. В чем же загадка?

Меченосец Аран как бы судьбою предопределен стать подлинным героем:

Не раз, не два Ливония видала,
Как, ратуя за веру христиан,
Могучая рука твоя, Аран,
Из вражьих рук победу вырывала;
Не раз, не два тебя благословлял,
Приветный крик воинственного схода,
Когда тобой хвалился воевода
И смелого, как сына, обнимал.
Винанд любил и уважал Арана:
Его всегда убийственный удар,
Среди мечей неутомимый жар,
Усердие к законам Ватикана,

Железное презренье к суетам,
Высокий нрав, решительность деяний, –
Все красоты воспитанника брани
Казались магистровым очам
Посланием небесной благодати
Для слабого владения Христа,
Где не смирял враждебных предприятий
Недавний гром крестового щита.

Но не об этом мечтал пылкий юноша. Его манили те места, «где Иордан, Голгофа и Кедрон, Где высоты Ермона и Кармила». Вместо этого он вынужден оказаться в Ливонии, где ведет себя весьма необычно: и в пылу жаркой битвы, и на буйном рыцарском пиру юный герой не знает душевного покоя. Некогда врученный родителем кинжал постоянно напоминает ему о «безжалостном мщении». Юный герой дал клятву совершить возмездие. Связана ли эта клятва с единственным убийством магистра ордена, о котором так эмоционально рассказал Бестужев-Марлинский, – это задача будущего. Нас же в большей мере занимает не менее эмоциональное описание боя здесь, под Венденом.

Простертые на бархате полян,
В безмолвии окрестность наблюдая,
Ливонцы ждут прихода христиан;
Они без лат; меч, стрелы и чекан,
Копье и щит – их сбруя боевая...
Блеснула рать знакомая вдали;
Трескучий зык сзывающего рога
Их взволновал: столпились, потекли –
И началась кровавая тревога.

Не облака ль сверкают и гремят?
Не озеро ль Чудское расшумелось?
Не облака сверкают и гремят,
Не озеро Чудское расшумелось.

Враги Христа с Винандовым полком
Сшибаются; воинственные крики,
То слабые, то яростны и дики,
Разносятся на поле боевом.

Ужасный вид! Там рыцаря пронзает
Смертельная ливонская стрела:
Его рука на стали замирает,
Холодный пот на бледности чела,
Воитель стих и падает с седла;
Свободный конь бежит между толпами,
Ржет, прядает, могучими ногами
Разит и рвет кровавые тела, –

«Не убивай меня, великодушный воин!
Мне подари остаток бытия,
Счастлива мной прекрасная семья,
Я крест приму и буду вас достоин!»
Старик бойцу, спасаяся, кричит:
«Ах! удержи несправедное мщенье.
Не убивай меня! Смотри: бросаю щит, –
Жесток же ты! постой, еще мгновенье
На небеса, на землю дай взглянуть!»
Не слушает боец осwirепелой,
Летит, настиг и в старческую грудь
Орудие злодейства закрипело.

Там общий бой; толпа толпу теснит,
Пирует смерть, кровь брызжет, сталь звенит.
Тот меч занес и, не свершив удара,
Оцепенел, разрубленный мечом;
Тот в ярости губительного жара
Не слышит ран и рубится с врагом:
Иной копьё из тела вырывает,
И в судоргах влачится по земле;

Тот навзничь пал – и язва на челе;
Тот, жалостно стоная, издыхает,
Подавленный израненным конем;
Кто смерть зовет, кто битву проклинаят:
Обширный ад на поле боевом!

Уж месяц встал блестящий и багряный
Над зеркалом балтийской глубины;
Уж потекли росистые туманы
По берегам лазоревой Двины...
Бурливый лес, чернея, утихает,
Певец зари умолкнул соловей
И ночь свои покровы расстилает
И тьма легла на поприща мечей.
Бой перестал. Огни в долине стана...

Михаил Лермонтов (1814–1841)¹

Хотя Лермонтов является блестящим представителем русско-кавказских литературных и культурных связей, он не чужд ни остзейских немцев, ни прибалтов-литовцев.

В школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов близко сошелся с уроженцами Остзейского края П. П. Тизенгаузенем, А. П. Бенкендорфом, В. В. Энгельгардтом – сыном, Е. П. Сиверсом, в годы военной службы – А. И. Арнольди, М. И. Цейдлером, А. Н. Дельвигом, Б. Я. Икскулем, А. Н. Вульфом. Некоторые из них вошли и в стихи Лермонтова. «В рядах стояли безмолвной толпой» – воспоминание о смерти юного Сиверса. Название стихотворения «К Тизенгаузену» говорит само за себя, а «Русский немец белокурый» – это Цейдлер.

Некоторые (Дельвиг, Арнольди, Цейдлер, Тиран) печатали воспоминания о своем друге-стихотворце, другие (А. Н. Клюндер, Д. П. Пален, Р. К. Шведе, Н. И. Цейдлер) оставили акварели, карандашные наброски своего друга, переводили творения Лермонтова на немецкий язык (Карл Август Фарнхаген фон Энзе, Фридрих Боденштедт, Карл Август Рейнгольд фон Будберг-Беннингхауз).

¹ Источники: «Латвия», с. 277–297.

К «остзейскому окружению Лермонтова» (термин А. Г. Лосева) принадлежит и дань уважения русского поэта к Паткулю, с трагедией которого он познакомился, читая роман Лажечникова «Последний Новик».

К остзейским контактам Лермонтова следует отнести и то обстоятельство, что начало «лермонтоведения» положено именно в Юрьеве, где профессор Н. А. Висковатов стал первым общеизвестным исследователем творчества русского поэта, а литератор Ю. Шумаков хранителем преданий об источниках лермонтоведения в Эстонии.

Поэма Лермонтова «Литвинка» привлекала внимание всех исследователей, которые писали о русском поэте. Однако для всех их это произведение было всего лишь проявлением байронизма раннего писателя. А то удивительное обстоятельство, что русский патриот, автор «Бородино», мог восхищаться вольнолюбием древних литовцев, их ненавистью к русским соседям-поработителям, этому обстоятельству никто не уделил должного внимания. В то же время именно это противопоставление вольности свободных литовцев тирании русских князей (противопоставление исторически совершенно неоправданное) – основное содержание поэмы.

[...] Минувшее дышало в песни той,
Как вольность – вольной, как она, простой;
И всё, чем сердцу родина мила,
В родимой песни пленница нашла.

Желая защищать свои права,
Дрожит за вольность гордая Литва.

Хотя Лермонтов ни одной своей стихотворной строчки не посвятил латышам (в отличие от литовцев), латыши на первых порах ставили Лермонтова выше Пушкина. Юрис Алунанс его «Казачью колыбельную» печатает уже в первом выпуске своих песенок, Пушкина – лишь во втором. В латышском фольклоре, как уже отмечалось, бытовало в два раза больше песен на слова Лермонтова, чем из репертуара Пушкина (об этом в разделе фольклора).

Райнис и Аспазия (Aspazija) переводят «Демона», причем Аспазия демонические черты находит и в себе. Реминисценции из Лермонтова встречаем в творчестве Вейденбаумса (Eduards Veidenbaums), Аспазии, Леонса Паэгле (Leons Paegle).

В 20–30-е годы XX века опера А. Рубинштейна «Демон» не сходит со сцены Рижского оперного театра, в Русской драме неоднократно ставится «Маскарад». Образ поэта возникает в драматических сценах Э. Адамсона (Ēriks Adamsons) «Ķermontova nāve» («Смерть Лермонтова»), в стихотворении Андрейса Курцийса (Andrejs Kurcijs) «Pjatigorska» («Пятигорск»).

В 1923 году увидела свет пьеса Эрнестса Арниса (Ernests Arnis) (1888–1943) «Likteņa loto» («Лото судьбы»). В одной из интермедий этой пьесы «Pasauls slavenie» («Всемирно известные») представлена встреча в латышской корчме в вечерний праздник Лиго (дни летнего солнцестояния) Фауста, Дон-Жуана и Печорина, ведущих разговор о судьбах человечества. Предпочтение латышские девушки, посетительницы корчмы, отдают Печорину.

В 1952 году «Маскарад» поставили на сцене театра Дайлес.

Широко отмечали юбилей Лермонтова в 1939 году, когда была организована выставка всех произведений Лермонтова, неоднократно издаваемых в Латвии на русском и латышском языках.

В 1989 году в рамках Дней русской культуры отмечалось 175-летие Лермонтова. Русским культурным центром и Балтославянским обществом была организована конференция, С. Журавлевым издан буклет с высказываниями о Лермонтове Я. Судрабкалнса и Аспазии, со стихами, посвященными юбиляру, В. Брюсова («К портрету Лермонтова»), А. Рыленкова («Надпись на книге Лермонтова»), А. Курцийса («В музее Лермонтова»), Челхана (Щелкунова) («На 50-летний юбилей М. Ю. Лермонтова» – из книги «Стихотворения», изданной в Либаве [совр. Лиепая] в 1905 году).

В буклете опубликована также исчерпывающая библиография переводов Лермонтова на немецкий и латышский языки.

Николай Гоголь (1809–1852).¹

Николай Гоголь – главный персонаж русско-украинских литературных контактов. Однако, с ливонско-остзейской стариной писатель познакомился, читая лекции по истории России. Но почему Гоголь в комедию «Ревизор» сначала вводит сцену «Хлестаков и Гибнер», у которого главный герой «занимает» хотя бы «сигару из Риги», а потом исключает эту сцену? И почему «Нос» был задержан именно в тот момент, когда собирался сесть в карету, «чтобы отправиться в Ригу»? Может быть сказалась общеевропейская традиция (особенно во французской литературе): все жулики и мошенники в Европе появляются из Прибалтики?

В остальном Гоголь рассматривается только с позиций его восприятия в Латвии, как в латышском фольклоре («Вий», о котором уже говорилось в разделе фольклора), так и в литературе.

Первый перевод из Гоголя датируется 1869 годом. Это «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Перевод оказался таким популярным, что вызвал подражания в творчестве Апсишу Екабса (Apsīšu Jēkabs). В его рассказе «Kaīmīņi» («Соседи») так же ссорятся по пустякам, как и в произведении русского писателя. Но мало того, Апсишу Екабс заставляет латышских крестьян по утрам пить не кофе, а чай, причем из блюдечка, да еще вприкуску.

1870 год ознаменовался постановкой «Ревизора» в Митавском театре Адольфа Алунанса (Ādolfs Alunāns) в собственном переводе. Пьеса так полюбилась латышскому зрителю, что постановка (на сей раз без цензурных купюр, которые были в елгавской постановке) была возобновлена в 1874 году в Вецпиебалге силами актеров-любителей: Андрейса Пумпурса (Andrejs Pumpurs), братьев Каудзитес (Brāļi Kaudzītes), Андрейса Степсте (Andrejs Stērste), Атиса Кронвалдса (Atis Kronvalds) и других местных учителей, деятелей латышской культуры. Популярность спектакля была исключительна: крестьяне съезжались в таком количестве, что приспособленные под театр помещения старой казармы не могли вместить всех желающих. Приходилось давать по 2 представления в день.

¹ Источники: «Латвия», с. 298–309.

В 1908 году «Ревизор» вновь был переведен, на сей раз Андрейсом Упитсом (Andrejs Upīts).

Явные реминисценции из «Ревизора» можно отыскать в комедии Эдвардса Вульфса (Eduards Vulfs) «Svētki Skangalē» («Праздник в Скангале»). Собравшиеся «тузы» мелкого латышского городишка читают разоблачающую их статью в местной оппозиционной газете совсем так, как это происходит с чтением разоблачительного письма Хлестакова в финальной сцене «Ревизора».

Видным событием в латышской литературе было издание в 1877 году гоголевского «Тараса Бульбы». Примечательна вводная статья к этому изданию Фрициса Бривземниекса о Запорожской сечи, на которой и кое-кто из латышей находил прибежище и спасение от помещиков-угнетателей.

Не остались без внимания и «Мертвые души» Гоголя, хотя первый перевод на латышский язык появился только в 1897 году. Но уже в 1917 году в известном горьковско-брюсовском «Сборнике латышской литературы» Янис Янсонс-Браунс в вводной статье «Латышское общественно-культурное развитие и латышская литература» первый сопоставил гоголевскую эпопею с романом братьев Каудзитес «Времена землемеров». Об идейно-художественной близости этих произведений в разное время говорили и Янис Альбертс Янсонс (Jānis Alberts Jansons) в своих лекциях, и Андрейс Упитс.¹

Вспомним только капитана Копейкина у Гоголя и бесстрашного мстителя Грабовского у братьев Каудзитес. Латышские писатели разгадали немало гоголевских секретов. Один из них – несоответствие речей, реплик персонажей из «Мертвых душ» их мыслям, делам, поступкам. У бессердечных лицемеров Олиней (герои романа Братьев Каудзитес «Времена землемеров») слова «Бог», «любовь к ближнему» не сходят с языка. Однако, это не мешает им ради наживы лишить своих соседей крова, разорить бедняка, довести до самоубийства дочь. Культ наживы – основное содержание и всех начинаний Чичикова.

¹ Upīts A. «Latviešu jaunākās literatūras vēsture. I» – Rīga: «Zeltiņš un Golts», – 1921, – с. 21; Вавере В., Мацков Г., латышско-русские литературные связи. – Рига: «Зинатне», – 1963, – с. 79–83.

И еще: многозначная, беспредельная, емкая гоголевская метафора, дерзкая гипербола, сатирически заостряющая темные стороны бытия. Как тут не вспомнить мечты слатавцев о предстоящем банкете слатавцев и чангальцев после завершения измерительных работ. «Суп, который привезут из чужедальних стран в котлах из живого серебра», «хлеб, испеченный в печах из красного стекла у Кофейного моря, привезут в Слатаву на слонах по воздуху...» Конечно же все это очень напоминает другую знаменитую гиперболу – «суп», который «в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа», – хвалится Хлестаков; «в семьсот рублей арбуз». И это небольшое сопоставление убеждает: уроки Гоголя не прошли незамеченными латышскими писателями.

80–90-е годы XX века и начало XXI века принесло в Латвию неожиданный взрыв интереса к постановке гоголевских комедий, которые, казалось, уже давно стали достоянием истории. И вдруг!

Так, в 1995 году свет рампы в Лиепайском театре увидела гоголевская «Женитьба» с Мартиньшем Вилсонсом (Mārtiņš Vilsons) в роли Подколесина, Марутой Климой (Maruta Klīma) в роли Агафьи Тихоновны.

В марте 2000 года «Женитьба» ставится в театре Дайлес. Здесь Подколесина играет Юрис Жагарс (Juris Žagars), Кочкорева – Гирте Кестерис (Girts Kesteris), Вита Варпиня (Vita Vārpiņa) – в роли Агафьи Тихоновны. Пространные рецензии печатаются с такими подзаголовками: «Авария мужчин перед мистической тайной женственности».

Весной 2002 года снова «Ревизор». На сей раз в Рижском Новом театре появляется новая (правда, весьма проблемная, можно даже сказать, скандальная) постановка «Ревизора». Но сам факт обращения к «Ревизору» весьма примечателен.

Кстати сказать, именно этими своими постановками латышские актеры заслужили немалый успех на разных международных театральных фестивалях.

Нестор Кукольник (1809–1868)

Большое поле исследовательской и популяризаторской деятельности падает на почти не познанное еще творчество Нестора Кукольника, который, кстати, как и его брат, писавший пьесы и романы по литовской истории, пользуются в Литве большой популярностью.

Мало же кому сегодня известна хотя бы по названию пьеса Нестора Кукольника, написанная в 30-е годы XIX века «Статуя святого Христофора в Риге».¹ Сюжет пьесы – упорное противостояние скандально популярного рижского архиепископа Сильвестра Штобвассера и рижан, с одной стороны, и рыцарей Ливонского ордена – с другой. С целью изгнания рыцарей из Риги архиепископ велит убить находящихся в Риге псковских купцов и приписать их убийство рыцарям. Однако, прибывшие как раз в это время послы московского князя дьяк Михаил и в особенности шутоватый Фома Середа (Сегеда – только в указании «действующие лица») выведывают истину и разоблачают архиепископа.

Но пьеса примечательна не только и не столько своим фантастическим сюжетом. Автор попытался восстановить силой своего воображения внешний и внутренний вид (вплоть до мебели и оборудования) рижской «русской деревни» XIV века, недружественные взаимоотношения псковских и новгородских купцов, а также переселившихся к этому времени в Ригу «жидовствующих» (которых драматург действительно считает евреями), во главе с самим их вождем Схарией. Кстати, они также принимают какое-то участие в войне архиепископа с орденом.

Несмотря на заманчивый замысел, постановка пьесы в Риге окончилась неудачей, что по мнению рецензентов связано с весьма сложным, к тому же замедленным детективным сюжетом пьесы.²

Названная пьеса была задумана драматургом как I часть трилогии о начале Ливонской войны. II часть «Князь Даниил Дмитриевич Холмский».³ Третья часть нами не установлена.

¹ Собр. соч. Т. II. – Спб.: «Фишон», – 1852, с. 295–374.

² Рижский вестник, – 1874, – №№ 102, 104.

³ Собр. соч. Т. II, – с. 375–514.

Нестора Кукольника занимала и общая для многих русских писателей тема «Паткуля». Пьеса Кукольника названа «Генерал-поручик Паткуль»¹ и заслуживает своего изучения и популяризации.

В латышской печати появлялись также исторические повести Нестора Кукольника: «Alois un Aldona. Vēsturisks romāns. Iz Lietuvas senatnes» («Алоиз и Алдона. Исторический роман. из литовской древности») (Baltijas Vēstnesis 1888, № 77, 146), «Saksijas grafs Morics. Vēsturisks romāns» (Саксонский граф Мориц. Исторический роман») (Baltijas Vēstnesis, 1885, №№ 156–271).

Александр Герцен (1812–1870)²

Памятником подлинной интернациональной дружбы стал групповой портрет Герцена и украинской писательницы Марии Вовчок – большого друга Писарева, написанный латышским художником Карлом Гуном (нем. Karl Hunn, лат. Kārlis Hūns) (1830–1877) в Париже в 1864 году.

Но вряд ли только дружба с Гуном заставила Герцена – издателя «Колокола», избличителя всех бед и язв царского самодержавия, зачинателя деятельности «революционных демократов», по разному трактуемых и оцениваемых в наше время, обратиться к «остзейской теме».

Ведь то, что остзейская эксплуатация куда сильнее российской, признавалось и славянофилами, и самим Михаилом Катковым!

В своем противостоянии «нововведениям правительства», писал Герцен («Балтийские немцы»), они идут «гораздо далее упрямства русских помещиков».

Завершая же свой памфлет «Высокородные лифляндские рыцари» Герцен замечает: ему не ведомы более низкие, более тупые и «дерзкие» нравы, чем «у кур-эст-лифских рыцарей».

На страницах «Колокола» не только далеко идущие обобщения. Из номера в номер печатаются потрясающие сведения о господствующем в Остзейском крае произволе.

¹ Собр. соч., Т. III, – с. 81–188.

² Источники: «Латвия», с. 310–317.

Молодая лифляндка Янсоне (статья «Под спудом»), в чем-то схожая с героиней толстовского романа «Воскресение» Катюшей Масловой. «Какие деньги, – вспоминает в этой связи Герцен, – платят полиции содержательницы за такие страшные преступления? Недешево берут и полицейские за убийство!»

«Какое варварство и какой цинизм!» – возмущается Герцен нововведению остзейских баронов, дающих своим крестьянам возможность откупиться от порки: по две копейки за удар.

Незавидна характеристика остзейских баронов и в «Письмах из Франции и Италии»: и отстали-то они от европейцев в социальном и культурном развитии; и бытовой их уклад давным-давно заплесневел и не отвечает больше требованиям нынешних дней; и в законах своих и в правилах они рьяно отстаивают вековые уложения, осужденные историей.

Не забыл Герцен и Бирона. Потомок конюха, «герцог на содержании» Бирон символизировал для Герцена самое полное выражение немецко-балтийской деспотии в России.

Для этнографа и краеведа бесценны записки Герцена, отражающие его странствования по Лифляндии и Курляндии. Сопоставление с русскими порядками и обычаями ведется в самых различных планах. Это и планетарный уровень: Восток и Запад. В славянском мире идет какое-то всеохватное созидание: «распашка нови», устремленность в «завтрашний день», «трудное зарождение». И еще: «Здесь – все пахнет известью... всюду строительный лес». На Западе – прах и тлен, «все разрушается, все становится нежилым, всюду трещины, обломки, мусор...»

Второй ряд сопоставлений – этнопсихологический склад русских людей и остзейских немцев. У первых – нравственные чувства, душа, беспечность, широкий размах. У вторых – над всем господствует *Ordnung*. Отсюда целая сеть препон и запретов, подчеркнутый педантизм, скупость, прямой расчет.

И наконец – поучительное сближение этнографических деталей, всякого рода микропримет: «В Лифляндии и Курляндии нет деревень, похожих на русские. Там фермы, разбросанные вокруг замка крестьянские хижинки стоят врозь: общины здесь не существу-

ет. На этих фермах живет бедный, добрый народ, придавленный вековым рабством, – остаток древнего народонаселения, затопленного волнами других рас».

Упряжь на лошади, не украшенная русской дугой, звенела зато двумя десятками бубенцов («Былое и думы»).

В архиве самого близкого Герцену человека – Огарева сохранились материалы о грядущих преобразованиях в России. Среди них – проект о Федеративной Республике, в которую на равных правах войдет «Прибалтийский Союз».

Поборником герценовских освободительных идей стал последовательный латышский шестидесятник Петерис Балодис (Pēteris Balodis). Когда осенью 1861 года появилась направленная против Герцена брошюра Шедо-Ферроти (остзейский барон Ф. Фиркс), Балодис в своей «Карманной типографии» напечатал прокламацию «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». По просьбе Балодиса Д. Писарев основательно «разобрал» памфлет Шедо-Ферроти. Но арест Балодиса преградил печатание писаревского анализа.

Широко отметила латышская печать столетие Герцена. К трудам и жизненному подвигу первого революционного демократа не раз обращался Андрейс Пумпурс.

РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Александр Островский (1823–1886)¹

Зачем приезжал А. Островский в Двинск (с 1920 г. Даугавпилс) в 1845 году – покрыто мраком неведения. Но ни латышей, ни староверов драматург в Двинске не заметил и в своем творчестве их не отразил. Остался он безучастен и к остзейскому вопросу, который так волновал в 60-е годы всю просвещенную Россию.

Поэтому рассматривается деятельность литератора только в плане его восприятия в Остзейском крае, затем в Латвии 50–80-х годов XX века. В этот последний период были поставлены чуть ли не все комедии величайшего драматурга земли русской, но здесь будут представлены лишь некоторые из его пьес, которые имели наибольший резонанс в Латвии.

С драматургией А. Островского зрители Двинска (там спектакли на русском языке ставились еще до столицы Лифляндии) и Риги знакомились различными заезжими гастролирующими труппами. Первый же латышский спектакль А. Островского – «Свои люди, сочтемся», был поставлен в 1875 году (через год после «Ревизора») в Вецпиебалге силами тех же деятелей латышской культуры, которые год тому назад играли «Ревизора».

Пиебалгский спектакль отличался тем, что в пьесе выступали одни латыши: Петерис Крейлис (Большов) – его играл учитель Пилсатниекс (Jēkabs Pilsātnieks), Ансис Клистерис (Подхалюзин), Листс (Рисположенский) в исполнении Матиса Каудзите (Matīss Kaudzīte), Олимпия Берг (Устиния Наумовна), Карлина (Липочка) – ее играла Розалия Неймане (Rozālija Neimane). Переводчик и

¹ Источники: Инфантьев Б., Лосев А. «Обращенные к Латвии строки», – Рига: «Звайгзне», – 1999, – с. 11–24 (далее: «Обращенные»).

создатель новых персонажей был Индрикис Алунанс (Indriķis Alunāns).

Спектакль отличался не только латышскими именами действующих лиц. В нем не было и финальной сцены, где зло наказано и торжествует добродетель, сочиненное Островским в угоду цензуре.

Русские зрители пьесу смотрели в Риге и Либаве, Двинске и Митаве в исполнении заезжих актеров Александринского театра во главе с М. Писаревым в роли Большова. По словам «Рижского вестника», «ему шумно бисировали на протяжении всего спектакля» (1898, № 64).

Свет латышской рампы пьеса увидела в 1912 году в Либаве, на этот раз с подлинными, русскими фамилиями персонажей. В 1929 году там же ролью Большова отметил свой бенефис сам режиссер Роде-Эбелинг (Hermanis Rode-Ebelings).

В 1941 году пьесу ставили режиссер Янис Леиньш (Jānis Leiņš) и сценограф Артурс Лапиньш (Arturs Lapiņš) в чисто русском духе – с самоварами и канарейками. Постановка – по газетным отзывам напомнила прежние блестящие спектакли русских гастролеров. Этот спектакль [в нем играли Анта Клинтс (Anta Klints) и Мирдза Шмитхене (Mirdza Šmithene), Карпс Клетниекс (Karps Klētnieks) и Вилма Мелбарде (Vilma Melnbarde)] хорошо запомнился Янису Осису (Jānis Osis) (Большов). Через два десятилетия он вспоминал: «Я постигал многосложный образ главного героя пьесы с радостью и с несомненной пользой для себя. Какой простор для артиста! Столь не просты для латышского актера предлагаемые драматургом и режиссером обстоятельства!..»

В 1951 году к пьесе обратился театр Дайлес (Ваздикс, Ферда, Шмитс, Валтерс). Однако, критики сетовали на то, что Херманису Ваздиксу (Hermanis Vazdiks) не хватило прижимистости Большова, его самодурства, не знающей предела алчности. У Подхолюзина (Шмит) не хватало мужества и душевной черствости.

Ставятся и «Женитьба Балзамина», и «Правда хорошо, а счастье лучше» (Елгава), «Бешеные деньги» (Рига, Лиепая), «Женитьба Белугина» (Рига, Лиепая, Цесис), «Снегурочка» (Одесская латышская труппа в годы войны), «Таланты и поклонники», «На бойком месте», «Без вины виноватые» (Лиепая, Кулдига, Айзпите).

«Грозу» впервые зрители Риги, Либавы, Двинска и Митавы увидели в 1871 году в исполнении заезжей труппы Н. Яковлева. Спектакль оставил такое потрясающее впечатление, что Рижский немецкий театр поспешил выступить со своей постановкой. Несмотря на хороший перевод непонятные страдания Катерины рижских бюргеров мало разволновали.

В 1887 году «Грозу» ставила почитаемая во всей провинции труппа А. Линтварева с Анной Романовской в заглавной роли. Игра примадонны вызвала восторг не только русских зрителей, но и немцев, и латышей.

Как писал рецензент газеты «Baltijas Vēstnesis», Анна Романовская «превзошла все ожидания и вполне оправдала славу, которая сопутствует ей повсюду».

«Гибкий стан, покоряющий темперамент, нездешней красоты голос, социальная заостренность образа, – детализирует «Rīgaer Tageblatt», – все это захватило зал, вызывало горячую признательность зрителей».

Январь 1891 года в театрах Остзейского края прошел под знаком примадонны главных театров Петербурга и Москвы Полины Стрепетовой. «Неизъяснимо загадочной, прекрасной, явилась перед нами Стрепетова в сцене грозы. Ее мятущуюся, устремленную к полету, отторгнутую миром кабаних героиню забыть невозможно. И долго не умолкает стон страдающей ее души, не забудется последний скорбный аккорд», – читаем в 8-м номере «Рижского вестника».

Первым латышским Катеринам не везло. Только в начале 40-х годов Нина Леймане (Nina Leimane) в Елгавском драматическом театре впервые на латышской сцене достигла положительных результатов.

Успешно прошли спектакли «Грозы» в 1971 году в театре Юного зрителя в постановке Адольфа Шапиро. В этой постановке непревзойденной в роли Кабанихи оказалась Вера Сингаевска (Vera Singajevska), в роли Дикого – А. Майзукс (Aleksandrs Maizuks).

По числу латышских постановок с «Грозой» могут сравниться только «Доходное место» и «Лес», который включался в репертуар 16 раз, «Доходное место» – 17.

Модест Писарев в упомянутом уже 1897 году поразил зрителей также в роли Несчастливцева. «Финальные сцены – читаем в «Рижском вестнике», – прошли превосходно. Писарев блеснул своим редкостным дарованием. Первая встреча с Аркадием Счастливым в лесу, монолог из пятого акта с пафосной вставкой из Шиллера привели в восторг публику. Последние слова артиста слились с возгласами «браво». Молодежь ринулась на сцену, и артист оказался в восторженных объятиях».

Успехом завершилась первая постановка в латышском либавском театре в 1910 году. Спектакль не раз повторяли и не только в Либаве.

Сезон 1933–1934 годов в Даугавпилсе и Риге прошел под знаком гастролей Василия Качалова.

Образ артиста-трагика, человека гордого, неподкупного, стал для Качалова стержневым, судьбоносным.

На качаловские вечера откликнулись едва ли не все латвийские газеты. «Триумф Василия Ивановича Качалова в «Лесе» («Сегодня вечером», 1933, 29 августа): Вчера шел «Лес» [...] столько замечательных артистов потрясли зал. На аплодисменты Качалов, в парике и без парика, в привычном для всех пенсне и строгом костюме. Публика же никак не хотела расходиться».

Заметным событием в театральной жизни Латвии второй половины 30-х годов стал спектакль «Лес» в постановке Теодорса Лациса (Teodors Lācis).

1932 год. На сцене Лиепайского народного театра режиссер Теодорс Лацис впервые сам играет Несчастливцева. Он находит самые точные единственные по выразительности интонации, мимику, жесты. Несчастливцев Теодорса Лациса никогда не знал безоблачной доли баловня судьбы, никогда не расставался с дорожным мешком странствующего актера, никогда не наедался досыта, но всегда отличался благородством мыслей и поступков, твердым, рассудительным умом, горячим, неподкупным сердцем. Рецензенты, размышляя над переменчивой долей вечного странника Несчастливцева, находили полное сходство театрального персонажа и талантливое его исполнение.

1936 год. Ежевечерне выступая на одной из трех сцен – лиепайского латышского, рижского русского, рижского латышского (народного) театров, – Теодорс Лацис радовал зрителей в спектакле «Лес». В этой роли в свое время он выступал и в Харькове, и в городах Поволжья, Украины, Кавказа.

Кстати, это была единственная пьеса Островского, которая в независимой Латвии 20–30-х годов была поставлена на латышской сцене.

«Доходное место», как отмечалось, принадлежит также к наиболее популярным пьесам Островского в Латвии.

Первые блестящие постановки восходят также к труппе Н. Яковлева (1871), на латышской сцене в Либаве (1895), в Риге (1893).

В начале XX века латышские спектакли снова возобновляются: в 1910 году в Интеримтеатре, в Лиенае.

В конце 40-х, начале 50-х годов к пьесе снова обращаются театры Лиенаи, Валмиеры, Риги.

В 1987 году пьесу сыграли артисты театра Дайлес.

Пьеса Островского «Таланты и поклонники» примечательная тем, что стараниями театроведа Викторса Хаусманиса (Viktors Hausmanis) зрители получили возможность прочесть дневниковые записи одной из популярнейших латышских актрис Велты Лине (Velta Līne) о работе над ролью Негиной.

Приводим несколько выдержек из этого дневника.

«4 января 1948 года. Жанис Катлапс (Žanis Katlāps): Вам придется воплотить образ Негиной в «Талантах и поклонниках». В этой роли не знала себе равных Ермолова.

6 января. Медленно, не без труда постигаю мир чувственности Негиной. Полюбить Великанова для героини Островского значит остаться актрисой, не разлучаться с театром. Без сцены для нее был свет не мил.

30 января. Четвертая картина III действия. Продолжается «застольный период». Негина никак не может добиться бенефиса. Спасибо Великанову – выручил. Так рухнула последняя стена между преуспевающим, влиятельным купцом и артисткой.

25 февраля. Костюм вопреки предсказаниям многих, нисколько не стесняет меня. Будто в нем родилась.

7 марта. Третий спектакль. Жанис Катлапс доволен: главное – была нежность, океан нежности. Без добрых чувств нет Негиной».

В 1948 году Московский художественный театр отмечал свое пятидесятилетие. На юбилейном концерте выступали такие знаменитости, как Ольга Книпер-Чехова и Антонина Нежданова, Николай Черкасов и Валерия Барсова, Ананий Хорава и Галина Уланова, Велта Лине и Анта Клинтс. Последние сыграли сцену из «Талантов и поклонников». Когда смолкли аплодисменты, на сцену поднялась московская Негина Алла Тарасова и расцеловала Велту Лине – латышскую Негину.

Островский не забыт и сегодня. Об этом красноречиво говорят спектакли последних лет. «Таланты и поклонники» в Национальном театре в 2000, «Поздняя любовь» в театре Дайлес в 2001.

Юрий Самарин (1819–1876)¹

Самарин в Лифляндии с 1847 года, писал резко обличительные «Письма из Риги» (1849). Следует арест, заключение в Петропавловскую крепость, ссылка в Симбирск. Но уже в 1852 году выходит его книга «Общественное устройство г. Риги». Поле битвы он не собирается покинуть и работает над «Окраинами России» – Балтийским поморьем, Северо-западным краем Польши и Юго-западным краем России.

I том выходит в 1868 году в Праге, затем переиздается в Берлине. Его содержание – история перехода латышских крестьян в православие в 40-е годы XIX века. Книга вызвала скандал в высших кругах Петербурга. В охранке было заведено особое «Дело Самарина».

В приложении ко второму выпуску были опубликованы «Записки православного латыша» Индрикиса Страумите (Яниса Лициса) (Jānis Līcis)². В тексте второго выпуска рассказано о конфликте русского правительства с Евангелическим союзом, защищавшим

¹ Источники: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии», с. 38–42.

² См. Инфантьев Б. Янис Лицис, его «Записки православного латыша» и «Летопись Адеркашской церкви». – «Православные в Латвии», вып. 3, – Рига: «Филомания», – 2001, – с. 7–66.

лютеранство в Прибалтийских губерниях. В VI выпуске Самарин снова пишет о крестьянских делах, лифляндском законодательстве.

Поборник православия погибает трагически от простого пореза пальца в Берлине, отпевают его в лютеранской церкви! «Тихая молитва безвестного пастора примирила Юрия Федоровича с немцами¹».

В книгах балтийской серии можно почерпнуть немало выразительных цитат, посвященных беднейшему населению Риги – русским жителям Московского форштадта. На протяжении многих страниц автор антиостзейских очерков говорит о притеснениях русских рижан со стороны балтийских немцев, их самоуправления.

«Русское Екатерининское училище сгорело, и с тех пор возобновлено не было; православное духовенство не получает ничего от города. Страшная бедность и сопряженный с нею разврат сделались почти неизбежною долею русских».² Положение о бесправии русских ремесленников в городе Самарин иллюстрирует рядом примеров из личного опыта:

«Приехав в Ригу, я нанял квартиру; хозяин, сверх годовой платы, потребовал от меня десять рублей на разные починки, которые могли бы оказаться нужными по отъезде моем; «для вас, – говорил он [...] – это будет гораздо покойнее, потому что если бы вы захотели производить починки от себя, то, может быть, вы призвали бы русского мастера, а я этого не потерплю». Этот господин знал, что я русский и что я был причислен к комиссии, которая между прочим ревизовала и цеховое устройство.

Русский купец, хорошо мне знакомый, захотел оштукатурить у себя потолки и, зная по опыту негодность хваленой немецкой работы, пригласил русских; они должны были как воры, в ночное время, прокрасться по одиночке к нему в дом; там он их запер на целую неделю, а сам уехал на дачу и все таки у него произведен был обыск». (с. 96)

¹ Ковальчук С., Ю. Ф. Самарин, – СМ Сегодня, – 1994, – 4 мая.

² Самарин Ю. «История Риги» // Собр. соч. VII, – Москва: Мамонтъев, – 1889, – с. 507.

«Русский, трудящийся в поте лица, – констатирует Самарин, – платит оброк немцу, который стоит подле него скрестивши руки, покуривая трубку и побранивая русских; а в капитуляции города Риги было сказано: по занятии города каждому позволено будет по желанию обеспечить себе пропитание и занятие промыслом».

(с. 95)

Даже у немецкого купца, поручившего строительные работы вне города, на своей даче русским подрядчикам, некие немецкие молодчики «разломали забор, потом сожгли его сарай, конюшню и все его экипажи, а самого хозяина принудили с семьей бежать к соседям».

«Другой купец первой гильдии, русский, заказал немецкому мастеру какую-то постройку и приехал посмотреть на работу; мастер встретил его, повел за собою и, выхваляя ему свою кротость в обхождении с подмастерьями, сказал ему как сильнейшее и неопровержимое доказательство, указывая на русских работников: «Вы можете судить о моей снисходительности, когда я даже этих скотов русских не бью».

(с. 96-97)

«По статистическим данным 1847 года, русские, принятые в цехи, относились к немцам, как 1:400. А между тем, Московский форштадт представляет вид страшной нищеты: полунагие мальчишки ползают по улицам и добывают себе пропитание промыслом, от которого получили название карманщиков; взрослые не уплачивают податей; их сажают в рабочий дом, секут в противоположность законам, и покуда они отрабатывают старые недоимки, на них накатываются новые, за все время их пребывания в рабочем доме, так что они выходят из него обремененные долгами, и через несколько месяцев их тащат опять туда же. А какими же средствами добыть эти деньги, когда в цехи не принимают, а вне цехов не позволяют работать?»

(с. 105)

Роль и участие российских научных обществ в организации целенаправленного и широкого собирания и публикации латышского народного творчества¹

Гордость латышского народа – уникальное собрание народного творчества, исчисляемое миллионами записей.

Собирание народных песен, сказок, записи примет и обычаев в 60–80-е годы XIX века стало подлинным знаменем национального объединения и сплочения латышей в годы Первого национального пробуждения (*Pirmā atmoda*), их борьбы за эмансипацию от немецкого культурного (и в какой-то мере, экономического) гнета.

Поэтому немаловажным обстоятельством становится выяснение вопроса, как началось это общенародное движение латышей в 60-е годы, как оно развивалось в 70–80-е и последующие, кто помог латышам в научно-обоснованной организации этого процесса?

Известно также, что первыми собирателями и издателями образцов латышского фольклора, главным образом, и поначалу только народных песен, были великий гуманист XVIII века Гердер; остзейские немецкие пасторы: Бергман, Вар, Бютнер, фольклорист Мангардт. Готхард Фридрих Стендер переводил латышские песни на немецкий язык. Собирательская и издательская деятельность немцев была тематически ограничена: стремились не записывать и не публиковать песни непристойные и социально заостренные. Пастор Манцелис называл песни такого содержания «*blēņu dziesmas*» (шаловливые песни) и ратовал за их изгнание из быта латышей. Первые латышские деятели культуры, увлекаясь прежде всего мифологией (вслед за Стендером, Меркелем и Юрисом Алунансом) и знакомясь с опытом эстонцев, начинают высказывать пожелания самим латышам заняться собиранием и изданием своего эпоса. Но пока все ограничивалось только благими

¹ Источники в рукописи Б. Инфантьева «Связи латышских и русских фольклористов». В архиве Б. Инфантьева.

пожеланиями, воспеванием древних богов в стихах Аусеклиса и, позднее, Пумпурса («Лачплесис»).

Положение резко изменилось, когда за дело взялись русские научные общества – «Императорское географическое» в Петербурге, «Императорское общество Естествоиспытателей, Антропологов и Этнографов» в Москве.

Что побудило эти общества обратить внимание именно на необходимость собирания латышского фольклора?

Прежде всего то обстоятельство, что руководили этнографическими отделениями и того и другого общества славянофилы-панслависты Владимир Ламанский (в Петербурге) и Нил Попов (в Москве). К тому времени стараниями отца славифильства Хомякова в кругах славянофилов стали хорошо известны выводы российских, петербургских и остзейских немцев (Шлецера, Ватсона, Цимермана) о близком родстве латышского и русского языков. Поэтому и на латышской земле была распространена идея о том, что все славянские ручейки должны слиться в одном российском море. А для этого надо было эту близость и родственность доказать не только лингвистически, но и этнографически.

В первые же годы своего существования Географическое общество направило в Западный край – в землю латышей, академика Шёгрена для собирания этнографического материала, а он, встретившись с вымирающими ливами, разумеется, увлекся их изучением, а латышами пока не занялся. О ливах он собрал ценный материал, не потерявший своего значения и в наше время.

40-е годы XIX века из-за политической ситуации не были благоприятны для собирания этнографических сведений в Остзейском крае. Положение изменилось с изменением политической ситуации в начале 60-х годов. И удивительно на первый взгляд, что это совпало с появлением в Петербурге Кришьяниса Валдемарса (Krišjānis Valdemārs).¹

Сложен, но в какой-то мере закономерен путь крестьянского сына, ратующего за просвещение и преуспевание своего порабо-

¹ Источники в статье Б. Инфантьева «Mazpazīstamas epizodes Kr. Valdemāra dzīvē». // *Letonica*, – 2000, – № 1. – с. 146–152.

щенного и угнетенного народа, для которого был один-единственный выход «в люди» – онемечивание. Валдемарс призывал своих земляков, оставаясь латышами, путем образования и труда выбиваться в те же «люди».

Мощную руку помощи Валдемарсу протягивает сам генерал-губернатор князь Александр Аркадьевич Суворов, тот самый, который так презирал русских простолюдинов и так искал признательности немецких баронов и бюргеров! Надо полагать, что Суворов разгадал в Валдемарсе незаурядную личность, которая вслед за собой поведет в онемечивание весь латышский народ. Может быть, оно так и было бы: исследователи указывают на первоначальную попытку Валдемарса сблизиться с немецкой элитой, – он даже женился на немке знатного происхождения. Однако немецкая элита его так просто в свои ряды не приняла, и ему пришлось искать иные пути выхода «в люди».

Благодаря заботам Суворова Валдемарс в 25-летнем возрасте (совсем как Ломоносов!) оказался на гимназической скамье, затем в Юрьевском университете и с рекомендациями своего благодетеля в Петербурге, где князь стал уже генерал-губернатором престольной столицы. Понятно, что рекомендации Суворова раскрыли все двери, а далее уж он действовал своим незаурядным талантом, организуя столь необходимую для России сеть морских школ.

Но Валдемарс верен себе и параллельно с государственной деятельностью не забывает о деятельности на благо латышей. Она проявляется в издании газеты «Pēterburgas Avīzes» («Петербургские газеты»), независимой от остзейских властей: сам Валдемарс – цензор газеты (издатели Юрис Алунанс, затем Кришьянис Баронс) (Krišjānis Barons).

Но с того же 1862 года, когда появляются первые номера независимой латышской газеты, в библиотеку Географического общества поступают брошюры Валдемарса об упорядочении российского мореходства, о создании школ будущих моряков. Среди членов Географического общества – и это очень важно – появляются сотрудники и друзья Валдемарса.

И вот примечательно. С появлением Валдемарса в Петербурге в Географическом обществе, этнографическом ее отделе – им руководит славянофил-панславист Владимир Ламанский – историк славянских народов, начинают поговаривать о новой этнографической экспедиции в землю латышей. Что эта идея у руководителей этнографического отдела появилась не без воздействия Валдемарса, свидетельствует то обстоятельство, что именно к нему обращается Ламанский с просьбой посоветовать, кто бы мог выполнить высокое и ответственное задание общества. И у Валдемарса ответ готов: Кришьянис Баронс, который еще в бытность свою на родине напечатал в латышской периодике несколько статей о том, как эстонцы плодотворно взялись за соби́рание своего народного творчества. Но Баронсу нужно чем-то проявить себя, утвердить свое имя в научных кругах. Валдемарс обращает его внимание на объявленный Московским обществом Естествознания, Антропологии и Этнографии конкурс, среди проблем которого значится также составление историко-этнографической библиографии о какой-либо окраинной народности Российской империи. И Баронс берется за составление «Указателя сочинений о коренных жителях Прибалтийского края», который тут же в 1863 году был опубликован в трудах Географического общества, а также отдельным изданием в количестве 300 экземпляров.¹

О том, какое значение придавал Валдемарс библиографической брошюре Кришьяниса Баронса, свидетельствует несколько фактов: Валдемарс пишет из Москвы письмо Ламанскому с просьбой прислать ему несколько оттисков, которые ему крайне нужны. Не получив ответа, он приезжает в Петербург к Леониду Майкову за брошюрами. По этому поводу в архиве Ламанского и Майкова сохранилась такая переписка: «У меня сидит Валдемарс и спра-

¹ Источники в статьях Б. Инфантьева: *Krišjānis Barons un krievu zinātne // Tautas zinātne un mūsdienų kultūra. I.* – Рига: Зинатне, 1984, – с. 40–56; В. Infantjev *Die Beziehungen von Krišjānis Barons zu den wissenschaftlichen Gesellschaften in Moskau und Petersburg. // Symposium Balticum. A Festschrift to honour Professor Velta Rūķe-Draviņa.* – Hamburg: Helmut Buske Verlag. – 1990, – с. 155–159.

шивает, где достать брошюру Кр. Баронса». Ламанский ему тут же отвечает, что у него имеется 300 оттисков, и зовет Валдемарса зайти к нему, кстати, соберутся знакомые люди, и Валдемарс сможет с ними повстречаться.

Что же касается поездки в Прибалтику, уже тогда, в 1862 году, возникли неожиданные преграды: оказалось, что Баронс в Лифляндии считается под надзором полиции, и появление его там, да еще с таким заданием Императорского общества, было бы нежелательно.

Иван Спрогис¹ в день всеобщих студенческих волнений в 1861 году был исключен из Духовной академии и по ходатайству сестры Василия Стасова принят на службу в библиотеку. Но Спрогис собирается переселиться в Вильно, где ему обещают должность инспектора народных школ, и он также вынужден отказаться от предлагаемой научной деятельности.

Наконец, исследователь найден. Это Юлий Калейс-Кузнецов (Jūlijs Kalējs-Kuzņecovs), выпускник юридического факультета, близкий к славянофильским кругам Ламанского. К этому времени он уже опубликовал в «Отечественных записках» под псевдонимом -ов цикл статей.² Кузнецов оказался на литовско-латвийской границе и увлекся собиранием прежде всего материала юридического фольклора – сведений о правовых отношениях. Существует предание, что Калейс-Кузнецов записал большое количество латышских народных песен, которые, якобы, отдал в распоряжение Кришьяниса Баронса. Однако в реестрах этого фундаментального издания эти песни нигде не значатся. Таким исходом второй экспедиции в латышскую часть Прибалтики общество, разумеется, удовлетвориться не могло, но настал грозный 1863 год с повстанческими действиями в Польше, Литве, Латгалии, и помыш-

¹ Источники в статье Б. Инфантьева «Pirmais latviešu sastādītais tautas dziesmu krājums un tā autors Sprogis.» // *Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis*. – 1993, – № 10, – с. 11–14.

² Ю-овъ [Юлий Кузнецов]. Экономический и нравственный быт балтийских крестьян. // *Отечественные записки*, 1867, № 3-4, с. 343–344; № 5–6, с. 278; № 7, с. 306.

лять об этнографических экспедициях в таких условиях было немыслимо.

В то же время над Валдемарсом и Баронсом, их газетой сгущаются черные тучи остзейского воздействия. Воду на их жернова льют неудачные предпринимательские попытки Валдемарса – способствовать переселению латышей в Новгородскую губернию. Не помогает больше и его личная дружба с министрами и великими князьями. Друзья советуют ему стать действительным членом Императорского Географического общества, что Валдемарс и делает. Событие это, а именно принятие Валдемарса в действительные члены, вылилось в ряд манифестаций русско-латышского национального сотрудничества и дружбы.

Процедуру эту Ламанский растянул на целых три этапа – заявка к выборам, выборы в Этнографическом отделе, затем на общем собрании общества. И каждый раз Ламанский выступал с программными речами, направленными против притеснения немцами латышей и родственных им славян не только в Остзейском крае, но и на Западе – в восточной Германии, в Австрии. Особенно резко Ламанский выступил в своем Этнографическом отделении.

В качестве ближайших задач Этнографического отдела его руководитель назвал изучение этнографии литовцев и латышей, их отношений к полякам и немцам, с одной, к русским, с другой стороны. Такие исследования помогут оградить литовцев и латышей от ополячивания в Литве, от онемечивания в Прибалтийских губерниях.

Первый раз Валдемарс в качестве полноправного члена присутствовал на заседании этнографического отделения 12 марта 1865 года. Ламанский вновь выступает с пространной речью по поводу латышско-немецких отношений в общественной и культурной жизни.

И снова звучит лестная оценка установления непосредственных и тесных контактов русских ученых с латышскими. Ученый критикует прежнее отношение русской науки к народам, населяющим Россию, в результате чего «густым туманом» застилались от русской науки целые страны и народы, с которыми она

знакомила, и о которых судила по чужим, пристрастным описаниям. Как прежде – Болгарию, Чехию, Литву русские ученые считали греческой, немецкой, польской землями, так точно и прибалтийские губернии почитались землею немецкою. Это ложное представление проистекало из тех же причин, как и ложные понятия о славянских землях Турции и Австро-Венгрии или о Западной России. Русские ученые не познакомились прямо и непосредственно с коренным населением Прибалтийского края, с эстами и латышами, довольствовались сведениями и отзывами о них прибалтийских немцев. Свою речь Ламанский завершил следующими словами:

«Одинаково благосклонные ко всем народам без исключения, всем равно желая блага, мы, русские должны строго блюсти, чтобы и народы в их взаимоотношениях строго руководствовались началами справедливости. Прямо не вредя латышам, мы, русские, слишком долго были несправедливы к ним, напрасно полагаясь на чужие о них свидетельства, несвободные от феодально-сословных и племенных предрассудков и напоминающие отзывы германских немцев о покоренных ими славянах. Приветствуя в господине Валдемарсе возрождение целой народности, столь близкой нам по происхождению и столь важной для нас в гражданском отношении, пожелаем, чтобы латыши побольше посылали России таких полезных деятелей».

Затем историк М. Семевский прочел записки слепого крестьянина Ширяева, посетившего в своих странствиях Ригу и описавшего угнетенное положение в этом городе русских и латышских ремесленников. «В продолжении чтения, – читаем в протоколе заседания – слушатели несколько раз изъявляли неудовольствие: «Что за привилегии. Как они терпимы! Это чистый произвол!»

Полный протокол собрания, напечатанный помимо Известий общества в «Виленском вестнике» (1869, № 32), в аксаковском «Дне», получившие широкую огласку события не могли пройти незамеченными и в правительственных кругах. Министр внутренних дел Валуев (тот самый Валуев, которому в свое время Валдемарса как знающего и умного администратора рекомендо-

вал князь Суворов) председателю Географического общества графу Литке указал на непозволительность событий, имевших место на заседании Этнографического отделения 12 марта. Ф. Литке должен был признать: «...убедясь из самих объяснений г. Ламанского, что в Отделении этнографии происходили чтения и рассуждения не вполне соответствующие назначению Общества, Совет журнальным постановлением положил просить всех гг. председательствующих в отделениях обратить особенное внимание на то, чтобы чтения, суждения и прения в отделениях не выходили из круга предметов, составляющих прямую задачу общества».

Широкий резонанс событий начала 1865 года привлек внимание этнографов и общественно-политических деятелей и в Вильне, где суждено было увидеть свет первому сборнику латышских песен, составленному Янисом Спрогисом (Jānis Sproģis), и в Москве, где по инициативе единомышленников Ламанского, Нила Попова соратнику Валдемарса Фрицису Бривземниксу (Fricis Brīvzemnieks) удалось наконец собрание латышского фольклора превратить в подлинное всенародное движение латышей.

Но нельзя не отметить и другого, на наш взгляд немаловажного события, затерявшегося в изгибах истории и незаслуженно забытого историками и фольклористами.

Судьба Каспарса Биезбардиса (Kaspars Ernests Biezbārdis), высланного остзейцами в Калугу за переписывание верноподданнического адреса латышей императору. Благодаря Валдемарсу стала известна Ламанскому, в результате чего появилась его публикация в аксаковской газете «День», вызвавшая соответствующую реакцию властей.

Нас же здесь интересует другой, фольклористический аспект контактов Биезбардиса с Ламанским. Эти контакты отразились в архивных материалах, в частности в письме Ламанского московскому своему единомышленнику Нилу Попову 26 октября 1865 года: «Статья М[осковских] В[едомостей] о Биезбардисе имела доброе действие. Его тотчас после нее освободили. На днях он будет в Москве. Постарайтесь с ним познакомиться, для сего напишите ему письмо на имя сына его Владимира Карловича Биезбардиса...

Он человек очень дельный и может сообщить Вам много любопытного».

В салоне Ламанского Биезбардис, очевидно после освобождения из Калужской ссылки, установил контакты с руководителем сорбского (лужицкого) национального пробуждения Яном Смоляром (1817–1886), издателем на немецком языке ряда газет и журналов (*Slavisches Centralblatt, Bautzen.* – №№ 3–4, 8; 1866, – №№ 28, 41, 42), ратовавших за национальное возрождение сорбов. Здесь в том же 1865 году напечатана пространный статья Биезбардиса «*Ein Wort über das alte lettische Volkslied*» («Слово о старой латышской народной песне»). Заметки о латышском фольклоре и общественно-политических отношениях в Остзейском крае печатаются в газете Смоляра и в последующих номерах (анонимно) также в 1866 году.

Эстафету Петербурга в деле собирания и издания латышского фольклора в середине 60-х годов переняло Вильно, где после событий 1863 года усилились славянофильские настроения, разумеется, в официальных, правительственных учреждениях. Ивану (Янису) Спрогису не удалось стать инспектором народных училищ он определился сотрудником государственного архива. Все же с Попечителем народного образования славянофилом Корниловым Спрогис продолжает поддерживать самые тесные контакты, издавая на латышском и русском языках календари (латышский текст печатается русскими буквами, хотя запрет латиницы относится только к литовскому языку).

В плане осуществления строгой русификации предполагается усилить и национальное пробуждение белорусов, которые до того вместе с выходом «в люди» становились поляками. Если уж не удастся их сделать чисто русскими, то пусть они остаются хоть «чисто белорусскими». Поэтому «Виленский вестник» на своих страницах печатает статью о белорусских народных песнях, а потом и издается небольшой сборник таких белорусских песен. Это событие стало и своего рода указателем на необходимость таким же образом доказывать и популяризировать национальную самобытность латышей (во исполнение предначертаний Ламанского,

который и в виленских славянофильских кругах пользуется непрекаемым авторитетом). И вот на страницах того же «Виленского вестника» публикуется не менее солидная статья о латышских народных песнях (1886, № 218).¹ Предполагается в следующих номерах печатать сами песни, которые автор статьи записал от своей матери и сестры во время своего летнего отпуска. Однако, песен набралось такое большое количество, что можно издать их в отдельной книге, что и успешно осуществляется в 1868 году.

О том, как Спрогис работал над переводом песен на русский язык, говорилось уже в разделе фольклористики. Здесь же отметим как отличительную особенность сборника публикацию социально направленных песен – о тяжелом положении латышских крестьян на ненавистной барщине, о ненависти к поработителям-угнетателям – немецким баронам. Эти песни полностью отсутствовали в сборниках немецких пасторов – латыши приспешникам немецких баронов, разумеется, такие песни не доверили.

Именно это обстоятельство сделало сборник Спрогиса исключительно популярным. Его использовали все те многочисленные писатели и издатели самых разных этнографических, политических, популярных книг, брошюр и статей на русском, польском, литовском языках.

О сборнике Спрогиса пишет такой авторитетный русский фольклорист как Орест Миллер (Известия ИГО, 1869, № 1), виленский фольклорист, издатель белорусских песен П. Гильтебрандт (Виленский вестник, – 1869, – № 9). Социальные песни из сборника Спрогиса использовал в своем капитальном сборнике «Народы России» Р. Попов (глава «Латыши». – Москва. – 1878), а также в сборнике «Природа и люди»; П. Семенов-Тянь-Шанский в «Живописной России» (т. 2, Москва. – Спб. – 1882); А. Потебня – в обстоятельном исследовании «Объяснение малорусских и сродных песен» (Варшава, 1889); А. Фаминцын – в монографии «Гусли» (Спб. 1890); А. Семеновский – в «Сборнике в память русского

¹ Источники в статье Б. Инфантьева *Pirmais latviešu pašu sastādītais tautas dziesmu krājums un tā autors Jānis Sproģis*. – *Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis*, – 1993, – № 10, – с. 11.–14.

статистического съезда», – Спб. – 1870); в «Этнографическом обзоре Витебской губернии» (Спб. – 1872); В. Долгоруков – в сборнике «Витебская губерния» (1890); Е. Чешихин – в сборнике Материалов и статей по истории Прибалтийского края (т. I, – Рига, – 1876); А. Ходзько (сотрудник Адама Мицкевича) в книге «Les chants historiques de l'Ukraine et les chansons des Latyshes des Bords de la Dvine occidentales. Perodes paiennes, normarde, tartare, polonaise etc Traduits sur les textes originaux» (Paris, 1879); А. Сапунов – в книге «Река Западная Двина» (Историко-географический обзор, – Витебск, – 1893); Д. Шендрик, М. Довнар-Запольский – в книге «Распределение населения Верхнего Поднестровья и Белоруссии по территории, его этнографический состав, быт и культура» – в сборнике «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (Спб. 1905); в польских и литовских журналах «Biblioteka Warszawska»; «Wisła»).

Но самое главное – в руках Валдемарса, который к этому времени переселился в Москву и стал не только сотрудником «Московского вестника», но и правой рукой влиятельного Михаила Каткова, стал мощным аргументом необходимости организации новой фольклорной экспедиции в Прибалтику московским Императорским обществом Естествознания, Антропологии и Этнографии в 1869–1870-х годах. Вершителем идей Валдемарса и его новых друзей и сотрудников, и в первую очередь видного московского славянофила Нила Попова, стал Фрицис Бривземниекс (Fricis Brīvzemnieks), в недавнем прошлом Трейланд – отпрыск айзпутского онемечившегося ремесленника. Поначалу Бривземниекс помогает Валдемарсу в составлении латышско-русско-немецкого словаря. К предполагаемой своей фольклористической деятельности сознательный и усердный помощник Валдемарса готовится очень интенсивно, о чем свидетельствуют сохранившиеся в библиотеке имени Мисиня записные книжки. Он перечитывает тех русских авторов, которые в своем творчестве отразили наиболее яркие страницы восточнославянского фольклора Гоголя, труды Буслаева, Костомарова, не чуждается Белинского.

В записях Бривземниекса много такого, что потом станет основой решения многих проблем публикации латышских народных песен (например, буслаевский принцип расположения материала «от колыбели до могилы», необходимость отмечать сведения об информаторах и т. д.).

Уже первое выступление Бривземниекса на общем собрании общества перед учеными с мировой известностью принесло ему общее признание. Воодушевленный им, рекомендательными письмами общества на трех языках (в том числе и латышском), точной и полной инструкцией, Бривземниекс отправляется в путь и на протяжении многих месяцев не только сам записывает огромное количество песен, сказок, пословиц, загадок, даже заговоров, но что самое главное, создает вокруг себя целые многочисленные группы сотрудников и помощников, которые страстно пропагандируют начинание, исходящее из сердца России – из Москвы, обратившее свое пристальное и просвещенное внимание на их язык и художественное творчество, которому многие местные немцы внимания не уделяли, или даже высказывали свое пренебрежение.

Успех превзошел все ожидания. Как вспоминал впоследствии сам Бривземниекс, старушки специально учились грамоте, чтобы записать известные только им одним заговоры. Один зажиточный хозяин пообещал целый рубль тому, кто принесет ему неизвестную песню. Когда же общество наградило 12 наиболее активных собирателей материалов серебряными медалями – восторгу и ликованию не было предела. «Русское общество, языка которого я даже порядком не знаю, наградило меня серебряной медалью...», – благодарил Бривземниекса один из награжденных.

Ликование усилилось и изданием сборника песен 1873 года. Правда, и в этом сборнике латышский текст напечатан кириллицей, но это коробило только самых завзятых националистов. Кстати и здесь Валдемарс, по преданию, придумал хитрость, чтобы предупредить введение кириллицы в латышскую письменность. Он посоветовал Бривземниексу придумать другую, чем у Спрогиса, систему диакритических знаков, обозначающих долготу, двугласные звуки. Русские в таком случае не будут знать, чья

система лучше, поэтому махнут рукой и не будут настаивать на введении кириллицы.

За сборником песен в 1881 году последовал сборник пословиц, загадок и заговоров с латышским текстом латиницей с диакритическими знаками по чешскому образцу. В 1885 году сборник сказок вышел московским изданием только на русском языке, а латышский вариант – в Риге.

Этим фольклористическая деятельность Бривземниекса завершается. Он переезжает в Ригу, становится инспектором народных училищ, а все собранные им материалы народных песен – их поток не прекращается, передает для дальнейшей подготовки к изданию Кришьянису Баронсу. Теперь именно он становится центром фольклористической деятельности латышей. К нему стекаются многочисленные записи песен. Их систематизация становится основным видом деятельности Баронса и в Москве, во время его учительской деятельности, и в Острогжском – поместье Станкевичей, где он долгие годы, домашним учителем, и в Риге, где он уже всеми почитаемый отец латышского фольклора, хотя он к этой деятельности обратился последним в триединстве Валдемарс-Бривземниекс-Баронс.

Как уже говорилось, Баронс в своей систематизаторской деятельности широко использовал накопленный опыт русских фольклористов. Он пытается строго следовать принципу классификации Буслаева «от колыбели до могилы», использует опыт украинских фольклористов, которые в случае вариации песен печатают только изменяемую часть вариантов. Правда, в этом деле Баронс вынужден самостоятельно оригинально решать проблему вариации: ведь у украинцев песни протяжные и количество вариантов незначительно. А среди латышских четверостиший иногда набирается до сотни вариантов. Приходится оперировать новыми категориями, отличать вариант от вариации, незначительные вариации от существенных, которые выделяются в особую группу, представляются под иным номером. Созданная Баронсом система вариации песен и публикации вариантов вызывала в свое время, вызывает и теперь удивление и восхищение, составляет его глав-

ную заслугу в подготовке латышских народных песен к публикации.

Учено Баронсом и требование записи и публикации имен информаторов и собирателей фольклора. К сожалению, они до того лаконичны, что название имени и возраста еще мало что подсказывает читателю и исследователю о взаимоотношении песни и ее исполнителя или даже создателя.

Но когда уникальное собрание (свыше 40000) песен окончательно подготовлено к изданию, оказывается, что нет средств для осуществления такого капитального труда. Бривземниекс мог бы без труда раздобыть средства для издания у своих друзей-славянофилов, даже такой авторитетный ученый как Шахматов готов возглавить это начинание. Но Баронс (вместе со своим другом петербургским предпринимателем Висендорфом, занимающимся популяризацией во французских журналах балтийской псевдомифологии из источников Малецкого-Стрыйковского-Ласицкого) опасается, как бы русские ученые вновь не потребовали печатания латышских текстов кириллицей. Потому славянофильски настроенным русским ученым они боятся поручить такое ответственное дело.

Наконец Висендорфу удалось отыскать немца академика Кунинна, специалиста по восточным языкам и культурам, который согласился возглавлять печатание латышских народных песен со всеми их вариантами, при том даже не Бривземниексовской латиницей, а старым готическим шрифтом.

В академической типографии не было готического шрифта. Пришлось специально для издания латышских народных песен заказывать этот шрифт в Голландии. В целом, печатание этого уникального издания в 8 томах обошлось в 50 000 рублей.

Хотя издание было снабжено оглавлением на французском языке, оно прошло незамеченным и в России (одна только рецензия Александра Погодина), и за рубежом, и по сей день является лишь материалом для исследований деятельности латышских фольклористов.

В начале III «атмоды» восторженные энтузиасты возрождения национальной Латвии за огромные деньги заказали факсимильное переиздание «Латвью дайнас» в той же Петербургской Академии наук. К сожалению, это переиздание оказалось, как и многие «национальные» начинания, никому не нужным и продавалось долгое время как макулатура по 20 сантимов за килограмм! (в каждом томе – 2,5 кг.)

Политический резонанс фольклористической и общественной деятельности Кришьяниса Валдемарса

Кришьянис Валдемарс и Михаил Катков

Сотрудничество Кр. Валдемарса и М. Каткова – хозяина влиятельнейшей в свое время газеты «Московские ведомости», перед которой дрожали министры и придворные вельможи, началось и сразу же достигло своего апогея в том же 1865 году.

Примечательно, что до 1864 года остзейский вопрос в этой газете вообще не существует. Первые передовые статьи на эти темы появляются в 1864 году. Их всего пока только 8, и затрагивают они довольно общие, еще лишь в незначительной степени полемические вопросы. Вот несколько тем этих передовиц 1864 года: «Устройство и состав сеймов в Прибалтийских губерниях», «Стремление трех прибалтийских провинций к соединению в одно политическое целое», «В каком отношении должны находиться прибалтийские провинции к России».

Положение резко меняется в 1865 году. Как из рога изобилия сыпятся статьи, очерки, заметки, информации об Остзейском крае. Одних передовиц в этом году, написанных самим Катковым, насчитывается 28. Резко меняется их тематика, до этого года довольно миролюбивая. Вот тематика некоторых передовиц: «По поводу статьи «Голоса» о русском языке в Риге. Смысл так называемых нападок на остзейские губернии», «Полемическая статья против «Рижской Газеты», «Побуждения и образ действий русской и ост-

зейской печати во взаимной полемике», «Характер деятельности «Московских ведомостей» по остзейскому вопросу», «Единство между верховною властью и народом. Остзейский сепаратизм».

В этом же году появляется 9 «Рижских писем» Кришьяниса Валдемарса, анонимно напечатанных с 5 февраля (№ 29) до 6 мая (№ 98). Каждое из них занимает не менее одного печатного листа. О том, какое значение Катков придавал этим письмам, читаем в передовице от 13 апреля (№ 79):

«Просим читателей обратить внимание на факты, изложенные в напечатанном ниже «Рижском письме», особенно в конце его. Эти факты могут служить лучшим объяснением того, почему русская гласность так нелюба известной части остзейской печати. За уверениями, будто русская печать раздражает страсти, вызывает вражду, даже – *horribile dictu* – полагает семена сепаратическим стремлениям, в большей части случаев кроется лишь опасение, чтобы не была разоблачена истина, не удобная для сведения тех, кому однакож о ней ведать надлежит. Вот главная причина того раздражения, которое возбуждают в окрестностях Риги самые скромные, самые сдержанные отзывы русской печати об остзейских делах. Наша умеренность не ценится, потому что требуется вовсе не умеренность, а совершенное молчание о тамошних «домашних делах и учреждениях: *inde irae, inde lacrimae*».

О чем же писал Валдемарс в своих письмах? О положении латышских крестьян, их взаимоотношениях с помещиками писать и печатать было опасно: еще не отменено было распоряжение 40-х годов, которое запрещало печатать статьи и рассуждения по этому вопросу, и обходили это запрещение только самые отчаянные. Поэтому темой своих заметок новый сотрудник Каткова избирает как бы нейтральную тему – историю рижского магистрата. Писать о сегодняшнем дне также было небезопасно, поэтому автор анонимных статей оговаривается, что избрал наименее уязвимую тему. Но и на протяжении всей истории рижского магистрата (с XIII века) оказалось так много насилий, обманов, несправедливости, произвола, особенно по отношению к малоимущим, главным образом русским и латышам со стороны немецких епископов,

орденских магистров, патрициев – зажиточных негоциантов и цеховых мастеров, что разоблачительного материала накапливалось достаточно много.

Взяться же за перо Валдемарса побудила заметка в 10-м номере «Московских ведомостей», из которой могло составиться представление о том, что онемечение латышей в Остзейском крае – очередная миссия «культуртрегерства», осуществляемого немецкими баронами и пасторами, за которое и аборигены, и русское правительство должно быть этим «культуртрегерам» благодарны. Показать, как на самом деле выглядит это «культуртрегерство», ставит перед собой автор этих анонимных статей.

Вся история Рижского магистрата, – доказывает анонимный автор путем огромного количества хорошо аргументированных, подтвержденных ссылками на авторитетные источники фактов, – это история злобного противостояния феодальной верхушки всем стремлениям верховного владычества края – и польских, и шведских, и, наконец, российских, ограничить и устранить давно отжившие феодальные привилегии и порядки, самоуправство и произвол рижского магистрата, угнетение им низших сословий – мелких торговцев, подмастерий, чернорабочих, в том числе русских и латышей – встречаются власть имущими в штыки и, в конечном счете, охранители феодальных политических и административных несуразностей оказываются победителями. И не беда, что в борьбе используются приемы, далекие от общечеловеческих этических норм. «Цель оправдывает средства» – этот принцип лежал в основе политики Рижского магистрата на протяжении столетий.

Чего стоит иллюстрация «высокого морального уровня» предрержащих властей Рижского магистрата, которые заслужили нареkanie самого императора Александра I, высказанное им остзейскому генерал-губернатору Буксхевдену, о попытках рижского магистрата подкупить правительство и самого императора, склонить их в пользу решений, выгодных для рижских патрициев.

Протесты русских купцов и ремесленников против самоуправления и произвола рижских городских властей усиливаются с

20-х годов XIX века, и как правило, оканчиваются безрезультатно. Даже в 60-е годы XIX столетия никаких реформ феодальных порядков Рижский магистрат не допускает. В конце 2-го письма анонимный автор приводит типичный афоризм рижских властителей: «Здесь не хотят ничего русского».

В 3–5-х письмах – факты, факты и факты о том, как «умело» казуистически истолковали в свою пользу рижские магистраты любое указание, любой закон, любое распоряжение правительства, не гнушаясь переводить его на немецкий язык так, как это выгодно остзейским властям, даже если перевод оказывался диаметрально противоположен оригиналу. Как само собой понятное явление рассматривалось то обстоятельство, что в Остзейских провинциях авторитетным во всех случаях оказывался не русский оригинал, а немецкий его перевод.

Потрясающую информацию о положении русских и латышей в Риге читатель «Московских ведомостей» почерпнул из VI письма анонимного корреспондента. Читатель, например, узнал, что в 1739 году русским запрещалось в Риге приобретать недвижимое имущество. В 1742 году высказывается требование запретить русским торговать у городских ворот. В 1763 году генерал-губернатор Брауер сообщает в сенат о невозможности допустить русских в комиссию по составлению положения о торговле, ибо «они ничего не понимают в значении рижского порта». В 1778 году цунфт торговцев мясом требует запрещения русским торговать мясом. В 1802 году русских купцов при содействии штатского губернатора Рихтера выгнали из собрания, на котором надлежало избрать правление Большой гильдии.

«Еще хуже, еще тяжелее, – читаем дальше в VI письме, – было положение латышей, этих первых, коренных обитателей края. Покоренные, забитые дальними пришельцами, они были обращены чуть ли не в невольников, были не только угнетаемы, но и презираемы. Русские, поселявшиеся здесь ради собственных выгод, имели еще в борьбе своей с недружелюбной немецкою партией поддержку правительства. Латыши не имели и этого; тихие, мирные, лишенные всякой возможности образовываться, они безропотно

несли тяжелый гнет и еле-еле имели возможности существовать, малейшее покушение отстоять себе хотя только тень самостоятельности каралось как оскорбление, наносимое ничтожными людьми племени неизмеримо высшему. Я не преувеличиваю, говоря это; кроме истины, в словах моих ничего нет. Но и эта истина высказана далеко не вся. Я еще раз укажу на записки, оставленные Нейендалем [...]. Он признается самими рижскими немцами за авторитет неоспоримый; он – горячий и слепой защитник всего древнего муниципального устройства; он – искренний враг всякого улучшения и нововведения. Привожу его слова как свидетельство неоспоримое и настолько сильное, что оно не требует пояснений. «Нельзя отрицать, говорит он, что искони было чрезвычайно затрудняемо свободным латышам повышение в их состоянии. Всеобщее предубеждение против этого племени тяготело на нем».

«Два, три факта, – продолжает анонимный автор, – докажут, что в словах Нейендаля много еще умеренности, сдержанности».

«Правда, – начинает перечисление уникальных фактов анонимный автор писем, – еще в полицейском уставе 1548 г. встречаем мы постановление, что дети четырех форштадтских обывателей финского происхождения [...] могут быть принимаемы в цеховые ученики; правда, еще в начале XVII столетия мы находим отдельные шрага для фурманов и портных латышского цеха. Но рядом с этим читаем запрещение кретьянам-латышам, приезжающим в Ригу со льном для продажи, оставаться в городе более одной ночи, а привозившим рожь приказ выезжать из города до наступления ночи. Оставим даже и эти стеснительные меры, имеющие некоторое основание в общем стремлении к торговой монополии. Нетерпимость привилегированного сословия и городского управления, то есть, – партии немецкой, вполне высказалась в отказах принимать латышей в гражданство. В этом отношении, хроника в начале XVIII столетия сохранила нам два замечательные и в высшей степени характерные процессы».

«Рижский обыватель мачтовый браковщик Стейнгауэр, латыш по происхождению, просит в 1752 г. принять его в рижское гражданство, опираясь на полицейский устав 1548 г. На отказ магист-

рата он принес жалобу сенату. Магистрат оправдывался тем, что полицейский устав никем не был утвержден, что он не более как проект, забывая, что также никем не утверждены и городские статусы и гильдейские шраги и многое множество других документов, на которые он однако неоднократно ссылался, как на обязательные законы. Сенат, не признавая силы полицейского устава, отказал Стейнгауэру. В 1764 г. некто Эфлейн, бухгалтер из Германии, женившись на племяннице того же Стейнгауэра, пожелал вступить в Большую гильдию. Латышское происхождение его жены возмутило немецкую щепетильность, и магистрат отказал ему. Эфлейн пожаловался сенату. Оправдание магистрата для нас весьма важно, как выражение образа мыслей сословия немцев [...].

«Я укажу только на то, что главнейшим препятствием для принятия в гильдию ставилось то, что «Эфлейн женат на латышке, которая не способна к гильдейскому обществу», ибо, еще в шрагах мясничьего цеха 1731 г. запрещено мясникам жениться на латышках. «Несчастливы будут его, Эфлейна, из сего брака прижитые дети, потому что не можно будет об них свидетельствовать, что рождены от немецких вольных людей, а в противном случае Большая гильдия имеет претерпеть сильную обиду и неугасимое бесчестие...» «Слава и обращение с иностранными торговыми местами, продолжает магистрат, помалу могут приходить в упадок, если город принужден будет принимать в мещанство латышей». Сенат не внял этому скорбному плачу, приказал принять Эфлейна, и замечая, что «такое рассуждение о жене Эфлейна для благородного мещанства весьма порочно», выразился, что «ни с какою справедливостью не сходствует, чтобы неповинных, законом рожденных латышек ставить на ряду с незаконнорожденными и в пороках известными женщинами».

Такие и сходные ущемления русских и латышей в правах приводятся в письмах анонимного автора и дальше.

В конце 1865 года передовицы «Московских ведомостей» озаглавились пятью статьями, посвященными непосредственной реабилитации Каспарса Биезбардуса и Кришьяниса Валдемарса, защите их от обвинений остзейскими «литераторами».

15 октября в № 226 передовая статья начинается с констатации того неприятного для московского журналиста факта, что его противнику – «журнальные представители немецкого элемента в наших Прибалтийских губерниях» – «громко торжествует победу над г. Валдемарсом». «Кто такой г. Валдемарс?» – задает риторический вопрос читателям Катков. Следует довольно детальное изложение всех тех обвинений, которые Валдемарсу предъявляет «Рижская газета». Это прежде всего издание ненавистной остзейцам «Петербургас Авизес», среди издателей которой Катковым упоминается и Алунанс, и Динсбергис. Вслед за «Рижской газетой» «Московские ведомости» Валдемарса называют «влиятельным журналистом», имя которого «широко известно в Курляндии и Лифляндии». «Понятно поэтому то чувство радости, – продолжает Катков, – с которым ратоборцы немецкого дела в России торжествуют свою победу над Валдемарсом: в этой победе они усматривают, как говорит митавский корреспондент «Национал Цейтунг» «победу немецкого дела между латышами, одержанную, как они полагают, на вечные времена». «В чем же эта победа? – рассуждает далее Катков. – Прежде всего немецкой партии удалось провалить эксперимент Валдемарса по переселению латышей Дундагской волости в Валдемарсовское новгородское имение «Юлианово». Беда заключалась в том, – поясняют «Московские ведомости», – что на приглашение Валдемарса откликнулась тысяча латышей, которые без каких-либо средств, необходимых для ведения хозяйства – приобретения скота, инвентаря, отправились в Россию и, естественно, разочаровались и разорились. Узнав о намерении своих соотечественников поступить столь опрометчиво, Валдемарс обратился к остзейским немецким пасторам и журналистам («литераторам») с просьбой опубликовать в газетах и объявить с церковных амвонов разъяснения и предупреждения об условиях эмиграции. Но ни журналисты, ни пасторы выполнить свой человеческий долг из ненависти к Валдемарсу не желали. И способствовали беде многих и многих латышских крестьян, а самого Валдемарса поспешили объявить мошенником и жуликом, грозя отдать его под суд.

Второе поражение группы Валдемарса, – рассказывается дальше в передовице, – вынужденное происками остзейских властей (далее рассказывается о всех деталях этого процесса), – прекращение выхода в свет газеты «Петербургас Авизес».

«Как мы ни мало знакомы с этим журналом (имеется в виду та же газета), тем не менее мы не можем не пожалеть, что он пал жертвой стеснений, которые были следствием не государственных постановлений о печати, а были, судя по тому, с какою радостью немецкие публицисты торжествуют теперь поражение Валдемарса, результатом местной вражды к общему направлению петербургской латышской газеты». И далее: «Такова вообще печальная судьба тех органов нашей журналистики, которые издаются для инородцев и которые поставляют своей целью действовать на них в общих интересах России».

Попутно «Московские ведомости» напоминают судьбу другого латыша – рижского учителя Биезбардиса, – о нем уже рассказывалось на страницах газеты в статье В. Ламанского о преследованиях латыша только за то, что он переписал «всеподданейший адрес латышей Императору с просьбой распространить и на Остзейский край российское законодательство и систему управления, усилить функции русского языка».

В 236 номере газеты (28 октября) в передовой статье снова – об инсинуациях «Рижской газеты», об ее обвинениях Валдемарсу – издателю «Петербургас Авизес» и организатору переселения латышских крестьян в Россию. Вновь опровергаются утверждения немецкой газеты о проклятиях латышских крестьян Валдемарсу за его инициативу переселения в Россию и приводятся свидетельства новгородского лютеранского пастора Рейтлингера, а также предводителя дворянства Крестецкого уезда о том, как довольны переселившиеся крестьяне и качеством земли и инициативой Валдемарса. Тем самым рижская и митавская немецкие газеты изобличаются «в нарушении законов, ограждающих честь честных лиц» и тем самым набрасывающих темную тень на свои рассуждения об этом несчастном деле».

Через непродолжительное время – 9 ноября в передовице 246 номера «Московские ведомости» вновь возвращаются к проблеме газеты «Петербургас Авизес», на этот раз анализируются статьи, которые растрезвожены «Рижской газетой» как революционные, подрывные, «хоть бы в «Колокол». Примечательно, что эти статьи называются по-латышски, хотя и пишутся кириллицей. На поверку же, подтверждают «Московские ведомости», в этих революционных статьях нет и тени предосудительности:

«Революционные цитаты, призывающие, якобы, к ниспровержению существующего строя, оказываются на поверку самыми безобидными. Так в статье «Кас земниекам язына? (Что следует знать крестьянину?)» – подробно излагается, что в старину господствовало мнение, будто сельскому люду не нужно ничему учиться и ничего знать, но что теперь никто уже так не думает». Затем статейка делает вывод: «Из этого видно, как время изменяет все, даже воззрение умных людей. Что теперь считается хорошим, то впоследствии будет отменаться. Нынче оно блестит как звезда, а завтра превратится в мусор. Внуки ходят по могилам своих предков». И вот эта-то безобидная сентенция, в которой нет и тени какого-либо политического намека, обращена добросовестными публицистами «Рижской газеты» в революционную проповедь против дворянства и духовенства в балтийских губерниях».

Другое опасное место, цитированное в «Рижской газете», взято из статьи «Мужигс карра лаукс» («Вечное поле битвы»). Но статья эта, будто бы направленная против сословных прав и учреждений в балтийских провинциях, вовсе и не латышского происхождения, а заимствована из известной немецкой газеты «Гартенлауб». В ней рассказывается, что в давние времена существовали виды растений и животных, какие в настоящее время уже не оказываются, что и в настоящее время есть исчезающие виды животных, что европейскими домашними животными, переселенными на Канарские острова или в Новую Зеландию, вытесняются туземные породы. Вслед за тем статья продолжает: «новые свежие появляются на их месте».

Вот как поступает рижский политик, – возмущаются «Московские ведомости». – Даже домашних животных на Канарских островах умеют они превращать в революционные стихии, опасные остзейским порядкам.

То же самое можно установить и относительно статейки о шинках (на 75 и 76 страницах газеты), о невозможности совершенно устранить эти заведения, и следовательно, о необходимости сколько-нибудь облагородить их.

«Четвертое место находится на странице 40. Это сатирическая заметка об одном стихотворце, пасторе Гротсе, который наводняет маленькую и скудную латышскую литературу плохими виршами. В этом нашли поругание лютеранского духовенства!» – возмущаются «Московские ведомости».

Выводы: «Вот до каких размеров может доходить растяжимость совести и иезуитский образ действий! Вот в силу каких обвинительных пунктов газета г. Валдемарса подвергалась стеснениям и должна была прекратиться!»

12 ноября в передовице 249 газеты вновь критикуется позиция «Рижской газеты», выступившей на защиту чести немецких пасторов и «литераторов», которые, якобы, не доводили до сведений латышских крестьян предупреждений Валдемарса, чтобы... сохранить свое достоинство. В интерпретации «Московских ведомостей» эти доводы выглядят смехотворными.

И, наконец, 20 ноября в газете № 256, в передовице, в основном посвященной Биезбардису, «Московские ведомости» вновь напоминают смехотворность инсинуаций «Рижской газеты» по поводу крамольности Валдемарсовской газеты.

Существует мнение, что 1865 годом «Московские ведомости» ограничили популяризацию имиджа Валдемарса и Биезбардиса. На самом деле и в последующие годы до самого 1886 года передовицы постоянно возвращаются к остзейскому вопросу. Так, в 1866 году в передовице затрагиваются такие темы, как «Представление цензора «Рижской газеты» г. начальнику главного управления по делам печати и ответ на него» (№ 45); в 1867 году: «Пolemическая статья против «Рижской газеты» (№ 39); «Переселенческое

движение эстов и латышей и предполагаемое замещение их немецкими переселенцами» (№ 43); «Малочисленность немецкого населения в Прибалтийском крае и немецкие претензии» (№ 144); «Германизация балтийских губерний» (№ 181); в 1868 году: «Ложь немецкой интриги. Альзас и Балтийские провинции. Капитуляция Петра Великого» (№ 139); «Национальная политика Пруссии и агитация немецкой печати в Балтийском крае» (№ 162); «Немецкий патриотизм в Германии и России» (№ 183); «Заявление дворянства трех балтийских губерний» (№№ 261, 266); в 1869 году: «Казенные училища Прибалтийского края» (№ 4); «Ответ газеты «Ст. Петербургер Цейтунг» по поводу 1819 и 1849 годов» (№ 73); «Возрастающая германизация в Балтийском крае» (№ 104); «Голос прусских газет против возведенных в Балтийском крае нововведений» (№ 127); «Долг балтийского рыцарства перед русскою национальностью» (№ 147); «Сетования остзейцев на свободу печати столичных газет» (№ 195); в 1870 году: «Исторический обзор возникновения в Прибалтийском крае национального вопроса» (№ 36); «Ухищрения газеты «Нордише прессе» оправдать Рижский магистрат и Пернавский уездный суд» (№ 85); «Новый адрес Лифляндских феодалов и адрес латышей» (№ 179); в 1871 году: «Феодальное бесправие в Балтийских губерниях» (№ 25); «Ложное понимание русскими своей национальной политики; противодействие латышам в их тяготении к русскому народу» (№ 56); в 1872 году: «Издание русско-латышско-немецкого словаря. Ожесточенные жалобы на Россию в корреспонденциях из балтийских провинций» (№ 67); в 1875 году: «Судебные порядки и вопрос о судебной реформе в Прибалтийском крае» (№ 232); в 1886 году: «Конец балтийскому вопросу» (№ 180).

Действительно ли влиятельный Михаил Катков так хорошо ориентировался в русско-латышско-немецких взаимоотношениях Остзейского края, что мог даже анализировать статьи газеты «Петербургас Авизес», выписывать полностью латышские заглавия проблемных статей, принимать во всех случаях выгодные латышам решения? Ответ на эти вопросы получим, если обратимся к воспоминаниям современников об отношениях русских и латышей.

Один из таких мемуаристов – участник московских собраний латышшей Аугустс Зандбергс (Augusts Zandbergs) (1857–1935).¹

Получив очередное предупреждение правительства, запрещающее печатать статьи о противостоянии в Остзейском крае, Катков не преминул об этом сообщить секретарю Валдемарса. Услышав просьбу Каткова писать только о России и русских, Валдемарс расхохотался, что делал весьма редко, – как свидетельствует его секретарь.

«Хорошо, – сказал Валдемарс, – буду писать для Каткова только о России и русских. Приходите за статьей в 7 вечера». Прихожу. Валдемарс утонул в огромных списках российских сенаторов, генералов, министров, членов Государственного Совета. Писал он по-немецки своим большим растянутым почерком. Заглавие статьи: «Кто правит Россией – сами русские или немцы?» Среди министров 13% немцев, среди членов Государственного Совета – 25%, среди сенаторов – 40%, генералов – 50%, губернаторов – 60%. А поскольку губернаторы управляют Россией, то это и будет ответом на поставленный вопрос. Поскольку все императрицы – немки, естественно, что по их протекции немцы просачиваются в высокую администрацию».

Поручение Зандбергсу было – перевести статью на русский язык, придать компактный, убедительный вид.

«Прочитав статью, – продолжает свои воспоминания Зандбергс, – Валдемарс заметил: очень резкой получилась. Вряд ли Катков ее напечатает. – Но ведь это про Россию, как он хотел, пытался рассеять сомнения Валдемарса Зандбергс.

Получив статью, Катков велел Зандбергсу ее прочитать. По мере чтения недоверие редактора все выростало: «Не может этого быть! Цифры явно преувеличены!» – сказал он. И тут же велел своему секретарю проверить некоторые цифры. Проверка поразила Каткова еще больше: сенаторов-немцев оказалось даже больше – 63%. «Валдемарс всегда найдет что-нибудь пикантное! Я и подумать не мог, что такое огромное количество чиновников в администрации – немцы!»

¹ Zandbergs A. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. Rīga, – 1925, 1928.

– Да, шкура русская, а душа немецкая, – попытался иронизировать Зандбергс.

– Ну, ну, не иронизируй, читай дальше! – велел Катков серьезным тоном.

«Когда я дошел до фразы «Но так как все императрицы немки...», Катков не выдержал: «Ты с ума сошел! Оставь императрицу в покое! Императриц нельзя задевать...» Катков выхватил из моих рук статью и сам карандашом вымарал фразу об императрицах, затем сказал: «Оставь статью и благодари Валдемарса!»

На другой день статья без каких-либо редакционных изменений была напечатана. Только слова «императрицы» были заменены словами «высшие чиновники». (с. 122–123)

– Но это еще не все, – сказал Валдемарс, – читайте передовицу!

«Я читаю, – вспоминал Зандбергс, – и удивляюсь, как резко Катков нападает на немецких чиновников. В завершении передовицы говорилось: «Мы, русские, терпеливее китайцев, более 10 лет терпели во главе русской юстиции безмозглого немца, который не был способен пять слов правильно произнести, и еще теперь терпим этого немца на таком важном посту как председателя юридического отделения Государственного Совета. Разве не настало еще время нам стать на свои ноги». (с. 124)

Валдемарс был так обрадован, – рассказывает дальше Зандбергс, что закричал, приговаривая: «Я об этом не раз говорил с Катковым. Как же мне не радоваться, если Катков наконец такого же мнения. Это хорошо. это хорошо. Я этого давно добивался. Теперь начнется настоящая победа над балтийскими помещиками».

И, действительно, через непродолжительное время мы прочитали в газетах, что граф Пален получил «отставку». – Вот ответ на твое бранное слово, сказанное Каткову, – сказал мне, смеясь, Валдемарс. – Самый мощный защитник балтийских помещиков! С тех пор Катков принимал все статьи, которые получал от Валдемарса». (с. 125)

Кришьянис Валдемарс и Иван Аксаков

Путь Ивана Аксакова к «остзейскому вопросу» поначалу был весьма осторожным, осмотрительным. С опаской и оглядкой, ощупью подходил он к этому сложному, необычному и непривычному делу. И весьма символично: первая публикация в этой области в газете «День» появляется в 1861 году – и именно о предполагаемом издании «Петербургас Авизес». Статья подписана неким Андреем Васильевым, очевидно, псевдонимом. Не скрывается ли под этим именем все тот же Кришьянис Валдемарс?

Но эта публикация еще не определила положительного отношения Ивана Аксакова к младолатышскому движению. В 1863 году он, правда, перепечатывает из «Кронштадтского вестника» статью некоего Иванова (очевидно, тоже псевдоним), в которой обстоятельно рассказывается о немецких брошюрах Валдемарса «Положение балтийских, в особенности, лифляндских крестьян» и Андрея Спагиса «Положение свободных крестьян в Курляндии». Обе эти брошюры на самом деле оттиски из журнала «Slavisches Centralblatt» за 1862 год, издаваемого и редактируемого вождем сорбского пробуждения Яном Смоляром.

Но вслед за статьей Иванова на страницах «Дня» появляется попытка опровергнуть сообщение о тяжелом, подчас бедственном положении латышских крестьян. Остзейский чиновник и «литерат» П. Гершаус приводит статистические сведения из остзейских публикаций, которые, якобы, свидетельствуют об экономическом благоденствии лифляндских крестьян.

Аксаков ждет опровержения Иванова, но его не последовало. Вместо этого печатается статья Г. А. Знаменского – рецензия на роман Йоганны Конради «Георг Штейн или: немцы и латыши». В этом романе показано пагубное влияние младолатышского движения. Рецензент высказывает сомнение в правильности отражения в романе латышско-немецких отношений.

Публикации в «Дне» 1864 и начала 1865 года обстоятельно информировали русских читателей о латышской культуре. Студент Московского университета Индрикис Цирулис (Indriķis Cīrulis) пишет о родстве русского и латышского языков. Предположительно

Каспарс Биезбардис – о первых шагах латышской письменности, о первых сборниках латышских народных песен. Йостс Виесулис (Янис Лицис, выступавший в самариновских «Окраинах России» под псевдонимом Индрикис Страумите) – о движении латышских крестьян в 40-е годы – переход в православие, эмиграция на юг России. В последних статьях проскальзывает мысль о том, как немецкие пасторы тормозят просвещение латышей, считая, что давать им научные книги подобно тому, чтобы давать ребенку угли. Высказывается сетование по поводу недостаточного изучения русского языка. В последней статье – наказания, которым подвергаются латыши, перешедшие в православие.

Поворотным пунктом в политическом «кредо» Аксакова по отношению к латышам стала публикация речи Вл. Ламанского 12 марта 1865 года в связи с принятием Валдемарса в Географическое общество. С того времени Аксаков внимательно следит за публикациями «Московских ведомостей» по остзейскому вопросу, и прежде всего «Рижских писем» Валдемарса. Несколько позднее – в 1867 и 1868 годах – эти письма вместе с другими общественно-политическими статьями и исследованиями Валдемарса становятся источником сведений, к которым Аксаков, с опасностью цензурных репрессий (предупреждения, приостановление на время), обращается неоднократно. Примечательно, что 1867 год – это год переселения Валдемарса в Москву и установления личных контактов с Катковым и Аксаковым.

В передовице газеты «День» от 27 ноября 1865 года рассказывается о комиссии, которая в Риге «пишет положение о личных правах, обязанностях крестьян». Но тут же аксаковская оговорка: «по полученным нами известиям – все эти проектируемые преобразования делаются лишь для виду, чтобы отвести нарастающую угрозу». Пока источник сведений не называется, но следующий абзац не оставляет сомнений в источниках информации: «У остзейского начальства – как читатели могли видеть из помещенной нами в № 44 корреспонденции из Курляндии, есть теперь легкий способ представить любого латыша или эстонца возмутителем, или по крайней мере подозрительным: назвать его принадлежа-

щим к партии «молодой Леттии» или, «молодой Эстонии», дать ему кличку: junger Lette, junger Esthe. Такое прозвище дается, по сознанию самих немцев, всякому латышу или эстонцу, старающемуся не поддаться германизации, и это сопротивление онемечению со стороны русских подданных вменяется в вину и преступление – где же? в пределах русского государства, от русской правительственной власти».

В газете Аксакова можно обнаружить и прямые цитаты из «Рижских писем» Валдемарса. Дважды используется материал о недобросовестных подкупах русских властей рижским магистратом. В 13 номере газеты «Москва» за 1867 год в передовице читаем:

«Какое неистощимое обилие протестов, а также и действий. Не все, но некоторые из последних, занесены на страницы не одной тайной, но и явной истории. Так в «Рижских письмах» [...] мы читаем даже, что одной из депутатий по возвращению в Ригу публично графом Буксгевденом заявлено (в 1806 году) неудовольствие императора Александра I за приезд в Петербург с несколько грубыми, неблагоприятными пособиями для успеха ходатайства».

Вторично этот факт упоминается в передовице «Москвы» от 4 октября 1867 года в таком контексте:

«Несмотря однакож на все заявления преданности – не привилегиям только, но и монарху, – депутация, возвратясь в Ригу, вынуждена была (как мы уже упоминали однажды) выслушать публичные замечания генерал-губернатора за то, что возило с собою в Петербург значительные суммы денег, имевшие неблагоприятное назначение и т. д.»

Валдемарс к этому факту в «Рижских письмах» обращается неоднократно (в I, II, III письмах), считая их исключительно важными для характеристики неблагоприятных поступков представителей немецкого лагеря.

Дважды обращается Аксаков в передовицах своих газет к эпизоду в «Рижских письмах», в котором, по мнению рижского библиотекаря Беркгольца национальная неприязнь между латышами и немцами раздувается искусственно. Эпизод этот в газете Аксакова от 13 сентября 1867 года приобретает такое эмоциональное оформление:

«Господин культуртрегер, статский советник и кавалер, доктор Беркхольц, равно и другие господа культуртрегеры или культураносцы, с каким-то классическим азартом древних греков и римлян вопиют хором против нашествия варягов-скифов на их благословенный и мирный кур-лив- и эстляндский край, этот германский, якобы уголок, этот рассадник высшей европейской культуры, завод интеллигенции, нравственности и способности для темной, безнравственной и неспособной России».

Информацию о Бухгольце (кстати, заочном друге Тургенева) Аксаков также целиком почерпнул из «Рижских писем» Валдемарса. Оттуда же заимствована тема возрождения в Остзейском крае барщины, похороненной в России в 1861 году («Москва» 21 июля 1868 года). Причем отмечает: «Россия не в состоянии понимать», что «с помощью немецкого языка, немецкого законодательства, немецких нравов» остзейские губернии «превратились в местность весьма выгодно отличающуюся от остальных русских губерний».

Такие примеры ссылок на «Рижские письма», заимствования из них фактических материалов находим также в других передовицах «Москвы».

Широко используются также отдельные факты, в таком изобилии приводимые в «Рижских письмах», особенно связанные с противоборством магистрата против ограничения его прав и Сигизмундом III, и шведской королевой Христиной, русским правительством в 1786, 1811, 1827, 1841, 1845, 1864 годах.

Таких цитирований «Рижских писем» и других произведений Валдемарса в передовицах аксаковских газет можно отыскать немало. Разумеется, Аксаков не ограничивается голыми фактами, комментирует их со всей своей эмоциональной страстностью, делает далеко идущие политические выводы.

Иван Аксаков не ограничивается следованием только за катковскими «Московскими ведомостями». Другой источник рассуждений об «остзейском вопросе» – «Окраины России» Юрия Самарина. Так, в передовице газеты «Москва» от 21 сентября 1868 года читаем:

«Вообще, относительно быта русских в Балтийском крае, едва ли не следует принимать в уважение, что они образуют в нем не природный слой населения, а младшие, по порядку времени из двух колонизированных племен». Эти слова снабжены примечанием Ю. Самарина: «Старший слой, стало быть, латыши и эсты; а соответствует ли их положение этому праву старшинства?» Этот парадоксальный вопрос и ответ на него заимствован Юрием Самариним также у Валдемарса. В его трудах и в статьях славянофилов и панславистов этот вопрос постоянно всплывал в связи с тем, что остзейские власти не допускали русских в рижский магистрат, в гильдии, мотивируя это тем, что в этих институтах уместно пребывание только «старших» обитателей края. В этой связи Валдемарс, а вслед за ним и его влиятельные единомышленники недоумевали: не являются все же «старшими» обитателями края латыши и эстонцы, в то время как немцы – не более как пришельцы-колонизаторы.

Даже и там, где цитат и прямых соответствий с Валдемарсовскими статьями не находим, присутствие его идей бесспорно. Так, в передовой «Москвы» 21 июля 1868 года Аксаков рассказывает о положении эстонских крестьян. Не обходится без идей, навеянных статьями Валдемарса:

«И вот целыми семьями нищих идут латыши из большой лифляндской мызы Дундаген, не зная пути, не ведая места и цели, странствуют они на поисках лучшего. Легковерными, неблагодарными обзовут их редакторы немецких газет, и сыщут подстрекателей – какого-нибудь солдата Сим Ваню, который, по уверению вестфальского мужа Мейера будто бы подбил и жителей Даго. Как сделал другой лифляндский помещик, требуют экзекуции, на свой страх».

Сотрудничество Валдемарса с Катковым продолжалось до 1886 года. Иван Аксаков не забывает о латышах также до 80-х годов. В аксаковской газете, теперь она называется «Русь» (и «День», и «Москва» поплатились своими симпатиями к угнетенным латышам!), 15 июня 1884 года снова вспоминает дела и идеи «младолатышей», которым теперь суждено сбываться:

«Общеведомы и памятни «гонения на латышей», последовавшие в тех же шестидесятих годах, при чем больше всего досталось на долю известных своею преданностью России и самых почтенных туземцев: К. Безбардису, Э. Динсбергсу, Х. Валдемарсу, Х. Баронсу и другим. Еще несколько лет тому назад, когда вследствие некоторых, впрочем, не очень значительных, законодательных мер, курляндские латыши в привиндавских местностях, по-видимому, немного ободрились, повторились снова и «суммарные показания», причем особенно пострадали К. Динсбергис, Нейманис и крестьянин Крестс Давидс, деятельный русско-туземный, но не немецкий патриотизм которого могла низложить лишь меткая пуля нераскрытого, разумеется, местного злодея, – о чем в свое время было рассказано в «Руси»... Теперь снова стремятся латыши и эсты к переходу в православие...»

Это был канун ревизии Манассеина и начала пресловутой русификации, которая в истории Латвии занимает куда больше места, чем германизация...

Иван Гончаров (1812–1891)¹

Что способствовало повышенному интересу Ивана Гончарова к латышам, Латвии, внимательному и сочувственному отношению к летофильской деятельности Ивана Аксакова, который в своем «Дне» печатал статьи Иостса Виесулиса (Josts Viesulis) [он же Индрикис Страумите (Indriķis Straumīte) в «Окраинах России» Самарина) о гнете остзейских баронов и безысходном положении латышских крестьян?

Думается, что в основе все же «родственные» отношения: чувства к жене своего камердинера-курляндца Трейгута (или Трейгульга), первую дочь которой писатель признавал своей, дал ей приличное образование и после смерти оставил все свое, очевидно, немалое состояние дочери и ее матери – что, кстати, воспринималось неодобрительно, например, в редакции журнала «Нша старина».

Оттого-то и прислуга в доме Гончарова – латышки (даже в Петербурге), оттого-то он предпочитает отдыхать, пока это ока-

¹ Источники: «Обращенные», с. 25–42.

зывается физически возможным (1879–1888) на Рижском взморье, оттого-то он как верховный цензор всячески помогает Ивану Аксакову отвести удар от газеты «День», в которой звучит страстная защита латышей от их угнетателей – немецких помещиков. Правда, Гончаров – высокого ранга государственный человек и не может, как Бестужев-Марлинский или Чернышевский, стать на защиту латышей, по крайней мере в своем основополагающем письме своему высокому другу, великому князю Константину Романову 27 июля 1884 года:

«Край бродит и не убродится, по-видимому, долго. Амальгамма немцев, латышей, евреев, поляков и иных – еще не отливается в одну массу. Пока все врозь. Немцы, сказывали мне, стараются в поместьях своих не давать Латышам ничего, а Латыши стараются взять себе все, [...] Все это натурально и практикуется между людьми. И лютеранские пасторы противятся переходу Латышей в православие, теснят наших священников и тех, кто смел перейти в православие, [...]! Дай Бог, чтобы победителем из нее вышел русский элемент!

Эту политику я знаю только по рассказам, а сам с балкончика своего вижу только сквозь деревья, как мелькают мимо все эти народности, больше всего латыши и евреи, [...]. Латыши многочисленны, как волны морские. Жутко станет, когда очутишься в толпе их – точно папуасов, подданных царя Миклухо-Маклая или Караибов!.. Говорят, будто их немцы притесняют: не преувеличено ли это? Их, кажется, не скоро притеснишь: они постоят – не только за свои права, но и за то, на что никаких прав не имеют! Скорее не боятся ли немцы их большинства и от того стараются, где могут, держать их в руках, даже, будто бы, с помощью Правительства! [...] Что касается до враждебных выходок лютеранских пасторов против русского духовенства и православных Латышей, то это, кажется, вовсе не преувеличено, рассказы об этом слышишь на каждом шагу.

Странно: у Лютеран вообще нет религиозного фанатизма, следовательно, в нерасположении пасторов к нашему духовенству здесь – надо предполагать другую причину – вероятно убыль

доходов, неизбежную с распространением православия. Кроме того, они разделяют с баронами и некоторую, впрочем, взаимную враждебность немецкой и славянской рас, подогреваемую в остзейских немцах еще их политической зависимостью от России. Им обидно, кажется, зависеть от сильной, великой, но, по их мнению, «менее культурной страны», чем... кто? Германская культура и интеллигенция – конечно – старее, обширнее, пожалуй выше русской; но она есть всеобщее европейское достояние вместе с французской, английской, другими культурами, и между прочим, также и русской, внесшей и вносящей значительные вклады в общую сокровищницу европейской цивилизации!».

Как уже отмечалось, Гончаров был призван Главным управлением по делам печати высказать свое суждение о причинах социальных и национальных противостояний в Прибалтийском Крае, о тех высказываниях столичных газет – «Дня» Ивана Аксакова, «Московских ведомостей» Михаила Каткова, «Голоса», ставших на защиту угнетаемых остзейскими баронами латышских крестьян, в частности, Кришьяниса Валдемарса и Кришьяниса Баронса, издаваемой ими газеты «Pēterburgas Avīzes», Каспара Биезбардиса, высланного в Калугу только за переписывание верноподданнического адреса латышей императору с требованием ввести в Прибалтике русский язык как государственный, русскую систему управления. «Московские Ведомости» только в одном 1865 году в трех передовицах рассматривали дело Валдемарса и Биезбардиса, из номера в номер печатали Валдемарсовские «Письма из Риги». И Аксаков, и Катков неоднократно получали предупреждения от правительства за печатание подобных статей, разжигание национальной ненависти между народами, закрыли даже газету «День», но издатели находили способы в несколько ином виде защищать латышей от угнетения и несправедливости.

Какую же официальную позицию занимал во всем этом деле Гончаров?

В цензорском рапорте писателя – открытое осуждение московских и лифляндских немецких публицистов за несдержанный, раздражительный тон их диалогов, живо напоминающих дуэль на газетной полосе. Стоило одному лагерю обратиться в баронский

ландтаг или рижский магистрат с просьбой о поддержке православной церкви и новой ее паствы – латышских селян, как тут же другая сторона, опустив забрала, вступала в схватку, с порога отменяя все предложения несговорчивых оппонентов.

Аксаковский «День», – находим мы в гончаровском отклике, не может смириться с «жалким положением крестьян», обделенных землей и «вынужденных приобретать последнюю на разорительных для них условиях». «...успокоение обеих пресс может совершиться только под влиянием тех или других примирительных мер, какие угодно будет высшему правительству принять к устройению самого положения дел в Остзейском крае. Что же касается газеты «День», то предавать ее суду никак не следует: это приведет к дальнейшему обострению полемики и новым цензурным сложностям».

В другом цензорском рапорте Гончарова дается отзыв на статью Владимира Ламанского «Г-н Биезбардис и немцы», опубликованную в той же газете Ивана Аксакова.

И снова Гончаров-цензор меж двух огней. День ото дня усиливается размежевание немецко-балтийских и русских повременных изданий, резче становятся взаимные упреки.

Развернувшаяся на страницах русских и немецких газет острая полемика дала Гончарову-цензору возможность изложить свои суждения, заметно опережающие умеренно-либеральные взгляды тогдашнего славянофильского крыла. Цензорский обзор, начальный его вывод сигнализирует о безысходной участи лифляндских податных сословий: «Латыши просили неоднократно о защите, удовлетворении своих прав, доставлении им способов к прожитию и жаловались на крайнюю нужду, притеснения, которые терпели они от помещиков». Другая гончаровская мысль рождена верой в завтрашний день Прибалтийского края, где «отныне не будут иметь место какие-либо сомнения, колебания, проволочки». И все эти надежды обращены к нему, латышскому пахарю, который – настанет пора! – разорвет, сбросит с себя баронские, чиновничье-бюрократические узы. Люди лифляндской стороны, соглашается Гончаров с Ламанским, никогда не дадут вернуться смутным погибельным дням: «Не только времена Биронов, но и Паленов, и Бенкендорфов невозможны».

Но, увы, даже авторитет Гончарова-цензора на сей раз не возымел действия. «День» после нескольких предупреждений, несмотря на вмешательство и другого сановного защитника Ивана Аксакова – Федора Тютчева был безжалостно закрыт, но тут же возродился под новым названием «Русь» и безбоязненно продолжал дело защиты латышских землепашцев от их угнетателей.

Остзейская действительность пробуждает в Гончарове интерес к прошлому. Вот почему он постоянный посетитель редакции «Рижского вестника», собеседник редактора Евграфа Чешихина, вдумчивый читатель капитального труда первого собирателя и переводчика древних ливонских хроник, объединенных в четырехтомном издании «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края».

«Такие книги, – писал Гончаров Чешихину, – не читаются вскользь, а изучаются. Не стыжусь сознаться: с подробной историей Прибалтийского края я познакомился вполне только из собранных Вами, с изумительным терпением, трудолюбием и добросовестностью, материалов. Для историков Вашего края – это клад, и только исследователи по-настоящему оценят всю громадность и важность Вашего труда. Легко догадаться, каких стараний стоило составителю собрание и систематическое изложение всей этой массы исторических показаний, свидетельств и документов».

Гончаров в своих письмах не перестает напоминать Чешихину о необходимости продолжать начатое им великое дело, обещает даже поискать меценатов, которые помогли бы в этом деле материально. Чешихин же в своих письмах вспоминает и творчество Гончарова, соотнося его персонажей с остзейской реальностью. «...поживи только меж нами, рижанами, сам знаменитый Обломов хоть с полгода – он непременно сбросил бы с себя халат и вскочил бы со своего дивана». В этом, можно думать, помогли бы ему деловитые остзейские Штольцы.

Но и самому Гончарову в своих знаменитых письмах с Рижского взморья не стать занимать юмора и сатиры.

– «Здесь с одной стороны большая река Аа с далеким горизонтом полей, а с другой – море и сосновый лес. Все это незаменимо.»

– «Здесь – важно, небо блещет, воздух трепещет, жуки жужжат, деревья произрастают...»

– «Здесь все, слава Богу, тихо, хотя в эту минуту гремит гром, но гремит как-то ласково, добродушно, точно «ветхий деньми» с небеси с любовью журит шалунов-внучат!»

– «В эту минуту идет отчаяннейший дождь с каким-то дымом... И погода такая с ветром, холодом и дождем стоит с самого Ильина дня. Гром гремит не один, а три дня сряду, как будто кроме Ильи, и все другие пророки приняли в этом событии участие. В воду лезят немногие: я отчаянный купальщик, но вот три дня не хожу в море – ноги по колени точно льдом режет.»

– «Ни благорастворения воздушных, ни изобилия плодов земных, а токмо

Ветры ревущие, Душу гнетущие,
Волны кипящие, Сердце мутящие,
Громы гремящие, Хляби отверстые,
Потоки лиющие, Страждущих злящие...

и все такое. Это я в мрачном настроении начал поэму: если доведу до конца – пошлю в «Вестник Европы».

– «Было бы совсем хорошо, если бы не петухи и музыканты! Житья от них нет тихим людям, в том числе и мне, старичку... Если бы я был вселенскою силою, я петухов и музыкантов поселил бы вместе на одной особой планете. Что за мука от них! Какая природа, какое лето тут, когда из каждой избушки несутся нестерпимо пробные звуки фортепиано или рогов, рожков, труб и разных иных кимвалов... Придет ночь, вот и покой бы: а тут петухи! Они поделили сутки пополам, а до прочих им дела нет! Неотложно надо перевести их на особую планету!»

Однажды на званом обеде Гончарова называли «berühmter Dichter» («известный поэт»). По этому поводу он Стасюлевичу пишет: «Пожалуй, мне на штранде соорудят из песку и морской травы монумент с надписью «Berühmter Dichter» цвел 85 лет и купался в здешнем несоленом море».

На храмовом празднике в Дуббельнской церкви архиерей обратился к автору «Обрыва»: «Читал последнюю Вашу книгу. Каков Волохов-то, а?» Реплику иерарха писатель встретил сарказмом: «Это архиерей-то читает «Обрыв» вместо Стоглава или Апокалипсиса. Каковы ныне преосвященные!»

Федор Тютчев (1803–1873)¹

Трудно определить, что важнее в контексте русско-латышских связей: замечательные, неповторимые стихи Федора Тютчева о латвийском крае или его деятельность в роли цензора – защитника аксаковских и катковских идей в защиту угнетенных латышей.

Думается, что перевес все же в тютчевских стихах, которые мы здесь и приводим. Они датируются 1830 годом и возникли во время его возвращения из заграничной командировки.

* * *

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло...
Бесцветный грунт небес, песчаная земля –
Все на душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли –
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
«Вы – мыслил я, – пришли издалека,
Вы сверстники сего былого!»

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с берегов другого света:
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа...

¹ Источники: «Отражение...», с. 124–146.

Но твой, природа, мир о днях былых молчит;
С улыбкою двусмысленной и тайной.
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

* * *

Песок сыпучий по колени...
Мы едем; поздно, меркнет день;
И сосен по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий...
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.

В ДОРОГЕ

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, –
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.

А. Лосев так интерпретировал эти стихотворения: «Наугад взятые строки из этого цикла: «унылая картина», «грустные места», «вяло свод небесный глядит», «бледные березы», «песок сыпучий по колени». Подобного настроения детали складываются в единый целостный образ, увиденный поэтом в сонном балтийском тумане и оркестрованный в сосредоточенно романтических, сдержанных созвучиях. Поражает сумеречный колорит стихов:

И сосен по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
«Какие грустные места!»

Этот с легким оттенком горечи вздох, мягкий аккорд завершает нерусскую картину, где в нераздельном единстве струят свой тихий свет остзейские воды, небесные и земные пространства...»

И все же... И все же, не только бесконечно милыми с нежного возраста красками, звуками, запахами, сладостно теснящими грудь природными приметам влекут нас балтийские строфы Федора Тютчева. При ближайшем рассмотрении в них обнаруживается сближение разноположенных начал: пейзажно-философских мотивов и тем остро социальных, соотнесенных с отражениями былого. Поэт, великолепно осведомленный в «делах давно минувших дней» латышей, литовцев, эстляндцев, откликнулся на этапные события в истории этих народов. До нас доносятся отзвуки полузабытых войн, межгосударственных распрей позднейшей поры. Мы переносимся в жестокосердные времена нескончаемых унижений, когда сыны Ливонии, «простертые в пыли лобзали рыцарскую шпору».

Не оттого ли этим тютчевским строкам бесспорное предпочтение отдавал Некрасов? «Песок сыпучий по колено...» – делится он своими соображениями, – «вещь эта коротка, но к ней решительно нечего прибавить. Каждое слово метко, полновесно, и оттенки расположены с таким искусством, что в целом обрисовывают предмет как нельзя полнее».

Конец 60-х, начало 70-х годов для Тютчева – время повышенного интереса к «остзейскому вопросу», время неоднократных попыток высказать к нему свое отношение.

«Остзейский вопрос», настаивал Тютчев, в правительственных кругах по-прежнему не находит должного отклика. Такое отношение стало возможным потому, что «некие из нас» полагают весьма «назойливыми» статьи Ивана Аксакова и А. Георгиевского.

В письме к Ю. Самарину 13 июля 1868 года Тютчев пишет: «Я ожидал с нетерпением ваши пражские публикации». Речь идет

об «Окраинах России», труд, проникнутый тревогой за «простолудинов из латышей», оказался к распространению запрещенным. И Тютчев – главный цензор русских зарубежных изданий – выговорил себе право давать заинтересованным лицам индивидуальные разрешения на приобретение этого пражского издания. Многозначительно признание поэта: «Книга Юрия Самарина по-прежнему занимает все умы. Не проходит дня, чтобы я не подписывал около сотни разрешений». Труд о порубежных северо-западных землях Тютчев относит к самым достоверным социально-экономическим, религиозно-культурным, этническим сведениям о Прибалтийском крае второй половины XIX века. И известен также его сочувственный отклик на цикл статей Ивана Аксакова в газете «Москва» с попутно высказанной высокой оценкой самаринской публикации. Такая поддержка по тем временам требовала известной смелости. Выступления Аксакова в защиту латышских земледельцев обернулись для него серьезными невзгодами. Не раз Тютчеву-камергеру, влиятельному при дворе лицу удавалось отвести от единомышленника начальственные громы и молнии.

Защищать Аксакова и латышей Тютчеву приходилось не только от власть имущих титулованных немцев. Оказалось, что остзейский генерал-губернатор Александр Аркадьевич Суворов полностью на стороне лифляндских немцев. Это обстоятельство вызвало критические стихи Тютчева:

Гуманный внук воинственного деда
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы «людоеда»,
Мы, русские, Европы не спросясь.

В то же время Тютчев никоим образом не был врагом немецкой культуры, немецкой литературы.

Остзейский немец барон фон Мальтиц ввел Тютчева в дом Гете, познакомил с замечательным немцем, переводчиком русской литературы Фернхагеном фон Энзе. Ему русский поэт посвятил прочувственное стихотворение «Знамя и Слово».

Первый перевод из Тютчева на латышский язык помечен 1907 годом. Это было стихотворение «Poēts» в переложении Викторса Эглитиса (Viktors Eglītis). Среди переводчиков в последующее время – Янис Судрабкалнс (Jānis Sudrabkalns), Карлис Скалбе (Kārlis Skalbe), Линардс Лайценс (Linards Laicens). Но только в 1962 году свет увидел сборник Тютчева «Избранное», а в 1981 году – «Лирика». Особо удачные переводы стихов Тютчева принадлежат М. Бендрупе (Mirdza Bendrupe) и В. Кайяксу (Vladimirs Kaijaks).

Особенно проникся идеями и художественными образами Тютчева Карлис Скалбе. Тютчевскую крылатую фразу «Мысль изреченная есть ложь!» Скалбе развивает в одну из наиболее поэтичных своих сказок «Nabaga bramīns» («Бедный брамин»), в которой звучит не менее выразительный афоризм: «Skaists ir izrunāts vārds, skaistāks viņš manos sapņos. Tādēļ tik grūti runāt un tik saldi klusu ciest» («Красиво вымолвленное слово, ещё красивее оно в моих мечтах. Поэтому так трудно говорить и так сладко тихо страдать»).

В главе «Vērojumi mežā un laukā» («Наблюдения в лесу и в поле») в книге эссе «Rudens noskaņas» («Осеннее настроение») Карлис Скалбе пишет: «Осень не приемлет многоречивости. Только создателю трехстрочного шедевра «Silentium!»– («Молчание!»)– ведома сокрытая цена молчания. Вспомним Тютчева, – продолжает К. Скалбе, цитируя в латышском переводе бессмертные стихи своего русского собрата:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пусть в душевной глубине
И всходят и зайдут оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи».

И латышский поэт продолжает: «Вслед за русским поэтом мы говорим: молчи, тайно радуйся красоте достойной мысли, но не спеши ее высказывать».

Воздаст должное певцу России и современный латышский поэт Арвидс Скалбе (Arvīds Skalbe) в стихотворении «Tjutčeva motīvs» («Тютчевский мотив») (в переводе Александра Кушнера):

О, посмотрите, как оно
К закату клонится с трудом,
Как бы уйти принуждено
За темный бор, в свой грустный дом.

Садится, алое, в тоске
И дверь не хочет запирать,
И жизнь висит на волоске,
Взойдет ли поутру опять?

И Моцарт, зла не помня вновь,
Звучит во тьме, на склоне дня,
И вы так юны, но любовь
Закатная не для меня.

Прозаик и критик Александрс Гринс (Aleksandrs Grīns) в лирических миниатюрах Карлиса Штралса (Kārlis Štrāls) расслышал отголоски Тютчева: «Строго говоря, – читаем в Гринсовском обзоре стихов, собранных в книге «Zemes elpa» («Дыхание Земли»), – это едва ли выполнимое занятие в латышской литературной среде отыскать стихотворца, который столь же всеохватно и дерзко, как недосыгаемый Тютчев, осмелился бы проникнуть в мистические, неподвластные смертному тайны Вселенной, воспринять мимолетное чередование дней и ночей, отражение Богоданного этого потока в блистающих небесах...» На такого рода абстракции А. Гринс предлагает взглянуть сквозь призму факта: «Все сказанное припомнилось мне, когда у Карлиса Штралса я набрел на стихи «Neredzamā saule» и «Nakts» («Невидимое солнце» и «Ночь»).

В романе Валдемарса Дамберга (Valdemārs Dambergs) «Gaitniecības ceļi» («Пешие пути») философ Кайрамс, поэт Тулс, художник Иван Федотов где-то на неоглядных просторах Руси в очередном философском споре доказывают друг другу свою правоту:

«— Отчего же все-таки теософы с таким тщанием скрывают все, что им ведомо о мистических учениях Востока? — обратился к со-товарищам Кайрамс.

— Как мне точнее ответить?.. — размышляет вслух Федотов. — И пифагорейцы, как известно, знания хранили в великом секрете! Они не сомневались: сведения всеобъемлющего свойства несут миру многие печали...

— Вспомним Тютчева, — воодушевился Тулс, — «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои...»

— Верно, — не замедлил согласиться Федотов. — В этих строках русский поэт и мыслитель близок соображениям теософов: высшие, внушенные Небом истины не следует подвергать бездумной вульгаризации. Став достоянием толпы, они теряют преобразующую силу, первозданную ясность, чистоту».

Так Тютчев вошел в латышское художественное сознание.

И в наши дни Тютчев в Латвии не забыт. Русский немец Вальдемар Бааль свой рассказ «Это было давно» снабдил эпиграфом — тютчевским стихотворением

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Иван Тургенев (1818–1883)¹

На первый взгляд — что можно сказать о Тургеневе в контексте связей с Латвией? Здесь он побывал, в отличие от Гончарова, всего два раза: первый раз, когда четырехлетнего Ваню родители везли на Баден-Баденский курорт, второй раз, когда Ивана Тургенева в гробу везли через Двинск в Петербург. Тогда, правда, вагон на 3 дня остановили в Двинске, власти боялись различных манифестаций. В Двинске, как писал краевед Иешин, местная общественность примерно попрощалась с великим писателем земли русской.

¹ Источники: «Обращенные», с. 43–70.

На самом же деле – Латвия – неистощимый источник материалов об Иване Сергеевиче Тургеневе.

В запасниках музея латышского и русского искусства испокон веков хранился портрет Тургенева кисти латышского художника Артемийса Груздиньша (Artemijs Gruzdiņš), о происхождении которого никто толком ничего не знал, пока воспитанники учительницы Ф. Шкирмант не узнали о его существовании. Разгорелась целая полемика о возможном месте и характере появления этого портрета, и музейные сотрудники вынуждены были портрет расчистить и выяснить, что он написан в Баден-Бадене в 1868 году. Портрет теперь открывает экспозицию латышского искусства в музее, а М. Лаце выяснила, что по заказу Третьякова портрет должен был писать Гунс, но почему-то этот заказ не выполнен и автором портрета стал Артемий Груздиньш – природный рижанин и студент Мюнхенской Академии искусств.

Вторая тургеневская реликвия в Риге – письмо писателя своему племяннику Шварцу, родственнику Николая Сергеевича Тургенева, письма и документы которого (вместе с письмом писателя) хранятся в архиве немецких родственников Кохов, с которыми Николай породнился, женившись на гувернантке своей матери, что, как известно, привело к изгнанию непослушного сына из родового поместья Тургеневых и обоснование его на новом местожительстве – в Риге.

По словам Карлиса Эгле (Kārlis Egle), в свое время познакомившегося с этим архивом, в нем немало материалов для изучения истории тургеневской семьи, что касается племянника писателя Егора Шварца – впоследствии профессора Рижского Политехнического института и Латвийского университета, то сам он образование в Дрезденском университете получил на средства Ивана Сергеевича Тургенева.

К рижскому наследию Ивана Тургенева принадлежит и часть парижской библиотеки писателя, которая какими-то пока не выясненными путями (очевидно, при посредстве его рижских родственников) проникла в Ригу, где продавалась в антиквариате Киммеля и фрагментарно сохранилась со всеми тургеневскими экслибрисами в рижских библиотеках.

Но подлинный памятник связям Тургенева с Ригой и Митавой – 50 писем, написанных им «неистовому» Эмилю Бере – издателю первого прижизненного собрания сочинений писателя на немецком языке.

Все началось с неимоверного успеха, который ожидал в Остзейском крае немецкий перевод «Дыма»; в немецком издании восстановлены те фрагменты, которые были вычеркнуты цензурой как порочащие высшие чины русской армии. Таким образом, немцы могли прочесть то, что для русских было за семью печатями. В 1867 году роман был напечатан в 222–256 номерах газеты «Rigasche Zeitung» («Рижская газета»). Успех побудил хозяина только что организованного в Митаве немецкого издательства «Lukas» выпустить тургеневский роман отдельной книгой. И на этот раз успехи превзошли все ожидания, книгу пришлось переиздать. В связи с этим предприимчивый издатель приступил к публикации собрания сочинений Тургенева на немецком языке. Это и стало главной заботой престарелого писателя на протяжении 1869–1883 года (последний XII том вышел уже после смерти Тургенева и Бере).

О том, какое значение придавал писатель этому изданию, свидетельствуют уже упомянутые 50 писем своему издателю. Тургенев прежде всего активно участвует в отборе материалов и тем самым высказывает свое отношение к творению рук своих: советуя включить в собрание то или иное произведение, он стремится дать ему исчерпывающую характеристику.

Особое место в письмах писателя занимает обсуждение качества переводов, которыми он имеет полное право быть недовольным.

Больше всего нареканий приходится на долю Фридриха Чиша: «Господин переводчик, – негодует Тургенев, – поставил перед собой задачу тщательнейшим образом вымарать любой тонкий штрих, любую сочную краску – словом все, что не является общим местом». У переводчика не дрогнула рука без каких-либо на то оснований вычеркнуть строки, которые стоили писателю «многих усилий».

«Тучный генерал» переводчик соотнес со словом «туча». Фраза «утки плескались в грязной сажалке» превращается в «голуби ворковали на дереве», потому что в сознании переводчика «сажалка» ассоциируется с глаголом «сажать», а «грязная сажалка» превращается в «тенистое дерево».

Все же Тургенев, учитывая такое непонимание слова «сажалка», переделал и в русском тексте на «лужицу».

Тургенев возмущен и переводом фразы: «Вы муж ума чудного, просто аки лев» в переводе: «Ihr seid ein kluger Mann, Aki Rebb!» – что это за новая талмудическая личность?» – возмущается писатель.

Иногда Тургенев дает переводчику советы, используя практику перевода его произведений на французский язык. Так старое пальто Базарова он предлагает перевести словом «ein Fetze» по образцу французского «une loque».

Тургенев понимает, как трудно перевести хотя бы такое словосочетание: «Эй! хлоп! в лоб! в потолок! ах, ты, шельма, Польде-Кок!». Писатель предлагает такой свой перевод: «Hopsa! Propf! Spring und klopff in den Kopf!»

Однако самое главное в этом собрании сочинений – предисловие, написанное самим автором:

«Германии я благодарен за многое, – писал в этом предисловии Тургенев. – Для меня страна Шиллера и Гете – вторая родина. Достоевский и через десятилетия не мог простить своему брату по перу этих слов. И вот один из персонажей романа «Бесы», писатель Кармазинов, оказывается таким перекасти-поле. Давным-давно позабыл он и о тульском своем имении, и о бедствиях своих крепостных. Симпатии подбитого ветром россиянина безраздельно отданы немецкому городу на Рейне: «Что до меня, то я сию вот уже седьмой год в Карлсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества».

Однако, почтительное отношение к Шиллеру и Гете совсем не означало, что Тургенев так же относится к остзейским немцам.

Свидетельство тому ненапечатанный в «Записках охотника» рассказ «Реформатор и русский немец».

Реформатор – это господин Леберехт Фохтлендер, который «на двадцать пятом году поступил на российскую службу, состоял в разных должностях 32 года с половиной и вышел в отставку с чином надворного советника и орденом святой Анны». Макарат Иваныч Швахтель – так крестьяне называют своего барина, который ввел типично немецкий Ordnung, запретив все то, что запрещать русским помещикам и в мысли не приходило. «Да у нас уж барин такой... На наперстке, прости Господи, рожь молотит».

Но не лучше Евгений Александрович Ладыгин, отсутствие немецкой голубой крови искупающий типично немецким культом того же Ordnung. Крестьяне не могут перечислить всех его статистических упражнений, учета кур, хомутов, съеденного хлеба и всего прочего, чем только онемечившийся русский барин ни занимается. И слугу своего чухонца Ганса вымуштровал так, что он ему только по-немецки отвечает.

Присутствие «остзейского вопроса» ощущается не только в этих юморесках. О нем на полном серьезе решил с Базаровым поспорить и Павел Кирсанов:

«Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного в то время вопроса – правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодной вежливостью:

– Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

– Еще бы! – воскликнул Базаров.»

Значит, и Тургенев не прошел мимо того обостренного интереса к «остзейскому вопросу», который так волновал Гончарова, о чем мы рассказали выше.

Но связь Базарова с «остзейским вопросом» на этом не обрывается. Наш сотрудник Владимир Давыдович Свирский снова актуализировал этот вопрос о прототипе Базарова и доказал, что его прототип, или в крайнем случае, один из прототипов тот же, что и прототип Рахметова в романе Н. Чернышевского «Что

делать?» – тот самый Петерис Балодис, о котором была речь в разделе о Герцене. Главное свидетельство тому – воспоминания Н. А. Островской, в свое время встретившейся с латышским революционным демократом. И Тургенев в свое время на соответствующий вопрос Островской не отрицал возможности совпадения прототипа Базарова и Рахметова.

Существенная разница между этими двумя персонажами зависит от идей политических и этических установок авторов.

В 1870 году рижане увидели в бенефисе Луизы Майер, ученицы Полины Виардо, комическую оперу по либретто Тургенева с музыкой Полины Виардо «Последний колдун», поставленную одновременно с третьим действием «Трубадура». Такое соседство, однако, затмило музыку Виардо, а сюжет шокировал рижских верноподанных бюргеров: это был пасквиль на восстановление во Франции монархии, в результате чего семейство Виардо потерпело материальные убытки.

Рецензент «Рижского вестника» был возмущен афишей немецкого театра, где Тургенев был представлен как автор «Дыма», а не «Накануне» и «Дворянского гнезда», как хотели бы это русские патриоты из «Рижского вестника».

В латышской периодике имя Тургенева появляется уже в 1868 году, первое переведенное произведение «Мой сосед Радиллов» напечатано в 1879, затем один за другим переводятся рассказы из «Записок охотника».

Главным переводчиком и поклонником Тургенева становится Апсишу Екабс (Apsīšu Jēkabs), который призывает перевести на латышский язык все произведения писателя. Латышский прозаик создает и свои оригинальные произведения по тургеневскому «образу и подобию». Его «Laimes sproks» («Призрак счастья») точная копия «Бежина луга», перенесенная на латышскую почву и насыщенная преданиями о жестоких баронах и замках, о которых рассказывают мальчишки у костра в ночном.

С каждым новым годом появляются новые переводчики Тургенева, среди них Антонс Биркертс, Андреис Упитс, Екабс Яншевскис, Робертс Кродерс, Эдуардс Раматс, Карлис Скалбе, Антонс Аустриньш, Александрс Чакс.

В 1929–30 годах печатается собрание сочинений писателя на латышском языке, которое повторяется в 1936–1937.

В латышских театрах 20–30-х годов только два спектакля были связаны с русской классикой. Один из них – упомянутый «Лес» Островского в бенефисе Теодорса Лациса, второй – драматизация «Дворянского гнезда». Среди постановок 50–80-х годов – «Вешние воды», «Дворянское гнездо», «Месяц в деревне».

Цитаты из Тургенева, имена его персонажей – в публицистике Райниса, который Алунановского доктора Бриедиса сопоставляет с Рудиным.

В стихах Петериса Эрманиса (Pēteris Ērmanis) выступают такие персонажи, как Пушкин, герои Тургенева и Достоевского: Лиза Калитина, Алеша Карамзов. Вторично Лиза выступает в стихотворении «Mūžīgi sievišķais» («Вечно женственный»), где представлен воображаемый разговор Лизы Калитиной с Агнес (из ибсеновского «Бранда») и Маре (персонажа Анны Бригадере).

Тургенев принадлежит к тем немногочисленным русским авторам, которых любят и постоянно издают в латышском западном зарубежье. С персонажами Тургенева и самим автором не расставалась Зента Мауриня (Zenta Mauciņa). Контактам Тургенева с Францией посвящено особое эссе Маурини. В Миннеаполисе в 1959 году в переводе Карлиса Скалбе были изданы «Вешние воды» и «Накануне», в 1962 году в его же переводе «Дым», в 1969 году в переводе К. Лейниекса (Kārlis Dziļleja pseid. K. Lejnicks) «Записки охотника».

Дмитрий Писарев (1840–1868)¹

Марко Вовчок (Мария Маркович) (1833–1907)

«В 60-е годы, – пишет Журавлев, – значительным для истории культуры Латвии явлением стал приезд на Рижское взморье критика Д. И. Писарева и его спутницы украинско-русской писательницы Марии Маркович, известной в литературе как Марко Вовчок».

Подробное исследование пролило бы свет на некоторые нерешенные еще проблемы, например, на создание портрета Турге-

¹ Источник: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии», с. 64–68.

нева, заказанного Третьяковым Гуну, но выполненного Артемием Груздиным в 1868 году в Баден-Бадене.

Как указывает Журавлев, контакты Марии Маркович с Гуном возникли уже около 1864 года в Париже, на Монмартре, где Карлс Гунс обосновался как в своей мастерской. Об этом он писал Ю. Феддеру: « И здесь в Париже, однажды, ко мне в мастерскую заглянул мой однокурсник Валерий Якоби со своей супругой и с подругой писательницей Марко Вовчок, очень скромной, застенчивой и не сразу согласившейся мне позировать. К модели у меня были и свои особые «требования». Ведь привык писать царские хоромы, богатые бархатные одеяния... Вот я и попросил Марию Маркович одеть темное бархатное платье с белыми кружевами. Она окончательно смутилась и сказала, что таковых у нее нет. Выручила супруга Якоби – светская дама, посещавшая модные парижские салоны русских эмигрантов... И сеансы состоялись... Их было много, и я был так очарован своею моделью, что умышленно продлевал сеансы... Марко Вовчок была не только писательницей, автором известных «Народных рассказов», она великолепно пела, особенно проникновенно получались у нее народные украинские песни... И вообще вскоре Мария стала душой моего «скромного жилища». Удивишься, если скажу, что благодаря ей у меня побывал ее большой друг и поклонник Иван Тургенев, с ней подружилась его дочь Полина, заглядывала и Полина Виардо... Она уговаривала меня написать портрет Тургенева. Впервые из уст Марии Маркович узнал и оценил Н. Добролюбова, А. Герцена, Н. Огарева... Со всеми ними Марко Вовчок в тесном творческом содружестве... Да, кстати, Тарас Григорьевич Шевченко ее любил как родную дочь и посвятил ей ряд своих стихов.»

В конце того же 1864 года Мария Александровна писала профессору истории С. Ешевскому: «С меня пишут портрет масляными красками. Я сижу в бархатном черном платье на маленьком кресле. Художник неотступно настаивал на этом. Представьте себе, в бархате и с гордым видом».

В газете «Рижский ежедневный официальный справочник» 1868 № 140 в рубрике «Прибывшие в Ригу 22 июня» – «Писарев и

г-жа Маркович с сыном Богданом из Динабурга. Остановились в гостинице «Франфуркт-на-Майне», затем в пансионе в Дуббельне».

В «Роднике» (1987 № 8) в виде художественного повествования описывается повседневная жизнь приезжих: ранний подъем и купание в море, завтрак, работа, посещение пляжа, где была абонирована пляжная кабина – коляска с кучером и лошастью, доставлявшая купальщиков на глубокое место; обед, прогулка, снова работа, которая продолжалась и вечером при свете лампы.

Марко Вовчок в те дни писала роман «В глубине», Писарев – готовил материал для семи обещанных журналу статей.

Утро 4 июля. Д. Писарев и Богдан отправились к морю, пошли купаться. Только через час было найдено тело Писарева.

В архивах III отделения сохранились агентурные сведения о смерти и похоронах Д. Писарева. Отмечалось, что «первое известие о гибели Писарева дано было Маркович известному колумнисту и литератору Василию Слепцову».

Некрасов хлопочет о разрешении на перевоз тела Писарева в Петербург. После значительных усилий разрешение было получено.

Николай Чернышевский (1828–1889)¹

Итак Петр Баллод (или Петерис Балодис), сын известного гернгутерского проповедника Дависа Балодиса, возглавившего в 40-е годы XIX века массовый переход латышей в православие – прототип одновременно и Базарова и Рахметова.

О Базарове уже сказано, остается сказать о Рахметове. На этот раз источник – В. Короленко, который в «Истории моего современника» указал на широко распространенные слухи, которые были по мысли автора воспоминаний весьма вероятными.

В. Д. Свирский в своей монографии «Откуда вы, герои книг?» блестяще обосновал эту концепцию. Возникали возражения, связанные с тем, что Балодис Чернышевского до встречи в остроге не знал. Но возможно ли было в узком кругу революционно настроенной молодежи Балодису не знать Чернышевского, Черны-

¹ Источники: «Обращенные», с. 71–99.

шевскому Балодиса, который заслужил уже тогда революционную славу своим сотрудничеством с Писаревым, арестом? Напомним читателю лишь некоторые физические и духовные качества, роднящие Балодиса и Рахметова, и прежде всего их физическую силу (Рахметов останавливает разбушевавшуюся лошадь, Балодис – удерживает баржу против течения); воздержанность, аскетизм обоих; свободолобивые помыслы, доходящие до революционности.

Общелитературную ценность приобрели записки Балодиса о Чернышевском, с которым он стал неразлучен, начиная с каторжного Александровского завода. В очерке «Из жизни в Нерчинских рудниках в 60-х годах» Балодис воссоздает облик непреклонного своего союзника.

Долгое сибирское заточение русскому единомышленнику не казалось столь мрачным, безысходным, как другим обреченным на каторжные работы. Чернышевский и в мыслях не допускал, чтобы кто-то проникся к нему жалостью. Общаться предпочитал с теми, кто избегал слезливых излияний. «Желание жандарма по душам поговорить с заключенным Чернышевский оборвал: «Все вы твердите одно и то же, но ничего не делаете и делать не станете. Ну к чему пустые слова?» Но вообще-то «любого, кто приходил к нему, он встречал приветливо и всегда готов был оказать всякую услугу».

Авторитетом Чернышевский пользовался невиданным, всеобщим, безупречным, покоряющим. И каждый искал понимания, отклика, поддержки. Когда среди заключенных (преимущественно польских жолнеров) вспыхивали ссоры, только Чернышевский становился третейским судьей. Как-то он обратился к Балодису – старосте барака: «Да вы бы устроили маленькую пирушку, пригласили оппозицию, и поверьте, все пошло бы как по маслу. Ведь у нас на Руси, все так делается, как при начале, так при конце всех дел... Да разве у вас серьезные какие-нибудь столкновения? Ссоритесь просто для развлечения, для забавы. Ну и кончайте какой-нибудь шуткой, пирушкой.»

И петербургские дни Чернышевского, и запроволочный его уклад поражали самоограничением. И в январе, и в июле он не

расставался с выдавшим виды стеганым, на барашковом подкладе халатом и валенками. Всегда искал одиночества. Но вот комендант по каким-то делам оставил «мертвый дом», и Чернышевский тут же принялся читать солагерникам последние свои наброски.

Когда в зоне составилась «домашний театр», артисты разыграли пьесу, созданную по этому случаю Чернышевским.

Своими четкими строками заполнял Чернышевский сотни листов. И все сжигал... Счастливым исключением – «Пролог», пьеса «Мастерица варить кашу».

Воображение Чернышевского-писателя, социального мыслителя, историка и теоретика искусства занимали «обширные труды», дерзновенные намерения.

Когда Балодис отправлялся на поселение, покидал Александровский завод и прощался с верным своим другом, Чернышевский настойчиво уговорил его принять в дар единственную семейную реликвию – золотые часы. «Понадобятся деньги, продадите, все рублей тридцать дадут.»

Не только латыш Петрис Балодис прославил в своих воспоминаниях Чернышевского. Русский писатель платил тем же латвийцам, высоко прославив еще до своего ареста всех тех, кто ратовал за облегчение тягот угнетенных и обездоленных латышей.

Речь идет о статьях, напечатанных в издаваемых Чернышевским журналах.

В статье «О бытовых тяготах помещичьих крестьян» лифляндская и курляндская практика освобождения крестьян без земли называется поучительной. Не приемлет «Современник» и постановлений 1849 года: ведь за выкуп требовались такие деньги, которыми располагали немногие.

Чернышевскому приписывают рецензию на статью Д. Самарина «Баронс Шульц фон Ашераден и доктор Меркель». Читающая Россия узнала о людях высокой нравственности, милосердных, поборниках чести и справедливости. Барон Шульц «далеко опередил век» уважительным отношением к своим кормильцам. В документе, составленном им собственноручно, четко определялись «права и обязанности дворохозяев». Примечательно начало этой рецензии: «Честь и слава людям, которые для пользы челове-

ства, для поддержания справедливых убеждений не страшатся ярости и нареканий людей с узкими и отсталыми понятиями алчных эгоистов».

Экономический обозреватель «Современника» напоминает и о гражданском подвиге благородного лифляндца Гарлиба Меркеля, говорит о неподвластном времени авторитете автора «Латышей» – авторитете социального мыслителя, ниспровергателя баронской деспотии. Главная меркелевская книга вызвала брожение умов в Германии, оказала бесспорное воздействие «на многих пребывающих там молодых лифляндцев и подготовила деятелей предстоящей реформы». В самом же Остзейском крае дворяне приняли «Латышей» в штыки. Но «семена здоровых идей» взошли и со временем принесли плоды.

За два с половиной года до февральского манифеста 1861 Чернышевский открыто выступает с листовкой «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

С бесстрашием, редким даже для бывалого бойца, Чернышевский звал к неповиновению самодержавной власти, к мятежу.

Освобождение без земли вело пахаря одной-единой слезной дороженькой – на батрацкую половину. «А мужику в деревне что делать, куда деваться, кроме как в батраки наняться, ну и нанимайся. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно, а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки». В разных углах России «мужики живут хуже нельзя». Лишенные мало-мальски пригодных наделов, латыши пришли в крайнее состояние и не видели для себя никакого просвета. Немногим отличались достатки работных людей в лифляндских и курляндских городах. Леденящие душу подробности «бедствий народных» не могли не вызвать протеста, повсеместного возмущения российской общественности.

О том, какой горячий и сочувственный отклик вызвали в Прибалтийском крае статьи Чернышевского, рассказывает В. Чешихин-Ветринский в книге «Среди латышей». Многие детали вызывают в памяти листовку Чернышевского.

«Нескончаемая барщина, которую работал латыш: курная изба, в которой он жил; хлеб часто пополам даже не с мякиной, а с

папоротником; кислая путра, которой он питался круглый год – все это, по своей повседневности, еще долго не останавливало на себе внимания».

Упоминание В. Чехихиным-Ветринским имен Шульца и Меркеля еще основательнее утверждает в мысли: изначально импульсом исследования о латышах стали статьи из «Современника».

Влияние эстетических идей Чернышевского наиболее ярко отобразилось в полемике фольклориста и литературоведа Яниса Альбертса Янсонса (Jānis Alberts Jansons) (в книге «Dailes lokā» – «В кругу прекрасного») с культурологом П. Зейле «Может ли народ, пребывающий в подневольном состоянии (речь идет о XIV–XVI веках), полноценно воспринимать, всем существом своим переживать прекрасное?» Ведущий аргумент латышского исследователя – по-прежнему, времени вопреки, доказательные положения диссертации «Эстетическое отношение искусства к действительности». Чернышевский, развивает свою мысль Я. А. Янсонс, помогает понять, каким образом латышские крестьяне, доведенные владельцами до разорения, способны создавать такие маленькие шедевры, как дайны. За основу своих теоретических построений Я. А. Янсонс берет ключевой тезис из знаменитой диссертации Чернышевского. Латышский исследователь пишет: «В тяжких условиях неволи крестьянин, противодействуя мраку, невежеству, кнуту, не перестает стремиться к лучшей доле, красоте. Безысходная действительность, несвобода не могут приостановить полет мечты, способности воображения». Приводя это высказывание, Я. А. Янсонс задается несколькими риторическими вопросами. Суть их такова. Не потому ли и в латышских четверостишиях, сложенных народом в годы самого мрачного рабства и беспросветной нужды, все земное и подземное, все предметы крестьянского уклада отливают чистым золотом, излучают серебряное свечение, покоряют затейливой игрой драгоценных камней?

В послевоенные десятилетия на латышском языке изданы все основные сочинения Чернышевского: романы, избранные философские труды.

Крах коммунистической системы стал и крахом социалистических идей, в формировании и пропаганде которых так много сде-

лал Чернышевский. Однако, определенное место и в истории идей, и в истории литературы, и в истории русско-латышских идейных и культурных связей Чернышевскому обеспечено определенное, весьма почетное место.

Николай Некрасов (1821–1878)¹

Перефразируя изречение А. Лосева «Поэта узнают по-разному», можно сказать: русско-латышские литературные связи могут быть самыми разнообразными: и духовными и вещественными. Так оно стало с Некрасовым.

Анна Людвиговна Бауэр, в прошлом сотрудник музея, – человек, причастный к собиранию и хранению «раритетов», поведала учителю и краеведу Александру Гусеву удивительную судьбу появления в Риге близких Некрасову предметов его повседневного обихода: льняная скатерть с инициалами Н. Н., кусок кожи с тиснением Н. Н. (очевидно, с какого-нибудь адреса), несколько книг из личной библиотеки поэта, две фотографии вдовы Некрасова Зинаиды Николаевны, охотничья кофейная мельница, сахарные щипцы, ступочка. Их привезла в Ригу Анна Васильевна Озолиня, на руках которой в Саратове умерла Зинаида Николаевна. Эти вещи, за исключением скатерти, проданной на рижской толкучке, стараниями Бауэр были возвращены в некрасовский музей.²

Но, разумеется, и духовные, словесные, идейные контакты были неизмеримыми. Никто из русских поэтов не оставил в латышской поэзии и фольклоре столько реминисценций, как Некрасов. О широком распространении фрагмента «Укажи мне такую обитель» из стихотворения «У парадного подъезда» уже сказано в разделе фольклора, здесь остановимся на многочисленных реминисценциях в творчестве латышских поэтов.

После «Парадного подъезда» на втором месте у латышей оказалась «Железная дорога», которая под пером Фрициса Адамовича (Fricis Adamovičs) превратилась в «Замок» («Pils»):

¹ Источники: «Обращенные», с. 100–123.

² Гусев А. «От Волги до Даугавы», – Учительская газета, – 1972, 11 января.

Viņā kalnā, tur aiz laukuma, Kur pie strauta sākas sils, Senos laikos pilnā jaukumā Stāvējusi senču pils.	на холме, там за полем, где у ручья начинается бор в древние времена в полной красе стоял предков замок
--	--

Pili apkaroja; strautiņā Asins straumi sārtoja. Aizstāvjiem bij beigties kautiņā, Pili liesmas aprija. [...] Senčiem vergu jūgā galējā Daudz bij posta jāpanes, Daudzi beidzās tā; tur palejā Esot viņu kapenes.	замок захватили; в ручейке крови поток алел. Защитники должны погибнуть в битве, Замок пламенем поглощен. Предкам в рабском иге Много пришлось невзгод перенести Многие закончили так; там в низине Их могилы
--	--

Реминисценции весьма отдаленные – разве что в последних строчках. И только указание латышского автора на связь с «Железной дорогой» позволяет и нам это соответствие установить.

Однако другие строфы стихотворения Ф. Адамовичса ближе к некрасовским, чем процитированные.

У Адамовичса:

Zemi mums atņēma, brīvību laurīja, Zuda, kas sirdij bij dārgs; Ne mūs kāds žēloja, ne mūs kāds taupīja... Nospieda liktenis bargs.	Землю у нас отняли, свободу украли Исчезло, что сердцу было дорого; Никто нас не пожалел, никто не пощадил Придавила судьба суровая.
--	--

У Некрасова:

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, Божии ратники,
Мирные дети труда.

Некрасовские реминисценции рассеяны по всей латышской литературе.

Фрицис Бривземниекс в стихотворении «Latviešu Miķelis» тоже перекликается с Некрасовским «Школьником», а некрасовская «Колыбельная» (которая сама перекликается с «Колыбельной» Лермонтова), нашла своих продолжателей в стихотворении Судрабу Эджуса (Sudrabu Edžus) «Bizmaņa šūriņa dziesmā» («Колыбельная ретрограда»).

Citus mājīt, plēst un dauzīt	Иных обманывать,
Būs priekš tevīm prieks...	рвать и колотить
Kad uz augstu skolu brauksi	Будет для тебя в радость...
Slinkot, ēst un dzert,	Когда в высокую школу поедешь
Tur ar ļurbām plītēt sāksi	Лениться, есть и пить,
Un pa ausi spert.	Там с негодяями кутить начнешь
	И по ушам получать.

Ближние переклички уже Георгий Мацков усмотрел в стихах Некрасова «Вино» и Эдуардса Вейденбаумса «Domāju es domas dziļās» (В глубоких мыслях погружен»).

У Вейденбаумса:

Asinis man dūsmās vārās,	Кровь у меня от гнева закипела
Un, kaut sirdi sāpes griež,	И хотя сердце боль крутила
Bet pēc atbēšanas kāras	Но после отмщения боя
Dūrē naža spalū spiež.	В кулаке ножа острие зажато.

У Некрасова:

Не из камня душа! Невтерпеж!
Расходилась, что буря, она,
Наточил я на старосту нож...

У Вейденбаумса:

Aizmirsts viss, kas rūpes dar,	Забыто все, что заботу приносило
Kājas, galva knapi klausā,	Ног голова почти слушает
Zudušas bij dūsmas ar.	Пропал и гнев тоже.

У Некрасова:

От души невзначай отлегло,
Позабыл я в тот день о ноже,
А наутро раздумье пришло...

В стихах Эдвардса Трейманиса (Edvards Treimanis-Zvārgulis) не-редко видим подзаголовок «По идее Некрасова» (например, у сти-хотворения «Trīs bērni»). В стихотворении Трейманиса «Māmiņai» («Мамочке») – явные реминисценции некрасовского «Повидайся со мною, родимая!».

Признание Трейманиса «Bet nabagiem un vārdzinātiem, Tiem pie-der visa mana sirds» («Но бедным и нуждающимся Принадлежит мое сердце») напоминают некрасовское «Иди к униженным, иди к обиженным, где трудно дышится, где горе слышится».

Мысль эта у Трейманиса повторяется и в стихотворной форме:

Ej apkārt, pa pasauli plašajo	Иди вокруг по миру широкому
Un mazini cilvēces mokas,	И уменьшай человечества страдания,
Ej būdās un mitrajos pagrabos,	Иди в хижины и влажные погреба,
Kur mana tik sāpes un vaidus!	куда манят только боль и стоны!

Переводами из Некрасова занимались лучшие литературные силы Латвии: Элина Залите и Паулина Барда, Янис Плаудис и Андрейс Курцийс, Атис Кениньш и Аустра Дале (Austra Dāle).

Не обходилось и без курьезов. Так, теоретик перевода русских стихов на латышский язык Янис Паклонс (Jānis Paklons) отыскал в переводах Яниса Сирмбардиса (Jānis Sirmbārdis) такую опромет-чивость:

Стонет он под овином, под стогом
переведено:

Vaid zem kažoka, stepē un krogā

Овин смешан с овчиной, а стог со стойкой в трактире.

Так же как Пушкину и Лермонтову, и Некрасову латышские поэты посвящали прочувствованные строфы. Ограничимся здесь одним стихотворением Судрабалнса:

Ты звал к свободному труду,
Ты был неистов и бесстрашен.
Ты видел сад. И в том саду
Цвели цветы свободы нашей.
И голос слушали мы твой,
И раны наши заживали.
Мы свято верили, мы знали;
То голос истины самой.
(Перевод М. Скородумова)

Разговор о Некрасове был бы неполным, если не ответить на вопрос, а не отразилась ли в творчестве поэта реальная действительность Остзейского края?

Немного. Наиболее серьезный отзвук – стихотворение «Не рыдай так безумно над ним», слова утешения Марии Вовчок, оплакивавшей безвременно погибшего в Риге Д. Писарева.

Второй отклик – в стиле Герцена сетование по поводу приехавших из Остзейского края девушек, над которыми издеваются «душки военные» («О погоде»).

Николай Лесков (1831–1895)¹

Контакты с Остзейским краем Николая Лескова существенно отличаются от характера связей предыдущих русских писателей-классиков. В центре его внимания – рижские старoverы, их быт, школы, моральный облик... Вся эта специфика не заслонила от пронзительного взора писателя, публициста и остальных жителей этой порубежной полосы России.

Уже в 1862 году по дороге на Запад Лесков очутился в земле латвийских старoverов – Двинске. Но в этот приезд его внимание в большей степени привлекли поляки. Со старoverами он встретил

¹ Источники: «Обращенные», с. 180–221.

ся только в следующем году, когда приехал в столицу Остзейского края как чиновник Министерства просвещения, которому было поручено ознакомиться с бытом рижских староверов, особенно в деле их образования. До правительства дошли сведения, что в Риге делаются какие-то попытки в этом направлении. Но самое ценное рекомендательное письмо было на листе из конторской книги, а по другой версии на куске синей бумаги, в какую заворачивали сахарные головы, где старинным почерком начертано «Сему верь. С. Т.» Это «командировочное» открыло перед Лесковым сердца и умы рижских староверов, но, чтобы царского чиновника держать постоянно «под наблюдением», было решено поселить его в доме Ионы Тузова – эконома Гребенщиковской богадельни, моленной и тайной школы, в 45 доме по Московской улице.

Повседневно общаясь со староверами, Лесков стремился выяснить расхождения в вопросах веры и быта «федосеевцев» и «поморцев», различные их воззрения на брак и молитву за царя, другие особенности быта, роднящие или отличающие их от других староверов на всем обширном пространстве, с которыми Лесков уже детально успел познакомиться и опубликовать свои наблюдения в Библиотеке для чтения (1863, – №№ 5, 11; 1864, № 9).

Однако, до школы петербургского чиновника долго не допускали, пока он не пригрозил, что уедет и не сообщит правительству никаких соображений. Школа оказалась тут же по соседству, в доме Аллилуева, по Московской, 43. Никаких радужных впечатлений Лесков из этой подпольной школы не вынес, поэтому его официальный отчет правительству заключался в том, что необходимо староверскую школу вывести из подполья и упорядочить ее существование. Одновременно Лесков красочно описал то пагубное состояние, к которому приводит подпольное ее существование.

«Секретный» отчет Лескова, тут же опубликованный в немецкой печати, не вызвал поддержки правительства. «Староверов в лучшем случае можно только терпеть», – вынес окончательный приговор Михаил Катков. Однако, рижские городские власти, зная, что вопросом интересуется правительство, на свой страх и риск разрешили Гребенщиковской школе официально функционировать.

Рижские староверы надолго запомнили это событие и были Лескову благодарны за содеянное. «Потому-то, – говорил авторам книги «Обращенные к Латвии строки» (Рига, 1999), Иван Никифорович Заволоко, – мои одноверцы благоговейно чтут Николая Семеновича Лескова, до сих пор помнят бесценные его услуги старообрядчеству».

Но, кажется, Лесков из общения с рижскими старообрядцами и рижанами вообще вынес больше ценных наблюдений, которых хватило ему на многие годы для его публицистической деятельности, которая, как известно, была одним из источников существования.

Выстроить в хронологически-тематическую систему многочисленные публикации Лескова на остзейскую тему оказалось не так-то просто. Изучая цикл статей «С людьми древнего благочестия», в которых рассказывалось о религиозных и бытовых особенностях староверов разных регионов необъятной России и зарубежья, нас обнадружило примечание в конце последней публикации – обещание в следующем номере рассказать о староверах Риги. Но обещанной статьи нам так и не удалось отыскать. С другой стороны, последние, XV–XVIII главы статьи «Русские деятели в Остзейском крае» («Исторический вестник», 1883) до того отличаются от всех предыдущих глав, что возникает подозрение, не являются ли эти главы именно той статьей, которая тогда так и осталась только обещанной.

А именно эта статья выходит за рамки лесковской публицистики, поднимается до уровня его художественной прозы, вершинным достижением которой – «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».

«В числе моих гостей были два старца, плакавшие о «государыне пустыне», хотя одному из них пустыня, мне казалось, совсем бы не годилась, ибо он «ковчежец» некий имел и давал деньги в рост. Но не анализируя себя многосторонне, старик несмятенно и ростовщицеством занимался и «ко святым простирался».

Тогда Д. Е. Кожанчиков выпустил несколько раскольничьих книг, между которыми особенно любовью и успехом у беспо-

повцев пользовалась «История выговской старообрядческой пустыни, по рукописи Ивана Филиппова» [...] Книжка такая, которую всякому хотелось почитать, тем более, что прежде все эти священные повести встречались только в рукописях и потому были и очень дороги, и очень редки.

Старец ростовщик купил за три рубля это «издание Кожанчика», а другой, бедный старец, по недостаткам своим присоединился к этому капиталисту, и они «читали вдвоем, в товарищах», и оба напитались благоуханием «благоповедных» повестей несказанно. Души их порою так переполнялись фимиамом выготских чудес, что оба старца приходили ко мне выпустить излишки своих восторгов, т. е. «выславиться». Пили у меня мой чай «из своего стекла» и рассказывали, и вдохновлялись, вскакивали, и опять садились и книгу передо мной клали, по старому фасону «желтым воском намечену», и тыкали в нее пальцами, и прочитывали вслух «како, где и коими стезями богоявился Господь верным своим».

Сильнее и восторженнее религиозных фанатиков не вдохновляется никто, но когда такое вдохновение действует в русском раскольнике, он, в своем роде, – загляденье для художника и поучение для исторического писателя. Как «нельзя, не видя океана, себе представить океан», так без живых и, по возможности, тесных сближений с раскольниками нельзя писать о расколе.

Другой эпизод связан с неудавшимся диспутом, проведенным Лесковым по просьбе немца-евангелиста Генриха Ивановича, которого русские мальчишки московского форштадта в шутку называли «дедушка Понимай».

«Русские простолюдины по удивительной игре случая ему нравились даже с той стороны, с какой они князю Суворову были противны.

– Я не понимаю, – говорил он, – как он не понимает, что они такие хорошие люди суть: они всегда работает весь день и ест, понимаю одна хлебушко». Чудесный старичок!

Сначала староверы не хотели разговаривать о вере с еретиком, но в конце концов согласились. В ходе диспута староверы велели немцу читать книгу Кожанчика. «Читая все это, дедушка

Понимай протирали глазки, стараясь понять к чему тут «пряники» и «изюмные ягоды». А сотоварищи держали свой термин и побуждали: читай! И старчик (так называли его староверы в отличие от них – «старцев») прочел о том, как праведница Евдокия не омылась и плакалась, что вшей не имеет, но от того огорчения дошла до «тонкого помышления, что ей в будущем веще будут вши яко мыши».

Последнее слово Генрих Иванович дочитал уж с трепетом, и в конце их буквально уронил книгу из рук и, схватив свою шляпенку, отклонялся и несмотря на осенний холод и на свое слабое здоровье, пошел в реку купаться, и долго, долго нырял и плавал как пингвин.

– Я не понимаю, – говорил он мне после, – как это понимаю, что мне очень удивительное сделалось. А загнавшие его в Двину староверы, мило улыбались и говорили:

– Не стерпел еретик силы праведницы..!

В сноске Лесков пояснял:

«Простым и неученым людям из немцев надо вполне простить их некоторую брезгливость, к некоторым приемам русского простонародного благочестия, – в числе каких есть неумывание лица, нечесание головы, необрезывание ногтей и нечто еще в этом роде. Понятно и то, что немцы необразованные считают это природною чертою русского человека. Неряшество как подвиг благочестия – это совсем не русская природная черта... Наши языческие предки строили бани и в них мылись и «хлестались прутьями». Указанное же неряшество пришло на Русь «с византийского востока».

Мы не ставим перед собою целью проанализировать все многочисленные статьи, в которых Лесков анализирует различные стороны рижской жизни – и конфликты с князем Суворовым, и проблему внебрачных отношений (не только староверов), и другие темы. Скажем лишь несколько слов о том цикле очерков, последние главы которого так подробно рассмотрены выше.

Все они преследуют одну цель – показать пристрастие генерал-губернатора Суворова к немецкой культуре и немцам, его пренебрежительное отношение к русским – и к староверам, и право-

славным, к евреям, принимающим православие. Но критические замечания достаются и на долю православных иерархов, которые не умели создать для православных латышей такие условия, которые способствовали бы дальнейшему переходу латышей в православие, а православным латышам чувствовать себя комфортно.

В особую проблему следует выделить отношение Лескова к остзейским немцам.

Начальный этап формирования этих отношений – скандальный инцидент, связанный с участием Лескова (правда, в качестве свидетеля) в нанесении «телесного повреждения» его русским другом в Ревеле студентам, которые восторгались только что изданным романом Тургенева «Дым» и поносили все русское.

Встречи с немцами на Рижском взморье и впоследствии на острове Эзель вроде примиряют Лескова, и все же повесть «Кольванский муж» опять возвращает писателя на весьма непримиримые позиции.

Морской офицер Иван Никитич Сипачев «сквозной – на три поколения русский-прерусский» с благословения Ивана Аксакова идет в Остзейский край укреплять русское начало и православие, а вместо этого попадает в сети немецких баронесс. Как только жене Лине «приходят числа» рожать, родственник и начальник Сипачева вице-адмирал барон Андрей Васильевич усылает моряка на 2–3 года в командировку, а по возвращении он узнает, что вместо Никитки сын его называется то Готфридом, то Освальдом, то Гундером. Сипачев с горя напивается, бьет жену и тещу... Повесть кончается тем, что русский морской офицер умирает в Германии и похоронен на «христианском» (то есть лютеранском) кладбище: немцы православных христианами не считают!

В повести немало местных, заслуживающих внимания примет, например, рельефно представлен врач Христиан Андреевич Нордштрём, заставлявший своих пациентов ходить босиком, называвший всех немцев «прохвостами» и уважавший московского профессора Захарьина за то, что тот вконец объюродовел как и все русские...

К латышской теме Лесков обратился всего в одной статье «Темнеющий берег», посвященной проблеме «кухаркиных детей». По

новому закону латышам и эстонцам, как не окончившим гимназии (а туда их не будут принимать из-за «подлого» происхождения) не смогут быть капитанами, боцманами, что нанесет немалый ущерб и русскому судоходству, и развитию эстонской и латышской культуры. В этой связи Лесков не забыл упомянуть плодотворную деятельность Валдемарса и на благо России, и на благо латышского народа.

Как уже сложилось, завершая любой очерк, приходится и здесь сделать вывод о незаконченности исследования: и Лесков ждет продолжения исследований его жизни и творчества в плане русско-латвийских литературных связей. Мало известно о посещении Лесковым Митава в 1885 году в поисках пропавшей его эстонской симпатии, матери девочки Веры, которая была единственным утешением престарелого писателя.

А. Лосев выдвинул гипотезу о том, что действие «Запечатленного ангела», одного из наиболее выдающихся произведений Лескова, происходило именно в Риге: река, которую должны были преодолеть староверы для спасения иконы ангела, гораздо шире, чем Днепр, и больше напоминает Двину.

Петр Боборыкин (1836–1921)¹

Лесковскую эстафету исследования рижских староверов перенимает Петр Боборыкин. Но эта тема приходит к нему позднее. Сначала была «эстонская» тема – роман «В путь-дорогу», воспоминания «За полвека» – о студенческих годах в Юрьеве.

В 80–90-е годы – период Риги и Рижского взморья – отражены в циклах фельетонов в «Рижском вестнике».

...Концертный зал Горна в Дубулты. Вот-вот ударят в смычки оркестранты, и все спешат занять места. В ложах «дамы и девицы». То там, то тут вспыхивают русские разговоры. Это московские негоцианты и предприниматели, петербургские сенаторы и адвокаты, владельцы тверских кожевенных заведений, орловские и курские помещики. Нельзя не заметить особого рода синих картузов добротного немецкого сукна с большими лаковыми козырь-

¹ Источники: «Обращенные», с. 222–231.

ками. Эти картузы – точные признаки принадлежности к остзейской касте. Их потому одевают в самую жару, и по ним можно точно определить принадлежащих к избранному сословию.

Не менее приметлив Боборыкин, не менее живописно его перо, когда заходит речь о делах судебных. Знакомство с остзейской юриспруденцией приводит автора к выводу: феодальная практика, которая все еще остается в силе, благосклонна только к властям и толстосумам. Мыслящие люди (у Боборыкина это латыши и русские) возлагают на предстоящие юридические изменения немалые надежды. И только синие картузы ожидают эти изменения с определенной недоброжелательностью. Эти поборники феодальных порядков и немецких традиций «тратят изрядные деньги на содержание в Петербурге особых представителей как бы в качестве агентов и послов», извещающих своих соотечественников о предполагаемых изменениях в законодательстве.

Далее автор очерков не нарадуется влечению латышей и немцев к русскому языку. Причем приобщение это основывается не на вызубренных «вокабулах», не на парадигмах склонений и спряжений, а на звучащем русском слове во всей его смысловой многомерности, фонетической выразительности.

Трудно не отдать должное уменью Петра Боборыкина выразительно, многоцветно представлять частности, детали, которые и возникают-то порой всего на одно-два мгновения.

...По песчаным переулочкам, где за живыми зелеными заборами приютились дачки, разъезжает ярославский или тверской мужичок, сидя на двухколесном коротком ящике, где помещается несколько форм для мороженого. Не одни дети, и взрослые рижане объедаются холодными сладостями и должны, волей-неволей, говорить с продавцом по-русски.

«Утром вы слышите беспрестанно крики разносчиков. Предлагают ягоды, овощи, фрукты. Это те же ярославцы, промышленяющие вдали от своей родины, или русские из Остзейского края, большей частью раскольники.

– Садовая клубника! – распеваает искусный садовод, родом из какого-нибудь Торжка. Он заглядывает в дачные калитки и тотчас

переводит: «Шен эрдбер» или «Эрдбер гут». По-немецки он только и знает это: «Эрдбер гут», а уж остальной разговор надо вести с ним по-русски. Так промышляют и другие разносчики молоком, крупы, так же действуют торговцы и торговки на местном рынке.

В Майоренгофе на рынке я любовался каждый день бойкостью и цепкостью одной «тетки», родом из Риги. Она со всеми говорила по-русски и заставляла бюргерских жен упражняться в неприятном для них диалекте. Но все шли к ней охотно: она привлекала своим смешным, ласковым словом и желанием продать во что бы то ни стало».

Едва ли не каждый майоренгофский день русского романиста находит отклик в очерках, зарисовках, репортажах, охотно публикуемых то ли в «Русском вестнике», то газетой «Baltijas Vēstnesis», то ли «Rigaer Tageblatt». Рижане узнавали о бытовом укладе писателя, его общении с Гончаровым, Кони, прочувственной речи на юбилейном обеде русского культурного общества «Баян». Эти же газеты знакомили любителей литературы с боборыкинскими книгами: «На ущербе», «Накипь», «Внутренняя борьба», говорили о переводе на латышский язык рассказа «В долине смерти» и других. В дуббельнской гостинице Брикмана появились первые наброски романов «Китай-город» и «Василий Теркин» (герой этого романа стал героем и в годы Великой Отечественной войны в творчестве Твардовского). Начальные главы этих книг писатель привез с собой в Петербург.

Журналист Николай Смоленский на страницах «Рижского вестника» первым поведал о замысле романа «Обмирщение»: «Нынешним летом писатель все время отдает знакомству с бытом раскольников Московского форштадта». Беседа романиста с хозяином свечного завода Дионисием Евграфовичем Петрининым оживает под пером ревнителя староверского благочестия А. Воловича. С истовым последователем заветов поморских старцев Боборыкин убежденно доказывал правоту Никона в его бесконечных спорах с последователями Аввакума об исправлении книг церковных, о степени соответствий новых и старых славянских текстов греческим оригиналам. Выясняется: свечной заводчик настолько стро-

го следовал заветам предков, что не позволял себе появляться в Гребенщиковской моленной. Там, по его словам, нетвердые в вере и бытовом укладе старообрядцы общаются с непоследовательными в предписаниях о пище, одежде, досуге. Иными словами, праведные федосеевцы «миршатся». Как «обмирщившихся» Дионисий Евграфович отлучил от себя сына, и невестку, и внуков. Хвалу Богу он воздавал в домашней моленной. В этом-то жарком споре и явилось Боборыкину непривычное название романа, замысел которого неотступно преследовал его все последнее время: «Обмирщение». Говоря другими словами, святые установки праотцов предаются греховному забвению.

Повествование это животворит неподдельным участием к гонимым, бесправным по существу конфессиям, сочувствием к веротерпимым, совестливым. Острые выступления против Никона и его сторонников писатель рассматривает в единстве со старой великорусской жизнью как самое коренное и драгоценное.

События, которыми начинается роман, происходят в июле 1902 года на Рижском взморье. Читатель знакомится с Кораблевым, начинающим учителем Гребенщиковской школы. Это «очень худой и белокурый, загорелый, с темнеющей бородкой» юноша, «не очень красивый, но значительной наружности с оттенком той нервности, какая сказывалась в частых переменах выражения лица и во взгляде серых глубоких глаз, когда он изредка поднимал их от земли и беспредметно смотрел вдаль». Молодой человек пробирался «по узким мосткам досчатого тротуара дачной приморской местности, где справа идет сосновый лес и виднеется низменное бурое строение железнодорожной станции».

Цель его путешествия – дача «почетного гражданина Артусова, одного из попечителей богадельни и школы, богатого и влиятельного фабриканта». Кораблев уж давно не считал этого попечителя и благодетеля настоящим человеком «древнего благочестия». Ведь он и сам не скрывает своего «мирщения». «Ему следовало бы, – размышляет Кораблев, – как коренному в его роде федосеевцу, строго воздерживаться от употребления поганой травы: а он и в обществе рекомендует себя самым усердным курильщиком: папирота не выходит у него изо рта».

У Филиппа Егорьевича Аргусова собирался весь цвет рижского старообрядчества. Каждого из них Боборыкин мысленным взором Королева пытается по возможности точнее охарактеризовать.

У человека «большой умственности» Ореста Павловича Дубровского знакомство в литературном мире Петербурга. Пров Степанович Лянов – брат профессора в Перевислянском крае. Сам он педагог-классик в чине надворного советника. «Обряды он соблюдает, дорожит тем, что у него особая вера, быть может и не способен променять ее на что другое; но все это – между прочим; а не как главное дело жизни».

Среди гостей еще один учитель – Первотворов. Это «совсем седой, крепкий старик, преподаватель церковного пения, убежденный поборник старой веры».

Чинно восседает в креслах смотритель Гребенщиковской богадельни Игнатий Фаддеич Козельский. Совсем недавно его знали как полицейского чиновника, рижанина в пятом поколении.

Гребенщиковцы готовились к приезду знаменитого петербургского романиста, «исследователя» рижского староверского островка. Перед его приездом рижанам предстояло самим разобраться в разноголосице толкований краеугольных положений старообрядчества. Ведь строгие и последовательные федосеевцы и мужа, и жену, постоянно пребывающих в грехе, считают недостойными участия в общем храмовом молении. Поморцы же, напротив, супружеский союз, освященный по особому чину наставником, полагали совсем совместимым с обликом праведника. Столь же остро велись споры о молитве за царя. Первые – властителя, с петровских времен пребывающего на престоле, полагали антихристом. И решительно исключали любое упоминание о нем в молитвах. Вторые – верноподданически просили Господа о даровании царствующей особе всяческого благоденствия. Федосеевцы даже в повседневном быту крайне неохотно общались не только с иноверцами, но даже с поморцами. Последние же не испытывали предубеждений даже к православным.

У Кораблева – он чутко прислушивается к спорщикам – являются первые, пока еще неясные, плохо осознанные сомнения.

Столь ли принципиальны все эти разногласия? И что стоит за ними? И герой повествования вместе с читателем в который раз вглядывается в явления, предметы, людей, не отторжимых от старообрядчества.

Другой эпизод. Учитель Гребенщиковской школы на хорах моленной. Взгляд его скользит по «величавой и богатой хоромине, разделенной перегородкой на две неравных половины: побольшая – для мужчин, поменьшая – для женщин». И надолго задерживается на «старинного письма иконостасе с сияющими ликами святых». С балконной высоты хорошо виден старый наставник, совершающий богослужение – «худощавый старик в темном кафтане». В такие одеяния, весьма напоминающие рясы, были облачены певчие – «большой хор из рослых, плечистых мужчин».

Среди подобных описаний встречаются и весьма необычные для староверской богослужебной практики наших дней детали:

«Мальчишки помельче – и внизу, и на хорах – неслышно скользили по рядам молящихся, спускали на пол «подручники», когда надо класть земные поклоны, и убирали их тотчас после того. У некоторых молящихся в русской одежде кожаные «лестовки» были в левой руке, и, когда не полагается креститься или класть поклоны, они стояли истово, руки крест на крест на груди, так чтобы справа выпадала лестовка, которую держала сложенная обычным приемом левая рука».

Дольше чем на других завсегдатаях храма задерживался учительский взгляд на прихожанах. Недоумение вызывали не по уставу платки и шали богомолков. Из массы понурых мещанок и затерханных солдаток по контрасту выделялись щеголевато наряженные первогильдейные купчихи. «Их платья и мантильи пестрели всякими цветами, иные с длинными тренами и в дорогих мантильях; но все в платках на голове. Этот головной убор требуется для присутствия на службе как признак «древнего благочестия». Платки всякие – и бумажные, и шерстяные, и шелковые, и всяких цветов. Но следовало бы им, по старому обычаю, быть белыми или черными. Некоторые богатые богомолки и покрываются белыми шелковыми или креповыми платками; которые помоднее – носят небольших размеров, почти платочки».

Боборыкинскому «Обмирщению» не повезло. Упоминание об этой книге не находим ни в «Краткой литературной энциклопедии», ни в библиографическом словаре «Русских писателей», ни в справочном издании с таким же названием. И только «Рижский вестник» откликнулся пространной рецензией, принадлежащей перу Н. Правдиной. С далекой той поры до наших дней роман не привлекал внимания ни исследователей, ни читателей. Да и сама Правдина не остановилась ни на истории создания романа, ни на прототипах персонажей, ни на художественных достоинствах (или недостатках) романа. Автора «Рижского вестника» занимает иное: религиозно-философские, историко-психологические аспекты самого старообрядчества как такового, как массового движения несогласных. Критик разделяет взгляды Боборыкина на исходный этап старообрядчества. Тогда, поначалу «древнее благочестие», незамутненное, первозданное, словно в дониконовской, предраскольной Руси, несло в себе не столько «заскорузлую косность» – так утверждали недруги старой веры, сколько выражение «сознательных форм народного духа». Но шло время, и стремление сберечь аввакумовский мир – веру, церковные обряды, вседневные обычаи – завершало духовное развитие староверов.

В закатные свои годы Петр Боборыкин тесно сошелся с Райнисом. Судьба свела их в швейцарском Кастаньоле. Шел 1915 год. Райнис, – подтверждение тому письма латышского поэта, дневниковые заметки конца XIX – начала XX века, – обстоятельно знал книги своего нового русского друга, романы «Тяга» и «По другому», которые латышский писатель прочел уже в юные годы.

Внимание Райниса привлек образ дельца и предпринимателя, «народного столпа» Рассудина. Райнис задумал написать тоже что-то подобное, возможно, комедию, в которой сравнил бы экономических латышских «народных столпов» с русскими людьми такого же полета. Причем сравнение предполагалось осуществить не в пользу латышей. Замысел выполнен не был.

В письме Петру Боборыкину Райнис называет его «Нестором русской цивилизации, хранителем лучших народных традиций и мудрости».

И еще одна нить, соединяющая рижанина и петербуржца. Там, в далёком Кастаньоле Райнис давал Боборыкину уроки латышского языка. В этой связи латышский поэт поделился однажды своим намерением не ограничиваться грамматикой и лексикой, ввести русского литератора в мир родной словесности – от братьев Каудзитес до Аспазии, сделать достоянием русского собрата сельский обиход видземских и курляндских пахарей. Райнису хотелось, чтобы Петр Боборыкин рассказал всему свету о надеждах и тяготах латышей. Ответ не заставил себя ждать. Петербургский корреспондент снова подтвердил свою готовность содействовать в создании русской версии трагедии «Иосиф и его братья» и последующем сценическом его воплощении в Петербурге и Москве. Боборыкин предлагал свое посредничество в переговорах с первостатейными переводчиками – Щепкиной-Куперник и Яворской, МХАТовским режиссером Владимиром Немировичем Данченко.

Глеб Успенский (1841–1902)¹

На дорогах своих многочисленных странствий по России Глеб Успенский не раз встречался с латышскими переселенцами, однако их повседневные нужды, быт, характер не нашли своего отражения на страницах его публицистических и художественных произведений.

Только одна категория прибалтов прочно засела в сознании писателя. Это слово «курляндец». Уже в очерке «После урожая» из цикла «Кой про что» упоминаются «какие-то курляндцы на кирмаше». Но детальное раскрытие этого понятия мы находим в статье «Безвременье», которая уже в 1885 году была перепечатана в 189-м номере «Рижского вестника».

В статье приводится недоуменный рассказ русских мужичков о новом управляющем, который совсем не похож на прежнего русского барина, с которым мужички вместе пили водку, крестили своих детей, целовались, обнимались.

Теперь вместо него курляндец какой-то.

¹ Источники: «Обращенные», с. 232–237.

«Слово «курляндец» было произнесено таким неблагосклонным тоном, что я решил спросить старика:

– Да чем же плохи курляндцы?

– Да все, вот, тоже норовят Бога перемудрить. Бог-то приказывает нашему брату этаким вот, примерно, манером на свете жить, а он норовит по-своему, потому ему расчету не выходит по божьему-то поступать. Так даже говорит: «Я Бога-то по приобману как-нибудь». Ну, и ухищряется... Я, вон, посадил около дому против окон березу, и курляндец посадил. Я сажаю дерево таким родом, как по Божьему повелению следует дереву на свете жить. Дерево живет по деревянному смыслу, рыба по рыбьему, а птица по птичьему. Вот я и делаю, как определено: выкопал в земле яму, отпустил туда дерево корнем, засыпал ее землею – только и всего. Даст Бог, будешь жить, а не даст – засохнешь – оно у меня и засохло, – не дал Бог: земля плохая, – тоже не дал Бог... а у курляндца выросло.

– Отчего это у тебя дерево-то пошло, а у меня засохло? Земля-то у нас одна.

– А оттого, говорит, что я настрелял, говорит, ворон, да галок, да воробьев, да и сунул под корень-то! Вот оно и питается мясным составом! Ишь, ведь как! Ну, а я так думаю, это незаконно. Дерево живи деревянным смыслом, питайся землей, а это что такое? Оно и зелено, и растет, только что мне на него и глядеть не хорошо, потому сытеет оно фальшивым манером, не свой корм ест... Или, примером сказать, взял он свинью, запер в темное место, в погребе, держит ее там полгода; съестным заваливает ее по горло... «Сала, говорит, мне нужно, чтобы свинья наела пудов шесть...» Ну та и сидит – ни свету не видит, ни с места не двинется, пучит ее, а отворишь дверь, так того и гляди слопает, потому от обжорства-то она совсем как сумасшедшая... Ну, а я так даже и есть-то бы это сало-то не стал. Свинья тварь Господняя и ей определено не то, чтобы ее пучило да в сало вгоняло... Она сотворена не на то, чтобы на сало или на щетину, а создана в полном виде – животное, и рылом она роет, и хрюкает, и плачет, и детей родит, – все

как должно справляет по указанию, как полная тварь... Так и мне не показано, чтобы ее из полной-то твари да в щетину либо в сало вгонять... Я, вон, толстых баб-то люблю, а жену-то мне Бог дал сухопарую, так могу ли я ее по своему вкусу откормить? Может, она и добрая оттого, что сухопарая, а как я по своему-то вкусу начну ее в сало вгонять, так, может, она и выйдет потом в чертовом виде... Бога-то, брат, не перемудришь... Он знает, что делает... Вот и со старыми господами то же самое... дал им Бог, дозволил, пожили в свое удовольствие, погуляли беспрекословно, погрешили, сколько Господь потерпел. Ну, а потом, то же самое по Божьему повелению, сказано: будет! «Было дадено, а теперь отменяется». Ну, стало быть, и надо жить, как Бог указал, потише, да помягче. А вон не так нынешние-то норовят, не хотят покоряться – те вишь, норовят из ружья себе удовольствие добыть, да штрафом почтение выбивают, да чай, собак развел караулить дом, чтоб прохожих не допускали, чтобы спокойней было. А уж это, прямо сказать, курляндская мода, – какова, да собака, да пуля, а так, чтобы господским обычаем назвать, нет на то, и даже сходства не имеет никакого».

Но и «прибалтийских батраков» Успенский не забыл, упомянув о них в своих путевых очерках, в статье «Необычайные мечтания»:

«А мужик ни капельки не унижается и продолжает строить воздушные замки, безостановочно упражняя свое воображение в самых несбыточных мечтаниях. Стоит, извольте видеть, на Черном море «карап» и ожидает мужиков, у которых «мало земли». Так фантазируют курские мужики, – но и прибалтийские батраки не уступают им в размерах и свойствах своих фантазий».

Перекликается Успенский в своих очерках со статьей Василия Немировича-Данченко «Америка в России», о которой читатели «Рижского вестника» и «Baltijas Vēstnesis» узнали со страниц своих газет.

Иван Желтов (1822–1900)¹

Иван Мокеевич Желтов – учитель Гребенщиковской школы и активный сотрудник «Рижского вестника» в 70-е годы, выступивший с рядом художественных очерков: «Еще раз с Двины» (1877), «Благодетельницы» (1877), «Белое озеро» (1877), «С берегов Дунь-озера» (1877), «Кое-что о Либаве» (1877), «Из воспоминаний домашнего учителя» (1877), «Зимний лагерь на Двине» (1880), «Приход стругов» (1880).

Общался с теми русскими классиками, которые в эти годы посещали Латвию – Лесковым, Гончаровым. Тема эта ждет своего исследования.

Главное произведение (из известных и опубликованных) – «Удильщик на Двине» – публиковалось в «Рижском вестнике» под псевдонимом «Калика Перехожий».

«Удильщик на Двине», как отметил С. Журавлев, – яркий пример натуралистического жанра, в котором занимательность сочетается с «рижским климатом», духом русской поречной Риги (теперешние рижане почти и думать забыли о двинских островах, ужении рыбы, жизни на воде), описание быта и нравов с романтическими эпизодами, динамизмом и остротой сюжета.

«Рижская повесть» прозаика-натуралиста, удачно заполнив указанную Белинским «нишу», как думается, интересна не только как исторический документ, но и как художественное произведение, отражающее типические характеры своего времени.

«Один из главных героев – латыш, – отмечает Ю. Абызов, – но это латыш-отщепенец, и как всякий тип, отказавшийся от своего народа, он являет собою сосуд всяческой скверны. Во всяком остросюжетном газетном романе с похищениями и разоблачениями всегда должен был быть черный характер – преимущественно чужеземец или инородец. Таковы были законы жанра. Но и русские герои рисуются с известной долей иронии и подтрунивания, поскольку они не герои в прямом смысле этого слова, а люди маленькие, простые обыватели, скрашенные очарованием молодости».

¹ Источники: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии», с. 97–111.

«Из повести можно узнать, – рассказывает дальше Журавлев, – где группируется русское население Риги, как назывались по-русски окрестности ее, где веселились и как, куда ходили на богомолье, где лучше всего брала в те времена рыба, как строилась дамба в устье Двины и т. д.» Зафиксировано в этом документе и мировосприятие русского рижанина – как автора, так и его героев, поистине физическая, плотская близость населения к природе.

Журавлев и Абызов сделали только первые шаги в изучении этого замечательного произведения. Следует только удивляться, что наши академические круги до сих пор не использовали этот благодарный материал для студенческих докладов и курсовых, бакалаврских, магистерских и докторских работ.

Е. Козин (--)¹

В начале 70-х годов в «Рижском вестнике» появляются стихи Е. Козина, учителя русского языка и литературы в нерусских школах сначала Эстляндии, затем Риги. Он же публикуется под псевдонимом «Баянин», перекликающимся с названием русского хора «Баян». Поэзия Козина всецело посвящена положению русских рижан, нюансам их общественной жизни, досугу, в том числе летнему отдыху на Рижском взморье. Зная немецкий язык, Козин делал и переводы.

Написал Е. Козин и брошюру, посвященную 10-летнему юбилею «Баяна» (1873 г.). На его же стихи был написан гимн этого первого на прибалтийской окраине русского «общества пения и изящного говорения». Вообще содержание поэзии Е. Козина позволяет назвать его первым певцом русской общественности Риги, первым поэтом из среды русских рижан.

Стихи Козина исчезают со страниц «Рижского вестника» столь же неожиданно, как вначале и появляются. Едва ли «г-н Баянов» ушел из жизни, пребывая в Риге, скорее всего он, как и многие другие его коллеги по службе, вернулся «во внутренние губернии».

¹ Источники: «Русские писатели в Лифляндии и Курляндии», с. 85–95.

ИЗ СТИХОВ Е. КОЗИНА

1 января 1873 года (Новогоднее)
[...] Может, немцы все по-русски
В новый год заговорят,
Иль Московский по-французски
Заболтает вдруг форштадт.

И театра городского
Сцену нам передадут,
И по жалобе Лескова
Немцам зорю зададут;

И афиши с переводом
Выходить будут всегда
С новым годом, с новым годом,
С новым годом, господа!

Городская летопись
[...] Там споет С...Ъ, как жили
Деды в старые года
Хор – как мед варяги пили...
В Дуббельн, в Дуббельн, господа!

(Речь идет об «Аскольдовой могиле» Верстовского)

ФЕЛЬЕТОН

Ну уж сторонка – ей Богу [...]
Прячут здесь мысли под спудом,
Держат язык за зубами.
Держат сердца под корсетом,
Руки как можно короче.
То ль дело в нашей сторонке!
Ходишь себе на распашку.
Все так привольно, что любо,
Все так манит разгуляться.
Шапку чертовски заломишь,

Руки упрешь себе в боки:
«Вы, дескать, мне не указка;
Знать не хочу, да и полно!
Шире дорогу!»

Как сказано, Козин был учителем русского языка в нерусских школах Прибалтики. В отличие от господствующей в те годы теории, что грамматические упражнения должны быть бессодержательными, чтобы своим занимательным содержанием не отвлекать внимание учеников от грамматических форм, Козин считал, что все упражнения должны быть содержательными, своим содержанием привлекать внимание учащихся. С этой целью он и стал сочинять такие занимательные упражнения.

Как склоняется слово «Двина»? Это можно хорошо запомнить, прочитав такое стихотворение, в каждой строфе которого последовательно – следующая падежная форма слова:

Все улеглось на покой, Грезит в объятиях сна.
Только гугльливой волной Плещет о берег Двина.
Кратко мерцание звезд, Кротко сиянье луны,
Тихо смотрящей с небес В Зеркало темной Двины.
Легкой грядой облака Плавно скользят в вышине;
Ветер поднялся слегка – И зарябил по Двине.
Темные мачты судов Зорко глядят в вышину
И неподвижных плотов Ряд покрывает Двину.
В час, когда спит все кругом, Тихо лепечет волна
Чудные саги о том, Что ты видала, Двина!
Много ей видеть пришлось (Дышит здесь все стариной):
Много веков пронеслось Над полноводной Двиной.
Рига уж спит сладким сном... (Зевая) Э-эх! Не пора ли и мне!
Завтра уже допоем Песню свою о Двине!

В стихотворении «Странные люди» – высмеивается «низкоклонство» русских рижан перед всем иностранным.

Творчество Е. Козина ждет еще своего исследователя. Спасибо Журавлеву за публикацию известных ему стихов!

НА ГРАНИ СТОЛЕТИЙ (XIX И XX)

Федор Достоевский (1821–1881)¹

Одна из главных загадок Достоевского в контексте русско-латышских культурных связей – его слова, вложенные в уста Раскольникова: «Сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство» (имеется в виду: выйдя замуж за Свидригайлова) – «Преступление и наказание», IV глава первой части.²

Как так? Достоевский – постоянный посетитель Ревеля, где живет любимый брат, с кем писатель постоянно переписывается, советуется. Тяжелое положение эстонцев ему хорошо известно и ему. Он, разумеется, как всем униженным и оскорбленным, конечно же сочувствует. И вдруг – «латыши», в стране которых ему, кажется, так и не пришлось побывать.

Комментаторы (VII том, с. 367) прямо указывают на источник: опубликованная в «Московских ведомостях» (1865 год, 29 мая) статья «Из Лифляндии», подписанная псевдонимом «латыш». Тут же в сноске приводятся и фрагменты из этой информации: «Обыкновенный немецкий башмачный подмастерье считает крестьянина своим рабом. Помещика они должны называть великий господин. Народ до того угнетен и поруган, что образованный латыш часто не смеет даже признать себя за латыша».

Еще до первых переводов из Достоевского на свой родной язык латыши читали его произведения в оригинале или в немецких переводах. Поначалу «Рижский вестник» не особенно жаловал нового автора, отличающегося от классических эталонов Пушкина-Гоголя-Тургенева. Но Райнис уже в 80-е годы в дневниковых записях от-

¹ Источники: Вавере В., Мацков Г. Латышско-русские литературные связи – Рига: Зинатне, – 1965, – с. 155–157.

² Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. Т. VI. Ленинград: Наука, 1973, – с. 37.

мечает художественные и композиционные своеобразия «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания».

На родном языке латыши читают Достоевского с середины 80-х годов XIX века. Первое переведенное произведение «Сон смешного человека», в 90-е годы XX века возрожденное на латышской сцене.

90-е годы XIX века по слову Яниса Янсонса-Браунса пришли в латышскую литературу под знаком Достоевского. С 1894 по 1898 год на страницах «Dienas Lapa» опубликованы «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы».

Пусть философскую концепцию Достоевского – «Смирись, гордый человек» – разделяли далеко не все латышские литераторы, тем не менее, могучий талант писателя признавался всеми. Андрейс Упитс называет Достоевского среди тех русских классиков, у которых он учился композиции крупных произведений, приемам психологического анализа. В то же время Упитс, не раздумывая, поддержал выступление Горького против постановки «Бесов» в Московском Художественном театре.

Впоследствии в начале XX века, в 10–30-е годы в оценке Достоевского латышскими литераторами происходит дальнейшее размежевание. В. Кнориньш (Vilhelms Knoriņš) продолжает критиковать сгущение Достоевским красок в показе революционеров. Райнис видит в творчестве Достоевского преимущественно нравственные ценности, восторгается его психологическим мастерством, силой художественного воздействия его произведений.

Когда в 1965 году в Советском Союзе все же решили праздновать очередной юбилей Достоевского, в журнале «Вопросы литературы», в юбилейной статье о Достоевском были отмечены и его популяризаторы в союзных республиках. В Латвии, к нашему всеобщему изумлению ими оказались не Андрейс Упитс, не Арвидс Григулис (Arvīds Grigulis), не Карлис Краулиньш (Kārlis Krauliņš) – наши канонизированные литературоведы («которым доверяла партия»), а... Зента Мауриня и Теодорс Целмс (Teodors Celms), имена которых у нас в Риге в те годы произносили с опаской, несмотря даже на хрущевскую оттепель.

Зента Мауриня (1897–1978) действительно была знатоком и исследователем Достоевского всемирного уровня.

Интерес к русскому писателю у знаменитой латышской эссеистки возник уже на школьной скамье (она, как и многие латыши в те годы, училась в русской гимназии). За сочинение о Достоевском она даже была премирована. Однако, уже став популярной эссеисткой и лектором, она продолжала популяризировать творчество Достоевского (как и других русских классиков, особенно Тургенева) в своей студии, где отмечала все юбилейные даты автора «Преступления и наказания», даже тогда, когда рижская русская общественность об этом забывала.

Однако, писать о Достоевском монографию долгое время Зента Мауриня не решалась, пока другой энтузиаст и почитатель великого писателя по фамилии Валлах (из молдавских евреев), подарив Маурине свое собрание сочинений Достоевского и целую библиотеку книг о нем, наконец убедил ее взяться за перо. Книга увидела свет в 1937 году, и сразу же была переведена на русский язык с вводной статьей Петра Пильского.

Над совершенствованием своей латышской версии книги Мауриня работала всю свою жизнь, и последнее издание на немецком языке оказалось вдвое объемистее первого.

Мауриня не только дополняла свою книгу. С лекциями о Достоевском и других русских писателях (включая и Николая Островского, которому она симпатизировала в связи с его болезнью, приковавшей обоих к постели и креслу), латышская эссеистка объездила весь мир.

Главная ценность книги Маурини – главы о влиянии Достоевского на развитие мировой философии и литературы, в том числе и латышской.

Издание книги о Достоевском, написанной Мауриней, проходило не без трудностей: шведы не разрешали ее печатать из-за того, что по утверждению автора некоторые идеи русского писателя в какой-то мере были заимствованы и философом Ницше. Гитлеровцы же чинили изданию всякие препоны в связи с тем, что Достоевский – представитель неполноценной расы. В Москве же книгу в свое

время не напечатали потому, что один из немецких «друзей» писательницы сообщил издателям о ее антисоветских настроениях и одновременно подсунул свою рукопись, которая впоследствии оказалась плагиатом книги Маурини.

Вторым автором, который в 1965 году в журнале «Вопросы литературы» назван исследователем Достоевского, был профессор Теодорс Целмс, который в 30-е годы опубликовал небольшую брошюру о переключке философских идей Достоевского и Канта. На брошюру тогда никто не обратил внимания, но когда ее переиздали в Америке с высокой оценкой исследования автора, о ней заговорили повсюду, и слава о ее авторе как исследователе Достоевского прогремела даже в Москве.

Но Т. Целмс не был единственным латышским философом, который обратил внимание на творчество Достоевского.

Психолога и философа Паула Далё¹ (Pauls Dāle) к русскому писателю влекло то обстоятельство, что он «призывал людей и народы к нравственному возрождению. Он звал их вперед и выше, призывал к неустанному моральному очищению, религиозно-нравственному самоусовершенствованию». Эти и другие положения П. Далё нашли продолжение в докторской диссертации богослова А. Фрейса² (Alberts Freijs), в статьях и лекциях Теодорса Целмса: «Я не знаю другого мыслителя, который бы так честно, так остро, с такой обнаженной прямоотой, как Достоевский, говорил людям о смысле жизни. И не менее притягательны мысли Достоевского о том, как соотносятся национальные и планетарные проблемы, каждая из которых жжёт, взывает к милосердию, не дает покоя совести».³

В американском латышском зарубежье диссертация Фрейса факсимильно переиздается, кроме того, в книге Константина Рудиве (Konstatīns Raudive) «Laikmeta ārdītāji. Pārdomas par mūsdienu traģiku»

¹ Dāle P. Dostojevskis un tagadējā kultūra. // Latvija. – 1911, 16. jūl.; Он же. F. M. Dostojevskis piemiņai. // Latvija, – 1931; 12 febr.

² Freijs A. Dostojevskis reliģiskās problēmas. – Rīga, – 1932, с. 232–266; Он же. Par svēto un labo. Reliģiskās un ētiskas apceres. – Rīga: Valters un Rapa, – 1936, – с. 232–266.

³ Celms T. Kants un Dostojevskis. // «Burtnieks», – 1933, –№ 1, с. 2–19; № 2, с. 114–121.

(«Ворошители эпохи. Размышления о современном трагике». *Grāmatu Draugs, Bruklīna*, 1974) целая глава посвящена Достоевскому: «Dostojevskis un viņa «Pagrīdes cilvēks» (Достоевский и его «Подпольный человек»)¹

Целую главу Достоевскому посвящает и американский учитель русского языка Янис Шкирмантс (*Jānis Šķirmants*) в книге «Dievs un cilvēki» («Бог и люди»)²

Влияние Достоевского сильнее всего сказалось на творчестве большого его почитателя Андриевса Ниедры. В книге воспоминаний «*Nemiera ceļi*» («Тревожные пути») вторым источником формирования литературной приверженности латышский писатель считает знакомство с творчеством создателя «Преступления и наказания»: «В его произведениях я наткнулся на те самые проблемы, которые занимали меня, только он к ним подходил с другой стороны. Этические конфликты он понимал как борьбу между двумя противоположными духовными силами, в то время как я, хотя и не отрицал этот дуализм, все же видел корень многих конфликтов, также релятивизм морали [...] Лучше всего это заметно, если сопоставим Раскольникова и следователя в «Преступлении и наказании» с той же проблемой, которая высказана во взаимоотношениях отца и сына в рассказе «*Skaidrās sirdis*» (Чистые сердца), с одной стороны, и Зарена, с другой. Достоевский заставляет идею преступления и ее психологическое оправдание появиться в одном и том же человеке (в Раскольникове). [...] Я же все преступление взваливаю на отца, а мотивы – на благополучие сына. Этим я хотел сказать: корень каждого преступления в эгоизме. Или же человек не может стать преступником из-за альтруизма, стремясь принести себя в жертву другому?»³

¹ Raudive K. Dostojevskis un viņa «Pagrīdes cilvēks». *Laikmeta ārdītāji. Pārdomas par mūsdienu traģiku.* (Пророчества Достоевского. // Бог илюди).

² Šķirmants J. Dostojevskis pravietojumi. // *Dievs un cilvēki.* – [Čikago], – 1979, – с. 56–71; Он же. *Dieva meklētāja Dostojevskis domas un atziņas par reliģiju un sociālismu* (Мысли и заключение искателя Бога Достоевского о религии и социализме). – Там же, с. 72–75.

³ Niedra A. *Nemiera ceļi.* IV. – *Rīga: Rīgas Latv. biedrības grāmatu nodaļa,* – 1933, – с. 168.

Размышляя над судьбой Лаймы из пьесы Аспазии «Zaudētās tiesības» («Утраченные права») и сопоставляя этот персонаж с Соней Мармеладовой, латышский писатель, исходя из текста произведения, приходит к неординарному выводу. В нравственном отношении Соня куда выше Лаймы. «Я могу понять тех, кто милосердно относится к Соне, но никак не может простить падения Лаймы. Жаль, что наша словесность никак не войдет в силу и не может предложить нам типы всесветного наполнения».

Читая главный роман Андриевса Ниедры «Līdumu dīmos» («Марево над целиной» в переводе Лосева), прослеживая судьбы трех сыновей старого Страутмалиса – Екаба, Вилиса и Карлиса – столь разных и по характеру, и по убеждениям, и по поступкам, читатель не может не вспомнить совсем несхожих трех братьев Карамазовых – Ивана, Дмитрия и Алешу, живущих и действующих, разумеется, совсем в иных условиях и экономической, и культурной жизни, и все же выявляющих так много параллелей: монах и пастор, ученый и предприниматель, офицер и землепашец. Детальное сопоставление образов персонажей Андриевса Ниедры и Достоевского нарисовало бы глубокую и правдивую картину и условий жизни, и быта, и культуры, с одной стороны российской глубинки, с другой – остзейского края.

Другой почитатель Достоевского, на этот раз поэт – Петерис Эрманис. В его стихотворении «Kristus» («Христос») (1914)¹ читатель встречается с той же извечной темой Достоевского «Смирися, гордый человек». И Достоевского, и латышского романтика Яниса Порукса в раздумчивых этих стихах автор причисляет к сонму «апостолов христовых».

Стихотворение «Dostojevskis» («Достоевский») (1920) перекликается с пророчеством писателя о судьбе России, которую торжествующие «бесы» увлекают на гибельный путь. Всюду, – говорит поэт, – властвуют коварство и зло, воплощенное в облике верховских, свидригайловых, смердяковых.

¹ Ērmanis P. Kristus. // Laiki un ceļi. – Rīga: Valters un Rapa. – 1922, – с. 183; Он же Dostojevskis, там же, с. 175-176.

В стихотворении «Jauns Karamazovs» («Молодой Карамазов»)¹ повествование ведется от первого лица, от имени самого автора. Не без внутреннего эпатажа молодой Карамазов объявляет себя сыном Ивана, носителя мировой скорби, который не ведает страха, но пребывает в вечном сомнении. Воспитал же мятежного отрока не отец – Иван, а нежный, любящий, чистый и честный Алеша. Лирический герой стихотворения произносит вещие слова. Иван признавался: «Я не приемлю того небесного Рая, где страдает и слезы льет хоть один ребенок». В уста того же лирического героя автор вкладывает протестующий возглас: «Я не приемлю земного вашего Рая, который воздвигнут на крови, крови невинной, святой».

В стихотворении «Krievija» («Россия») действуют чуть ли не все хорошо известные со школьной скамьи герои многих произведений:

– Уважительно протискивается какой-то господин, не тощий и не толстый, Чичиков по имени;

– Студенты, курсистки, учителя, эсдеки, эсэры, марксисты говорят и говорят, опустошая чайники, руководит ими Митя Рудин;

– Карамазов Алексей и Лиза Калитина. Лиза упрекает Алешу, что и тот стал на колени перед пятиглавым кремлевским зверем (Иван Грозный, Петр Великий, Ленин, Троцкий). Алеша отвечает: «Народ, когда будет лежать у ног Москвы, воскреснет Пасхальный Христос, прогонит пятиголового, народ через Москву придет к Христу!»;

– В Художественном театре «Мистерия буф» Луначарского и Маяковского;

– Сотни сотен поют «Да скифы мы, да азиаты мы с раскосыми и жадными очами» (по-русски, кириллицей);

– У Кремлевских ворот стережет Стучка, просит у красавицы Лизы поцелуй;

– Лиза бросает бомбу, зверь убит. Лиза летит в небеса, народ бросается на колени и поет: «Дева пречистая! Пресвятая Богородица мать» (по-русски, кириллицей).

Достоевский как никто из русских писателей со своими героями вошел в латышскую литературу в самых различных формах и объ-

¹ Он же, Jauns Karamazovs. // Es šaubos, es ticu – Rīga: «Kabata», – 1990. – С. 53–54; Он же: Krievija, там же, с. 56–64.

еме. Достоевский упоминается в статье Викторса Эглитиса «Juku laiki» («Времена хаоса»),¹ автобиографических романах Антона Аустриньша (Antons Austrīņš), в рассказе Яниса Яунсудрабиньша (Jānis Jaunsudrabiņš) «Noziedznieka acis» («Глаза вора»).2

Уникальная во всех отношениях книга, свидетельствующая о большом уважении и любви к Достоевскому латышей – увидевшая свет в 1994 году в Тукумсе – книга Арвиса Гродса³ (Arvis Grods) (1933–2005 гг.), в которой собраны воедино фрагменты из книг «Бедные люди», «Двойник», «Слабое сердце», «Белые ночи», из писем к брату, официальных документов об аресте, следствии, гражданской казни писателя-петрашевца.

Театр Достоевского и сегодня актуальная тема латышской сцены. Поскольку пьес русский писатель не создавал, речь, разумеется, об инсценировках. Лучшие силы Латвии запомнились зрителям в занимательных постановках «Идиота», «Преступления и наказания», за ними «Село Степанчиково», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы», «Бесы» в 1993 году, пьеса, которая вызвала горячую дискуссию, и наконец, «Записки смешного человека», первое произведение Достоевского, переведенное на латышский язык. Не забыли Достоевского и современные латышские поэты. (V. Avotiņš. Dostojevskim. // Apiet loku. R., Liesma, 1979. 15 lpp.) (В. Авотиньш. Достоевскому).

Лев Толстой (1828–1910)⁴

В конце 60-х годов XX века латвийские литературоведы были потрясены необычной находкой Иварса Воселиса, ученика VII класса Кусской восьмилетней школы. Его находка была уникальной – письмо Льва Николаевича Толстого, адресованное латышскому журналисту Петерису Видуцису, проживавшему, в свое время, на том самом хуторе.

¹ Eglītis V. Ceļā uz latviešu renesansi – Rīga: Atauga, – 1914. – С. 111.

² Austrīņš A. Garā jūdze II – Rīga: Roze. – 1936. – С. 200.

³ Grods A. Tā katorga. – Tukums: Atauga. – 1994.

⁴ Источники: Вавере В., Мацков Г., с. 157-161; Бергмане И. Я. Лев Толстой в Латвии. – Рига: Латв. Гос. Универс., – 1985, – с. 60.

Сенсация эта побудила исследователя обратиться к 90-томному юбилейному изданию Л. Толстого, 50 томов которого посвящено переписке писателя. Результаты перелистывания этих 50 томов оказались не менее поразительными: куда только ни посылались письма великого писателя: Рига и Либава, Митава и Двинск, Бауска и Лудза, Краслава и Валмиера, Алуксне и Валка, Кулдига и Балвы, Кандава и Гробини, поселок Куса Мадонского уезда, Майори и Лимбажи. И этот перечень в юбилейном собрании сочинений оказался неполным. К нему в дальнейшем пришлось прибавить Друстскую волость и Вецпиебалгу.

Среди корреспондентов были и великий князь Николай Михайлович, и профессор Краковского университета Мариан Здзеховский; историки: Евгений Крамер и Евгенийс Вейденбаумс (брат латышского поэта); писатели: Антонс Аустриньш и Карлис Скалбе, рижанка – немецкая поэтесса Евгения Гиршберг-Пухер; переводчики-литературоведы: Карлис Эгле и Петерис Лакис, Карлис Полис и Юрис Помаурс; искатели религиозно-нравственных и политических истин: Исаак Крутик и Карлис Ландерс, Янис Удрис и Николайс Крастиньш, братья Карлис и Рудольфс Сиксны, Янис Кинсонс и Янис Зумбергс.

Все они искали в Ясной Поляне совета, понимания, заступничества. На контактах с Львом Толстым некоторых нельзя не остановиться и рассмотреть эти связи подробнее.

Рижанина Исаака Крутика сам Л. Толстой называл «милым и уютным человеком». Студент-правовед, сторонник религиозно-нравственного учения Л. Толстого усомнился в правовых нормах, не соответствующих моральным. Вопрос, обращенный к писателю-мыслителю, вырос в целую статью Толстого «Письмо студенту о праве»: «вам, молодому человеку, и всем вашим товарищам, не могу не советовать, как можно скорее, пока голова ваша не совсем запуталась и нравственное чувство не совсем притупилось, бросить это не только пустое и одуряющее, но и вредное и развращающее занятие».¹ (с. 54)

¹ Толстой Лев. Полное собрание сочинений. – Москва: Госиздат Худ. Литературы. Т. 38. – 1936, – с. 34–61 (далее: ПСС).

Получив такое письмо, Крутик приехал в Ясную Поляну, близко сошелся с В. Г. Чертковым, стал активным членом «Колонии толстовцев-землепашцев». В доме Черткова Крутик не раз встречался с Л. Толстым, слышал в его чтении статью «О науке». И сегодня его рижские потомки хранят фотографии, письма, документы.

Постоянным корреспондентом Л. Толстого стал рижский студент Евгений Крамер, потомок именитого лифляндского рода. Исключенный из Петербургского университета за радикальные взгляды и осевший в Риге «молодой человек» благодарит писателя «за добрый прием и советы». Посетив Ясную Поляну, студент убедился в большом интересе, проявляемом великим писателем к рижским событиям 1899 года.¹ «Полагая, что Вам пригодятся, как материал, кое-какие интересные сообщения относительно забастовок, происходящих и после моего выезда из Риги, – пишет Крамер своему яснополянскому корреспонденту, – покорнейше прошу сообщить, не пожелаете ли Вы их получить?» (ПСС Т. 72, с. 142).

Далее Крамер спрашивает об авторе стихотворения «Друзьям добра», которое он намеревается опубликовать в рижской газете.

В своем ответе писатель не только называет имя автора стихотворения – И. Горбунов-Посадов, которого называл «хорошим». Далее в письме следовало: «Очень буду благодарен, если сообщите мне для заграничной печати самые точные сведения о стачке в Риге и дальнейших происшествиях».

Присланные Крамером материалы были опубликованы В. Чертковым в «Листках свободного слова», издававшимся в Лондоне. В этом листке, благодаря посредничеству Л. Толстого и В. Черткова, печатались Фрицис Розиньш, Ф. Весманис, Х. Пунга, Я. и О. Ковалевские, Г. Дабертс, Э. Голава, Я. Земитис.

Материалы для публицистической и творческой деятельности Толстому доставлял не только Крамер. Большую услугу русскому писателю оказал Евгений Вейденбаумс, брат известного латышского поэта, состоявший тогда в Тифлисе при великом князе Николае Михайловиче и считавшийся лучшим знатоком истории края.

¹ Vestermanis M. Lēvs Tolstojs un «Rīgas dumpis» (Лев Толстой «Рижский бунт»). Сīņa – 1966, – № 138.

Работая в Военно-историческом отделении тифлисского архива, Вейденбаумс отыскал материалы о Хаджи-Мурате, которые в ноябре 1902 выслал в Ясную Поляну и очень сожалел, что не может туда же отправить весь воронцовский архив. Лев Толстой изучал материалы целые полгода, затем с благодарностью вернул их Вейденбаумсу (ПСС Т. 74, с. 149).

Но особо значимым в контексте нашего исследования оказались контакты Льва Толстого с сельским учителем Карлисом Ландерсом (Kārlis Landers).

В самом начале 1901 года молодой учитель Ташской волостной школы (Либавский уезд) перевел на латышский язык целую серию нашумевших в то время толстовских публикаций: «Требования любви», «Письмо к фельдфебелю», «Мысли о Боге», «Не убий». Не только перевел, но и читал, и комментировал крестьянам из соседних хуторов.

Результат скоро сказался. Учителем Ландерсу запретили. В письме Л. Толстому от 2 февраля 1901 есть и такие строки: «Я из латышского рабочего народа. В этой среде я вырос. И кому, как не мне, было знать духовную жизнь моего народа».

21 февраля Л. Толстой отвечает Ландерсу, и с этого дня их переписка становится регулярной.

Через год Ландерс отправляется в Крым, в Гаспру, чтобы лично свидеться с Толстым, но угодил в полицейский участок. В доме Ландерса обыск. Самого препровождают в Либавскую тюрьму. И новые письма Толстому. Но пока длится следствие, ничего сделать нельзя. «Когда кончится дело, – пишет Толстой 11 октября 1902 года, – мы подумаем с друзьями, как помочь Вам».

Через полгода Ландерса освободили «под гласный надзор». Ответное октябрьское письмо из Ясной Поляны вселяло «новые надежды и дух бодрости».

В феврале 1903 года Ландерс получает из Ясной Поляны книжную бандероль и денежный перевод. Ландерс открывает народную библиотеку для рабочих и ремесленников, матросов и рыбаков. И снова обращается к Толстому с просьбой выслать книги в Либаву.

«Здесь у меня много знакомых; все это очень милые и добрые люди, которые сочувственно относятся ко мне, интересуются серьезно Вашими сочинениями. Я перевел на латышский язык «Солдатскую памятку», «Разрушение ада и восстановление его» и некоторые страницы из «Царства Божия».

В письмах Ландерс рассказывает о том, как в Либаве на гектографе печатаются и распространяются среди крестьян и рабочих произведения Толстого, как тянутся к его трудам, «требуют, просят его сочинения».

«Я знаю здесь и в деревнях Курляндии, – пишет в очередном письме Ландерс, – много простых крестьян, которые от всей души почитают Вас и с жадностью прислушиваются к каждому Вашему слову. Они гордятся Вами, словно Вы самый близкий и дорогой для них человек».

Но тюремные двери в очередной раз захлопнулись за Ландерсом. Его обвиняют в неуважительном отношении к полиции и хозяину фабрики.

В ответном письме Толстой советует не делать того, что не разрешается, с другой стороны понимает, что в возрасте Ландерса мог бы сделать что-либо подобное (ПСС Т. 73, с. 154).

В марте 1904 года Ландерс снова в тюрьме – на этот раз – обвинение в распространении лондонских изданий Черткова. Дело серьезное, и на этот раз Толстой должен внести залог в 2000 рублей и поручиться за Ландерса. И сделать это оказалось не так легко. Писатель вынужден обращаться за помощью к другу семейства – теперь генерал-губернатору Зиновьеву.

И после освобождения из тюрьмы Толстой не оставляет своего либавского друга без протекции – отыскивает ему место сотрудника в одной из московских газет. Впоследствии Ландерс – видный деятель коммунистической партии.

Тесная дружба свела Льва Толстого с братьями Сиксне, активными борцами против милитаризма, отказавшимися вслед за Толстым брать в руки оружие. Помочь Толстой ничем не мог, но в контексте нашего исследования важно то обстоятельство, что писатель в своих

очередных антимилитаристических брошюрах буквально копировал высказывания обоих братьев.¹

Переписка с Евгенией Гиршберг-Пухер, дочерью рижского раввина и немецкой поэтессой и драматургом, стихи которой печатались в латышской печати, а пьесы в латышском переводе передавались по рижскому радио, послала Л. Толстому свою версию «Крейцеровской сонаты» с подзаголовком «Из дневника госпожи Позднышевой».

Благодарственное письмо Льва Толстого гласило: «Она [инсценировка, Б. И.] очень интересна и хорошо написана. Многие черты, мне кажется, верно отмечены».²

Имя Карлиса Скалбе в перечне латвийских корреспондентов не значится. Однако уже первый биограф писателя Антонс Биркертс сообщает, что еще в школьные свои годы будущий латышский поэт и автор художественных сказок и эссе переписывался с великим русским писателем, с благодарностью получал от него книги, трижды выступал в латышской печати с восторженными эссе. Карлис Скалбе настолько проникся идеями Толстого о непротивлении злу насилем, что воплотил их, по признанию все того же А. Биркертса, в свою лучшую сказку, ставшую хрестоматийной – «Kaķīša dzirnaviņas» («Кошачья мельница»)³.

Во время же Первой мировой Скалбе в своих очерках и эссе вспоминает миролюбивые проповеди насельника Ясной Поляны, противопоставляет германскому милитаристическому нищезанятию, а удаль донского казака, убившего без зазрения совести свыше двадцати немцев, объясняет также вслед за Толстым, что казак – это природа, с которой нечего спрашивать.

¹ Залитис Я. Лев Толстой в судьбе Карла Сиксне. – Даугава, – 1988, – № 9, – с. 114–117.

² В полном собрании сочинений Л. Толстого отмечено: «Текст письма неизвестно», хотя «Сегодня вечером» уже 3 октября 1933 года текст письма опубликовала. См. Также: Залитис В. Забытая писательница Евгения Гиршберг – Пухер и Лев Толстой. // Методология и методика историко-литературного исследования. – Рига: Латв. Гос. Университет. – 1990. – С. 154–155.

³ Birkerts A. Kārlis Skalbe. Biogrāfiski-kritiskā skice (Биографически-критические зарисовки). // – Skalbes kopoti raksti. I. Rīga: Kultūras balss. – 1922. – С. 79.

Самой Латвии, ее природы, людей, истории в творчестве Льва Толстого не оказалось. Единственная местность, которая, и то предположительно, по уверению Карлиса Эгле, высказанному однажды автору этих строк, отражена в завязке действия романа «Воскресение». Ф. Кони, близкий друг писателя и во многих случаях комментатор его творений, разместил это поместье в Финляндской губернии. Но по справедливому замечанию Карлиса Эгле такой Финляндской губернии не существовало, и Кони оговорился, назвав ее вместо правильной Лифляндской. Эгле называл даже тот уезд, где находилось это поместье, но когда пришло время зафиксировать его высказывание, маститый библиограф больше ничего не мог вспомнить. Возможно, искомые данные хранятся где-то в его бумагах.

Хотя действие «Воскресения» начинается на земле латышей – прототип Катюши Масловой не латышка, а эстонка Розалия Они, имя которой нам также поведал Кони.

И другие латвийские персонажи Льва Толстого – не латыши, а немцы – высокого ранга военнослужащие, которые живут, воюют, страдают и радуются на страницах эпопеи «Война и мир».

И столь ненавистный современному латышу генерал-фельдмаршал Барклай-де-Толли.

Деда будущего героя не раз избирали рижским бургомистром. Его сыну Богдану царь пожаловал дворянское достоинство. Самый знаменитый – Михаил – родился в Лугажи. Участвовал в русско-турецкой кампании, в финляндском походе 1790 года, штурмовал Очаков. В бородинской битве командовал правым флангом и центром армии. Именно здесь проявились высокие качества стратега и тактика.

А. Лосев обратил внимание на то, что историк Г. Врангель¹ утверждал: «Лев Толстой обыкновенно изображает немца, а в частности прибалтийского, с несимпатичной его стороны».

По мнению А. Лосева «на самом деле это совсем не так».²

¹ Врангель Г. Балтийские офицеры в походе 1812 года. // Ревель: «Клуге», – 1913, с. 8. 28.

² Инфантьев Б. Лосев А. Лев Толстой и Латвия. Рукопись в архиве Б. Инфантьева.

Мотивы симпатий или антипатий Толстого к высшим офицерам русской армии надо искать вовсе не в национальной их принадлежности. Куда важнее для писателя преданность воинскому долгу, верность России, ум, высокая нравственность, бесстрашие, проявляемые в сражениях. Зная об этих установках автора «Войны и мира», командующего русской армией Баркляя-де-Толли следовало бы отнести к той группе персонажей, которые так или иначе соотносятся с толстовской концепцией народной войны. Но если это так, как понимать слова князя Андрея, обращенные к Пьеру Безухову: «... у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей, и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай его служит, но ежели отец при смерти, то прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр; но как только она в опасности, нужен свой, родной человек, а у вас в клубе выдумали, что он изменник».

Где же истина? – недоумевает А. Лосев.

Прежде всего образ одного героя повествования, даже любимого, близкого писателю каждой своей мыслью, каждым поступком, – это еще далеко не весь Толстой, с мятущейся его душой, с вечными сомнениями, мучительными поисками правды.

Не забудем и о другом: в эпопее «Война и мир», быть может, в большей мере, чем в других своих книгах, Толстой стремится передать самые разные оттенки идеи народной, при этом он не оставляет втуне «расхожие мнения» и такие оценки людей и событий, которые не совпадали с личными его убеждениями.

Куда определеннее – и в психологическом, и в профессиональном, и в нравственном планах – рисует Толстой образ другого военачальника, тоже остзейца по происхождению, Карла фон Толля. И в военном лагере в окрестностях города Дриссы, и на поле Бородина, и на военном совете в Филях, и в битве при Тарутине Толль жарко отстаивает составленные им планы наступления. Говоря об одном из таких стратегических замыслов, писатель не без мягкой иронии замечает: «Диспозиция была очень хорошей». Какими же на самом деле были эти диспозиции, об этом можно судить по толстовским

отзывам о диспозициях австрийских генералов: «все было как и во всех диспозициях прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место».

Г. Врангель подчеркивает завидные познания К. фон Толля в военной теории, его влияние на ход сражений: обладал он и незаурядными личными свойствами, горячей неподкупной натурой, честностью и бескомпромиссностью.

В стане русских воинов особым авторским участием отмечен образ генерала Багговута, подлинное его имя – Карл Густав фон Багехуфвудт. В Лифляндии его знали как достойного продолжателя старинного дворянского рода. Пожалуй, ни один из военачальников остзейцев, не нарисован Толстым с такой острой симпатией. На страницах «Войны и мира» он выказывает завидную храбрость, верность русским знаменам.

«Выйдя из поля под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь и с одною дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что ему было нужно в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его стояла несколько времени без пользы под огнем».

Толстой верен своей философской оценке военных действий, так он расценивает и никому не нужное геройство Багговута.

В какой-то мере сродни прибалтам – на сей раз не немцам, а обрусевшим потомкам бывших крестоносцев, князь Андрей. Ведь по уверению исследователей, его прототип – Федор Тизенгаузен, потомок режицких старост польского времени, поздний отпрыск древнего рыцарского рода.¹

Хотя Толстой в своем творчестве почти не показал ни Латвию, ни ее людей, сам он прочно вошел в латышскую литературу.

П. Эрманис четыре строфы посвящает своему соотечественнику Ивану Озолиню, начальнику станции Астапово, которому суждено было дать последний земной приют великому писателю земли русской. Приводим это стихотворение в переводе М. Скородумова:²

¹ Тайван Л. По Латгалии – Москва: Искусство, – 1988, с. 137.

² Архив Б. Инфантьева.

На бороде моей пережитого иней.
А бородач другой, уйдя из жизни ложной,
Слег у меня под кровлей. И тревожно
Взметнулось над Россией это имя.

Набатным кликом обожгло сограждан:
«Недуг одолевает Льва Толстого!»
И вся страна в мой дом войти готова.
Астапово отныне знает каждый.

Но мой очаг не посетила милость,
Для путника, увы, последним стал он.
Все скорбное, чем жизнь меня пытала,
В той осени сырой соединилось.

Века Ему поклонятся с любовью,
Отдаст потомок сердце книгам светлым.
И, обращаясь к дням Его последним,
Он и меня, он Озолина вспомнит.

Об Иване Озолине как свидетеле последних дней Льва Толстого накопилась уже солидная литература.

Хербертса Дорбе (1894–1983) волнуют потусторонние проблемы в стихотворении «Disputa debesī. Bēthovens un Tolstojs» («Диспут на небесах. Бетховен и Толстой») В 68-строчном стихотворении слышится бетховенский упрек: «Вы были способны разять мою Крейцерову сонату, смогли сделать то, что никак не удавалось черноризцам-пасторам. И почему Вы так суровы, мастер?.. Многое в творчестве Вашем, граф, христианский ум постигнуть не может!» В словах Бетховена угадываются симпатии и антипатии самого Хербертса Дорбе (Herberts Dorbe). «В повести Вашей, – продолжает Бетховен, – горит – не гаснет огонь страстей. И любовь у Вас не возвышенная, не звездная, но грешная, земная». Выслушав эти укоры, Толстой, совсем как народ у Пушкина, «крестясь, безмолвствует».¹

¹ Dorbe H. Disputa debesī. Bēthovens un Tolstojs. // Liriski disputi – Rīga: Liesma, – 1969, – с. 66–69.

В бумагах Яниса Порукса сохранился набросок драматической миниатюры, среди действующих лиц которой – Платон и Данте, Гете и Шиллер, Шекспир и Гейне, Дарвин и Гауптман, Галилей и Зудерман. В кульминационной сцене пьесы, названной автором «Идеалы»,¹ в диалог вступают Лев Толстой и Максим Горький.

«Толстой и Максим Горький входят вместе.

Горький. Не спрятался ли где-нибудь здесь золоторожец?

Толстой. Ни одного крестьянина не видать. Стало быть, напрасное занятие искать тут истины.

Г. Эй, кто там?

Зудерман. Собратья идут. (Появляются Ибсен, Чехов, Бьернсон).

Т. Что у вас происходит?

Зудерман. Отдал Богу душу Идеал.

[..]

Т. (Смотрит задумчиво на море). Что ж нам делать? Послушайте, ведь Идеал умер.

Г. Пойдем и мы в «Золотую роту».

В этой Поруксовской полифонии сюжетов, образов, идей лейт-мотивом звучит заветный толстовский призыв к опрощению.

Карлис Штралс в своем романе «Karš» («Война»),² по единодушному признанию литературоведов, возникший под влиянием толстовской эпопеи, в уста одного из своих персонажей вкладывает рассказ об огромном впечатлении, которое оставил услышанный голос Толстого в граммофонной записи. Произошло это в Берлине, в бытность этого персонажа там.

В первые дни Первой Мировой в Риге в собрании людей интеллигентных обсуждают актуальные события новой жизненной ситуации.

«Но послушаем, что говорит о войне русский великан духа Толстой, который стоит – из нас никто в этом ведь не сомневается – со всей своей бородатой головой, над всеми нами. Я в бытность свою в Берлине слышал однажды некоторые из его граммофонных

¹ Poruks J. Kop. Raksti (Собрание сочинений), VIII sēj. – Rīga: A. Golts – 1925, – с. 102–107.

² Štrāls K. Karš (Война). – Rīga: Leta. – 1922, – с. 51.

записей. Они и теперь еще у меня в памяти, так и звучат в устах. Когда я это читаю, то можно о них только думать: но когда их слышишь своими ушами как бы от самого Толстого, со всей их убедительностью, то они способны переделать человека так, что все прочитанные слова становятся излишними и малоценными как барабанный бой или когда слышишь гром: «Убийство есть убийство под каким бы видом оно не совершилось» (слова Толстого даны в латышском тексте романа на русском языке кириллицей).

– Но и Толстой, – возразил Сея, – и Толстой ничего другого не сделал, как только доказал то же самое, о чем только что мы здесь говорили... А именно: мы все хотим того или не хотим, становимся преступниками. И если уж Духу мира нужно, чтобы народы воевали, то лучше пусть это делается в фантастическом духовном свете, чем в таком же темном сознании фантастического греха. Мы находимся только там, где мы находимся, и знаем только то, что знаем. И кто знает, может придет такое время, когда и мы сможем воскликнуть «Да здравствует война!»

Петерис Эрманис в стихотворении «Krēslaina saruna ar Tolstoju»¹ («Сумеречный разговор с Толстым») обращается к русскому мастеру с такими стихами:

[...] «Meister pielūdzamais! Tolstoj, tūkstošas dvēseles ietverošais. Brīvais tavs cilvēks, Nikita tavs jaunotais, Nekļudovs tavs vilina rītā mani un saulē. [...]

[Мастер, кому поклоняются! Толстой, тысячи душ заключающий. Свободный твой человек, Никита твой новатор, Неклюдов твой привлекает утром меня и на солнце.]

Jauno kaut ausmu jaunots es sveiktu, brīvs kā mūks Sergejs, Dievu es sevī kaut justu, brāļi kaut mani līdzī man, nāvējot sevi, augšām sevi celtos!»

[Новый хоть восход обновленный я бы приветствовал, свободный, как монах Сергей, Бога в себе хоть бы чувствовал, братья бы мои вместе со мной, убивая себя, воскресали в себе!]

¹ Ērmanis P. Es šaubos, es ticu (Я сомневаюсь, я верю). – Rīga: Kabata. – 1990, – с. 60.

Антонс Аустриньш в автобиографическом романе «Garā jūdze» («Длинная миля») (с. 248) рассказывает о лютеранском пасторе, встреченном на пути своих странствий, который зачитывался «Анной Карениной», называл Толстого своим любимым писателем и удивлялся силе его таланта. «С Толстым не может сравниться никто».

Антонс Биркерте (Antons Birkerts) в своей автобиографической повести «Педагоги»¹ высмеивает малокультурного директора школы – обрусителя, который не знает, что Лев Толстой – «великий писатель земли русской».

Имя Льва Толстого фигурирует даже в латышских театральных анекдотах. В «Новом Рижском театре» при постановке «Власти тьмы» всегда ели настоящие, вкусные кислые щи. Густавс Жибалтс – муж Старой Матрены всегда с большим вожделием ожидает этого момента. Но сцена короткая, а блюдо большое. Актер хлебает за обе щеки и с ужасом чувствует, что скоро придется кончать.

– Люди добрые, – шепотом просит он других актеров, – говорите медленнее, делайте паузы. Куда вам торопиться. Дайте мне поесть вволю! Не в каждом спектакле даровой ужин.

Поэтому эта сцена частенько затягивалась долго».

В музее Льва Толстого в Москве хранится адрес латышских писателей, отосланный в Ясную Поляну в августе 1908 года. Адрес подписан братьями Каудзитес, Анной Бригадере, Рудольфом Блауманисом, Райнисом, Аспазией, Кришьянисом Баронсом, переводчиком «Воскресения» Антонсом Аустриньшем, Янисом Яунсудрабиньшем, Карлисом Крузой.

Текст адреса: «Многоуважаемый граф Лев Николаевич! [...] обездоленный латышский народ находит в Ваших книгах несравненные ценности. Наши сердца благоговеют искренней благодарностью за всю Вашу любовь, за все, с любовью к человечеству и нам дарованное».

И еще о театре Толстого

Пьесы «Живой труп», «Плоды просвещения», «Власть тьмы» латышские зрители увидели еще при жизни их автора. Едва миновал месяц со дня шумной премьеры «Живого трупа» в МХАТе,

¹ Birkerts A. Pedagogi (Педагоги). – Rīga: Raņķis. – 1924, – с. 167.

и к постановке этой же пьесы приступили три театра – Рижский латышский, Новый рижский и Либавский. Пьесу эту на латышском языке играли любительские труппы в Елгаве, Талси, Цесисе и Алуksне, Алое и Сигулде, Валке и Валмиере, даже... в Таллинне и Бостоне.

Труднее складывалась сценическая судьба спектакля «Власть тьмы». Переведенная на латышский язык в 1898 году, пьеса увидела свет рампы только через семь лет. «Власть тьмы» в Латвии запрещалась цензурой. Объяснялось это так: «Иностранцам не следует давать возможность видеть на сцене самые неприглядные стороны русской народной жизни».¹

И все-таки, вопреки цензурным преградам – есть все основания утверждать: 20-й век – это время драматургии Толстого в Латвии.

Каждое из шести воплощений «Анны Карениной» в Лиепаве, Елгаве и Риге стало заметной вехой в становлении и развитии искусства театра.

50-е годы. Театр «Дайлес»

Сцену завлакивает январская студеной ночь. Анна в трактовке Лилиты Берзини – отрешенная, сосредоточенная, сдержанная. Казалось, что в муфте она хотела согреть не только застывшие на холодном ветру руки, но и озябшую свою душу. Вслушиваясь в нервные, предвещающие скорый разрыв, диалоги Анны и Вронского, сочувствуя отчаянным попыткам толстовской героини пробудить какие-то человеческие начала в «злой бесчувственной машине» – Каренине (Артурс Филипсонс), живо отзываясь на немолкаемую боль Анны в сцене свидания ее с сыном, зрители с предельной ясностью понимают: эта сломанная, мятущаяся душа – на краю пропасти.

Театровед Лилия Дзене² справедливо заметила:

«Латышских актрис – несравненных Юлию Скайдрите и Элли Эзериню, Лилиту Берзиню и Велту Лине – покорил истинно рус-

¹ Egle K. Latviešu progresīvās grāmatas vajāšana pagātnē (Преследование. Latv. ZA vēstis. – 1950. – № 1. – С. 125–136.

² Dzene L. Liela misija – būt cilvēkam (Великая миссия – быть человеком). // Сīņa. – 15. janv.

ский характер Анны Карениной, которая одновременно мечтает и о земном счастье, и о высших небесных чувствах, о верности любящих сердец. Исполнительниц этих ролей увлекла сценическая задача на редкость сложного внутреннего наполнения – показать от сцены к сцене обреченность независимой, гордой, духовно одаренной натуры в неискреннем, ханжеском обществе. Люди ничтожные, злые, морально ущербные расчетливо наносят Анне двойной удар – лишают ее и любимого человека, и сына.

«Какая подкупающая правда в каждом Вашем движении, в каждом слове, жесте. Какая глубина чувств, какое редкое умение показывать внутреннюю жизнь Вашей героини.» Такое письмо получила Лилита Берзиня от зрителей – студентов Московского театрального института.¹

Еще одну попытку заглянуть в бездонную глубину толстовского романа предприняла в конце шестидесятых годов труппа Национального театра. Отдавая должное Велте Лине в роли Анны, театральный критик Юрийс Паберзс редкой удачей режиссера Алфредса Янушанса и актера Жаниса Катлапса назвал трактовку образа Каренина. Такой интерпретации до той поры не знала латышская сцена. Каренин-Катлапс стремился оттенить любые человеческие черточки в облике своего персонажа, едва уловимые движения его души. Каренин на сцене Национального театра никак не мог примирить взаимоисключающие начала: неписанные нормы высшей петербургской аристократии, которые не было дано переступить, и неподдельное чувство к Анне, желание протянуть ей руку помощи.

Андрей, Пьер, Наташа Ростова... И в романе, и в спектакле театра «Дайлес» «Война и мир» эти герои олицетворяют все истинное, корневое, духовное, что Толстой провидчески разглядел в родном народе.

Двадцать четыре эпизода, отображенные для спектакля Смильгисом, воссоздали те страницы эпопеи, которые с первого же прочтения романа запоминаются навсегда.

¹ Ko saka Maskavas skatītāji par Lilitu Bērziņu un Jāni Osi (Что говорят московские зрители о Лилите Берзине и Янисе Осисе). Padomju Jaunatne. – 1956, – 3. janv.

Андрей Болконский под высокими небесами Аустерлица. Божественная ночь в Отрадном. Первый вальс Наташи.

Андрей Болконский – Харийс Лиепиньш. У зрителей не оставалось сомнений: именно такой актер должен был явиться в образе самоотверженного защитника Отечества, человека совершенной нравственности... Последние минуты князя Андрея... Сцена погружена в темноту. Луч прожектора вырывает из мрака лицо, глаза Андрея Болконского. Просветленный его взгляд говорит о многом...

Сводная афиша толстовских спектаклей названными постановками не ограничивается. Алфредс Амтманис-Бриедитис – постановщик пьесы «Живой труп» уже в наше время. Новаторское прочтение рассказа Л. Толстого «Холстомер» и сценическая версия его, принадлежащая москвичу Марку Розовскому на русской сцене в Латвии... Радиоспектакль «Крейцера соната», которую слушали в 80-х и в 90-х годах лиепайцы и резекненцы, рижане и валмиерцы.

Память о великом русском писателе в Латвии не умолкает.

Антон Чехов (1860–1904)¹

Немыслимо представить себе Чехова в отрыве от толстовской традиции, от опыта Флобера и Мопассана. С другой стороны, невозможно представить себе путь к латышскому читателю Антона Чехова без переводов Бебру Юриса (Bebru Juris) и Эрнестса Бирзниекса-Упитиса (Ernests Birznieks-Upītis), Августса Саулиетиса (Augusts Saulietis) и Антонса Аустриньша, Арону Матиса (Āronu Matiss) и Карлиса Крузы.

Одним из наиболее продуктивных исследователей значения Антона Чехова для латышской литературы был Алфонс Вилсонс (Alfons Vilsons) (1917–1993). Перелистаем его монографию о Рудольфе Блауманисе (Rudolfs Blaumanis), классике латышской драматургии.²

Страница 65. Свидетельство Антонса Аустриньша: «Из латышских писателей более других Чехова почитал Рудольф Блауманис».

Стр. 66. Рассказ Блауманиса «У засохшего источника» (Pie aizserējuša straوتا) Янсонс-Браунс соотносит с лирической прозой

¹ Источники: Вавере В., Мацков Г., – с. 161–167.

² Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis (Классик латышской литературы Рудольф Блауманис). – Rīga: LVJ, – 1956.

Чехова: «Истинная интеллигентность Чехова, тщательная отделка стиля, тонкая нюансировка в его рассказах, персонажи – все это в некоторой степени примечательно и для Блауманиса».

Обстоятельно говорит Вилсонс и об уроках Чехова, новеллиста и драматурга, для латышской литературы и театра вообще, для Блауманиса, в частности. Анализируя пьесы и новеллы латышского классика зрелых лет – «Skroderdienas Silmačos», «Sestdienas vakars» («Дни портных в Силмачах», «Субботний вечер»), рассказы и новеллы, Вилсонс замечает: крупнейший латышский писатель не забывал о чеховских заветах. Один из них: «Искусство писать на самом деле это не искусство оставлять на бумаге слова и предложения, а искусство вычеркивать плохо написанное».¹ Один из фрагментов рассказа латышского писателя «Zirgs, trīs govīs un simts rubļi» (Лошадь, три коровы и сто рублей») во второй редакции сохранил только одну строфу, а в конечной редакции – два слова.

Учитывал Блауманис и другой чеховский принцип: «Как на борту военного корабля в хорошем рассказе не может быть ничего лишнего»,² очень напоминает Блауманисовское пожелание Штралсу: «Несколько резких штрихов и персонаж становится легко узнаваемым, живым».

Чеховские реминисценции в пьесах Блауманиса латышский литературовед усматривает и в рубке ясеней в пьесе «Индраны», что перекликается с рубкой «Вишневого сада».

К латышским писателям Чехов пришел в ту пору, когда он был еще «Антошей Чехонте». Уже тогда его юморески читали как по-русски, так и в латышских переводах (начиная с 90-х годов), когда один за другим в периодической печати появлялись «Беглец», «Налим», «Черный монах», «Анна на шее», «Палата № 6», «Мужики», «Дом с мезонином», «Смерть чиновника», «Учитель словесности», «Спать хочется», «Устрицы».

Многие латышские прозаики в литературу входили через переводы чеховских произведений, например Валдис (Valdemārs Zālītis), автор популярных рассказов «Staburaga bērni» («Дети Стабурагса»).

¹ Чехов А. О литературе. – Москва: Гослитиздат. – 1955, с. 292.

² Там же, с. 287.

О проникновении в чеховскую стихию говорит и Аспазия, которую поражают и безупречный вкус, и не изменяющее чувство меры, и поразительная точность любой подробности, любой характеристики.¹

Внимание читателей и литературных критиков особенно привлекала «футлярная» тема Чехова. Андрейс Упитс, подтрунивая над осторожностью редактора крайне правой газеты «Dzimtenes Vēstnesis» («Вестник родины»), замечает: «Даже самый идеальный редактор заставляет вспомнить чеховского Беликова. По утрам усевшись за стол с зеленым сукном, он думает об одном: «Как бы чего не вышло!» Вот он завершает редакционный день и складывает бумаги, зачем-то заглядывает во все углы, прячется в черное пальто. По дороге домой его тревожит все то же: «Как бы чего не вышло!» Вечером, укладываясь в постель, он вздыхает только об одном: «Как бы чего не вышло!»

Этой чеховской фразой «Как бы чего не вышло» Упитс назвал цикл своих юмористических рассказов.

Сам Упитс признавал: «Когда я работал над моими «Маленькими комедиями», мне постоянно сопутствовала атмосфера чеховского театра, вся гамма едва уловимых нюансов. Как его, так и меня привлекали мелочи этой серой жизни, своеобразное действие и линии характеров искалеченного человека».

К образам Чехова не раз обращается известный латышский публицист Янис Асарс (Jānis Asars): Ионыча с его духовным обнищанием латышский критик ставит в один ряд с никчемными нытиками, которые в конечном счете ловко приспособляются к банальной обыденности, к сереньким бездарным будням. Это Огнев («Верочка»), Алехин («О любви»), профессор («Скучная история»).

Многое в своем творчестве наиболее плодovitый и популярный латышский новеллист Персиетис (Pērsietis) (1862–1901) соизмерял с наследием Чехова. «Рассказы русского прозаика не оскорбляют слух ни одним фальшивым звуком, ни одной искусственно созданной ситуацией». «Я почел бы за счастье быть латышским Чеховым».

¹ Aspazija. Čehova lugas (Пьесы Чехова). – Mājas Viesa mēnešraksts (Ежемесячник вестника дома), – 1902, – с. 689.

Но подлинным последователем Чехова можно считать Эдуардса Вульфса (1886–1919).¹

«У автора «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Трех сестер» мои литературные собратья учились передавать атмосферу времени, все оттенки настроения. Этот вывод я бы подтвердил этюдом Я. Яунсудрабиньша «Трагедия», детской сказкой Я. Акуратерса «Медвежьи дети», рассказом А. Саулиетиса «Кузнец Индрикис», да и мои пьесы «Rožainas dienas» («Розовые дни»), «Rītos, kad sapņi dziest» («По утрам, когда уходят сны») в чем-то перекликаются и с лейтмотивами Чеховского театра, и с поздними рассказами русского писателя».

Так, героиня пьесы «Rožainas dienas»² Оля в одном из своих диалогов признается: «Подобно чеховской Саше (рассказ «Невеста», Б. И.) я готова любить немощного, хворого, страдающего. Такой человек вызывает у меня чувства скорее чем здоровый и счастливый».

В пьесе «Rītos, kad sapņi dziest» героиня так же, как чеховская ее предшественница, отправляется учить детей взморских рыбаков, хотя в условиях Латвии, добавим мы от себя, это и не было такой необходимостью, как в чеховской России.

Но не только отзвуки чеховских мотивов находим мы у латышских прозаиков и драматургов. Эрикс Адамсонс (Ēriks Adamsons) (1907–1946) инсценировал чеховскую «Каштанку». Приводим фрагмент этой инсценировки:

«Федюшка и отец.

На сцене – цирковой манеж. Бравурная музыка. Два клоуна потешают публику.

Федюшка (читает афишу): Что там будет? Что обещают?

Отец. Те-те! (Пытается увести Федюшку).

Федюшка. Давай сюда! (Указывает на цирк).

Отец. Сегодня выступает клоун-дрессировщик. Чудесно!

[...]

¹ Vulfs E. Čehovs un latvieši (Чехов и латыши). – Latvija, – 1914., – № 145.

² F. Vulfs E. Rožainas dienas (Розовые дни). – Rīga: Grāmatu draugs – 1938. – С. 31.

(На арену выходит клоун с чемоданом. Тишина).

Федюшка. Ха-ха-ха! Какой он забавный!

Зрители. Ха-ха-ха! Привет тебе, Жора! Ха-ха!

(Аплодисменты, смех. Музыка, туш, наступает тишина.)

Клоун (прикладывает платок к лицу). Уважаемая публика. Я только что с вокзала. Умерла моя бабушка и оставила мне этот чемодан. Это не очень ценное наследство, но чемодан очень тяжелый. Интересно, что там внутри. Может быть драгоценности, золото, серебро. А может быть, целый миллион! Я буду миллионером!»¹

* * *

Драматургия Чехова в интерпретации Московского Художественного театра явилась для латышских актеров, литераторов-критиков, зрителей откровением. Начиная с 1902 года, заботами рижских купцов и промышленников театр русской драмы получил великолепное здание. Опытный антрепренер и режиссер К. Незлобин возглавил талантливый актерский ансамбль, и пьесы Чехова зазвучали в полную силу. Рижанами стали совсем недавние мхатовцы М. Андреева, А. Харламов, Строганов. Вскоре пьесы Чехова стали появляться и на афишах латышских трупп.

Поначалу это были мелкие сценические шутки, которые в 10–17 годах XX века захлестнули всю Латвию. «Трагик поневоле», «Юбилей», «Женитьба», «Предложение», «Медведь» ставились в эти годы преимущественно любительскими труппами при библиотеках и читальнях, музыкальных и даже сельскохозяйственных обществах в Рауне и Ирлаве, Кулдиге и Вецпиебалге, Режице и Лиелсесаве, Лимбажах и Вентспилсе, Ранке и Вецгулбене, Калупе, Кокорева (по ту сторону губернской границы) и Тирзе, Ламберти и Букайжи, Лиепасе и Салацгриве, Балтинаве и Усме, Юналауксте и Сунтажи, Яунпиебалге и Дурбе, Страупе и Шкибе, Вараклини и Цесвайне, Либане и Палсмани, беженцами-латышами в Рыбинске, Петербурге и Бостоне.

В 1906 году была поставлена первая крупная пьеса «Иванов» – сразу же в двух латышских театрах – в Елгавском и рижском

¹ Музей латышской литературы и искусства. Фонд Э. Адамсона, 6–10.

«Аполло». В 1910 году этим спектаклем свой бенефис отметил М. Михайловский в Рижском русском театре. Высокая оценка игры Михайловского отмечена и в латышских газетах: «Baltijas Vēstnesis» и «Latvija» («Балтийский вестник» и «Латвия»).

Столь же высокую оценку постановки «Интеримтеатра» в 1912 году отмечали в своих рецензиях и Викторс Эглитис, и Карлис Круза. Конфликт Иванова с окружающим миром рецензенты сопоставляли с творчеством Ибсена, Пшибышевского, д'Аннунцио.

Пьесу возродил в 70-е годы Адольф Шапиро, а в 1977 году пьеса была поставлена Валмиерским театром.

В 1906 году Рижский латышский театр ставит «Вишневый сад». Путь к Чехову, как и следовало предполагать, для латышских актеров оказался нелегким. Даже такие известные всей Латвии актеры как Юлия Скайдрите (Раневская), Арвидс Михельсонс (Гаев), Алексис Миерлаукс (Фирс), Даце Акментиня (Варя), знающий режиссер Алексис Миерлаукс не смогли спасти положение – спектакль в 1907 году успеха не имел. Критики упрекали создателей спектакля в забвении уроков Станиславского, в неумении проникнуться атмосферой неведомой латышской сцене драматургии, стать «нетеатральными на театре». Авторы рецензии упрекали актеров в некритическом использовании привычных актерских средств, которые в пьесах других авторов действовали безотказно, в декларативности, не согретой чувством пафоса, в стремлении покрасоваться перед зрителями, во что бы то ни стало вырвать аплодисменты.

Но с годами и спектаклями латышские актеры приближались к Чехову. Они учились передавать многослойный подтекст, в будничных ситуациях находить нечто непривычное, значительное. Каждый из них искал такой единственный рисунок роли, такое сценическое воплощение, которые отвечали бы духу чеховских пьес.

Первые успехи в постановке «Вишневого сада» пришли только в 1987–1989 годы к актерам Валмиеры. Особыми успехами отличались постановки Валентинса Мацулевичса в 1990–91 годы в Валмиере и Риге. С успехом прошли в 1994 году гастроли петербургского театра.

Та же судьба ожидала и «Трех сестер» – бледная постановка в Новом Рижском театре в 1910 году и блестящий спектакль в театре «Дайлес» в 1951 и 1959 годах. Успехи Лилиты Берзини (Маша), Алмы Абеле (Ольга), Милды Клетнице (Ирина) поражали не только рижан, но и москвичей, куда театр отправился с гастролями.

«Лилита Берзиня в образе Маши, – писал Викторс Хаусманис,¹ – объединила женственную духовность Людмилы Шпильберги и эротическую женственность Лилии Штенгеле. Маша Лилиты Берзини излучала чистые краски женственности. В образе Маши она жила жизнью, направленной вовнутрь, все время была заключенной в себя, но жизненный процесс ни на мгновение не затихал. И только в дуэте с Вершининым шире раскрывался ее внутренний мир».

Спектакль «Дядя Ваня» в Новом Рижском театре в 1908 году дает основу говорить о первом успехе в освоении чеховской поэтики на этом раннем этапе.

В 1910 спектакль в Рижском русском театре был поставлен знаменитым А. Таировым и получил самую высокую оценку не только русских, но и латышских газет.

Как обычно, новые постановки – в Валмиере в 1954 году, в Национальном театре в 1969 получили высокую оценку критики равно как в 1990–1991 годах, когда заглавную роль исполнял Янис Самаускис.

Но кажется, самая завидная судьба ожидала чеховскую «Чайку». Увлечение этой пьесой и ее персонажами началось в 1898 году с гастролей Роксановой в роли Нины Заречной. Но первая удачная латышская постановка датируется 1954 годом, постановкой в Лиепайском театре Петериса Луциса, которая вызвала резонанс не только в Лиепаве.

Сценическая судьба «Чайки» даже сегодня, сквозь призму лет представляется счастливой. После премьеры спектакля в том же Новом Рижском театре (1909 год), роль Заречной исполняла Лилия Эрика, за пьесу эту принимались актеры в Лиепаве и Валке. В Чеховском 1954 году Лиепайский театр в постановке Николаяса Мурниек-

¹ Hausmanis V. Lilita Bērziņa – R.: Liesma, 1980. – 102. lpp.

са (Nikolajs Mūrnieks) снова ставит эту пьесу. Сочувственно отметила критика образы, созданные Анце Силновской (Шамраева), Ирмгардой Митревицей (Аркадина), Аркадийсом Фельдманисом (Arkādijs Feldmanis) (Тригорин), Алдисом Бриедисом (Сорин), Александрсом Майзуксом (Aleksandrs Maizuks) (Треплев), Зигридой Стунгуре.

Постановкой «Чайки» отметили столетний юбилей Чехова в 1960 году в Национальном театре. К лучшим ролям Лидии Фреймане, Юрииса Бебришса (Juris Bebrīšs), Велты Лине и Валдемарса Занцбергса (Valdemārs Zancbergs) критики единодушно относили роли Аркадиной, Треполева, Нины Заречной.

Такой признанный авторитет МХАТа как Петр Марков¹ расслышал в «Чайке» Карлиса Памше (Kārlis Pamše) переключку с чеховскими традициями Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Арвидс Григулис² и московский режиссер Ольга Рыжова³ отдали в своих рецензиях должное Лидии Фреймане и другим исполнителям заглавных ролей, приняли режиссерскую концепцию пьесы, вполне признали сценариста Арвидса Сперталса (Arvīds Spertāls). Говорили критики и о другом. О налете быта, подчеркнутым любованием деталями русской усадьбы конца прошлого века. Все это потеснило столь дорогой для Чехова социально-психологический план, сложность и красоту человеческих отношений.

Спектакль в театре «Дайлес» в 1976 году. Вия Артмане играла Аркадину, Карлис Аушкапс выступал в роли Треполева. Этим спектаклем театр показал, насколько актуальными для 70-х годов были социальные, нравственные, художественные искания автора «Чайки». Все говорило об остром зрительском интересе и напряженном поиске смысла бытия. И благородная мечта о счастье служить родному народу. И вера в очистительную силу любви и красоты. Своей «Чайкой» театр утверждал заветную для Чехова мысль:

¹ Markovs P. Kādas ir jūsu domas par «Kaijas» iestudējumu? (Каковы ваши мысли о постановке «Чайки»?). – Rīgas Balss, – 1960, – 4. janv.

² Grigulis A. A. Čehova «Kaija» («Чайка») Akadēmiskajā drāmas teātrī. – Rīgas Balss, – 1960, – 29. janv.

³ Рыжова О. «Холодный свет» – Театр, – 1961, – № 8, – с. 101.

стремление к маленькому личному счастью, которое оторвано от судьбы народной – такое счастье не возвышает человека.

Чеховская «Чайка» на сцене театра «Дайлес» вызвала поэтический отклик Мирдзы Кемпе (Mirdza Ķempe).

Раз видел он Чайку. Казалось,
ей на море стало вдруг тесно,
И птица сред туч заметалась,
о чем-то тревожно трубя.
Любовь человека, – спросил он, –
что гонит тебя в неизвестность?
Да, каждое сердце мечтает
подняться выше себя.
С вишневого сада неслышно
наряд опадает лебяжий,
И душу щемит этот медленный
дым угасанья цветов...
– Мечты человека, – спросил он, –
и вы отцветаете так же!
Светившийся лик стал задумчиво
и странно суров...
И так он смотрел постоянно
как море, был взор переменчив.
В улыбке и в боли умевший
истоки души находить...
Глаза, где сияет вся жизнь
в переливах ее бесконечных.
Дано человечеству счастье –
все видеть. И вечно любить.
(Перевод М. Скородумова)¹

В 1987–88 годах «Чайка» ставится снова в Лиепайском театре режиссером Алвисом Херманисом (Alvis Hermanis) и в Рижском кукольном театре в 1996 году.

¹ В архиве Б. Инфантьева.

И, наконец, в 2001-м Марой Кимеле (Māra Ķimele) в Валмиерском.

Актерская и режиссерская молодежь ищет новые пути доступа к Чехову. В 1995 году Лаурис Гундарс (Lauris Gundars) в Даугавпилсском театре ставит инсценировку чеховского рассказа «Поединок». В Национальном театре в 1996 году Эдмундс Фрейбергс (Edmunds Freibergs) выпускает «Пестрые рассказы» по мотивам рассказов Чехова. В Новом рижском театре в 1998 выходит спектакль-коллаж «43-я луна над горизонтом». Режиссер Алвис Херманис («43. mēness virs horizonta»).

Чехов продолжает жить не только на театральных подмостках, но и в латышской поэзии.

Имантс Зиедонис (Imants Ziedonis) в своем стихотворении вместе с Максимом Горьким приходят в дом Чехова в Ялте.

«К счастью Антон Павлович дома.
У него гости. / У камина пишет Левитан.
И как опьяненный вином звуков
Чайковский у пианино. / И Шаляпин,
Нас только шесть. / Больше никого.
Музей закрыт: сегодня выходной.
А Антон Павлович
Приносит с веранды книгу отзывов.
Читаем записи в прозе,
Читаем записи в стихах,
По-русски, по-китайски, на эсперанто.
На полках новинки на всех языках.
Перелистываем, изучаем тираж.»¹

Евгений Салиас (1841–1908)

Хорошо известен каламбур В. Ключевского о том, что русские писатели плохо знают историю, кроме Салиаса, который ее совсем не знает. На самом деле это далеко не так. По крайней мере его повесть «Фрейлина императрицы», впоследствии самим автором

¹ Ziedonis I. Es esmu Jaltā, meklēju Čehova muzeju (Я в Ялте, ищу музей Чехова). // Raksti. I s. Rīga: Nordik. – 1995. – с. 129–130 (подстрочник).

названная «Яункундзе»,¹ свидетельствует о другом. Повесть точно воспроизводит солидное исследование В. Михалевича «Семейство Скворонских»,² опубликованное в «Историческом вестнике» в 1885 году. С точностью воспроизводятся все имена и фамилии ближайших родственников императрицы Екатерины Алексеевны, в прошлом Марты Скворонской, их местожительство, род занятий и сословная принадлежность. Это Христина Енрихова Скворощанка (по отцу Самуилу Скворотскому или Скворощанскому, Скворонку, тож; мать звали Доротея, по девичеству Ган, рано умершая), старший брат Карлус, младший Дирих, средняя сестра Анна, замужем за холопом Якимовичем, младшая Марта. Маленькую девочку взяла тетка из Крейцбурга Веселовская (Василевская).

Местожительство Христины – деревня Кегем у пана-шляхтича Вульфеншильда. Муж родился его холопом. Христина стала такой после замужества. Имя мужа – Янка.

Старший брат Карлус – на большом тракте Псковском в постоянном дворе главным приказчиком, имеет большое жалованье – двадцать золотых в месяц получает. Крепостной, половину заработка отдает как оброк. Дочь София – «Яункундзе» (постоянный главный персонаж детской игры, принесенной из Польши) – в будущем фрейлина императрицы, затем графиня Сапега.

Анна – крепостная в Польских Инфлянтах у злючей и алчной пани, замужем за Михайлом Якимовичем. Барыню зовут – Ростовская, по мужу старостиха.

Такое подробное перечисление всех родственников связано с тем, что повесть Салиаса чуть ли не единственное в русской и латышской литературе художественное произведение, где происхождение императрицы Екатерины Алексеевны дается весьма правдоподобно, в то время как во всех латышских произведениях она – латышка, в русских – латышка только у Тынянова, во всех других

¹ Силиас Е. Яункундзе. // Собр. соч. Т. XI. – Москва: А. А. Карцев. – 1895. – С. 245–476; Рижское издание Дидковского – 1928 и 1994.; латышский перевод (сокращенный) Baltijas Vēstnesis. 1887. – №№ 122, 162

² Михалевич В. Семейство Скворонских. // Исторический вестник. – 1885. – Т. XIX. – С. 536 и след.; Т. X, с. 77–110.

ее национальность – довольно неопределенная, у Алексея Толстого – скорее немка.

Вообще следует сказать, что главная ценность рассматриваемого романа краеведческая. Хотя автор и пытался придать своему повествованию приключенческо-детективный характер, читается он с трудом, очевидно в связи с тем, что в детективных эпизодах – поисках с целью изоляции родственников императрицы – много повторений, одинаковых ситуаций. Именно поэтому латышский перевод и публикация повести в латышской печати дается в сокращении.

Латышские слова, бытовые зарисовки, правда весьма малочисленные (говью ганс – брутганс, описание детской игры «Яункундзе», «полтерабенд» – девичник), также особенности этой повести, свидетельствующие о желании автора приблизиться к латышскому быту.

Роман оставил, пусть и весьма незначительные, следы в латышской литературе. Реминисценции его находим в повести Пилсоню Екабса (Pilsonis Jēkabs) (1877–1966) «Prāvesta Glika audžu meita» «Воспитанница пастора Глюка» (1939).

Что же касается наследия Салиаса, то он к балтийской истории обращался неоднократно и в других своих романах и повестях: «Граф Татин Балтийский», «Философ» (немецкое семейство в Курляндии), «Ширь и мах» или «Миллион» (митавская Венера – баронесса фон дер Таль).

Константин Случевский (1837–1904)

Вельможа и ученый Константин Случевский как поэт принадлежит русско-эстонским литературным связям. Нас же он интересует преимущественно в краеведческом плане. А именно, в 1886 году он сопровождал высочайших особ в их путешествии по России, в том числе по Латвии – от Либавы до Виндавы, дальше к Митаве и Риге, дальше по Двине до ее верховий. И всюду он путешествие сопровождал на редкость эрудированными лекциями, которые потом печатались в «Московских ведомостях» и «Рижском вестнике»,

а позже были роскошно изданы с богатыми иллюстрациями в отдельной книге.¹

Географические сведения (количество населения каждой местности по национальным признакам, примечательные в хозяйственной жизни предприятия, экономика, торговля, управление) изрядно сдабриваются историческими сведениями, начиная уже с XIII века.

Особенно подробно останавливается Случевский на битве при Дурбе, которой он в своей книге посвящает несколько страниц.

«... поезд мчится вблизи одного из мест важного исторического значения, подле Дурбена, где произошла 13 июля 1260 года, шестьсот шесть лет назад, самая кровавая, самая важная битва в истории порабощения края немецкими рыцарями». (с. 74)

Последствиями дурбенской битвы Случевский объясняет превращение прежних деревень (которые, по его мнению, были такими же как в России) в хутора: вечно возмущавшийся народ был расселен по отдельным дворам, что «в смысле полицейского наблюдения за покоренными было тактически и стратегически очень правильно».

«К роковому дню дурбенского боя немецкими рыцарями было решено положить конец всяким мыслям о свободе со стороны поработанных народностей, роившихся особенно сильно именно в тех местах, по которым шел теперь поезд».

Целую страницу посвятил Случевский описанию всех тех эксплуатационных ухищрений, чтобы выжать из поработанных больше денег. Затем целая страница посвящена описанию самого боя.

«Когда начался знаменитый бой и грузные рыцарские кони под столь же грузными седоками вязли в трясилах, в самый разгар сечи кинулись на рыцарей с тылу возмущенные отказом их куроны, и целых восемь часов длилось поголовное избиение попавшего в западную рыцарства. [...] Конечно, хранят и до сегодня тинистые берега Дурбенского озера не одну броню, не один чеканный шлем немецкой силы почти поголовно истребленной. Не будь у нее тогда в запасе без малого всей католической Европы, движимой папой и

¹ По северо-западной России. // По западу России, Том III, Сиб.: А. Ф. Маркс. – [1897].

немедленно заместившей с избытком убитых, будь тогда чуть-чуть посильнее и посвободнее русская земля, – и судьбы Балтики вышли бы совсем другими. [...] Но память дурбенской битвы живет и будет жить в преданиях и легендах местных жителей, ожидая художника исторической живописи для ее воспроизведения». (По северо-западу России, с. 75)

Дурбенская битва отозвалась и в поэзии Случевского. В стихотворении «Всюду ходят привидения», рассказывая о борьбе с крестоносцами эстонцев, поэт вспомнил и битвы латышей:

«[...] Как под Дурбэном эстонцы
Не сдаются в плен живьем.
И, совсем не по уставам,
Варом льют и кипятком.»¹

По пути в Митаву и в самом городе осуществляется целый цикл лекций на уровне приключенческого романа о тщетных попытках Меньшикова стать курляндским герцогом и о приключениях Морица Саксонского. Рига же дает пищу не менее приключенчески-детективным описаниям борьбы рижского архиепископа вкупе с бюргерами против рыцарского ордена. В Риге, разумеется, чуть ли не каждое здание в старом городе дает пищу для разъяснений и последующих описаний.

«Дом Черноголовых существует с XIV века. «Шварцгейптеры» – «черноголовые» пережили много веков и были чем-то совершенно противоположным рыцарским союзам, составленным для... грабежа и носившим различные местные названия: «общество ящериц» в Лифляндии (с 1397 года), «подорожники» в Бранденбурге и многие другие. Черноголовые в Риге не раз проливали кровь в защиту своего очага, и вот причины того глубокого уважения, которым они пользовались. В городском соборе имели они свои почетные места с ратсгерами рядом, и имена их виднеются на седалищах и до настоящего времени». (с. 105–106)

¹ Случевский К. Стихотворения. Поэмы. Проза. – Москва: Современник. – 1988. – С. 153.

Не забывает Случевский и о латышах. Он знает даже такие тонкости, связанные с историей, такие детали латышского языка, что *Mihtava* – древнее латышское название города, перенятое также русскими – «место обмена: здесь, на пограничной реке Аа, в древние времена рижские купцы и приезжие литовцы обменивали свои товары на туземные».

В этой же Митаве Случевский приводит высочайших особ и на латышский праздник песни.

«В тот же самый день, оставаясь верным однажды утвержденной программе – оказывать равное внимание всем народностям, обитающим в балтийских губерниях, путешественники посетили так называемый Медемский сад, принадлежащий латышскому обществу, где прослушали исполнение нескольких хоровых песен. И тут, как при многих посещениях немецких учреждений, отсутствовал, например, городской голова, который в силу значения той цели, которую носит, обязательно должен был бы находиться налицо. Это отсутствие немецкого элемента в среде латышского общества не могло быть не замечено и должно было неминуемо войти в число тех впечатлений, которым предстояло определиться и обусловить некоторые общие выводы за все время пути. Это «отсутствие по народностям» свидетельствовало, несомненно, о существовании в крае глубокой укоренившейся и вовсе нежелательной розни». (с. 88–89)

Высочайшие особы познакомились с рижскими обществами, в том числе и латышским. «Рижское латышское общество, – рассказывает Случевский, – возникло еще в 1868 году. Стоит как бы во главе прочих латышских обществ, рассыпанных по городу и краю. У него две цели: благотворительная и распространение образования между латышами, в смысле сближения с русским народом, с русской жизнью. Общество обладает довольно значительными средствами, составившимися из разных вкладов: один завещал свой дом, другой 10 000 руб. деньгами и т. д.»

Не чужд Случевский и описанию моря в различные времена суток, море для россиянина весьма необычное:

«Море у Либавы никогда почти не бывает совершенно спокойно: на нем вечно несутся большие или меньшей высоты и силы волны, идущие в Юго-западном направлении. Волны эти отчасти пе-

ремещают подводный береговой песок по берегу с юга на север, отчасти приносят песок, доставляемый морю впадающими в него реками (Висла, Неман и др.), и складывают его в отмели и банки, которые угрожали совершенным обмелением Либавского коммерческого порта. Чтобы поставить преграду движению песков и избавить порт от угрожающего ему обмеления, начали строить южный коммерческий мол». (с. 70)

Константин Головин (1843–1913)

Константин Федорович Головин – петербургский высокого ранга чиновник, в 12 томах своих романов («Дядюшка Михаил Петрович», «Вне колеи», «Баловень счастья», «Язычники») выявлял симпатии к петрашевцам, уничтожающе критиковал петербургских вельмож, «кипящих в действии пустом» тугодумов, нравственные пороки сенаторов, высших чиновников, господствующую среди них семейственность, мздоимство, интриги, резко высмеивал петербургское высшее общество конца XIX начала XX века, безмозглых сенаторов-законодателей, нелепые законы.

Выйдя на пенсию, купил имение «Варве» неподалеку от Вентспилса и как остзейский помещик стал на явные позиции местных помещиков: в своих воспоминаниях высмеивал русификацию, неодобрительно относился к тесным связям Михаила Каткова с Кришьянисом Валдемарсом и Каспаром Биезбардисом.¹

Умер в 1914 году и похоронен на Вентспилском кладбище. Тамошний лютеранский пастор Теодорс Гринбергс (впоследствии лютеранский архиепископ) поставил ему небольшое надгробие с указанием дат рождения и смерти.

Всеволод Чешихин (1865–1934)²

Кажется, наибольшей удачей в исследовательской деятельности Сергея Журавлева, достойной докторской степени, является его публикация о взаимоотношениях Всеволода Чешихина, Виктора Адрианова и Рудолфа Блауманиса.

¹ Головин К. Мои воспоминания. Т. I. Сиб.: «Вольф», – 1910. – С. 171–178, 326–327.

² Источники: Русские писатели в Лифляндии и Курляндии, с. 194–235.

Выпускник юридического факультета Петербургского университета, с 1888 года – постоянный музыкальный рецензент «Рижского вестника». Это давало ему простор для творческой деятельности и как поэта, и как историка-этнографа, и литературоведа – литературного критика и переводчика.

В шкатулке его музыкальных критических произведений – статьи по истории музыки, либретто опер («Краткие либретто. Содержание 100 опер современного репертуара», включающие очерки истории оперного искусства и заметки о композиторах), монографии о Чайковском, русские версии вагнеровских опер «Тристан и Изольда», «Парсифаль»; опера Э. Мертке «Сатурнин Византийский»; заметки музыкального литератора; критические этюды; история русской оперы. Одновременно В. Чешихин сотрудничает и в петербургской, и московской печати, установил личные контакты с Н. Римским-Корсаковым, Н. Финдейзенем, С. Шубинским и другими известными музыковедами. Сам автор этих многочисленных трудов превосходно играл на фортепиано, сочинял музыку и даже написал оперу для детей.

По следам своего отца и брата Василия Всеволод Чешихин активно участвовал в русской общественной жизни, в течение ряда лет являлся ведущей фигурой и основным лектором основанного в 1874 году Русского литературного кружка. В 1899 г. вышла составленная им брошюра «Русский литературный кружок в г. Риге в первое 25-летие его существования», а в 1909 году – брошюра «Противоалкогольное движение в Прибалтийском крае».

Вторая шкатулка наследия В. Чешихина – его литературно-критические статьи. О ком только он не писал! Об Апухтине и Пушкине, Мицкевиче и Грибоедове, Лермонтове и Крылове, Майкове и Некрасове, Достоевском и Тургеневе, Толстом и Успенском. Целая литературоведческая энциклопедия! Заслуживает особого внимания книга «Жуковский как переводчик Шиллера» (Р. 1895), «Современное общество в произведениях Боборыкина и Чехова» (Одесса, 1899).

Третья шкатулка – стихи и поэмы В. Чешихина. В 1892 году увидела свет его поэма «Бетховен», тут же переведенная на немецкий язык В. Адрияновым. Далее следует сборник стихов 1887–1893 го-

дов и одноактная драма в стихах «Пушкин в селе Михайловском», а затем сборник «Стихотворений на случай» (1897–1989 гг.). Далее – драма в стихах «Наполеон», а в 1914 году приуроченные к событиям «Патриотические стихотворения». В следующем 1915 году В. Чешихин издает сборник русских и латышских авторов «Литераторы и художники воинам».

Четвертая шкатулка – переводы. Уже отмечались переводы вагнеровских оперных либретто. К ним присоединяются и литературные: «Голод» К. Гамсуна, «Девичьи грезы» А. де Мюссе, «Порция» – поэма того же автора, «Лорд Люцифер» Гамерлинга, избранные сочинения Г. де Мопассана.

Пятая шкатулка – чешихинская проза, – роман «Ближние и дальние», рассказ «Однолюб» (переведены на немецкий, французский и латышский языки), книга рассказов Чешихина в латышских переводах «Bez pamata» («Безосновательно»), опубликованные в печати многочисленные новеллы, очерки, рассказы, юморески, рецензии, публицистические и художественные критические статьи.

В отличие от славянофилов, идеологию которых разделял его отец, Всеволод Чешихин последовательно боролся за сближение русской, латышской и немецкой культуры на демократической основе. Характерно, что в начале века он чаще публикуется в газете «Прибалтийский край», нежели в более консервативном «Рижском вестнике». Эту свою концепцию он изложил в статье «Каким образом Рига должна чествовать Гердера».¹ В ней автор ратует за теснейшее сближение русской, латышской, немецкой культур.

Сходные идеи В. Чешихин под псевдонимом «Русский европеец» выражает в статье «Национализм прогрессивный и прогрессирующий» из той же газеты за 1905 год.

В контексте русско-латвийских (латышских и немецких) отношений недостаточно оценено значение статьи В. Чешихина «Прибалтийская поэзия. Гротгус. Балтийский сборник», опубликованной на немецком языке в Ревеле в 1894 году.² Русский автор дает

¹ Прибалтийский край, – 1903, – № 278.

² Статьи, опубликованные в «Рижском вестнике» на протяжении 1894 года.

оценку Рифмованной хронике, «Срамным песням», звучавшим на пирушках, творчеству рижского автора Буркарда Вальдиса (1490–1556), заключенного в Баусскую тюрьму; творчеству Кютнера (1749–1800), Ландрата Шлиппенбаха (1774–1826) – автора стихотворения «Курляндская крестьянская девушка в воскресенье поутру»; лирике Ленца (1751–1792), Петерсена (1775–1822). Из новых лириков упоминаются: Гротгус (1865), Будберг (1816–1858), барон Фиркс (1828–1871), Миквиц; известный исследователь индоевропейской культуры, профессор Юрьевского университета Шредер, пытавшийся поэтизировать местные народные сказания (эпос эстов).

Выводы Вс. Чехихина: «Итак, прибалтийская поэзия не лишена талантов». И конечно, настанет время, когда право называться «прибалтийской поэзией» приобретает и русская поэзия; возможно, что это время не так далеко, как это на первый взгляд кажется».

Василий Чехихин-Ветринский (1867–1923)¹

К сожалению, достойной оценки ни современников, ни в наши дни не получила книга Василия Чехихина «Среди латышей» (Москва, Дороватовский-Чарушинков, 1901) – «первая попытка дать русскому читателю представление об историческом развитии и современном положении коренного населения латышского края» (С. Журавлев).

Этнографическое описание латыша С. Журавлев называет несколько курьезным в конце века:

«Латыш – среднего роста, или выше среднего, сильного и красивого сложения, цвет кожи – белый, волосы на голове гладкие, большею частью русые (рыжих и черных почти не встречается), глаза серые, серо-голубые, редко карие. Бороду обыкновенно бреют. Одежду носят из серого или темного домашнего сукна, но покрой ее уже большею частью городской: городская куртка и жилет у мужчины во многих местах вытеснили совершенно старинный крестьянский латышский наряд – кафтан. В праздник, особенно в подгородних местах нарядные латыши и латышки – крестьяне, особенно из молодежи, уже ничем не отличаются от городских жителей.»

¹ Источники: Русские писатели в Лифляндии и Курляндии, с. 227–239.

Характерная тенденция для края, который по общей грамотности опередил всю Россию, что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой и другие великие имена, гордость и слава русской литературы, по какой-то насмешке судьбы становятся известны и дороги по переводам латышам-крестьянам раньше, чем о них слышали что-либо миллионы русских крестьян.

По-меркелевски звучит описание тяжелой жизни латышского крепостного:

«Нескончаемая барщина, которую работал латыш; курная изба, в которой он жил, псушной хлеб (часто пополам даже не с мякиной, а с папоротником); кислая путра (варево из кислого молока с крупью, заготавливавшееся в страду на неделю), которыми он питался круглый год, грубое суеверие и невежество латышей – все это по своей повседневности, еще долго даже не останавливало на себе внимания».

В главе V (театр и песни) – «в возвышенной интонации» (С. Ж.) – о народной песне: «Под песню спорился труд латыша, в ней же он отводил душу в те долгие годы тяжелого труда и унижения, когда самое слово латыш было почти бранным (у остзейцев – С. Ж.). Бесхитростная и безыскусственная латышская песня, сложенная неизвестными песнеслагателями в давнишние времена, держалась в памяти народа красотой своего склада, тем, что легко ложилась в память, что вполне выражала старую жизнь латыша.

Латышская песня была спасена от забвения; слова и напевы закрепились на бумаге. Вообще всюду, с распространением грамотности и книг и когда меняется строй жизни населения, старинной народной песне грозит подобная опасность.

Напевы большей части латышских песен несколько однообразны, тягучи и тоскливы и напоминают слегка русскую заунывную песню. Если вспомнить, что только ни пришлось вынести латышам, это не покажется удивительным. Более жизнерадостны те латышские песни, в которых народ забывал о своем подневольном положении, в песнях любовных, свадебных, обрядовых (сопровождаящих праздники), в песнях, где он изливал чувства, навеянные летним привольем и всем, что помогало ему легче нести свое бремя».

Василию Чехихину принадлежит также авторство книг о русских писателях – Никитине, Тургеневе, Гоголе, Кольцове, Некрасове, Белинском, Пушкине.

За участие в народнических кружках он был выслан в Ригу, где активно включился в работу Русского литературного кружка, читал лекции, часто печатался.

С 1896–1899 – в Вятской губернии, затем в Нижнем Новгороде. В 1908 году в Петербурге вышла его монография о Герцене. Написал ряд глав в монументальной Истории русской литературы Д. Овсяникова-Куликовского и издал монографии о Чернышевском и Успенском.

На пути к революции 1905 года

Михаил Пришвин (1873–1954)¹

Поступательный ход к революции 1905 года в Латвии открывает Михаил Пришвин, тот самый Михаил Пришвин, о котором одна учительница русской литературы в V или в VI классе начала изучение темы «Михаил Пришвин» словами: «Михаил Пришвин в революционной борьбе никогда не участвовал».

Как так! И это сказано в Риге, где именно Михаил Пришвин был зачинателем революционной борьбы, причем на крайнем – марксистском крыле, руководивший рабочими марксистскими кружками.

Тоже из школьной практики. Латышские рижские школьники ездили специально в Лиепая – совершали экскурсию в ту тюрьму, тот каземат, где томился Райнис после того, как его арестовали в 1896 году в Паневежисе. А вот о рижских русских школьниках что-то не было слышно, чтобы они ездили тут же неподалеку в Елгаву, с экскурсией в ту тюрьму, тот каземат, где целый год в одиночной камере томился Михаил Пришвин.

Арестован русский будущий писатель был в том же 1896 году, и самое поразительное – за то же самое, за что был арестован

¹ Источники: Русские писатели в Лифляндии и Курляндии, с. 236–241.

Райнис. За перевод с немецкого на русский (а Райнис перевел на латышский) труда Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» и книги Августа Бебеля «Женщина и социализм». И Энгельс и Бебель были великими сторонниками эмансипации женщин. Этой же идеей увлекся Пришвин, активно распространяя её среди рабочих, которые ради раскрепощения женщин в один прекрасный день разгромили все публичные дома в Риге.

О всех деталях революционной деятельности Михаила Пришвина стало хорошо известно уже в 70-е годы XX века из обстоятельной статьи Ф. Леонидова «Пришвин в Латвии»¹ и последующих публикаций об обнаруженной нелегальной революционной литературе в тайниках главного здания университета, в прошлом Политехнического института.

Но еще больше преданий (побывальщин, анекдотов) о том же Пришвине, о том, как он познакомился с вождем рижского марксистского подполья В. Ульрихом. Долго начинающему марксисту-студенту доступ к вождю был по конспиративным причинам заказан. Но однажды на взморье, по одной версии ранней весной, когда лед на водной поверхности еще не растаял,² по другим версиям в жаркий солнечный день, когда юноша пошел купаться и стал тонуть, – он, после того как пришел в себя, оказался именно в доме того самого Ульриха, встречи с которым так страстно добивался.

И еще одно отличие от Райниса – Пришвин весь свой путь в революцию, арест, допросы, «квазипутешествия» в одиночной камере (чтобы не сойти с ума от тоски и одиночества), наконец освобождение, ярко и эмоционально изложил на 300 страницах в автобиографическом романе «Кашеева цепь»³ – в главах: «Бой», «Акушеры», «Пламенный прозелит», «Клавесины», «Цвет и крест», «Птица в клетке», «Будто путешественник», «Расстрел васильков», «Фомка», «На волю», «Рижское дело».

Остается выписать из романа несколько на наш взгляд более эффектных эпизодов.

¹ Ригас Балс, 1973, 3 февр.

² Ješins N. Mihails Prišvins Latvijā. – Сīņa, – 1963, – № 29.

³ Кашеева цепь. // Собр. соч. Т. 2. – Москва: Худ. лит., – 1982.

Размышление об Энгельсе и Дюринге

«Так идет Миша по большаку и не любит переменной цветов на земле и на небе, далью бескрайных полей, заволоченных фиолетовой дымкой. Только иногда отрывается от своих дум, чтобы удивиться огромному красноглиняному оврагу на черной земле и что там на дне его все еще зеленеет, лежа с обнаженными корнями, поврежденная весенней водой лозинка. Тогда вместе с жалостью к несчастному дереву и к этой прекрасной земле, изуродованной непреходимыми оврагами, является и еще такое сиротливое чувство конца, и потом щемящая серая дума о невозможности все так оставить, как есть, и на этом устраивать свою жизнь. После того вдруг обрывается всякая связь с этой землей, и перекидывается мост в общее дело и в этот такой волнующий спор Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Он перебирает в памяти все возражения Энгельса против скачка не потому, что ему не хочется его, напротив, ожидаемая мировая катастрофа и есть этот самый желанный скачок, но, по Энгельсу, он будет уже непременно, запомнил, а у Дюринга скачок субъективный, вроде того, как он сам в детстве тоже хотел ускакать в забытую страну и потом пришлось учиться в гимназии. Мало ли есть на свете забытых стран. Мечта была верная, а подход неправильный, субъективный. Вот и надо теперь помнить, чтобы на этот раз уж не ускользнула золотым сновидением железная страна». (с. 206–207)

Рисование словами

«А еще Миша во время всех этих дум занимается помимо своей воли и всякого отчета очень странным способом рисования без бумаги и карандаша. Рисует он про себя все что только попадает на глаза, и это рисование у него кончается находкой слова, отвечающего самой сущности рисуемого лица или вещи, после чего найденное неизвестно для чего складывается куда-то и остается там навсегда. Особенно усиленно он рисует, когда встречается ему пред самым городом обоз. Вот мелькнул парень такой глазастый, такой до неприятности открытый, будто не парень сидит, а гусь. На гуся льют воду, и ему все как с гуся вода. Едет мужик Лапень – рогожа и все кричит:

«Туды, не туды!» Едет рыжий с трехгранной головой Сколок. А потом черный, глаз строгий, сам не дрогнет, а глаз провожает, и он уже давно проехал, а все кажется, будто глаз и сзади глядит. Так весь обоз зачем-то нарисовался и сложился, а когда Миша вступил в слободу, навстречу ему шел человек в картузе на затылке, из кармана торчит бутылка, а глазенки его рисовались такими словами: «Ну, дурак, нарисовал мужиков, и нет ничего, потому что ты сволочь, и я тебя вижу насквозь как ты мужиков: самая последняя ты сволочь и шут с вами со всеми, и нет ничего и никаких». (с. 207)

Цвет и крест

«Теперь он смотрит на крест тюремной церкви: когда первый луч солнца позолотит крест, часовой непременно задержится на той стороне, какой же человек не остановится взглянуть на восходящее солнце?

Цвет неба меняется с голубого на красный, крест неподвижный и темный.

Вот и опять явилась на память недоконченная дума о той молитве, где страдающий Бог выпрашивает себе у старшего Бога кусочек маленького человеческого счастья: «Да минует меня чаша сия!»

И чудится юноше, будто из прекрасной Италии возвращается на родину светлый странник. С волшебной палочкой управляет переменной цвета на небе и на земле, шепчет ему:

«Земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду по лугу, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью и что весна – это главное из-за чего живут на земле люди. Цвет – это главное, это явное, это – день, а крест – одинокая ночь, зима жизни. Я – художник и служу тому, кто украшает мир, тому, что сам страдающий Бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста».

Вот какой шепот бывает в цветах неба при восходе солнца, иным более понятный, чем речь человека.

Но прощайте, небесные цветы: крест засверкал! Каким-то недобрым усилием сжимает в себе Миша Алпатов сердце. Крест заиграл.

Часовой уходит и не показывается. Алпатов встает и скачками бежит к тюрьме». (с. 213)

Сергей Сергеев-Ценский (1875–1958)

Один из весьма популярных персонажей латышских анекдотов-сатир – учитель-обруситель; они приезжали в Прибалтику, чтобы вытеснить учителей-латышей, заступить их место. Один из наиболее типичных представителей этого ненавистного латышам сословия – учитель Смирнов из Казани, выведенный в повести Павилса Розитиса «Валмиерские парни» (Pāvils Rozītis «Valmieras puikas»), давший пищу для сатиры в кинокартине.

Но были и многочисленные исключения, когда эти «злостные» обрусители прививали своим воспитанникам любовь не только к русской литературе, но и к литературе вообще.

По счастливому стечению обстоятельств, в 50-е годы XX века в Риге еще здравствовали и поэт Готфрид Ансабергс (Godfrīds Ansabergs) (1871–1955) и литературовед-библиограф Карлис Эгле (Kārlis Egle) (1887–1974), до конца своей жизни сохранявшие светлую память о своем учителе русского языка и литературы в Талси. В возникшей переписке с прославленным уже автором «Брусиловского прорыва» (переведен на латышский язык в 1945) и «Севастопольской страды» (1956) ученики Сергеева-Ценского вспомнили, как они под руководством своего молодого учителя ставили «Ревизора»: никто из мальчиков не хотел исполнять женские роли, пока одну из этих ролей не взял на себя сам учитель.

Но и в памяти самого учителя непродолжительное пребывание в Талси и в мызе «Анненгоф» оставило неизгладимое впечатление. Уже давно покинув Прибалтику, такую неблагодарную по отношению к России, и возвратившись в родные, русские земли, начинающий прозаик все же забыть Талси и Анненгоф никак не может. В 1912 читателей и литературных критиков поражает повесть «Движения»,¹ названная автором «поэмой» (действительно, в ней так много стихотворений в прозе!), что рецензенты объявляют это произведение лучшим достижением 1912 года во всей русской ли-

¹ Собр. соч. Т. 2. – Москва: Правда. – 1967. – с. 15–126.

тературе, которая вправе гордиться несчетными именами великих писателей.

Поэма – воспоминания об Анненгофе, о тех новых удивительных впечатлениях, с которыми встретился здесь будущий знаменитый писатель, с ее удивительной неповторимой природой.

«Вокруг имения и дальше на версты, на десятки верст кругом стояла эта странная, может быть даже и страшная, мягкая во всех своих изгибах, иссиня-темнозеленая, густо пахнувшая смолою, терпкая, хвойная тишина. На севере было ветреное море и холодные озера, на юге – бесконечные, всюду заселенные поля, а здесь тихо перепархивали по опушкам стаи куропаток, краснобровые тетерева мостились на голых сучьях, легко прыгали, нюхая воздух крысиными мордочками, белки, и кое-где въелись в темнозеленое, как ржавые пятна, имения, мызы, лесопильни. Но стук топоров, шипенье и фуканье лесопилок и негромкие, неторопливые звуки усадьбы жизни как-то неглубоко вонзались в вязкую тишину леса и застревали в ней». (с. 15)

Лесная тишина, кондовые столетние ели и сосны – основная тема сергеево-ценской поэзии, к которой он обращается в своем повествовании неоднократно. Зоркий глаз мастера слова подметил все тонкие нюансы, все отличия этой лесной тишины в разное время года, в разное время суток, в разных условиях погоды.

«Тишина. Октябрь. Анненгоф.

Беззвучно падали иглы с елей и сосен, устилая землю мягко, как церковь коврами. В синих парных туманах таяли колонны стволов. Небу зажгли зеленые свечи сосны, ели – земле, и вверх и вниз курили смолою. Разбежались около усадьбы огороды из подстриженного бобриком боярышника – подцветили зеленое вишнево-красным; важно прошлись кое-где старые липы аллеями вдоль дорог, дали влажные серые полосы. Столетние рябины расширились во все стороны круглыми кронами неумеренно густо, как старые цыганки, обвесились червонными монистами никому не нужных ягод. Еще достаивали в садах на мызах зимние яблоки, зеленые, как мертвецы, твердые, без запаха и вкуса, среди редких багровых листьев, и листья ждали уже малейшего ветра, чтобы оторваться и упасть,

но ветра не было. И березы реяли в тумане, голые, нежные, дымчато-кружевные». (с. 50)

Наступил ноябрь, затем декабрь. Зима вступила в свои полные права.

«Снег начал падать и падал крупными хлопьями уверенно и спокойно. В лесу стало глубоко, светло и чисто. Следы заячьих прыжков засинели извилистыми цепочками на торопливо спаянных косых треугольниках, и густо, и повсюду, точно нарочно, по ночам устраивали косоглазые какие-то свои путаные скачки с призами. Низы молодых яблонь и слив в саду обвязали от них колючим можжевельником; охотились на них, ставили хитрые капканы. Зато для белок повесили на высокой лиственнице возле дома две скворечницы, и в одной действительно поселилась пара белок, – суетились, прыгали, распуская хвосты, как зонтики, шелушили шишки и стрекотали по-сорочьи. Глухари придвинулись ближе к усадьбе. Мызники на лохматых лошадях чаще стали ездить друг к другу в гости, пили пиво и по обычаю платили хозяину за каждый стакан». (с. 53–54)

Так о природе, а о людях?

О людях С. Сергеев-Ценский ничего нового придумать не мог. Он исповедует и строго держится горьковской концепции «артамоновского» пути: старшее поколение – накопители, младшее – расточители, и никакого смысла нет в капиталистическом накоплении. Главный герой произведения – Антон Антоныч – украинский поляк, неудачно испробовавший там у себя на родине процесс накопительства, здесь в Анинмуйже развернулся во всю мощь своего характера. Вот как он радуется и хвастается приобретенным им именем – Анненгофом:

«– Две тысячи триста десятин, – или больше или меньше, как говорится, – две тысячи триста, а?.. Подумайте!.. Лес! Такой лес, что аж-аж-аж! Сосны и елки, и сосны и елки – как одна! Такие ровные, как о-дна! Как, как свечи, верите ли! Мачтовый лес!.. Восемнадцать тысяч в год дает лесопилка, как сказать – контракт на три года: пятьдесят четыре тысячи есть! В кармане!..» (с. 20)

И далее:

«Добрейший мой – только од четверти в отрубe, од четверти! Од чет-вер-ти, – не весь, нет! О-о, это шельмовство бы было, как сказать, если бы весь!.. Вот... Двадцать две фермы в аренде – девять тысяч доходу... ежегодно... Пруды з рыбой!.. Два пруда рядом, как сказать, возле – возле дому, один в лесу... Дом баронский – роскошь! Эт-то роскошь, та роскошь, я вам говорю! Громаднейший замок, грандизный... Два этакие, башня – гранит, чистый гранит, и никакого веку не будет, и ни-ни-ни-ни!.. Постройки какие, – вот я вам скажу, – э-э... Немцы-то народ не глупый, не-ет! Немцы – это первоклассный народ, клянуся вам Богом!»

«– Как же, и обезьяну выдумали», – вставил в разговор собеседник.

«– Образцовое хозяйство, – как сказать, – образец та образец!.. Шо там обезьяна! – Ерун-да-а?.. Шестьдесят семь дойных коров, племенных, как сказать, голландских, короткошерстных – шутка?! Вот живой инвентарь, как сказать, га?! Рабочих лошадей – тридцать пять: здоровы, кормлены, не биты... а? – Вот то хозяйство.»

«– Стоят – даром овес едят», – опять вставил собеседник.

«– О-о, не даром! Поверьте, добрейший, не даром! Как можно, та как можно!.. А бревна на лесопилку возить, как сказать? А доски на станцию? На бумажную фабрику обрезки – шести футовки, как сказать, – еловы? На моих лошадях, голубчик, возят...» (с. 20–21)

Речь эта примечательна не только своим содержанием, но и формой; как типичное отображение русской речи украинского поляка.

Так же мастерски воспроизводится русская речь латыша – учителя Тифенталя, единственного друга и собеседника Антон Антоныча в Анненгофе. Ведь латыши – рабочие на лесозаготовках и в лесопильне – «крепкотелые, голубоглазые, спорые в работе молодцы с добродушными улыбками на румяных лицах» по-русски не говорили. Сам же Антон Антоныч латышский язык воспринимает так: «Ферма такая то... Ну, латыши там все: Силкалн, Озолин, Стуцка – язык зломишь.»

Старому Тифенталю – школьному учителю, как своему коллеге автор повести явно симпатизирует:

«Школа его близко от усадьбы, деревянный домик в пять окошек, около – куча дров, три улья, на зиму укутанные щитами из соломы, и какие-то тонкие деревца на кольях.

У старика Тифенталя – широкая, прочная как ломовые сани, сутулая спина, но ноги уже не доверяют пространству: жмутся близко одна к другой и при каждом шаге шмурыгают, шупая землю. Бородатое лобастое лицо в бурых морщинах, но раскосые глаза из-под синих очков глядят лукаво и затаенно проказливо, как у ребят. На нем зеленое от старости пальто с хлястиком, шапка с ушами». Всю жизнь мечтал старый учитель о приобретении фортепиано, всю жизнь копил для этого копейки, но так свою мечту не осуществил. А у Антон Антоныча в доме роскошная рояль. Это-то и привлекает Тифенталя в дом его друга и единственного собеседника. (с. 82–83)

Вот Антон Антоныч в школе своего единственного друга «в тесной комнате, где пахнет скипидаром от ломоты, гвоздикой от зубов, где в шкафу с разбитым стеклом торчат потрепанные книжонки; на большой некрашеной деревянной кровати – грязное ситцевое одеяло; в углу – бутылка с керосином, на окне – маленький глобус, похожий на яблоко – антоновку».

Как говорилось, автор мастерски подметил типичные ошибки русской речи латышей:

«– Во-от на подводу сел-то, на гвоздь, р-р-р... ну-у, зашил с иголкой...»

«– Э-э, нет-то... Елка – это фамильярное дело-то...»

Какое ответственное задание было бы местным школьникам-краоведам собрать сведения, фотографии, воспоминания об Анненгофе, Тифентале, Антон Антоныче. Талсинские и окрестные старожилы возможно что-то сохранили в своей памяти.

Повесть Сергеева-Ценского «Жестокость» написана уже много-много лет спустя, в 26-м году и посвящена жестокой расправе белогвардейцев с бакинскими комиссарами. Один из комиссаров был латышом из Талси. Это обстоятельство дает возможность писателю вспомнить свои юные годы, свою жизнь в этом северо-западном городке много, много лет тому назад.

Герой повествования учился в Тальсене, жил на квартире у фрау Шмидт (там же жил и автор повести, Б. И.), неизменно кормившей его вкусной и сытной рыбой – штремлингами, и супом из телячьих костей, за что отец, опять уже взявший в аренду мызу в приходе пастора Рысиня, привозил ей масло, кур и ржаной муки.

«Была какая-то торжественность во всем укладе этого маленького заштатного городка, где все улицы были чистенько мощены, все дома с мезонинами и под черепицей, в чинном немецком стиле; где по одной стороне улицы гуляли девицы, а по другой молодые люди, и если появлялась какая-нибудь парочка, то все знали, что это – жених и невеста... Где вывески были или строго немецкие, или мило-латышские, и только две были по-русски: на воротах постоянного двора охрой по белому было наляпано на одной половине «ночь», на другой – «лех», что вместе означало «ночлег», да под одной грязной бакалейной лавчонкой на окраине было начертано: «Продажа овец, дехтя, керосину и продчих лакомств.»

И в училище, где преподавали по-русски, псалом перед учением пели хором под руководством пастора Казина, так как все были протестанты».

Отображение в повести событий Пятого года, боев лесных братьев и дальнейшее – известно автору понаслышке, и представляет интерес лишь постольку, поскольку свидетельствует о том бережном отношении к талсинским воспоминаниям, которые хранил знаменитый русский писатель всю свою жизнь.

Леонид Андреев (1871–1918)¹

Сергеев-Ценский и Леонид Андреев вступили на землю латышской в один и тот же 1901 год, один – работать, второй – «отдыхать». Хотя в дальнейшем пути обоих писателей идейно и творчески разошлись, но тогда у них оказалось одно общее: обоих восхищала латвийская природа – Сергеева-Ценского столетние сосны и ели, Андреева – тысячелетние волны Балтийского моря.

Как уже говорилось, Андреева поразило Рижское море. Так же как Сергеев-Ценский свои сосны и ели, Андреев подвергает мор-

¹ Гайлит Г., Дименштейн И. Леонид Андреев о Рижском взморье. – Даугава, – 1981, – № 10, – с. 114–117.

ские волны своему поэтическому отображению в разное время суток, в разную погоду.

*Море утром*¹

«Небо было безоблачно и синело той нежной матовой синевой, что не утомляет глаза и позволяет долго-долго смотреть вверх. Нежно-лазурным, чуть-чуть потемнее неба, было и море, еще тихое, еще спокойное и ленивое, точно не совсем проснувшееся от крепкого ночного сна. На всей его безбрежной поверхности не видно было ни одной высокой волны, ни одного пенистого гребня, – но у самого берега один за другим, быстро и плавно, шли красиво изогнутые, с лебединой шеей валы с пушистой снежнобелой верхушкой. Они шли быстрые и легкие, и неуловимо для глаза таяли в синеве моря, а за ними веселыми и стройными рядами стремились уже новые, и так без конца. И все побережье, куда хватал только взор, было окаймлено этими пушистыми, белыми полосами, стремительными и плавными, и сильными. А само побережье, со своим горящим под солнцем песком, было так же празднично и весело, как море и небо; и гармонический шум тающих волн казался праздничной музыкой. Пахло водорослями и морем, и черт знает еще чем пахло, но только очень хорошим, очень свежим и тоже веселым – чуть ли не самим небом, из прозрачной глубины которого этот легкий, ласковый и ароматный ветерок». (с. 243)

Днем

«Картина моря уже резко и сильно изменилась. Исчезла утренняя нежность и прозрачность воздушной перспективы; краски помутнели, потяжелели, линии и контуры стали резче и определеннее. На небесной синеве протянулись нити и хлопья высохших сухих облаков, и под этим, потерявшим чистоту небом тяжелой массой лежал низкий берег, явственно вырисовываясь каждым своим деревом,

¹ Карклинь-Гофт Ирина, «Купались мы в Карлсбаде, против нашей дачи» – СМ Сегодня, – 1994, – №№ 23–24.

Андреев Л. Полное собр. соч. Т.VI, – Спб: А. Ф. Маркс, – 1915, – с. 235–248.

каждым своим песчаным выступом. И такой же тяжелой массой море, потемневшее, ставшее серьезным, строгим и величавым. До самой линии горизонта, теперь резко обозначенной, словно высеченной из синего мрамора, оно бороздилось ямами и буграми и, как белые огоньки, вспыхивали на всем его просторе и мгновенно погасали пушистые гребни волн. Сильнее пахло разлагающимися водорослями – этим здоровым зловонием моря, по выражению Гюго, – и как паутина развевались под ровным напором ветра рыбацкие сети, вывешенные для просушки. Было безлюдно и жарко». (с. 244)

Но дальше в изображении людей Леонид Андреев существенно отличается от Сергеева-Ценского. Для Андреева это не безмолвная масса, с которой и поговорить не о чем. В его интерпретации «латыш скромн и молчалив. Молча развозит он молоко; с трубочкой в зубах, выдвигает он в море лодку и отправляется на свой опасный промысел; молча покачивается он, нагружившись казенной водкой и пивом, и его бритое желто-серое лицо угрюмо и тупо. Видимо, не дает ему радости водка, а дает все тот же тяжелый и мрачный угар. Вот все так же молча и тупо подходит он, качаясь, к страховому киоску и с тупой яростью начинает разбивать его стеклянные стенки; за что? А разве сам он знает, за что? Вон бежит городской, за ним другой. В участке разберут». (с. 245)

Так провидел Леонид Андреев грозный размах жестокостей и насилий грядущего Пятого года.

Но кое-что хорошее, именно «кое-что» (в отличие от грядущего через три года Горького), может сообщить Леонид Андреев в своих фельетонах «Путевые впечатления – Рига – Балтийское море».

«По отзывам местной прессы, среди этого маленького народа замечается в последнее время некоторый подъем. Пробуждается и интерес к национальной литературе и к национальной песне; неведомые остальному миру, но глубоко чтимые поэты сочиняют героические поэмы о героях-латышах, переводят на родной язык корифеев европейской литературы и всячески стараются раздуть тухнувший огонек национального самосознания. А не менее чтимая русская водка и немецкое пиво делают свое дело». (с. 245)

На самом деле действительность и по отношению к Леониду Андрееву была не такой трагичной, как он здесь изобразил, видя всюду и всегда только страшные, отрицательные явления.

Как выяснили исследователи контактов Л. Андреева с Латвией Гайлит и Диментштейн, добрые отношения у русского писателя и драматурга сложились с Янсонсом-Браунсом. Публицист и литературный критик спешил рассказать латышским читателям газеты «Karogs», журнала «Izglītība» о новой звезде на русском литературном небосклоне. И это в то время, когда «Рижский вестник», упоминая о рассказах и пьесах Леонида Андреева, отзывается весьма критически.

Среди переводчиков новой «звезды» значились такие мастера латышского слова как Эрнестс Бирзниекс-Упитис, Антонс Аустриньш, Эдуардс Вульфс. Многие рассказы переводились по нескольку раз, например, «В тумане» – пять раз, по четыре раза «Ангелочки», «Молчание», «Марсельеза», по три – «Петька на даче», «Стена», «Смех», «Книга», «Кусака», «Бездна». И не знала Латвия до той поры подобной литературной ситуации: рассказы «Молчание», «Иуда Искарот», «Смех», «Ложь», «Так было» печатались одновременно в разных переводах и разных изданиях. Случалось, латышские аналоги русского текста по времени выхода в свет опережали петербургские и московские публикации и воссоздавались по русским рукописям.

Не будет преувеличением сказать: аналитические статьи Я. Янсонса-Браунса сопутствовали Леониду Андрееву от первых его опытов в прозе и драматургии, в чем-то еще близкие поздним народническим установкам, до тех последних произведений, в которых революционные поветрия сменились настроениями разочарованности, неверия, тоски. И тем не менее – и в этом отличие янсонсовских статей от суждений Горького, Воровского, идеолога коммунизма Яниса Берзиньша-Зиемелиса (Jānis Berziņš-Ziemelis), – наследие Леонида Андреева воздавалось должное с общечеловеческих, нейтральных позиций, и сам художник провозглашался звездой первой величины. Отход Леонида Андреева от революции 1905–1907 годов, – разъяснял свою позицию латышский критик, – вовсе не озна-

чает отчуждения от ожиданий и надежд народных. Чтобы убедиться в справедливости такого суждения, латышский критик советует заглянуть в «Рассказ о семи повешенных». Откуда такое странное название? Авторское разъяснение:¹ «Я только что отошел от новой работы, которая меня измучила. Я написал «Рассказ о семи повешенных». Как догадываетесь, это совсем на близкие нам темы. Я вдумываюсь в психологию семерых, обреченных на смертную казнь, из тех, о которых мы каждый день утром читаем в газетах: «Семеро приговорены в Риге», «четыре в Ревеле».

Еще более преданных поклонников автор «Жизни человека» и «Анатэмы» нашел в театральных залах и клубах Риги, Либавы, Двинска, многих, многих городов и поселений в сельской местности Латвии.

...1938 год. В бенефисе актеров Татьяны Ратгауз и Владимира Клименко на рижской сцене русского театра давали «Дни нашей жизни».

«За три десятилетия, – читаем в «Сегодня» от 14 мая, – не канула в Лету, не стала достоянием истории театра. Роли большого наполнения Оль-Оль и студента Глуховцева нашли достойных исполнителей. Зрители приняли Татьяну Ратгауз, поверили, насколько трудно ее героине вырваться из ямы, разорвать тенета оскорбительного ее бытия. Женщина улицы Оль-Оль давно обожгла крылья. Потеряла надежды. Последний лучик в безысходных ее днях – студент Глуховцев, чистое, безотчетное его чувство. Исполнительницу Оль-Оль, по мысли автора газеты, поджидают сложности, и немалые. Легко впасть в откровенный натурализм, придать трагическому образу мелодраматическое звучание. Иные исполнительницы роли Оль-Оль навязчиво подчеркивают разочарование, безысходность. Татьяна Ратгауз эти и другие подводные течения счастливо преодолевает. И Оль-Оль, и Глуховцев, – подчеркивает рецензент газеты «Сегодня», – не могут одолеть многоликую пошлость. Зал поверил им, артистам, передающим растерянность, бессилие, внутреннюю осмысленность.»

¹ Измайлов А. Литературный олимп. – Москва: Н. Д. Ситин. – 1911, – с. 285.

Этот спектакль достойно венчал долгую сценическую жизнь «Дней нашей жизни» в Латвии. В комплектах газет первых десятилетий нашего века встречаем упоминания о постановках этой пьесы. По рецензиям и откликам можно составить представление о спектаклях в Новом рижском и Лиепайском латышском театрах. Труппы эти гастролируют в Елгаве и Салдусе, Джуксте и Пенкуле, Свитене и Вецпиебалге, Айзпите и Вентспилсе. Сводная афиша «Дней нашей жизни» в Латвии окажется неполной без постановок силами артистов-любителей на рубеже десятых – двадцатых годов. Это самодеятельные коллективы при обществе взаимного кредита в Торнякалнсе, Вентспилсе, Скривери; при культурно-просветительных обществах в Слоке и Стренчи, Гростоне и Мазсалаце, Сигулде и Екабпилсе, Страупе, Руене и Эргли; при библиотечных и хоровых обществах в Митаве и Огре, Кокнесе и Галгауске, Дундаге, Алсунге и Лимбажи; при ремесленных и сельскохозяйственных обществах в Елгаве и Лаудоне. К этому можно добавить: если нанести на карту все те города и веси, жители которых видели латышские постановки самой знаменитой андреевской пьесы, среди них окажутся Бостон, Чикаго и Петербург, Ревель и Харьков.

Одним словом, все те местности, где ставились пьесы Чехова, будут ставиться пьесы Горького и несколькими годами позже юморески Аверченко.

Андреевский репертуар включал и другие пьесы. По числу постановок и рецензий «Дням нашей жизни» немногим уступали «Анатэма», «Анфиса», «Судьба человека». Бывало и так: одновременно пьеса ставилась и на латышской, и на русской сценах. Так произошло, к примеру, в Либаве, где «Анфису» в один и тот же вечер давали и на языке подлинника, и в переводе. На андреевские вечера откликались рецензенты Янис Гротс и Павилс Розитис, Эдуардс Вульфс, Харальдс Эльдгастс и Андрейс Упитс. И о русских, и о латышских спектаклях своих читателей систематически информировали и немецкие газеты.

В начале 20-х годов XX века и в Риге, и в Лиепаве широко распространились «литературные суды» над персонажами пьес Леонида Андреева (также Достоевского и Горького). В них принимали учас-

тие судьи, прокуроры, адвокаты, врачи-эксперты и актеры в ролях своих героев. Такие суды пользовались исключительной популярностью.

10 декабря 1922 года в роли обвиняемой – Анфиса. В вину ей ставится «прелюбодеяние», разрушение семьи, убийство. Место подсудимой занимает актриса Е. Рощина-Инсарова. В образе этого персонажа она ежевечерне появлялась на сцене. Оправдывается Рощина-Анфиса словами своей героини. «Как они относятся ко мне – все, все, эта добрая Саша, эта чистая девушка... Меня травят, меня преследуют на каждом шагу, меня грызут, как собаку, забежавшую на чужой двор. Нянька не пускает меня в детскую, меня презирает горничная Катя, кучер Уфимий фамильярничает со мной... Я так несчастна, так несчастна. Господи, что вы все делаете со мной...» Речь подсудимой – это не повторение роли, но ее углубление, обогащение, развитие.

Слово дальше получали свидетели, среди них – артисты Н. Ковалевская, Н. Барабанов. Показания свои они пытались в чем-то соотнести и со своими ролями, и с личными своими рижскими наблюдениями.

Обвинители – их знала вся русская Рига – князь С. Мансырев и юрист В. Симанович, дали психологический анализ криминальных поступков подсудимой, подчеркнули ее бездушие, эгоцентризм, крайнюю экзальтированность. Стремясь облегчить участь Анфисы, блеснул, вызывая в памяти несравненных адвокатов Анатолия Кони и Федора Плевако, присяжный поверенный И. Шабловский. Зал поверил защитнику:

«Перед нами человек глубоко несчастный, изломанный жизнью и обстоятельствами. На убийство ее толкнуло безотчетное и самоотверженное чувство». Оправдать Анфису присяжные не посчитали возможным. Однако они обратились к суду с просьбой о снисхождении. Оглашен приговор: «12 лет каторжных работ с лишением прав и состояния». Более сердобольной оказалась публика: 106 присутствующих поддержали судебный вердикт, 125 высказались за помилование.

Со второй половины 40-х годов ни андреевские пьесы, ни проза не издавались и не популяризировались. Имени его не знали ни

школьники, ни студенты, изучавшие русскую литературу. Только в 1991 году «Красный смех» в старом переводе покойного Юлииса Диевкоциньша (Jūlijs Dievkociņš) (1879–1906) снова появился на страницах газеты «Diena». Повести «Иуда Искариот» и «Дневник Сатаны» на языке оригинала опубликованы в издательстве «Рамава». Однако, ренессанс Леонида Андреева не наступил.

Максим Горький (1868–1936)¹

Появление на земле латышей Леонида Андреева, как уже отмечалось, в какой-то мере сопоставимо с таким же событием, происшедшим с Сергеевым-Ценским. А вот по сравнению с Горьким Леонид Андреев по всем показателям – полная противоположность. В том числе и в отношении появления его в Лифляндской губернии – в Риге и на Рижском взморье.

Леонида Андреева в Риге и на Рижском взморье никто не ожидал, никто его не приветствовал, никто не стремился установить с ним контактов. Более того «Рижский вестник», мягко говоря, в своих довольно многочисленных публикациях относился к нему более, нежели критически. Слава к писателю и среди латышей, и среди русских пришла позже.

Иное дело Горький. Задолго до его появления в Риге тот же монархически-черносотенный «Рижский вестник» захлебывается от счастья и восторга. Чуть ли не в каждом номере: «Горький приближается!» Вместе с труппой Незлобина он дает спектакли своих пьес в собственной режиссуре – вот уже в Пскове, вот уже в Луге. И наконец – премьеры в только что построенном Русском театре. Сначала пьеса «На дне». Затем все новые и новые пьесы, появляющиеся из-под пера великого уже писателя-драматурга и поэта одна за другой: «Дачники», «Мещане»... Премьеры ставятся одновременно в Риге, Москве и Петербурге. И рижские премьеры сам Горький оценивает выше всех. Еще бы: главные роли здесь исполняет бесподобная вчера еще МХАТовка Мария Федоровна Андреева, по партийной кличке, данной ей самим Лениным – «Феномен». Еще

¹ Источники: Инфантьев Б., Лосев А. Горький и Латвия. – Рига: Мин. Просвещения. – 1971.

бы не «феномен»! Жена московского полицмейстера и... любовница Горького, член коммунистической партии...

Но обратимся к самому Горькому. Он присутствует на всех рижских премьерах. Публика устраивает овации. Распространяются слухи: «Райнис в ложе Горького». С ним ищут встречи Карлис Скалбе, Янсонс-Браунс, дружба с которым, по Добровенскому, не только не нравилась Райнису, но вызвала, якобы, прохладные отношения между ним и Горьким.¹

С другой стороны, многие факты свидетельствуют и об обратном. Райнис первый пишет о Горьком в латышской печати, называет его первым пролетарским писателем, переводит на латышский язык его «Песню о Буревестнике». После победы Февральской революции приветствует телеграммой Буревестника революции. Знаменательна ответная телеграмма Горького, она адресована прежде всего Аспазии. Может быть потому, что она женщина?

Художник Бирзгалис (Jānis Birzgalis) эмоционально рассказал о своей встрече с Горьким незадолго до смерти последнего. Горький не только, якобы, восторгался Райнисом и его творчеством, но и читал его стихи наизусть.

Что касается контактов с Янсонсом-Браунсом, то они бесспорны и подтверждаются не только воспоминаниями жены латышского публициста и критика, но и перепиской, и ходатайством Горького о печатании книги Янсонса-Браунса о революции Пятого года, причем Горький все расходы брал на себя.

С Рудольфом Блауманисом (Rudolfs Blaumanis) Горький, кажется, лично не встречался, но был в полном восторге от его новеллы «В тени смерти», которую он подготавливал к изданию в своем сборнике латышской литературы.

Замысел сборника возник, как свидетельствует Карлис Якобсонс (Kārlis Jākobsons) (он считал себя главным инициатором этого сборника), на встрече Горького с латышскими писателями – Якобсонсом и Янисом Акуратерсом (Jānis Akuraters) в гостинице Беллевию (напротив Центральной станции) 30 октября 1904 года (по старому

¹ См. Роман Добровенского. Rainis un viņa brāļi. – Rīga: Karogs. – 1999. – С. 399.

стилю). Однако, пройдет 12 лет, пока этот замысел реализуется. Но самый процесс реализации издания этого сборника превратился в мощную хорошо организованную и целенаправленную систему сотрудничества русской и латышской литературы в целом: лучшие силы русской литературы – прозаики под руководством Горького, поэты – сплоченные гением и авторитетом Брюсова, лучшие силы латышского художественного творчества (Райнис и Аспазия были вне игры – за границей, но их интересы представляли Петерис Стучка и Дора – сестра Райниса) были включены в активную деятельность по взаимопознанию обеих литератур. Главным образом эта творческая деятельность активизировалась при переводах поэзии, и об этом будет рассказано в разделе о Брюсове. Что же касается отбора материала по прозе, то тут главное и решающее слово оставалось за Горьким.

Карлис Скалбе, уже в школьные годы стремившийся установить контакты с первыми писателями земли русской (Львом Толстым, Чеховым), не пропустил случая, чтобы не встретиться с Горьким здесь, в Риге. Произошло это в фойе русского театра, но Горький пригласил его прийти к нему на квартиру Марии Федоровны Андреевой.

Воспоминания об этой встрече Карлиса Скалбе, опубликованные только в 1958 году («Zvaigzne»), дали нам возможность установить точный адрес местожительства Горького в Риге. Это был «красный кирпичный дом» в русском стиле по ул. Выгонная дамба, № 2 (теперь Pulkveža Brieža iela), кто-то из краеведов уточнил и номер квартиры (№ 8), жильцы которой и не подозревают, что здесь когда-то жила Мария Федоровна Андреева и Максим Горький.¹ Здесь он своим близким друзьям (мхатовцам Харламову и Строганову, Савве Морозову, тщетному воздыхателю по Андреевой, Пятницкому, Найденову, пьесы которого также в тот сезон ставились в Рижском русском театре, режиссеру Незлобину) читал первые наброски повести «Мать». Эти страницы были изъяты жандармами во время

¹ В наши дни дом перестроен, и от квартиры Андреевой-Горького не осталось и следа. Снята и мемориальная доска с гостиницы «Метрополь», а мемориальная доска на фронтоне Национального театра перемещена на боковую стену.

обыска в квартире Андреевой после «кровавого воскресения» в Латвии 13 января (по старому стилю), когда Горький вернулся из Петербурга и был на этой квартире арестован и препровожден в Петербург, в Петропавловскую крепость.

Кто знает, не хранятся ли изъятые тогда наброски повести в каких-нибудь сокровенных архивных фондах царской жандармерии? Что же касается самого обыска и ареста, то они с предельной подробностью отображены в воспоминаниях Андреевой и Марджанова-Марджанашвили, режиссера горьковских спектаклей в Риге. Отголоски этого обыска в какой-то мере отобразились также в романе «Жизнь Клима Самгина» в сцене обыска у него и ареста.

Уважительное отношение к Горькому не прошло для Скалбе – романтика и революционера – бесследно в его творчестве. В поэме «Kā es braucu Ziemeļmeitu lūkoties» («Как я ездил к Деве Севера») прямые реминисценции из «Старухи Изергиль» – герой Скалбе также вырывает из груди свое сердце, чтобы оно светило, указывало путь из страны жирных и сонных в светлое будущее.

Латышскому поэту Андрейсу Курцийсу дважды пришлось увидеть Горького. Впервые это было в Риге 27 ноября 1904 года в здании Ремесленного общества, где давался благотворительный концерт для неимущих студентов. Присутствовал Горький. Какой-то безымянный еврейский юноша вдохновенно читал «Фею». У Курцийса сложилось впечатление, что писатель остался весьма доволен исполнением его стихотворения.

Вторично Курций увидел Горького в Берлине в 1922 году.

В нашем распоряжении нет никаких сведений о контактах с Горьким Аугустса Берце (Augusts Bērce, pseidonīms Arājs) (1890–1921), однако его Буревестник – явное подражание Горькому:

[...] Пусть буря великая грянет сильней,
Мы крылья простерли, мы рады ей.
Мы рвемся в грозу, как в стихию свою, –
Ведь новые силы родятся в бою.
(Перевод Ю. Абызова)¹

¹ Антология латышской поэзии. – Рига: Латгосиздат. – 1955, – с. 387.

То же следует сказать и о Леонсе Паэгле (Leons Paegle) (1890–1926), стихотворения которого «В дюнах», «Переключка юных соколов»¹ носят явные следы горьковского воздействия.

В более поздние годы – в советский период ближайшие друзья и соратники Горького на поэтическом фронте Паулс Дауге (Pauls Dauge) (1869–1946) и Робертс Эйдеманис (Roberts Eidemanis) (1895–1937). Горький выступает в качестве редактора сборника рассказов латышского писателя «Восстание камней».²

Горьковских буреветников в своей повести «Валмиерские парни» вспоминает Павилс Розитис (1889–1937), бесконечно благодарные письма за поддержку пишет ему Янис Гризиньш (Jānis Grīziņš) (1900–1941), в горьковских сборниках советского периода сотрудничает Мира Крупникова (1908–1991).

Политический ажиотаж вокруг Горького в Риге начался еще задолго до его приезда. Ленинская «Искра» в № 39 от 1 мая 1903 года пространно писала о политических беспорядках. «26 марта после горьковского спектакля в «Улье» (приезжая труппа давала пьесу «На дне») в публику посыпались воззвания «К рижскому обществу» за подписью объедин. Комитета Рижск. русской, еврейской и латышской соц.-дем. рабочей организации, раздались возгласы «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!», подхваченные дружным «ура» публики». После представления была организована манифестация по соседним улицам.

На другой день после лекции в Александровской гимназии «Горький и его произведения», по соседним улицам прошла новая манифестация.

Рижские газеты об активных участиях Горького во всех происходивших в 1904 году беспорядках ничего не пишут. Первым сигналом явился его арест, заключение в Петропавловскую крепость и освобождение. С этого момента Горький и Андреева постоянный объект рижских газетных репортеров. В этой связи хочется рассказать об одном далеко идущем событии, в которое никак не хотели поверить опытные журналисты.

¹ Там же, с. 411.

² Эйдеман Р. Восстание камней и другие рассказы. – Москва: Гослитиздат. – 1930, 1931, 1933.

Дело в том, что составленный нами дневник дней и дел Горького в Риге и на Рижском взморье в 1905 году охватывал вдвое больше фактов и событий, чем составленная московскими исследователями подобная летопись, в которой отсутствуют такие важные факты как интервью с М. Андреевой о здоровье Горького, разоблачаются слухи о, якобы, приобретенной им мызе, ценной картине, о составлении и рассылании Горьким небольших библиотечек тем, кто в них нуждался.

Оказалось, что московские исследователи для своей летописи использовали только информацию из «Рижского вестника», оставив без внимания другие газеты, полагая, что все другие будут повторять материалы «Рижского вестника». Исследователи забыли, что в те годы жестоко преследовались все попытки «литературных краж», поэтому репортеры каждой газеты старались во что бы то ни стало добыть новый «свежий» материал, который еще нигде не печатался. Поэтому оставлены без внимания «Рижские ведомости» за 1904–1905 годы, в которых как раз и содержался тот материал, который отсутствует в составленной москвичами летописи.

Особенно много «горьковского материала» в контексте нашего исследования восходит к этому, второму, «взморскому» периоду пребывания Горького в Лифляндии. Это рассказ Горького и его друзей о том, почему он после освобождения из Петрапавловской крепости не вернулся на рижскую квартиру Андреевой.

Теперь, в свой взморский период, Горький – в центре внимания мировой журналистики. Еще в Риге, в гостинице «Метрополь» (новые шведские хозяева гостиницы в 90-е годы XX века первым делом сняли мемориальную доску, с указанием на то, что здесь останавливался Горький) его интервьюирует Лонг¹ – корреспондент газеты «Нью-Йорк Америкен». Затем в Эдинбурге (Дзинтари, проспект Дзинтару, 39, бывший пансионат Кевич; здесь в советское время в библиотеке пансионата был организован музей Горького, который получал экспонаты из московского горьковского музея!) – Горького интервьюирует корреспондент мадридской газеты

¹ Лонг Роберт Срозые, журналист газеты «Нью-Йорк Америкен» разоблачает тайну русской царской тюрьмы.

«Haraldo» Луис-и-Марота. В свое время это было большим открытием советских испановедов, которые, конечно же, получали материал во время своих поездок в Мадрид – это ведь куда проще, чем приехать в Ригу!

Вяч. Лебедев в книге «Крылья Буревестника» приводит уникальную информацию о пребывании М. Горького на Рижском взморье.¹

«Один из таких соседей, старик лет семидесяти пяти, а на вид чуть больше пятидесяти, кряж, похожий бородой на Анатоля Кони, оказался особенно интересным собеседником. Его звали Ян Крузинь. Когда Горький спросил его об отчестве, он благодушно ответил:

– Зовите меня просто Иван Антонович.

Он славился тем, что совмещал две профессии – был великолепным резчиком по янтарию и опытным, хорошо понимающим дело рыбаком дальней ловли. Он объяснил Алексею Максимовичу:

– Море наше капризно. Иногда целый месяц не подпускает к себе, как норовистый конь, а зимой – и по два, и по три. Никакой смельчак не сумеет схватить его за гриву в такие месяцы и недели. Чем же прикажете заниматься в такие погоды? Вот и остается работа со славным дзинтарем – янтарем, по-вашему. Время нельзя терять попусту. Спят лентяи, пьяницы, убивают время, играют в кости. А тот, кто себя уважает, тот непременно найдет себе дело по сердцу. – Он попыттел трубочкой, что-то обдумывая. – Не хотите, я мог бы и вас поучить работать с янтарем? О, это очень увлекательное занятие. Интересней, чем плести сети, – а я их тоже наделал немало за жизнь!»

Предлагал он Горькому как поднадзорному также бежать за границу.

Подлинную картину политического состояния Прибалтики и участие в них Горького дают нам его многочисленные письма, краткую выборку из которых здесь и предлагаем.

¹ Лебедев В. Крылья Буревестника. – Москва: Мол. Гвардия. – 1971, – с. 73–75.

Из писем жене¹

2 или 3 ноября. «Дела творятся – «сурьезные». В Двинске была битва русского войска с запасными: победили войска... В Москве запасных расстреляли на Рязанском вокзале, есть убитые, много раненых. В Риге разбили полицейский участок. Была стрельба из револьверов. Поведение запасных всех изумляет – откуда сие?» (ПСС, т. 28, с. 330)

27 или 28 февраля 1905 года. «Ехать в Ригу мне было нельзя, ибо там и по сей день беспокожно, – ведь в Риге с публикой обращались не менее серьезно, чем в Питере, до сей поры похоронено около 300 и, как говорят сведущие лица, свыше 400 раненых лежат в больницах, на квартирах и в тюрьмах. В силу этого – настроение в городе приподнято, одни хотят мстить, другие ожидают возмездия, все настороже. Принимаются экстраординарные меры к изъятию из жизни вредных личностей, так, например, на днях в квартиру моих знакомых явились «неизвестные лица» – остальное смотри по газетной заметке, прилагаемой при сем (заметка не сохранилась, Б. И.). Подобного рода поступки невольно заставляют меня быть осторожным, ибо было бы глупо представить собой цель для выстрелов каких-то прохвостов. Это – первое. А второе – по обыкновению – иногда являются какие-то испанцы, финляндцы, латыши и прочих племен люди, отнимая у меня кучу времени, страшно нужного мне. Необходимо написать Европе общую благодарность, еще более необходимо видеть кучу нужных людей и, наконец, заняться отделкой «Детей солнца». Нужно торопиться, ибо впереди суд и очень вероятная тюрьма. Хотя – черт их знает все-таки, решатся ли они судить меня. Буду всячески заботиться об этом.

Здесь – славно. Лес, море, покрытое льдом, тишина и прекрасное отношение хозяйки. Работается охотно, а это самое главное». (ПСС., с. 355–357)

12 или 13 марта. «Здесь творятся дела в высокой степени значительные – всюду крестьянские беспорядки.

¹ Горький М. Полное собр. соч. Т. 28. – Москва: ГИХЛ. – 1954. Все даты даются по старому стилю. (далее: ПСС).

Латыши, эсты, литовцы – удивительно интересный и разумный народ, – нужно видеть, что они делают, чтобы поверить, как они серьезно и стойко добиваются своей цели». (ПСС, с. 363–369)

До 9 июня. «Вчера получил сведения, что офицеры Литовского полка, расположенного в Варшаве, обратились к высшему начальству с заявлением о невыносимом положении, в которое поставили их, офицеров, события последнего времени. Их ненавидят в обществе, не принимают нигде, порядочные люди перестали подавать им руки, их считают насильниками, защищающими тиранию, а не честными людьми, исполняющими свой долг. Они видят во многих требованиях общества законные основания и считают необходимым удовлетворение этих требований, – только тогда и возможно будет прекращение уличных драк и убийств. Начальство сообщило об этом инциденте в Питер, оттуда был получен приказ: расстрелять зачинщиков. Таковых нашлось одиннадцать человек. Расстреливать их наряжена была рота Литовского же полка. Но, когда скомандовали – «пли» – солдаты опустили ружья. Вызвали казаков, с каждого из них взята была присяга, что он будет стрелять. Но в момент, когда казаки ожидали команды, – солдаты Литовского полка дали по ним залп и уложили всех их – 24 человека!

Офицеры пока живы.

В связи с бунтом матросов в Либаве и военных в Люблине – это многозначительно ». (ПСС, с. 374, 378)

*Письма к Пятницкому*¹

11 января. «Пошлите две тысячи² Герману Красину, Москва, правление Ярославской ж. д.

Здесь завтра начнется общая забастовка». (Архив № 263, с. 172)

15 февраля. «Жить мы будем, по всей вероятности, на станции Бильдерлингсгоф, Рига – тукумской дороги.

¹ Архив М. Горького. Т. IV. – Москва, 1954. (далее: Архив).

² Эти деньги Горький обещал Ленину для издания новой газеты «Вперед». Напомнить об этом обещании Горькому в Ригу приезжал посланец Ленина – Лядов, останавливавшийся на конспиративной квартире Литвинова.

Здесь, в гостинице, нам дали пару внимательных соседей, тайно образующих надзор за нашим поведением и животворящих собою мудрость властей. Вообще – все идет хорошо, обычно и привычно. Пропуск, выданный охранкой, я отправил местному начальнику полиции, в котором извещаю, что вот, мол, приехал, но от него ответа не получил никакого. Жду. К морю поедem завтра, а сегодня отдохнем здесь. Пока о приезде нашем никому ничего не известно, но корреспондент американский был уже. Молодчага! Маруся чувствует себя великолепно, очень бодрa и прочее, кланяется вам, целует, говорит, что вы великолепный человек и что она вас горячо любит и уважает.

Мы целую ночь не спали, пересаживаясь из вагона в вагон во Пскове и Валке, и Маруся все рассказывала мне о вас, – о вашем отношении к ней и т. д. Сказала она, между прочим, что вы выразили желание приехать в Ригу – если бы!

Мы здесь инкогнито и предполагаем остаться в этом положении, сколько будет возможно. Кстати и на всякий случай: до Бильдерлингсгофа 55 мин. езды, Тукумский вокзал почти рядом с тем, у которого останавливаются поезда из Питера, по линии Туккум-Рига отправления каждый час почти, и все поезда останавливаются в Бильдерлингсгофе. Там нужно спросить пансион Мишке или Булдер, еще не знаем, который, узнав – сообщим». (Архив, № 266, с. 173)

20–21 февраля. «Здесь – хорошо. Сосны, море, тишина. Удивительная любезность и внимание хозяйки пансиона – она встретила нас, как родных, сейчас же выписала мне все рижские и питерские газеты и заявила, что, если явится полиция – она швырнет ее вон. Такое же отношение мы встретили и в Риге, в гостинице.

Пожалуйста, попросите Владимира Александровича купить мне браунинг, сей инструмент иметь необходимо, как я вижу. Здесь так пустынно, мы ходим по лесу одни и далеко. «Все может быть», – как говорит маляр у Чехова». (Архив, № 267, с. 175)

27 февраля. «... об уклонении от суда не может быть и речи, напротив, – необходимо, чтоб меня судили. Если же они решат кончить эту ненужную историю административным порядком, – я немедленно возобновлю ее, но уже в более широком масштабе, более

ярком свете и – добыюсь суда для себя, позора для семейства гг. Романовых и иже с ними. Если же будет суд и я буду осужден – это даст мне превосходное основание объяснить Европе, почему именно я «революционер» и каковы мотивы моего «преступления против существующего порядка», избиения мирных и безоружных жителей России, включая и детей. А будучи оправдан, я публично спрошу почтенное семейство, за что именно меня держали месяц в крепости? Вот мой маленький план.

Вы правы – необходимо составить общее обращение к Европе и, как вы указали, направить его в первоисточник агитации «Berliner Tageblatt» с просьбой передать во все комитеты, агитировавшие за мое освобождение. Проект такого обращения прилагаю.

Здесь – превосходно. Иногда в наш пансион приезжают некие личности, но хозяйка находит их подозрительными и не пускает на жительство. Вообще, отношение к нам – превосходное. В Ригу – боюсь ехать, ибо возможно скандалище. (Архив, № 269, с. 177)

Захватите с собой патроны для браунинга, если они у вас, т. е. если я их передавал вам.

Сегодня ходили по морю, яко по суку, и стреляли в Марусину муфту. Дано было 14 выстрелов, но все остались живы, раненых нет, и муфта цела. Вот как надо обращаться с оружием!»

4–5 марта. «Учимся палить. Браунинг пробивает на расстоянии 25 шагов две стенки купальни и третью другой, отстоящей от первой шагов на 16. Крепко. Ходим по льду и падаем».

А. А. Дивильковскому

11 декабря 1904. «В общем же, невзирая ни на что со стороны начальства, настроение повышается, и, если окраины – Кавказ, Финляндия, Прибалтийский край – вовремя мобилизуются, начальству придется туго. ...латыши великолепный народ во всех отношениях. Лежа здесь, сочиняю стихи:

Поутру штору подымая,
Я вижу – под моим окном
Стремглав летит вагон трамвая,
Солидно мчатся немцы в нем...

О, если бы я был вагоном
Или хотя бы немцем в оном!
Умчался б я туда, где нет
Ни либералов, ни газет!»

На протяжении 20 лет собирая материалы о контактах Горького с Латвией и латышами, нам так и не удалось ничего отыскать о рукописях, о которых вскользь упоминают авторы и в современных Горькому рижских газетах, а также в других материалах. Прежде всего, это материалы, связанные с работой Горького над рукописью «Петрашевы», которая началась именно на взморье; не найден оригинал письма, направленного Горьким в Рижское эстонское общество с благодарностью за приглашение на очередной вечер чествования писателя, не найдены книги с автографами писателя, раздаваемые и рассылаемые из Риги всем, кто только об этом высказывал пожелание; не найдена также пьеса немецкого драматурга Франца Шольца по мотивам горьковской автобиографической трилогии с включением эпизодов ареста писателя, и препровождения его в Петропавловскую крепость. (ПСС. С. 341–342)

Серебряный век

Валерий Брюсов (1873–1924)

Что привлекло Брюсова, народного писателя Грузии и певца эстонских древностей и современности, к латышской поэзии, даже к латышскому языку, который он – второй русский писатель после Боборыкина, – стал изучать. То ли его сотрудничество с Горьким – и работа над составлением сборника латышской литературы, то ли его лечение и отдых на Рижском взморье в 1911–1912 годах, то ли непрерывные письма (около 30), которыми его в начале XX века бомбардировал большой почитатель Викторс Эглитис? Решение этого вопроса – ближайшая задача исследователей русско-латышских литературных связей.

Систематический и всесторонний охват связей Валерия Брюсова с Латвией и латышами занял бы целую книгу, поэтому здесь представим несколько фрагментарных материалов, преимущественно хрестоматийного содержания для дальнейшего использования исследователями.

Брюсов на Рижском взморье

Как выяснила В. Вавере,¹ впервые Брюсов посетил Ригу в 1896 году проездом из Петербурга в Варшаву (странно: поезд идет ведь через Двинск минуя Ригу, Б. И.). Свое свадебное путешествие он организует тоже через Прибалтику в 1897. На Рижском взморье он впервые лечился летом 1911, а затем зимой 1911–1914 годов, весной 1914 года он в Риге, летом в Талси.

В 1911 году Брюсов в Сигулде посещает могилу своего друга – Ивана Коневского (Ореуса), утонувшего около Сигулдского моста и похороненного как безвестного человека.

О гибели Ивана Коневского в статье Р. Тименчика² читаем:

«Утонул только что окончивший Петербургский университет Иван Иванович Ореус, 1877 года рождения. Обстоятельства выяснились потом: молодой человек совершал летнее путешествие по Прибалтийским губерниям и, обнаружив на пути из Риги, что паспорт забыт в гостинице, сошел в Зегевольде в ожидании встречного поезда. В те дни стояли, как писали местные газеты «тропические жары». Он спустился к Гауе купаться. Тело было найдено через несколько дней, лютеранский священник предал земле безымянного утопленника. Но вещи и бумаги, в том числе дорожная тетрадь <а в ней стихи «Солнце на вершине мачты»> были местными властями сбережены. По ним-то кинувшиеся на поиски родственники установили личность покойного. Его перезахоронили уже по православному обряду, хотя особого православного кладбища не было, – положи-

¹ Vāvere V. Valerijs Brjusovs un latviešu literatūra (Валерий Брюсов и латышская литература). – Karogs. – 1969. – № 1; Flaum L. Брюсов в Латвии // Современная Латвия, – 1963, – 13 декабря; Flaums L. Brjusovs Jūrmalā (Брюсов в Юрмале) // Jūrmala, – 1980, 27. maijā.

² Тименчик Р. Иван Коневский. // Родник. – 1987. – № 10, с. 38–39.

ли в лесу. С тех пор могила юноши, вошедшего в русскую поэзию под именем Ивана Коневского, стало местом паломничества немногих друзей и ценителей его поэзии. Один московский литератор писал:

«Зегевольд – это прекрасное горное местечко, прозванное Ливонской Швейцарией. Покрытый яркой зеленью лиственного леса глубокий обрыв навевает помимо красоты своей величественной картины яркие исторические воспоминания, так как в густом лесу притаены остатки громадных рыцарских крепостей, возведенных ливонским орденом меченосцев – «Кремон», «Трейден» и др. Теперь при этих развалинах рыцарских строений устроены мызы, и в них живут местные помещики – кн. Ливен, кн. Кропоткин и др.»

«На дне этого колоссального обрыва протекает быстрая речка Аа, где и нашел свою гибель Коневский, так стремившийся к пантеистическому слиянию с природой, так чутко переживавший свое единство с космосом.»

Могила Коневского, о чем мы расскажем позже, посетил подростком и Осип Мандельштам.

О посещении могилы Валерием Брюсовым сохранились воспоминания Н. Петровской.

«Помню, в одну из наших совместных летних поездок В. Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа) на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем лазури воды.

– В одну из них втянуло Коневского, – сказал В. Брюсов, – вот в такой же июльский день... вот под этим же солнцем... Он был без бумаг, его схоронила деревня, как безвестного утопленника, и только через год отец случайно узнал, где могила сына...

Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычной четкостью попадая все время в одну точку. Это бросанье камешков я видела потом много раз, – оно выражало всегда у В. Брюсова скрытое волнение или глубокую печаль.»¹

¹ Петровская Н. Воспоминания. // Брюсов В. Собрание сочинений. Т. II. Москва: Художественная литература. – 1973, – с. 408.

Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Ив. Коневский, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым, шумящим островом встало оно перед нами – низенький плетень, утопающий в травах, – ни калитки, ни засовов, – только подвижная рогатка загораживала вход – и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня стройный черный крест за чугунной оградой – на плите венки из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастаются дуб, клен и вяз.

В. Брюсов нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.

Ив. Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме того, у В. Брюсова настоящих друзей уже не было никогда.

НА МОГИЛЕ ИВАНА КОНЕВСКОГО
(Собр. соч. Т. II, с. 63–64, 408) (+ 8 июля 1901 г.)

Я посетил твой прах, забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных слов.

Ты позабыт давно друзьями и врагами,
И близкие тебе давно все отошли,
Но связь давнишняя не порвалась меж нами,
Двух клявшихся навек – жить радостью земли!

И здесь, в стране чужой, где замки над обрывом
Ревниво берегут сны отошедших дней,
Где бурная река крутит своим разливом
Ряды поверженных, воде врученных пней;

Где старые дубы и сумрачные вязы,
Как в годы рыцарей, стоят глухой стеной;
Где ночью, в синеве, всемирные алмазы
Спокойно бодрствуют над юной вновь страной;

Ты мой слышал зов, такой же, как и прежде!
Я радостно воззвал, и ты шепнул: «Живи!
Дыши огнем небес, верь песне и надежде,
И тело сильное опять отдай любви!»

Ты мне сказал: «Я здесь, один, в лесу зеленом,
Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,
И ветер, надо мной играя тихим кленом,
Поет мне, что земля – жива, жива вовек!»

13 июля 1911 Segewold (Собр. соч., Т. II, с. 63–64, 408)

Талси

В Талси Брюсов приехал, чтобы навестить своего почитателя Фердинанда Вецвиету (Вецсету, у Вавере). А тот познакомил со своей преуспевающей ученицей скрипачкой Марией Вульферт. Латышский поэт Александр Пелецис (Aleksandrs Pelēcis) в своем стихотворении «Latviešu valoda» («Латышский язык») советовал в Талси ее именем назвать улицу, потому что ради нее в город приезжал Валерий Брюсов. Как бы то ни было, из-за горячей любви клен у дома Марии стал красным, и началась мировая война.

Посвящений русского поэта своей большой любви мы не знаем, он написал только (и не в Талси, а в Вильне) стихотворение «Еврейским девушкам»:

Красивые девушки еврейского племени,
Я вас наблюдал с тайной дрожью в мечтах:
[...]
В Варшаве, и в Вильне, и в задумчивом Тальсене
За вами я долго и грустно следил...
Август 1914 Вильно (Собр. соч. т. III, с. 101–102, 567)

К этому стихотворению в последнем собрании сочинений Брюсова было сделано примечание: «Талсен – город в Польше». (Собр. соч. Т. III, с. 567)

Зато Александрс Пелецис к эпизоду этой большой любви возвращался трижды, в том числе и в большой поэме «Talsu Sulamīte» («Талсинская Суламифь»)¹:

Talsu Sulamīte

[...] No piemirstu leģendu grāmatas
Marija nāca pie dzejnieka [...]
Māja bij dārzā, kur satikās tie,
Viens otram rokās iesviestie. [...]
(Пелецис, с. 48)
Un piecas dienas tā,
un piecas naktis gāja.
Kad Mozus baušļi tos nekādi
nenorāja. [...] (Пелецис, с. 49)
– Marija! – lūdzas aiz durvīm tēvs.
– Atnācām pakaļ ar māti mēs tev.
Piecas naktis jau māte raud,
Piecas naktis mums dusas nav.
Labi, ka draugs tavš Ferdinands
Ceļu uz šejieni rādīja man! [...]
Bet jau par vēlu bija ko lūgt.
Pilsēta iesāka nemierā dūkt.
– Talsi vēl nodegs no kvēluma šī.
Raugieties – kāvi jau debesīs!
Mēnesim ragi kā kausēts varš:
Viņu dēļ sācies pasaules karš!
Projām, projām šo žīdieti –
Abi lai kājām top mīdīti! –
(Пелецис, с. 50)

Талсинская суламифь
(подстрочный перевод)

[...] Из забытой книги легенд
Мария шла к поэту [...]
Дом был в саду, где встречались те
взявшись за руки [...]
(Пелецис, с. 48)
И пять дней так и пять ночей
прошли.
Когда Моисея заветы их ни в чем
не упрекали [...] (Пелецис, с. 48)
– Мария! – молил за дверью отец,
– Пришли за тобою мы с матерью.
Пять ночей уже мать рыдает,
Пять ночей нет нам сна.
Хорошо, что друг твой Фердинанд
Дорогу сюда показал мне! [...]
Но поздно было уже кого-либо
молить.
Город начал в тревоге гудеть.
– Талси еще сгорит от жара:
Смотрите – сполохи на небе!
У месяца рога, как расплавленная
медь:
Из-за него началась мировая война!
Прочь, прочь эту еврейку –
Обоих ногами следует затоптать! –
(Пелецис, с. 50)

¹ Pelēcis A. Talsu leģendas («Легенды города Талси»). – Rīga: Liesma. – 1980, – с. 45 (далее: Пелецис).

В другом своем стихотворении «Augusta nakts balāde»¹

А. Пелецис пишет:

[...] Bet, ja manos spēkos būtu,
Es skaistāko pilsētas ielu
Nosauktu meitenes vārdā,
Kuras dēļ Valerijs Brjusovs
Atbrauca ciemos uz Talsiem. [...]
(Лапэгле, с. 94)

Divi pasaules kari
Brāzušies Latvijai pāri,
Bet šīs vijoles skaņas
Šodien vēl dzirdamas Talsos.
(Лапэгле, с. 94)

Августовской ночи баллада
(подстрочный перевод)

2.

...О, если бы у меня силы были,
Я самую красивую города улицу
Назвал бы девушки именем,
Ради которой Валерий Брюсов
Приехал в гости в Талси. [...]
(Лапэгле, с. 94)

Две мировые войны
Пронеслись по Латвии,
Но этой скрипки звуки
И сегодня слышатся в Талси.
(Лапэгле, с. 94)

Уезжая на фронт военным корреспондентом, Брюсов забрал с собой и Марию Вульферт, определив ее в Варшавскую Консерваторию, откуда она писала письма Фердинанду. Дальнейшая ее судьба неизвестна. (Пелецис, с. 52)

Рига и Рижское взморье

Рига, Рижское взморье не могли не оставить на впечатлительного поэта неизгладимого впечатления. И в результате – цикл стихотворений, в котором отражается поэтическое отношение классика русского стиха к памятным и любимым ему местам.

Засыпать под ропот моря,
Просыпаться с шумом сосен,
Жить, храня веселье горя,
Помня радость прошлых весен; [...]

¹ Pelēcis A. Paegle – Rīga: Liesma. – 1977, – с. 94 (далее: Лапэгле).

Хорошо над серым морем,
Хорошо в бору сосновом,
С прежним счастьем, с вечным горем,
С тихим горем, вечно новым.
(«Близ моря», Майоренгоф, июль 1911)
(Собр. соч. Т. II, с. 60, 407)

Северному, неведомому еще морю, поэт поверяет свои беды и тяготы (ведь он приехал лечить свои нервы!).

[...] Успокой, как летом, и обрадуй
Бесконечным рокотом валов,
Беспредельной сумрачной усладой
Волн, идущих сквозь века веков!
(«Зимнее возвращение к морю», дек.-январь, 1914)
(Собр. соч. Т. II, с. 115, 422)

Игра красками в другом зимнем стихотворении Брюсова:

Желтым золотом окрашены
Дали в просветы хвои. [...]
Море сумрачное движется,
Льдины белые неся.
В облаках чуть зримо нижеется
Светло-синяя стезя.
Краски пламенно-закатные
Хмурым днем помрачены...
(«Вечер над морем», Собр. соч. Т. II, с. 115–116, 422).
(Эдинбург, санаторий доктора Максимовича,
декабрь 1913)

Не только природа во взморских впечатлениях Брюсова, не выпали из поля его зрения и рыбаки:

[...] В лодке рыбацкой, застывшей в снегу,
Словно на белом, тяжелом причале,
Слушай, как вал на морском берегу
Будто зовет нас в безвестные дали!
(«В рыбацкой лодке», 15 янв. 1914).
(Собр. соч. Т. II, с. 135, 424)

Ну и конечно же, старая Рига!

Здесь, в старинной Риге,
В тихий день ненастья,
Кротко я встречаю
Маленькие миги
Маленького счастья.
Дом Черноголовых
Смотрит так любовно,
Словно рад он маю,
Двух, любить готовых,
Ободряет словно.
Под дождем так ярко
Зеленеют липки
Зеленью весенней;
Ах, деревья парка
Нам дарят улыбки!
Ветерка морского
Нежит летний холод...
Тайно сходят тени...
Иль влюблен я снова?
Иль я снова молод?
(1 мая 1914). (Собр. соч. Т. II, с. 136, 424)

Перу Брюсова принадлежит и цикл «Подражание латышским дайнам», о котором была речь в книге фольклора.

Брюсов и латышские литераторы

Это безбрежная тема. Сюда относятся и упоминавшиеся уже 30 писем Брюсову Викторса Эглитиса, и письма к нему Яниса Карстениса (1884–1921), и бесчисленные переводы его произведений на латышский язык, и личные встречи, как в Риге, так и в Москве и Подмосковье, и, наконец, участие в работе Горького над изданием стихотворного раздела «Сборника латышской литературы». К этой работе были привлечены Брюсовым и московские поэты Вяч. Иванов и В. Ходасевич, Ю. Верховский и С. Шервинский, К. Липнеров и В. Шершневич, Е. Сырейщикова и Л. Остроумов; петербургские – А. Блок, Т. Кладо, В. Аренс-Гаккель, Л. Рейснер, М. Домнов; латышские – Э. Вирза, В. Дамбергс, А. Курцийс.

К сожалению, только переводом выполненным Блоком, Брюсов оставался вполне удовлетворен, что же касается других переводчиков, приходилось так интенсивно редактировать их работу, что она в конечном счете превращалась в переводы самого Брюсова.

О том, как ответственно подходил к этому делу Брюсов, рассказывает его интенсивная переписка с Пятницким, которая обстоятельно исследована в статье О. Усковой «Валерий Брюсов и латышская поэзия» («Даугава», 1987, № 5, с. 112 и далее).

Составление сборника, отбор материалов, перевод оказались совсем не простым делом. Особенно затрудняло противостояние левых, социал-демократически настроенных литераторов и общественных деятелей – Петериса Стучки, Доры Стучки (сестры Райниса), Янсонса-Браунса, Приедкалнса, Курцийса, которые ратовали за включение в сборник произведений Райниса, Аспазии, Вейденбаумса, и группировки так называемых декадентов – на самом деле представителей сторонников «чистого искусства» во главе с Викторсом Эглитисом (1877–1945) и Карлисом Якобсонсом (1879–1946), который считал себя инициатором создания такого сборника. Кажется, не было полного единомыслия и между самими составителями сборника: Горький поддерживал своих левых латышских единомышленников, Брюсов – представителей «чистого искусства», хотя сам-то он предпочел переводить именно Райниса. Брюсов, кажется, хорошо понимал и место Викторса Эглитиса, которого

нельзя было поставить рядом с Райнисом и Поруксом. Кажется, это и было причиной охлаждения не только между Эглитисом и Брюсовым, но и разлад с русскими деятелями культуры вообще, которых Эглитис обвинял в барском пренебрежении к искусству малых народностей России.

В этом контексте нельзя не упомянуть воспоминания Карлиса Скалбе о том, как он с Брюсовым, разгуливая по Варшаве (оба были военными корреспондентами), друг другу читали новейшие свои стихотворения.¹

Несмотря на все эти неполадки – их обострение еще впереди – 1914 год вылился в мощную манифестацию дружбы и сотрудничества русского и латышского искусства, выразившуюся в трехдневное чествование Брюсова. Приемы, обеды, концерты проходили во всех трех залах Латышского Общества и прилегающих к нему ресторанах, где в свою очередь Брюсов давал ответные банкеты латышским писателям. Выступал Брюсов, читали свои стихи и говорили о необходимости развивать латышскую литературу и культуру вообще, в противовес мнению Розанова о бесперспективности национальных культур малых народов. С ответными речами выступали Атис Кениньш (Atis Ķeniņš) (инициатор этого мероприятия), Фрицис Адамовичс (Fricis Adamovičs), Викторс Эглитис и поэт Карлис Круза, оставивший подробное описание этих торжеств. В последовавшем за речами поэтов концерте Даце Акментиня читала латышские народные песни и монолог из «Вайделоте» Аспазии, Малвина Вигнере-Гринберга пела латышские народные песни. По мнению Вавере² именно эти выступления побудили Брюсова взяться за воссоздание на русском языке латышских народных песен (Собр. соч. Т. II, с. 365–366). Источником, как уже отмечалось, послужил сборник Спрогиса.

На следующий день торжества продолжались, теперь в них принял участие Ф. Сологуб, который прочел лекцию о современной рус-

¹ Skalde K. Kop. Raksti 7. sēj.; – Rīga: J. Roze. – 1939, – с. 20.

² Sproģe L. Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras «Sudraba laikmets». – Rīga: Zinātne. – 2002, – с. 92 [далее: Спроģе-Вавере (Sproģe-Vāvere)].

ской литературе. После этого в престижном Верманском ресторане Брюсов организовал ответный банкет, на котором с речами любви и благодарности снова выступили Атис Кениньш, Викторс Эглитис, кроме того Фрицис Барда, Аустра Дале, Антонс Аустриньш.

По свидетельству современников русский поэт стремился по возможности глубже проникнуть в душу латышского искусства. Он слушал стихи Райниса на латышском языке (это ему было необходимо для передачи в переводе не только смысла, но и музыки райнисовских строф), посетил музей Блауманиса-Розенталса. Раздел о Брюсове лучше всего завершить стихами Викторса Эглитиса¹:

Kad Tevi, Daiļais, uztraukts lasu,	Когда тебя, прекрасный,
Tu liecies varens, liels un smalks,	взволнованно читаю,
Kāds vēl neviens, un skumjās prasu,	Ты выглядишь могучим,
Kas, Tevi zinot, manis alks.	большим и изящным,
	Как пока еще никто,
	и в печали прошу
	что зная тебя,
	во мне вызывает жажду.

Александр Блок (1880–1921)

Блок, так же как Брюсов, начал свое знакомство с Балтией частыми посещениями Ревеля (в 1907, 1908, март и декабрь 1909 года), в Риге он так никогда и не побывал, а Латвию (Латгалию) проезжал, отправляясь в Западную Европу осенью 1883, весной 1884, в 1903, 1909, 1911, 1913 годах. Но Блок не был бы Блоком, если бы эти мимолетные встречи не отразились в его записных книжках, прозаических очерках и даже в стихах!

Вот путь, который отражен в одном из таких мимолетных впечатлений.

В «Записной книжке»² читаем:

«После бесконечного берлинского поезда – проснулся в России. Выехали из Двинска.

¹ Saimnieču un zelteņu kalendārs. – Rīga. – 1908, – с. 39.

² Блок А. Записные книжки. – Москва: Худ. литература. – 1965, – с. 152 (далее: зап. кн.).

Дождик, пашни, чахлые кусты. Одинокий стражник с ружьем за плечами едет верхом по пашне. Кружит. Версты полосаты [...] До Режицы еще далеко. Тучи рассеиваются, и опять сдвигаются, и дождик идет.

До Режицы еще долго – а что в ней, в этой Режице (совр. – Резекне). Та же все мокрая платформа, сплошные серые тучи, два телеграфиста и кричащая на ветер баба...»

В очерке «Молнии искусства», в разделе «Wirballen – осень 1909 года» слышим знакомые интонации:

«Сколько ни тащись в скором поезде, все будут одни «версты полосаты». И что тебе Режица, что тебе Двинск, что тебе Петербург...» И сейчас же просыпаются чувства, каких «за границей» не бывает... «Все это – бедняги, жалкие люди и нечего с них спросить, остается только их пожалеть, поплакать на каждой из мокрых Режиц. Баба, кому кричишь, – все равно ветра не перекричишь! Мужик, зачем лезешь во второй класс, – все равно не пустят! Жандарм, что в окна засматриваешь, – все равно кого-нибудь прозеваешь... [...] Везде идет дождь, везде есть деревянная церковь, телеграфист и жандарм».¹

И что-то знакомое почувствуем в стихотворении «Под насыпью во рву некошеном»: (Т. III, с. 260)

Под насыпью, во рву некошеном [...]
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом [...]
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальной из окон...

Блоковские дневники – это вообще неисчерпаемый источник для исследователя литературы, и для краеведа, и для лингвиста. Отметим то, что касается Латвии, «латвийского окружения» Блока – выходцев из Латвии.

21.08.17. Во дворце – упорный слух о сдаче Риги. Военное министерство по прямому проводу из Ставки узнало, что Рига еще не взята, но горит с нескольких концов. (Собр. соч. Т. VII, 1963, с. 303)

¹ Блок А. Дневники. // Собр. соч. Т. V. – 1962, – с. 404 (далее: Собр. соч.).

22.08.17. Газета: прорыв Рижского фронта...

23.08.17. По дворцовым слухам, Венден (совр. Цесис) уже взят, т. е. немцы прошли 80 верст... [...] беженцы из Риги уже появились; вопрос, дадут ли вагоны для их эвакуации.

15.01.20. ... снятие блокады Балтийского моря, мир с Эстонией. (Собр. соч. Т. VII, с. 486)

Другая группа записей связана с именами бывших «латвийцев», обосновавшихся теперь и преуспевающих в Петербурге в «блоковском окружении».

Одна из наиболее примечательных личностей, ныне причисленная православной церковью к лику святых, героиня французского сопротивления, положившая «душу свою за други своя», уроженка Риги Елизавета Скобцова-Кузьмина-Караваева. Поэтесса, автор сборников стихов «Скифские черепки», «Руфь», житийных очерков из серии «Жатва духа», воспоминаний о Блоке. В «Записной книжке» поэта о ней читаем:

«Безалаберный и милый вечер, Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует» (20.10.1911). (Собр. соч. Т. VII, с. 75)

«...Кузьмины-Караваевы... [...] читала стихи: Черноморское побережье, «Понт» (07.11.1911). (с. 83)

«В 6 часов пришла и была до 2-х часов ночи Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева» (25.10.1914). (зап. кн., с. 245)

«Звонила Е. Ю. Кузьмина-Караваева. Хотела увидетсья, сказала, что ходит в облаке, а я сказал ей, что мне весело» (28.10.1914). (Зап. кн., с. 245)

«Рукопись стихов от Елизаветы Юрьевны» (21.01.1915).

«Я возвращаюсь с прогулки, на лестнице сидит Кузьмина-Караваева. Уходя, я ей оставил письмо, в котором извинялся, что ухожу (было назначено). Она просидела на лестнице 3 часа, да у меня почти до 5 часов утра. Разговор все о том же: о пути и о власти (и об «очереди» и «сроке»)» (14.03.1916). (Зап. кн., с. 290)

Что значит «о пути и о власти», «об очереди и сроке»? Чтобы понять эти слова, нужно обратиться к воспоминаниям Кузьминой-Караваевой (Зап. кн., с. 571):

«Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы – символ всей нашей жизни, даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, – и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее – сгораете...»¹

Блок ответил: «Я все принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок...» У Блока сказано: «Разговор все о том же: о пути и о власти (и об «очереди» и «сроке»)». (Зап. кн., с. 227-228)

Другое имя – Надежда Павлович.

Из «Записной книжки» Блока:

«Вечером – Над. Ал. Павлович – милая и с хорошими стихами» (12.08.1920). (Зап. кн. с. 498)

«Вернулся с Павлович. Хорошо с ней» (22.08.1920). (Зап. кн., с. 499)

«Вечером Павлович принесла керосин, развела мистику, от которой маме стало плохо...» (27.01.1921). (Собр. соч. т. VII, с. 401)

Родина Н. Павлович – видземский поселок Вецпибалга. Ранние ее годы пробежали под сенью шереметьевского дворца. На кленовых аллеях, признанных чудом парковой архитектуры, воображение десятилетней девочки волновали легенды о бесстрашном Курбаде и «братьях-озерах Инесис и Алауксте». Эти озера, крутосклонные, поросшие молодым ельником, звенящие по всей округе, волшеббно-колдовские праздники Лиго с дубовыми венками, горящими на высоких шестах смоляными бочками, задорными песнями и были страной детства Надежды Павлович. Потому-то и «берег любимый», и «зеленый склон», и «мудрая сосна» никогда не были фоном, неким пространством ее стихов, но всегда – стороной родной, родиной. В отчем крае для поэта «и тучи не тучи – жемчуга и барашки, в легком мире певучем не тревожно, не тяжко». С родителями побывала на рижском шtrandе, и в юную жизнь навсегда вошло море. Да, у Блока были все основания заметить: ранняя лирика поэтессы выросла из детства. Этот же родник питает и последние стихи Надежды Павлович:

¹ [Монахиня] Мария. Встречи с Блоком. // Современные записки. – 1936, – кн. 62, – с. 227–228.

В Иванов день под старой липой «Лиго»
(Из дальних снов мне эта песнь слышна!)
И я тебя читаю, словно книгу,
О, детства моего страна!¹

Погожим июльским днем Надежда Павлович позвонила в дверь блоковской квартиры. Страшась и веря, прижимая к груди заветную тетрадь, она переступила порог. И вот встреча с мастером:

Он вошел, загорелый, как с моря матрос,
Он по-новому был молодым,
Словно ветер и море домой он принес
Ясным вечером золотым.
– Что ж, давайте стихи! – Он пытливо глядел.
Был он очень спокоен и строг,
Словно всю мою жизнь прочитал он сумел
Среди страстных и путаных строк. [...]

И вот он – отзыв о молодых стихах рижанки:

– И все, что с детства звучало и снилось,
Из темных глубин проросло, (Павлович, с. 12)
Под этой зарей безначальной забилося
Огромным звенящим крылом... (Павлович, с. 13)

Как это нередко случалось (Н. Павлович не стала исключением), написанные в юности стихи «проросли» из «глубин» воспоминаний о счастливой, невозвратимой поре детства. Эпизод этот в поэме Н. Павлович «Воспоминания об Александре Блоке» завершается так:

Я, не помня себя, возвращалась домой,
Под ногами не чуя земли.

¹ Павлович Н. Думы и воспоминания. – Москва: Сов. Писатель. – 1962, – с. 73 (далее: Павлович).

Были улицы пусты. Последний патруль
Повстречался и брякнул ружьем...
И двадцатого года суровый июль
Распахнулся в величье своем. (Павлович, с. 13)

Однако, воздействие было обоюдное. Вл. Орлов, авторитетный знаток наследия Александра Блока, подтверждает озеровский вывод. По его наблюдению блоковские строки

Яблоки сада вырваны, Дети у женщин взяты,
Песню не взять, не вырвать,
Сладостна боль ее (Собр. соч. III, с. 375, 636)

– ответ на четверостишие Н. Павлович:

У сада есть яблоки, У женщины есть дети,
А у меня только песни, И мне – больно.¹

Третья рижская муза Александра Блока была Лариса Рейснер-Раскольникова (1895–1926). В «Записных книжках» поэта января 1918 – марта 1921 года ее имя то и дело мелькает:

«Весь день с Л. М. Раскольниковой. Утром с ней в Малом театре, вечером – на вечере Гумилева и у них».

Эти строки помечены 2 августа 1920 года. (Зап. кн., с. 497)

Об участии Л. Рейснер в журнале «Рудин» свидетельствует ее статья «Через А. Блока к Северянину и Маяковскому», где о Блоке «сказано лестно: что я не был никогда революционером и реформатором, что я большой и незабываемый, мое влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, что у меня – полутона, бледный цветок, завершение» (04.03.1921).

В названной Блоком статье еще до личной встречи с поэтом и долгой полосы почитания и дружества Л. Рейснер поделилась своей сокровенной надеждой «подражать Ал. Блоку, его полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянной в

¹ Орлов В. Примечания. // Блок А. Собр. соч. – 1960, Т. III, – с. 636.

сером, холодном небе, – невозможно и бесполезно... Как всякое завершение – Блок неповторим». Стихотворец, очеркист, драматург, она с первых и до последних дней гражданской войны вела политпросветработу среди восставших матросов. Старший флаг-секретарь Волжско-Каспийской флотилии, комиссар разведывательного отряда, «на славу сбитая боями» (слова Б. Пастернака)¹. Да, она доносила в обитель творца неведомых созвучий дыхание горячих битв. Такой запомнил ее и восемнадцатилетний пулеметчик Всеволод Вишневский, и такой запечатлел ее в образе комиссара в «Оптимистической трагедии». С удостоверением корреспондента центральных газет исходила Л. Рейснер фронтовые дороги от Петербурга до Казани, от Астрахани и Баку до Энзели. Писала свои очерковые книги о Гамбурге на баррикадах, о Берлине в октябрьские дни 1923 года, о Персии и Афганистане.

Еще в пору отрочества Ларисы Рейснер (1912–1913 годы) рижское издательство «Наука и жизнь» опубликовало два этюда начинающего литератора – «Офелия» и «Клеопатра». Потом были переводы из поэзии Арведса Швабе (Arveds Švābe) для горьковского «Сборника латышской литературы». В 1920-м году во время советско-польских мирных переговоров из столицы Латвии в «Известия» поступали корреспонденции члена советской делегации Л. Рейснер: «Путевые заметки», «Как отваливается пушистый хвост» и «25 октября в Риге». Приводим фрагмент из первой корреспонденции²:

«Рига окружена кольцом разрушенных фабрик. Предместья зияют проломленными стенами, выбитыми стеклами и почвой, до сих пор изрытой снарядами немецкой тяжелой артиллерии. По утрам ни один фабричный гудок не тревожит покойного сна членов учредительного собрания.»

Известный русский журналист Н. Борежанский выступил с критикой и разоблачением советской журналистики в статье «Впечатление о Риге мадам Курдюковой» («Сегодня», 1920, № 256).

¹ Пастернак Б. Собр. соч. Т. I. – Москва: Худ. лит. – 1989, – с. 246, 688.

² Известия, 1920, 12 и 14 ноября, №№ 250, 256.

И еще одна рижанка. В письме от 7 сентября 1919 года Александр Блок делился своими впечатлениями о переводческих опытах Елизаветы Кнауф – постоянного сотрудника «Рижского Вестника», выступавшей под псевдонимом «Магнусгофская».

«Мне кажется, – писал Блок, – что направление, в котором Вы подходите к работе, в общем верное, хотя в присланных Вами двух переводах есть недостатки: «Лотос пугает блеск» (кто кого пугает!); «Дымка ночей» – лучше избегать таких банальностей; «капля слез»; «точно пена», «верный яд» – этих образов нет в подлиннике.

Эти стихи уже переведены. Не хотите ли попробовать «Liebeslieder» (то, что не вошло в «Buch der Lieder»)?¹

Блок за переводом плудонисовского «Реквиема»

Как уже отмечалось, блоковский перевод для «Сборника латышской литературы» плудонисовского «Реквиема» был чуть ли не единственным произведением, которое Брюсову не приходилось исправлять.

Сохранились страницы с пометками и размышлениями Блока, работающего над этим переводом.

«Своеобразный Requiem – лютеранский «Я лютеран люблю богослуженье... сих голых стен, сей храмины пустой...» Никакой надежды за гробом. Нет Имени. Эпиграф Плудон цитирует неточно («Вечерний звон» Козлова). – Хотя издано по декаденски – текст простой, почти везде отчетливый (мало метафор). Елки, вереск, снег, песок, пустырь, мать, брат, нищета. Не суетно, но гордо. (Собр. соч. 1960, Т. III, с. 640)

В заметках А. Блока названы даты: «24.11.1915»; «25.11.1915»; «01.12.1915». Дни и месяцы – разные, занятие одно и то же: «Перевод латышского поэта Плудона (Pludon)»; «Перевожу Плудона»; «Весь день перевожу и переписываю Плудона». В эти же дни Блок навещал Андрея Курцийса («Днем был... и латышский поэт Курций»). Сотоварищ Плудониса по редакции журнала «Vārds» («Слово»), великолепный знаток латышской поэзии разных школ и направлений,

¹ Плеханов Б. Неизвестное письмо А. Блока. // Даугава. – 1981. – № 1. – С. 115–116.

Курцийс оказался в состоянии ответить на любые вопросы Блока. Курцийс, кроме всего прочего, – автор подстрочника плудонисовского реквиема. Небезынтересно, как из латышского оригинала получается блоковский художественный перевод.

Оригинал

Pamazām brauciet un klusu
Līķratus netriciniet!
Mani uz pēdējo dusu
Smiltajā aizviziniet...
Vējš, kam tā elsodams pūt tu?
Mežs, kam tik smagi tu dves?
Šķiršanās sāpes vai jūt' tu?
Un manim ardievas nes?

Подстрочник

Медленно поезжайте и тихо!
Не трясите траурной колесницы!
Меня на последний сон
В пески прокатите!..
Ветер, зачем Ты так задыхаясь, дуешь?
Лес, зачем Ты так тяжело дышишь?
Чувствуешь ли Ты боль разлуки
И несешь мне последнее прощай?

Перевод

Сон мой храните, возницы!
Тише влеките мой прах!
Чтоб не встряхнуть колесницы
Там, на курганных песках!..
Ветер, о чем твои муки?
Лес, что ты тяжело шумишь? –
Или, в томлени разлуки,
Ты мне «прости» говоришь?
(Собр. соч. Т. III, с. 399)

Сохранились воспоминания Андреяса Курцийса, посетившего в тот примечательный день русского поэта.¹

«...Жил он в комнате, в которой даже днем стоял какой-то синий сумрак. Одинокaя лампа под синим абажуром бросала свет на тетрадку посредине письменного стола с надписью «Испания». Блок говорил медленно, подчеркивая каждое слово и придавая ему особый нюанс, так же как потом я слышал, как он читал свои стихи. [...] Латышские литераторы потом рассказывали, что Блок был от Плудониса в восторге. Лучше говорить правду. Признавая стихотворение Плудониса сильным, Блок иронически указывал на смешанный стиль «Реквиема».

Посещение Блока дало основу и стихотворению Курцийса:

[...] Tik vienmēr, vienmēr nāk man vakars kāds:
Simts tūkstots ugunainais Petrograds
Zem saltām zvaigznēm sirmā migla tinās.

Un tavā istabā bij klusums dziļš un ēna,
Tev lampas lokā priekšā «Meklējumi»;
Un likās man, ka tu par dzīvi skumi,
Un tavi vārdi plūda tempā lēnā.

Tu sacīji: «Trīsdesmit pieci gadi
Jau garām man...» Un zilais skats tavs teica,
Ko tavi vārdi rimstot nepabeidza,
Kam vārdos izteiksmi tu neatradi.

Un cilvēkliktēni mums vaļā vērās
Un aizgājības gaita neaprimtā;
Un arī tava lielā zemē – dzimtā
Kā krustā sistā cēlās pusnakts sfērās...

¹ Sproģe, Vāvere, (Споре, Вавере). С. 96–97.

Подстрочник

[...] Так всегда, всегда приходит ко мне вечер:
В ста тысячах огней Петроград
Под холодными звездами седой туман клубится.

А в твоей комнате тишина глубокая и тень,
В кругу света твоей лампы «Поиски»;
И кажется мне, что ты о жизни грустишь,
И твои слова текут в медленном темпе.

Ты говоришь: «Тридцать пять лет
Уже минуло мне...» и синий взгляд твой говорит,
Что твои слова утихая не закончили,
Чему словами выражения ты не нашел.

И человеческие судьбы нам раскрылись
И ухода курс непостижим;
И также твоя большая земля – род
Как распятый восстает в полуночных сферах...

А. Курцийс написал о Блоке книгу, которая, однако, издана не была.

Сенсация «Рижского курьера»

Блоковская поэма «Двенадцать» вызвала в Латвии по понятным причинам еще больший ажиотаж, чем в России. Этот ажиотаж увеличился, когда «Рижский курьер» в № 204 за 1921 год опубликовал следующее сенсационное заявление.

«Наш сотрудник Leo Leу поместил в газете «Руль» следующее стихотворение из письма к нему А. Блока, полученного в ответ на вопросительное послание Leo Leу по поводу поэмы «Двенадцать», признанного самым выдающимся произведением революционного периода.»

Я вижу девический лик
И вижу нечисть и проказу, –
Не обвиняй, – что я не сразу
Все понял и не все постиг.

Прости, – так хочется любить, –
Пойми, – так хочется поверить.
Я чашу всю готов испить
Чтоб только прошлое похерить.
Мне тяжело, – я не могу...
Мне холодно, – в душе мороз. –
Но милый Лео, – я не лгу: –
Грядет, – уже грядет Христос!
– И... в древнем храме будем мы
Молить с тобой коленносклонно,
Чтоб Дева-Мать из тяжкой тьмы
Взяла нас в сад свой благовонный...
Живем в величье века: –
Все сбито, спутано и сжато.
Но, – разве прежде так легка
Была нам жизнь с тобой когда-то?..
А эти хари, рожи, гниль
Уйдут, как сны ночей кошмарных
И будет сказкой наша быль, –
Страдай, молись, – неблагодарный! –

И еще в конце письма, все по тому же поводу Блок говорит:

В глуши, – в убогонькой церковке,
Под пенье, ладан, блеск свечей
Смиренно стоя у дверей, –
Стареть нам будет так неловко, –
Как люди выйдут из зверей.

Юрий Абызов и Роман Тименчик назвали это стихотворение – перфильевской подделкой и ловкой мистификацией.¹

Думается, что это своего рода интерпретация блоковского стихотворения (или, скорее, поэмы).

¹ Grāmata. – 1990. – № 8; Даугава, – 1990. – № 9, – с. 106-117.

Сопоставительный анализ латышских переводов поэмы Блока
«Двенадцать»

I. Начало поэмы

Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всем божьем свете.
(Собр. соч. III, 347)

*Перевод Карлиса Зариньша (Kārlis Zariņš)*¹

Melns ir vakars. Balts ir sniegs. Gaudo vēji.
– Zemei – debesīm zūd sakars.
Sniegs un sniegs – Vēji bezgalspēji.

Подстрочник

Черный вечер. Белый снег. Воят ветры.
– Между землей и небом потеряна связь.
Снег и снег. – Ветры бесконечны.

*Перевод Леонса Паэгле (Leons Paegle)*²

Melnmelns vakars. Baltbalts sniegs. Vēji, vēji!
Tikko spēj turēties stundinieks
Vēji, vēji! Pāri visai zemei. (Паэгле, с. 3)

Подстрочник

Черный-черный вечер. Белый-белый снег. Ветры, ветры!
Едва может держаться часовой
Ветры, ветры! Над всей землей.

¹ Latvijas Vēstnesis. – 1921. – № 5.

² Bloks A. Divpadmit. – Rīga: Jaunā kultūra. – 1923 (далее: Паэгле).

Перевод Имантса Зиедониса (Imants Ziedonis)¹

Melna tumsa. Balts sniegš. Vēji brāž.

Cilvēku no kājām gāž.

Vēji каус. – Debesis ar zemi јаус. (Зиедонис, с. 5)

Подстрочник

Черная тьма. Белый снег. Ветры воют.

Человека с ног валят.

Ветры воют – Небо и землю смешивают.

Зиедонис вводит свою рифмовку, отличную от блоковской!

II. Плакаты и старушка

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате – плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию!»

Старушка убивается – плачет,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят,

А всякий – раздет, разут.

Старушка как курица,

Кой-как переметнулась через сугроб.

– Ох, Матушка-Заступница!

– Ох, большевики загонят в гроб!

(Собр. соч., Т. III, с. 347–348)

Перевод Карлиса Зариньша

Pārvilkts pār ielu platu un garu

Milzīgs audekla plakāts

«Satversmes Sapulcei nododiet varu!»

¹ Bloks A. Divpadsmit. – Rīga: Liesma. – 1967 (далее: Зиедонис).

Uzraksts lasāms uz tā kāds.
Sievīnai brīnums neaprakstāms,
Kam gan tāds uzraksts rakstāms!
Ko gan uzvilks tāds savāds plakāts
Tāds milzīgs audekla lakats?
Ak, bērniem daudz krekliņu iznāktu
Ja viņai to noņemt atļautu!..
Un sieviņa kā vista
Kā nekā tālāk caur sniegu čapā
– Vai, vai, tas nav no Jēzus Krista!
– Vai, vai, tie lielnieki novedīs kapā!

Подстрочник

Натянут над улицей широкий и длинный
Огромный тряпочный плакат
Конституционному Собранию дайте власть!
Надпись читаем на нем.
Женщине удивление неопишное!
Зачем натянут такой странный плакат.
Такой огромный ткани лоскут?
Ах, детям много рубашечек бы вышло
Если бы ей его снять разрешили!..
И женщина, как курица
Как ничто больше дальше сквозь снег бредет
– Ой, ой, это не от Иисуса Христа!
– Ой, ой, эти большевики доведут до могилы!

Вместо «матушки заступницы Богородицы» – Иисус Христос.

Перевод Леонса Паэгле

No ēkas uz ēku Kā milzīgs plakāts Izpleties lakats:
«Visu varu Satversmes Sapulcei!»
Gaužās, vecīte, nevar saprast,
Nevar ar tādu kārtību aprast:
Kam gan tāds plakāts, tik milzīgs lakats?

Izšūtu biksītes, trīs duči tiks,
Ik puika iet kails un pliks.
Kā vista vecene
Pa kupenām kuļotīs sten!
– Ak, palīdzi, svētā Lestene!
– Ak, lielnieki mūs kapā dzen!
Ko priekšā slieci? Taisies kā tieci! (Л. Паэгле, с. 4)

Подстрочник

От здания к зданию Как огромный плакат Растянут лоскут
«Вся власть Конституционному Собранию!»
Плачет старушка, не может понять,
Не может с таким порядком свыкнуться
Кому нужен такой плакат, такой огромный лоскут?
Сшила бы брючки, три дюжины выйдут,
Каждый мальчик ходит голый
Как курица старуха
По сугробам кувыркается!
– Ах, помоги, святая Лестене!
– Ах, большевики нас в могилу гонят!
Куда идешь? Иди как шла!

Леонс Паэгле как коммунист и атеист Богородицу совершенно
устраняет из своего текста.

Перевод Имантса Зиедониса

Stieplē pakārts Plakāts:
Visa vara Satversmes Sapulcei! –
Pāri ielai skrej,
Vecenīte, sit vai nost – raud,
Nekā nevar saprast, ar ko viņai draud
Un kāpēc tā jānieko laba drēbe,
Kad sals tik ass.
Cik tur neiznāktu zēniem autu stērbeles,
Bet katrs – kails un bass.

Vecenīte kā vista sētā
Kaut kā pārsvepjās kupenai pāri un sten:
– Oh, Dievmāte svētā!
Oh, boļševiki kapā dzen! (И. Зиедонис, с. 6)

Подстрочник

На проволоке натянут Плакат:
Вся власть Конституционному Собранию! –
Через улицу бежит,
Старушка, убивается-плачет,
Ничего не может понять, чем ей грозит
И почему так полощется хорошая ткань,
Когда мороз так остр.
Сколько бы вышло мальчишкам портянок
Но каждый – голый босый.
Старушка, как курица на подворье
Кое-как перевалилась через сугроб и стонет:
– О! Матерь Божья, святая
О! Большевики в могилу гонят!

III. Ванька и Катька

– Холодно, товарищи, холодно!
– А Ванька с Катькой – в кабаке...
– У ей керенки есть в чулке!
– Ванюшка сам теперь богат...
– Был Ванька наш, а стал солдат.
– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй, поцелуй!
Свобода, свобода, Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята –
Чем, чем занята?.. (Собр. соч., т. III, с. 350)

Перевод Карлиса Зариньша

Biedri, kas gan tagad dzīvība!
– Ar Kati Vaņka kabakā...
– Tai kerenkas ir kabatā...

– Vairs Džonim netrūkst nauņņas
– Bij mūsējais – nu zaldāts tas!
– Eh, Vaņka, būs tev mīlas guns
Brīvība, brīvība, Krustu nu vairs nevajga!
Kas gan tagad dzīvība!
Džons ar Kati kabakā.

Подстрочник

Товарищи, что за жизнь сейчас!
С Катей Ванька в кабаке...
У нее керенки в кармане...
Больше у Джона нет недостатка в деньгах
Был наш – ну солдат такой!
Эх, Ванька, будет тебе любви огонь
свобода, свобода, Креста больше не надо!
Что за жизнь сейчас!
Джон с Катей в кабаке.

Перевод Леонса Паэгле

Biedri, mēs salstam un salstam.
– Bet Janks ar Kati kabakā.
– Tur dzer un ēd no labākā!
– Bij Janka pašpuika; kā prieks.
– Žēl, kļūvis tagad bagātnieks!
– Ei, Janka, buržuj, piesargies,
Ar manu mīļo skūpstīties!
Ei, brīve, brīve bez krusta mums tā!
Kate skuķe dedzīga, pārāk dedzīga. (Паэгле, с. 6–7)
Нет керенок, солдат.

Подстрочник

Товарищи, мы мерзнем и замерзаем.
– Янка с Катей в кабаке.
– Там пьют и едят всё лучше!
Был Янка уличный мальчишка, как радость.
– Жаль, стал теперь богачем!

Перевод Имантса Зиедониса

Salst, biedri, salst!
– Bet Vaņka ar Katjku – šenķītī...
– Šai kerenkas vėl zeķītē!
– He, Vaņka bagāts nu kā dies...
– Bij mūsējais, nu pārdevies!
– Pa purnu buržujkuilim dot!
Tam mūsu meičas nebučot! –
Eh, brīvība, brīvība, labi Bez krusta tā!
Katjka ar Vaņku aizņemta –
Hē-hē! – ar ko aizņemta... (Зиедонис, с. 15–16)

Подстрочник

Холодно, товарищи, холодно!
– Но Ванька с Катькой – в шинке...
– У нее керенки в чулке!
– Хе, Ванька богат, без меры...
– Был наш, теперь проданся!
– По морде буржуину дать!
– Чтоб наших девок не целовал!
– Эх, свобода, свобода, хорошо Без креста!
– Катька с Ванькой занята –
Хе, хе! – чем занята.

Последние две строчки – самый точный перевод из всех предложенных.

Сопоставление трех переводов дает богатый материал как для выяснения степени понимания отдельных русских слов и выражений, употребляемых с особыми оттенками значения слова, или же в значении, необычном в литературном языке. Во-вторых, показывает умение, способность каждого из авторов отыскать в латышском языке наиболее адекватные слова и выражения и компенсацию этих пропусков. По этому плану предполагается дальнейший сопоставительный анализ предложенных переводов – что является задачей будущего.

Блоковские реминисценции в латышской литературе

«Незнакомка в черном» занимает воображение Арвидса Григулиса – «Vēl viena dziesma par Aleksandra Bloka dāmu» («Еще одна песнь о даме Александра Блока»). Ее приход возвещают цветы – и они никогда не увянут, тайные мечты – всеохватные, беспредельные, нетленная красота, растворяемая во всем сущем...¹ «Прекрасная дама» является в видениях Мирдзы Кемпе («Bloka nakts» – «Ночь Блока»): когда на Ригу опускаются сумерки и на окраинные улочки высыпает воровское охвостье, в лунном свете проплывает призрак женщины в черном. «Приди ко мне», – влечет ее неодолимый, немой призыв. В этом же стихотворении отзвуки из «Двенадцати»:

Та ночь, которая ползла к другим
Неверием, удушьем воровским,
Твоей свободой, таинством была,
К тебе, мерцающая, незнакомкой шла.²
(Перевод Л. Романенко)

Золотое свечение блоковских строк привиделось Милде Лосберге (Milda Losberga) где-то под Балви («Tikšanās ar Aleksandru Bloku» – «Встреча с Александром Блоком»)³:

И... чудо! Сам русский поэт повстречался ей на латгальской вересковой поляне. Но вот зыбкие тропы смешались, исчезли. И явились какие-то неведомые, холодные пространства, высокие, темные небеса. Это было царство поэзии...

В Петербурге умер Александр Блок, и в Латвии осиротел Янис Судрабалнс. Блоковский цикл латышского поэта составили стихи: «Как бриллиант», «Мне чудом кажется, что знал я счастье», «Мастер Александр, скажите, мастер». Чувства, вызванные горечью утраты, усиливает сознание неземного предназначения Блока, стремление разгадать тайны «кудесника», «мастера»:

¹ Literatūra un Māksla (Литература ун максла). – 1967. – № 41.

² Кемпе М. Избранное. – Москва: Худ. Лит. – 1982, – с. 9.

³ Losberga M. Saules izsalkusī (Голод Солнца). – Rīga: «Liesma». – 1983, – с. 90.

Из всех, кто одаривал мир стихами,
Любовь моя вечная – Вы,
И я ни пред кем, кто грядет за Вами,
Уже не склоню головы. [...]
Лишь Вас я люблю безоглядно, безмерно,
Кудесник, вручивший нам мира ключи,
Хотя горевал иногда я: наверно,
Уж так не творить... Помогите, научите!
(Перевод В. Андреева)¹

Блоковскую традицию – романтическую неуспокоенность, вечный конфликт с «сытыми», бескомпромиссность в поисках идеала – в Латвии продолжили и Александрс Чакс (Aleksandrs Čaks), Янис Гротс (Jānis Grots) и, конечно, Янис Судраблалнс. В 1923 году, прислушиваясь к неутихающим спорам о Блоке на страницах русской периодики и газетным филиппикам рижских литераторов о «низведении автора <Двенадцати> с пьедестала», Рудольфс Эгле (Rūdolfs Egle) вступился за «поэта-философа», который, «интуитивно познавая мир, бьется над общечеловеческими загадками вечности». Потому-то и захватывают «пророчества трагического блоковского ума».

По замечанию поэта и критика Петериса Эрманиса, книга стихов Яниса Зиельниекса (Jānis Ziemeļnieks) «Nezināmai» («Незнакомке») (1923 г.) вызывает в памяти раннего Блока. «У латышского лирика доминирует святой, я бы сказал, мистический мотив мечтаний о чистой и возвышенной любви. Лирическому герою Я. Зиельниекса чудятся небесные отблески в загадочных глазах, в гордых лицах прекрасных незнакомок. В латышских строфах нельзя не слышать мелодию блоковской лиры. Такая переключка никак не принижает самобытную поэзию Зиельниекса».²

Переводчиков Блока последние годы привлек обмен опытом в этой области Арии Элксне (Ārija Elksne) и Яниса Рокпелниса (Jānis Rokpelnis).³

¹ Судраблалнс Я. Избранное. – Москва: Худ. лит. – 1984. – С. 90.

² Ērmanis P. Īsas piezīmes par J. Ziemeļnieka dzeju (Короткие заметки о поэзии Я. Зиельниекса). – Latvijas grāmata. – 1928. – № 2. – С. 77 (перевод А. Лосева).

³ Советская молодежь. – 1980. – № 224.

Константин Бальмонт (1867–1942)¹

Как Брюсов и Блок, так и Бальмонт начинал свое знакомство с Балтией в Эстонии. В 1925 году он попытался сблизиться с Латвией, но «дальновидные» латвийские правители, напуганные пасквилями Ларисы Рейснер-Раскольниковой, Андрея Белого и Владимира Маяковского, отказали Бальмонту во въездной визе. Вместо Латвии он отправился в Литву, фольклор и литературу которой поэт сделал достоянием всего русскоязычного мира. Но и с Латвией контактов он не порвал. Хотя и заочный, Бальмонт постоянный сотрудник газеты «Сегодня», где печатаются все его «юбилейные» стихотворения, посвященные Рижскому русскому театру, русским рижским газетам и их редакторам и сотрудникам.

Первые контакты Константина Бальмонта с землей латышей начались еще в «довоенное» время.²

Совсем недавний революционер после своего ареста, а затем освобождения из тюремных застенков, стремясь быть подальше от совершенно чуждой ему по всей сути его характера революционной борьбы, будущий поэт оказался не более не менее как в Исландии, затем в Мексике, на Юкатане, на островах Полинезии и Океании. Было о чем ему рассказать 17 февраля 1914 года (по старому стилю) в Рижском немецком ремесленном обществе. Поэзия в интерпретации русского поэта была дивное диво, истинное волшебство. Для участников вечера имя Константина Бальмонта не пребывало за семью печатями: его хорошо знали по латышским версиям стихов: «*Cilvēku dvēsele*» («*Душа людей*»), «*Ko pusnakts teic*» («*Что полночь говорит*»), «*Un airēja viņi...*» («*И они гребли...*»), «*Mans sencis godīgs bende*» («*Мой предок – честный палач*»), «*Ak, jau sen! ak, jau sen!*» («*Ах, уже давно! ах, уже давно*»), «*Ziedi nobīra mīmozām maigām!*» («*Цветы опали у нежных мимоз*»), «*Tāļam*», «*Arburtā*» («*Заколдованная*»), «*Bodlēram*» («*Бодлеру*») и многим другим. Среди переводчиков Аспазия (1901 год), Викторс Эглитис, Карлис Якобсонс, Эдвартс Вирза, Карлис Круза, Карлис Штралс, Валтс Давидс, Карлис Зариныш, Янис Карстенис, Вилис Плудонис, Адольфс Эрсс. Самые разные газеты: «*Rīgas Avīze*» («*Рижская*

¹ Тименчик Р. Константин Бальмонт. // Родник, 1987, № 12, с. 25.

² Сегодня вечером. – 1925. – № 26, Время. – 1925. – № 343.

газета») и «Jaunā Dienas Lapa» («Новый дневной листок»), «Dzimtenes Vēstnesis» («Вестник Родины») и «Liepājas Atbalss» («Эхо Лиепай») печатали не только переводы стихов Бальмонта, но и многочисленные подражания самым разным мотивам стихов русского поэта. Читающая публика знала и обстоятельную статью о творчестве Бальмонта, опубликованную Антонсом Биркертсом.

Из рецензий бальмонтовской лекции, вышедших из-под пера Фрициса Барды¹ (Fricis Bārda) и Н. Муханова².

Выступление К. Бальмонта меньше всего напоминало академическую лекцию. Это была импровизация, многозвучная полифония, в которую вплетались голоса народных певцов, баянов, скальдов, ведунов, разделенных тысячеверстными пространствами и веками. Слушатели переносились в «царство грез», «в область недосказанного», доступного не разуму, а сердцу. Природа, – говорил Бальмонт, – это тайна, это вечная музыка, немеркнущая живопись, нерукотворная скульптура. Природу в своих песнях-заклинаниях и жертвенных гимнах обожествляли безымянные баяны давно исчезнувших народов. Художественные иллюстрации к развиваемым поэтом положениям впечатляли. Индийские веды, заклинания майя и ацтеков чередовались с норвежскими сагами и песнями из «Калевалы», индонезийскими заговорами и римскими мифами. Разные народы в разные эпохи, – доказывал поэт, – для передачи одного и того же эмоционального состояния, пользуются сходными образами, ритмами, звуками. Говоря о музыкальной стихии поэзии, об аллитерации как фонетической основе стиха, Бальмонт обращался к лирике Пушкина и Фета, Вячеслава Иванова и Юриса Балтрушайтиса. Новым оказалось толкование звуков как постоянных свойств. По Бальмонту, мягкий Л – ласков не только у славян. Перуанское люлю означает «любимая», люлюй – «лелеять». Р – это нечто «узорное, взрывное». Р – это и «разорванность гор», и «рокот громовых раскатов», и «барабанная дробь», и «рыжие вихри пожара»...

Как уже отмечалось, в 1925 году К. Бальмонт намеревался выступить в городах Латвии с литературными концертами. Кто-то из

¹ Bārda Fr. Raksti (Сочинения). I. – Rīga, 1990, с. 410 (Dzimtenes Vēstnesis – 1914. – № 65).

² Рижский вестник. – 1914. – № 64.

его доброхотов замолвил слово о въездной визе. Аспазия и Карлис Круза были готовы принять активное участие в этих концертах. Депутат Сейма Карлис Скалбе, хлопоча о выдаче визы, отмечал, что творчество Бальмонта по внутреннему своему наполнению созвучно поэзии латышской. Однако в визе было отказано. В Рижском историческом архиве, в соответствующих материалах министерства внутренних дел на этот счет никаких материалов найдено не было. Может быть, личные архивы Скалбе, Крузы, Аспазии помогут разрешить эту загадку?

Тем не менее наладилась тесная заочная связь через газеты «Сегодня», «Слово», «Наш огонек», «Перезвоны», а также «Brīvā Zeme» («Свободная земля»), «Jaunākās Ziņas» («Новейшие новости»), «Aizsargs» («Защитник»), «Latvijas Kareivis» («Латвийский воин»), «Jūrmalas Vārds» («Слово Юрмалы»), «Talsu Nākotne» («Будущее Талси»).

В день первой своей годовщины (ноябрь 1925 г.) журнал «Наш огонек» печатает юбилейные строки Бальмонта:

[...] Ныне, затерян в судьбинах и в чашах,
В ветре морском коротая свой срок,
Полный бокал возношу – за хранящих
В ветре и сумраках – «Наш огонек».
(1925, 4 ноября)¹

Не обошел своим вниманием поэт-изгнанник и редактора этого журнала. В послании В. Васильеву-Гадалину слышатся слова и мотивы, неотделимые от русского литературного зарубежья. Это и тоска по родине («Когда – в Россию?») и манящий образ «единственного» на белом свете края «первой метели»:

Лишь там возможно жить душою,
Где слушал первую метель,
Где няня верною рукою
Твою качала колыбель.
(«Наш огонек», № 17, с. 2)

¹ Наш огонек. – Рига. – 1925. – № 46, – с. 7.

В посвящении рижскому поэту Александру Ли (Перфильеву) напоминает о себе свойственная Бальмонту «всемирная отзывчивость», неумолчная музыка, прихотливая игра словом и ритмом:

[...] Опять – в изгнании.
Опять я мудр и светел.
И мне поет свой стих поэт, чье имя Ли.
Благодарю Судьбу.
Я вечно с звуком нежным.
В моих морях всегда крылаты корабли.
Весь в беспредельном я,
в бездонном и в безбрежном.
В чужом – на Родине я с Александром Ли.
(«Наш огонек», № 25, с. 7)

Самое полное выражение русской духовности в нерусском мире, высокую пророческую миссию Бальмонт видел в подвижнической деятельности Русского театра русской драмы.

Русские вечно желают свершенья,
Каждая правда в свершеньи светла.
Латвия – Море! В нас Море и пенье.
В Латвии Русским артистам – хвала!
(«Русскому театру в Риге»)¹

Ал. Лосев составил «Бальмонттовскую антологию» – из высказываний латвийских литераторов. Полистаем ее.

Петерис Эрманис: «В прозе Константин Бальмонт остается нежнейшим лириком. Ему дано проникнуть и в зеленые недра, и в солнечные выси. Его проза доносит холодные краски неба и звезд. И оказываются совсем сродни рассказам Рильке, переведенным Ларисой Рейснер».²

¹ Русскому театру в Риге. // Сегодня. – 1926. № 287.

² Latvijas grāmata. – 1923. – № 5/6, – с. 56 и след.

Фрицис Барда: «Голос Антонса Аустриньша вплетается в полифонию, где самые ответственные партии ведут первейшие исполнители многозвучного русского оркестра – Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов. У таких солистов учиться, право, не грешно».¹

Василий Гадалин: «Константин Бальмонт – это огненный знак в мировой поэзии, льющаяся через край строф музыка».²

Петр Пильский: «Ничто, пожалуй, так не враждебно Бальмонту, как понятный, осязаемый, реальный мир. Неизменно он окружен сладкой, нездешней, туманной и возвышенной иллюзорностью. В этом царстве фантастики он живет вечно влюбленным безумцем».³

Не получив латвийской визы, Бальмонт стал поэтом Литвы. О литовских поэтах, о литовских народных песнях и сказках он печатает эссе в газете «Сегодня», в «Слове». И нередко вместе с Литвою в его поэзию входит и Латвия.

Так произошло и в главном, автобиографическом стихотворении Бальмонта: «Морской сказ»:

Литва и Латвия, Поморье и Суоми,
Где между сосен финн Калевалу пропел,
Меж ваших говоров брожу в родном я доме.⁴

Алексей Ремизов (1877–1957)

В июне 1941 года на I съезде латвийских советских писателей Аншлавс Эглитис (Anšlavs Eglītis), желая продемонстрировать присутствующим русским литераторам прежние тесные контакты латышских и русских мастеров слова, рассказал популярному в Латвии тех лет Михаилу Зоценко о большой дружбе своего отца Виктора Эглитиса с Алексеем Ремизовым. Эффект был потрясающим: Зоценко за сто миль обходил Эглитиса, чтобы тот не заговорил

¹ Там же, с. 459.

² Для Вас. – 1943. – № 6.

³ Сегодня. – 1927. – № 124; 1930. – № 122.

⁴ Сегодня. – 1926. – № 130; Большая серия Библиотеки писателей. – Москва-Ленинград. – 1969. – № 499.

с ним о Ремизове. До того одиозной была эта личность белоэмигранта в 1941 году в Советском Союзе. Русские читатели с ним начали знакомиться много, много лет после хрущевской оттепели.¹

С Виктором Эглитисом Ремизов познакомился в Пензе после своей ссылки за революционную деятельность. Это было в 1899–1901 годах, когда Эглитис изучал там живопись. Вслед за Ремизовым Эглитис приезжает в Киев, надеясь на содействие русского писателя в получении прав учителя средней школы. Но из Киева Ремизов переселился уже в Петербург, и новая встреча происходит в Северной Пальмире.

Многочисленные детали этой большой дружбы и творческого сотрудничества описаны в многочисленных публикациях Л. Спроге и В. Вавере. Отметим здесь только, что Ремизов перезнакомил Эглитиса со всем петербургским поэтическим Олимпом в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова, где Эглитис не раз выступает с чтением латышских стихов, рассказами о латышской мифологии.

Результатом этой дружбы и явилась знаменитая поездка Алексея Ремизова с супругой на мельницу в Вадаксте Цесвайнского уезда, где они провели две недели, затем знакомился в сопровождении Эглитиса с Рижским взморьем и Ригой.

Результат поездки – рассказ Ремизова «Птичка» (Putniņš), который тут же опубликован в латышском переводе Валтса Давидса (Valts Dāvids) в литературном приложении газеты «Līdums» («Пашня») (1915, № 203–205). Русский писатель обстоятельно рассказывает о мельнице богатого латыша, его 30 коровах, свиньях, лошадях, садах и огородах, о взрослых и детях, с которыми приходилось говорить большей частью руками. Рассказ в латышском переводе завершается такими словами: «Mans mīļais putniņš, gudrais, apķērīgais – no šā laika kā putniņš vienā un tai pašā stundā modināja mani Milda, – un es sveicinu tevi, tavu zemi un tavu latviešu tautu!» (Спроге-Вавере, с. 61–63). [Моя милая птичка, умная, любопытная – с того времени, как птичка в один и тот же час будила меня Милда – и я приветствовал тебя, твою землю и твой латышский народ].

¹ Eglītis Anšlavs. Piecas dienas (Пять дней). – Rīga: Karogs-Press. – 1992, – с. 193–194.

Реакция Викторса Эглитиса на посещение Ремизовым Латвии была куда серьезнее: она вылилась в целый роман «Nenovēršamie likteņi» («Непреодолимые судьбы»).¹ То, что латышский роман написан по следам русского рассказа, убедительно доказывает В. Вавере в своем исследовании: те же мотивы поездки четы Ремизовых в сельскую местность Латвии, первые впечатления. Но дальше Эглитис подробно рассказывает о совместных экскурсиях на природу, к соседям, наконец, в Вецпиебалгу на народный праздник – концерт, где Ремизов знакомится с другими латышскими писателями, артистами, режиссерами, учителями, – поражен высоким уровнем образованности, эрудиции, знанием языков сельскими учителями.

Верный себе, Ремизов всюду ищет персонифицированных латышских богов – Лайму, Милду, Перконса, но тут же говорит о дриадах и наядах, которые вынырнут вот-вот из-под того кустика или мостка. Вообще в изображении Эглитиса не чувствуется, что Ремизов хорошо ориентировался в мифологии, умел бы отличить балтийскую от античной и шаманской. Иронические нотки особенно едко проскальзывают в изображении супруги Ремизова, которая никак не может преодолеть своего аристократического происхождения в контактах с простой латышской крестьянкой, пусть даже та и разыгрывает на рояле этюды и прелюдии.

Высмеивая увлечение Ремизовым и особенно его супругой теософскими науками, повышенным суеверием, с одной стороны, и выражая какое-то недовольство проживающим по соседству Карлисом Якобсонсом, который тоже претендовал на лидерство латышских писателей в формировании контактов с петербургской «Башней», Эглитис в своем романе подробно рассказывает о полете Якобсонса и супруги Ремизова на шабаш ведьм у Стабурагса. Причем Серафима Павловна хотела по русскому обычаю лететь на помеле, а Карлис Якобсонс настаивал на латышском национальном чурбане. После полета поэта пришлось поместить в больницу для душевнобольных (на самом деле это произошло спустя пять лет).

¹ Eglītis V. Nenovēršamie likteņi. – Rīga: Valters un Rapa. – 1926.

В романе не затушевываются и те идеологические расхождения между хоть и либеральным, но все же барином, считающим русскую культуру – ведущей и господствующей, и латышским националистом, амбиции которого с успехом латышского искусства, все более и более привлекающего внимание инородцев, в том числе русских и немцев, давали пищу для усиления самомнения.

Завершается роман весьма символически. В «Башне» – очередной спор: откуда пойдет обновление и возрождение? Для Вячеслава Иванова – одно решение – из Парижа, другие называют Москву как источник всех благ. Но вот двери открываются, и входит только что приехавшая из Риги Татьяна Гиппиус (сестра Зинаиды) и всех поражает своим «соломоновым» решением: обновление придет из... Риги.

После того, как стараниями В. Вавере и Л. Спроге «латвийские» главы романа Викторса Эглитиса были опубликованы (после чуть ли не годичного редактирования) в журнале «Даугава», на перевод этот откликнулся сын Ремизова, который был поражен верностью той характеристики, которую Эглитис дал и его отцу и, особенно, матери.

Как уже отмечалось, конкурентом Эглитиса по поддержанию дружественных связей с русскими поэтами, художниками, музыкантами был Карлис Якобсонс.

Латышский писатель у Ремизова в Петербурге уже в 1906 году. По мнению В. Вавере его ввел в дом русского писателя и мистификатора елгавский его друг и товарищ по перу немецкий переводчик Йоганнес Гюнтер.

И тут же начались мистификации Ремизова, распустившего слухи, что у него гостил известный немецкий поэт Георге. Другьям Ремизова только и оставалось удивляться, что знаменитый немец так хорошо говорит по-русски... Гюнтер никак не хотел расставаться с Петербургом, и Ремизов, чтобы спровадить его поскорее в Митаву, сообщил ему (это было в 1906 году!), что готовится новая волна возмущений. Гюнтер поспешил уехать.

Карла Якобсона Ремизов представлял как «лешего», и таким он фигурирует в книгах Ремизова.¹

¹ Ремизов А. Леший. // Огонь вещей. – Москва, 1989. – С. 429.

«После Стефана Георге и Фуад Намыки Петербург опустел. Приезжал какой-то швед, но ему надо было по верхам лазить, да и недолго он по Невскому жмурился, улепетнул назад в Стокгольм. Я только и успел снабдить его «информацией»: кто из петербургских знаменитостей, имел в виду Мережковского, и о каких Навуходносорах сочинение пишет. А на показ швед не поддался – так Стринбергу и не пришлось выступить – а имя громкое.

Самому себе очень просто надоест. С самогоном не очень развернешься. А свои с бездонных-то где найти – уж очень быстро исчерпываются. И я уж присмотрел замену: Леший. Вы не верите, могу повторить: Леший.

Это был латышский поэт, стеснявшийся своего имени: в Риге в том же самом доме жил сапожник Карл Роберт Екабсонс, и всегда их путали; пробовал менять квартиру, но, как нарочно, во всяком доме обнаруживался свой Екабсонс, и начиналась по-прежнему путаница.

И стал я Лешего таскать с собой по гостям. Большие у меня были надежды, но вижу, дело не выходит: не Стефан Георге, ни Фуад Намыка, латышским писателем кого удивить. Екабсонсов в Петербурге миллион, а что вид у него самый зверский, этим нас не удивишь. Накормить накормят, а читать никто не попросит.

Еще с неделю без выпуска просидел Леший у нас в столовой: я был его единственный слушатель.

По-латышски я ни слова, но всякий раз, как он читает свое:

– Айя жу жу –

я с ним попадал в лес, и с каждым стихом его забираюсь глубже – он читал не горлом, а нёбом.

Особенно затаенными вечерами – не зажгу света – в окно дождик, петербургская осень – косматый-клокастый, из-под хмурых глаз мне светит. И заводит:

– Айя жу жу –

И я жил у медведей – с медведями играл и обнюхивал, и у оленей – с оленями мерился бегом, рогами и хвостом и меня никто не тронет. И свой – зверь –

Кто оленюшке, кто медведюшке
в лесе колыбель повесил...»

Латышская колыбельная с нотами опубликована только в первом издании книги «Посолонь».¹ В последующих зарубежных изданиях ее нет.

В книге «Огонь вещей»² писатель рассказал, как он популяризировал песню Лешего, сам выступая с таким концертным номером.

«Я непрошенный, я не поэт, неожиданно для других, но главное, и для себя самого – было устроено вроде эстрады из ящиков, помню, как я пробираюсь со страхом и говорю себе: «Куда и зачем?» – вылез: «Баю-баю, медведевы детки, баю-бай». И оттого, что напев «Медвежьей колыбельной» я запомнил из моего сна, я не пел, а только вызвучивал ритм, а слова были звериные. Как это далеко к петербургскому! Вдруг наступила такая тишина – это бывает, когда покажется, что все провалилось, и только слышно один голос – свое.»

Максимилиан Волошин, один из популяризаторов якобсоновско-ремизовского медвежонка, оставил нам такой портрет Ремизова:

«Маленькая сутуловатая фигурка, бледное лицо, выставленное из старого коричневого платка, круглые близорукие глаза, темные, точно дырки, брови вразлет и маленькая складка, мучительно дрожащая над левою бровью, острая борода по-мефистофельски, заканчивающая это круглое грустное лицо, огромный трагический лоб и волосы, поднимающиеся дыбом с затылка, – все это парадоксальное сочетание линий придает его лицу нежно мучительное и притягательное, от чего нельзя избавиться, как от загадки, которую необходимо разрешить. [...]

Голос его обладает теми тайнами изгибов, которые делают чтение его нераздельным с сущностью его произведений. Только те могут вполне оценить их, кому приходилось их слышать в его собственном чтении. В печати это только мертвые знаки нот. О таких цветах, распускающихся в столетие раз, память хранит воспоми-

¹ «Посолонь». – Москва: Золотое руно. – 1907, – с. 78.

² «Огонь вещей». Москва: Советская Россия. – 1989, – с. 427.

нения более священные, чем о книгах, которые всегда можно пере-
честь снова.»¹

Очевидно, в этих особенностях внешности и, особенно, чтения и кроется успех популяризовавшегося им «медвежонка». У Волошина песня о медвежонкиных детях «была на слуху». Он сразу же сказал Ремизову «о своей приверженности медвежьей колыбельной», ибо в дарственной ему надписи на «Посолони» 16 января 1907 года автор обращался к «Максимилиану Александровичу Волошину – медведю лесному».

В воспоминаниях о Волошине Марины Цветаевой² приводится «умилительная песенка, которую Волошин постоянно напевал:

Баю-баю-баю,
Медведевы детки
Косо-лапы да лох-маты».

Ремизовский перевод совершил еще одно межъязыковое путешествие – был переведен на английский язык и, попав в Англию, оказался в «Медвежьей книге» – *The Book of the Bear* (Лондон, 1926 г.).

Здесь же уместно привести фрагмент из повести Павилса Грузны (*Pāvils Gruzna*) «*Jaunā Strāva*» («Новое течение»), посвященный рассказу Карла Якобсона о том, как его посвящали в «баккалауры декадентизма». По мнению слушавших – это был сценарий Ремизова, склонного к таким проделкам.³

«Нечеловеческое чудо это то, что они там уже предполагали мой приезд, и мне не удалось им устроить сюрприз. На церемониал встречи они собрались все *in согrope* и казались очень счастливыми. Некоторые господа и также прекрасные дамы держали мою медвежью лапу в своих ручках. И одна серая дама, кажется, это

¹ Волошин М. Путник по Вселенной. – Москва: Советская Россия, – 1990, – с. 181–182.

² Цветаева М. Живое о живых. // Сб. Соч. в 7 томах, Т. 4. – Москва: Элис Лак. – 1994, – с. 210, 654. Также: Тименчик Р. Литературные приключения латышской колыбельной. // Даугава. – 1983, – № 9, – с. 119–120.

³ Gruzna P. Bursaki. *Jaunā strāva* (Бурсаки. Новое течение). – R.: Zinātne. – 1992, – с. 316–319.

была Гипиус или Ахматова, меня даже поцеловала, как на Пасху. И я со словами «Христос воскрес!» поцеловал ее в ухо, в котором висела бриллиантовая серьга, ценою в тысячу рублей. И как пахли ее волосы, какое амбре! Встречный марш мне играл балалаечный оркестр, в котором декадентские инструменты, – они были похожи на сковородки и кастрюльки.

Затем уселись у самовара, из которого тек настоящий русский квас, закусывая квашеным огурцом и капустой, и мочеными в русской водке боровиками, ведь у них теперь пост. Разгоряченный квасом и боровиками я им сказал первую речь, пояснив, что с этнографической точки зрения у нас грибы мочат в уксусе, что никоим образом не может нас разобщить, наоборот, сближает, ибо уксус в конце концов есть побочный продукт Вакха или Диониса...

Они были в восторге, аплодировали мне без усталости, а оркестр играл марш, и многие по отношению ко мне кричали: «Парень не дурак, не толпак, а умница!» Я благодарил и передал с вашего позволения приветы от нашей семьи декадентов и братского единения, чему они очень радовались и подаренные народные варежки и трийдексны сразу же передали оркестру, а варежки одел сам дирижер. Первый номер «Dzelme» в золотом переплете, а также «Rīta Vlāzmi» с золотыми буквами они рассматривали долго, долго, обещали передать в Публичную библиотеку или в Эрмитаж, кроме того все клялись учить наш прекрасный латышский язык, ибо он очень напоминает славянскую кириллицу.

Вместе с тем моя обязанность с овациями была выполнена и настало время мне из них выпытать, что мне было необходимо. И вот началась серия Элевзинских таинств и священнодействий...»

Примечательна реакция слушателей, последовавшая за монологом Якобсона:

«— А не дурачили тебя там? – Хоть бы тот же Ремизов? Он на такие дела большой мастер, – возразил Эмилис как опытный петербуржец.»

И еще одна реминисценция из творчества Ремизова в латышской литературе.

В романе Карлиса Штралса «Karš»¹ главный герой Аугусте Стегис после ранения едет в поезде в Киев и слушает своих товарищей – русских военнослужащих разных рангов.

«А хороша же наша родина! (в латышском тексте романа напечатано по-русски), – воскликнул сидящий рядом поручик.

– Стоит за нее повоевать, не так ли? – откликнулся в соседнем купе второй, чувствовалось, еще молоденький, и еще энтузиаст.

Солнце было уже низко, и в этот момент несколько крестов далеких церквей бросало отблеск его лучей прямо на окна поезда.

– Но кресты! Но кресты! – продолжал восторгаться, частично словами ремизовской поэзии молоденький энтузиаст. – Не кресты, а свечи золотоплавные!»

Несмотря на то, что Л. Спроге и В. Вавере довольно обстоятельно изучили латвийские страницы Ремизова, нельзя утверждать, что мы знаем о нем уже все. Так, Б. Равдин² отмечает собрание неким Иваном Павловым частушек для Ремизова, скопившем у себя в Юзеполе Резекненского района все изданные Ремизовым книги; однако, ничего определенного никто из всех, кто о нем писал, сказать не могли, особенно при каких обстоятельствах Павлов стал корреспондентом русского писателя, куда девалась эта переписка, а также ремизовские книги.

Анна Ахматова (1889–1966)

В июле 1965 года в разговоре с Романом Тименчиком, Анна Ахматова сказала:

– А вы знаете, что Герой «Поэмы без героя» Всеволод Князев застрелился в Риге?

Произошло это в январе 1912 года, на лестничной клетке перед 9-й квартирой 45 дома на Церковной (Vazņīcas) улице.

Официальная версия трагедии вольноопределяющегося 16-го гусарского Иркутского полка – измена его петербургской любви балерины Ольги Глебовой-Судейкиной (по одной версии соперником

¹ Štrāls K. Karš (Война). 2. s. Tiets. 1964, – с. 56–57.

² Равдин Б. История и частушки: псковско-латгальский вариант. 1920-е годы – Даугава. – 2004, № 5, – с. 126–148.

Князева оказался сам Александр Блок), по версии же французского исследователя Э. Мок-Бикер юноша «нашкодил» тут же в Риге, и родители девицы «из общества» собирались жаловаться самому шефу полка.¹

Почему такое на первый взгляд событие не первой величины стало предметом одного из главных произведений поэтессы? И Князев и Глебова-Судейкина были близкими ей людьми. Но главное – рижская трагедия напомнила Ахматовой о каком-то мало или совсем неизвестном событии из ее личной жизни со сходным исходом. В 1959 году Ахматова записала в истории возникновения «Поэмы без героя» такие строки: «Всеволод был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу, что они навсегда слились для меня».

Присутствие Всеволода Князева в ахматовском стихотворении ощущается постоянно. Уже сам эпиграф взят из его стихов.

– Любовь прошла и стали ясны
и близки смертные черты. (Вс. К.)²

– Далее: «И гусарский корнет со стихами».

– А так как мне бумаги не хватило,
я на твоём пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
и, как тогда, снежинка на руке,
Доверчиво и без упрёка тает. (Ахматова, с. 585)

– «И шпор твоих легонький звон»
– И темные ресницы Антиноя. (Ахматова, с. 585)

¹ Тименчик Р. Рижский эпизод в «Поэме без героя» Анны Ахматовой. – Даугава. – 1984, № 2, – с. 120.

² Ахматова А. Стихотворения и поэмы. // Библиотека поэта. – Ленинград: Советский писатель. – 1984, – с. 606 (далее: Ахматова).

– «глупый мальчик с простреленным виском» (у Кузмина «гусарский мальчик») – зеленый цвет глаз (у Кузмина и Ахматовой) – цвет глаз Всеволода Князева.¹

Ахматова и Латвия, латыши...

На одной из лекций Б. Инфантьева в Институте усовершенствования учителей М. Ритмейстера (это было в 60-е годы XX века) прислала записку: «У Анны Ахматовой есть очень короткое стихотворение:

Утром, когда небо кубово
И под ногою хрустит пороша,
Полюбила я латыша,
Синеглазого, бритогубового.»

Стихотворение это ни в публикациях, ни в архивах пока не отыскано.

Рига, Латвия – не пустые звуки для Анны Ахматовой. На двинском фронте нес свою боевую службу Николай Гумилев. С Ригой связывала печальная судьба Всеволода Князева. В столице Латвии с 1920 года постоянно проживала и золовка Николая Гумилева Фрейганг-Гумилева (бывшая латгальская помещица).

В письме Ларисе Рейснер в Ригу (октябрь 1920 года) Ахматова просила своего адресата опустить в Риге письмо племяннице, о которой поэтесса давно не имела никакой информации.

С Латвией сроднила Ахматову и долгая работа над переводами стихов Райниса.

К переводу стихов Райниса Анна Ахматова обратилась по инициативе Мирдзы Кемпе. Латышская поэтесса, организуя с помощью Всеволода Рождественского переводческий коллектив для подготовки нового издания Райниса на русском языке, обратилась к Ахматовой с предложением взяться за новые переводы латышского поэта. Был 1953 год, и русской поэтессе к печатанию ее ориги-

¹ Долгополов Л. По законам притяжения. О литературных традициях в «Поэме без героя» Анны Ахматовой. // Русская литература. – 1979. – № 4, – с. 43, 51.

нальных стихов были положены непреодолимые преграды. Это-то и побудило Мирдзу Кемпе просить Всеволода Рождественского привлечь Анну Ахматову в число переводчиков. В результате более 50 стихов из сборников Райниса – «Gals un Sākums» («Конец и начало»), «Tie, kas neaizmirst» («Те, которые не забывают»), «Dagdas piecas skiču burtnīcas» («Пять эскизных тетрадей из Дагды»).

«Отобранные для перевода стихи отличаются большой эмоциональностью, – констатирует А. Приедитис, – сенсительностью, подчиненностью ассоциативным возбуждениям, по большей части ностальгическим чувством.»

«В переложении райнисовских стихов Ахматова не стремилась к самостоятельности и демонстрации своей личностной позиции. Она пыталась максимально точно отобразить идейные акценты, встречаемые в ее оригинальных произведениях и поэтическую атмосферу, и поэтическую форму. Всегда ясно чувствуется, что переводы выполнены с творческой приподнятостью, как могут трудиться только тогда, если работа близка и приятна, и не хочется ее по возможности скорее формально завершить. Ахматова бережно сохранила форму сокращенного сонета, специфическую для Райниса стихотворную форму.»¹

Не только Ахматова знала Ригу, Латвию, латышей. Были и ответные знания. Они восходят к 1914 году, когда «Рижский вестник» (№ 299) в обзоре русской литературы отметил сборник стихов молодой поэтессы «Четки» – яркое восприятие жизни, мучительные мысли о роковом значении любви.

В начале 20-х годов Ахматова популярная поэтесса не только в России. О ней пишут латвийские газеты различных направлений – и просоветский «Новый путь» (Чуковский), и монархический «Рижский курьер» (Божена Витвицкая), и «Сегодня»,² «Двинский голос», где Ахматова – «Страдалица последних черных лет» (1932, № 6). В последнем стихотворении обыгрываются строки Н. Гумилева о пуле,

¹ Priedītis A. Ahmatovas Rainis (Райнис Ахматовой). // Сīņa. – 1987, 12. IX; Приедитис А. Судьба не странная чета. // Даугава, – 1988, – № 9, – с. 111–113.

² 1921, № 261; Виктор Третьяков.

вылитой германским рабочим во время Первой мировой (об этом дальше), но которая настигла его в мирное время у себя на родине:

«Ведь пуля та, что отливал рабочий,
Пророчество исполнила его».¹

К русским голосам с самого начала 20-х годов присоединяются и латышские. Хербертс Дорбе (Herberts Dorbe) публикует стихотворение «Nāc, mīļais, nāc man apraudzīt...» («Приди, любимый мой, приди на меня посмотреть»)².

Информация об Анне Ахматовой, переводы ее стихов появляются в газетах «Talsu Nākotne» (1928, № 1), «Jaunais Ventspils Apskats» («Новый вентспилский обзор») (1930, № 20), в журнале «Daugava» («Даугава») (1935, № 10, переводчик стихов Валтс Давидс).

Появляются и первые посвящения русской поэтессе, отклики на ее мысли и стихи.

Антонс Аустриньш (Antons Austrīņš) в стихотворной форме печатает своеобразную рецензию на ахматовские «Четки»:

Es «Rožu kroni» šķirstu. Vakars
Kā paglabāts zils ceriņzieds,
Ar kuru atmiņām salds sakars,
Jūs, Pēterburgas dziesminiec! [...]
Pie loga lietus grabinājas,
Sāk vējš klāt sniega pārslas jaukt.
Var Rīgā justies jau kā mājās
Tak tiktos pie Jums ciemā braukt. [...]
Kaut gaišā elektrībā, salt' man,
Es raugos Jūsu portrejā,
Ko gleznojis ir Nathan Altman.
Es laikam sēdu caurvējā...³

¹ Тименчик Р. Из латвийской ахматовианы. // Даугава, – 1994, – № 6, – с. 3–19.

² Latvijas Vēstnesis, – 1921, – № 234.

³ Austrīņš A. Annai Ahmatovai. Klusuma gaviles. (Анне Ахматовой. Ликование тишины) – Rīga: Vairogs. – 1921, – с. 209.

«ЧЕТКИ»

Я «Четки» перебираю. Вечер
Как спрятанный цветок сирени,
С которым воспоминаний сладкая связь,
Вы, Петербург воспевающая! [...]
В окно дождь стучит,
Начинает ветер снежинки добавлять.
Можно в Риге чувствовать себя как дома
Так нравится к Вам в гости ехать (ездить) [...]
Хотя светло от электричества, я мерзну.
Я всматриваюсь в Ваш портрет,
Который написал Натан Альтман.
Наверное, сижу на сквозняке...

Анна Ахматова возвращается в латышскую литературу только в годы хрущевской оттепели, когда в Москве выходит новый сборник ее стихов («Karogs», 1962, № 3). В 1965 году читатели «Karogs» («Знамя») узнают о присуждении Ахматовой итальянской премии (№ 2). В 1966 году – о «Поэме без героя» (№ 2). В 1979 году поэзия Анны Ахматовой стала достоянием латышского читателя в переводе Лии Бридаки¹ (Lija Brīdaka).

В латышском зарубежье с Анной Ахматовой знакомились более обстоятельно. Там переведено и второе ее крупнейшее и знаменательнейшее произведение «Реквием», в котором она оплакивает мужа, арестованного сына, сотни и тысячи жертв сталинских репрессий. Сопоставление ахматовской поэзии с латышской пока еще ограничивается только перекличкой ее стихотворения «В сороковом году» («Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит») вирзовским пророчеством «Vaiga vasaga» («Суровое лето»).

Для литературоведов славистов и балтистов – изучение творчества Анны Ахматовой в контексте латышской литературы – еще непочатый источник для исследований.

¹ Ahmatova A. Baltie gājputni (Белая стая). – Rīga: Liesma. – 1983.

Федор Сологуб (1863–1927)¹

Федору Сологубу принадлежит честь быть первым символистом, чье творчество переведено на латышский язык. Случилось это в 1896 году. Первое переведенное произведение – «Червяк», за ним в 1897 году следовало стихотворение «Помоги», перевод которого опубликован в журнале «Austrums» («Восток»).

Настоящий переводческий бум произведений Сологуба начался после 1905 года. Всего из Сологуба переведено более 20 стихотворений, около 50 рассказов, 2 пьесы – «Победа смерти» и «Заложники жизни».

Переводы рассказов превалировали над стихами. По два раза переведены «В плену», «Прачки с длинною косою». По несколько раз переведены сологубовские «Сказочки» – «Крылья», «Глаза».

Некоторые произведения напечатаны отдельными изданиями: «Опечаленная невеста». В 1913 перевел Валтс Давидс, в 1914 – Эдуардс Шиллерс (Eduards Šillers).

Отдельным изданием на латышском языке вышли пьесы «Заложники жизни» (1913), «Победа смерти» (1914). Последняя пьеса ставилась в театрах Риги, Лиепай, Елгавы. Участвовал Густавс Жибалтс, в Лиепаве – Р. Таутмилис-Берзиньш. Рецензенты спектаклей пытались истолковать философию смерти автора: «Смерть у Сологуба прекрасна».

Руководство Лиепайского театра переписывается с Сологубом в связи с постановкой его пьес. О сологубовских спектаклях в Лиепаве пишут и рижские газеты.

Переводы сологубовского творчества для Лайценса, Яунсудрабиньша, Розитиса, Вульфса, Крузы были школой мастерства.

Как воспринимали латыши творчество Сологуба, свидетельствует хотя бы тот факт, что почитатель и переводчик Янис Карстенис (Jānis Kārstenis) (Шмитс) (1884–1921) знал все стихи своего кумира наизусть.

Карлис Круза (1884–1960) оставил обширные записи о своем восприятии стихов Сологуба, о встрече с ним в Риге в 1914 году.

¹ Источники: Вавере В. Федор Сологуб в Латвии. – Русская литература (С-Петербург). – 2000. – № 2, – с. 127–136.

«Очарование земли» Круза называет «замечательной книгой», очарован он и рассказом «Барышня Лиза». Круза собирался перевести «Мелкого беса», но так этот замысел и не осуществил, и главное произведение Сологуба на латышский язык не переведено.

С «Мелким бесом» рижская публика могла познакомиться по постановке в Театре русской драмы в 1910 году. Артурс Берзиньш (Artūrs Bērziņš) весьма скептически отзывается о переработке эпического произведения в спектакль. «Мелкий бес» по мнению рецензентов стал похожим на хаос Леонида Андреева.

За перевод пьесы «Заложники жизни» одновременно берутся и Круза и Аустриньш. Конфликт кончается тем, что Круза получает от Аустриньша 7 рублей отступного и работу над переводом прекращает.

Рижская лекция Сологуба «Современное искусство» состоялась 27 января 1914 года в зале Латышского общества и собрала много публики. Описание этого вечера сделал тот же неутомимый хроникер Круза. Однако, наиболее полный пересказ лекции принадлежит Адольфу Эрсу (Ādolfs Erss) в газете «Līdums» («Пашня»). (1914, № 13)

Под впечатлением этого вечера Аустра Далё написала стихотворение, которое Круза сравнивает с сологубовскими «Чертовы качели». (Sproģe, Vāvere, с. 114)

Сологуб бывал в Латвии с лекциями и раньше, в 1913 году в Цесисе и Лиенае. Посещения эти отразились и в стихах поэта.

Венден, 3 мая 1913 г.

По ступеням древней башни поднимаюсь выше, выше,
Задыхаюсь на круженьи сзади ветхих амбразур,
Слышу шелест легкий юбок торопливых, милых дур,
По источенным ступеням узкой щелью, выше, выше
Лишь затем, чтоб на минуту стать на доски новой крыши,
Где над рыцарскою залой обвалился абажур, –
Вот зачем я, задыхаясь, поднимаюсь выше, выше,
Выше кровель, выше храмов, выше мертвых амбразур.

Либава, 10 октября 1913 г.

Либава, Либава, товарная душа!
Воздвигла ты стены пленительных вилл,
Но дух твой, Либава, товар задавил.
Либава, Либава, товарная душа!
Живешь ты тревожно, разбогатеть спеша,
Но кислый дух скуки гнездо в тебе свил.
Либава, Либава, товарная душа!
Зачем тебе стены пленительных вилл?

В независимой Латвии интерес к Сологубу резко снижается вплоть до полного забвения. К нему возвращаются в своих исследованиях и сопоставлениях русского символизма и латышского декадентизма лишь Л. Спроге и В. Вавере.

Михаил Кузмин (1875–1936)¹

В Риге жил и нес непосильную для него военную службу упоминавшийся уже корнет Всеволод Князев, нежный поэт и, судя по некоторым нетрадиционным обстоятельствам, более, нежели просто друг Михаила Кузмина, поэта и романиста серебряного века, близкого к кругу Анны Ахматовой.

Поэтому мечта о встрече, пусть даже в Риге, неотступно преследует и Кузмина:

Поют вдали колокола
И чудится мне: Рига, Рига, –

читаем в одном стихотворении, написанном в 1912 году.

А в другом –

Зачем копьё Архистратига
Меня из моря извлекло?
Затем, что существует Рига
И серых глаз твоих стекло.

¹ Тименчик Р. Михаил Кузмин. – Родник, – 1989, № 1, – с. 16–17.

Зеленая гусарская куртка мелькает в стихах Кузмина:

На обоях сквозь дремоту
Вижу буквы «В» и «К».
Память тихо улетает,
Застилает взор туман.
Сквозь туман плывет и тает
Твой «зеленый доломан».¹

Летом 1912 года Князев появился в Петербурге, и Кузмин задумывает издать совместно со своим молодым собратом по перу сборник стихов. Иллюстрации к нему согласился сделать художник Сергей Судейкин, муж той самой балерины, подруги Ахматовой, из-за измены которой, по распространенной версии, застрелился молодой поэт.

С Судейкиным и его женой Ольгой молодой корнет подружился настолько, что поселился даже в их квартире у Летнего Сада.

В начале сентября 1912 года Кузмин приезжает к Князеву в Ригу, и картина города тут же ложится в его стихи:

Счастливый сон – ли сладко снится,
Не грежу – ли я наяву?
Но кровли кроет черепица...
Я вижу, чувствую, живу...
Вот улицы и переулки,
На полках вывески висят;
Шаги так явственны и гулки,
Так странен старых зданий ряд.
Иль то страница из Гонкура,
Где за стеной звучит орган?
Но двери немца винокура
Зовут в подвальный ресторан...
(Глиняные голубки, с. 29)

¹ Кузмин М. Глиняные голубки. – Сиб.: М. И. Семенов. – 1914, – с. 31 (далее: Глиняные голубки).

Князев тоже пишет стихи о Риге:

Когда застынет в мраке Рига,
К тебе я, звездной, прихожу...
Ты мне играешь танцы Грига,
Я прелесть рук Твоих слежу...
Когда ж потом огнем узоры
Померкнут в уличном стекле, –
Я ухожу... И только шпоры
Мою печать звенят во мгле.

Рижские впечатления год спустя Кузмин вмонтировал в роман «Плавающие – путешествующие», герой которого, также юный любовник опытной распутницы, оказывается вместе с ней в Риге. Именно здесь ему обещана реализация заветных желаний. Надежды юноши, однако, не осуществились. Получилось совсем наоборот: в гостиницу, где пара «влюбленных» остановилась, нагрянул душка военный, постоянный сожитель опытной дамы, и юноша вынужден ретироваться.

Но нас интересует другое – картина Риги в видении поэта:

«Из открытого окна, около которого было сделано возвышение вроде амвона, доносились голоса, какой-то мокрый стук экипажей и теплый запах листьев бульвара... Узкие улицы, даже середины которых были полны пешеходов, длинные палки вывесок, выступавшие почти на середину проезда, обилие старых домов, пивных подвалов и открытых кофеен – придавали несколько нерусский характер городу...»

Вот и все, что увидел Кузмин в Риге 1912 года... Князев видел в Риге еще меньше достопримечательностей. Все заслонял образ Ольги Судейкиной...

Все же одно обстоятельство, на что следует обратить внимание, это название Риги «страницей из Гонкура». Это отсылает просвещенного читателя к самому началу романа «Актриса Фостен» Эдмонда де Гонкура, к свиданию в брюссельском отеле под звуки нежной музыки, исходящей от органа соседней церкви.

В Риге Кузмин написал давно задуманный цикл «Бисерные кошельки» – как бы миниатюрный роман в стихах из эпохи 1820-х годов. Стихи эти предназначались для декламаторского репертуара Ольги Афанасьевны Судейкиной. Героиня, которая «ждала дружка из далека и не дошла кошелька» (а тот «погиб в дороге дальней») – опять Кузмин накликал беду), обращалась к далекому возлюбленному:

Печаль все о тебе, о мой корнет,
Чью прядь волос храню в своем комодe...
Одна нижу я бисер на свободе
Малиновый, зеленый, желтый цвет –
Твои цвета, увидишь ли привет?..

9 сентября Кузмин и Князев отправились в Митаву, куда их пригласил Иоганнес фон Гюнтер.

От своего немецкого друга русские поэты узнали о пребывании в Митаве Карамзина, а также и венецианского Дон Жуана и знаменитого мага и чародея.

Рассказы эти вылились в стихотворения каждого из двух друзей.

Стихи Кузмина:

Покойся, мирная Митава,
Отныне ты в моей душе.
Как замков обветшалых слава,
Иль запах старого саше.
Но идиллической дремоты
Бессильны тлеющие сны.
Когда мой слух пронзили ноты
Кристалльно-звонкие весны!
И осень с милым увяданьем
Мне непонятна и пуста...
(Глиняные голубки, с. 35)

Стихи Князева об этом уникальном для обоих друзей и весьма знаменательном событии гораздо конкретнее и обстоятельнее:

Вот в новом городе... Все ново...
Привез извозчик без резин.
К гостинице, где Казанова,
Когда-то жил и Карамзин
И где кудесник Калиостро
Своих волшебств оставил след.
Идем по лестнице... Так остро
Очарованье давних лет.
Все кресла, зеркала, комоды
И рамы старые картин
Еще хранят восторги оды
И трели милых клавишин. [...]
Свечей тяжелые шандалы
Стоят на шифоньере в ряд,
Как старой гвардии капралы, –
Хоть меркнут, но горят, горят...
А мы в зеленом доломане, –
Что делать мне? Лишь смерти ждать,
И на «Жильблаз де Сантилане» –
Романе, как сейчас гадать?
Гадать: дороги, скорбь, разлуки –
Что ждет меня в потоке дней?
Но вот коснутся милой руки –
И ярче солнца свет свечей!

Давняя дружба с Гюнтером – потомком ливонских рыцарей – в июне 1908 породила пространное стихотворение Кузмина «Всадник», навеянное преклонением перед западноевропейским средневековьем. Приводим фрагменты из этого стихотворения.

[...] В доспехе лат въезжает в лес верхом,
Узду спустив, молодой и бледный витязь. [...]
Заграждены его черты забралом,
Лишь светел блеск в стальных орбитах глаз. [...]
Но страха чужд был лик полудевичий

И без пятна золотых очей топаз.
Не преградит пути оракул птичий, –
«Идти всегда вперед» – вот рыцаря обычай. [...] Вдруг конь храпит, как бы врага почуя,
Трубит рожок несслыханный давно,
И громкий крик несется, негодуя:
«Ни с места, рыцарь, стой! Тебя давно уж жду я!»
Блестящий щит и панцирь искрометный
Тугую грудь приметно отмечал,
Но шелк кудрей, румянец чуть заметный,
Девицу в нем легко изобличал,
И речь текла без риторских начал:
«Браманта – я! Самцов я ненавижу,
Но миру дать вождя мне дух вещал.
Ты выбран мной! Пусть враг! Теперь увижу,
Напрасно ли судьба влекла меня к Парижу!»¹

Посещение Митавы и долгие беседы с немецким аристократом Гюнтером явились результатом рыцарской поэмы, фрагменты которой представлены выше.

Влияние давно минувшей поры – и в прозаическом произведении Кузмина – романе под претенциозным заглавием «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро».²

Работая над связями Кузмина с Латвией, А. Лосев высказывал такие суждения: Кузмин внимательно присматривался к уснувшей столице Курляндского герцогства, к закоулку всеевропейского XVIII века еще и потому, что давно задумал жизнеописание Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. И когда через четыре года принялся писать его, то уже с полным знанием дела наносил на бумагу. «В самом конце февраля 1779 года граф и Лоренца прибыли в Курляндский город Митаву и остановились в гостинице на базарной площади.»

¹ Кузмин М. Всадник. // Избранные произведения. – Ленинград: Худ. литература. – 1990, – с. 140.

² Москва: Худ. лит. – 1990.

Начало романа – приезд в Митаву Калиостро – в какой-то мере напоминает прибытие Кузмина и Князева. Они также остановились в гостинице на базарной площади.

Не вдаваясь в подробный анализ и оценку упомянутого романа, – это задача будущего, приведем лишь для иллюстрации один-единственный эпизод –

Глава 5 второй книги

«Деревья уже покрылись зеленым пухом, дороги просохли, запели птицы, пастухи уже недели две выгоняли стада в поле; граф устроил особенную ложу, посвятив все семейство Медем, их родственников, семейство Ховен, советника Швандера, нотариуса Гинца, доктора Либе и даже кенигсбергского майора Корфа, бывшего гонителя Калиостро, теперь приехавшего в Митаву и сделавшегося одним из самых ревностных учеников нового учителя. Граф делал последние наставления и проводил последние дни в кругу друзей, собираясь вскоре отправиться в Петербург. Предстоящее путешествие не очень нравилось митавцам, рассчитывающим, что Калиостро надолго, если не навсегда, останется в их городе, но наставник понимал, что его деятельность не может ограничиться Курляндией и что, несмотря на крепкие сердечные привязанности, путь его лежит все дальше и дальше. Семейство Медем считало его вполне за своего человека, особенно Анна-Шарлотта и ее жених, видевшие в Калиостро благодетеля и виновника их счастья. Они мечтали, что он отложит свой отъезд до дня их свадьбы, но Шарлотта не просила об этом, зная, что дела более важные, чем ее личная судьба, занимают графа, и втайне надеясь, что к концу мая он вернется в Митаву. Сам Калиостро был озабочен и несколько рассеян; часто во время бесед он умолкал, все молча ждали его слова, через минуту он проводил рукою по глазам, извинялся и продолжал свою речь усталым, разбитым голосом.

13 мая было назначено последнее собрание. Лоренца уже уложила сундуки и баулы, потому что на ранее утро были заказаны лошади.

Все были печальны и нервны, как перед отъездом. По обыкновению в комнату, где стоял стол с графином чистой воды, заперли

«голубя» (на этот раз маленького Оскара Ховена, как и в день приезда Калиостро) и, прочитав молитвы, сначала спрашивали у него, видит ли он, что делается в зале, чтобы знать, готов ли он принять видения. По знаку Калиостро Шарлотта опустилась перед ним на колени, держа в руках карманные часики. Сам граф стоял у двери в маленькую комнату, чтобы лучше слышать ответы голубя.

– Видишь ли ты нас? – спрашивает граф.

– Вижу! – раздается из-за двери.

– Что делает Анна-Шарлотта?

– Стоит перед тобой на коленях, в руках у нее часы, на часах десять часов.

Все это вполне соответствовало происходящему.

– Что ты еще видишь?

За дверью было тихо.

– Что ты еще видишь?

Опять не было ответа. Все молчали и напряженно ждали. Шарлотта так и осталась, не вставая с колен. Вдруг в голубиной комнате нежно и внятно прозвучал поцелуй.

– О, небо! – прошептала Шарлотта.

Повременив, Калиостро снова спросил:

– Что ты видишь?

– Духа, он в белой одежде, на ней кровавый крест.

– Какое у него лицо, милостивое или гневное?

– Я не вижу, он закрыл лицо руками.

– Спроси об имени.

– Он молчит.

– Спроси еще раз.

– Он продолжает молчать.

– Спроси как следует.

– Он говорит... он говорит, что позабыл свое имя.

Калиостро побледнел и произнес дрожащим голосом:

– Что ты еще видишь?

Молчание. И снова нежно и внятно прозвучал поцелуй.

– Среди нас Иуда! – закричал на весь зал граф, смотря пылающим взглядом на Анну-Шарлотту.

Та закрыла лицо руками, поднялась среди общего смятения, но, когда, отведя руки, взглянула на неподвижного Калиостро, с криком «он сам» упала на пол как бездыханная». (с. 77–79)

Калиостро и Казанова – митавские посетители, так же, как и Марита Скавронская – Екатерина Алексеевна, их образами литературоведы и историки до сих пор не решились пополнить исследовательскую шкатулку сопоставительного изображения этих персонажей в русской и латышской литературах. Здесь уместно напомнить, что роман Кузмина так и просится в сопоставление с такими замечательными произведениями латышской литературы как пьеса Яниса Гринса (Jānis Grīns) «Kaliostro Jelgavā» (Калиостро в Елгаве) и «Kaliostro Vilcē» (Калиостро в Вилце) Мартиньша Зивертса (Mārtiņš Zīvertis), «Kazanovas mēteli» (Пальто Казановы) Аншлавса Эглитиса.

Первая Мировая

Александр Куприн (1870–1938)¹

По количеству публикаций в нашем крае Александр Куприн занимает одно из первых мест и на русском и на латышском языках.

Еще до своего первого посещения Риги в 1909 году (так же как Брюсов, Куприн ежегодно – с 1909 года приезжает в Ригу подлечивать свои расшатанные нервы – в 1909, 1910, 1911 годах), латыши успели прочитать его «Белого пуделя», «Яму». За издание «Поединка» «Dienas Lapa» на время приостановлена. В Лиепайском театре поставлены «Клоуны». «Рижский вестник» увеличивает славу писателя своими ругательскими статьями по поводу «Ямы», особенно же достается, рассказу «Поединок», порочащему честь и славу русского офицера.

О днях и делах Куприна в Риге рассказывают и русские и латышские газеты (последние, правда, со слов русских корреспондентов, с самим писателем установить контакты не удается).

¹ Флаум Л. Куприн в Латвии. // Советская Латвия, – 1963, 25 авг.; Вайнсберг Лев. А. Куприн о Латвии. // Советская молодежь. – 1946, 30 июля; Ješins N. Rakstnieks A. Kuprins Latvijā (Писатель А. Куприн в Латвии). // Literatūra un Māksla. – 1963 – № 34, – с. 3.

В лечебнице доктора Эрнеста Соколовского, что за Двиной в Торенсберге неподалеку от парка Аркадии, писатель был постоянным посетителем. Сам он рассказывает: «Я живу степенно, отдыхаю, колю дрова, чищу снег, беру массаж. После восьми вечера отсюда уже никуда не пускают».

Вопреки запрету врачей, интенсивно занимается творческой деятельностью. Написаны «Нищие», «Гранатовый браслет», статьи о Пушкине.

Местным журналистам Куприн хвалит Ригу как хороший европейский город, богатый историческими реминисценциями, замечательной архитектурой; писатель стремится поближе познакомиться с жизнью местного населения, корреспондента «Рижского вестника» спрашивает о недавних событиях Пятого года, о деятельности карательных отрядов.

О контактах Куприна с местными русскими литераторами свидетельствует его посещение 12 февраля 1910 года литературно-художественного клуба, где прочел свое новое произведение «Пустые дачи».

Но особое значение в истории русско-латышских связей Куприн приобрел своими корреспонденциями военного времени с прибалтийского фронта. Цикл его статей под заглавием «Лифляндия» опубликован в «Русском слове» 29 и 30 октября 1914 года.

«В мой теперешний приезд, – читаем в корреспонденции Куприна, – я совсем не узнал Риги. Раньше это был веселый, шумный, живой, богатый город – один из самых прелестных портов России. Теперь на Двине нет кораблей. И рижских домов не узнаешь. Ах, есть ли на свете зрелище, печальнее опустелых домов, вымерших портов и остановившихся заводов?.. Рига – сердце Прибалтийского края! Не бьется сердце, – немеют руки и ноги.»

«Но это кажущееся бездействие обманет лишь поверхностного наблюдателя, – продолжает писатель. – Под внешним спокойствием совершается теперь во всем крае героическая, может быть, последняя схватка. Видали ли вы когда-нибудь тот решительный, страшный момент, когда борцы, опоясав друг друга руками, замирают неподвижно, точно каменная группа? Все мускулы напряглись, как

клубки корабельных канатов, ступни ушли по щиколотки в тырсу арены, на лбах вспухли ижицей синие жилы, зубы стиснуты, пальцы рук побелели, и только слышатся хриплое дыхание и хрустение костей... Именно в этом состоянии максимального, но со стороны незаметного напряжения сил находятся теперь бароны и латыши, господа и вчерашние рабы, праздные землевладельцы и люди, оросившие каждый клочок бесплодного края своим потом и унавожившие его своей кровью и трупам.»

Сказались и прежние свободолюбивые позиции Куприна, и уважительное отношение к латышам, как к угнетенной нации, и в дальнейших рассуждениях военного корреспондента:

«Представьте себе положение крестьянина, который любовно и терпеливо ухаживает за землей. Его хозяин и сосед – барон; крестьянский начальник – двоюродный брат барона; в городе, в полиции, в губернском управлении – троюродный брат; а четвероюродный сидит высоко в Петрограде, и выходит то, что немец немца тащит кверху за хвост. А самый близкий к ним немец жмет латыша в своих когтях... Несколько десятков баронских родов фактически попирают железной господской пятой исконное бесправное население Прибалтийского края, связывая его тесными путями.»

Куприн понимает и тесную связь судеб латышского народа с русским.

«Сейчас латыш идет на войну, как на настоящее серьезное дело, которое обеспечит его маленькому народу земельный простор и участие в великом деле российской гражданственности. И как идет! С тем же невозмутимым деловым видом, с тем же каменным упорством, с той же непреклонной волей, с какой он корчует болотистый лес под пашни или среди песков выгоняет в оранжереях абрикосы и раннюю землянику.»

Характерные для латышского народа упорство и энергия вызывают в Куприне глубокое восхищение:

«Надо только представить себе, какими удивительными путями настойчивости, терпения и суровой бережливости сумели латыши не только сохранить за собой жалкие земельные наделы, но даже и расширить их, округлить и упорным трудом поднять культуру до

высокой степени! Поистине, это – какое-то чудо человеческой энергии, поразительный пример стихийного вековечного тяготения к земле!..»

В доказательство справедливости своих суждений Куприн приводит слова одного латыша:

«Мы, латыши, твердо верим в близкое торжество русского оружия. Мы верим, что победа над Германией собьет с наших баронов их чванливую спесь и надменную жестокость. Мы верим, что голоса и влияние четвероюродных баронских братцев в Петрограде не будут заглушать истинного голоса латышского народа, который всегда хотел и хочет быть не пасынком, а сыном великой России. Оттого-то мы вовсе и не «рвемся в бой», как принято теперь говорить, а идем отвоевывать свое право на жизнь и честь, идем решительно, спокойно и просто, как идет мужик на пахоту».

Оценка боевых качеств латышского воина высока, тем более, что исходит из уст русского офицера.

«Хоть бы когда-нибудь он рассердился или взволновался. Нет, прет себе вперед, молчит и сопит, как медведь. Другие солдаты торопятся стрелять, все-таки шум выстрелов немного заглушает страх... А этот уляжется в цепи, умнет под собою аккуратно валик из скатанной шинели, целится-целится, точно на учебной стрельбе, просто терпение лопнет смотреть... «Бац!» – и опять методически целится. А стрелки надо сказать, они все первоклассные, обученные еще у себя дома, в вольных стрелковых обществах. И потом еще очень трудно заставить его отступить.»

Это мнение русского офицера в изложении Куприна тем более примечательно, что перекликается с мнением латышского писателя Александра Гринса, который в уста латышских стрелков – персонажей своего романа «Dvēseļu putenis» («Души в снежном вихре») вложил точно такие же суждения о русских солдатах.

Остается только привести стихотворные панегирики, адресованные Куприну на страницах латвийских газет.

Он скромн, прост, враг ухищрений,
Чужд твердокаменных доктрин,
Чудесный, яркий, русский гений,

Ну, словом... словом, он – Куприн!¹
Приятель балакловских рыбаков,
Друг тишины, уюта, моря, селец,
Тенистой Гатчины домовладелец,
Он мил нам простотой сердечных слов.²

Исследователь творчества А. Куприна, не оставит без внимания его передовиц, написанных к книгам П. Пильского «Тайна и кровь» (1927); Льва Максима «Когда в доме ребенок» (1929); Ив. Руденкова «Рассказы и очерки» (1930); его статьи «Петр Пильский» (Сегодня, 1931, № 108).

Николай Гумилев (1886–1921)

Кажется, никто из русских поэтов так основательно не изучил географию центральной и южной Видземе, как Николай Гумилев.

Если бы наши старшеклассники организовали экскурсию по следам Гумилева, то они должны были бы посетить следующие местности: Режица (Резекне), Люцин (Лудза), Двинск (Даугавпилс), фольварк Рандаль, боевой участок вдоль Двины (Даугавы) от Лауры до реки Иван; Калупе, Вецваркава, Малпилс, фольварк Вите, Анкориж, мыза Грос-Кангерн, фольварк Сунцель, Иерики, фольварки Шоре, Дейбене; боевые позиции у Скривери и Кокнесе, Заубе (здесь остановка у векового дуба, поразившего поэта и отраженного в его стихах); Таурупе; Меньгеле, Вецбебры, Яунбебры, фольварк Озолы, окопы от Капостына до Надзина (неподалеку от Кокнесе).

Это – та территория, на которой в конце марта 1916 года расположился 5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, куда 28 марта был переведен прапорщик Николай Гумилев.

О делах и днях поэта на латвийском фронте красноречиво рассказывают официальные документы, сохранившиеся в архивах,³ письма

¹ Lolo. / «Сегодня». – 1926. – № 7.

² Игорь Северянин. // Сегодня. – 1926. – № 7.

³ Степанов Е. Несколько страниц из жизни прапорщика гусарского полка Николая Гумилева. // Даугава. – 1994. – № 2.

самого мастера художественного слова, его стихи, воспоминания современников.¹ По этим материалам с предельной точностью можно составить представление о ходе военной службы поэта, совершении им переходов, о восприятии им природы Латвии, о мелочах военного быта.

Первые латвийские контакты Николая Гумилева установились с Люцином (Лудзой), где был расквартирован с 16 марта лейб-гвардии уланский полк – первое место службы Николая Гумилева. Сюда он прибыл в начале апреля, чтобы распрощаться со своими прежними товарищами, а также посетить свояченицу Анну Андреевну Гумилеву-Фрейганг – жену брата Дмитрия, проживавшего после контузии на фронте в родовом имении жены «Крыжуты» около Люцина.

7 апреля Николай Гумилев отбывает на новое место службы – в 4-й эскадрон, который размещался на побережье Двины (Даугавы): штаб на реке Дубне в фольварке Рендаль (Арендоле).

Примечательно: в день прибытия нового обер-офицера в полк, в «Одесском листке» появляется стихотворение Николая Гумилева с такими, впоследствии знаменательными, вещими строками:

... Пуля, им отлитая, просвищит
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
(«Рабочий»)

Речь в этом стихотворении шла о немецком рабочем, изготавливающим пули для своего вермахта.

Как уже говорилось, Анна Ахматова в своем «Реквиеме» вспомнила об этой пуле, только настоящая была отлита не немецким, а русским (советским) рабочим.

Сохранились многочисленные воспоминания сослуживцев о поэте, уже тогда пользовавшемся большой популярностью.

¹ Тименчик Р. «Над седою, вспененной Двиной...» Н. Гумилев в Латвии: 1916–1917. // Даугава, – 1986, – № 8, – с. 115–121.

Оруженосец при штабе дивизии поручик В. А. Карамзин: «...вся фигура <прапорщика Гумилева> выражала чувство собственного достоинства. Он ходил маленькими, но редкими шагами, плавно, покачивая на ходу головой.

Я начал с ним разговор и быстро перевел его на поэзию.

– Правда ли это, что наше время бедно значительными поэтами? – начал я. – Вот если мы будем говорить военным языком, то мне кажется, что «генералов» среди теперешних поэтов нет.

– Ну нет, почему так? – заговорил с расстановкой Гумилев, – Блок вполне «генерал-майора» вытянет.

– Ну, а Бальмонт в каких чинах по-вашему будет?

– Ради его больших трудов ему «штабс-капитана» дать можно.

– Мне думается, что лучшие поэты перекомбинировали уже все возможные рифмы, – сказал я.

– Да, обычно это так, но бывают и теперь открытия новых рифм, хотя и очень редко. Вот и мне удалось найти шесть новых рифм, прежде ни у кого не встречавшихся.»

Командир четвертого эскадрона подполковник А. Е. фон Радецкий: «Хороший офицер и парень хороший».

В. А. Карамзин:

«Во время обеда <осенью 1916 года, на встрече нового командира четвертого эскадрона ротмистра Мелик-Шахназарова> медленно поднялся Гумилев. Размеренным тоном, без всяких выкриков, начал он свое стихотворение, написанное к этому торжеству. «Полковника Радецкого мы песнею прославим...» Стихотворение было длинное, написано мастерски. Все были от него в восторге. Гумилев важно опустил на свое место и так же размеренно продолжал свое участие в пиршестве. Все, что ни делал Гумилев – он как бы священнодействовал.

... тогда он для всех нас, однополчан, был только поэтом. Теперь же, после мужественной и славной кончины он встал перед нами во весь свой духовный рост, и мы счастливы, что он был в рядах нашего славного полка.»

Ротмистр Сергей Топорков: «<Гумилев> обращал на себя внимание своим воспитанием, деликатностью, безупречной исполнительностью и скромностью.»

Полковник А. Н. Коленкин:

«Поэзия Гумилева незаурядна.

Гумилев исполнял просьбы читать свои стихи с удовольствием. Всегда молчаливый, он загорался, когда начинался разговор о литературе, и с большим вниманием относился ко всем любившим писать стихи. Много у него было экспромтов, стихотворений и песен, посвященных полку и войне. С гордостью носил Гумилев полковой нагрудный знак и чтит традиции полка.»

Из этих экспромтов сохранился только один, адресованный «командиру 5-го Александрийского полка»:

В вечерний час на небосклоне
Порой промчится метеор.
Мелькнув на миг на темном фоне,
Он зачаровывает взор.
Таким же точно метеором,
Прекрасным огненным лучом,
Пред нашим изумленным взором
И вы явились пред полком.
И, озаря всех приветно,
Бросая всюду ровный свет,
Вы оставляете заметный
И – верьте – незабвенный след.
(1916 г.)

О службе Гумилева, его участии в военных операциях исчерпывающие свидетельства находим в официальных документах: журналах военных действий, донесениях, приказах...

Уже через три дня после прибытия в полк Гумилев покидает тихий Рандаль, сменяет в окопах драгун и занимает боевой участок от Лавренской (Лауры) до реки Иван.

Что происходит в это время на фронте?

«13 апреля. Неприятель изредка обстреливает тяжелой и легкой артиллерией ж. д. и фольварк Авсеевку...

14 апреля. Неприятель одиночными выстрелами артиллерии по ф<ольварку> Ницгаль, по ф. Авсеевка выпустил 4 тяжелых снаряда...

15 апреля. По станции Ницгаль выпущено ночью 2 снаряда.»

Такая тихая взаимная перестрелка продолжалась до 22 апреля, когда русской артиллерии удалось зажечь деревню Ружа, где находились склады. После взрывов неприятель обстрел усилил. В журнале военных действий появляются более трагичные записи:

«23 апреля. Целый день сильный огонь противника. Огонь по Авсеевке, подожгли юго-восточные строения фольварка. Огонь прекратили и отстояли рощу и господский двор, имевший важное тактическое значение.»

Особо отличился гумилевский, четвертый эскадрон.

27 апреля. Гумилев присутствовал на торжественном молебне по случаю дня тезоименитства в деревянной церкви деревни Новой, неподалеку от Ницгале.

26 апреля. 4-й эскадрон возвращался в Рондаль через Колуб (Калупе), так как на Варков (Вецваркава) стало совсем непроходимо из-за нахлынувших дождей.

Пока полк стоял в резерве, ежедневно проводились эскадронные учения. В приказах по полку нередко упоминается Гумилев как дежурный.

16 мая. Гумилев в Царскосельском госпитале. Но и здесь война, недавние бои не оставляют его. В стихотворении, посвященном 15-летию великой княгини Анастасии, он вспоминает:

...Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях...

Вернулся в полк Гумилев только в июле. К этому времени 5-й гусарский полк был передан в резерв 12-й армии и отведен от линии фронта в район севернее Зегавольда (Сигулды). Штаб размещался в Витенгофе (Вите), затем был переведен в Шлосс-Лембург (Малпилс), 4-й эскадрон – в Анкориже.

Начались систематические учения по эскадронам, раз в неделю – общеполковые, которые проходили у мызы Гросс Кангерн, в 30–35 верстах от дислокации полка. Во время этих военных занятий разного рода и характера появляются новые местности – фольварк Сунцель.

О своей службе 2 августа 1916 года Гумилев пишет матери:

«Я уже вторую неделю в полку и чувствую себя совсем хорошо, кашляю мало, нервы успокоились. У нас каждый день ученья, среди них есть и забавные, например, парфорсная охота. Представь себе: человек сорок офицеров, несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес, через пашню и вдобавок берущих препятствия: канавы, валы, барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно – посередине очень крутого спуска – забор и за ним канавы. Последний раз на нем трое перевернулись с лошадьми. Я уже два раза участвовал в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое удивление».

В этом же письме и чисто бытовые зарисовки:

«Здесь, как всегда, живу в компании и не могу писать. Даже «Гондлу» не исправляю, а следовало бы, у нас в эскадроне новый прапорщик из вольноопределяющихся, очень милый. Я с ним, кажется, сойдуся, и уже сейчас мы усиленно играем в шахматы».

Упомянутый в тексте вольноопределяющийся по фамилии Кордтс – явно не русского происхождения, скорее всего – из немцев или латышей.

В начале октября гусарский полк передислоцирован в район станции Ромоцкая (Иерики), штаб полка разместился в Шоре, четвертый эскадрон занял Дейден, за озером Ассари. Здесь полк оставался до 18 ноября.

8 ноября 1916 года Гумилев пишет Ларисе Рейснер:

«Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность. У меня хорошая комната, денщик, профессиональный повар. Как это у Бунина?»

Вот камин затоплю, буду пить,
Хорошо бы собаку купить.

У меня «Столп и Утверждение Истины» (П. Флоренского), долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит, как вино, и склоняет к надменности солипсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существование, яркое и прекрасное... Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они – олицетворенье самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег – это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер, и дождь, и грязь, когда она верит, что никто не заметит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томленьем. Лери, правда же: этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологии...»

18 ноября полк построен у фольварка Венчи (на дороге из Скоры в Нитау-Нитауре) и направляется в Нитау. Цель похода – окопы в Фридрихштате (Скривери) и Кокенгузене (Кокнесе). За день было пройдено 45 верст. Проследовали через Нитау, Шлосс-Юргенбург (Заубе). На ночлег остановились в районе Фистелена (около нынешнего Таурупе).

Как выяснил Евгений Степанов, «когда попадаешь в Заубе, бывший Шлосс-Юргенбург, невольно на память приходят гумилевские строки из открывающего сборник «Костер» стихотворения «Деревья»:

Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни.
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы – на чужбине, а они – в отчизне.
Глубокой осенью в полях пустых
Закаты медно-красные, восходы.
Янтарные окраски учат их –
Свободные зеленые наряды.
Есть Моисей посреди дубов...

Вдоль дороги стоят тысячелетние дубы, особенно поражал воображение один из них – подлинный «Моисей»...

На следующий день пройдено 22 версты, и переход завершился.

«Выступили около 10 часов утра. Мороз, дороги неважные, шли по маршруту Фистелен, Ремер (между нынешними селами Меньгели и Вецбебры), Альт-Беверсгоф (Вецбебры), Ней – Беверсгоф (Яунбебры).» Штаб разместился в господском доме в Ней-Беверсгофе, четвертый эскадрон – в Озолино (Озолы).

С 20 ноября по 3 декабря 5-й гусарский полк стоял в резерве в районе Ней-Беверсгофа. 26 ноября Гумилев участвовал в параде Георгиевских кавалеров в День ордена.

3 декабря – снова в окопы. Построение у мызы Ней-Беверсгоф. Гумилев – дежурный по коноводам. В окопах на этот раз от Капостина до Надзина четвертый эскадрон – в правом участке.

Окопы – по правому берегу излучины Двины в районе села Ритери, неподалеку от Кокнесе. Теперь эта территория находится под водой Плявинского водохранилища.

Чуть ли не из окопа (во время краткой отлучки) письмо Ларисе Рейснер (8 декабря):

«Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю. Вспомните, Вы мне обещали прислать Вашу карточку. Не знаю только, дождусь ли я ее, пожалуй, прежде удеру в город пересчитывать столбы на решетке Летнего Сада».

На праздники Гумилев оказывается в отпуске и осуществляет свои намерения.

29 декабря – снова в окопах, на этот раз на участке от Капостина до Надзина. Четвертый эскадрон оказывается в резерве в Меж-Арлуп. Теперь противник явно активизируется:

«30 декабря. Артиллерия противника обстреливала участок № 1.

31 декабря. Артиллерийская и ружейная перестрелка...»

Сохранились написанные рукой Гумилева донесения о положении на обороняемом участке в течение суток.

«Подполковнику Дерюгину.

1917, 1 января. № 29 из окопов участка № 4.

15 ч. – Было видно, как противник, производя работы, выбрасывал землю из окопов у д. Кальна-Каркас.

16 ч. – Одиночные выстрелы противника от д. Баумштейн; десять выстрелов нашей батареи по Кальна-Каркасу и окопам.

21 ч. – Одиночные выстрелы противника.

24 ч. – Выстрел нашей артиллерии на ту сторону Двины, причем разрыва не последовало.

Прапорщик Гумилев.»

Такие автографы – донесения сохранились от 3, 5, 7 и 9 января.

10 января окопный период снова завершился.

Об этом периоде фронтовой жизни Н. Гумилева сохранились воспоминания штаб-ротмистра Александра Посажного, в течение двух месяцев квартировавшего в одной с Гумилевым избе.

Однажды повествователь, Шахназаров и Гумилев, идя по открытому месту, были неожиданно обстреляны с другого берега Двины. Оба спутника Гумилева спрыгнули в окопы. А их товарищ нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папиросу, бравирюя своим спокойствием. Закурив, он также спрыгнул в окоп, где командующий сильно разнес его за ненужную в подобной обстановке храбрость.

В январе 1917 Гумилев пишет М. Лозинскому и Л. Рейснер, у первого просил прислать много книг и лыжи:

«Я живу по-прежнему: две недели воюю в окопах, две недели скучаю у коноводов... Впрочем, здесь масса самого лучшего снега, и если будут лыжи и новые книги, «клянусь создателем, жизнь моя изменится».

Ларисе Рейснер:

«... в первый же день приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошло две недели. Из окопов может писать только графоман, настолько все там не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходить. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес... Теперь я временно в полуприличной обстановке и хожу на аршин от земли. Дело в том, что заказанная Вами мне пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо

мною ясней и ясней. Сквозь «магический кристалл» (помните, у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вспоминаю, как собака, увидевшая взволнованный ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушениям невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задумчивости и теплоты, а не упражнялся в писанье рондо, ронделей, лэ, вирелэ и пр... Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой удалью, и верить, как на войне, в свое гусарское счастье... Теперь, Леричка, просьбы и просьбы: от нашего эскадрона приехал в город на два дня солдат, если у Вас уже есть русский Прескотт (У. Х. Прескотт – «Завоевание Мексики»), пришлите его мне. Кроме того, я прошу Михаила Леонидовича купить мне лыжи и как на специалиста по лыжным делам указываю на Вас. Он Вам, наверно, позвонит, помогите ему. Письмо ко мне и миниатюру Чехонина (если она готова) можно послать с тем же солдатом...»

Книга Прескотта пришла через несколько дней, нужных лыж в Петербурге не нашлось, миниатюра была еще не готова – обо всем этом Гумилев узнал из полученного через несколько дней письма Л. Рейснер.

23 января вместо окопов Гумилев попадает в командировку для закупки сена частям дивизии.

Письмо к Л. Рейснер:

«Я уже совсем собрался вести разведку на ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для дивизии. Так что теперь я в такой же безопасности, как и Вы. Жаль только, что приходится менять план пьесы: Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел».

На этом «латвийская эпопея» завершается: Гумилева отправляют на Западный фронт к союзникам.

Контакты с Латвией продолжались заочно. Пребывание же его на латвийских позициях всплывает также в весьма посредственной поэме его однополчанина Александра Посажного «Эльбрус», в ста-

тье Георгия Иванова о военных стихах Гумилева («Сегодня», 1931, № 239), в систематических публикациях (до 1931 года) его стихов в русской печати Латвии, в статьях о нем В. Немировича-Данченко, Г. Иванова, А. Амфитеатрова, В. Ходасевича, П. Пильского, Б. Харитона, В. Третьякова, Александра Ли.

В памяти рижан долго сохранялся организованный в Риге вечер памяти Гумилева и Блока.¹

Память о Гумилеве, его героической гибели свято хранилась в сердцах и памяти русских белоэмигрантов. Его вспоминает и «раскаявшийся» латышский чекист Карлис Лапиньш (Kārlis Lapiņš), в 1929 году в Риге выпустивший «покаянный» роман «Nemiera raaudze»² («Беспокойное поколение») о своей деятельности в ЧК.

«Раскаявшиеся» чекисты вспоминают загубленные невинные светлые умы России: Плеханова, профессор Лазаревского, Кокошкина с Шингаревым, поэта Гумилева (в латышском тексте романа Humilevs). «Брат Чарли, сколько русских людей мы убили? – опять шепчет Салак, и нельзя понять, то ли он стонет или бредит.»

Из стихов Гумилева только одно переведено Валдисом Гревиньшем (Valdis Grēviņš) в 1923 году («Jaunākās Ziņas», 1923, № 161). Зато в ГУЛАГах именно латыши по версии современного писателя Валентина Якобсона читают своим русским товарищам по камере стихи Гумилева, вызывая их удивление тому, что своих русских поэтов советские люди не знают, даже имена их слышат впервые («Septītā. Facēsija» – «Karogs», 1997, № 4).

Стихи Гумилева переводила А. Айзпуриете (Amanda Aizpuriete) в 1990 году, опубликовав в своем сборнике «Nākamais autobuss» («Следующий автобус») и краткую информацию о поэте, и его стихи в этом сборнике «Nomaldījies tramvajs» («Заблудившийся трамвай»), «Sestā maiņa» («Шестая смена»), «АА».

¹ Сегодня вечером. – 1931. – № 265.

² Rīga. «A/S Izdevējs» – «Jaunie daiļdarbi», 1929, – с. 142.

Леонид Соболев (1898–1971)¹

«Лето 1917 года я проплавал рядовым матросом на миноносцах в Рижском заливе – сигнальщиком, потом командиром бакового оружия».² Так писал Соболев в 1963 году, вспоминая свое славное военное прошлое гардемарина, плавающего между Либавой и Виндавой рядом со своим старшим братом, офицером царского флота.

В непосредственных контактах с латышами зарождается в русском юноше любовь и уважение к тем коренным жителям, с которыми ему приходилось повседневно встречаться и на корабле, и на суше, как и ко всему латышскому народу.

«Мы, русские люди, – писал впоследствии Соболев, – любим и уважаем латышей, ценим их трудолюбие и железную настойчивость, их природную честность, их высокую верность своему слову, их удивительную музыкальность, их поэтичность в литературе и в чувствах. Мы знаем и любим их спокойный, я бы сказал, медленный юмор – ведь не сразу скажет латыш свое острое слово, но уж как скажет, словно двумя кулаками припечатает человеку едкое словцо, меткую критику, припечатает так, что надолго останется в памяти.» («На главном курсе», с. 367–368)

Еще бы Леониду Соболеву не любить латышей! Ведь они – латышские большевики-моряки – из царского офицера сделали советского писателя, который своим творчеством и помышлениями полностью вписывался в канон социалистического реализма, за что награждался всяческими почестями и признанием.

С одним из этих латышских большевиков Яковом Шмитом Соболев встретился в Лиепе в 1961 году. Об этой радостной встрече писатель вспоминал в уже упоминавшейся книге 1969 года:

«Мне было приятно встретить в Лиепе старого моего сотоварища по службе Якова Яковлевича Шмита. Мы плавали с ним на двух кораблях: на учебном судне «Океан» (впоследствии «Комсомолец»)

¹ Звирбуль Ю. (Лиепая). Страницы жизни. // Советская Латвия, – 1961, 18 июня.

² Соболев Л. На главном курсе, – Москва: Сов. Писатель. – 1969; Соболев Л. Братство, скрепленное кровью. // Советская Латвия. – 1963, 6 ноября.

и на линейном корабле «Октябрьская революция». Я был старшим, он – младшим штурманом». (с. 372)

Далее читаем имена других латышей-большевиков, оказавших юноше дворянского происхождения свою коммунистическую поддержку в критические для него минуты «смены вех». Это – комиссар корабля «Октябрьская революция» Янис Бириньш, председатель организационного комитета Первого съезда писателей по Ленинграду Робертс Баузе (Roberts Bauze), писатель Янис Калниньш, машинист эсминца «Крепкий» Колангс, множество других друзей латышей. Все они вошли в память Л. Соболева, в биографию и в его литературные работы «еще одним доказательством удивительных свойств латышского народа: спокойствием, прямоотой, честностью, и поразительным латышским юмором, медлительным и беспощадным.» (с. 372)

Соболев ничего не говорит о той трагической участи, которая ожидала его латышских друзей в страшные дни сталинского геноцида. Не знаем, как дело обстояло с Баузе, Колангсом, Бириньшем и Калниньшем, но Шмита Соболеву удалось спасти своим поручительством и хлопотами. Красноречивые свидетельства – благодарственные письма Шмита Соболеву, которые хранились у дочери латышского большевика доцента университета Ирмы Яковлевны Элсберг, и о судьбе которых, после ее смерти, нам ничего неизвестно.

Так вот почему главный герой главного произведения Л. Соболева¹ «Капитальный ремонт» латыш Карл Вайлис – кочегарный унтер-офицер второй статьи, сам недавний кочегар, выдвинувшийся своей грамотностью, сообразительностью. «Он стоит третьим с правого фланга, небольшой, но плотный, спокойный, глаза голубые, ясные, как у ребенка, губы плотно сжаты, с усмешкой какой-то. Беспokoйный матрос, подковырка у него во всех словах, и слова у него какие-то книжные, может, потому, что он плохо говорит по-русски.» (Капитальный ремонт, с. 106)

В царском флоте и в XX веке господствуют средневековые порядки – наследие времен Петра I – телесные наказания, мордобой,

¹ Соболев Л. Капитальный ремонт. // Собр. соч. в 6 томах. Т. I. – Москва: Худ. Лит., – 1972.

грубость, возведенная в единственно возможные контакты начальников и подчиненных.

Вайлис – обыкновенный заурядный «низший чин» из простых людей, он далек от широко распространенных, в том числе и во флоте, социалистических идей. Но реальная действительность должна привести его, в конце концов, к единственно правильному выводу – к революционному решению. Роман остался незавершенным, поэтому этот путь в революцию только намечен.

В Карле Вайлисе все те черты характера, которые Соболев приписал латышскому народу, но особенно на наш взгляд писателю удалось отобразить русскую речь Вайлиса, которая существенно отличается и лексикой, и стилистикой и даже грамматикой от речи русского человека, особенно, если учесть склонность Вайлиса к иронической метафоре.

– Я не подговаривал, – пытается обелить себя Вайлис в глазах старшего офицера фон Грече (кстати, и эта черта подмечена писателем: во флоте много отпрысков знатных остзейских баронских родов). – Спрашивайте со всех матросов.

– Есть у них время тебя судить, – сказал Вайлис, усмехаясь. – У тебя горячая голова.

– Повезли турусные колеса, геморрой их бабушке... Они, кажется, собираются потолковать с нами на суде о погоде и пряниках...

– Венгловский, прикрой немного поддувало, такие слова нельзя говорить громко. [...] У таких слов есть крылья! Они летают куда не надо, до самых офицерских ушей.

– Ну, кочегары. Не хороните вашу любимую тетку! Поднимите носы повыше! В крайнем случае – мне срежут нашивки, а вы постреляете рябчиков... Давайте лучше кушать борщ, это успокаивает!

– Ну, тише, тише, закрой дырку, дует. Не авральте все, ну!

– Ну, мокрые курицы. Нечего в штаны класть. Пары разводиться надо. Поход!

– У меня была глупая тетка. Она умерла от любопытства. Она все добивалась узнать, которого числа будет второе пришествие.

– У меня мозги еще в порядке, я знаю, что за это бывает. Товар не стоит свечки!

– Ко мне придраться не за что.

– Один человек собрался скушать волка. Он подбил все стадо. Все были очень храбрыми, как ты, и кричали, что их много. Волк прекрасно пообедал в этот день. Прощай! Не замешивай меня в эту сказочку, у меня никогда еще не гулял в голове сквозной ветер.

– Я думаю, суд для того и существует, чтобы слушать противничающие стороны. За нас виноват фельдфебель Сережин.

– Если вас будут ударять в лицо, вы тоже махнете руку защищаться.

– Это очень неприятно, когда дают в морду, и кроме того, это запрещено законом.

– Может быть, у него были нужные дела.

Леонид Соболев и его роман ждут своего латвийского исследователя.

Дмитрий Фурманов (1891–1926)¹

Дмитрий Фурманов в 1916 оказался под Двинском, в лагере раненых и выздоравливающих у озера Стропы («Погулянка»).

Сохранились его дневники этой поры,² стихотворения «В бурю» и «Лагерь».

Приводим фрагменты его дневников

Дм. Фурманов с командиром 28-го Сибирского отряда по транспортировке раненых Георгием Гребенщиковым и военнослужащим Кузьмой «поехали за город <Двинск> и нашли – да еще какое – место! Зеленая луговина, словно месяцем, окружена сосновым лесом, а в ширину, между рогами месяца, серебрит Стропское озеро. И красота и удобство соединились тут пополам. Сухо, чисто, зелено, близко к воде, близко к шоссе, близко к городу. Решили наутро же собраться переехать в лес. Вскочили чуть свет... собрали инвентарь, фураж, забрали фурманки, впрягли лошадей, тронулись.

¹ Иешин Н. Дмитрий Фурманов в Двинске. // Красное знамя. – 1964, – № 35; Куприяновский П. Дмитрий Фурманов в Латвии. // Советская Латвия. – 1966. – № 276.

² Фурманов Д. Дневник (1914–1916). Москва-Ленинград: Московский рабочий, – 1929, – с. 257–268.

У опушки леса, на краю поляны, поставлена офицерская палатка; живем вчетвером; поодаль стоят палатки команды. Порой, по вечерам, только озеро блестело под лунным светом, словно серебро, да поднимался по лесу ночной, таинственный шепот». Одно время не заладилась погода, целый день стужа и дождь; много работы, заботы о лошадях, двуколках, фурманках...»

«Бывал около Дрисвят, в Лидуме, ездил к Свентскому озеру, к Илуксте, был свидетелем ужасов и человеческих страданий.»

Запись 4 мая 1916 года:

«Притихло. Эти последние дни мы не слышим артиллерийской пальбы, и без нее как-то странно, чувствуется, что не все в порядке, что замолчали временно, набираясь сил, запасаясь мужеством... [...] Затишье перед бурей. А грянет она, и скоро грянет. Это напряжение не может длиться долго... [...] Замолчали, бросили надоевшую перестрелку, хочется перед смертью побывать в молчании. И только ли в молчании? Кругом ведь птицы, и поют они все веселые, любимые хоровые песни. Сосновый бор шумит день и ночь, то жалуется, то молит, то зовет к себе под защитную тень. А птицы поют. Выждут, пока примолкнет пушечный вой, – и поют, поют, поют... [...] И такой получается хаос, такое получается несостояние, что волосы подымутся дыбом, если только до дна понять весь трагизм этого несоответствия. Здесь кровь, здесь ужас и кошмар, здесь яростно рыкают алчные жерла ненасытных чудовищ, а тут вот рядом поют птицы. Сегодня эти птицы встречают звонкою песнью бодрые полки проходящих солдат, а завтра... Завтра они пропоют эти же звонкие песни на свежих, еще неумятых могилах. Птицы поют свою красивую, жадно зовущую песню и говорят о чем-то совсем-совсем другом, о том, что непохоже на обильное горе людское, о том, что не умыто безнадежными, горькими слезами, – поют о радости, о новой красивой и вольной жизни... придет ли она? Вот разойдутся черные тучи, минует гроза, но Солнце – покажется ли Солнце? Будет ли играть оно по земле своими новыми освобожденными лучами?» (с. 256)

<22 июня 1916 – в район Козьян>

ЛАГЕРЬ

Поляна – тихая, широкая
У озера на берегу;
Лошадка грустно-одинокая
Пасется на лугу.
Горят костры. Палатки белые
Закоченели в холоду;
Двуколки в деле поседелые
Стоят по городу.
Чуть каплет дождь – погода вялая,
Туманит, студит, моросит...
Хоть песня грянула б удалая – душа зудит.
Но песни нет. Дождем оплеваны –
Молчим и ждем весенних дней,
А тучи, словно околдованы –
Одна другой мрачней.
По лесу гул: с плеча, без жалости
Солдаты рубят тихий бор,
С утра до ночи, без усталости
Звенит топор.
Осрамлена чаща зеленая,
Ступни прибились на траве,
И паутина закрученная
Не липнет к голове.
А вдалеке – гремит, качается
Холодный, жадный, тихий гром,
И не умолкнет, не замается
Ни в ночь, ни днем.

Рассказ фельдфебеля (Разведка, с. 261–262)

«Задача нам была дана короткая, но трудная: перерезать проволоку перед германскими окопами. Дело не шуточное, до проволоки нельзя дотронуться – сейчас же зазвенят колокольчики. Стражи, ночью, правда, они много не ставят, зато часто пускают ракеты, а под ракетой как на ладони видно. Нас вызвалось шесть человек;

ребята один другого отчаяннее, горячие ребята. Только с такими и трудно в этом деле, главное, торопиться не надо. То есть, оно и надо торопиться, да не очень, чтобы все дело не испортить. Темная была ночь на ту пору, эх, темная! – мы только по голосу один другого узнавали. Направление знаем, знаем, сколько и рядов. Порешили поползти первоначально в котловину и там лежать до тех пор, пока не затухнет новая ракета. А как затухнет – сию же минуту к проволоке, и за дело. В котловину заползли – прилегли, не дышим; тут уж до проволоки недалеко. Вижу: Бутько рядом со мной – на траве-то светлее, разглядел. Лежит и рукавом трет себе нос; прочего движения – никакого. Легли по порядку, один смежно к другому. Ну, вот и она – поднялась, остановилась в воздухе и горит. А на поляне – словно днем, хоть в чехарду играй – как видно стало. Ребята все приникли к земле, а я поглядываю из-за камня да наблюдаю. Вижу: стоят на горе двое и поглядывают во все стороны. Туда-сюда посмотрели – ничего не видно. Один показал пальцем в нашу сторону, видно, что-нибудь про котловину говорил, но другой махнул рукой – и тот успокоился. Отошли дальше, а свету все меньше и меньше. И когда ракета сгорела, – такая сделалась тьма, словно пуще прежнего.

– Ну, ребята, – шепчу им: – с богом. Учить вас не буду, сами все знаете. Своя жизнь каждому дорога, а потому храни осторожность. Первым делом за проволоку смело не берись, и, ежели близко колокольчик, бери его за язык, обрежь его первоначально, а потом и проволоку. Не торопись... Ну...

Ребята молчали. Каждый понимал, на какое дело идет и как надо его исполнять, а посоветовать немного все-таки надо было, для утверждения и для спокойя совести. Поползли. Бутько рядом, и так ползет, шельма, что я сам не слышу, словно бы кошка крадется по траве. Так рядом и пробираемся. Потом дистанцию разомкнули: я с Герасимовым по краям, четверо посередине. Достигли и проволоки, немного приостановились, как было прежде решено, а потом каждый занялся делом. «Чик-чик-чик». Только и слышишь чиканье, да и не слышишь, может, а только думаешь, что слышишь... Проволоку не бросали разом, а придерживали и складывали ряд за рядом. Перебрали пять рядов, остался последний – шестой... Один –

казалось бы, и дела немного, а тут и главная-то задача: чутко он поставлен, близко перед окопами, тут и стража ходит и случайно кто может заметить. Да и времени много ушло. Вот-вот подымется новая ракета – тогда погибай наша доля. Тут как-то и руки сами собой торопятся. «Динь»... у кого-то звякнул колокольчик. Мы остановились... Слава богу, не услышали... Дорезали мы последнюю проволоку и наутек – тут уже не так остерегались, приползли и добежали скоро. А поутру наш полк взял у них две линии окопов и в плен привел довольную сумму. Вот она что значит, проволока-то – ее, окаянную, только осторожностью и победишь... И немудреная она вещь, а занозистая – не погубишь, не перескочишь.» (с. 263)

10 августа. На злобу дня (с. 280–281)

[...] Наш транспорт стоял в маленьком имении, затонувшем в зелени и цветах. Имя ему Бирзнэк. Тут была и живая беседка, так напоминавшая мне тургеневские гнезда; были улья, цветы, яблоки и распростертые, темные клены. А в комнате – мягкий диван и домашняя библиотека. Правда, кроме Салтыкова-Щедрина да русско-немецкого словаря, там ничего не было нужного, но видеть шкаф с книгами все-таки было отраднo. Маленькая, цветущая, уютная дача. Здесь сидим мы без дела и ждем приказаний со дня на день. А работы все нет. Кругом тихо. Только в ясную погоду – зашумит, налетит аэроплан, белый, как ангел, и хитрый, как дьявол, и начнет бросать где-то за лесом бомбы. [...] Забухают пушки, изуродуют голубую лазурь – и снова тихо. Рядом, на пригорке, в богатом имении поселилась казачья сотня. Седоусый капитан и был командиром этой сотни. При имении – заброшенный, прекрасный сад. Словно стрелы – изрезали его сумрачные липовые аллеи; склонившись, перепутались, нависли над влажной, холодной тропой. Там всегда как-то холодно, в полутемных аллеях липового сада, распластались короной широкие листья и не дают солнцу нацеловаться с землей. Такой же сумрачный, такой же холодный замкнулся в аллеях затененный пруд. Качается на нем одинокая старая лодка, ржавой цепью привязанная к столбу; кочует от берега к берегу бревенчатый плот и на нем, словно распятая, примокла солдатская рубаха. Тихо. Только шепчутся липы, да что-то звенит у меня на

душе от этой странной, тоскливой тишины. Этот широко-ветвистый, прекрасный сад не любят птицы – в нем холодно и страшно, словно в мрачном глубоком подвале. Но я любил приходить сюда. У самого берега, прислонившись к столетней липе, так хорошо помолчать одному. А иной раз рассядешься на полусгнивший руль окованной лодки и, качаясь, сидишь так целый час, бог знает о чем и думая и мечтая. Теперь я не хожу к пруду, там нет тишины: казаки нарушили молчание прекрасного, мрачного сада. Слышно, как бранятся они и поют, как работают кузнецы, как заржет порой недовольный конь и, словно на призыв, ему отзовется другой; слышно, как всюду пробилась и заговорила властная жизнь, убившая столь же властное и прекрасное молчание. (с. 181–282)

Николай Тихонов (1896–1979)¹

Горячие ветры Первой Мировой опалили Николая Тихонова на дорогах Латвии. С гусарским эскадроном прошел он от Слоки до самой до границы, видел «сожженный Билдерлингсгоф» и «взорванный Икскуль», был контужен под Инчукалном, участвовал в кавалерийской атаке на ближних подступах к Робажи.

При свете ночного костра заносил в походную тетрадь раздумчивые и горестные строки.

«В сущности, – вспоминал поэт много лет спустя, – это были разрозненные страницы лирического дневника, разговор с самим собой вслух. Я искал в них верные средства передачи терзавших меня сомнений...» Так появился первый сборник стихов «Жизнь под звездами».²

Вы читаете латвийские стихи Тихонова, и в вашем воображении возникают: «и длинный, скучный мост Бабита, и в душном августе

¹ Источники: Инфантьев Б. Лосев А. Поэта узнают по-разному. // Литература в школе (Москва). – 1970, – № 4, – с. 65–69; Они же. Родина в сердце твоём. // Советская молодежь, – 1968, – № 24; Они же: Сквозь багровые дали. // За Родину. – 1969, – 18 мая; Они же. Nikolajs Tihonovs Gaujas krasts, // Сīņa. – 1966. – 30. jūlijs; Флаум Л. Тихонов в Латвии – Советская молодежь. – 1976. – 3 декабря; Николаев М. Латвия в творчестве Н. С. Тихонова. // Советская Латвия. – 1971 – № 281.

² Тихонов Н. С. Собрание сочинений. Том I. – Москва: Художественная литература, 1958, – с. 44–45, 524–525. (далее: Собр. соч. 1958).

Тируль», где в сырых окопах плечом к плечу стояли насмерть русские и латыши, защищая страну от кайзеровских полчищ («Другу», с. 44–45, 524–525). И повитые туманом рижские улочки («Рига», с. 50–51). Сменяются картины опаленной боями северной Видземе: «Сосны рыжих берегов», охраняющие угрюмые балтийские воды («Дозор на побережье», с. 48); «скользкое дыхание болот» приморских («В опере в Риге», с. 47); «трясина, насыпь, пески» («Стрельба за нами...», с. 58). «Вязы плачут грязью», скорбят о юных бойцах, которые в береговых кручах Гауи нашли свои ранние могилы («Трубачами вымерших атак...», с. 60).

Печально смотрят на мир подслеповатые окна латвийских домиков. За их стенами – «безысходность», «отчаянье», «мрак». Всею виной – война. Черная ее тень пролегла по небесам, землям, водам, по судьбам людей:

Базара пустынные камни,
Дома, где отчаянье спит,
На окнах дубовые ставни
Глядят в безысходность раки.¹³
Все вымерло в улицах малых...
Как будто их мрак откупил,
Как будто чума пировала
И пеплом засыпала мир.
(«Базара пустынные камни», с. 111, 1985)

От строфы к строфе набирает силу, ширится антимилитаристская тема. Углубляются философские обобщения, нередко обретают чеканную форму афоризма:

В мире нет безжалостнее климата,
Безнадежней климата войны.
(«В Лифляндии», с. 113, 1985)

Однако, сквозь дым и топот кавалерийских атак пробиваются иные ноты:

¹ Тихонов Н. С. Собрание сочинений. Том I. – Москва: Художественная литература, 1985, – с. 111. (далее: Собр. соч. 1985)

Только я ожидаю восхода
Необычного солнца, когда
На кровавые нивы и воды
Лягут мирные тени труда.
(«Я забыт в этом мире покоем», с. 115, 1985)

В латвийских стихах – пусть еще приглушенные – зазвучали темы, которым в самом скором времени суждено будет стать магистральными в творчестве поэта:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди – простым.
(«Посмотри на ненужные доски»,
из цикла «Орда». Т. I, с. 45, 1985)

Как вспоминал впоследствии Н. Тихонов («Братские голоса»), в соседних окопах был латышский стрелок Янис Судрабкалнс,¹ к которому он обратился бы с такими словами, если бы их встреча тогда состоялась:

Мечтатель, поднимайся в бой скорей
За воплощение мечты своей!

Что же касается своего первого стихотворного сборника, то Тихонов называл его «школой поэтического мастерства». Опять (так же, как в свое время это случилось с баснописцем Крыловым) Латвия стала поворотным, судьбоносным пунктом в творчестве Николая Тихонова.

История сборника «Жизнь под звездами» была бы неполной, если здесь не привести материалы, которые отсутствуют во всех книгах, статьях, сборниках о Тихонове всероссийского значения.

¹ Литературная газета. – 1955, – № 153.

Это контакты поэта, тогда уже знаменитого обладателя разных правительственных наград, председателя советского комитета мира. Это – переписка со школьниками 2-й валмиерской средней школы. Все началось с того, что в руки старшеклассников попал латышский текст одного стихотворения Тихонова из рассматриваемого сборника – «Замок Вольмарсгоф», который Мирдзой Кемпе был переведен «Valmieras pils» («Валмиерский замок»). Не понимая, о каком валмиерском замке идет речь, ученики решили об этом спросить у самого поэта. Ответа ожидать не пришлось долго.

«Дорогие друзья, – писал в своем послании Николай Тихонов. – Вы прислали мне фотографию славного своего города – древней Валмиеры и материалы из школьного музея. Эти свидетельства вашего заинтересованного изучения прошлого и настоящего родных мест радуют.

В молодости мне суждено было увидеть дорогую моему сердцу Латвию. Это были годы мировой войны. Безжалостно истреблялось народное достояние, горели селения, и люди погибали, а я, молодой кавалерист старой армии, со своим эскадроном прошел с боями от Даугавы до Гауи и хорошо помню, с каким трудом крестьяне доставляли фураж для армии, как надвигался голод и другие бедствия.

В Валмиере я не служил. Осенью 1917 года мы, кавалеристы, сменились с позиций у Сигулды и остановились в баронском поместье, замке Вольмарсгоф. Старый дом баронов поразили своей отчужденностью, мрачностью, заброшенностью. Тогда же в моей походной тетради появились строфы, которые позднее вошли в сборник «Жизнь под звездами». Высылаю вам «Замок Вольмарсгоф».¹

С боевой своей юностью Николай Тихонов не расставался никогда. В конце 30-х годов выходят в свет его воспоминания в прозе – сборник «Военные кони».²

¹ Память о Вольмарсгофе. // Советская Латвия. – 1966. – 3 декабря.

² Тихонов Н. Тихонов Н. Собр. соч. Т. III – Москва: Худ. литература – 1985, – с. 6–64, 516–517.

«Исколесил всю Прибалтику, – вспоминал писатель средства своих передвижений, – летал с лошади три раза, контужен и раз вместе с кобылой Крошкой. По сей час у меня шпора убитого немецкого улана лежит».¹

На редкость достоверный пейзаж в одном из наиболее романтических рассказов «Бетховен».

«С ближайшей горы городок казался таким маленьким... Тут стояла толстая серая городская ратуша, там расположились по холму лавки, в которых продавались только вакса и швабры. [...] Между лавками торчала лютеранская кирка, в которую забредали с перелука кошки и куры и залетали воробьи, возле кирки приютился трактир с зеленой низкой крышей. Дальше мельницы махали серыми обветренными крыльями.» (с. 28)

Где-то на базарной площади прилепился к серому забору крохотный павильон фотографа, где начинаются необыкновенные приключения героев рассказа. Эмма Пуппе, «латышская барышня с пушистыми желтыми волосами» поражена необычным именем кавалериста сибиряка Бабки-Малого. Не менее удивляет ее конь лихого гусара по кличке «Бетховен»: гнедой не переносит ни дурной музыки шарманщиков, ни хриплого граммофона и мгновенно успокаивается, когда его хозяин начинает наигрывать на флейте свою композицию «Воспоминания о Курляндии».

Появляется плутоватый папаша девушки, «широкоплечий латыш с рыжими бакенами» Эдуард Пуппе. Чередуются острые, стремительно нарастающие события. Здесь и беженцы – латыши, которые надеются в российских городах и весях спастись от наступающих кайзеровских полков, и сложные взаимоотношения между гусарами и драгунами, и в чем-то симпатичные автору герои рассказа Бабка-Малый и Эмма Пуппе, которые решают навсегда соединить свои судьбы. (Т. III, с. 72–75, 1985)

Иной тональностью окрашена тихоновская «Вилла <Мечта>». Эта вилла разместилась где-то неподалеку от Шлока (Слока), откуда «то приближалось, то удалялось немое бурчание. Это разрасталась артиллерийская дуэль».

¹ Любарева Е. П. Советская романтическая поэзия. – Москва: Высшая школа, – 1973, – с. 48.

Командование фронта разрешило хозяйке виллы, мадам Гойер, посмотреть, уцелела ли в двадцати верстах от передовой линии ее вилла «Мечта».

«Она открыла дверь в зал и отшатнулась. Синее облако махорочного дыма набежало на нее. В зале из самых разных сочетаний мебели, остатков кресел, столиков, кушеток были сооружены постели. На этих постелях лежали свободные от нарядов гусары. Все они курили.» (с. 73)

Один из персонажей рассказа, судя по фамилии, – Курмель – тоже латыш, первый обрушивается на посетительницу бранной речью. Это вызывает ее ответную реакцию:

«Защитники отечества» [...], воры, пьяницы, дикари. Так вы защищаете нас... Хороша армия...» (с. 75)

Но увидев оторванный немецкой бомбой угол своей мечты и мучащегося в агонии умирающего Кедрина, «барыня» постыдно бежала.

Большое значение следует придать основной идее рассказа «Легкий завтрак». (с. 76–80)

Эскадронный командир медлит с приказом об отступлении, хотя и знает, что это принесет новые жертвы убитых и плененных. Ему гораздо важнее, чтобы в рапорте командованию и в сводке было отмечено, что отступление происходило с боем, войдя в соприкосновение с противником, и чтобы в сводке значилось возможно большее количество убитых и раненых.

Этот карьеризм командующих, ради собственной карьеры приносящих в жертву солдат и офицеров, развил в своем романе «Dvēseļu putenis» («Смятенье душ») латышский писатель Александр Гринс.

Повесть «От моря до моря» написана уже в ключе социалистического реализма с разделением всех персонажей на хороших (коммунисты и сочувствующие, батраки и другие угнетенные) и плохих (буржуи, эксплуататоры).

В начальных главах действие происходит все в той же северной Латвии. Кулак Струнке, у которого «желтые, как заржавленные глаза и рыжие волосы», по горло был залит злостью. Когда она вскипала,

он бил жену, и батраков, и скот. Контрастно противостоит серому барону образ латышского большевика, бесстрашного конника Лелупа.

В повести резко выпячивается тема русско-латышского боевого содружества, упоминаются трудные окопные дни в Тирельском болоте. Степанов и Лелуп озарены пламенем борьбы за мировую революцию. Пройдут годы, и многое, свойственное латышскому большевику Лелупу, повторится в образе «железного латыша Шкильтера» – одного из преобразователей советской Туркмении, который прошел от видземского города Вендена до Гиндукуша (очерк «Белуджи»).

Как Сергеев-Ценский и Соболев, так и Николай Тихонов, чутко прислушивается к русской речи латышей, запоминает их типичные и специфические ошибки, формируя стилистическое своеобразие своих произведений. Вот наиболее типичные примеры:

– Моя фамилия есть Пуппе. Ах, какой музыкальный конь...

– Это мятный чай! Это здесь очень нравится.

– Они каждый пили по три кофейника. Это нельзя так пить... Так один все пьет, а другим – нет.

– Как это можно говорить такой страх: убить меня?

– Я все скажу. Я погиб уже от моей старой головы. Я все скажу. Пусть он платится сам.

– Други, парау велнс (черт побери) таких друзей, – говорит деревенский мироед Струнке.

– Нав никас, нав никас, ничего нет, ни крошки.

В 1937 году в составе делегации советских писателей и журналистов Тихонов побывал в Латвии. Многие часы он провел на тесных улочках старой Риги. Посетил знаменитое кладбище с действительно выразительными статуями и скульптурными группами, ездил на Кегумскую плотину, обедал с писателями в живописном доме в Сигулде, встречался с латвийскими журналистами, осматривал детскую колонию около Риги, сельскохозяйственный институт в Елгаве, курорты Рижского взморья.

На примере Лиепай писатель показал, какой распад и запустение вызвала новая капиталистическая система хозяйствования: «В Лиепе было пустынно, тихо и грустно. Я увидел пустой город, без

жилищного кризиса, так как не было людей. Порт, лишенный былого значения, прозябал... Холодный ветер мел железные обрезки и соломенную труху».¹

Примечательно: ничего критикуемого в Латвии Тихонов не заметил. Только Эстония была «удостоена» его критических замечаний.

Николай Тихонов стоял и у истоков латышской советской литературы. Он – на трибуне I съезда латышских писателей. В годы Второй мировой он посылает привет борющейся Советской Латвии:

Сгорят захватчики в огне,
Клянусь Двины волной!
Мужайтесь, братья за Двиной, –
Палач-фашист падет.
Вновь будет полон дом родной,
Огнями расцветет.

И как в такие дни не вспомнить вновь о легендарных красных латышских стрелках:

Жизнь ваша стала книгою,
Которой дивится свет,
Вы начали путь под Ригою
В годину народных бед.
(Т. I, с. 484, 1985)

В 1955 году «Литературная газета» (№ 153) печатает пространную литературно-критическую статью Тихонов «Братские голоса». Это новое свидетельство неослабевающего внимания русского поэта к стихам Райниса и Яниса Судрабкалнса, Александра Чакса (Aleksandrs Čaks) и Яниса Гротса (Jānis Grots), Андреяса Балодиса (Andrejs Balodis) и Валдиса Лукса (Valdis Lukss), Юлийса Вананга

¹ Тихонов Н. Гибель Эпопеи. // Двойная радуга. – Москва: Сов. Писатель. – 1966, – с. 364-417.

(Jūlijs Vanags) и Арвидса Григулиса, Мирдзы Кемпе и Андриса Веянса (Andris Vējāns), Визмы Бельшевицы и Ояrsa Вацietиса (Ojārs Vācietis).¹

Отдельная статья Тихонова посвящена Райнису («Читая Райнису»), а Мирзде Кемпе за свою жизнь Тихонов успел написать свыше 60 писем и открыток, преимущественно поздравительных.

«Туземные» русские классики

Юрий Тынянов (1894–1943)²

Земля латышей породила русских классиков. И прежде всего это Юрий Тынянов, которым Резекне-Режица прославилась на весь мир.

Латгалия со своим пестрым интернациональным составом населения, мирно сосуществующим не одно уж столетие, наложила неизгладимую печать на порожденных ею писателей-классиков Тынянова и Добычина.

Неповторимы зарисовки староверов у Тынянова.

В его «Записных книжках»:

«Староверский скит в городе, где я родился, был Россией XV века. В староверский скит я просто уходил – так же как ходил купаться. Уже на мосту, широком и гладком, но маленьком, – все затихло: город сумасшедших лавочников, жестянщиков, разносчиков и сапожников просто не имел дело со скитом. В реке, мелкой и близкой, ходили черными молниями пескари, начинались пески, сырые, рудожелтые, чистые. В песке был родник, и каждый раз я пил, наклонясь к нему».

В автобиографии:

«В староверском скиту тек по желтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на

¹ Литературная газета. – 1955, – № 153.

² Инфантьев Б., Лосев А. В стране тыняненского детства. // Советская молодежь, – 1967, – 29 июля.

бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками. Пьянства случались архаические и опять также кончались ездой. «Конь разнес» – это было ежедневное событие. Однажды хмельного старика конь донес до Двинска (203 версты).

Я помню на ярмарках, на латышских кирмашах (старое немецкое слово *Kermesse*), этих высоких людей и их жен в фиолетовых, зеленых, синих, красных, желтых бархатных шубках. Снег горел от шуб. Все женщины казались толстыми, головы не по телам малыши.

Они были верны в дружбе. Отец молодым врачом жил у старовеера. Он посадил в саду яблоню. Каждый год, десятки лет, приносил нам яблоки с тыняновки: «Кушай, Аркадьич».

Люди уходили из скита в город – печниками, малярами, плотниками. Случалось, печники возвращались миллионщиками. Звали всех этих высоких людей по-птичь: Синица, Соловей, Воробей. Помню, напротив сад печника с павлинами, которые грубо кричали...»¹

В тыняновских записных книжках – латгальцы:

«В город часто наезжали молчаливые латгальцы из деревень. Они ехали, никогда не оглядываясь; небритая щетина была у них на щеках, в мохнатом ворсе курток застревало сено и роса. У этих людей было другое время, другой календарь. Они смотрели на небо и безошибочно узнавали погоду на завтрашний день. Чисел у них совсем не было. Когда они говорили с русским о том, что было, они долго определяли дату:

- Того дни...
- Когда Стаська утоп...
- До пожара они...
- В зиму...
- В тую зиму...

Это было в 1880 году, либо в 1912.

Французы проходили их места в 1812 году. Здесь бродил какой-то заблудившийся отряд, были стычки. Они натыкались на

¹ Каверин В. Собр соч. Т. VI.

небольшие курганы – могилы, похожие на зеленых быков, вросших в землю. Поэтому Александр Первый был по связи с местом известнее, чем Третий. Второго убили. Кто убил? Убили поляки. За польскую войну. Поляки не забыли ему польскую войну. Сначала воевал с французами, потом пошел на поляков, и все бароны, все немцы с ними. Александр Первый, был такой император».

Потомки крестоносцев, немецких завоевателей в Латгалии симпатиями Тынянова не пользуются. В миниатюре «На белой мызе» довольно злостная сатира на барона Иксюля фон Гильдебранда, бывшего владельца Белой мызы, давно перешедшей в руки «толстого разбойника из города», компаньона сына фактора-еврея, отец которого и теперь по старой традиции в каждое посещение барона подносит ему чарку водки и целует руку. Барон же, в юные годы выгнанный из гвардии за то, что любил «портить детей», а потом любивший «баловаться кнутом», теперь никого не обижает, и единственное удовольствие в жизни – празднование Заламая,¹ когда к нему в усадьбу съезжаются дорогие гости: Розеншильд фон Паулин из города (не генерал, а брат генерала), адвокат Цеге фон Мантейфель, красавица госпожа Кнаус в белом пластроне-фигаро, какие-то громоздкие старые барышни в острых крахмаленных белых платках.

«Начинался непонятный и холодный остзейский разврат. У женщин вынимали из платьев грудь, бережно держали их на весу, как бы взвешивали, гладили, а крахмаленные женщины смотрели на свои груди, как на посторонние вещи или на плоды».

Это происходило «за стеной крепостной фабрики, за балюстрадой, казавшейся совершенно нежилою».

А «латгальцы не видели ни барона, ни госпожу Кнаус, ни старообразных барышень. Они были заняты своими кострами, брагой, воем. А потом они рассказывали о барышнях, о каждой в отдельности, о бароне, о его гостях, что ели, как ели, как там шло это дело. Было известно все. Счет был давнишний. Дед барона был собачник – там на дворе стояла каменная собачарня, там девки кормили псов».²

¹ Zaļumi – Иванов день.

² Последняя фраза указывает на знакомство Тынянова с книгой Гарлиба Меркеля «Латыши», в которой эта тема особо подчеркивается.

В «Записных книжках» Тынянова дело не обходится без зарисовок из еврейской жизни:

«Я застал еще в городе мистерии. Сапожники и хлебопеки надевали бумажные костюмы, колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили по домам, представляя смерть Артаксеркса....

На свадьбах бывали бадханы, шуты. Они обедались и опивались; все смотрели на них, раскрыв рты, хохотали долго, валились под стол, хватали друг друга за руки, повторяя, объясняя, тыча пальцами в шута. В городе было много сумасшедших, они бегали по улицам, ими забавлялись, как было принято на востоке в XVIII веке. У каждого было свое лицо, свой характер, роль, неожиданности. Их любили, как шутов на свадьбе.

Окраины города звались Америкой, и жители их – американцами. Это была другая страна. Нищета превзошла там понятные пределы и люди оттуда уезжали в Америку. Я помню воющих, как по мертвым, женщин на дебаркадере вокзала, уходящий поезд и жандарма со строгим удовлетворенным лицом, притворяющегося, что не слышит. Оставшиеся жили в этой Америке, они жили более в Америке, чем где бы то ни было...»

Евреи в рассказах Тынянова также не выглядят приглядно. В рассказах «Попугай Брукса», «Швец» писатель и рассказал о жителях этой самой «Америки», чем вызвал неудовольствие своих соплеменников: Израэля Брукса, Лацкера, Луфта, Гицеля-собачника, пожарника Тевки Вайсблюма, Абки Боза, великосветского сыщика Хароты, владельца «Асхании» Шпоца и других обитателей родного города.

Но это была шутка, подлинная родина выступает в тех произведениях Тынянова, которые принесли ему всероссийскую славу. И прежде всего это роман «Кюхля», главного героя которого, друга Пушкина и декабриста Кюхельбекера Тынянов, можно сказать, отыскал в архивной пыли и ввел в русскую литературу.

Родной для автора край появляется уже в главе «Европа».

«Немного ливонской скуки по дороге. Но она восхитила Вильгельма. Огромные ели, темнозеленые сосны, непроходимые болота напоминали ему те места, в которых он провел ранее детство. [...] Вильгельм столько наговорил романтической чертовщины

о ливонских землях, что Александр Львович (вельможа, которого Кюхельбекер сопровождал в его путешествии в Европу), суеверный, как всякий истый русский вольтеррианец, был немного даже смущен».

Второй раз автор обращается к Латгалии в главе «Динабург», где герой его повествования предстает как заключенный в крепости.

Однако, поистине примечательную переключку с родным краем мы обнаруживаем в произведении, не менее ценном и в литературно-художественном и в психологически-идейном отношении. Это – «Восковая персона» – рассказ о создании Расстрелием (как он назван в повести) восковой фигуры Петра Великого, которая могла двигаться, чем поражала всех окружающих, и в конце концов, как и все начинания Петра, ... была сдана в кунсткамеру.

В четвертой главе мастерски воссоздается тот эпизод в истории государства Российского, когда после смерти государя, прощенная им неверная супруга целый месяц по древнерусскому обычаю должна его оплакивать. Но не этот эпизод привлекает наше внимание. Одновременно Екатерина видит вещие сны, где воспроизводится ее прошлое, когда она вместе с другими дворовыми девками в Вышках месила грязь перед коровьим хлевом.

В четвертой главе повести «Восковая персона» читатель переносится в местечко Вышки под Двинском. Во сне, который привиделся Екатерине I, царица (в соответствии с тыняновской версией о детстве Марты Скавронской и ее латышской национальности¹) оказывается в родных для нее местах. И светит ей «латышский месяц». Снова, как в дни юности, перед ней знакомые «березы, белые и толстые», «ветки деревьев дрожат, их ветер качает...», за домом – «зеленый овес», «ива, которая валилась в воду и все не могла упасть, и все лежала над водой, а дети на ней плясали и купали ее». На скотном дворе слышится латгальская песня:

Послушайте, девушки,
Пока еще парни дешевы...
... все вы рядышком

¹ Тынянов, единственный из русских писателей, причисляет Марту Скавронскую к латышам.

и толпой побежите
За бородкой парня.

Сама песня, ее история и причины, побудившие именно эту песню включить в повесть, столь примечательны, что стоит на них особо остановиться. Тынянов задался целью отыскать латышскую песню, которая была бы записана примерно в те же времена, когда происходили и описываемые события. Такую он действительно отыскал в сборнике Вебера «Verändertes Rußland», где отмечалось, что песня записана в 1715 году в следующей форме:

Kauis v isse blaukau eest
Un pa pulkem packal skreest,
Wenu pusches bardu.

Расшифровка песни гласила:

Klausset sche Meitinge
Wel the wiering lete...
Kajus v isse blaikau eest
Un pa pulkem packal skreest
Wenu pusches bardu.

В такой форме эта латышская песня была опубликована в московском издании тыняновской повести в 1931 году. Впоследствии печатался только русский текст песни.

Песня упоминается в III сне Екатерины.

Дальше в повести: «И Марта прислушалась. Девки еще пели. Она замурлыкала, провожая их. Откуда взялась эта песня и кто ее пел, она не вспомнила; лежала одна и мурлыкала. Она не помнила песни и тихонько ее пела».

В четвертой главе повести чередуются самые разные города и села, связанные по концепции Тынянова с прошлым императрицы, Вышки и Крейцбург, Мариенбурх и Алуксненское озеро: «Город был большой, в деревне его звали Алуксне, а по крепости он звался

Марьенбурх, черепичные кровли; полы в пасторском доме, которые она мыла, ползала на четвереньках, были чисты». Императрице вспоминаются люди, стоявшие на ее пути, либо родственно, либо общностью интересов с ней связанные: приемная мать, говорившая по-латгалски – «тяжелая женщина» с волосами «как войлок», и «высокой белой грудью». Приемный отец – «серый латыш в седой сермяге»; он «курил мох и молчал». «Девки, они стояли в ряд перед пустым хлебом, обратясь к ней спиною, и ветер поднял самары им на головы, они стояли, как белые флаги. Девки пели». Не забылись императрице и крейцбургские ксендз и пастор, и староватый хозяин постоялого двора. В корчме прислуживал ее брат.

Другой, более поздней чередой в видениях Марты-Екатерины проходили ее мариенбургские знакомцы – и беленький-пасторский сынок, и преданный поклонник Марты, «латышский мальчик» Янис Крузе. Под знаменами Карла XII он нес службу в шведском драгунском полку.

Этому Янису (или Иоганну) в латышской и русской прозе на диво повезло: его лицо упоминают и Е. Салияс, и А. Толстой («Петр I»), и Александрс Гринс [«Saderinātie»] («Обрученные»), и Белтеню Эрнестс (Belteņu Ernests). Только судьба его у каждого писателя складывается иначе, особенно у Александрса Гринса: он не погибает, а хромой и несчастный встречается в Петербурге со своей бывшей женой, но гордо отказывается от ее предложения остаться у нее (Петр уже умер), и возвращается в свою латышскую усадьбу.

Длинной вереницей в памяти Екатерины проходят военачальники – шведские и русские – все они «учили ее хорошему шведскому, а потом русскому языку»: шведский лейтенант Ландстрем (с ним она в свои алуksненские годы каталась на лодке по сонному озеру, и часовые отдавали ей честь, и это льстило ее самолюбию); и алуksненский комендант Пхилау фон Пильхау (самый сухой и прямой человек во всем городе; стареющий офицер обучал Марту, фру Крузе «шведским учтивостям, хитрым ответам); потом Бутурлин, Шереметев, «граф Ижорский» Меньшиков, сам Петр...

В повести «Восковая персона» Латвию напоминают не только картины, возникавшие в сознании стареющей императрицы.

Эпиграфом к шестой главе стали русские стихи мариенбургского пастора Эрнста Глюка:

Я хочу елей во огонь возлияти
И охотное остроумие твое
Еще более возбуждати.

И мимо этих строк нельзя пройти мимо, не напомнив ту огромную роль создателя русской силлабо-тонической системы стихосложения, о которой была речь в начале данной книги.

Признанный мастер русского слова и не менее признанный теоретик поэзии, оставивший значительный след и в латышской поэтической теории в виде книги «Aktīvā māksla» («Активное искусство») (1923) Андрейса Курцийса (1884–1959), последовательно излагает концепцию ОПОЯзевцев – созданную при участии Тынянова. Воплощая в жизнь эту теорию, Тынянов создает новый поэтический шедевр «Два перегона», первую часть которого «Рига» приводим в сокращении.

Рига

1. У риги на завалинке сидит старый латыш. Рига копчена дымом, вялена ветром. Завалинка полирована штанами поколений. Она янтарна. У старика небритое лицо врублевского Пана. (Или у врублевского Пана лицо старого латыша). Он курит самокрутку, и самокрутка желтеет от сырого дыма. Дым никуда не идет, и воздух обрастает клочьями шерсти. Это весна. В мокрых полях – залюми (весенний праздник). Бабы и девки голосят славу Иванову дню:

Ионас динас лиго лиго!
(«Слава Иванову дню»)

[...] Старый латыш идет домой и умирает, другой старик, поросший мхом, крутит самокрутку. Он смотрит дымным глазом. На почине, подняв нежную голову, запел жеребенок. Девка такая бойкая, вдруг надорвалась от детей и трудов, и вместо нее стоит за деревней

смолистый крест. На нем уже нельзя разобрать надписи. Рига, серая от лет, почти серебряного дерева, в один час сгорает легко и весело. Пьют брагу, и баба, месяц белыми, как месяц, ногами грязь, запирает на ночь ворота. Наступает двадцатое столетие. По болоту пробираются в фольварк засолы и социалисты, для веселых и грозных дел, прикурить огня. Развалины старинной крепостной фабрики зарастают жирной, бледной травой. Поезд коротко кричит им из-за лесу дымом и искрами. Потом идет снег. Бабы и девки выбегают из бани, подобные образующимся облакам, валяются в снегу и снова вбегают в баню. Снег идет, много снега. Яна расстреливают у самой избы, привязав его к фонарю. Идет двадцатое столетие. Другая рига стоит, старая сестра идет мимо. Латыш с трубкою сидит на завалинке. Он говорит ей: «Кривичи затевают войну». – Кривичами зовут латыши в двадцатом столетии русских. Сипят без голоса ногами телеги. Корова идет за коптящим фонарем, франтовато виляя худым задом. Она вступает в лес, как в сон. За коровой – хозяин. Сидит на возу, на самой вершине, баба, протянув в отступающий горизонт два полена в волосатых чулках. Она равнодушно являет их взору опечаленного мужа, а он вспоминает об оставленном на родине хлеве. Как поддавался там, под босой ногой, чавкая, теплея, навоз.

– Лаб деан [«Добрый день»].

– Васала [«Здорово»].

Это латгалец приветствует уходящего от немцев земгалийца.

2. Рига стоит. Медленно уходит домой старый латыш, помолчать еще двадцать лет с женой, и на сыром солнце кажется рыжим овсом ворс его куртки. Война идет и проходит, как прошла корова в темный лес. Он получает письма от сыновей. Один – доктор у кривичей, другой в городе адвокатом. В Латвии много тяжб: из-за каналы, из-за березы, из-за земли. Адвокат много зарабатывает, но мало пишет. Третий сын скоро приедет – в городе тихо и его рассчитали. Старик думает: к кому перейдет земля после смерти?

– Лаб деан!

– Васала!

Рига стоит. Немецкие дрожжи и немецкие клеенчатые извозчики, которых уже нет в Германии, у вокзала; вокзал деревянный, с застрехами и коньками. Золотой и зеленый ворс цветет на шинелях офицеров. Адвокаты в заграничных котелках поддерживают за локоть сильных, веснушчатых женщин. В мире неповторимы только походка, почерк и древесный рисунок указательного пальца: у офицеров, адвокатов, носильщиков – согнутые широкие спины и одежды на них болтаются. Все ходят вперевалку, тянутся за невидимым плугом, все – переодетые крестьяне.

А в буфете сидят старики, говорящие по-русски с польским акцентом, и у них красные, расплющенные между Россией и Германией лица. А на белых столиках стоит перед ними кофе, ликер и, небольшими порциями, самодовольная, искусственная вдовья тишина».

В этом эпизоде так много реминисценций из всего, что писал Тынянов о Латвии и в «Кюхле», и в «Восковой персоне», и в своих автобиографических заметках.

И последнее произведение писателя посвящено родине. Это «Красная шапка» о земляке герое Отечественной войны генерале Кульневe.

Леонид Добычин (1894–1936)¹

Леонид Добычин – уроженец Двинска и патриот своего города, своеобразный и неповторимый прозаик и стилист, в главном своем произведении «Город Эн»² как бы соревнуется со своим земляком Тыняновым в художественном отображении разноликостью национальной публики своего родного города. Но если у Тынянова-иудея все внимание уделено национальному конгломерату своего родного города, то православный Добычин главное свое внимание уделяет конфессиональным признакам рядом с ним живущих сограждан.

Поэтому уже с первых страниц романа начинаются непреодолимые трения с няньками Лени – католичками Цецилией и Розалией,

¹ Источники: Тименчик Р. О городе Эн, его изображении и о несбывшемся пророчестве. // Резник, – 1985, № 11, – с. 80.

² Добычин Л. Город Эн. – Москва: Худ. лит. – 1989.

примирением с паннами Пленис, непрекращающейся войной с «подвальными», на стене которых – «улыбается папа Лев». Не вызывает сомнения конфессиональная принадлежность хозяйки галантерейного магазина Тэклы Андрушкевич, владелицы «монументальной всех исповеданий Прауды», Стефании Грикюпель, учительницы Гусманши, учеников с грязными ногтями.

О примате конфессионального подхода свидетельствует и то, что латыши в своем «чистом виде» упоминаются всего лишь два раза, в то время, как выяснил в своем замечательном исследовании А. Белоусов,¹ их в романе гораздо больше.

Как уже говорилось, конфессиональные противоречия наиболее выпукло предстают в «истории няnek».

Первая нянька в доме рассказчика – автора романа – ярая фанатичка католического исповедания – Цецилия. На внутренней крышке ее сундучка – «скрынки» наклеен портрет папы римского Льва XIII.

Совершая с мальчиком ежедневную прогулку по городу, она не пропускает ни одного случая, чтобы выхвалить перед ним преимущество своей веры. Встретив похоронную процессию, нянька сразу же объявляет: «Там, – произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, – няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им». Реплика автора: «Я не верил этому», вводит читателя в сферу конфессиональных недопониманий. Тут еще не видим явных противостояний католиков и православных, это противостояние чувствуется пока только в подтексте.

Цецилия очень хорошо понимает, что не след православного мальчика таскать по католическим костелам. Но соблазн лишний раз заглянуть в костел – искушение столь велико, что подавить его Цецилия не в силах. И вот под предлогом «хорошего переулочка» вместе с рассказчиком она в костеле. О реакции автора романа на этот поступок няньки красноречиво говорит реплика мальчика: там «воняло богомольцами». Не менее иронически звучат слова: «мы помолились» двум каменным женщинам, одна из которых была по-

¹ Белоусов А. Ф. Латыши города «Эн». // Даугава, – 2002, – № 3, с. 127–136.

хожа на продавщицу из книжного магазина Л. Кусман. И снова комментарий Цецилии: «Наша вера правильная». И опять реплика рассказчика: «Я не соглашался с ней». Еще в дошкольный период «маман» смогла воспитать в ребенке сознание о приоритете православия перед католичеством. Во что это выльется в школьные годы, увидим далее, когда разговор пойдет о православии.

В первых строках следующей, 3-й главы, читатель узнает: «Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман». Папа Лев XIII в сознании мальчика на этот раз приобрел эпитет «в ермолке и пелерине», что намного снижает почтительное отношение к первоиерарху католической церкви.

Факторка Каган присылает новую няньку – униатку. И это всем нравилось. Почему? Ответ типично добычинский: гости в своем расположении к униатам показывают полную неспособность логического суждения – униатство им нравится потому что «есть даже медаль в честь уничтожения унии».

Но радость была преждевременной. Из 5-й главы читатель узнает: «униатка нагрубила, и маман выгнала ее».

Еще через четыре главы появляется новая нянька Розалия. «Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать». Через 2 главы читаем: «Розалия от нас ушла – муштруете уж очень, – заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза». Действительно, через небольшое время маман рассказывала Софи, «что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее». Таким образом проблема межконфессиональных отношений хозяйки и прислуг были разрешены (правда, последняя-то была православной!).

Но неодобрительное отношение к католикам, преимущественно полякам, распространяется и на других людей, с которыми автору приходится сталкиваться.

Так, хвалебные описания процессии «Божьего тела» в газете «Двина» редактором Бодревичем вызывает всего лишь желчное замечание маман: «Ничего удивительного: он ведь католик!» Но

активное участие ксендзов в похоронах убитых повстанцев вызывает уже полное возмущение madame Кармановой: «Вот мерзавцы! По религии, им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напакостить нам» (гл. 17).

И уж активным борцом против католичества и в защиту православия выступает Александра Львовна Вогель, возвратившись с фронтов русско-японской войны и собирающаяся «в святой гуре» построить часовню во имя усекновения главы Крестителя Иоанна (гл. 24).

Нельзя, однако, утверждать, что в понимании Добычина католик-поляк – это враг. С определенной долей симпатии рассказывается о графах Плятерах (гл. 11), домохозяине Янеке, и его управляющем Контореке (гл. 7), помещике Хайновском (гл. 30), Тарашниковиче (гл. 31), канцелярском служащем Охехновиче (гл. 32), классной даме Эдемской (гл. 32), школьной буфетчице Головневой (гл. 12), madame Генич из Полоцка (гл. 23).

А фельдшер Пшиборовский, с волосами дыбом и широкими усами, напоминающими картину «Ницше», пользуется даже особыми симпатиями семейства Добычиных. Он как фельдшер всегда помогает главе семейства – врачу, а мальчика учит, как делать «свиное ухо», чтобы дразнить евреев.

Нельзя сказать, чтобы к евреям русские мещане Двинска (к ним принадлежало и семейство Добычиных) относились резко отрицательно, как это характерно вообще для российских правительственных кругов и части мещанства. Правда, татап считает, что в русско-японскую войну мы победили бы, если бы воевали дальше, что вся беда в том, что Вите женат на еврейке (гл. 17).

В главе 13 госпожа Карманова объявляет: «Сегодня будет «страшная ночь», – и она посоветовала нам пойти на реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи». Реакция мальчика была весьма характерна: «Мы ужасно смеялись». Но поляк Чаплинский этим не ограничивался. Он рассказывал, «как каждой весной пропадают христианские мальчики», которых, по уверению самых ярых антисемитов, якобы крадут евреи, чтобы использовать их кровь в своих ритуалах. Мало того, Чаплинский учил, как показать «свиное ухо» евреям.

Однако, без евреев не обходится двинский обыватель во всей своей повседневной жизни. С большой симпатией Добычин рассказывает о книготорговце Л. Кусман, которая всегда назначала цену тому или иному покупаемому предмету, всегда добавляя: «для Вас – и эту цену снижала». Она же подарила мальчику ангела, который стал его большим другом.

Галерею евреев продолжает конкурирующая с Л. Кусман фирма «Ямпольский и Лифшиц», а также дирижер оркестра художник М. Цыперович и гитарист-панорамщик Янкель, хозяин «монументальной» И. Ступель и большая группа соучеников автора книги: суровый, толстомясый, косматый с головы до ног Коля Либерман; братья Шустеры, с которыми не о чем разговаривать, так как они мало читают; Пейсах Лейзерах, Блюм, Кац, учитель Товий Львович; участники похоронной процессии мадам Штраус, трагически убитой упавшим на нее кренделем-вывеской: настройщик рояля Йозес с госпожой, продавец спичек Закс.

Говоря о евреях в повести «Город Эн», нельзя не упомянуть незначительный на первый взгляд эпизод: «Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. – Не бейте, – сказала она, – того мальчика в серых чулках. – Мы смеялись» (гл. 19). Надо было упрасивать, чтобы еврейского мальчика русские не побили.

О лютеранах (немцах и эстонцах) в своем романе автор ничего определенного сказать не сумел, зато о православных...

Современный ревнитель православия (правда, древлего) отец Алексей Жилко прямо назвал автора романа явным воинствующим атеистом. Вернее было бы Добычина назвать всего лишь хулителем православия. Эта тенденция красной нитью и весьма навязчиво проходит через все произведение. Хотел он этим снискать благосклонность своих атеистических рецензентов?

А вот Михаил и Тайга Бодровы¹ книгу Добычина называют «Евангелием XX века». Даже в фамилии «Тусеньки Сиу» авторы видят криптограмму Иисуса Христа.

По нашему мнению Добычин не выступал против великих моральных идей христианства, но в ногу со временем критиковал

¹ Арьев А. Встречи с Леонидом Добычином. // Новый мир, – 1996, – № 12, – с. 198–209.

православное духовенство, превращенное в чиновников царского ведомства, а также некоторые устаревшие, по мнению рационалистов XX века, верования и обряды.

Следует, по нашему мнению, обратить внимание на следующие немаловажные обстоятельства: почти все случаи богохульства в романе исходят не от автора, а лишь повторяются им с чужих слов.

На мальчика оставляет благотворное влияние и икона Богородицы на тюремных воротах (гл. 1), и «картинка Иисус Христос в венце с шипами» (гл. 5), и «миловидный» Иоанн у распятия (гл. 9), и Сикстинская Мадонна (гл. 9), и «Тайная вечеря» в иконостасе нового собора (гл. 22), и картинка «Ноли ми тангере» («Noli me tagere» – «Не прикасайся ко мне») – первое после Воскресения явления Христа Марии Магдалине – «Христос и женщина» (гл. 24); он радуется красоте будущей часовни в память «Усекновения главы святого Иоанна Предтечи» (гл. 24); наконец, потрясен книгой Ренана «Иисус Христос». Добычин и не подозревал, что о Богочеловеке можно написать совсем не так, как это трактуется в православных книгах.

Вместе с тем уже мальчика Леню многое смущает в практике православия. Ему кажутся странными и названия и назначения церковного и ритуального обихода, облачений духовенства (влияние Льва Толстого, Б. И.). Нарочито называет он одеяние отца Федора «зеленым костюмом». Значение молебна в доме родителей снижается указанием на то, что «святая вода» стояла на столе «в салатнице». Икону Троицы мальчик с чужого голоса (с голоса своего порочного друга) называет «двое и птица». Самое страшное богохульство: после посещения Полоцка «губы от мощей распухли и с них смывался какой-то отвратительный вкус» (гл. 31).

Особое нерасположение автор романа чувствует к духовенству. Отец Федор одну и ту же проповедь говорит и в тюрьме, и на похоронах отца, во время службы чистит нос. Архиерей вместо алмазных крестиков раздает медные. Особенно противится рассказчик исповеди: ему кажется «неудобным» рассказывать священнику о своих грехах; в этом автор романа укрепляется после того, как узнал: однокласснику Митрофанову пришлось уйти из школы после исповеди отцу Николаю: «Я подумал довольный, что я никогда не поймался бы так» (гл. 25). Отец Андрейс в крепости по свидетель-

ству, полученному от одноклассника, – присутствует, когда «дерут солдат» (гл. 7).

Так же, как Тынянов в Режицу, так и Добычин в Двинск – систематически привлекает все мировые литературоведческие силы, занимающиеся изучением жизни и творчества писателей, получивших мировое признание. Так же, как Тынянов Режицу-Резекне, так Добычин Двинск-Даугавпилс превратил в центр мирового литературоведения.

Александр Кононов (1895–1957)

Всю свою долгую творческую жизнь Александр Терентьевич Кононов – уроженец Преильского района, сын садовника в имении «Затишье», – писал «идейноканонические» хрестоматийно-поучительные слащаво-елейные миниатюры-рассказы о вождях – Владимире Ильиче Ленине, Дзержинском, Чапаеве. Хотя, как можно понять из некоторых высказываний «между строк», эти произведения не обладали особыми художественными достоинствами, апробированные сверху, они считались не подлежащими критике.

И вдруг, незадолго до завершения своего жизненного пути, специалист по Ленину и Дзержинскому написал о себе, вспоминая о жизни в «Затишьи», в имении графа Шадурского, об ученике в Двинском уездном училище, о делах и днях своих в дни Первой мировой, о создании латышских стрелковых подразделений, о возникавших уже в самом начале их существования противоречиях белых и красных стрелков.

Успех превзошел все ожидания.

«Кононову удалось главное, – писал в своей рецензии Е. Герасимов,¹ – создать свежий образ маленького героя, которого юный читатель полюбит и сохранит в своей памяти. И как ему не полюбить Гришу Шумова, этого мальчика со своеобразным характером, живущего на страницах повести так естественно, свободно, словно он вошел в книгу прямо из жизни и так и продолжает шагать, не оглядываясь на читателя, и если к тому же этот мальчик

¹ Герасимов Е. Определенность характера. – Новый мир, – 1952, – № 10, – с. 256.

обладает качествами, обещающими, что из него вырастет настоящий человек».

«Книга «Верное сердце»¹ уже получила широкое признание, – писал в своей заметке А. Буманис,² – нет сомнения, что ее полюбят и латышские читатели, особенно, молодежь».

«Особенно близка она [книга А. Кононова] нам, живущим в Латгалии, написанная талантливым пером нашего земляка, непосредственного участника всех описываемых в книге событий», – писал В. Павлов.³

Автобиографическая повесть Кононова выходила по частям: I часть – «У железного ручья» о жизни в «Затишьи» и в имении графа Шадурского – в 1949 году, II часть «Двина – Даугава» – об учебе в Двинском уездном училище – в 1952 году, III – «Заря над городом» – о Первой мировой и латышских стрелках – в год смерти автора.

Несмотря на стремление автора максимально приблизить свое повествование к канону социалистического реализма, в повествовании оказалось немало зарисовок – воспоминаний автора, не потерявших своего значения и в наше время.

Это – прежде всего – любовное описание повседневного быта латгальских староверов на рубеже столетий.

Действие происходит сначала в имении «Затишье», принадлежащем некоей староверской вдове – помещице Перфильевне. Находилось оно у Пеньянского озера и Железного ручья, неподалеку от поместья графов Шадурских и по нашим расчетам – в нынешнем Прейльском районе.

Главное действующее лицо автобиографического повествования – Гриша Шумов и его закадычный друг – латыш Янис Редаль – сын только что прибывшего в «Затишье» лесника.

Мальчики принимают самое активное участие в жизни имения и его окружи, слушают рассказы местных и заезжих людей о гроз-

¹ Кононов А. Повесть о верном сердце. – Москва: Детская литература. – 1981.

² Būmanis A. «Uzticīga sirds» («Преданное сердце»). // «Padomju Jauņatne», – 1954, 2. okt.

³ Pavlovs V. «Uzticāmā sirds» («Верное сердце») // Ausma, – 1958, – 14. dec.

ных событиях надвигающейся, а потом и происходящей революции 1905 года. Для большего эффекта писатель вставляет сюда, очевидно, вычитанное им в литературе описание революционных событий в западной Латвии – с участием в подавлении революции пасторов и баронов. Об этом эмоционально рассказывает спасающийся в Латгалии от репрессий участник этих событий.

Мальчики участвуют в местных «зеленных праздниках», в других развлечениях (кирмашах), праздновании Иванова дня, участвуют в толоках – вывозе навоза с ритуальным обливанием водой и угощением.

Все это дает возможность автору подробно рассказать о местных обычаях староверов, ввести в текст своей повести большое количество областных слов преильского говора. Уже на первых страницах первой части романа встречаемся со словами: букан, постен, неслух, сажалка, дурень-блажень, горница, зыбка, мерин, крыж; названия староверских яств – толокно с брусникой, пшенная каша с молоком; и висящие в углу избы венки из бессмертников.

Тут же на первых страницах повести появляются и праздничный подрушник бабушки, и «рабская» ее кружка, которую Гриша своим прикосновением опоганил и теперь надо ее нести в моленную святить, а моленная так далеко... И описание гришиной прически – стрижки «в кружок»; и убежденность старшего поколения в том, что «сахар на заводе сквозь кость пропускают» и что общение с латышами опасно, потому что они «бороды скоблят и табак курят», а это великий грех. В тексте немало местных поговорок и присловий:

«И тянулась кверху ромашка; подышишь в ее желтенькое поле, позовешь три раза: «Поп, поп, выйди вон», – и вылезет на свет букан, черный, как монах, с просяное зернышко ростом» (с. 13);

«Латыш, латыш, куда летишь?

Москаль, москаль, чего плескал?» (с. 15)

Набивший руку в описаниях подвига Ленина и Дзержинского теперь обращается к словам и делам староверской бабушки:

«Гриша понимал бабкино горе: все кругом «мирские», а она – «рабская». Гриша тоже мирской, грешный. Когда бабушке испол-

нилось восемьдесят лет, она отреклась от мирских дел, осталась только «рабой божьей». Теперь у нее грехов нет... Каждый вечер, перед сном, она молит Бога, чтобы тот взял свою рабу к себе, зачем она так торопится на тот свет, неизвестно... » (с. 16–17)

Другая тема книги Кононова – совместное жительство («сосуществование»), совместная деятельность староверов и латышей-католиков. Тема эта звучала не только в совместных поисках мальчиками Железного Ручья, но и в описании толоки – вывоза навоза. И в труде, и в последующих развлечениях староверы и латыши-латгальцы-католики не чувствуют большого различия, хотя такое различие не может не существовать даже в пейзаже, во внешнем облике деревни, на одном конце которой живут староверы, на другом – латыши-католики. Жилье каждого можно точно определить по специфической растительности: у католиков все заборы украшены порослями хмеля. Этого нет у староверов – пива они не варят, но у соседей-католиков молодежь не прочь побаловаться этим напитком...

Тема мирного сосуществования различных наций продолжается во второй части романа: в городе на Двине-Даугаве живут русские и латыши, поляки и евреи, немцы и литовцы. Люди в городе разделены невидимыми перегородками. Даже гулять они ходят в особицу: поляки гуляют по одной улице, евреи – по другой, немцы ходят по дамбе – больше под вечер – любуются закатом. Латыши – те даже друг от друга отгораживаются: уроженца Риги или Курземе никогда не сведешь с «чангалом» из Латгалии. А русские-староверы гуляют только раз в году: на масляной. Молодцы в чуйках, в поддевах шагают тогда по Рижской улице навстречу девицам, оглядывая их с ног до головы и отпуская шуточки. Девыцы плывут сплошным косяком. Это ежегодная ярмарка невест. (с. 175)

С позиции размышления о национальной специфике русских и латышей исключительный интерес представляет разговор в III части (посвященной событиям Первой мировой). Это единственный случай в русской литературе и, кажется, полностью отсутствует в латышской – диалог белого и красного латышского стрелка о правомерности идеологически-политической и этнопсихологической системы как белых, так и красных. Как уникальный диалог приводим его здесь более развернуто.

Капитан Селенс доказывает своему собеседнику стрелку (бывшему учителю-революционеру) непригодность революционной теории и практики для латыша:

«Кто такой латыш по своим национальным чертам? Я так думаю, что это прежде всего – индивидуалист. Ему нужен свой дом, свой сад, своя земля. Хотя два морга, но свои, собственные! Латыш любит свой кусок земли больше, чем жену. Больше, чем сына! Земля и неустанный труд на ней – вот из чего складывалась жизнь наших праотцев. Нам надлежало бы чтить их заветы, как чтим мы их могилы. Вы скрытный человек, Витол-кункс. Скрытный и осторожный. Я одобряю в вас эту черту. Я сам человек осторожный. Как видите, я отослал своего денщика. Мы с вами вдвоем, и никто не узнает о нашей беседе. Кстати: хотели бы поехать недели на две в тыл, за медикаментами? Это командировка не для офицера. Придется послать двух солдат...» (с. 587)

И далее: «Я говорил о латыше, мечта которого иметь свой хутор. Вы в это время думали: а батрак? А бедняк? Сколько бы бедняк не мечтал, ему не видать собственного хутора как своих ушей. Бедняк... Батрак... Как быть с ними? Каким образом сделать их собственниками земельных участков или, как у нас говорят, дворохозяевами? Скоро перестанет быть тайной, что российское правительство – из соображений безопасности западной границы – склонно поставить прибалтийских баронов в такие условия, при которых они должны будут распрощаться со своими поместьями. Отобрать у них землю? О нет! Это незаконно. Российское императорское правительство крепко держится за закон, который, по русской пословице, что дышло: куда повернешь, туда и вышло! [...]

Так вот. Немецким баронам в Прибалтике будет предоставлена возможность продать свою землю по справедливой цене. Преимущественное право покупки должно принадлежать коренному земледельческому населению, то есть нам, латышам. Этого как раз и обязан добиться в Петербурге Залит, иначе мы выкинем его без разговоров на свалку, он об этом знает...

Теперь возникает вопрос: а что такое справедливая цена? Как ее понимать? А вот как. Не мы, латыши, затеяли эту войну. Но мы оплатили ее своей кровью! Не наша вина, что кредитные билеты россий-

ского государственного казначейства теряли под влиянием военных трудностей свою ценность. Государство полностью отвечает за свои кредитные билеты, и оно должно предоставить нам право приобрести землю немецких баронов по довоенной цене – по сто рублей теми же кредитными билетами за десятину. А уж двести-триста обесцененных рублей при теперешних обстоятельствах найдутся в кармане самого бедного латышского крестьянина.» (с. 58)

Не менее примечательна легенда, переходившая, якобы, из уст в уста в окопах вдоль Даугавы.

«Сидит в Москве принц – во дворце на высокой горе... Какой принц? Разве не знаешь? Гессенский, брат русской царицы. Как началась германская война, он хоть и не сразу, а додумался: в России – родная сестра, там как-никак лучше, чем на позициях. Ну, а он человек образованный, сделал все по правилам: отдал русскому генералу шпагу, козырнул, щелкнул каблуками, и через неделю он уже – на сладких харчах, во дворце. Стоит этот дворец на горе, я уж про это сказал, и называется «Нескучный»; это он потому так назван, что скучать там не полагается: ну, балы, выпивка и так далее. Дают принцу сосисок вдоволь и по две бутылки пива – в обед и вечером. Кругом дворца – не стража, а, вернее сказать, почетный конвой. Что ж, жить можно. Однако идет месяц, другой, полгода прошло. И потянуло принца Гессенского домой: как-никак, а дома жена, имение, – как бы без него не разворовали. А тут и поговорить не с кем, – сестра в Петербурге, к нему в гости приехать стесняется: все ж таки она русская царица. Конвой по-немецки только одно слово знает: «Гутентаг». Ну, брат, сегодня гутентаг, завтра гутентаг – на этом далеко не уедешь. Загрустил Гессенский. Пишет в Германию слезное письмо: «Дорогой дядя Вилли, выручай, внеси за меня выкуп, какой потребуется. Хочу домой». Вильгельм письмо получил, усы покрутил, головой помотал... Спускается с трона, садится писать ответ: «Милый племянник, для тебя мне не жалко денег. Я согласен вымостить весь твой путь до дому золотыми монетами, у меня их хватит, слава Богу. Да вот беда: под Даугавой засели в болоте черти латыши; чтоб тебе там проехать, надо дорогу вымостить не

золотом, а латышскими головами. Я б и на это пошел, да не достать латышей пулей: глубоко сидят в Курземе. Придется тебе, племянничек, подождать малость, вызвал я к себе своего главного профессора, приказал ему в короткий срок выдумать такой вонючий дым, чтоб латышей им из болот выкурить, другого способа нет.» И вот, говорят, что этим дымом уже кой-где травят нашего брата солдата. Скоро дойдет дело и до нас...» (с. 540-590)

Однажды в разговоре с Витолом капитан Селенс коснулся этих разговоров в окопах, но добавил: в этом письме Вильгельма были такие слова: «Лучшим в мире воином считается немец, но я отдам своих трех солдат за одного латышского».

Витол на это возразил, не слышал ли Селенс о подвиге русского Петра Дерябина.

«– Ну, у Дерябина не мужество, а безрассудство, или как там говорится? Русская удаль?»

«Лихость ли, безрассудство ли, удаль, – рассуждает Александр Кононов, – но тот самый Петр Дерябин [...] предотвратил немецкий прорыв на стыке латышских и сибирских частей.

Ну, хорошо, Дерябина вела лихость, удаль. А что вело сибирских стрелков – не одного, не двух, а всю массу сибиряков, когда они, выгрузившись из телячьих вагонов в Двинске, бегом, со штыками наперевес серой волной хлынули через весь город, через мост на Даугаве – в Курляндию – спасти положение? И это в условиях, когда солдат не знает, за что он сражается, больше того – начинает уже видеть, что сражаться-то ему, пожалуй, и незачем.» (с. 591–592)

Хотелось бы эти строки сопоставить с высказываниями на ту же тему латышского прозаика Александрса Гринса (не смешивать с русским Александром Грином!) и его романом «Dvēseļu putenis» («Души в снежном вихре»), где высказываются те же мысли, что вложены в уста капитана Селенса. Знал ли Кононов о романе латышского писателя? Или существует еще какой-либо источник, из которого черпали информацию оба писателя, делая противоположные выводы?

Василий Ян (1875–1954)

Исторические традиции Александра Бестужева-Марлинского продолжил Василий Ян (Янчевецкий), детские и юношеские годы которого протекали в Прибалтике (Риге, Ревеле, на Чудском озере). Повышенный интерес к истории пробудили не только содержательные уроки в рижской Александровской гимназии, не только наследие (отец писателя – директор Александровской гимназии – сам сочинял гекзаметры в честь юбилеев своих сослуживцев), но и бурная, необычная биография самого писателя.

Где только не успел побывать Василий Александрович Янчевецкий! Самые забытые медвежьи уголки Псковщины и Смоленщины, Новгородской и Вятской губерний исходил он пешком, изъездил Урянханский край, Ашхабад, Хиву, Северную Персию, Афганистан, Белуджистан – до самой Индии далекой.

Для нас же главный интерес представляет «путешествие в страну детства» уже престарелым и известным писателем летом 1948 года – в те самые места, где когда-то Вася Янчевецкий Гончарову обещал стать путешественником. Произошло это в Дубулты, когда мальчика с великим прозаиком познакомил его отец.

«Я стоял как зачарованный, – рассказывал впоследствии своему сыну Михаилу писатель, – безмолвно глядя на счастливец, обогнувшего земной шар, видевшего столько необычного».¹

Теперь в 1948 картины прошлого снова возникают перед глазами Василия Яна: двухэтажное здание Александровской гимназии, Верманский парк...

И возникает замысел написать о своем бегстве в Америку, которое, однако, прекратилось на острове Руно (Рухну, Роню). Теперь же из-под пера В. Яна выходит повесть «Бегство на остров сокровищ».² Вспомнилось произведение Стивенсона, которое тогда печаталось в «Рижском вестнике» и им зачитывалась вся рижская русская молодежь.

¹ Янчевецкий М. Жажда странствий. // Уральский следопыт. – 1969, – № 10, – с. 24.

² Ян В. Бегство на остров сокровищ. // Уральский следопыт. – 1969, – № 10.

В путешествие отправляются два ученика Александровской гимназии Петя Петушков, его однокашник и друг Янис Крамс и его сестра Аусма.

Соответственно требованиям режима советский писатель и лауреат премий придает повести «социалистически-реалистическое» звучание: «сокровища», за которыми отправляются путешественники на остров (а остров был тот же Руно), – подпольная революционная литература, которую латышские ленинцы контрабандно доставляют в Ригу.

Как уже говорилось, начальные этапы повести происходят на уроках истории в Александровской гимназии. Один из этих уроков воспроизводится следующим образом:

«– Ну, Савинич, отвечай! Что ты знаешь о Финикии?

Сережа встал, откашлялся и бойко стал рассказывать...

Я спросил с места: – А приезжали финикийцы в Ригу?»

Отвечая на вопрос Пети Петушкова, его одноклассники высказывают предположение о том, что финикийцы вряд ли до Балтийского моря доплывали. Учитель вынужден был исправить это неверное предположение и рассказать о янтаре, одном из излюбленных предметов финикийской торговли. Этот эпизод и побудил впоследствии написать повесть для юношества «Финикийский корабль», который, действительно, доплывал до берегов Прибалтики.

На том же уроке в Александровской гимназии возник и вопрос о построении Риги, о леттах, с которыми финикийцы торговали еще до построения каменной Риги.

И с этого урока прокладывается прямой путь к леттам, к основанию Риги и ее средневековому образу, который потом – через много, много лет оформится в повесть Яна «Юность полководца»¹ – о жизни и подвиге Александра Невского, которому удалось «поставить на место» обнаглевших крестоносцев в их «дранг нах остен» и напрочно утвердить западные рубежи Руси.

Знакомство юного Александра с землей леттов начинается с Двины. Князь Ярослав Переяславский поучает сына: «по реке Двине немцы замыслили недоброе – на Полоцкой земле свои крепости ставят, мечи на нас вострят. Видно скоро на нас навалятся». (с. 331)

¹ Ян В. Юность полководца. – Москва: Худ. лит. – 1969.

Поэтическое же воспевание Двины Александр находит в письме Даниила Остроловца: «Двина, река быстрая! Замкни свои ворота, чтобы злые вороги к нам не бывали, а немцы не радовались, из-за синя моря на земли напирajući!»

Следующий этап знакомства Александра с землей леттов – рассказ полочанина Яши о ливонцах: «Вся земля литовская заросла искони дремучими лесами. В них литовцы охотятся, собирают бортяной мед, на лесных прогалинах сеют рожь и лен, а поклоняются, как богам, ужам и старому дубу». Этот дуб вызывает удивление Александра, и Яша должен пространно рассказывать и о священном дубе-кормильце, желуди которого растирались и добавлялись в муку, и о литовских волхвах, с их главою Криво-Кривейто, и о литовских лихих богатырях, наряженных медведями.

Целую главу (XXX «Золотое дно») своей повести писатель посвящает восторженным воспоминаниям Чудского озера (Пейпусе), которое он сам часто посещал в свои ревельские годы (отец там тоже был директором гимназии, издателем «Ревельских известий»). Янчевецкий-младший в свою очередь полностью разделял свои склонности к освоению эстонской культуры: переводил на русский язык эстонских писателей, собирал вместе со своими соучениками эстонский фольклор, участвовал в певческих праздниках. (с. 345)

И в очерке о Чудском озере «Золотое дно» внимание читателя приковывается не только к рыбным богатствам этого водохранилища. Ведется рассказ о рыбаках русских и эстонских, которые бок о бок дружелюбно трудятся на этом не совсем легком и обычном поприще.

Замечательно художественное видение больших темных волн, когда свирепствует южный ветер:

«Тогда большие темные волны, длинные и однообразные, катятся одна за другой, поднимая тяжелые лодки – насады, ставя их то на нос, то на корму, грозя вывернуть со всем грузом смелых, выносливых чудских рыбаков. Зимой Чудь-озеро, засыпанное снегом, становится белой, гладкой равниной. Лишь кое-где чернеет корявое дерево, принесенное с реки Великой из-под Пскова и застывшее посреди ледяной равнины...»

Не забыл автор повести и средневековую Ригу, которой он посвящает целые 3 главы: «Что такое германская слава», «Летты в когтях немецких рыцарей», «Веселая ярмарка». И что примечательно: в Ревеле писатель провел в два раза больше времени, чем в Риге, и все же Рига обрисована в повести детальнее и шире. Очевидно, первые впечатления о Балтийском крае оказались сильнее, чем более поздние, ревельские. Или в Риге больше старинных реминисценций, чем в Ревеле?

«Что такое германская слава?» – это можно понять, если прочитаешь письмо из Риги своим родичам в Бремен Теодориха Брудегама о чудесном и счастливом повороте в своей судьбе (с. 429):

«Дорогие мои почтенные родители! Приезжайте ко мне в город Ригу. Я уже здесь не бродяга и не преступник, а пилигрим, меченосец, делаю важное дело: вместе с другими меченосцами из нашей славной Германии мы покоряем диких язычников – леттов, куронов и ливов – и обращаем их в наших старательных покорных рабов».

Дальше рассказывается, как он попал на корабль, плывущий в Ригу:

«...мы прибыли сперва на остров Готланд, а затем вошли в устье большой реки Двины. По ней мы поднялись вверх по течению до новой, теперь нашей, германской крепости Рига. В ней уже выстроена высокая церковь святого Петера с недремлющим живым петухом на конце шпиля. В церкви состоялось торжественное богослужение по случаю нашего приезда и вступления в ряды меченосцев. А наши цепигодились: их надели на пленных туземцев, которых здесь много. Они строят дома, распахивают землю и вообще исполняют для нас всякие, самые трудные работы».

Во второй главе «Летты в когтях немецких рыцарей» – жуткие картины тех истязаний, которым подвергали мирное коренное население приезжие бродяги и преступники, облеченные теперь почетным званием меченосца. (с. 454):

«В Новгород приплелись новые беженцы с семьями, язычники-лесовики из Чуди и Летьголы, раздетые и голодные. Они говорили, что леттам и ливам, и другим вековечным свободным

старосельцам теперь ничего более не остается, как спастись на русскую сторону от немецких меченосцев с волчьими утробами.

– Немцы сжигают на своем пути все наши поселки, – рассказывали леттские беженцы. – Всех мужчин, не желающих принять их латынскую веру, безжалостно убивают. наших женщин большую часть тоже убивают, а некоторых молодых и детей наших гонят к себе в полон, в рижскую сторону. Жители нашего поселка укрылись в дремучем лесу. Там мы выкопали для жилья под землей и ходы, и пещеры, чтобы перетерпеть беду. А немцы стали нас разыскивать с помощью больших собак. Найдя наши подземные тайники, немцы разложили костры у входов и старались удушить нас огнем и дымом. Тех, кто выбегал из тайников, немцы рубили мечами, детей подхватывали на копья и бросали в огонь.¹

Придите к нам на помощь, русские ратники! Пустите нас к себе, спасите от беды. Вы одни можете выручить нас.»

Далее на стр. 455 рассказывается, как рыцари принудили пленников к непосильному труду на воздвижение «бургов», надевая на них цепи; на стр. 466 – о грабежах, чинимых крестоносцами, отнимающими у несчастных леттов даже последние шубы.

На стр. 468 примечательный эпизод о нападении немцев на Псков:

«Набрали у нас около сотни мальцов и отроков; всех погнали, как гусей в ихний город Ригу.

– А в Риге вас в латынскую веру переиначивали?

– Об этом старались их монахи и все нас к тому понуждали: и больших и малых отдали в латынский монастырь. Там мы должны были все делать, что нам указывали монахи: и учиться читать латынский часослов и молитвы ихние петь, и дрова рубить, и стены класть каменные, и четыре раза в день ходить в ихнюю церковь.»

На странице 469 приводится рассказ Яниса из Герцика:

«В Юрьев «согнали летьголу и чудинцев». Видимо-невидимо. Одни кладут стены и камни обтесывают, других учат рыдели, как ходить рядом в бой, выставив вперед копьё.

– Видел еще, как рыдели поставили в ряд две сотни леттов, которых собирались вешать.

¹ Здесь автор ссылается на «Ливонскую хронику» Генриха Латыша.

– За что? Чем они не полюбились рыделям?

– Ихней веры принять не хотели. Вот и вешали их или связанных жгли на кострах. В пути я видел, – целые деревни полыхали огнем. Еще видел немецкого попа голого. Его летты посадили на кобылу, привязали, да и погнали обратно в Ригу.

– А много ли ты видел немцев? Как смекаешь, много ли их всех?

– Немцев немало. В Юрьеве я их видел многое множество, а возле каждого немца – пять, шесть, а то и побольше финнов, чуди или летьголы. Если всех их вместе свести, то получится туго. И они валом валят к Чудь-озеру. Как довелось мне слышать, у Чудь-озера быть должен главный сбор всего войска рыделей. Там же хвалились они показать такой бой, в котором русские будут иссечены, и вся наша земля станет немецкой».

Но самые сильные картины Риги Ливонской нарисованы писателем в III главе «Веселая ярмарка».

На богатой и веселой ярмарке – она описывается во всех деталях: упоминается все то, что было на торговых столах, шуты и музыканты, развлекающие развеселую танцующую публику. И как всегда к хорошо одетой миловидной девушке начинают приставать рыцари. Девушка в страхе бежит и – натывается на ... повешенных «лесных братьев» – леттов.

«Один рыцарь, высоко подняв факелы, поспешил на зов. Показался ряд виселиц, на которых, склонив головы, висели десятка два леттов в лохмотьях, с босыми, напряженно вытянутыми ногами. Рыцари взяли под руки полубесчувственную девушку. Она, задыхаясь, говорила:

– Я ударила лицом в босые холодные, как лед, ноги, и мне показалось, что мертвец ударил меня в лицо ногой.

– Это висят лесные разбойники, самые отчаянные летты-дикари, безбожники. Они напали на наших меченосцев. Мы их рядком и повесили, чтобы проучить дерзких леттов.

– Умоляю, отведите меня к матушке! Вот она уже идет сюда...

На площади появилась длинная процессия германских воинов в белых плащах с нашитыми на плече черными крестами. Воины высоко держали горящие факелы, сплетенные из просмоленных

веревки. Факелы ярко пылали в клубах черного дыма, придавая всему окружающему зловещий вид. Воины грубыми, нестройными голосами пели мрачную песню меченосцев:

Вперед, тевтон! Сквозь плач и стон
Иди, как смерть, Иди, как мечь!
Вперед, тевтон, Ийя-хо-хо!

Разноязычная толпа, собравшаяся на ярмарочной площади, в страхе расступилась перед мрачно шагавшими меченосцами и безмолвно слушала непонятную, но внушавшую страх немецкую песню.

Вся процессия направилась к угрюмой каменной крепости, возвышавшейся прочными башнями посреди города, еще шумного от праздничного веселья, криков и песен разгулявшихся рижских горожан.

Пирушка крестоносцев была веселой. Все ликовали, уверенные в скорой победе над русскими медведями и над плохо вооруженными упрямыми «лесными братьями» – леттами.

Старый председатель пирушки ударил тяжелым кулаком по столу. Кружки и бокалы задрожали. Все затихли.

– Я рад тому, что вы так смелы, бодры и уверены в победе, что нет у вас глупой жалости к леттам или страха перед русскими. Мы не смеем колебаться или горевать! Да! Там, на Рейне, осталась наша древняя Родина, Германия, все мы по ней тоскуем. Но здесь мы создаем себе новую, молодую родину, Ливонию, завоеванную нашим острым, грозным мечом. Теперь мы продвинем далеко в глубь русских лесов власть великой Германии, беспощадно сметая всех, кто нам попадется на пути. Слава о непобедимости германцев разнесется по всему свету. Я поднимаю мою кружку за новый победоносный поход через озеро Пейпус для захвата богатого русского Новгорода. Я пью за полный разгром русских войск, за гибель опасного для нас русского народа!

– Ийя-хо-хо! Вперед, смелые меченосцы! – сдвигая кружки, кричали пирующие».

Остается только добавить: как это ни странно, но именно романы Яна о монгольском нашествии, к Латвии непосредственного от-

ношения не имеющие, все переведены на латышский язык, а книги, где говорится непосредственно о Латвии, никто переводить на латышский язык даже не подумал. Вот что значит идеологическая и политическая ограниченность!

Осип Манделъштам (1881–1938)¹

Однажды Хлебников в пылу полемического задора изрек: «А теперь Манделъштама нужно отправить к дяде в Ригу».

«Это было поразительно, – вспоминал об этой реплике Хлебникова сам Осип Манделъштам. – В Риге действительно жили два моих дяди. Но об этом ни Хлебников, ни кто-либо другой знать не могли. С дядями я тогда даже не переписывался. Хлебников угадал это только силой ненависти!»²

Эти дяди, действительно проживавшие в Риге – врач Герман Веняминович и довольно известный архитектор Пауль Манделъштам – отпрыски известной фамилии ювелиров, которые при герцоге Бироне переселились из Западной Германии в Шавли (совр. Шауляй), тогда еще входящие в Курляндское герцогство.³

Дяди были не единственными родичами поэта, связывающими его с Ригой, Латвией. В автобиографической повести «Шум времени»⁴ в главе «Хаос иудейский» писатель рассказывает и о своих рижских дедушке и бабушке.

«Дедушка – голубоглазый старик в ермолке с чертами важными и немного сановными постоянно улыбался, радовался. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками, мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить. Она спрашивала: «Покушали? Покушали?» – единственное русское слово, которое она знала.» («Шум времени», с. 21)

¹ Тименчик Р. Манделъштам и Латвия // Даугава, – 1988, – № 2, – с. 94–95.

² Тименчик Р. Дядя из Риги, или к анатомии литературной шутки. // Даугава. – 1992, – № 6, – с. 136.

³ Айхенвальд Ю. Шутки истории. // Сегодня. – 1926, – № 89.

⁴ Манделъштам О. Сочинения в 2-х томах. Т. II. – Москва: Художественная литература. – 1990, – с. 6-49 (далее: соч.).

Кстати, русское зарубежье об этих западно-европейских еврейских корнях русского поэта узнало из парижских публикаций Георга Иванова, которые тоже до латвийских читателей доходили лишь в единичных случаях.

Латышский зарубежный читатель о мандельштамовских корнях и тесной связи с Латвией прочитал в 1975 году в статье Аншлавса Эглитиса «Atmestas cerības» («Оставленные надежды»), написанной по страницам книги Надежды Мандельштам «Hope Abandoned», изданной в Нью-Йорке в 1974 году.¹

Латышские публикации об Осипе Мандельштаме, как увидевшие свет в независимой Латвии (20-30-х годов), так и в 70–90-х, о корнях Мандельштама ничего не сообщают. Г. Левин, правда, говорит об Осипе Мандельштаме на взморском концерте, но когда и в какой связи это произошло, читатель так и остается в неведении.

Открытие этой темы, как и множественных других, принадлежит выпускнику Рижского университета Роману Тименчику.

* * *

На земле латышей

Рига, Рижское взморье, Сигулда... Это были сильные, незабываемые впечатления. Они воспринимались тем острее, что следовали за весьма обыденной серой петербургской жизнью.

Ригу, взморье Осип Мандельштам впервые увидел в десятилетнем возрасте, Сигулду – пятнадцати лет отроду.

В Риге первым делом дедушка взялся за обучение Осипа еврейским молитвам, что вызвало в мальчике бурную реакцию и горячие слезы, и только когда мать увезла его на взморье, он успокоился.

Рижское взморье 1901 года представилось мальчику как «целая страна», достопримечательностью которой в видении поэта был «вязкий, но чистый и мелкий песок». «Разве в песочных часах такой песочек», замечает автор в своем эссе «Шум времени». Поражен он и «деревянными мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную сахару». («Шум времени», с. 21–22)

¹ Egļītis Anšlavs. Atmestas cerības. (Оставленные надежды) // Esejas, 2. s. – 1991, – с. 22–25.

Мальчика привлекает не только этот песок. Ему запомнились и цветочные клумбы, палисадники, особенно же стеклянные шары, «которые тянутся нескончаемым городищем». И особенно люди, и среди них «латыши на задворках», которые «сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу». (с. 22)

Как в свое время Гончаров, так теперь и Осип Мандельштам осознает, что не только глазом, но и ухом на рижском взморье приходится воспринимать новые впечатления:

«Детский плач, фортепьянные гаммы, стоны пациентов многочисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табльдотов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволочек.» Запомнились и «игрушечные поезда», набитые «зайцами». Примечательны точные национально-социальные характеристики взморских поселков. Если немецкий Бильдерлингсгоф чопорен до скучности, скучный Дуббельн пахнет пеленками.

Уделял особое внимание десятилетний Мандельштам взморской музыке. В Майоренгофе у немцев – симфоническая, в которой свою отраду находят пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре. В Дуббельне у евреев «оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского и было слышно, как перекликались два струнных гнезда». («Шум времени», с. 22)

Эту страсть к музыке Осип Мандельштам не только сохраняет на всю свою жизнь, но отражает и в своих стихотворениях.

Сигулда

Прошло пять лет. Юный Мандельштам снова в Лифляндской губернии, на этот раз в Зегевольде (Сигулде). Исследователей долгое время волновал вопрос, почему автор «Шума времени» помещает этот перл Лифляндской Швейцарии на «Курземскую Аа» в то время, как Гауя в те времена носила название «лифляндской». Можно предположить, что «латвийское» в сознании Осипа Мандельштама ассоциировалось с памятью о его предках, которые, как уже отмечалось, были курляндскими жителями.

Душу юноши волновала эта «романтическая речка», которая «германской ундиной текла в кирпично-красных изрытых пещерами слоистых берегах» и «бурги по самые уши увязшие в земле».

Как вспоминает младший брат, и как напишет много лет спустя сам Осип Мандельштам в «Шуме времени», Сигулда говорила юным петербуржцам о многом. Ведь здесь молодой поэт Коневский, «достигший преждевременной зрелости, нашел свою раннюю могилу». Необычно, по-мандельштамовски звучит характеристика погибшего в Сигулде поэта: «Он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень». Но по духу он был близок начинающему поэту Осипу Мандельштаму.

К этому времени пятнадцатилетний Мандельштам уже причастен к общественно-политическим движениям эпохи, страстно верит в утопию всеобщего благоденствия, которое пропагандирует марксизм. Поэтому и в Сигулде особое внимание он обращает на события, тесно связанные с общественно-политической ситуацией края в дни революции 1905–1906 годов.

Вспышки революционной борьбы в Сигулде падают на октябрь 1905 года.

Началось с собрания в здании волостной управы. Вскоре батраки выступили с оружием в руках. Бароны окрестных поместий и пасторы укрылись в замке; из него специальным поездом бежали в Ригу. Попытка восставших пустить поезд под откос закончилась неудачей. В январе 1906 года поселок был занят отрядом драгун, которые расправлялись с восставшими. 14 января были казнены те руководители восстания, которых удалось схватить; это были батраки Десайнис, Пален и железнодорожник Цирмонис. Возможно, что летом 1906 года в поместье еще оставались войсковые части.

...Э. Мандельштам рассказывает: «О жертвах трагических событий нам рассказали местные жители». Церковные песнопения в кирхе, куда зашли братья, «еще больше усилили гнетущее впечатление о том, что мы с Осипом видели и слышали».

О подавлении революции, о репрессиях и казнях петербуржцы знали из газет. А в Сигулде, «где лилась кровь», реальная действительность воспринималась гораздо острее, взволнованнее.

И первые стихи юноши, написанные осенью того же года или в начале зимы, были опубликованы в журнале его учебного заведения – Тенишевского училища («Пробужденная мысль», 1907, вып. 1).

«Дороженька пыльная», «Родина ждет неизведанных мук». Дрожат плакучие березы – серую пыль поднимают копытом каратели. «Нет им конца». Но юный автор верит:

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви.

В другом стихотворении – «нескошенные поля» ждут незваных и непрошенных гостей. Когда они появятся – честным и смелым не сносить своих голов! «Гости» эти «растопчут нивы золотистые, разроют кладбище тенистое». Озверелые, «они ворвутся в избы почернелые, зажгут пожар». Не остановят их «седины старца белые, ни детский плач!..»

Первое стихотворение подписано красноречивым псевдонимом «Фитиль», который соотносится в нем с мотивом незавершенности революции (скоро столкнется, скоро покроется поле могилами...).

Поэт не забыл об этих стихах и читал их в 1911 или 1912 году Георгию Иванову, с которым тогда был дружен. Только благодаря воспоминаниям последнего и удастся раскрыть значение строфы «синие пики обнимутся с вилами и обогрятся в крови...»

Эти юношеские стихи Мандельштама – звено его биографии 1905–1907 годов, прошедшее под знаком приверженности революционному движению. Они показывают, как прислушивался к приливам и отливам революционной стихии, временами вновь ощущая свою к ней принадлежность.

Восприятие творчества Мандельштама латышами¹

С именем Осипа Мандельштама, его художественной школой – акмеизмом, особенностью художественного творчества латышских ценителей литературы уже в 1929 году познакомил рижский литературный критик Г. Левин.

¹ Levins G. Krievu vārda kultivētāji. Daugava, – 1929, – с. 1134.

Объективное восприятие жизни, слияние своего «я» с окружающим миром, проявление этого своего «я» через воспроизведение внешнего мира при помощи силы своих средств выразительности – основное качество произведений поэта, оно позволяет причислить его к классикам.

И гораздо лучше бреда
Воспаленной головы –
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы. (соч. с. 86)

Стиль стихов Мандельштама напоминает графический рисунок: в них нет переливов красок, изредка замечаем слово «серый» или «зеленый», зато резко, точно и четко определены контуры.

Поэт воспринимает мир не непосредственно прямо: природа и весь мир в его первоздании мало волнует. Острее и тоньше он чувствует явления искусства. В лучших стихотворениях говорится об искусстве, созданном человеком. И поскольку симпатии поэта принадлежат не краскам, а линиям, то естественно, воспеваются не картины, а архитектура: рижская базилика, константинопольский храм Айя София, парижский собор Notre Dame, петербургские классические строения. Больше всего его влечет Рим. Даже свой родной Петербург в одном стихотворении поэт называет «юношеским Римом на берегу Невы». Даже природу он сравнивает с искусством.

Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера. (соч. с. 95)

Это двустипшие весьма характерно.

Обычно поэт поясняет менее известные предметы и явления более известным образом. И было бы естественно, если бы Мандельштам поэтический размер Гомера пояснил каким-нибудь аналогом с природой. На самом же деле перед нами совершенно обратное явление.

Автор «Камня» и «Tristia» близок также к другому несловесному искусству – музыке.

«Строгая» власть по-своему ответила свободолюбивому поэту: в 1938 году он вновь арестован, в тюрьме и погиб.

После шестидесятилетнего молчания латышский читатель снова узнает об Осипе Мандельштаме,¹ на сей раз, прежде всего, как о мученике сталинских застенков.

Только «перестройка» возвратила Мандельштама в ряды выдающихся русских писателей нового времени. К первому переводу его стихов на латышский язык обращаются только в 1976 году. В сборнике «Krievu padomju dzeja» («Русская советская поэзия») опубликовано одиннадцать стихотворений поэта в переводах Имантса Аузиньша (Imants Auziņš) и Яниса Сирмбардиса. Это: «Сестры тяжесть и нежность» (1920), «Умывался ночью на дворе» (1921), «Орущих камней государство, Армения...» (1930), «Я вернулся в мой город» (1930), «За гремящую доблесть грядущих веков...» (1931), «Полночь в Москве» (1931), «Сохрани мою речь навсегда» (1931), «Еще далеко мне до патриарха» (1931), «Когда уничтожишь набросок» (1933), «Пластинкой тоненькой жилета» (1936), «Заблудился я в небе» (1937).

В 1990 году к этому циклу А. Айзпуриете (Amanda Aizpuriete) добавила еще 4 стихотворения: «Я не слыхал рассказов Оссиана» (1914), «Прославим, братья, сумерки свободы» (1918), «Я вернулся в мой город» (1930, новый перевод), «Мне, порядочной...»²

О том, как сложно переводить Мандельштама, можно убедиться, проанализировав в сопоставительном плане два переложения его стихотворения «Ленинград», осуществленные Имантсом Аузиньшем и А. Айзпуриете.

Первая строфа:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

¹ Čakurs J. Rakstnieku biogrāfijas un likteņi (Биографии и судьбы писателей). // Karogs. – 1989. – № 3, – с. 195.

² Aizpuriete A. Nākamais autobuss (Следующий автобус). – Rīga: Liesma. – 1990, – с. 13.

Имантс Аузиньш:

Savā pilsētā nāku, kur pazīstams viss:
Katrā dzīsla un uztūcis dziedzeris.

Подстрочник

В свой город пришёл, где знакомо всё:
Каждая жила и припухшая железа.

А. Айзпуриете:

Šajā pilsētā viss, ko pazīstu es pat akls, –
Akmens dzīslas un zēnības sāpošais kakls.

Подстрочник

В этом городе всё, что узнаю даже ослепшим:
Каменные жилы и мальчишества большое горло.

У обоих переводчиков отсутствует эквивалент фразеологизма «знакомый до слез». Айзпуриете пытается найти адекватное выражение в виде латышского фразеологизма «pazīstu es pat akls».

«До прожилок» – «Akmens dzīslas» у А. Айзпуриете в большей степени приближается к оригиналу, чем перевод Имантса Аузиньша.¹

«До припухших желез» – «uztūcis dziedzeris» совершенно неприемлем: в оригинале ведь речь идет не о любых железах, а именно о горловых, так называемых «гландах», которые часто воспаляются у детей. И здесь ближе к оригиналу А. Айзпуриете, хотя и в ее переводе слово «железа» вообще осталась без перевода.

2-я строфа:

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Имантс Аузиньш:

Ja jau pārnācis esi, jo alpaināk rij
Zivju eļļu, kas Pīteras lukturos bij.

¹ Krievu padomju dzeja (Русская советская поэзия). I. – Rīga: Liesma. – 1976. – с. 103.

Подстрочник

Если уж пришёл, то охотней глотай
Рыбий жир, что в Питерских фонарях.

А. Айзпуриете:

Reiz nu atgriezies esi, tev steigšus jāizdzer būs
Zivju eļļa, kura no upes laternām plūst.

Подстрочник

Раз ты вернулся, тебе срочно надо выпить
Рыбий жир, который от речных фонарей исходит.

Вторая строфа существенно отличается у обоих переводчиков, кто же ближе к оригиналу? Очевидно, А. Айзпуриете: свет речных ленинградских фонарей так же благотворно действует, как и рыбий жир, который в детстве оказывал на автора благотворное влияние.

3-я строфа:

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Имантс Аузиньш:

Drīzāk decembra dieniņu iepazīt nāc,
Ļaunai darvai kur dzeltenums piejaucēts klāt.

Подстрочник

Скорее декабрьский денёк узнать иди,
Злому дегтю, где желтизна примешана.

А. Айзпуриете:

Šāda decembra dieniņa agrāk tev likās kas jauns,
Tajā draudīgais piķis un dzeltenums kopā jaukts.

Подстрочник

Такой декабрьский денек ранее тебе казался новым,
В нём угрожающий деготь и желтизна вместе смешаны.

4-я и 5-я строфы:

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса!

Имантс Аузиньш:

Pēterburga, vēl negribu negribu mirt. –
Tev vēl manējo tālruņu numuri ir.
Pēterburga, vēl adreses tādas ir man,
Kurās mirušo balsis kļūst dzīvas un skan.

Подстрочник

Петербург, еще не хочу умирать:
У тебя еще мои телефона номера есть.
Петербург, еще адреса такие есть у меня,
По которым мертвых голоса становятся живыми и звучат.

А. Айзпуриете:

Paklau, Pēterburg, man vēl negribas mirt:
Mani telefonnumuri tev taču ir.
Paklau, Pēterburg, adresu saraksts man garš,
Tajās miroņu balsis vēl uzmeklēt var.

Подстрочник

Слушай, Петербург мне еще не хочется умирать
Мои телефонные номера у тебя ведь есть.
Слушай, Петербург, адресов список у меня длинный,
По ним мертвых голоса еще найти можно.

Переводчики по-разному поняли содержание этих строф. Аузиньш решил, что речь идет о телефонных звонках мандельштамовских родственников. Айзпуриете посмотрела в «четвертую прозу» и там нашла проблематическую фразу в более точной интерпретации:

«В карманах – дрянь; прошлогодние зашифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса.»

И перевела это место в стихотворении соответственно этому более четкому тексту.

«Узнавай» – эквивалент Аузиньша «īerazīt» имеет значение «заново познать»; в понимании Айзпуриете – «agrāk tev likās kas jauns» (обратный перевод: «раньше тебе казалось чем-то новым»).

«Зловещий деготь» – у Аузиньша «ļauņa darva» («злая»), у Айзпуриете «draudīgais» (угрожающий), второе решение кажется ближе к оригиналу, хотя полная аналогия была бы: «ļauņa vēstoša» (зловещающая) или «ļauņumu vēstītāja» («вестница зла»).

«Подмешан» – «piejaucēts» (обратный перевод: «примешан») и «korā jaukts» («смешанный»).

6-я строфа.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

Имантс Аузиньш:

Kārņu telpa tik melna; sit deniņos man
Līdz ar miesu un asinīm Izrautais zvans.

Подстрочник

Лестница так черна, бьет в виски меня
С плотью и кровью вырванный звонок.

А. Айзпуриете:

Sauri melnmelnai trepju telpai uz mājām man ceļš,
Zvans, kas noplēsts no sienas, Tur pa deniņiem zveļ.

Подстрочник

Сквозь черную-черную лестницу домой мой путь,
Звонок, что сорван со стены, там по вискам бьет наотмашь.

Люди молодого поколения и Аузиньш, и Айзпуриете, очевидно, не знают, что в русском языке первой четверти XX века означало словосочетание «черная лестница» – лестница черного хода, по которой обычно входили в квартиру прислуга, носильщики дров,

продуктов. У Аузиньша и Айзпуриете «черная лестница» превращается в темное, плохо освещенное лестничное помещение.

«Вырванный с мясом звонок» намекает, очевидно, на интенсивное дергание звонка, что связано с интенсивным дерганием, в результате чего провод вылетает с куском стены, – оба переводчика правильно поняли это.

7-я строфа:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Имантс Аузиньш:

Dārgus viesus līdz rītam nu gaida mans nams,
Durvju ķēdes kā važas te žvadinādams.

Подстрочник

Дорогих гостей ждет мой дом,
Дверные цепочки как кандалы бренчат.

А. Айзпуриете:

Dārgus viesus ik nakti es gaidu kā rēgs
Durvju ķēdīšu mirdzošās važās slēgts.

Подстрочник

Дорогих гостей каждую ночь я жду как призрак
Дверных цепочек блестящих кандалах закован.

Каких «дорогих гостей» каждую ночь ожидает поэт, читатель лучше поймет из перевода Айзпуриете, которая к «кандалам» прибавляет еще отсутствующее у Манделъштама «закованный» (slēgts).

* * *

Мощный всплеск возрождения Манделъштама в обновленной Латвии (правда, быстро поникший, как и все взлеты обновления начала 90-х годов).

1991 год – год столетия Мандельштама ознаменовался в Латвии целым рядом публикаций. Газета «Terns» (от 11 января) напоминает латышскому читателю основные вехи жизни поэта, отрицательное отношение к «строгому» монархическому строю, который основывался на угнетении человека. Поэту ненавистен террор, с какой бы стороны он не появлялся.

В этом же 1991 году Даугавпилсский педагогический институт проводит конференцию, посвященную анализу творчества поэта.

Мандельштам – один из двух поэтов русской современности (второй – Иосиф Бродский), которого удостоил своим вниманием современный критик латышского происхождения Свен Биркерт (Svens Birkerts) в книге *Essays on 20th Century Literature*. – New York. – 1987, – с. 101–134.

В НЕЗАВИСИМОЙ ЛАТВИИ

Илья Эренбург (1891–1967)

Илья Эренбург был первым советским писателем, которого увидели почитатели русской литературы в независимой Латвии. Писатель мечтал о своей любимой Франции, однако, Латвия в 1921 году оказалась единственным «буржуазным» государством, которое разрешило ступить на свою территорию советскому писателю.

О своем приезде и первых впечатлениях изголодавшегося по буржуазным «чудесам» подсоветского человека Эренбург вспоминал позднее.¹

«Когда мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам: Товарищи, скоро латышская граница. Там буфет, помните о советском престиже – не набрасывайтесь на еду...»

«В Ригу мы приехали вечером». Автора воспоминаний приводят в совершенный восторг рижские булочные и колбасные магазины. В их витринах он подолгу разглядывал, будто «редкие безделки... антиквара, хлебцы различной формы, сосиски, пирожки». А «меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны, названия блюд звучали, как стихи». (с. 382–383)

В день прибытия Эренбурга в Ригу – 29 марта – в клубе советского торгпредства (ул. Алберта, 11) сотрудники постпредства и торгпредства, а также немногочисленные приглашенные гости услышали лекцию советского писателя о режиссерских новациях Мейерхольда, о новаторских постановках хорошо известного старожилам Риги Александра Таирова, теперь в Московском Камерном театре, о молодых художниках-авангардистах, о новаторских начинаниях в поэзии Андрея Белого, Владимира Маяковского.

¹ Эренбург И. Люди, годы, жизнь. // Собр. соч. Т. VIII. – Москва: Худ. лит. – 1966.

Оригинальность мыслей и высказываний сразу же привлекли к Эренбургу симпатии рижан. Литератор и социолог Макс Шац-Анин в тот же день предложил прибывшему гостю опубликовать книгу стихов. Сборник «Раздумье» и сегодня хранится в фондах Национальной библиотеки Латвии. Стихи эти далеки от «социалистического реализма»: потрясения эпохи революции и гражданской войны сравниваются то с «темным водоворотом», «незнакомыми черными водами», со стоном «многопамятной земли», то со «страшным кровавым бунтом», с «пугачевщиной».

Это обстоятельство и привлекло внимание латышских литераторов. Х. Дорбе (Herberts Dorbe) по горячим следам переводит «Молитву о детях» и сопровождает свой перевод примечанием: «русский поэт неустанно ищет новые пути и создает беспспорные художественные ценности как в содержании, так и в эмоционально-образном облике стиха».¹

Позднее стихотворение Эренбурга «Наши внуки» (1923) переводят и Ф. Розенбах, и К. Дзильея (Kārlis Dziļleja).²

Громкий отзвук эренбургского творчества как в русской латвийской, так и в латышской печати вызвали «Необычные происхождения Хулио Хуренито и его учеников».

Вс. Гадалин отмечал оригинальный отрывистый футуристический стиль новой повести.³ Протест против войны, европейское мышление в новой книге отмечает К. Дзиллея.⁴ По мнению П. Эрманиса – Эренбург связующее звено со Свифтом, Вольтером.⁵

Следующее произведение Эренбурга «Тринадцать трубок» Андрес Упитс приравнял к творениям Анатоля Франса,⁶ за перевод рассказов этого цикла взяли писатели левого толка Валдис Гревиньш, Янис Гротс.

¹ «Lūgšanas par bērniem» («Молитва о детях»). – Ventspils Atbalss, 1923, № 5.

² Socialdemokrāts (Социалдемократ). 1924, №№ 9, 213.

³ «Наш огонек». 1925, № 40.

⁴ «Domas» («Размышления»). 1924, № 7.

⁵ «Latvju grāmata» («Латышская книга»). 1923, № 5/6, с. 56.

⁶ «Domas». 1924, № 9, с. 360.

Но подлинную сенсацию вызвало «Похищение Европы». За короткое время разные латышские издательства печатают книгу в переводах разных авторов¹.

Андрейс Упитс отмечал динамику, кинематографическую быстроту меняющихся эпизодов, лексические пласты, традиционно не свойственные художественным текстам. Все, по первому впечатлению, в эренбургском романе казалось непривычным, угловатым – язык, эмоционально-образный строй, ритм, манера изложения. Но вот, – пишет А. Упитс, – вы вчитываетесь в повествование и убеждаетесь в неоправданности поспешных оценок. Редактору Я. Карклиньшу удалось освободить романский текст от неоправданных длиннот, и за это автор рецензии воздает ему должное. Любому непредубежденному читателю, – заключал А. Упитс, – дороги новаторские устремления художественного слова. Поэтому последняя книга Ильи Эренбурга придется ему по душе, откроет новые горизонты в искусстве и жизни.

Не по душе стиль Эренбурга пришелся одной только Зенте Маурине² – его сухой рационализм, эмоциональная обедненность, нарочитые, упрощенные сюжетные схемы, хаотичный конгломерат фактов – от калейдоскопа цифр из биржевых ведомостей до бухгалтерски унылых гостиничных счетов.

Роман «Любовь Жанны Ней»³ примечателен в двух отношениях. Прежде всего тем, что главный герой романа советский разведчик Андрей в капиталистическом мире выдает себя за латыша из Риги. Вторая примечательная особенность заключается в том, что роман смог привлечь внимание одного из самых влиятельных издателей Латвии Харольда Рудзитиса, включившего новый роман Эренбурга в серию таких произведений русских авторов, как «Дело Артамоновых», «Преступление и наказание», рассказы Михаила Зощенко, «Русь» Пантелеймона Романова, «Цемент» Федо-

¹ Nedēļa (Неделя). – 1923. – № 38–52; 1924, № 1–3; Magaziņa (Магазинчик). – 1934. – № 118–129 и другие.

² Latvju grāmata (Латышская книга). – 1924. – № 5.

³ Žannas Neijs mīlestība («Любовь Жанны Ней»). // Elegance. – 1925. – № 25–30; 1926, № 1–8; отдельные издания: Рига-Берлин: Петрополис, – 1928; Рига: Грамату драугс. – 1932.

ра Гладкова. По мнению издателя талант Эренбурга не уступает самому Достоевскому.

Внимание и симпатии всего русского зарубежья Эренбург привлекает изданным в 1928 году романом «Заговор равных», – пасквилем на революционную перестройку мира.¹

«Революции, – отмечал в своей рецензии Петр Пильский, – для Эренбурга так же грозны, как и реакция, республики не лучше монархии.» «В «Заговоре равных», – продолжал рецензент, – без труда улавливаются совсем не случайные параллели между Францией 1790 года и Советской Россией: террор, голод, спекуляция, продажность и взяточничество». Однако П. Пильский строго выговаривает автору за «нигилизм, мефистофельщину, душевный холод, безлюбивость, безочарование».²

Примечательна рецензия из другого – латышского коммунистического лагеря. Э. Бельговскис³ (E. Beļgovskis) (один из самых последовательных латышских марксистов, одним из первых расстрелянный после установления в Латвии советской власти) пытался разобраться в сложной социальной и художественной позиции советского писателя. В рецензии отмечено влияние западных киноавантюрных романов, приметы модного радиостиля, напряженный художественный поиск, смелый эксперимент. Метания между Маринетти и мистикой привели автора романа в идейный лагерь Марка Алданова – яркого антисоветского романиста, Дмитрия Мережковского, Бориса Зайцева. Отсюда алдановско-зайцевское неприятие любых революционных потрясений. Отсюда же – «кровавая бутафория» на каждой странице романа, масса анекдотических мелочей, заслоняющих «великие события». Трагедия французской революции волею Эренбурга сводится к проделкам карманных воришек и пьяным выкрикам корпорантов на шумных их сборищах.

Вопреки такому отзыву в 1932 году выходит в том же издательстве второе издание романа. («Domas», 1929, № 3)

¹ Эренбург И. Заговор равных. – Берлин-Рига: Петрополис. – 1928.

² Сегодня. – 1928, – № 34.

³ E. E. Aldanova karikatūra (Карикатуры Е. Е. Алданова). // Domas. – 1929, N3, с. 227–229.

Звездный час Эренбурга пришел вместе с публикацией на латышском языке романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», который весь 1929 год печатается в самом престижном и популярном журнале «Atrūta» («Отдых»)¹ с иллюстрациями видного латышского художника, имя которого еще предстоит установить. Драматизация романа, выполненная Марией Лиепинь, была поставлена в театре Дайлес Эдуардсом Смильгисом, который присоединил к драматизации апофеоз Лазика – принятие его в лоно матери еврейского народа Рахили.

На постановку откликнулось 16 (!) периодических изданий на латышском и немецком языках (русский текст романа стал достоянием читателей в восточном полушарии только в конце 80-х годов XX века). Рецензии писали ведущие литераторы правого (господствующего) толка Янис Гринс и Янис Веселис, Екабс Яншевскис и театральные критик Паула Егере-Фреймане, Аустра Дале и Марта Гримма, немецкий писатель Оскар Гросберг, Янис Судрабкалнс и Арвидс Григулис, писатели левого толка А. Упитс и Э. Бельговскис.

Причина успеха – яркий, правдивый, остроумно-саркастический памфлет на абсурдность советского строя, целиком построенного на лжи и очковитрательстве, взаимном недоверии.

Но только один Григулис из всех рецензентов отметил «близость романа к латышам: главная чекистка в Гомеле, где завязывается приключенческое повествование о «карьере» Лазика Ройтшванеца – латышка Пуке, которая посадила Лазика в тюрьму только за то, что он «подозрительно вздохнул», когда громкоговоритель оповещал о кончине какого-то важного коммуниста.

Лазикуну ничего другого не остается, как вступить в партию и развить бешеную плодотворную деятельность по разведению кроликов. О достижениях гремят газеты всего Советского Союза. Но когда приезжает делегация изучать передовой опыт кролиководства, оказывается, что во всей округе нет ни одного кролика.

Теперь Лазикуну ничего не остается, как бежать в соседнюю Польшу, где враждебно-пренебрежительное отношение к евреям

¹ Nelaimes putns (Птица несчастья). Nabaga židiņa vētrainā dzīve. // Atrūta. – 1929. Nr. 234–248.

было общеизвестно. Не лучше себя чувствует Лазик и в полицейском Берлине. И только попав к белоэмигрантам-монархистам во Франции, Лазик почувствовал вроде как почву под ногами. Но на очередном собрании, где Лазик, как кающийся чекист, должен был рассказывать об ужасах истязаний в ЧК, он стал толковать талмуд, и его прогнали с позором.

Оставалась одна надежда – Палестина, как тогда называли единственное еврейское государство. Но здесь Лазик убедился в том, что евреи – такие же свиньи, как и все другие народы мира.

Илья Эренбург посетил Латвию через несколько десятилетий, теперь уже в Советской Латвии, как кандидат в депутаты в Верховный Совет СССР. Казенные писаки по казенному агитируют за лучшего из лучших, хотя и ходят сокровенные слухи о том, что Эренбург – вождь советских сионистов, и его спасает от расправы только личная дружба со Сталиным.

Зарубежными же латышами имя Эренбурга встречается со страхом и омерзением. Там у всех в памяти роман зарубежного латышского классика Гунарса Яновскиса (Gunars Janovskis), который своим романом «Pēc pastardienas» («После судного дня») запятнал Эренбурга, как главного источника зверств и насилий советских солдат в Германии, имея в виду его обращение к воинам с призывом «Убей немца».

Игорь Северянин (1887–1941)¹

Это была очередная сенсация Сергея Журавлева, когда он в 1997 году оповестил почитателей творчества Игоря Северянина (такие среди старожилов Риги и Даугавпилса еще сохранились), что их кумир, которого все считали целиком и полностью принадлежавшим Эстонии, жене-эстонке, эстонской культуре, родился все же в Латвии – в Майоренгофе (правда тогда это была всего лишь губерния, то ли Лифляндская, то ли Курляндская).

«За матерью поэта – тогда молодой обаятельной вдовой Наталией Степановной (урожденной Шеншиной, родственницей поэта А. Фета) – ухаживал его будущий отец поручик Василий

¹ Абызов Ю. Игорь Северянин – во второй жизни. // Даугава, – 1989, – № 7, – с. 81–90.

Петрович Лотарев. Среди его соперников был и местный полицей-
мейстер Гротхус. В поэме «Роса оранжевого часа» поэт (очевидно
со слов отца) описывает этого искателя благосклонности матери.
Влюбленный Гротхус¹:

Ухаживая, на коне
К ней на веранду при луне
Орлом, бравируя, въезжал.
Барон, красавец златокудрый,
Напрасно от любви дрожал...»

Итак в Майоренгофе, в модном кафе:

«Встретились за кофе,
У Горна юный адъютант,
Он оказался Лотаревым.
Впоследствии моим отцом.
Он мать увлек веселым зовом
И все закончилось венцом.»

В «Поэме о Майоренгофе» Игорь Северянин снова возвраща-
ется к этой теме:

Я помню, в Майоренгофе,
Когда мне было семь лет,
Я грезил о катастрофе,
О встречах, которых нет.

Судя по воспоминаниям детства, изложенным в «Росе оранже-
вого детства»,² принадлежа к высшим кругам военной аристо-
кратии, будущий поэт не чувствовал никаких ограничений, в
том числе и духовного порядка, а именно наслаждался теми же

¹ Журавлев С. С памятью о Майоренгофе. // Советская молодежь. – 1997, 19 мая.

² Žuravļevs S. Igora Severjaņina simtgade Baltijā. (Столетие Игоря Се-
верянина в Прибалтике) // Karogs. – 1987, – Nr. 8.

концертами, в том же саду Горна, которые в свое время слушали и Гончаров, и Ян. Об этом свидетельствуют и воспоминания Северянина о том, как готовился к выступлению симфонический оркестр и «будущий Кусевицкий настраивал контрабас».

Бывал будущий поэт и в Дзинтари, в домике на улице Плиекшана, 53, где многие годы провел артист и режиссер Александр Рустейкис. А вот что лет десять тому назад рассказала спутница его жизни Галина Николаевна:

«В молодости очень увлекалась поэзией, сама писала стихи. В рижской газете «Сегодня» в те же дни часто печатался Северянин, под стихами был адрес Эст-Тойла. Я послала свои «произведения» ему на отзыв. Поэт откликнулся, сообщил, что в таких-то числах будет в Риге. Было это в 1927–28 году.

Северянин приехал вместе с женой Фелиссой Михайловной. Мы узнали, что он читает стихи в каком-то кинотеатре. Встретились с поэтом за кулисами этого рижского кинотеатра, разговорились. Остановился Северянин в тот раз в очень дешевой гостинице «Сауле». Видно было, что он очень нуждался в те времена. Жил едва ли не впроголодь – грустно было смотреть, как прихлебывал он жидкий чаек.

Мы пригласили поэта к себе в гости (жили мы на ул. Алберта, 3, кв. 8), приготовили к его приезду узбекский плов.

Игорь Северянин дружески беседовал с Александром Александровичем, речь заходила о театре, литературе, общих знакомых. До революции поэт был кумиром салонов, графинюшек и разных дамочек «полусвета» – рангом пониже. У него был приятный звучный баритон, но манера читать стихи – особая, нараспев. Его лучшей книгой мы считали «Громокипящий кубок». Прибалтийский же период в жизни и творчестве Северянина казался нам его закатом, потуханием..

Выглядел поэт старше своих лет, лицо его было в многочисленных морщинах. Одет он был скромно, поношенный костюм не оставлял сомнений в том, что материальное положение его оставляло желать лучшего. На голове Игорь Северянин носил отороченную мехом эстонскую шапочку, видимо, подарок жены.

Вообще они с Фелиссой Михайловной очень подходили друг другу, пара была оригинальная, на улице на них обращали внимание.

Наша переписка с поэтом продолжалась до конца 30-х годов. Я послала ему несколько книг русских литераторов, изданных в Париже. Северянин горячо интересовался современной литературой, иногда просил, если представится возможность, купить для него то или иное издание. В Эстонию из русских «литературных столиц» доходило значительно меньше, чем в Ригу. На письма поэт отвечал корректно и дружески, приглашал в гости. Однако побывать в Тойле нам не удалось – наша семья также испытывала материальные трудности.

В конце 30-х, году в 1938-м, Игорь Северянин посетил нас на даче... Он читал нам стихи – он стоял здесь, возле кафельной печи, порою прислонялся к ней, словно нуждаясь в опоре и тепле.

У меня сохранилась книга стихов эстонского поэта Э. Раннита в переводе Игоря Северянина, его письма, большую часть которых приобрел ленинградский коллекционер Л., ныне покойный».

В одном из сохранившихся трех писем Северянин писал: «Пользуюсь зимой – пишу стихи. Придет весна – начнется рыба, тогда уж не до писаний, и газета останется без лирики, тем более что и Бальмонт что-то мало появлялся. Газета без лирики, лирики – без гонорара. А это недопустимо, увы».

Это – о гастролях в 1927 году. Начались же систематические гастроли с поэтовечерами в Риге и Даугавпилсе в 1921 году. Происходят в 1924 и 1939 годах.

О пребывании Игоря Северянина в Риге и Двинске сохранилось много воспоминаний. Не все они опубликованы, собраны. Предлагаем кроме опубликованного Журавлевым еще два интервью из архива Б. Инфантьева.

Игорь Северянин в Риге. Н. И. 1928

(из блокнота интервьюера)

«Игорь Северянин принял меня за кулисами миниатюрного театрлика, где он ежевечерне читает свои стихи. Под томительно-кричащие звуки танго завязалась наша беседа. Станный человек

в смокинге, с взлохмаченными волосами, рассказал о том, что он поэт, а не человек, что ему, анархисту по творчеству, чуждо все житейское, как чужда теперь (в постоянном одиночестве местечка Тойлы) и вся культура. Под непривычный аккомпанемент модной песенки Северянин прочел свое стихотворение «Культура», которое никто нигде не печатает, потому что поэт презирает в нем все человеческое.

– Неужели вам так чужда современность?

– Да, да, – нервно восклицает Северянин, – ведь из-за фокстрота забыто все. Нет ни стихов, ни музыки, ни картин.

– Что же остается?

– Только то, что вдали от города и ярмарки – природа. Десять лет мы живем уже вдвоем с женой на берегу Финского залива, и редкие наши выезды «в свет» действуют совсем не завлекающе.

– Раньше во мне было много молодого задора, – рассказывает Игорь Северянин. – И то, что я писал, нельзя понимать, как понимали и понимают еще до сих пор почти все мои читатели и критики. Мои прежние темы, приемы – это ведь особая, так сказать, ироническая лирика, а критика приняла все это всерьез, вообразив, что в этом и весь Северянин.

– А вы, Игорь Васильевич, много теперь пишете? И что именно.

– Пишу стихи, статьи, воспоминания... Работаю, между прочим, всегда осенью и зимой. А летом почти ничего не пишу. По вечерам или по ночам не люблю сидеть и обыкновенно принимаюсь за работу с утра.

– И как именно? По-бальмонтовски: «Но я не размышляю над стихами»? – или...

– Нет, наоборот: размышляю долго. Придерживаюсь пушкинско-брюсовской школы. Впрочем, некоторые из своих последних поэм писал всего по несколько дней – импровизацией.

Северянин увлекательно рассказывает о своем житье:

– Живу на самом берегу, в маленькой рыбацкой деревушке Тойло, которая когда-то была курортом. Из окна виден Финский залив.

Свою избушку постарались сделать по возможности комфортабельно. Внутри – уют и даже некоторая претензия на модерн.

Вокруг – глушь, леса, озера. До ближайшей станции восемь верст, а до ближайшего города – до Нарвы – сорок. Все лето рыболовство. У меня есть лодочка, «Ингрит», на которой я совершаю путешествия, ухожу из дому на рыбную ловлю. На несколько дней. Зимой же много катаюсь на лыжах, много читаю – русских и европейских классиков. За новейшей же русской литературой слежу плохо, так как ведь в моей глуши новых книг не достать.

– Что самое радостное и самое прискорбное в деятельности и звании поэта?

– Самое радостное – это, когда пишешь стихи... Когда читаешь их на специальных вечерах перед любителями и ценителями поэзии. А самое прискорбное – это читать перед случайной аудиторией. Прискорбно также, когда в моем присутствии говорят о политике, которая есть ни что иное, как преднамеренная вражда...

– А кем бы вы, Игорь Васильевич, были, если бы не были поэтом? – задал я последний вопрос.

– О, конечно, рыболовом.»

Николай Истомин. Из воспоминаний, 1979¹

«Изредка в Ригу наезжал из Эстонии Игорь Северянин. В конце 20-х годов я с ним познакомился. Он приехал на гастроли: выступал в маленьком дивертисменте второразрядного кинотеатра на торговой Мариинской улице у самого вокзала. Дивертисментик из трех номеров. Последним выступал с чтением своих стихов Северянин. Мне, сидящему среди его слушателей, было жаль поэта: не от хорошей жизни выступал он на таких подмостках!

Новые стихи Северянина были совсем не похожи на те, которые до революции принесли ему широкую известность. В них совсем не было новых словообразований, вычурности, изысканности, манерности, претенциозности. Это были очень простые, даже порой грубоватые по форме и содержанию стихи. В них воспевалась все больше природа – природа лесисто-озерной приморской Эстонии, простая жизнь близких к природе тружеников.

Остановился Северянин во второклассной гостинице наискосок от того кинотеатра, где выступал, на улице Меркеля. Я застал

¹ Советская молодежь. – 1987. № 96.

его с женой в номере в поздний утренний час. Он принял меня приветливо, радушно. Оказывается, знал мои стихи, печатавшиеся в рижских газетах и журналах.

Северянин достал две или три толстых тетради, исписанные его неопубликованными стихами. Там были и поэмы. Некоторые новые свои стихи и отрывки из поэм он охотно прочитал мне. Они были написаны пушкинским ямбом. Это были классические по форме стихи, лишенные какого-либо новаторства. И еще в большей степени, чем в стихах, какие он читал в кинотеатре, в них было отрешение от всего городского. От городской суеты, городского быта, городской культуры, городских людей.

Запомнилось начало одного из таких северянинских стихотворений:

Пошлее праздников придумать трудно.
И внешности я их не выношу.
Так отвратительно повсюду людно,
Что в этой людности таится жуть.

В праздничной толпе шляется Глупость со своими дочками – Пошlostью, Завистью и Сплетней. Поэт ненавидел обывателей и мещан.

Темноволосый и чуть курчавый, с продолговатым лицом и выгнутом носом, Северянин, вероятно, не был похож на типичного скандинава, но мне почему-то он казался похожим на скандинавского лесоруба или рыбака, а может быть, и на викинга. Жена-эстонка – маленькая, светловолосая, очень простая, в ней было что-то крестьянское.

Послушав нового Северянина, я не мог не воскликнуть:

– Это совсем не тот Игорь Северянин, который вошел в русскую поэзию!

Он согласился с тем, что есть два Игоря Северянина, и второй в России совершенно неизвестен.

Северянин подарил мне сборник своих новых стихов с дарственной надписью: «с искренней приязнью». А я преподнес ему свой сборничек.

В конце беседы я спросил:

– Игорь Васильевич, можно задать вам нескромный вопрос?

– Люблю нескромные вопросы.

– Напомню ваши когда-то нашумевшие в России стихи: «Я – гений Игорь Северянин – своей победой окрылен... Я повсесердно утверждаю... Я покорию литературу...» И прочее. Скажите, – эти – стихи – стремление поразить оригинальностью или вы искренне сказали о себе: я гений?

Северянин немного поколебался и ответил:

– Сказал искренне.

Но вот Латвии и латышей в стихах Северянина почти совсем нет. Единственный «Экспромт по приезду в Ригу», помеченный 12 ноября 1924 года:

Талант – талант, бездарь – бездарность,
Будь это швед ли, иудей,
Не оскверняйте светозарность
Приписыванием «идей»,
Совсем несвойственных поэту,
И помните, что он творит,
Служа не тьме, а только свету,
Как истинный космополит.
(Рига, 1924, 12 ноября)

Никаких местных признаков при всем желании в стихотворении этом обнаружить не удалось.

В какой-то мере это относится и к посвящению рижанину Оскару Строку – «королю фокстрота», помеченные 1927 годом под заглавием «Фокстрот».

Король Фокстрот, пришел на землю править,
Король Фокстрот!
И я – поэт – его обязан славить,
Скривив свой рот...
А если я фокстротных не уважу

Всех потрохов,
Он повелит рассыпаться тирану
Моих стихов.
Ну, что же, пусть! Уж лучше я погибну
Наверняка,
Чем вырваться из уст позволю гимну
В честь дурака! (1927)

Латвийские почитатели Игоря Северянина были куда тароватее. Ему посвящали свои стихи О. Даманская, В. Третьяков, А. Перфильев. О нем писали Н. Гроссен, А. Формаков, К. Бальмонт, П. Пильский, С. Сахаров.

На латышский язык стихи Северянина переводили в 20–30 годы Валтс Давидс, Фрицис Гулбис, в наше время А. Пелше («*Valširdīga romāns*») («Откровенный романс»), 1990). Северянина в своих стихах вспомнил и О. Вацietис («Близ Северянина», М., 1987 г.).

Все это собрать, систематизировать, оценить – задача будущего!

Георгий Иванов (1894–1958)

Георгий Иванов – тоже наполовину латвиец: женился на Ирене Одоевцевой – тоже писательнице, ничего не написавшей о Риге, Латвии, в то время как о Петербурге и Париже писала и много, и примечательно. В квартире отца Одоевцевой – рижского присяжного поверенного Густава Гейнеке в многоэтажном угловом доме по Гоголя 4/6 и на даче в Приедайне подолгу гостили писатели.

В отличие от жены-рижанки, сам Георгий Иванов – петербуржец, вошел в литературу русского зарубежья двумя своими статьями о Латвии.

Очерк 1934 года «Московский форштадт» написан для парижской газеты «Последние новости»¹. (1934, № 4894)

Читатель, вслед за автором, минует «забор, утыканный гвоздями от воров», проходит двор, буйно поросший бузиной и сиренью, входит в «узкие сумрачные комнаты». Ничто не ускользает

¹ Иванов Г. Собр. соч. в 3-х томах. – // Москва: Согласие. – 1994, – с. 306–325 (далее: Собр. соч.)

от взгляда очеркиста: ни домотканые «половики», ни «мебель персидского ореха, обитая зеленоватым или коричневым репсом «восточного рисунка», ни «угловые», «на восемь персон» диваны, ни «выкрутасистые» кресла. Описания доносят объемы, цвета, запахи. «Пахнет пылью, лампадным маслом, жареным кофеем», шалфеем, еловыми ветками, которые «для здоровья подвешены к печной вьюшке». На стенах обязательные «портреты высочайших особ». Николай Павлович на коне. Царь Освободитель в гусарском ментике. Александр III, рука его заложена за борт сюртука. Мария Федоровна «в русском уборе». Рядом с ними «портреты генералов или духовных лиц – Паскевич-Эриванский, Кутузов, Иоанн Кронштадтский...»

На торговом пятачке за Гостиным двором – рижская «Сухаревка». «Здесь прохожих поминутно хватают за фалды краснощекие старообрядцы и библейские еврейки.» «Милый барин, дай погадаю, будешь счастливым, женишься на богатой», – скороговоркой твердят цыганки, окруженные множеством хорошеньких, жутко грязных цыганят. Иной мир с явными приметами нищеты, хулиганства, порока начинается за толкучим рынком.

«Через дом на Московской чайная или трактир. Трактир «Ягодка», ресторан «Америка», чайная «Золотой рог»... Из поминутно распахивающихся дверей вместе с чадом и гулом голосов вырывается «старорежимная», сладкая форштадтскому сердцу музыка: «Пропал я мальчишка», – несется из «Ягодки» или «Америки», «Пожалей ты меня, дорогая», – хрипло откликается из «Золотого рога».

Во второй части очерка – психологический портрет, незавидная участь известного каждому на форштадте ростовщика Ивана Севериновича по прозвищу «Жаба». Никогда и никому не сказал он сочувственного слова, ни одному форштадтцу не помог. Совсем как пушкинский «скупой рыцарь», он бережно, не дыша, поднимал крышку длинного сундука и любовался просроченными закладами, «которые никогда уже не унесут» из «низкого рыжего дома», очень похожего на «заржавелый утюг». Среди закладов – золотые часы с массивной цепочкой. Драгоценность эту приказчик

Сережка Зубов украл у купца, своего хозяина. Сестра приказчика Шурка, вместе с «Жабьей» стряпухой Аксиной, просит «Жабу» вернуть часы, иначе брату грозит тюрьма. Возмущенный такой просьбой ростовщик (он не может даже представить себе такого: «тысячную вещь» – и отдать без выкупа!), гонит просительницу вон из душных своих покоев. Но Шуркины мольбы и Анисьины упреки разбередили старика, и через довольно долгое время он относит дорогой заклад своей стряпухе, просит передать Шурке. И покой, и благостное умиление воцаряются в душе Ивана Севериновича. «Он сейчас же и засыпает. Во сне он видит золотые часы, которых совсем не жалко, и Сережку Зубова, который кланяется в ноги и благодарит.» Но действительность оказалась и страшнее, и жестче. Проснувшись, ростовщик видит наглое «перекошенное красивое лицо Сережки». Трагически поздно исчерпанный конфликт по-своему решает удар Сережкина топора...

Второй очерк, «На Рижском взморье в августе», предназначался для газеты «Сегодня» (1931, № 218). По этой причине «автономные», со многими подробностями, описания Эдинбурга или Майоренгофа оказались бы излишними. И. Г. Иванов поступает поиному. Примелькавшийся рижанам повседневный взморский быт – рестораны, отели, кафе, аттракционы, бары – сравниваются с самыми модными, европейски знаменитыми курортами. Это Остенде и Биарица, Дьеп и Трувиль-Довилль. Вывод автора бесспорен: нет на свете красивее, нет милее, уютнее Рижского штранда. Посему автор решительно отказывается понимать своих собеседников – рижан. Последним никак не дано понять «атмосферу скромного довольства», столь свойственную и Ассари, и Майоренгофу, и Эдинбургу...

И до очерка «Рижское взморье в августе», и после него в газете «Сегодня» Георгий Иванов опубликовал свыше пятидесяти статей. По большей части это были воспоминания о видных литераторах. В 1929 году библиотека русского зарубежья дополняется книгой «Петербургские зимы» (Собр. соч., с. 5–220). Петерис Эрманис на страницах журнала «Latvju grāmata» («Латвийская книга») (1929, № 3) откликнулся на эти очерки сочувственной рецензией.

«В книге Георгия Иванова, – отмечает латышский критик, – «метко схваченные» писательские силуэты, увиденные новым взглядом давно известные персонажи. То, что происходит с российскими стихотворцами и беллетристами в городе Акакия Акакиевича и Раскольникова, не могло бы приключиться ни в Берлине, ни в Мадриде, ни в Копенгагене, ни в Париже». Со страниц ивановских очерков перед читателями газеты «Сегодня» возникают и собрания литературных портретов, встают образы Игоря Северянина и Анны Ахматовой, Александра Блока и Николая Гумилева, Федора Сологуба и Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и Ларисы Рейснер, Владимира Нарбута, Бориса Садовского и Виктора Муйжеля.

Экскурсы в «развороченный бурей быт» послеоктябрьского Петрограда приводят Георгия Иванова – это не осталось незамеченным П. Эрманисом – к заключению: самая изошренная гофманиана меркнет рядом с беглыми эскизами, набросанными Г. Ивановым. Стилистика «Петербургских встреч» складывается преимущественно из двух лексико-эмоциональных пластов – созерцательно-интимного и насмешливо-скептического.

Публикуя свои очерки в газете «Сегодня», Г. Иванов не ограничивается петербургскими встречами. В Берлине и Париже в эмигрантские свои годы он проводит немало часов в разговорах с генералом П. Бермонтом-Аваловым, а также с редактором французской газеты «Виктоар» Густавом Эрве, другими чем-то знаменитыми людьми.

В диалогах с Бермонтом несколько раз и по разному поводу упоминается Митава. Писатель посетил бывшего командующего Северо-Западной Армией в штабе РОНД'а (Российское освободительное национальное движение). В председательском кресле восседал «герой Митавы» Бермонт-Авалов. Сидит, «хотя и с гордой осанкой будущего диктатора, но как-то непрочно, неуверенно». С Ивановым Бермонт подчеркнуто – напоказ! – откровенен. И об этом не без иронии говорится в очерке: «Очень лестно, что вождь, хотя и не совсем прочно сидящий в своем кресле, делится со мной своими задушевными мыслями, точно я не первый встречный,

а свой человек, тоже сжегший мимоходом Митаву». Заходит с бывшим генералом разговор и о министре Временного правительства А. Гучкове.

«И попался он, сердечный, под Митавой мне, князю Бермонту-Авалову. Да, мне! Тридцать тысяч молодцов при новеньких пулеметиках, дым коромыслом, я – главнокомандующий, и передо мной он самый – Гучков. Что бы сделал на моем месте с Александром Ивановичем дурак? Что? Да! Ясно – повесил бы. Но я изучил законы природы. Я ему сказал: «Александр Иванович, я не дурак, мне нужны умные люди. Плюнем на прошлое и будем работать вместе.» И мы работали, дружно работали, создавали, боролись, дрались, – дым коромыслом. Славное было время».

Бермонт-Авалов, Митава появляются в других статьях и репортажах Г. Иванова, в том числе и наиболее пространно в очерке «По Европе на автомобиле». (Собр. соч. Т. 2. с. 324-372)

На этот раз строки, посвященные разрушителю Митавы, резко осуждающие:

«Митавский замок [...] был сожжен войсками Бермонта-Авалова, хлопнувшего дверь, отступая. Дверь хлопнула громко: имя Бермонта до сих пор произносится в Латвии с ненавистью. Дело, конечно, не в одном Митавском замке: взрыв пириксилиновых шашек, превративших в ноябре 1919 года великолепный дворец в пылающие развалины, только эффективный росчерк в конце длинного «списка благодеяний» этого совершенного конквистадора, полугрузина, полунемца».

Основное содержание статьи все же иное, посвящено истории построения митавского дворца, деятельности самого строителя и, конечно же, удивительной судьбе мелкопоместного дворянина Бюрена, превратившегося в мощного временщика Бирона. Самая трагичная его судьба – после смерти. Литой почерневший серебряный гроб с прахом великого герцога Курляндии «по хозяйственным соображениям» перенесен из усыпальницы в кладовую. От времен большевистского владычества сохранилась фотография: набальзамированная высохшая кукла Бирона стоит во весь рост у стены; на голове немецкая каска, в провале рта – трубка, по

бокам два хохочущих красногвардейца. Когда Бермонт жег Митаву, тело Бирона валялось на обледеневшей земле перед пылающим дворцом. Потом его подобрали и только теперь, в 1933 году, серебряный вычурный гроб рококо зарыт в землю на обывательском кладбище.

Имя же курляндского герцога сохранилось в нескольких стихах Г. Иванова, в стихах о Петербурге:

И вижу я Тучков Буян
В лучах иной, бесславной славы,
Где герцог Бирон кровью пьян,
Творил жестоко суд неправый.
(Собр. соч. т. I, с. 483)

В стихах «Тучкова набережная»:

Там Бирона дворец и парусников снасти,
Здесь бледный луч зари, упавший на панель,
Здесь ветер осени, скликающий ненастье,
Срывает с призрака дырявую шинель. (с. 454)

Из многочисленных интервью Г. Иванова запомнилась и вскоре оказалась на страницах газеты «Сегодня» – беседа с парижским журналистом Густавом Эрве.

«Во французских кругах, – находим в одной из публикации, – в последнее время стали живо интересоваться Латвией.» Его самого просили дать ряд очерков «о жизни и настроениях в обновленной Латвии». Г. Иванов уверяет издателя и читателей его периодических изданий: «Политика в нынешней Латвии с ее близостью к народным массам как бы переплетена с поэзией народной души, и этот ее поэтический элемент очень интересен и поучителен для современного читателя».

Знали Георгия Иванова не только в редакции газеты «Сегодня». Мыслями о писательском труде он делился с молодыми рижскими литераторами из объединения «Рояль». За дружеским ужи-

ном Г. Иванов обменивался мнениями с Петром Пильским, Кирой Верховской, Тамарой Межак, Еленой Гюлих, Евгенией Квесите, Георгием Матвеевым. Видели большого друга Латвии на публичных лекциях Ирины Одоевцевой о социальных и этнических, о профессиональных проблемах женщины 30-х годов.¹

Аркадий Аверченко (1881–1925)²

Кажется, не найдем второго, тесно связанного с Латвией русского литератора, который упражнялся бы в таком необычном жанре, как саморецензия. А вот юмористу до мозга костей Аркадию Аверченко и этот жанр по плечу. «Сегодня» за 21 января 1923 года знакомит своих читателей с мнением «короля смеха» о им же самим написанных одноактных пьесах. Обе миниатюры, «Старики» и «Мак», в один вечер разыгрывали артисты Рижского театра русской драмы. Перво-наперво Аверченко потешается над газетчиками, над достойным смеха их заказом – печатно откликнуться на свой же собственный спектакль. Столь неожиданное предложение он получил за кулисами, в антракте. Неслыханный диалог писателя и газетных репортеров происходит в присутствии занятых в спектакле Астарова, Унгерна, Мостакова – знаменитостей театра. Можно было бы думать: разговор подобного рода крайне возмутит и драматурга, и исполнителей. Ан, нет. Реакция оказалась решительно иной.

«На лицах актеров, – сообщается в авторецензии, – мрачными чертами изобразилась самая истерическая зависть. Я прочитал в двадцати глазах: – И везет же этому Аверченко! Эх!.. Если бы мне после моего бенефиса поручили написать о себе... Какие сладкие возможности, какие перспективы!»

И Аверченко решает:

«Хорошо, напишу рецензию. Но вот: премьер труппы возмутился: «Как же так можно писать рецензию о самом себе?» Но возмутился он только потому, что сам не прочь был настроичить

¹ Равдин Б. Три портрета Георгия Иванова. // Даугава. – 1993. – № 1, – с. 161–178.

² Янчиров Р. О прозе Аркадия Аверченко. // Родник. – 1990, – № 1.

бойкий отзыв и на гонорар отменно покутить.» «А если я буду ругать себя?» – тут же парирует юморист, не желая отказаться от забавного предложения. «Тогда все сочтут за сумасшедшего», – не унимался премьер.

Вторая часть рецензии – остроумная пародия на безликие, похожие один на другой опусы провинциальных репортеров. Любой из них обходится взятыми напрокат штампами, кочующими из газеты в газету расхожими фразами: «Ощущение приподнятого настроения передалось от публики актерам и, поэтому, «Старики» в исполнении Астарова (Мокосов) и Маликова (Перепелицын) были сыграны отлично, с большим подъемом.» Или: «Даже небольшие роли грузина (Астаров) и распорядителя концерта (Унгерн) были проведены с завидным темпераментом.»

Аверченко потешается над не раз виденной в литературном быту ситуацией. Если собственное его исполнение роли не придется по душе публике, у него всегда найдется запасная лазейка. Вдруг Аркадию Аверченко скажут: худо вы справились со своей ролью, – последует ответ: «А мне что! Я писатель, а не актер! Когда же его слуха коснутся слова: «Отвратительный вы написали рассказ, Аркадий Тимофеевич», – последует гордое несогласие: «Это не моя специальность. Я, в сущности, актер».

Не менее ироничен и находчив Аркадий Аверченко в интервью, напечатанном в 8-м номере газеты «Либавское русское слово» за 1923 год. По опущенным головам и поникшим носам посетителей писатель мгновенно понял: это – за интервью, на всегда одни и те же вопросы газетчиков следовали непривычные, подчас парадоксальные ответы:

«– Сколько вам лет?

– Не знаю.

– То есть, как не знаете?

– Так и не знаю. Когда был совсем маленьким, не умел считать, а вырос – сбился.

– Но ваши родители?

– О! Они так молодились, что если бы я не сопротивлялся – мне сейчас было бы лет восемнадцать.»

В столь же фантазмагорическом духе беседа продолжается и дальше. Оказывается, писателю неведомо место, где он впервые увидел свет Божий. Целых три города – Харьков, Севастополь, Одесса, совсем как в истории с Гомером, – оспаривают право называться родиной всем известного юмориста. Никак не предполагали репортеры и такой оборот диалога:

«– Где вы учились?

– Нигде. Родители полагали, что у меня слабое зрение, и я с детским простодушием поддерживал это заблуждение.

– Но вы что-нибудь кончили?

– Да. На прошлой неделе.

– Так поздно?!

– Да, это было поздно: половина второго ночи. Я кончил небольшой роман.»

И все-таки на три вопроса ответы Аркадия Аверченко прозвучали совсем серьезно:

– о языках, на которых публикуются его книги (на немецком, финском, венгерском, итальянском, латышском, польском, болгарском, сербском, хорватском, чешском);

– о писательских и актерских маршрутах («Я гражданин мира, и страны мелькают передо мной как придорожные столбы. Земной шар сделался мал. За последние три года он высох и съезжился, как старый лимон»);

– об отношении к писательскому мастерству («Я в литературе больше всего ценю сжатость, краткость. Будь то роман, повесть или интервью.»).

Этот отклик на самого себя и свой спектакль Аверченко принес в редакцию «Сегодня» в сопровождении актерского эскорта – А. Гришина и Н. Муратова. Петру Пильскому Аркадий Тимофеевич запомнился веселым, как всегда, добродушным, чуть-чуть неуклюжим. «Аркадий Аверченко много рассказывал о себе, о своих бесконечных скитаниях:

– Какой я теперь русский поэт? Я печатаюсь главным образом по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски, устраиваю свои вечера, выступаю в собственных пьесах, разъезжаю по Европе, как завязтый гастролер.» (Сегодня, 1925, № 58)

К всеобщему удовольствию рижан в столицу Латвии Аверченко присылает статьи, рассказы, пьесы отовсюду, иногда по два, по три, по четыре рассказа или статьи в одном конверте. Темы самые разнообразные: «Мертвец на сцене. Лекция-доклад А. Ф. Керенского», «Пасхальные советы», «Христос и социализм», «В пользу дома Н. А. Тэффи».

Однажды в конверте оказалась половина статьи. «Это потому, – разъяснял Аверченко, – что послали мне всего тысячу крон. По нашему договору – на четверть фельетона не хватило. И вот вам часть – семь с тремя четвертями рассказа.»

В другом письме рижские газетчики получили дельные, прозорливые советы:

«Не будьте похожи на те русские рестораны, которые в первый месяц открытия кормят чудно и встречают приветливо, а на второй месяц бывшая в восторге публика в панике разбегается. Эту изящную параллель я привел к тому, что уже июнь, а жалкая ваша тысчонка прожита, прикончена в половине мая.» (Сегодня, 1925, № 58)

Многочисленные публикации об Аркадии Аверченко в газете «Сегодня» подписаны всем соцветием балтийского и всего русского зарубежья. Здесь видим имена П. Пильского и М. Ганфмана (редактора газеты), А. Куприна и Н. Тэффи, Льва Максима и Д. Маевского, С. Горного и Б. Харитона, К. Бельговского, Саши Черного, В. Ховина и Ю. Айхенвальда, – и в наши дни остаются незаменимыми источниками для исследователей литературного процесса первых десятилетий XX века. А. Куприн на страницах газеты «Сегодня» (1925 г., 29 марта) счел возможным заметить: «Молодой яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и его беззаботная энергия сделала здесь очень много...»

Популярность Аркадия Аверченко среди латышей восходит к самым первым годам XX века. По количеству публикаций он мог сравниться разве только с Леонидом Андреевым. Самые ранние выступления отражены в латышских газетах уже в 1908 году. Это

«Pienākuma mosekļis» («Мученик науки») в газете «Ziemeļblāzma» («Зиемельблазма») (перевод К. Дуцманиса). В 1910 году в бостонской газете «Strādnieks» («Рабочий») напечатан его рассказ «Juseklis» (переводчик Я. Эрглис), в 1912 году в журнале «Gailis» – «Caug vesela prāta prizmu» («Сквозь призму здравого смысла») (переводчик Рутку Тевс).

В двадцатые-тридцатые годы сатирические «осколки» Аверченко не сходят со страниц и рижских, и либавских, и бостонских латышских газет и журналов самых различных направлений. К латышам в эти годы присоединяются и немцы, печатающие миниатюры Аверченко в «Rigasche Rundschau», «Libauische Zeitung», «Neues Tageblatt», «Die Woche im Bild».

В 1919 году в Валке по инициативе переводчика Валтса Давидса увидели свет восемь сборников пьес Аркадия Аверченко, которые разыгрывались по всей Латвии теми многочисленными любительскими труппами, действовавшими при волостных библиотеках, обществах взаимопомощи, сельскохозяйственных обществах. Особая популярность ожидала миниатюры Аверченко в годы войны и революций. Но его пьесы пользовались также популярностью и в профессиональных театрах, их постановкой занимались Т. Ашманис и Э. Лаубертс.

О постановке в латышском театре «Комедия» пьес Аверченко «Рыцарь индустрии», «Судьба женщины», «Человек за ширмой», «Без ключа» в исполнении Кристапа Кошкина, Мирдзы Шмитхены, Людмилы Шпильберги, Алисы Брехмане газета «Балтия» (13 января 1917 года) писала: «В один вечер мы видим четыре пьесы одного автора, и это дает возможность составить достаточно полное представление о драматурге, его персонажах, изобразительных средствах. Сатира на нынешние нравы оставляет сильное впечатление. Обычно драматург своих героев ставит не в какие-то исключительные, придуманные, но привычные для них ситуации и положения, так ему надежнее удастся вытянуть на свет все темное, низменное, порочное и подвергнуть резкому осмеянию.»

Андрей Белый (1880–1934)

«Субботний день» 11 января 1992 года опубликовал прелюбопытный документ, еще раз подтверждающий никогда не прекращавшийся диалог русских и латышей.

«Доверенность.

В 1921 году, в феврале месяце, в Москве был представитель Латвийского издательства, фамилию которого я не знаю, ибо все переговоры шли через Михаила Андреевича Осоргина; этот представитель Латвийского издательства, связанного с Государственным издательством Латвии, собрал ряд рукописей русских писателей для издания их в Латвии; между прочим, он взял у меня на три печатных листа текста рукописи моей «Эпопеи», рукопись сборника стихотворений «Звезда» и рукопись <неразборчиво> исследований «Лев Толстой и культура» (от 4-х до 5-ти печатных листа). Он обещался в течение 2-х месяцев издать мою рукопись о Толстом и стихи «Звезда». За нее 7,5 печатных листов текста я получил авансом 700,000 советских рублей. С тех пор прошло 10 месяцев: мы, москвичи, не имели никакого сведения о забранных у нас рукописях. В частности, моя рукопись «Лев Толстой и культура» есть уникум, копий у меня нет. При поездке через Латвию в Берлин меня выгнали из Латвии при посредстве городского: письмо, рекомендательное к Мееровичу, данное мне в России и пересланное через Литовское консульство, я не мог предъявить. Выгнанный из Латвии, я не мог навести справки о моем издательстве. Рукописи «Толстой и кризис культуры» у меня нет. Поэтому я хотел бы: 1) знать о судьбе ее, 2) получить причитающиеся мне за эту рукопись деньги. Мой адрес в Берлине: [...]

Доверяю все суды и ряды Алексею Николаевичу Ремизову и художнику К. Ф. Залиту.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) 12 января 22 года.»¹

Чуть ли не каждая строка этого документа требует комментария.

Рижский издатель, о котором упоминается в доверенности, как выяснил Юрий Абызов, это Самарин-Садовский, создавший «Лат-

¹ Тименчик Р. Доверенность Андрея Белого, – Субботний День, – 1992, 11 янв.

вийское издательство русских писателей», напечатавший книгу Осоргина. Издательство скоро прогорело, и ни Ремизову, ни Залитису рукописи Белого получить не удалось.

С Залитисом Андрей Белый познакомился при посредстве их общего друга Ремизова. Великий мистификатор упоминает своего латышского друга в нескольких своих произведениях, приписывая ему самые необычные и невозможные ситуации, вплоть до изготовления бомб.

Но самое примечательное в «Доверенности» – упоминание об «изгнании» русского писателя из Риги.

Можно себе представить, что переживал писатель, подвергшийся такому унижению, поэтому понятен его довольно саркастический памфлет «Одна из обитателей царства теней», который как остросюжетная комическая сатира был опубликован через два года в Ленинграде отдельной брошюрой. Приводим фрагмент из этого произведения.

«Некто очутился в Риге в ожидании въездной визы в Германию.

Был наслышан о радостной и обильной жизни в счастливой Латвии. Но Рига его не обрадовала: в воздухе стоял густой октябрьский туман, а в воде отражался серый свинец тумана. И в этом свинце по его поношенной шляпе и удивительному пальто – безошибочно можно было узнать в подозрительном русском носителя «большевистской заразы» и бесстыдно драли с него бешеные деньги. В воздухе столицы Великолатвийской державы «некто» явственно различал звуки монотонной мелодии Саца из «Жизни человеческой» и «некого» в сером встречала некая бесконечно скучная и банально серая русская эмигрантская газетка.

Надменные граждане Латвии, гордые своим носом и полнотой желудка в этот единственный день пребывания «некого» в Риге, несколько раз осчастливливали его, услужливо указывая на то, что все то, что он здесь видит и слышит, является чем-то роскошным и выдающимся. В то же время «некому» казалось, что вокруг него банальная оголенность, подавляла безвкусица нуворишей. Вместо выдающейся роскоши эта безвкусица открывала взору «некого» плохо одетых по-русски говорящих кепочников, через которых

иногда просачивался надменный нувориш, надувшийся как лягушка, которая хочет стать слонем. В тот день «некто» думал: откуда у него столь обычная для русского взгляда разумность? На разбитых, холодных проспектах Москвы и Ленинграда по сравнению с Ригой разгуливали какие-то «ободранцы», но у «оборванцев» были живые глаза, острый взгляд, который свидетельствовал об устремленности мысли; «некто» привык к тому, что у встречных на улицах были глаза. Его смущало то, что у уважаемых мещан на уважаемых улицах великолатышской столицы не было глаз. «Где глаза?» Он думал. Вместо глаз лишь дырки с... без взгляда живого человека. Его мучало то, что у встречных культурных латышей не было глаз: да, они исчезли, но вместо «глаз» были надглазия и подглазия в виде черного котелка и роскошной шубы. Совокупность того, что в Москве, Ленинграде принято называть «личностью», но у здешних «личностей» не было своего «лица»: «лицо», очевидно, исчезло в одежде.»

Так получилось, что с подлинной Латвией Андрей Белый встретился в Берлине. Эта «берлинская Латвия» была прежде всего издаваемая Андреем Курцийсом латышская газета «Laikmets» («Эпоха»), в которой Андрей Белый в 1923 году печатает свою статью «Piezīmes pie vārda teorijas» («Заметки по теории слова») (с. 32–35). С этой поры Андреем Курцийсом становится верным учеником и популяризатором русского своего собрата. В своей книге «Aktīvā māksla» («Активное искусство»),¹ цитируя стихи Андрея Белого в собственном переводе, Курцийс доказывает: характеризующему интеллектуализму противостоит другое течение в искусстве, которое, проходя мимо моментов пространственно-понятийного интеллектуализма, подчеркивает как главное в современной поэзии и искусстве – общеэмоциональную ритмику. Перед этой активностью ставится серьезный вопрос, на который приходится отвечать.

Ритмика слова специально анализируется соответственно концепции Андрея Белого в X главе книги Курцийса. «Ритмика слова четко неотделима от качества звуков. Музыкально-танцующий в поэзии это не только координирующий жест слов, звуков и рифм.

¹ Kurcijs A. Aktīvā māksla. – Potsdama: Laikmets. – 1923.

Поэтому возражения противников музыкально-хореографического начала в понимании поэзии в большой мере следует направлять и к мелодичности как стержню поэзии, как это теоретически развивает и практически пытается оправдать Андрей Белый.»

«Поскольку Андрей Белый хочет устранить некоординированный образ вокруг хореографической души лирики, ненужные чрезмерности звуков и ритмов, постольку с ним следует полностью согласиться,» – делает вывод Андрейс Курцийс. «Эту тенденцию мелодичности следует понимать как контрреакцию против художественно так часто противоестественной поэзии имажинистов, против имажинизма как поэтической школы.»

«Однако, – продолжает Курцийс, – борясь с крайностями или имажинизмом, мы впали бы в односторонность, которой грешат некоторые тезисы Белого: в «чистой» лирике мелодия важнее, чем образ; процесс создания поэзии – это процесс создания слова.»

«Обоснование мелодичности Белым в конечном счете вопрос философский. Поэтому ему присуща неустранимость философского схематизма.»

Ссылками на идеи Андрея Белого насыщена также книга Андрейса Курцийса «Par mākslu» («Об искусстве») (1932, «Laikmets»).

Размышляя о соотношениях ритма и размера, Андрейс Курцийс обращается к книге Андрея Белого «Ритм как диалектика» и перенимает мысль этого исследования «Ритм – основа размера».

Современная поэзия также имеет свой ритм, свою гармонию, свою своеобразную закономерную тенденцию – современную диалектику. То один, то другой момент поэтической выразительности оказывается в преобладающем положении. Андрей Белый отмечает: можно говорить о ритме, специфическом для Пиндара или Маяковского, но Гете и Пушкин такого своеобразия не выявляют. Андрею Белому это кажется странным, хотя в этом нет ничего особенного, если вопрос рассматривается культурно-исторически. Ритм Маяковского? И здесь чувствуется жаркое, разрушающее дыхание революции.

Латышский литератор полностью разделяет мысли Андрея Белого о том, что смысловая метафора следует за звуковой, и не

наоборот. Музыкально-хореографический в поэзии рассматривается как элемент, за которым следует смыслообразный элемент. Это очень важный момент в развитии художественного познания, – замечает Андрейс Курцийс. В то же время, по мнению латышского теоретика литературы, Андрей Белый делает из этой важной констатации совершенно неожиданное заключение: подлинная поэзия должна вернуться обратно к ритмической интонации и мелодичности, следовательно, отрицает дальнейшее развитие этого вида художественного познания, которое все же исходит из музыкально алогического к образно логическому, так же как другие отрасли искусства.

Не во всем Курцийс соглашается с Андреем Белым. «Пространственный, то есть, образный и ассоциативный момент, следовательно, в искусстве не теряется. Символисты недостаточно оценили это обстоятельство и впали в преувеличение музыкальности. Это следует сказать и об Андрее Белом. Возражения, которые выдвигаются против преувеличения музыкально-хореографического элемента, например, в поэзии, следует обратить в полной мере против мнения Андрея Белого о том, что мелодичность является своеобразной школой поэзии». На это Курцийс указывает постоянно.

С теоретическими положениями Андрея Белого латышей знакомит не только Андрейс Курцийс. К нему присоединяются Виктор Третьяков, Янис Розе и Рудольфс Эгле.

Третьяков¹ и Розе подробно анализируют книгу «Ритм как диалектика» и «Медный всадник». Значение их статей в том, что положения русского теоретика латышские его интерпретаторы стремятся показать на материале латышских народных песен. Приведем здесь этот своеобразный эксперимент, свидетельствующий о глубине восприятия теоретических положений русского исследователя.

«Андрей Белый в своих исследованиях останавливается на ритмичном элементе не статьи, а строки. Чтобы постичь ритм стиха, надлежит вслушаться, как звучат строки стихотворения по отношению одна к другой. И тут могут быть два случая:

¹ Kurcijs A. Aktīvā māksla. – Potsdama: Laikmets. – 1923.

1) две строки ритмически созвучны, или точнее – две строки в отношении ритма так схожи, что их ритмические различия наше ухо не воспринимает, и, следовательно, это отличие практически приравнивается к нулю;

2) две строки наш слух воспринимает как ритмический контраст. Например:

teci, teci, kumeliņi,
neej soļus skaitīdams.

скачи скорей мой коник,
не иди шаги считая.

звучат столь одинаково по ритму, что ухо почти не различает отличия, и Андрей Белый такой случай отмечает как «совпад», но

vai es tev auzas devu
pa vienai skaitīdams –

не уж тебе овёс давал я,
по зернышку считая.

уже явно ощущаемый контраст.

Далее можно спрашивать, каковы взаимоотношения строк этого четверостишия или его синтез для нашего уха? То есть, в каком соотношении находится совпадение (тезис) с контрастом (антитезис). Цель такого сопоставления – восприятие всей строфы в ее совокупности, восприятие ритмического жеста, или, по словам Андрея Белого, «жеста инновации».

Далее Я. Розе рассказывает о сложности математического вычисления этой «ритмической инновации», в результате которой можно делать далеко идущие выводы о самом произведении. И обо всем другом, что может интересовать исследователя.

Так, о «Медном всаднике» после выполнения такого сложного анализа Андрей Белый пришел к выводу: ужасающее состояние духа, которое характеризует Пушкина в период создания этого произведения, отразилось в поэме – не прямо, открытым текстом, а замаскированным отчаянием и мрачной иронией, – об этом определенное свидетельство дают ритмические кривые поэмы. Ибо ритм, по мысли Андрея Белого, это то первичное, глубинное, подлинное проявление души поэта, которое звучит в его поэзии

даже тогда, когда он сознательно стремится это замаскировать. Ритм, по Андрею Белому, это – первое, первоначальное проявление чувств, которое истекает из самых глубин подсознания. В ритме проявляется самое подлинное вдохновение поэта. Ритм звучит в поэте уже тогда, пока еще ни одно слово стихотворения, ни одна строка не появилась в его уме. В душе поэта сначала рождается интонация стихотворения, жест ритма, и только потом он ищет формы проявления. Поэтому исследовать ритм произведения означает подойти к самому главному ядру – источнику вдохновения.¹

Таким же методом Андрей Белый исследовал и прозу Гоголя.²

Для словесников, филологов и культурологов особый интерес представляет та часть исследований Андрея Белого, которая связана с интерпретацией эмоций, вызванных в авторе этого исследования, звуки, связанные с визуальным их воспроизведением в виде букв. Об этом латышским читателям 20-х годов с предельной ясностью поведал ученик Андрея Белого теоретик литературы, литературовед Рудольфс Эгле.³

Буквы для Андрея Белого – каждая имеет свою мимику, каждый звук имеет свой жест, которые свиваются и связываются с целой симфонией звуков, с соответствующим минором или мажором в мелодии. Теоретически свою концепцию Белый раскрывает в «звуковой поэме» «Глоссалия». Фантастическая эрудиция Андрея Белого здесь вспыхивает небывалым пламенем. В форме импровизации темы «развивают фантазии звукообразов», ибо в составе каждого слова чувствуется жест; этот жест «чудотворная тайна языка», и он должен выразить первобытное значение слова. Этот «жест первоначения» скрыт в корне слова и по сей день интуитивно говорит сознанию. В потоке речи следует искать смысл содержания слова, но в течение времен значение корня затемняет

¹ Roze J. Dzejas ritums. (Поэтический ритм) // *Daugava*. – 1929, – с. 1390 и след.

² Roze J. Belija grāmata par Gogoli. (Книга Белого о Гоголе) // *Daugava*, – 1934. – № 2, – с. 666 и след.

³ Egle R. Andreja Belija jaunākie dzejojumi. (Новейшая поэзия Андрея Белого) // *Latvju grāmata*. – 1923. – № 1, – с. 42 и след.

облако метафор. Слово как понятие сходно с засохшим деревом, высшим слоем затвердевшей земли, поросшей травой. Но внутренняя часть земли – в виде первобытного значения звуков, скрыта в огне хаотической лавины, ритмическом ее шуме.

Глубже верхнего слоя словообраза фонетическая природа слова. И оба эти начала борются в языке как противоборствующие силы; звуковая первооснова слова, словообраз, метафора, корень – в зеве космоса. «Каждое слово – память о древнем смысле звука» – главный тезис поэмы Белого. Смыслового вида у слова поначалу не было, им оно обросло позднее. Не было и самого образа (представления). Образом (представлением) безобразный корень оброс позднее. Звуки, как игровые жесты, появились в космосе из движения языка во рту, из потоков дыхания. «Звуки, – буквально цитирует Белого Рудольфс Эгле, – древние жесты в тысячелетнем представлении будущей сути воспоют мне в космической мысли – рука. Жесты – новые еще не объединившиеся звуки мыслей, живущие в моем теле; во всем моем теле со временем однажды будет тот же самый мотив, который пока происходит в одном месте в моем теле: под черепом.»

На выдохе воздух бьет в горло – радостно удивлены мы его воспринимаем: гах-ах. Выразительность души наоборот – эманация застывших звуков превращает звуки в значения. Наиh характерно в этом превращении – h (вернее – «а» с придыханием). Воспринимаемая и регулируя воздух «движущийся язык рта – космос» из туманной массы рабства выбивает спиранты и сонанты, в которых заключены качества:

с и р – свет и огонь;

у – в – р – е – у – ряд сонантов, сформировавшихся из влажности воздуха;

л – м – у – жидкость;

г – о – б – почти твердые, последний пресноватый;

д – звучный;

г – рыхлый;

к – т – ц – еще тверже, почти каменные; они как три царства природы;

п – б – из животного мира;

т – д – растительность;

к – царства кристаллов, минералов.

Мимика звука, жест звука нам сообщает связь идей – представлений. Звуки языком произносятся ритмически, на поэтическом языке говорят ритмически. На поэтическом языке аллитерации и ассонансы вспыхивают первыми. Через них поэт разгадывает образительный жест и принимает его как выражение своей «мысли». Ученый и языковед на это еще не способен.» Трагика современной философии и поэзии заключается в том, что мы звучащую сущность слова не можем абстрагировать от понятия, образа, представления. Склоняясь в пользу понятия, мы отклоняемся от звучащего *Nomena* к *Nemo* (ничего) – небытию, немости.

Далее Рудольфс Эгле обращается к созданной Андреем Белым теории формирования звуков. И приводит один только пример – формирование буквы *p*.

Это характернейший звук формирования глаголов. Он появляется как выразитель действия уже в самом начале. Он – корень потока времени: «*gea*» и «*gei*»; течение времени, вытекая из «*y*» направляется в определенное русло: «*y*» объединяется уже с «*p*» («*U-h-g*» – «первомир», «*uranos*», «*uhralte*»). Корень действия – «*ag*» – форма глагола (*am-ar-e*, *or-ar-e*). Время прокладывает борозду на пашне вечности; он – первый деятель – ратай, *agājs*. Звук «*ag*» – борозда, удвоенное *ar-ar-e* – *art* (по-латышски); звук «*ag*» на исландском языке – оранье; по-литовски *ar-ti*, по-латышски *art*; на готском языке те же звуки: *ar-ian*; на греческом – *agein*; на англосаксонском – *er-ao*; современном английском *to ear*. Приспособления для пахания на разных языках называются: *ar-atrum*, *aratron*, *arklas*, *arklis*, *arad*, *oradto*. Действие во времени, перенесенное на землю, дало ей название: *ero*, *ira*, *ire*, *terra*, *earth*, *airtha*, *Erde*. Макс Мюллер указывает: звук «*ag*» фигурирует в названиях предметов, образованных от действия (Него – герой, ариец). Звук «*g*» сливается с другим течением, и где они встречаются, возникает крест, *gux*, *groix*.

Р. Эгле называет поэму Андрея Белого фантастической, но наводящей на размышления.

В этой же статье Р. Эгле знакомит латышского читателя с лучшими достижениями лирики Андрея Белого.

С прозой Андрея Белого латышский читатель ознакомлен куда раньше. О романе «Петербург» подробно рассказал в своей рецензии в журнале «Domas» («Думы») VIII за 1914 год (с. 879–880) Янис Карстенс.

Сами же первые произведения Андрея Белого на латышском языке печатаются того раньше. В 1906 году «Cietumnieki» в переводе АП., в 1907 году – «Vēgšana» в переводе Эд. Вульфса¹ и повесть «Dzimtene» в переводе Викторса Эглитиса.

В 50–60 годы имя Андрея Белого оказывается совершенно забытым в Латвии, и только в 1976 году в энциклопедическом издании «Krievu radomju dzeja» («Русская советская поэзия») оказалось 5 стихотворений.

В 1989–1990 годах с пространными статьями о символизме Андрея Белого выступил латвийский философ Игорь Шуваев («Karogs», 1990, № 9, с. 137 и след).

Владислав Ходасевич (1886–1939)²

26 июля 1922 года в Ригу прибыли беженцы из Советского Союза – один из виднейших поэтов серебряного века Владислав Ходасевич с женой-поэтессой Ниной Берберовой. Через границу (в Себеже) перебрались в товарном вагоне с дорожным мешком, в котором лежало собрание сочинений Пушкина («Но восемь томиков, не больше, И в них вся Родина моя»).

«Город, может, и ждал изобразителя, – пишет Р. Тименчик, – но в лице Ходасевича менее всего на такового мог рассчитывать. Ведь ему принадлежат слова: «Изобразительная поэзия перестает вообще быть поэзией». В этой связи Ходасевич цитирует слова Пушкина: «Саранча летела, летела, села, все съела и улетела» и комментирует «Вот вам одновременно шедевр «изобразительной поэзии и образчик глупости».

¹ Rīta Blāzma. (Утреннее сияние) – № 1.

² Тименчик Р. «Чужой восторг». Владислав Ходасевич и Латвия. // Даугава. – 1987, – № 2, – с. 112 и далее.

В тот же день прибывшие гости Риги отправили своим московским друзьям весьма оригинальное письмо:

«Дорогие Диатроптовы.

Tirgotava и tirgotava! Мы еще не знаем и, может быть, не узнаем, что это значит: но это написано на всех вывесках в Риге. Думаем, что это приветствие и на всякий случай обращаемся к Вам с этими словами. Из всего вышесказанного Вы можете судить о нашем местопребывании. Veikals! Этого слова мы тоже не знаем, но думаем, что это значит пожелание всего хорошего, оно написано и на других вывесках.

Владя и Ника.

Сердечная tirgotava всем вашим... В среду скажем Риге последнее veikals! и тронемся в Берлин. Ехали хорошо. Все станции в России называются «кипяток». В Риге много дешевле, чем в Москве, но мы ничего не покупаем.»

В тот же понедельник – день своего приезда – Ходасевич, увидев характерную для рижских парков картину, набрасывает стихотворение, которое год спустя было опубликовано в московском журнале «Россия» – «Большие флаги над эстрадой»:

Большие флаги над эстрадой.
Сидят пожарные, трубя,
Закрой глаза и падай, падай,
Как навзничь – в самого себя.
День, раздраженный трубным ревом,
Небес надвинутую синь
Заворожи единым словом,
Одним движеньем отодвинь.
И закатив глаза под веки,
Движенье крови затая,
Вдохни минувший сумрак некий,
Утробный сумрак бытия.
Как всадник на горбах верблюда
Назад в истоме откачнись,
Замри – или умри отсюда,

В давно забытое родись,
И с обновленную отрадой,
Как бы в мираж в пустыне сей,
Увидишь флаги над эстрадой,
Услышишь трубы трубачей.

Комментируя это стихотворение, Р. Тименчик напоминает «механизм российских литературных путешествий», при котором Рига становилась первой станцией на пути к «стране святых чудес». И в рижском стихотворении Ходасевича исследователь видит «выдох надежд, гаданий и долго копимых предчувствий», тем более, что русский поэт не был в Европе с 1911 года и полузабытый уют мнился им миражом.

Четырехстопный ямб стихотворения «завораживал мгновение, останавливал и преображал его».

«Рижское» стихотворение кажется Р. Тименчику «монументальным снимком». И тут самый раз напомнить, что такой фотографический снимок Риги не случаен: ведь и отец поэта и его дед были фотографами. И для самого Владислава Ходасевича фотография была «искусством закреплять световой энергией изображения предметов»: Ходасевич, констатирует комментатор – «светописец, будь это закатный луч, пронзивший остывший чай, золотой зайчик на эмали таза, кинематограф солнечных бесов на стене».

Итак, по словам Р. Тименчика, стихотворение Ходасевича – как бы фотографический снимок одного мига в рижском парке, «сияние синего прибалтийского июня, ритуально умирающее в темной тесноте негатива», чтобы заново воссиять «едкой кислотой и проявителем густым» (как сказано в черновике соррентских фотографий), «замыкаются и размыкаются веки, как шторы аппарата, запечатлевая для фототеки русской словесности раковину знаменитой эстрады».

Стихотворение вошло в сборник «Тяжелая лира» (Москва-Ленинград, Гос. изд-во, 1922). По поводу этого сборника Андрей Белый писал: слово у Ходасевича – «подписанное выражение ведения: умного ведь отмечает не умное слово, а жест, полный мысли,

улыбка без слов; так в книге «Тяжелая лира», – жест знания жизни, конкретная приобщенность к вершинам поэзии». Из этого высказывания Р. Тименчик выводит и характеристику рижского стихотворения: оно разворачивает фотографию смысловых жестов – духовой оркестр, приветствующие новоселье поэта, довольство малым – скудной музыкой начищенной меди, обряд посвящения с ритуальным возвращением в утробное лоно и второе рождение, проявляющее размытые образы мира детства: верблюды и миражи из отроческой экзотики; возвращающиеся по кольцу стихотворения фигурки потешных музыкантов на украшенной флагами карусели бытия от полудетского солнцестояния в пропитанном морским запахом городе.

Р. Тименчик видит мастерство рижского стихотворения в дозированной и скрупулезном введении картин «грубой жизни». Одно только слово – «эстрада» – дает примету новейшего урбанизма, с тем, чтобы стихотворение оттолкнулось от него и устремилось в плавание к «давно забытому». Здесь была позиция Ходасевича. В его записной книжке находим:

«Даже те, кто понимает и ценит мои стихи, жалеют об архаичности языка их. Это недальновидно. Мои стихи станут достоянием все равно только тогда, когда весь наш нынешний язык глубоко устареет, и разница между мной и Маяковским будет видна лишь тончайшему филологу. Боюсь, что и русский-то язык делается тогда «Мертвым», как латынь, – и я всегда буду «для немногих». И то, если меня откопают.»

«Флаги на башнях» – не случайный отклик Ходасевича на латвийскую действительность. С Латвией, латышами он был хорошо знаком уже по предыдущей своей деятельности 1915–1916 годов, когда по приглашению Брюсова принял участие в переводе латышских поэтов для сборника латышской литературы.

Поначалу создатель сборника «Чужой восторг» – так автор думал назвать сборник своих переводов, – отнесся к предложению Брюсова без особого воодушевления. В письме 9 ноября 1915 года Борису Садовскому Ходасевич писал: «Перевожу только для того, чтобы не говорили, будто я лентяй». Постепенно, однако, работа его увлекла, он не мог не осознать несомненного благородства

культурной миссии. 26 февраля 1916 года тому же адресату он писал: «Я перевожу армян, латышей, финнов... И назовет меня всяк сущий в ней язык: «ловко», скажет, «переводил покойник».

Сначала это были «Отверженные» Апседелса (*Apšes dēls*), «Черные цветы» Шалкониса, затем большое стихотворение Вилиса Плудониса «Два мира» (купальный сезон), где дан параллельный ряд контрастных сцен курортного времяпрепровождения и гибельного рыбацкого труда. Переводчик уловил и усилил бодлеровские нотки стихотворения.

Работая над переводом этого произведения, Ходасевич советовался с проживавшим тогда в Москве Викторсом Эглитисом. 13 января 1916 года он писал Брюсову:

«Посылаю вам «Два мира» для предварительного ознакомления. Я старался быть точным, но латыши вмещают в строку такое количество слов, какого мы никак не вместим. Не попытаетесь ли выяснить имя автора? Там подписано: «Pluhdons» и по-русски «Плудон». Но г. Эглитис мне говорил, что это псевдоним, обозначающий «Плудона, бога моря», так как, дескать, и сам автор человек морской, с могучей мускулатурой и т. д. Тут мне почему-то стало неловко, и я разговор замаял. Однако – что же это за морской Плудон с могучей мускулатурой? Но, с другой стороны, вряд ли Посейдон в какой бы то ни было транскрипции может превратиться в Плудона. Что тут делать?»

Р. Тименчик по поводу этого письма высказывает предположение, что Эглитис здесь, видимо, пошутил, поскольку латышский псевдоним поэта Вилиса Лейниека связан с корнями, обозначающими «наводнение», «половодье». Однако, зная романтические «мифологические» устремления латышских литераторов тех лет, в том числе и собеседника переводчика, можно предположить, что комментарий латышского писателя был совершенно серьезный, совсем в духе того времени.

Выполненный перевод стихотворения Карлиса Скалбе «Вечером» сдружила переводчика с самим автором. В 1935 году Ходасевич вспоминал:

«Однажды в 1916 году познакомился я у Брюсова с талантливым латышским поэтом Скалбе. Речь зашла о делах издательских.

Скальбе спросил, в каком количестве расходятся сборники стихов Брюсова, который тогда находился в зените славы. Брюсов ответил, что его книги печатаются в количестве 2–3 с половиной тысяч экземпляров и с трудом расходятся в 5–6 лет. Собеседник наш удивился и ответил не без гордости:

– О, в Латвии печатают больше и продают скорее. А ведь латышей так мало, а русских так много.»

Наибольшим успехом и известностью из латышских переводов Ходасевича пользовалось «Небытие» Аспазии. Р. Тименчик называет это стихотворение легкой импровизацией из поэтических книг, «когда незатейливости эмоции вторит неяркость и немерность слов и вздохов».

Перу Ходасевича принадлежит перевод и другого стихотворения Аспазии «Звучит похоронный над миром звон», которое по каким-то причинам осталось не включенным в «Сборник латышской литературы».

Связь Ходасевича с Латвией не прерывалась и в 20–30-е годы. Причины тому – возобновление контактов поэта со своим старым знакомым, в прошлом – петербургским журналистом Борисом Харитоновым. Подготавливая 60-летний юбилей этого сотрудничества, редактор газеты М. Мильруд обратился к Ходасевичу с просьбой откликнуться на юбилейные торжества, что парижанин успешно и сделал. Одновременно рижане предложили Ходасевичу сотрудничать в газете «Сегодня». Парижский литератор охотно откликнулся на это предложение, в результате чего в рижской газете было опубликовано несколько публицистических и литературно-критических статей и воспоминаний поэта: «Максим Горький в Сорренто», «У Луначарского в Белом коридоре», «Званный вечер у Каменевых», «У камелька в семье Каменевых».¹

Латышский любитель поэзии впервые прочел стихи Ходасевича в 1990 году в переводе неутомимого ценителя и пропагандиста русской поэзии Аманды Айзпуриете. В сборнике «Nākamais autobuss» она представила переложения двух стихотворений.

¹ Равдин Б. В. Ф. Ходасевич и газета «Сегодня». // Даугава. – 1992, – № 4, – с. 142–155.

В первом («Дактили») поэт вспоминает своего отца-поляка, уроженца Литвы. Переводчица в биографической аннотации отмечает: отец русского поэта был литовским поляком, мать – из семьи еврейских литераторов.

Но латышские версии стихов Ходасевича оказались не единственными переводами. Валентинс Якобсонс (Valentīns Jākobsons) в своей примечательной новелле «Septītā» («Седьмая») нарисовал такую картину.¹

В споре больных, лечащихся в этой палате русских и латышей, оказывается, что ни один из русских имени Ходасевича не слышал, в то время как латыш читает свой перевод из Ходасевича:

Snirkst zem kājām, slīdz un skan,
Vējš sāk vējot, sniegi birst.
Valdītāj, tik skumji man,
Augstais Dievs, tik smaga sirds.

В оригинале это стихотворение «Вечер» (23 марта 1922 года) звучит:

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945)

Еще задолго до приезда Алексея Николаевича Толстого в Ригу (в феврале 1922 года), его прежние друзья и коллеги по писательскому цеху и, прежде всего, ведущий авторитет журналистики во всем русском зарубежье Петр Пильский, чуть ли не в каждом номере самой популярной газеты «Сегодня» снова и снова напоминали рижанам: к нам едет сам граф Алексей Николаевич Толстой. Совсем как 20 лет тому назад перед прибытием в Ригу с трупной Незлобина Максима Горького.

¹ Karogs. (Знамя) – 1997. – № 4, – с. 115 и след.

Исчислялись и детально рецензировались новейшие произведения парижской знаменитости, подробнейшим образом рассказывалось, как на эмигрантских путях впроголодь при керосиновой лампе приходилось работать над созданием новейших литературных шедевров.

И вот, наконец, А. Н. Толстой в Риге. Остановился в Лондонской гостинице, затерявшейся где-то в полуразвалинах старого города неподалеку от Театра русской драмы. Здесь живут актеры и режиссеры – Гришин, Лаврентьев, Барабанов, Маршева, Муратов, с которыми теперь, после парижского одиночества, вдоволь можно наговориться, вспомнить прошлое.

В беседе со своим другом Петром Пильским писатель откровенно назвал цель своего приезда: «Pour faire d'argent» (чтобы делать деньги): в Париже эмигрантам, в том числе и литераторам, приходилось не сладко. Здесь же была надежда, что на литературный концерт знаменитости придут не только русские и евреи (в Риге они порядком обрусели), но в большом количестве и латыши, и немцы.

Надежды писателя оправдались, и послушать чтение первого (оптимистического) варианта пьесы «Любовь – книга золотая»¹ в здании Малой гильдии пришло немало народа. О том, как читал автор пьесу, узнаем из газеты «Сегодня» за 8 февраля:

«Какая прелесть тонкой и красивой литературы! Как мягко, без подчеркиваний, легко читает Толстой! Созданная в темные дни русской смуты, пьеса эта светла, полна юмора, улыбок, лиризма, вызывает веселый смех.»

Литератор Божена Витвицкая в «Рижском Курьере» от 7 февраля так откликнулась на этот концерт: «Перечитываем <<Книгу>> и волей писателя забываем наши боли, оказываемся замороженными сказкой, похожей на быль. Новая пьеса – это шутка, сплетенная с бытом и причудами времен Екатерины II. Если вы екатерининского века не знаете или в чужих краях подзабыли образы и краски русской речи, свежие и сочные, – насладитесь их созвучиями на вечере Алексея Николаевича Толстого.»

¹ Став «социалистическим реалистом», автор коренным образом переработал пьесу, превратив счастливую развязку в трагическую, а Екатерину Вторую из сочувственной любовницы в жестокого тирана.

Янис Гринс в газете «Latvija» (№ 133) высказал пожелание увидеть пьесу на театральных подмостках.

Его пожелание сбылось: премьерный спектакль состоялся через год на сцене русского театра в бенефисе латышской актрисы Лилии Штенгеле. По отзыву театрального критика Артурса Берзиньша («Jaunākas Ziņas» [«Новейшие вести»], 1923, № 229), княгиню Марью Л. Штенгеле играла «свободно и легко». Несмотря даже на то, что актриса завидного драматического дарования в гротесковой роли впадала временами в несвойственную комедийной роли декламацию. Достойными партнерами Л. Штенгеле показали себя Ю. Яковлев и Г. Терехов.

Через семь лет в бенефисе актрисы Лидии Мельниковой рижане снова увидели «Любовь – книга золотая». И на этот раз латышская и русская печать в самом благожелательном тоне отзывалась о спектакле («Latvijas karēvis» [«Латвийский воин»], 1930, № 30).

Чтобы «faire d'argeant» не только для себя, но и для своих друзей – актеров и режиссеров театра русской драмы, А. Н. Толстой не без некоторых колебаний согласился сыграть роль Желтухина в своей пьесе «Касатка», премьера которой состоялась за год до приезда писателя в Латвию. Уже тогда спектакль получил высокую оценку («Сегодня», 1923, № 254): игра Е. Маршевой, Л. Мельниковой, Н. Барабанова, Н. Маликова «отличалась изяществом и подлинным вкусом». В спектакле было «все свое, ничего заимствованного, штампованного, ничего на потребу неразвитого вкуса».

Выступление в роли Желтухина самого автора пьесы стало событием, несмотря на то, что по отзывам современников он играл как «очень хороший участник художественной самодеятельности».

Новаторством оказались специально для этого спектакля сочиненные куплеты Желтухина:

Огнями ресторан сиял,
Румынская запела скрипка,
И ты глядела в дымный зал
С печальной, нежною улыбкой.

Я подошел. О, будь со мной.
Люби меня. Ты сжала руки.
Какою дивною тоской
Нам пела скрипка о разлуке.

Забудь. Приди. Люби. Живи...
И билось сердце странно, сладко...
О, вспомни эту ночь любви,
Красавица моя Касатка...¹

О своих чувствах и переживаниях на театральных подмостках А. Н. Толстой рассказывал:

«Мои старые приятели стали меня просить выступить. Спорили, спорили, и 15 февраля афиша возвестила, что [...] роль Желтухина исполнит автор. Трусил я отчаянно. Но до начала. А как вышел на сцену, увидел переполненный зал, робость прошла, и я ощутил в первый раз в жизни авторское самолюбие и актерскую волю к успеху. В общем, получилось как будто не слишком плохо».²

«Рижский курьер» (1922, 16 февраля) об актерском мастерстве А. Толстого отзывался высоко:

«Явить театру пьесу, создать средствами драматургии образ и затем представить его на сцене – далеко не одно и то же. Толстовский Желтухин и в пьесе, и на сцене Рижского русского театра пришелся публике по душе. В третьем действии автор «Касатки» вполне вошел в роль, и тут порадовали отточенные диалоги, неожиданные мазки. То же можно сказать и о последнем действии. Зал встречал и провожал гр. А. Толстого долгими аплодисментами, ему поднесли корзину цветов».

Прошли десятилетия, и в наши дни русский театр вновь представил «Касатку».

Рижские дни А. Толстого нежданно-негаданно омрачились непредвиденным обстоятельством. Упомянутая выше статья А. Тол-

¹ Толстой А. Н. Собр. соч. Т. X. – Москва; ГИХЛ, – 1960, – с. 754 (далее: Собр. соч.).

² Teātra apskats. – 1922. – № 22 – с. 9.

стого в журнале «Teātra apskats» («Театральный обзор») (№ 20, с. 8) изменила отношение Петра Пильского к писателю.

8 февраля Петр Пильский, рассказав об авторском выступлении Толстого в Малой гильдии, посулил ежедневно сообщать читателям о делах и днях парижской знаменитости в Риге. Но пришло «завтра» и «послезавтра», – и читатели газеты «Сегодня» долгое время ничего хорошего о Толстом больше не услышали. А потом посыпалась почти площадная брань с самыми различными разоблачениями безнравственности, алчности, самомнения, чванства бывшего друга, которая не прекращается до 1931 года. Официальная версия причин такого изменения¹ – нелюбимые суждения А. Толстого о театральном искусстве на Западе. Ссылаясь на высказывания Роже Конно, директора парижского театра «Старая голубятня», Толстой заметил: «Только на Востоке, в России, еще ярко пылает факел бессмертного искусства ramпы». (Teātra apskats, № 20, с. 8)

На самом деле причина иная. Дело в том, что А. Толстой кому-то из друзей проболтался о созреваемом в нем желании вернуться на родину. Возмутился не только Петр Пильский. В небольшом журнальчике «Культура и жизнь» появился даже пасквиль на графа:

Он Алексей, но... Николаич!
Он Николаич, но не... Лев!
Он тот, кто стыд и честь призрев
На псарне стал Подлай Подлаич.

Примечательно в этой связи удивление и сетование литературоведа Бируты Гудрике, что после названной информации в газете «Сегодня» больше никаких сведений она об А. Толстом не могла раздобыть.² На самом деле информация продолжается и не в меньшем объеме, но в других изданиях, к которым Б. Гудрике почему-то не обратилась.

¹ Власова Т. Николай Барабанов. – Рига, – 1982, – с. 108.

² Сѣпа. (Циня) – 1983, 11. janv.

«Рижский курьер» (1922, 15 февраля) сообщал: «Алексею Николаевичу очень нравится Рига, он с удовольствием пробыл в нашем городе положенное время. На днях писатель возвращается в Берлин».

Об авторе «Касатки» латвийская печать не забывает и после его отъезда, и не только в отрицательном плане, как отмечено было выше.

«Teātra Apskats» (1922, № 21, с. 9) пишет: «По слухам, в будущем зимнем сезоне он обещал поставить в театре русской драмы ряд своих пьес». Журнал цитирует берлинскую газету «Русская сила», где А. Толстой говорит о пребывании в Латвии, по-доброму вспоминает своих русских друзей – артистов: «Роль русского театра на чужбине – издали скромная, незаметная – на местах колоссальная. Эти русские актеры – эти Гришины, Лаврентьевы, Муратовы, Маршевы – делают огромное общерусское дело. Надо видеть, какой любовью они пользуются у публики, как охотно интеллигенция – и русская и латышская – ходит в театр, чтобы понять, какие элементы умиротворения созидаются на скромных подмостках.» За все пребывание в Латвии писатель не слышал ни от кого плохого слова о русском театре.

Кто знает, может быть, знакомство воочию с достопримечательностями Риги – а на каждом шагу русский человек чувствовал присутствие Петра Великого – и подкова от его коня на стене здания рядом с Театром русской драмы и неподалеку от Малой гильдии, и постамент памятника, все еще остающийся местоблюстителем Петровской славы, и три бомбы в пороховой башне, пущенные по преданию самим царем Петром; и церковь Алексея – человека Божия, усыпальница сподвижников Петра – князей Василия Репнина, Владимира Долгорукого, Василия Лопухина; и дом рижского купца Данненштерна, лестницы, анфилады, переходы которого помнили стремительную поступь Петра; дворец на берегу Двины, подаренный царю-победителю магистратом города; и двухсотлетний вяз в Царском саду, и предания о неприятностях, происшедших с Петром в шведской Риге, и латышско-русские предания о спасении Петром Риги от уничтожения побежденными и уходя-

щими шведами, – кто знает, может быть, это и было основой того, что главным произведением Алексея Николаевича Толстого стал цикл романов, рассказов, пьес, киносценариев о Петре Великом.

Несметное множество наблюдений, самые разные сведения о далекой эпохе – архивные, музейные, архитектурные – отозвались в событийной канве первых двух книг повествования о Петре, в рассказе «Марта», в киносценариях.

В главе VII первой книги находим реляции Петра в российскую столицу думному дьяку Андрею Винуису из Риги, Митавы, Либавы. В них упоминается и Рижский замок, и городские укрепления с неприступными стенами и пушками, из которых гремел салют в честь великого русского посольства на его пути через Ригу в столицы немецких земель, Голландию, Англию. (с. 312–313)

Какие-то значительные события из эпохи Петра Великого в Лифляндии – и среди них осада и взятие Риги – остались за пределами романного текста. К некоторым неосвещенным эпизодам Толстой намеревался вернуться в последних главах, но повествование о Петре, как известно, осталось незавершенным. Тем не менее в опубликованных томах Рига и рижане, губернатор края, шведы, лифляндские негоцианты названы не раз.

Вот устами своего далекого предка Петра Толстого, видного дипломата и сподвижника царя, автор рассказывает о бесчестии, нанесенном «великому Посольству Московскому» Дальбергом. В посольство входил и сам Петр Алексеевич, разумеется, инкогнито. (с. 547)

Стольник Василий Волков в донесениях Петру называет крепости на подступах к Риге. «Саксонское войско короля Августа подошло к Риге, но смогло занять лишь невеликую крепость Кобершанц. Город атаковать побоялись за жестоким огнем шведов. Генерал Карлович после сей неудачной диверсии пошел к морю и приступом взял крепость Дюнамюнде.» (с. 333)

По-своему замечательно выступление Паткуля перед царем. Гневны его слова, горьки сетования.

«Город Рига был славен на всем Балтийском море. Ржечь Посполита протянула руку к нашим богатствам, иезуиты воздвигли

гонение на нашу веру, на наш язык и обычаи [...]. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросилась в пасть льва.» Шведы, – продолжал Паткуль, – обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта.» Потому-то и гавань опустела, город на кладбище похож». Горячо и убежденно просит Паткуль примерно наказать незваных пришельцев, не затягивая кампании, идти на приступ вражеских бастионов. (с. 456–457)

Продолжая чтение романа, читатель переносится в столицу Курляндского герцогства самого начала XVIII века с поразительными ее контрастами роскоши и нищеты. С ослепительным великолепием герцогского дворца и унылой картиной разоренных войной жилищ бедных горожан.

«Узкие мрачные дома с открытыми крышами, с железными дверями – как вымершие – разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в колпаке. На базарных площадях лавки почти все заперты. Иногда – четверкою тощих коней – громыхали пушки по бывшим булыжникам мостовой. Угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие – мужики, бабы с исплаканными лицами, дети в тряпье – бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки, на окна».

Ударный эпизод лифляндской темы – страницы, на которых предстает не ведающий страха город Мариенбург. В каждой сцене, каждой детали этой главы угадывается перо Алексея Николаевича Толстого, живописное, чуткое к русскому слову.

«Двадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. Ниоткуда подступиться к ней было нельзя, – стояла на небольшом островке (на озере Пойп), каменные стены поднимались прямо из воды, от ворот, укрепленных осадистым замком, – деревянный мост сажень на сто был разметан самими шведами [...]. Человек с тысячу охотников, отталкиваясь шестами, поплыли к крепостным стенам. Шведские бомбы рвались посреди плотов.» (с. 633)

Обстоятельно, неторопливо, с силой эпического повествования воссоздает писатель достоверные подробности осады, штурма и

взятия Мариенбурга. Стремительно нарастают события. Русские стрельцы на плотках форсируют Алуксненское озеро. Неприятель капитулирует, но вероломно взрывает крепость. Сдаются в плен шведские офицеры и «ливонские сердитые мужики». Впервые появляется Марта Скавронская... И этими сценами мариенбургская глава не исчерпывается...

Созданная через год пьеса и киносценарий, одинаково названные «Петр Первый», дают возможность в самых общих чертах представить, какими сюжетами увлекли бы нас третья и четвертая книги широкоохватной толстовской эпопеи. В пьесе и киносценарии предстают Петр и Марта-Екатерина после победных залпов Северной войны. Из Остзейского края действие переносится в Россию, и сюжетная канва надолго привязывается к Москве и Петербургу. Однако Екатерина, алуксненское ее прошлое не отпускают нас, побуждают с неостывающим интересом следить за новыми ее взлетами и падениями.

В киносценарии немало колоритных эпизодов из времен Северной войны, которые не находим ни в романе, ни в пьесе. Осада Мариенбурга, к примеру, представлена такими кадрами:

– В пролом городской стены проникают русские солдаты – один, другой, третий... Под ружейными залпами шведского гарнизона участники штурма срываются с высокой крепостной стены.

– Офицеры, не жалея бранных слов, батогами гонят все новых и новых солдат к пролому.

– Шведы обливают наступающих кипятком.

– Прорыв. На крепостную площадь выбегает солдат Федька Умойся Грязью. Среди пленных, у кирхи, видит пастора со всеми чадами его и домочадцами. Служанка прижимает к груди гуся. Федька подбегает, вырывает оробелую птицу. Девушка кричит. Солдат хватает и ее, тащит за собой. От страха пастор прячет лицо в Библию. Слышны звуки трубы. Шереметев важно вышагивает, зорко вглядываясь в пленных. К полной неожиданности для фельдмаршала, перед ним, испуская гортанные крики и часто взмахивая крыльями, взлетает гусь. Шереметев гневно оборачивается, но тут же успокаивается: за телегой, полуприкрытое солдатской спиной,

виднеется заплаканное девичье лицо. При таких обстоятельствах произошло знакомство главнокомандующего российской армии с будущей императрицей...

Екатерина показывается на страницах романа, в пьесе и кино-сценарии не часто, но до чего впечатлительно. В сознании читателя и зрителя так и остаются в памяти «черные глаза, блестящие темные локоны, легко вздымающаяся грудь; быстрые ножки, не знающая уныния натура». А. Толстому свойственно редкое достоинство писателя – герои предстают перед читателями в непрерывном движении. Если в первых своих появлениях Екатерина «робко отвечает тонким голосом, поднимает похудевшее лицо и опять улыбается, – повторно, доверчиво взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно «приоткроет губки», то через недолгое время, став экономкой в меньшиковском дворце, она из полуопущенных ресниц «томно поглядывает на своего хозяина», заливаясь краской и, «прикрываясь рукой, отворачивает лицо». Перед первой встречей с Петром Екатерина стыдливо роняет: «Как я буду говорить – они не простой человек. Они сами знают – какой начать разговор.» В девятой картине пьесы будущая императрица предстает иной, знающей себе цену, самостоятельной: «Я все браню Растрелли, чтобы скорее строил зимний дворец. Тесно нам очень в Летнем-то саду, в домике.» Теперь Катерина рачительная хозяйка, вникающая в любые мелочи: «А лисица, что прислали – смирная, игреливая, и паче всего – духу от нее нет. Гусей, уток в Летнем саду не держим, здесь чистая птица – павлин.» Умеет она и пококетничать: «Ах, Виллим Иванович, вы галант французский... Ах, дебошан.»

Не обделены индивидуальными чертами и менее ответственные персонажи. Вот как в киносценарии фрейлина представляет другие персонажи: «В черной робе царевна Анна Ивановна, герцогиня Курляндская. Видишь, толстомордый, у двери жметяся – ее любовник Бирон, из конюхов взятый.» (Т. IX, с. 473–591)

На толстовский роман откликнулись латышские журналы и газеты. Валтс Давидс (Domas (Думы), 1931, с. 773 и след.) считает роман Толстого самым замечательным явлением в исторической

прозе новейшего времени. Карлис Лапиньш (Tēvijas Sargs, 1936, с. 27) – «беспорным художественным завоеванием». Петр Пильский («Daugava» [«Даугава»], 1935, № 10), верный себе, прежде всего видит в романе тесную связь своего бывшего белоэмигрантского друга с существующим в Советской России строем. Все же Петр Пильский вынужден признать неподражаемое мастерство А. Толстого.

Сопоставима ли толстовская эпопея «Петр Первый» с произведениями латышских авторов, затрагивающих тематику примерно той же эпохи и территорий? С пространным романом Андреяса Упитса «На грани веков» («Laikmeta griežos»), действие которого происходит в ту же эпоху? Между произведениями почти нет никаких точек соприкосновения, хотя лифляндские и курляндские бароны то и дело судят-рядят о взаимоотношениях тех же potentatov.

Уже ближе к толстовской эпопее трилогия Александрса Гринса «Saderinātie» («Помолвленные», «Tilts», 1959–1961) или в новом издании получившая три названия: «Pelēkais jātnieks» («Серый всадник»), «Melnais jātnieks» («Черный всадник»), «Sarkanais jātnieks» («Красный всадник»).

Существенным отличием произведения латышского автора является непререкаемая латышская национальность обоих персонажей – и Марты Скавронской и Яниса Крауклитиса, национальность которых у русских авторов точно не обозначается и ограничивается служебным положением шведского солдата.

Примечательная особенность эпопеи Гринса заключается также в финальной сцене, в которой Крауклитису суждено встретиться в Петербурге со своей бывшей супругой, ныне российской императрицей. Латышский военный гордо отвергает предложение остаться у императрицы в Петербурге и калекой, на одной ноге, возвращается на свой латышский хутор.

Что же касается романа Пилсоню Екабса «Prāvesta Glika audžumeita» («Воспитанница пастора Глюка») (R: «Zeltiņš». – 1939), то в этом произведении мы находим уже прямые реминисценции из произведения А. Толстого. Стоит только сопоставить первую встречу Марты, служанки Меньшикова, с царем.

Пилсоню Екабс чуть ли не буквально воспроизводит упрек царя Меншикову, что тот Катерину не показывает, и попытку Меншикова предотвратить встречу, и ласковое обращение Петра к Екатерине, и приятное ощущение Петра в присутствии Екатерины, и просьбу Петра, чтобы Екатерина посветила ему, провожая в спальню.

В годы Великой Отечественной войны наряду с Северной актуальной стала тема и Ливонской войны, к которой мастер исторического романа не мог не обратиться. Пока только на уровне драматического диалога и киносценария.

Иван IV в пьесе А. Толстого державным своим умом понимает, насколько народ Ливонии даже в минуту военных испытаний нуждается в покое, благополучии, привычном образе жизни.

«Обижаются на меня короли, – говорит царь, – будто я хочу Ливонию положить из края в край пугу и копытами коней моих берега Варяжского моря вытоптать. [...] На что мне Ливония, пуга и безлюдна? [...] И суд, и обычаи, и торговое дело оставлю, – какие были в Ливонии.» (Т. IX, с. 659-660)

В гротескном ракурсе явлены Толстым недруги России и Ивана Грозного – польский король Сигизмунд Август, магистры Ливонского ордена Юрген Ференбах и Готгард Кетлер, крестоносцы из Бранденбурга и Швабии Фриц фон Розен, Вольдемар фон Штейн, Ганс фон Вольф, которые служили бы любому, лишь бы жить и наслаждаться жизнью.

Действие дилогии неоднократно переносится на ливонскую землю.

Картина шестая из первой пьесы дилогии «Орел и орлица» (Т. IX, с. 631)

«Глубокая арка крепостных ворот, тускло освещенная висячим фонарем.» Действие происходит в Вольмаре. Андрей Курбский с верным своим стремянным Васькой Шибановым решаются, спасаясь от неминуемого царского гнева, бежать в Литву. О намерениях князя догадывается комендант крепости. Курбский решается убить наместника царя в Ливонии. Путь из «Ивановой вотчины» <так он называл Володимирец-Вольмар-Валмиеру> открыт.

Картина пятая второй части дилогии (с. 696) «Трудные годы». Пробитый во многих местах ядрами зал средневекового замка в Вендене. Магистр Ливонского ордена Готгард Кетлер со многими почестями принимает короля Сигизмунда Августа, представляет ему бранденбургских и швабских рыцарей. Своды зала оглашает песня рыцарей:

Солнца адский огонь...
Шагает мой верный конь...
Рыцарю путь на восток...
Боже, как путь далек.
Стой! – зазвенел мой меч.
О шпору звенит мой меч.
Рыцарь, очнись – враг.
Шли ему вечный мрак.
И снова шагает конь.
Крепка у рыцаря бронь. (с. 700)

Не только Ливонская и Северная войны, судьбы Ливонии волнуют Алексея Толстого. В поле его внимания и более поздние противостояния России и Германии. В дни Первой мировой, в дни революционных потрясений, в дни меж двумя войнами. Эта эпоха в творчестве Алексея Толстого, коль скоро она касается Латвии и латышей, – представлена двумя романами: «Хлеб» («Оборона Царицына») и «Черное золото» (Эмигранты). (Т. VIII, 1959, с. 438–441)

В наши дни произведения эти можно оценивать по-разному. Не следует, однако, забывать: названные в этих книгах события и факты имели место на самом деле. Латышские стрелки оказались в водовороте решающих сражений. Одни – за обновленную Россию, другие – за независимую Латвию.

Грозовой 1918-й. Бурное, до предела напряженное время. Линия разлома проходит всюду – по городам и весям, по судьбам людским. Латышские стрелки, выполняя наказ новой России, охраняют правительство в дни его переезда из Петрограда в Москву.

«Вдоль синих вагонов стояли румяные рослые латышские стрелки. Чтобы вернуть родину – нужен долгий окружной путь через равнины Украины, России, Сибири, через победы революции и народов, имена которых латыши услышали впервые. Трудно было вообразить такой путь, трудно решиться. Они решились.»

Латышские стрелки, их командир Оскар Калнынь предстают и в других главах повести «Хлеб», в сцене разгрома белых полков Муравьева. Трогает авторская причастность к изображаемым событиям, умение из исторического факта, документа извлечь поэзию.

Верностью прибалтийской теме привлекает и повесть «Черное золото». Это одно из очень немногих произведений русской литературы 20–30-х годов, где затрагивается тема независимости Латвии, Эстонии, Финляндии. В романе нескончаемая галерея известных и никому не ведомых лиц. Более других запоминаются наследник русского престола Кирилл Владимирович, банкиры Дмитрий Рубинштейн и Михаил Денисов, генералы Колчак, Деникин, Юденич, Булак-Булахович, Бермонт-Авалов, бывший премьер Временного правительства князь Г. Львов и его министр Милюков, редактор газеты «Общее дело» В. Бурцев, командующий ландесвером в Латвии фон дер Гольц, высшие британские офицеры Гоф и Марш – командиры экспедиционного корпуса в Прибалтике, Ллойд-Джорж, Уинстон Черчилль, Жорж Клемансо, немецкие социал-демократы Шейдеман и Носке... Многие из них высказываются о завтрашнем дне прибалтийских государств.

В одном из номеров ревельской гостиницы «Дорпат» Марш созвал министров послушного Юденичу монархического правительства.

«По-русски, но с британской твердостью, он потребовал безоговорочного признания латвийской, финляндской и эстонской независимости и на размышление дал ровно 45 минут.¹ Требование начальственного британца было принято. Однако правители и генералы разных цветов, рангов, стран в толковании независимости Латвии и Эстонии единомыслием не отличались.»

Фон дер Гольц, – он, по словам романиста, «сколотил серьезный кулак в сорок тысяч штыков» – делал все, чтобы из Риги и

¹ Этот эпизод из романа «Черное золото» опубликован только в журнале «Новый мир» за 1931 год, № 8, с. 94 и след.

Вендена «вымести метлой» латышских красных стрелков и присоединить Лифляндию и Курляндию к «великой Германии». Бермонт-Авалов, командир Северо-Западной армии со штабом в Митаве, ставил целью латышские эти земли включить в «единую и неделимую Россию».

Текст повести не оставляет сомнений – автор благосклонно настроен к молодым государствам, с участием относится к их судьбам.

20-е годы XX века в Латвии прошли под знаменем постановки пьес А. Толстого в латышских и русских театрах. Ставились только злободневные пьесы нового строителя коммунистической литературы. (Т. IX, с. 331–412)

Прежде всего это был «Заговор императрицы», скандально-приключенческий сюжет из недавнего прошлого императорской России. В постановке были заняты такие видные мастера сцены, как Теодорс Лацис (Распутин), Алфредс Амтманис-Бриедитис (Николай II), Эрнестс Фелдманис (Юсупов), И. Германис (Протопопов), Алексис Миерлаукс (Пуришневич), Анта Клинтс (Вырубова), Перечень персонажей уже говорит о содержании спектакля, который вызвал разноречивые суждения. Редактор газеты «Jaunākas Ziņas» (1925, № 242) Янис Карклиньш назвал премьеру «сенсационной». Постановка оказалась кассовой и всякий раз собирала полный зал. Викторс Эглитис («Balss» («Голос»), 1925, № 243) особенно расхваливал Теодорса Лациса – Распутина, как воплощение разлитой по жилам крестьянской силушки, сибирского удальства, всепрощаемого хвастливого озорства. Теодорс Лацис одновременно заставил вспомнить Пугачева, Стеньку Разина и... латышского Андриевса Ниедру (Andrijevs Niedra), в чем-то сходного с придворным колдуном.

В рецензиях говорилось и о галантности самой пьесы, заземленности, балаганно-фельетонном привкусе («Zemgales Balss» [«Голос Земгале»], 1926, № 23).

Не прошла незамеченной постановка и менее скандальной пьесы «Чудеса в решетке» (Т. IX, с. 413–472), где действовали «лысые нэпманы», «грузинские князья», «управдомы из недавних

лавочников», «безработные актеры», «бывшие чиновники», «вор и его подруга».

И этот спектакль был «принят с воодушевлением», «публика не скупилась на аплодисменты» («Сегодня вечером», 1927, 11 сентября).

Потом, год спустя, был «Азеф» в Рабочем театре. На сей раз спектакль был принят прохладно (Socialdemokrāts [Социал-демократ], 1928, № 48).

Затем наступила тишина до 1941 года, когда был поставлен толстовский «Золотой ключик», возобновленный в 1965 году как «Приключения Буратино», ставший любимым детским спектаклем и русских, и латышей.

В 1970 году свет рампы увидела драматизация романа А. Толстого «Хождение по мукам» – «Человек на грани веков» в постановке Ольгертса Кродерса в Валмиерском театре.

Владимир Маяковский (1893–1930)¹

Кажется, ни о каком другом русском писателе так много не написано и пишется в наше время, как о Маяковском. И хорошего, и плохого.

В Латвии его знали уже до первого приезда в 1922 году. Выразительны воспоминания его учеников и почитателей этих ранних лет.

Если Р. Эгле в 1918 году только упоминает имя Маяковского (статья «Две России»), то Александрс Чакс оставил довольно обстоятельные воспоминания, восходящие к его пензенскому периоду 1919 года.

«Выступление поэта началось с опозданием на час. Поэт вышел на сцену в солдатской рубаше и сапогах, губы сжимали самокрутку. Гимнастерка неожиданно оказалась подпоясанной каким-то сугубо штатским ремнем. [...] Горло он нисколько не берег, словно имел пудовые запасы голосовых связок. Появление Маяковского вызвало восторг одной половины зала, неодобрение другой... Когда поэт заговорил об искусстве, он сразу оживился.

¹ Источники: Инфантьев Б., Лосев А. Маяковский и Латвия. – Рига, 1973.

Это воодушевление сопровождалось грандиозной, патетической критикой по адресу старой литературы, критикой темпераментной и остроумной. Речь произвела сокрушительное впечатление. Маяковский говорил медленно, как бы стараясь вбить каждое слово в головы слушателей навсегда, до Судного дня. Он говорил и непрестанно шагал по сцене. Почти непрерывно курил. В драматических местах он резко поднимал вверх левую руку и ускорял темп речи.

Когда Маяковский неодобрительно отозвался о некоторых молодых поэтах, особенно крестьянских, поднялся шум, однако Маяковский был по-прежнему хорошо слышен – ему только пришлось повыситься голос.»¹

Известный и популярный актер, поэт Эвалдс Валтерс (Ēvalds Valters) вспоминает:

«В Московском клубе «Имажинист» часто видел Маяковского в ярко-желтой кофте с большими накладными карманами. Когда разыгрывали его комедию «Лошадь как лошадь», поэт из зала избегал на сцену и мгновенно включался в действие».²

В Латвии первая серьезная и компетентная статья о Маяковском и его творчестве принадлежит Лиле Брик. Это «О новейшей русской литературе и поэзии», опубликованная в издаваемой на деньги Советского Союза просоветской газете «Новый путь»,³ лояльной к существовавшему в Латвии политическому строю и направленной, главным образом, против белоэмигрантов. После первой статьи было обещано продолжение, которое почему-то не последовало.

Подготовка приезда Маяковского в Латвию – его первую «заграницу», подробно освещает сохранившаяся переписка с Л. Брик.⁴

«Очень рад, что тебе понравилась Москва», – пишет Маяковский в ответ на сравнение (в письме к нему Л. Брик) Риги с Москвой.

¹ Чак А. Моя первая встреча с Маяковским. // Норд-Ост. – 1931, № 1.

² Liepiņš H., Šneidere M. Ēvalds Valters – Liepājas līkais velns (Кривой липайский черт). – Rīga, 1992, с. 44.

³ Новый путь, 1920.

⁴ Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. XIII. – Москва: ГИХЛ, – 1961, – с. 53–55, 312–313 (далее: ПСС).

«На Тверской почему-то стоял телескоп, и я долго смотрел на луницу, – пишет Маяковский 12 ноября 1921 года. – Просил, чтоб его направили на Ригу – говорят, нельзя.»

17 ноября Л. Брик сообщала Маяковскому, что владелец большой типографии согласен и «даже очень хочет издавать наши книги на его средства». Для этого Маяковский должен узнать, «как получить разрешение на провоз из Риги в Москву книг, тщательно подготовить рукописи к печати, послать все материалы в редакцию газеты «Новый путь». По мнению Брик следовало бы издать Маяковского, Хлебникова, Пастернака, сборник статей из «Искусства коммуны».

В ответном письме 23 ноября Маяковский отвечает, «с удовольствием занялся бы этим исключительно...» В этом и последующих письмах подробно рассказано, что предпринимал Маяковский для этого важного для него и для русской культуры дела. Подробно об этом рассказывается в письмах 28 ноября, 1, 19, 20–23, 26 декабря, 2 января, 9, 17 января.

Из этого начинания ничего не получилось: издатель переселился со всей своей четой в Берлин и там осуществил свое благое намерение. У Лили Брик же появилось другое приятное для Маяковского извещение.

В очередном письме в январе 1922 года Л. Брик писала:

«Тебе предлагают в марте месяце 5 выступлений: 2 – в Риге, 2 – в Ревеле, 1 – в Ковно. Казенный проезд и гостиница и 50.000 латвийских рублей – по 10.000 за выступление. С тем, конечно, чтобы ты сам хлопотал о визе... Вообще ко мне ходят всякие люди – газетчики, журналисты, все о тебе спрашивают. Знаменитый ты человек.»

В ответном письме 22 января Маяковский пишет:

«Возможности гастролей обрадовался очень. Поеду с удовольствием. Здесь надоело и делать нечего. Уже месяца два я не рисовал полплаката. Здорово.»

В комментариях читаем:

«Эта гастрольная поездка не состоялась. Несколько позже – 2 мая, Маяковский выехал в Ригу, но все его публичные выступления были латвийской полицией запрещены, а вышедшая там поэма «Люблю» конфискована.»

Материально пострадал и антрепренер Русского драматического театра Берман, вложивший большой капитал (из своих личных денег) в организацию публичных выступлений Маяковского. По крайней мере, как рассказывала автору этих строк Татьяна Берман-Потапова, восьмикомнатную квартиру пришлось сменить на двухкомнатную. Сам Маяковский в своей знаменитой поэме «Как работает республика демократическая» об этом писал:

...В Латвии
 даже министр каждый –
и то томится духовной жаждой.
Есть аудитории.
 И залы есть.
Мне и захотелось лекциишку прочесть.
Лекцию не утаишь
 Лекция – что шило
Пришлось просить,
 чтоб полиция разрешила.
Жду разрешения
 у господина префекта.
Господин симпатичный –
 в погончиках некто.
У нас
 с бумажкой
 натерпелись бы волокит,
а он
 и не взглянул на бумажкин вид.
Сразу говорит:
 «Запрещается.
 Прощайте!»
– Разрешите, – прошу, –
 ну чего вы запрещаете? –
Вотще!
 «Квесис, – говорит,
 – против футуризма вообще.»

Конечно,
ни для кого не ново,
что у демократов свобода слова.
У нас цензура –
разрешат или запретят.
Кому такие ужасы не претят?!
А в Латвии свободно –
печатай сколько угодно!
Кто не верит,
Убедитесь на моем личном примере.
Напечатал «Люблю» –
любовная лирика,
Вещь – безобиднее найдите в мире-ка!
А полиция – хоть бы что!
Насчет репрессий вяло.
Едва-едва через три дня арестовала. (с. 34–35)

А вот латвийская политохранка действовала по-настоящему «вяло». Пресловутое дело № 4773 с графой «в чем подозревается – Работник комиссариата просвещения – работник представительства Советской России» заведено, если верить отмеченной дате – уже после отъезда Маяковского из Латвии, причем не содержит никаких агентурных данных, хотя по словам того же Шац-Анина, сыщики постоянно следили за всеми словами и действиями Маяковского. Стоило последнему зайти в книжный магазин Арбетергейма, как туда сразу же нагрянули сыщики и стали расспрашивать книгопродавцов, какой литературой интересовался «долговязый покупатель». Сохранилась также такая побывальщина о том, как Маяковский проучил сыщиков. Быстрым шагом он устремился в Царский Лес (Межапарк). Сыщики едва за ним поспевали. Придя в лес, Маяковский к ним обернулся, засмеялся и сказал: «А ведь свидание то было с косолапым мишкой».

Маяковский, как компетентный в проблемах диалектического и исторического материализма, старался на деле убедиться в правоте социалистической доктрины, а именно: в нищете и жалком

Но рижские русские газеты не только ругали Маяковского. В Риге оказался его хороший знакомый по Москве – Артур Тупиныйш, издатель в Латвии скандального журнальчика «Aizkulises» («Закулисье»). Он – в рижской газете «День» (1922, № 7) опубликовал единственное в Риге интервью с Маяковским, которое было впоследствии с некоторыми изъятиями опубликовано в комментариях к полному собранию сочинений Маяковского. Приводим эту купюру из интервью А. Тупиныйша: (XIII т., 1961, с. 216–217, 403)

«Теперь он был ласковым и откровенным. Синий шикарный костюм. Желтые полусапожки, бокс-гольф. Нет больше длинной гривы, волосы сбриты и громадный хищный рот украшен рядом золотых зубов. Владимир Маяковский стал европейцем.»

Для самого же Маяковского Латвия была первой «заграницей» и так же, как и в жизни многих русских писателей (вспомним Крылова, Николая Тихонова и многих других) сыграла, кажется, определенную роль. По крайней мере, он неоднократно в своих последующих стихах вспоминал Латвию.

Так, в стихотворении 1923 года «Товарищи! Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о МОНЕ».

...Чуть с Виндавского вышел –

Поборол усталость и лень я.

Бегу в Моно:

«Подпишите афиши!

Рад Москве излить впечатления.»

Латышских поездов тише

по лону Моно поплыли афиши.

Стою,

Афиши обсуждаются

и единолично,

и вкупе.

Пропадут на час.

Поищут и выруют.

Будто на границе в Себеже или в Зилупе

Вагоны полдня на месте маневрируют.

(т. IV, 1957, с. 86, 274–276)

[...] Помнишь, Нетте,
– в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печатку сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне¹
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел... (Т. VII, с. 162–163)

Убитый международными шпионами-разведчиками, чтобы завладеть дипломатической почтой, Теодорс Нетте превратился в пароход, встреча с которым и навела Маяковского на необходимость сочинить стихи не только в память друга, но и для манифестации коммунистического принципа межинтернациональной солидарности и дружбы народов.

[...] В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли
что можно
в книжке намолоть!»
А такое –
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.

¹ Впоследствии известный языковед в Америке.

Мы живем
 зажатые
 железной клятвой.
За нее –
 на крест,
 и пулю чешите:
это –
 чтобы в мире
 без России,
 без Латвий,
жить единым
 человечьим общежитьем.
В наших жилах –
 кровь, а не водица.
Мы идем
 сквозь револьверный лай,
чтобы,
 умирая,
 воплотиться
в пароходы,
 в строчки
 и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
 сквозь годы мчась,
Но в конце хочу –
 других желаний нету –
встретить я хочу
 мой смертный час
так,
 как встретил смерть
 товарищ Нетте.
(Т. VII, 1958, с. 163–164)

Печальный пример тому, как слово расходится с делом.

Трагическая смерть Маяковского никого не оставила равнодушным, даже таких литераторов, которым претил его воинствующий материализм.

Зента Мауриня¹ думает, что о футуристах можно было бы совсем не говорить, если бы к их сонму не причислял себя Владимир Маяковский. Ведь за громким барабанным боем нельзя не слышать трогательные строфы стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», приравнивание каждого из людей, в какой-то мере, к лошадям.

Из всех урбанистов Маяковский самый большой приверженец города. Весь космос в его представлении – центральная станция. Цепко держит в своих лапах американское сторукое чудовище. Солнечный закат он приравнивает к горящему публичному дому, из которого выбрасываются голые проститутки. И вся поэзия Маяковского наполнена публичными домами, бойнями, отбросами, трактирами, ночлежками, камнями – и все в таких огромных размерах – в миллионах и миллиардах.

Духовный мир этого исполина ограничен и достоин сожаления. Все сводится к самым низменным проявлениям человеческого бытия. Свое внутреннее незнание и духовную нищету Маяковский подменяет циничной бравадой, презрением ко всем ценностям человечества. Его искусство – искусство разрушения, которое в конечном счете само себя разрушает.

Суждения Зенты Маурини с позиций социалистического реализма в 1970 году проанализировал Имантс Зиедонис.² Поэт не соглашается с эссеистом и критиком во многом. Неверно утверждение, что Маяковский не уважает никого. Нет, он ведь уважает личность человека. Он восстанавливает уважение к униженным массам народным. В стихах и в биографии Маяковского не чувствуются найденные Зентой Мауриней такие качества Маяковского, как богемизм, эгоизм, требования от масс оаций.

Не согласен Зиедонис с Зентой Мауриней и в ее претензиях к «мрачности» стихотворца, которое прерывается чуть ли не единственный раз при появлении на его даче Солнца. Ведь «мрач-

¹ Mauriņa Z. Vladimira Majakovska spēks un bankrots. (Сила и банкротство Владимира Маяковского) // Daugava, – 1930, – № 11, – с. 1389 и след.

² Ziedonis Im. Par un pret Majakovski buržuāziskajā Latvijā. (За и против Маяковского в буржуазной Латвии) // Varavīksne, – 1970, – с. 123–133.

ность» свойственна и Достоевскому, которого так боготворит латышская эссеистка.

В том памятном 1930 году о Маяковском писали все. Янис Веселис (Jānis Veselis) в том же номере «Даугавы», что и Мауриня, указывал: многие молодые латышские поэты перенимают от Маяковского ломанную стихотворную строку, боевитость и принципиальность.

С пространным некрологом в журнале «Darba Fronte» («Рабочий фронт») (№ 4) выступил Арвидс Григулис (Arvīds Grīgulis). Он назвал Маяковского поэтом, уважаемым всей трудовой молодежью, напомнил вещи и теперь трагические слова «Помереть не трудно – сделать жизнь значительно трудней», которые были сказаны тогда, когда с жизнью все счеты свел Есенин. Обманул Маяковский тех, кто в него верил? – спрашивает латышский литератор. Может быть, это выяснит история. А может быть, и нет.

В 3-м номере журнала «Jauno Trauksme» («Порыв молодых») некий J. P. свой некролог завершает словами: «Удивительна судьба русских лириков. Пушкина и Лермонтова убили другие. Есенин и Маяковский убили себя сами. Более крупных поэтов русская лирика не знает!»

Печатание памятных статей о Маяковском продолжается и в следующем, 1931, году.

Янис Плаудис – постоянный переводчик его стихов в газете «Sociāldemokrāts» (1931, № 114) – печатает статью под заглавием «Majakovskis – savādnieks» («Маяковский – чудак»).

Снова заговорила латышская печать о Маяковском в 1940–1941 годах. В журнале «Karogs» о нем пишут и публикуют свои переводы Х. Дорбе, Фр. Рокпелнис, А. Янсонс, А. Чакс.

Большое значение для исследователей жизни и творчества Маяковского имеет хроника И. Берсона (Bersons Igonis) («Karogs», 1983, № 7), где начиная с 1912 года (установление контактов с Артуром Тупиным) по годам перечисляется все, что можно назвать контактами с Латвией.

1927 год. Среди малоисследованных, наполовину забытых и важных в контексте нашего исследования является постановка

пьесы Маяковского и Брика «Распоряжение банкира»¹ в Латышском рабочем театре. Примечательность этой постановки заключается в том, что Л. Лайценс (Linards Laicens) прибавил к пьесе своих московских единомышленников последний акт, в котором рассказывалось о латвийских делах. Такое сотрудничество русских и латышских авторов осуществилось впервые.

Говоря об обращениях к Маяковскому последних лет, нельзя не назвать постановки его комедий «Баня», «Клоп» на латышских сценах театров Латвии, в особенности же, пьесу Петериса Петерсонса «Мистерия о человеке» в Молодежном театре Латвии (в 1974 году). Спектакль поражал потоком неожиданных ассоциаций, бескомпромиссным самоанализом, раскованностью действия. Композиция эта по мотивам раннего Маяковского стала своеобразным завершением трилогии П. Петерсонса, начатой спектаклем «Играй, игрец!» А. Чакса и «Мотоцикл» И. Зиедониса. Так Маяковский органично вошел в латышскую драматургию и культуру.

Реминисценции из Маяковского, посвященные ему стихи многочисленны.

Валдис Лукс (в переводе Дм. Молдавского)

Как Маяковский
ты прочувствуй и пойми,
Какая ширь
в твоей судьбе²

Александрс Чакс «Majakovska metro stacija»

[...] Un no loka, zem kura es eju,
Majakovskis Vladimirs tāds pats
Skata ļaudis ar nopietnu seju,
Kādu kalis to Oktobra gads.
Lielās Krievzemes dzejniek lielais,

¹ Briks O., Majakovskis V., Laicens L. Bankiera rīkojumi. – R: 9. Neatkarīgais vārds. – [1927]. Aktīvais teātris № 2.

² «Мы увидим.» // «Звезда», – 1949, – № 7, – с. 159.

Lielā Maskava pāri tev trīs,
Pāri plūdo tev nami un ielas,
Tevi ņemot kā dvēseli līdz.
Tā es stāvu zem ģīmetnes tavas.
Mani grūsta, bet raugos es ciets.
Kā no velves, pilns mūžīgas slavas,
Tu kā kausu man dzīvību sniedz...¹

Александр Чакс «Станция метро Маяковская»

И из арки, под которой я иду,
Маяковский Владимир такой же
Смотрит на людей с серьезным лицом,
Какое выковал Октябрьский год,
Большой России поэт великий,
Большая Москва над тобой сотрясается,
Текут над тобой дома и улицы,
Тебя забирая как душу с собой.
Так я стою у твоего портрета.
Меня толкают, но вглядываюсь я твердо.
Как из свода, полный вечный славы,
Ты как кубок мне жизнь подаешь...

*Валдис Ружа**

Нетте в ожидании убийц:	Нетте в ожидании убийц:
Es jūsu klauvējienam esmu gatavs.	Я к вашему стуку готов.
Pat guļot roka man uz kolta ir.	Даже во сне рука моя на кольте.
Rīts pēdējais var rūtis mierīgs	Рассвет последний за окном
ataust.	спокойно занялся.
Ar nāvi strīds līdz galam pāršķir...	Смертью сердце до конца
	разрезано...

¹ Čaks A. Zem cēlās zvaigznes. (Под встающей звездой) – Rīga: LVI. – 1948, – с. 288.

* Rūja V. Ekspresis № 5. // Gravīras. (Гравюры) – Rīga: Liesma. – 1969, – 19. lpp.

Имантс Ласманис «Vladimiram Majakovskim»

Sveiks, Majakovski,
kuģos un cilvēkos
dzīvo tavs Pilsoņa vārds.
Septītais desmits
nav deldējis ieroča asumu,
Tava dzīve
ar vēstures vilcieniem dārd.
Cilvēku darbi
un biežākie sējumi pazūdot...¹

Привет, Маяковский
в кораблях и людях
Живо твое Гражданина имя.
Седьмой десяток
не истачивал клинка остроту,
Твоя жизнь
с истории поездами грохочет.
Людей труды
и крепкие связи пропадают...

*Линардс Лайценс «Mans Majakovskis»**
(«Мой Маяковский»)

[...] Kas ir dzejnieks, kauties zina	Что есть поэт, биться знает
Cietumā vai karantīnā:	В тюрьме ли, в карантине:
Rašās pirmās pozīcijās	На первых позициях
Tā kā tu.	Так, как ты.

¹ Lasmanis I. Vladimiram Majakovskim. (Владимиру Маяковскому) // Literatūra un māksla, – 1963. – № 29.

* Laicens L. Mans Majakovskis. (Мой Маяковский) // Raksti, 6. s. – Rīga: LVJ. – 1959, – 173–174. lpp.

Анатолс Имерманис «Владимиру Маяковскому»

Закончена последняя строка...
«Нет хуже смерти», – говорят. Не верьте!
Быть звездным небом миллион минут,
стать человеком – это хуже смерти.
Он повалился навзничь. Не до звезд...¹

Киперс Янис (Jānis Ķipers). «Majakovskim» («Маяковскому»)

Алвилс Цепис (Alvils Ceplis). «Biedri Majakovski.» («Товарищ Маяковский») 14. IV. ²

Гротс Янис. «Dziesma Majakovskim» («Песнь Маяковскому») ³

Балодис А. «Teodors Nete Ikšķilē» («Теодор Нетте в Икшкиле») ⁴

Павилс Вилипс «Vladimiram Majakovskim Saule lietainā dienā» («Владимиру Маяковскому Солнце в дождливый день») ⁵

Веянс А. «Majakovskim» ⁶

Лочмелис А. «Vladimiram Majakovskim» ⁷

* * *

Имантс Зиедонис

[...] Ak, nē jau, neuztraucieties –
to dzejā nevajagot.
Jūs esat stipri un radoši,
nevienas skrandas, kur nu!
Celiet mājas,
taisiet tranzistorus, ejiet kartupeļus vagot.
Mēs ar Majakovski
sadosim viens otram pa purnu.

¹ Имерманис А. Владимиру Маяковскому. // Рига-Москва. Рига: Лиесма. – 1969, с. 89.

² Kreisā fronte. – 1930.

³ Grots J. Dziesma Majakovskim. (Песнь Маяковскому) // Kopoti raksti. VI s. – Rīga: Liesma. – 1960, – с. 161.

⁴ Balodis A. Teodors Nete Ikšķilē. // Kļavulapu zelts. – Rīga: Liesma, – 1978, – с. 39.

⁵ Karogs, 1970, – № 11, – с. 4–9.

⁶ Vējans A. Majakovskim. // Padomju jaunatne. – 1983, 19 jūl.

⁷ Ziedonis Im. // Saurvējš. (Сквозняк) – Rīga: Liesma, – 1975, – с. 6.

Аполлон Коринфский (1868–1937)¹

Конец XIX и начало XX века – апофеоз славы Аполлона Коринфского как патриотического воспитателя юношеского поколения. Ни один сборник стихов для юношества не обходится без участия А. Коринфского: переложение былин и побывальщин, стихотворения и поэмы на историческую тему. Известно (из публикаций о нем «Рижского вестника») о путешествиях его по Финляндии и Прибалтике в конце 90-х годов XIX века. Незабываемые впечатления воплотил он в свои стихотворения. Поскольку они почти не известны современному читателю, приводим пространственные фрагменты «Из цикла <В латышском краю>»²

III.

Цветы и яблони – повсюду,
В садах весь тонет городок –
Заботой будничною полон,
Далек от всех былых тревог.
Все с виду мирно, все спокойно
По узким улицам его.
Как будто исстари иного
Здесь не творилось ничего.
Глядят под красной черепицей
Дома приветливо на всех,
В сени развесистых каштанов
Звенит, как песня, юный смех,
По мастерским кипит работа,
Мелькает ряд довольных лиц;
Весь по горе бегущий Венден
Венчает старой кирхи шпиль,
С базара тянутся тележки
Расторговавшихся крестьян;
Осенний день – похож на лето,
Приветлив, ясен и румян.

¹ Волга, – 1978, – № 8, – с. 179 и след.; Маяк. – 1921. – № 4.

² Наш огонек. – 1924, – № 5, с. 7.

Весь городок примолодился,
Забыв веков прожитых ряд,
Лишь замка древнего руины
Угрюмой старостью глядят.
Они одни напоминают,
Как много видел городок
Совсем не будничной заботы,
Совсем не праздничных тревог.

V.

Хмур латыш, но любит песни,
Как свой скромный любит труд,
В огородах, в доме, в поле –
Всюду, слышится, поют.
Не сложна его и песня,
Не сложна и коротка,
Не разгульна, однотонна,
Да приманчиво-мягка.
Нет в ней выкриков задорных,
Голосистых нет рулад.
Да зато из этой песни
Стоны горя не звучат.
А уж он-ли с ним не знался
От веков до наших дней.
А уж он не голодал-ли
На полях земли своей?!
Словно скрыла всю кручину
В глубь себя – самой душа
Закаленного страданьем
Трудолюбца-латыша.
Точно в мягкой нежной песне
Хочет высказать народ
Только то, что в светлых душах
У детей его живет.

VI.

Горы, лес и снова – горы,
Котловины, цепь холмов;
Вдоль полей кочуют взоры,
Тонут в сумраке лесов.
Край Ливонии исконной,
Ливов край и латышей,
Их же кровью орошенный
С лезвий рыцарских мечей.
Встарь он долго бился с немцем
За родные очаги, –
Не сдавался чужеземцам,
Да осилили враги.
Замки крепкие поднялись,
Башни встали здесь и там,
Крест и меч в крови купались
По ущельям и лесам;
Где железу не под силу,
Где ступить не мог и конь –
Рыл свободе их могилу
Шедший с залесья огонь;
И склонился пахарь вольный,
Скотовод и рыболов
Перед силой самовольной,
Перед алчностью врагов.
Шли века, – на немцев шведы,
А на шведов ляхи шли,
К тем и этим стяг победы
Наши воинства несли;
И опять пылали села,
И опять край латыша
От лихого новосела
Поднимался чуть дыша...
Все промчалось, все минуло,
Но гремит и до сих пор

Лязг мечей и пушек гула
Отклик с этих мирных гор;
До сих пор латыш угрюмо
На пришельцев всех глядит –
Точно в нем не молкнет дума
Всех былых его обид.

Стоит ли удивляться, что поэт, так много воссоздавший былин и исторических песен, обратился к теме «Вячко».

I.

Рига спит под кровом полуночи,
Тишина плывет по-над Двиною;
Звезды кажут ей, где путь короче –
Слиться с темной моря глубиною.
Дремлет замка грозного громада
В могучих гранитных стен повоях,
Чуть струят свой тихий свет лампы
Сквозь слюду в епископских покоях.
В главном зале – татями ночными –
Заседают меченосцы-братья;
Сам Альберт, магистр великий, с ними
Под иконой Божьего Распятья.
Сам магистр-епископ держит слово
К рыцарям Ливонской церкви юной;
Речь его властительно-сурова,
Что ни взгляд – то мечет взор перуны.
Молвит он: «Пообрубили лапы
Эстам мы, и ливам всем, и леттам.
От отца святейшего, от папы,
Прибыл к нам легат с его приветом.
[...] Нам стал князь сам полоцкий союзен,
Сбили спесь мы с русского народа. –
Кукейнос крестили в Кокенгузен,
Герсик взят мечом у Всеволода.

От кого ж в Ливонии тревоги?
Кто ж заставы ставит нашей славе?!
Юрьев-город встал нам на дороге,
В нем – все зло да в князе Вячеславе!..»

III.

Дни – за днями, шли-прошли недели;
Целый месяц тянется осада, –
Та и эта рати поредели;
Ждет помощи Вячко с Новограда.
Ждать-пождать, – все нет и нет помощи...
Посланца Альберт шлет к Вячеславу:
«Сдайся, князь! К тебе не будем строги, –
Мы почтим тебя за доблесть-славу:
Отпустить хотим со всей дружиной
И со всем твоим именем княжьим...
Сдай нам город!..» Ни на миг единый
Не поддался князь посулам вражьим:
«Коли нужен Юрьев вам, – берите;
Только взять его сумеите сами,
А меня вовек не улестите
Вашими лукавыми речами, –
Не уйду, покамест жив, отсюда!
Уходите сами всей ордою!..»
И – опять кровь полилась рекою,
Трупы грудой падали на груды.

Великая Октябрьская революция перечеркнула и стихи, и достатки прославленного поэта. Пришлось хлеб насущный добывать вывозом из Гатчины нечистот, подвозом дров. Главный добытчик была жена: она стирала белье содкомкам (содержанкам комиссаров). В такой-то обстановке Коринфский вдруг находит журнал, который будет его печатать! Думается, произошло это не без содействия того же Викторса Эглитиса, потому что одной из первых публикаций Коринфского в этом журнале был перевод

стихов именно этого латышского поэта – «Ніррокрена» и «Демон». Кроме того, в том же журнале Коринфский печатает свой перевод стихотворения Анны Бригадере (Anna Brigadere) – «Если счастье нахлынет нежданно...» (намек, очевидно, на приобретенную возможность печататься!) и стихотворения Карлиса Скалбе «Все от солнца» и «Раздумье».

Этот спаситель Коринфского от духовной смерти – «Наш огонек» В. Васильева-Гадалина.

Стоит ли говорить о том восторге, благодарности и почтительной любви, которые посвящает русский поэт и журналу, и издателю, и свободной Латвии, «чуждой партийных оков» (имеется в виду, разумеется, коммунистическая партия, господствующая в стране Советов).

В свободной Латвии, чужд партий всех оковами,
Для чувств и дум моих так близок (хоть далек),
Затеplенный родным художественным словом
Горит за рубежом «НАШ (русский) ОГОНЁК».
В нем – искра дивная от Вечного Светила
Под стягом Равенства на перерез всех волн,
Разлада и вражды, любовно в путь пустила
В честь Братства всех племен – литературный челн.
Надежный кормчий в нем – не шлет он вызов буре,
Его святой девиз – народов мирный труд.
Уж он – не новичок: в его былом живут
Пятнадцать лет любви к родной литературе.
Счастливый путь ему! Да будет в дни тревог
Его дальнейший день рабочий беспечален!
Да здравствует ЯСАВ! Да здравствует ГАДАЛИН,
С Васильевым храня «НАШ (рижский) ОГОНЁК».¹

В первую (не последнюю) годовщину Огонька Коринфский печатает такие стихи:

¹ Наш огонек. – 1925, – № 11.

Кто жил в духовном одиночестве,
Судьбою загнанным в тупик,
Кто черпал веру лишь в пророчестве,
Что близок зла последний миг.
Кому пришлось во мгле страдания
Познать, что значит жизни тьма,
Там все вздохи, все рыдания
Порабощенного ума;
Лишь тот поймет – с какой отрадою
Благуя весть я встретить мог,
Что там, за темных туч громадою,
Блеснул для нас «НАШ ОГОНЁК»...
Блеснул, затеплился любовною
Духотворящею Мечтой,
С – зарубежа родного – кровного
Надежд повеял Красотой...
Льет тихий свет над тьмы пучиною, –
Еще ее не минул срок
С его свеченья годовщиною,
Но я – уже не одинок;
Спешу к вам мысленно с братиною,
За правду светлую единую,
За всех – кем жив «НАШ ОГОНЁК»!..

Наступившее в наши дни возвращение Коринфского (его творения понемногу начинают издавать вновь), прольют, надо полагать, свет и на фрагментарные пока связи с Латвией, с Гадалиным, с «Огоньком».

Николай Островский (1904–1936)¹

Среди разных народов, сражающихся за мировую революцию, мир и счастье всего человечества (Николай Островский слепо верил в это) поражает немалое количество латышей. Командир роты Бредис. О нем и латышах, которые под Изяславлем «правый фланг

¹ Лосев А. Он знал латышских коммунистов. // Советская молодежь. – 1964. – № 193; Он же, Соратница. // Советская молодежь. – 1974. – № 190.

держали», рассказывает разведчик Андрашук: трое из конного разъезда котовцев первыми «заскочили» на окраинные улочки Изяслава и, пользуясь сумятицей, «женщину до земли пригнули». Бредис не знал ни полудействий, ни полумер. Приказ: насильников – к расстрелу. Андрашук попытался за них заступиться. Срывающимся от гнева голосом Бредис прокричал: «Кровью знамя крашено, а эти позор всей армии. Бандит смертью платит.»¹

Голубоглазый Алфредс Тукс и его бойцы лицом к лицу столкнулись с вражеской группой. Догоняя и убивая офицера, в горячке боя даже не заметил, что у него отрублен палец, и сострил: «Думал, ни один беляк не стоит моего мизинца, а выходит – стоит». В другом сражении он спасает жизнь Котовскому.

Верными и последовательными коммунистами оказываются и другие герои романа «Как закалялась сталь» Николая Островского.

«Верный сторожевой республики» Бурмейстер освобождает поезд от спекулянтов-мешочников, и теперь Устинович и Корчагин могут ехать на съезд комсомольцев. (Сочинения, с. 203–204)

В непроглядной темноте, по неосвященным ночным улицам отчаянная голова шофер Гуго Литке с шальной скоростью мчит своего отца Яна, командира отряда чекистов, – им предстоит разрубить нити заговора, уничтожить заговорщиков. (Сочинения, с. 216–218)

Откуда такое уважение, такая любовь и к прямым и к косвенным своим соратникам-латышам?

Как выяснил А. Г. Лосев со своими учениками, много лет собирая материалы об Островском и его латышских друзьях, завязка началась с собрания материалов о Вольмере.

«Секретарь райкома, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей», первый протянул руку помощи Павлу Корчагину, которого начинает одолевает неизлечимый недуг.

Самое примечательное в собранном материале то, что подлинная фамилия секретаря – Костенко. Но однажды, в подполье ему пришлось назваться именем своего погибшего соратника латыша Вольмера. В память о нем Костенко и впредь стал называться

¹ Островский Н. Как закалялась сталь. // Сочинения в 3-х томах. – Москва: Молодая гвардия. – Т. I, – с. 171–172 (далее: сочинения).

фамилией своего погибшего единомышленника-латыша. (Сочинения, с. 386–387)

Но решающим поворотом в жизни Островского – Павки Корчагина оказался день, когда судьба сдружила его – это было в 1926 году в Майнакском санатории, где Павка встретился с латышской коммунисткой Мартой Пуринь (в романе Лауринь). Уроженка Риги, она батрачила в средней Видземе. Октябрь застал ее – беженку – в Москве. По заданию партии она возвращается в Латвию, где работает разведчицей в тылу врага. После ареста и приговора «к расстрелу» её обменяли на арестованных в Советской России контрреволюционеров. Теперь она работала в редакции «Правды». (Сочинения, с. 362–364, 373)

О своей первой встрече с Николаем Островским через 40 лет Марта Пуринь рассказывала А. Лосеву:

«Все в Островском казалось мне необыкновенным. И слитность с трудным временем. И твердость духа, чистый свет души. И яростное неприятие любой неопределенности. Доказывая свою правоту, Коля не раз повторял любимое присловье – «Двух станов не боец». Даже рукопожатие его было особенным: Николай задерживал руку собеседника в своей руке и старался заглянуть в глаза. Короткие эти секунды нередко решали, как в дальнейшем сложатся отношения с новым знакомым... С той самой минуты, когда я вновь – после встречи в евпаторийском санатории – увидела Островского, мной неотступно владели два чувства – восхищение стойкостью Николая и боль за выбитого из строя бойца, ведущего неравный поединок с предательским недугом.»

А вот какой воспринял свою новую знакомую Николай Островский:

«Марте Корчагин, – читаем в романе, – на глазок дал девятнадцать лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, [...] что ей тридцать один и что она была одним из активных работников латышской компартии. В восемнадцатом году белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена Советским правительством вместе с другими. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз». (Сочинения, с. 364)

Дальше в романе:

«Как началось их сближение, Корчагин не уловил, но маленькая латышка стала неразлучна с «пятеркой», в которую входили коммунисты разных народов, разных стран». (Сочинения, с. 364)

В конце августа Островский оказался в московской квартире Марты Пуринь. Это стало для него судьбоносным. И приглашение Марты Пуринь Островский назвал «путевкой в жизнь».

В квартире Марты была хорошо подобранная библиотека, на которую прибывший гость набросился и читал, читал в те долгие часы, когда Марта и ее подруга Надя Петерсон уходили на работу. А по вечерам, когда собирались знакомые латыши, среди них писатели и поэты, Николай рассказывал о различных необычных приключениях и на фронте и в тылу, и каждый раз его рассказы сопровождались постоянными возгласами: «А ты запиши, запиши все, что говоришь. Это бесконечно интересно». (Сочинения, с. 373)

Вначале эти слова казались Николаю каким-то далеким эхом. Но вот это эхо, заполняя все вокруг, стало звучать явственнее, громче: «Запиши... запиши...» Так родился замысел романа.

Как в свое время латышские коммунисты из царского офицера превратили Леонида Соболева в советского писателя, так и латышские коммунисты сделали Николая Островского не только популярным, но и «канонизированным» писателем.

Его «коммунистическая аура» распространялась и за пределами Советского Союза.

Однажды в четвертую камеру рижской срочной тюрьмы, где находились и политзаключенные женщины, тайными путями проникла книга Николая Островского. Хая Скаповская читала ее вслух. Потом книга путешествовала по всем номерам. Политзаключенные решили написать письмо Островскому.

«Павка Корчагин, – писали рижские политзаключенные, – нам так любо и дорого имя его. Павка стал нам своим, близким, родным и, в то же время, лучшим товарищем, по которому мы все хотим равняться. Павка – герой, но не тот надуманный герой, который, как недостижимый идеал возвышается над простыми

смертными, подавляя их своим величием, вселяя поклонение к себе. Павка не такой. [...] Его жизнь, особенно первая половина ее, так похожа на миллионы других жизней. Будто он взял по кусочку от каждой из нас, чтобы показать, как надо ее строить...»

Письмо рижских политзаключенных было опубликовано в «Известиях» и вошло в золотой фонд коммунистического воспитания молодежи.¹

В то же время скрывалась обратная сторона медали, судьба близких Островскому латышей.

Стоило бы Николаю Островскому прожить еще два года, и ему пришлось бы рассказать о трагических финалах в судьбах его ближайших друзей Марты Пуринь, Надежды Петерсон, латышского поэта, постоянного собеседника Карлиса Озолса-Приедниекса (Kārlis Ozols-Priednieks), Михаила Вольмера. Бесконечно долгих двадцать лет мучилась на пересылках, в телячьих вагонах, тюремных камерах, в бараках ГУЛАГа Надежда Петерсон. Колымским тачечником был Озолс-Приедниекс. Любой стук в дверь Марты Пуринь и Михаила Вольмера мог означать для них начало конца. Спасло Марту Пуринь от ареста только то, что она постоянно находилась на колесах, пересеживаясь из одного поезда в другой и разъезжая по всему великому и могучему Советскому Союзу.

Борис Зайцев (1881–1970)

Где-то на неоглядных просторах Северо-Восточной России затерялась экономия Мартыновка. Ее владелец Матвей, сын Мартина Гайлиса, переселился сюда из-под Риги. Лет за десять до происходящих в экономии событий, мастерски описанных Борисом Зайцевым в повести «Анна»,² – старый Гайлис с сыном Матвеем, его женой Мартой и дальней родственницей Анной перебрался на новое, русское поле. Матвей заботами отца знает толк в крестьянствовании. К своему делу, разведению свинок, он приохотился сызмальства. Заезжим волостным заправилам, Чухлову и Похлебкину, Гайлис не без гордости признается: «Все сам строил,

¹ Пролетарская правда. (Рига). – 1940. – № 84.

² Зайцев Б. Анна. – Париж: Современные записки. – 1929.

чтобы свинкам жить удобно, чтобы свинкам хорошо. Их надо в чистоте держать. Это все у нас заведено и образовано.» (с. 9) Во всем, что относится к ферме, Матвей Гайлис знает толк: «Это свинья – не немецкая, это – шведская порода... Шведская свинья, я люблю ее.» Между тем его соседи, и среди них былой владелец этой земли, помещик Ушанов, были нерачительными хозяевами, «плохонько свиней держали». Незваные гости как будто отдают должное предприимчивости Гайлиса: «Оборотливый ты человек, Матвей Мартынович!» В то же время преуспевающие в сельском труде люди кажутся им опасными и совсем не ко времени. Отсюда совет: «Жил бы в своей Латвии, да добра наживал бы, чего ты сюда забрался? Что у нас тихая жизнь, что ли? У нас, брат, революция! Понимаешь!» Но Гайлис мгновенно соображает, в чей огород кидают камешек чиновные его собеседники: «Ничего мне плохо не будет, я хороший латыш, я со всеми в миру, и с царскими был, и с советскими... Я все сам своим горбом нажил, и сам все построил...» Да, на приокской земле он пустил глубокие корни. И чувствует себя уверенно, твердо: «Я десять лет здесь живу, и я могу свой дух заводить.»

Надвигается коллективизация. Для Гайлиса это «окаянные дни». «Свою собственную землю им отдавай, коровочек отдавай, лошадок, кур, все пригодится, так еще из дому гонят...» Думать так оснований у Гайлиса немало. Выставляют из родного гнезда владельцев усадьбы «Серебряное». И хозяин Мартыновки на ломаном своем русском высказывает крайнее возмущение: «Так-то вот сидишь, работаешь. Вдруг явятся и говорят: пожалуйте вон!» И Гайлис, как ему кажется, принимает единственно верное решение: «Если со свинушками мешать будут эти разные советы и коммунисты Матвей Мартынович найдет... Он к себе уедет, в свободную Латвию. Что надо, распродаст, и там свое дело откроет.»

В главе «Варфоломеева ночь» Гайлис и его жена Марта приступают к исполнению задуманного. Все, что домовитый и рачительный Гайлис в великих трудах создавал целое десятилетие, было низведено за одну ночь. Потрясения подорвали его здоровье, уложили в постель... (с. 105–113)

В главе «Встреча» драматизм повествования нарастает. На проселке, ведущем в Мартыновку, появляется уездный гэпэушник со своими подручными. «Трушка шел на своих крепких, несколько кривых ногах к дому Матвея Мартыновича.» О Гайлисе он знал все: и то, что тот порешил свиней, и о распродаже – все подчистую! – хутора, и о порядочных деньгах, вырученных «за свинки». Когда Трушка на гайлисовом подворье увидел Анну (при каких-то случайных обстоятельствах эти мало знакомые люди повстречались совсем недавно), он не испытал тревоги. Карман у Трушки отвисал от браунинга, но до оружия он даже не дотронулся. И скорее по давней привычке, чем из страха, бросил случайной встречной: «Руки вверх!» И тогда-то грянул выстрел. «Тяжелый, длинный удар охлестнул его. Он схватился за живот, упал прямо на снег.» Анна «держала кольт дулом вниз. Глаза ее блестели. Она тяжело дышала, не могла двинуться. В пяти шагах ничком бился на снегу Трушка. Ему все хотелось вытащить из кармана браунинг, но боль, слабость, смертная тошнота заливали – топчась головою в снег, судорожно хватаясь руками за землю, описывал он по снегу полукруг.» Те, кто сопровождали, бросились вслед за Анной. Нет, ей не найти защиту под кровом Матвея Гайлиса. Совершенно неожиданно «блюстители революционного порядка» нашли единомышленника в лице Марты. Последняя видит в Анне не родственницу и не мстительницу за порушенные надежды, а только соперницу, только женщину, к которой потянулся ее муж. И дверь дома Гайлисов перед Анной остается на замке... Слышны новые выстрелы, и теперь не знающая страха женщина падает на снег..

Время берет свое. В мартыновском саду бушует май. Заливаются дрозды. Все говорит о скором лете. Но даже весна не может скрасить явные приметы разрухи: «Нет ни свиней, ни даже коровы. Хлевы давно заперты, на дверях цинкового подвала замок.» Соседи, в недавнем прошлом люди изрядного достатка, в предчувствии недобрых перемен покидают насиженные места. И приходят к Гайлису прощаться. И слышат ответные слова (произносятся они, как обычно, в 3-м лице): «Нет, Матвей Мартынович больше здесь не останется. Что тут хорошего для Матвея Мар-

тыновича? А вы думаете, он у Латвии пропадет? Никогда не пропадет. Гайлис у Латвии. Он там свинок еще больше разведет, он будет богатый.» Несколько неожиданно мрачные коллизии в повести Бориса Зайцева «Анна» разрешаются мажорным аккордом: «Из всего прежнего в Мартыновке один лишь маленький Мартын все тот же: он играет вновь в свои игрушки, созидает, разрушает созданное, для него все равно, играть здесь, или в Москве, или в далекой Латвии. Он знает еще только жизнь.» (с. 122)

«Анну» заметили. Эта повесть наряду с зайцевскими романами «Золотой узор», «Дом в Пассии», новеллами «Рафаэль», «Улица св. Николая», первыми главами тетралогии «Путешествие Глеба», литературной биографией Тургенева напечатана в парижском издательстве «Современные записки». По замечанию Н. Берберовой, это издание и напечатанные в нем произведения являлись «своего рода знаком эмигрантского отличия». Владимир Ильин – литературный критик, один из подвижников русской духовности в эмигрантском стане – отнес повесть «Анна» к самым бесспорным удачам Бориса Зайцева.

Современный читатель XX века, перелистнув последнюю страницу повести «Анна», задается вопросом: как мог Борис Зайцев завершить свое повествование такой сентиментально-идиллической сценой? Ведь, собственно, что произошло? На дворе экономии Матвея Гайлиса близкий ему человек смертельным выстрелом свел давние счета с самим Трушкой! И после всего происшедшего (словно не грозит ему ленинская костоломка!) владелец Мартыновки ничтоже сумняшеся собирается в дальний путь – то ли в Москву (последняя фраза!), то ли в Латвию! Из других же источников, и несть им числа, доподлинно известно: для «крепких» крестьян, объявленных в официальных бумагах «кулаками» или «подкулачниками», предназначалась совсем иная дорога – в колымский ГУЛАГ, на Соловки или расстрел у наспех вырытой в лесу могилы. Или в 1929 году раскулачивание еще не набрало полную силу?

Но с предложенным Борисом Зайцевым финалом трудно согласиться и по другим соображениям. В эмигрантских кругах вели-

колепно знали любые подробности о трагедии русской деревни в годы «великого перелома». Именно тогда из западных и центральных районов России, из благодной еще вчера «глубинки» потянулись на Восток телячьи вагоны, до отказа забитые людьми.

Неясно и другое: кто же в конечном счете главный герой зайцевского повествования – Матвей Гайлис или Анна? Ведь повесть-то озаглавлена женским именем! Проследим за достаточно сложными переплетениями сюжетных линий, и станет ясным: немало времени автор отдает Анне, ее самоотверженной любви к помещику и царскому офицеру Аркадию Ивановичу. После горькой разлуки с возлюбленным – свои дни он прожигал в больших городах – в скромном сельском уголке чувство Анны пробуждается с еще большей силой. Любые преграды – тяжкая болезнь Аркадия Ивановича, запутанные его семейные отношения, предрассудки провинциальной среды, увещевания Матвея Мартыновича и Марты – не могли остановить героиню повествования.

Идет ее внутренний монолог, написанный рукой первоклассного художника:

«Боже мой, как хорошо! Даже слезы выступили. Как хорошо и как безмерно грустно! Разумеется, она сумасшедшая, в ней дикая кровь, что она натворила тогда, как себя вела! Все это вздор. Вот если бы она тут, сейчас поцеловала-б место, где была рука, и, наклонившись к земле, к этой сухой уже, мертво-коричневой траве, тоже ее поцеловала бы, что сделать в ясный, терпко-колкий день ноябрьский, когда чувствуешь, что молод, силен, любишь, когда так ужасно хочешь счастья...»

В черные для Анны минуты (перестало биться сердце единственного друга) увидела она спешащего к Аркадию Ивановичу Трушку. На этот раз он опоздал с неправым своим судом... Но с той минуты чувство мести не оставляло Анну. И вот случайная встреча... И слышит Трушка последние в своей жизни слова: «К Аркадию за этим шел, и к нам...» Стало быть, выстрел Анны вовсе не был продиктован заботой о благополучии гайлисовской экономии. Латышка Анна нашла в себе силы выступить за честь русского офицера, за добрую память о нем. Потому-то Петр Пиль-

ский¹ окрестил зайцевскую героиню «русской мстительницей». Ей равно дороги люди разных кровей... Рижский критик – и в этом он далеко не одинок² – сближает Анну с тургеневской Еленой Стаховой. Дочери разных эпох, разных социальных и национальных корней, состояний, они обе сходны в одном: и одна, и другая до конца верны своим любимым, готовы сутками не отходить от обреченных людей. Сотрудник газеты «Сегодня» отдает должное Зайцеву-психологу в создании сложных, контрастных характеров. «Анна – это горячее сердце, верная душа, большая внутренняя гордость, крепкая воля и рядом – трогательность и женская заботливая ласка». Говорит рецензент и о прочной, плотной кладке слов в повести, о зоркости зрения и души. Деликатность его стилистики, мягкость письма, ненавязчивая, приглушенная световая гавань, мгновенная и прихотливая смена настроений – все это не изыск, не дань моде, но органическое проявление сути художника. Детали, частности, штрихи к образу Анны, найденные автором повести, служат одной сверхзадаче – помочь читателю разглядеть в героине «тучу темных, нервно-эмоциональных сил, противостоять которым невозможно.»

Выразительна и во многом типична русская речь Матвея Гайлиса. За несколько десятков лет российской жизни он так и не теряет привычки чуть ли не все предметы, даже самые объемные, крупные, называть на латышский лад уменьшительными словами («свинки», «окорочек», «Анночка», «коровочки»). В наречиях на «о» он заменяет окончания, придает им латышское звучание («я тебя редки вижу» – латышское «reti»). Однако у Б. Зайцева видим и неточности, сбои в передаче русской речи латыша: отсутствие согласования прилагательных и глаголов в прошедшем времени с существительными женского рода («Анна, ты почему мало ел гусь»; с. 18–19) «хороший девушка»), замена предлога «в» предлогом «у» («никогда не пропадет Гайлис у Латвии»). Все сказанное скорее напоминает говорящего по-русски немца... Что же

¹ Пильский П. Русская мстительница. О повести Бориса Зайцева «Анна». // Сегодня. – 1929, – № 249.

² Чуковский К. «Зайцев исходит от Тургенева, он весь гармонический, цельный».

до зайцевских удач, невольно является вопрос: это что же, филологическая интуиция? Или какие-то познания в латышской речи? Ответить сколько-нибудь определенно – затруднительно без специальных исследований в этой области. Однако, многолетние контакты Бориса Зайцева с журналом «Перезвоны» – писатель участвовал в его создании, руководил некоторое время литературным отделом (приглашал даже Бунина участвовать в работе журнала, потом непонятный разрыв), постоянная связь с газетами «Сегодня», «Слово», «Наша нива» – побуждает о многом задуматься.

Исследование творчества Бориса Зайцева в плане русско-латвийских культурных контактов только начато и обещает дальнейшим исследователям благодарное поле деятельности.¹

Андрей Седых (1902–1994)²

Полузабытые и всеветно известные писатели, литература русского зарубежья... Один из этой когорты – Андрей Седых. Уроженец Крыма, он становится на девятнадцатом году профессиональным очеркистом, в 20-30-е годы – сотрудник парижской («Последние новости») и латвийской («Сегодня») газет.

В 1929 году преуспевающий очеркист оказывается «там, где была Россия» – в Риге. Цель его приезда – проникнуть на латвийско-советскую границу, чтобы «с той стороны» захватить горсть «русской земли».

Министерство внутренних дел Латвии (в отличие от 1925 года, когда было отказано во въездной визе Бальмонт), теперь всячески содействует осуществлению замысла парижского очеркиста, известного непримиримой ненавистью к советскому строю, к большевикам, к коммунизму.³

Гласному пыталовской уездной управы С. Трофимову и начальнику латгальской пограничной стражи капитану К. Янсону было

¹ См. также Даугава. – 1992, – № 3, – с. 81 и след.

² Журавлев С. Изображение традиций и обрядности латвийского старообрядчества в книге очерков А. Седых «Там, где была Россия» (Париж, 1930). // Староверие Латвии. – Рига: Веди. – 2005, – с. 200–210.

³ Даугава. – 1990, – № 8, – с. 47.

поручено сопровождать парижанина, помочь ему разобраться в непонятных ситуациях, неведомых обстоятельствах.

В вагонном купе поезда Рига–Ленинград Андрей Седых немало узнал о тревожных буднях границы. Шел год «великого перелома». Деревни по ту сторону кордона голодали, и еще вчера справные, в достатке семьи мгновенно теряли все. Случалось, любым опасностям вопреки они перебирались по другую сторону границы. Об одном из бесчисленных таких эпизодов мы узнаем из книги Андрея Седых. Его собеседник – пограничник рассказывает:

«Еще недавно, ночью, на латвийскую сторону пришла группа оборванных мужиков. На них страшно было смотреть. Привели их в караульный дом, а они просят: «Христа ради, дайте хлебушка... Помилосердствуйте, отощали больно!» Пограничники жались, дали им по краюхе хлеба. У мужиков – слезы из глаз: не знали, как благодарить! Следующей ночью мы отпустили их обратно.» (с. 61)

Капитан Янсон говорил о неоправданных строгостях в приграничных псковских селениях:

«Есть деревни, разрезанные пополам. Часть деревни отошла к Латвии, другая осталась за Россией. Сын живет на одном конце деревни, отец – на другом. Проходят годы, и эти люди глядят друг на друга только издали, не смеют сказать ни одного слова. На одном хуторе зажиточная крестьянка жаловалась мне, что ее мать, живущая в семи верстах от границы, нищенствует. «– А я ничем помочь ей не могу. И писать боимся.»

Наконец Андрей Седых на сопредельных землях. Отчетливо видна другая сторона.

«На противоположном берегу, у самой воды, два мужика косили траву. Шли они босиком, равномерно помахивая косами, и ряды мокрой высокой травы бесшумно ложились им под ноги. Трофимов крикнул:

– Бог на помощь!

Мужики остановились, как вкопанные, разинув рты. Потом снова принялись косить, так и не ответив на наше приветствие.» (с. 63)

Нарастает кульминационный эпизод. Писатель готовится исполнить свой замысел – привезти в Париж горсть русской земли. И вот преодолена пограничная канавка. Начинается родной край, с которым повествователь расстался восемь лет назад. От волнения «кружится голова». И вот заранее приготовленный бумажный мешок заполняется «пригоршнями жирной, мягкой земли. Оглядываюсь: вдоль дороги растет милая белая кашка, какие-то стебли травы.» Впопыхах (только бы «нарушителя» не заметили советские пограничники!) собирается букет скромных полевых цветов...

В латгальских деревнях и хуторах Андрей Седых, к полной неожиданности для себя, нашел допетровскую Русь. Черные стародавние покосившиеся избы, скрипящие в ненастье ветряки, непроезжие, расхристанные дороги. В одной из деревень, Борисовке, парижский литератор попал на последние проводы крестьянки. Моленную заполнили крутоплечие бородачи. На них были «длинные, до земли кафтаны». Слева, за перегородкой, стояли женщины в темных платках. И старческие, и молодые, и детские лица объединяло общее выражение – «торжественное, сосредоточенное, умиленное». Звучали нигде не слышанные, скорбные песнопения, «бабы подпевали тоненькими голосами». «Наступил момент прощания. Из толпы по двое стали выходить мужики. Становились по бокам гроба, низко кланялись всему миру. И все молящиеся кланялись им в ответ. Потом – прощавшиеся крестились, падали ниц, били покойнице земной поклон, трижды касаясь лбом холодных плит моленной. А встав, кланялись друг другу и уступали место.» (с. 58–59)

Вместе с борисовцами автор провел несколько часов за поминальным столом. Шли последние дни успенского поста, и старикам подавали жареных ершей, соленые грибы, свежий мед, брусничное варенье. Молодые, отступая от устава старой веры, предпочтение отдавали баранине. Из рук в руки переходили кружки с крепким пивом – «крестьянской кумушкой».

По глухим проселкам писателя на этот раз сопровождали депутат Сейма Мелетий Архипович Каллистратов и председатель ста-

рообрядческого комитета Колосов. Поражало душевное, почти-тельное отношение землепашцев к своему избраннику. Сетования каждого из них он выслушивал самым внимательным образом. Один жаловался депутату на недород: «Где овсы градом побило, где водой затопило.» Двенадцать десятин другого крестьянина не могут кормить семерых детей. Оттого и долги его совсем «заели». Третий, погорелец, не может добиться выплаты страховки. Еще у одного просителя волостные начальники вторично требуют подушный налог. Кто-то говорит о необходимости прорыть канаву и осушить заболоченные земли. Кто-то советует незамедлительно отремонтировать молельню. В речах русских людей латгальского края автор тонко уловил лексический и грамматический строй местных диалектов: «у Парижу», «но как вы приехавши», «с людей стыдно», «напишите за нас» (имеется ввиду: «о нас»). (с. 59)

Не обошел писатель своим вниманием и Ригу, и Рижское взморье.

«Я ехал по главным улицам Риги – десять лет тому назад бывшей русским губернским городом, а теперь ставшей столицей Латвии. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские – «картибниеки» – в белых перчатках, театральными жестами регулируют движение. Город наряден, тонет в зелени; приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке.

Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торопившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истово перекрестилась на купол... И этот спокойный вечерний звон, и эта богомольная старушка разом напомнили о России; Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и к чести латвийского правительства надо сказать, что этот русский дух в те времена не особенно старались искоренить.

Русский язык в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как латышский и немецкий. С телефонной барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистейшем русском языке, в министерстве вам обязаны отвечать по-русски;

любой извозчик знает, что «Дзирнаву иела» есть не что иное, как старая Мельничная улица.

Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает. Гораздо труднее привыкнуть к тому, что у всех в руках русская газета «Сегодня». Из утренних газет она наиболее распространенная, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши. В вагоне, идущем со взморья, у всех в руках «Сегодня»; в час дня вечернее издание этой газеты буквально покрывает весь тридцативерстный пляж...

На улицах то и дело попадаются чисто русские типы – люди в косоворотках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на рижскую мостовую латгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидите вы бабы платочки, косынки, смазные сапоги, всклокоченные бороды, услышите чистейшую русскую речь.

А за каналом начинается Московский форштадт.

Ты чувствуешь себя совсем в России. Мостовые выложены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колонками. Деревянные ставни откинута на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетах с бронзовыми застежками... В подворотнях девушки лушат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковками...

Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской сельдью. А за прилавком отпускают покупателям лососину, кото-

рой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники... У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе навыпуск и с массивной серебряной цепочкой через живот – должно быть, сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру, не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки. А после баньки можно зайти в трактир – в «Якорь» или «Волгу» – закутить свежим огурчиком, выпить чаю с малиновым вареньем... Так живут на Московском форштадте русские люди – отлично живут, не жалуется.» (с. 49–51)

В сопровождении Б. Н. Шалфеева парижский очеркист посетил и староверскую моленную.

«У ворот встретили нас староста и эконо́м – почтенные старики: длинные бороды, сюртуки, картузы...

Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных риз. Старообрядцы гордятся своими иконами:

– Подобных во всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет – давно секрет потеряли... Вот, изволи́те обратить внимание, Успение Божией Матери – наш храмовый праздник. А это вот Никола Беженец. В пятнадцатом году, во время эвакуации увезли его в Москву, да впопыхах не успели вынуть из киота. Так и отправили. А вернулся он через десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось... И с той поры называем его Никола Беженец. Миняя месячная – тончайшее письмо. Если в августе родились, – вашего святого разыщем... Старинная икона «Всякое Дыхание да хвалит Господа». Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц поднебесных – одним словом, всякое дыхание... Соловецких Святых заметьте: преподобные Зосима и Савватий – пчеловедам покровители. Народную поговорку знаете: на Святого Пуда вынимай пчел из-под спуда? Так вот, пятнадцатого апреля это выходит. Тут, значит, пчеловедам и следует помолиться преподобным... А это Неопалимая Купина – от пожаров охраняет. Есть еще от пожаров и

молний заступник – преподобный Никита. Ему молиться следует тридцать первого января...

Потом экононом повел в свою комнату, книги показывать. Книги были печатаны при патриархе Иосифе, в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Были здесь старинные рукописи в кожаных переплетах, Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями, другое Евангелие в окладе серебряном – все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда в древние времена, еще в 17-м столетии. Старообрядцы бежали в Ригу, бывшую тогда шведской, спасая свое «древнее благочестие» от московских царей. Когда Петр Великий взял Ригу, нашел он в городе великое множество богатых купцов-староверов. Царь немилостиво отнесся к ним, повелел стричь бороды, а многих прогнал за Двину...

Мы поднялись на колокольню. Староста ударил в колокол, отлитый в России из меди и серебра... Все вдруг загудело, и долго еще густой звук неся над Двиною и Московским форштадтом...

– Колокола наши, московские... Вернули их нам большевики после заключения мира с Латвией... Слава Богу, а то пришлось бы новые заказывать; в Германии теперь их делают. Да звук совсем иной, не умеют они делать, из чугуна льют. Во дворе колокол стоит, немецкий. Уже готов, дал трещину... Нет, против наших русских колоколов немцам не выдержать!..

– Не угодно ли пройти в кельи наставников? Попов у нас нет, мы беспоповцы, а начетчики и настильники живут тут же, при молельне.

Заходим в светлые просторные кельи. Здесь было солнечно, пахло ладаном, спеющей антоновкой. Перед иконами светились лампы. В первой келье навстречу нам поднялся старичок, снял очки, перевязанные веревочкой, низко поклонился и сказал:

– Спаси вас Бог, благодетели наши, не забыли!.. А я тут поминальничек переписывал... Спаси Бог..

И в других кельях начетчики низко кланялись, запахивали свои драные ряски; бороды их были белы как лунь; волосы на лбу придерживал тонкий ремешок, подслеповатые глаза всматривались в лица пришельцев, сухие пальцы творили двуперстное крестное знамение.

– Вот они и живут у нас по-монашески, постничают. Много ли надо старичку благочестивой жизни?.. Есть у него келья, есть еда, – он и доволен. Живут у нас шестеро старичков. День и ночь поочередно Псалтырь читают, покойников поминают... Только вот в праздники не читают, а так постоянно – друг дружку сменяют. Не угодно ли посмотреть?

В малой молельне было темно, сыро, в углу у аналая горела тонкая свеча. Древний старик стоял в пустой молельне и громким монотонным голосом читал Псалтырь... Он читал и останавливался, прозрачными пальцами перевертывал страницу, снова принимался за чтение и ни разу не посмотрел на пришельцев – ему было это безразлично, он чувствовал себя одиноким, далеким от всего мирского.

– Да восстанет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие его... Как рассеивается дым, Ты рассеяй их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия... А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости...

Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби важно разгуливали у ворот. На скамьях сидели старушки в черных платках, старики из старообрядческого приюта; они грели свои кости на солнце и о чем-то сосредоточенно думали...

Ударил колокол, было пять часов. Звонили к вечерне. Старички встрепенулись, перекрестились и один за другим потянулись к молельне...» (с. 51–52)

Не менее впечатлительны страницы, на которых рассказывается о встрече с архиепископом Иоанном.

«Архиепископ Иоанн живет в подвале собора. В его «покои» ведет узкая винтовая лестница. Посетителя сразу охватывает сырость, тяжелый подвальный дух. Низкие сводчатые потолки, на стенах пятна сырости. Нет ни одного окна, дневной свет никогда сюда не проникает. Днем и ночью горит электричество.

Скучно живет владыка. Несколько кресел, стулья. Шкафы с книгами. Иконостасы. Над столом – большой портрет патриарха

Тихона. Кровать за перегородкой. В углу, у печи – груда поленьев... И сырость, и темнота в углах, и тусклый свет электрической лампочки как-то сразу угнетают...

– У нас отняли помещение. [...] – Тогда в виде протеста я поселился здесь. Делались компромиссные предложения. Хотели мне купить новый дом, но я отверг. Это значило бы оправдать беззаконие. Архиерейский дом был православным мужским монастырем, нашей святыней. Я глубоко убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует и архиерейский дом мы получим обратно...» (с. 54)

Андрей Седых еще много рассказывает о могучей силе архиепископа, его повседневных занятиях физическим трудом.

Когда в 1990 году «Даугава» заново опубликовала латвийские главы из книги Андрея Седых, 88-летний автор снабдил новую публикацию своими комментариями. Рассказал о том, как мученически закончили свои дни русские литераторы-рижане, с которыми он хорошо сошелся в конце 20-х годов. За краткими сообщениями – трагедия оккупированной в 1940 году большевиками Латвии, трагедия ее народа.

«Главный редактор «Сегодня» Михаил Семенович Мильруд и редактор «Сегодня вечером» Борис Осипович Харитон были арестованы в октябре 1940 года. Оба имели шведские визы, могли выехать и спасти свои жизни, но предпочли остаться на посту, выпуская газету до последнего дня. Оба были отправлены в Москву и приговорены судом к восьми годам трудовых лагерей и семи годам ссылки. М. С. Мильруд скончался в Караганде в 1941. Б. О. Харитон также был осужден и отправлен в лагерь. Дальнейшая его судьба неизвестна.» (с. 50 прим.)

Михаил Шолохов (1905–1984)¹

Оба главных произведения Михаила Шолохова – и «Поднятая целина», и «Тихий Дон» – стали достоянием латвийского ценителя русской литературы уже в 1932 году. И «Тихий Дон», и «Под-

¹ Иванова С. Е. Творчество М. Шолохова в Латвии. Рига: Звайгзне. – 1975.

нятая целина» печатались из номера в номер в газете «Сегодня», а повествование о строительстве колхозов (или вернее о разрухе сельского хозяйства) с 1934 года в латышской газете правого толка «Pēdējais brīdis» («Последний момент»), с 1933 года в левом журнале «Virziens» («Направление»), а в 1938 году и в русском журнале «Для вас». Такое пристальное внимание к этим произведениям советского автора объяснялось использованием их для антикоммунистической, антисоветской пропаганды. Произведения уже сами по себе служили этому делу, поскольку любой человек, даже проживая в Советском Союзе и на словах исповедуя коммунистическую доктрину или даже религию, не мог соглашаться со всем тем злом, которое принесли и зверства гражданской войны и раскулачивания. А если, как это делали латышские публикаторы романов Шолохова, убрать еще и кое-какие эпизоды, где голомотяпство, глупость до полного отупения многих руководителей в «Поднятой целине», потерявших всякие остатки человечности «стальных» чекистов, каждому непредвзятому читателю становился ясным весь ужас господства коммунистической доктрины.

И если в 1940–1941 году существовало именно такое представление о романах Шолохова, то начиная с 1945 года они издавались уже как произведения социалистического реализма, как утверждающие коммунистическую религию и советский строй, зовущие читателей приносить себя в жертву этому коммунистическому Молоху.

Эта же задача стояла перед иллюстраторами многочисленных латышских изданий романов Шолохова, к которым присоединилась «Судьба человека» – снова о жертвах (оправданных или не оправданных?), которые советский человек должен был нести на алтарь Отечества только для того, якобы, чтобы доказать свой патриотизм.

«Поднятая целина» в 1964 году была поставлена в Рижском театре латышской Драмы, а в 1966 году в Лиепайском театре. На Лиепайскую постановку откликнулся сам автор, прислав В. Гревиньшу телеграмму со следующим текстом: «Действуйте! Желаю Вам и Мурниеку успеха.»

Шолоховская «Судьба человека» в 1962 году была поставлена в Опере (в главных ролях А. Дашков и П. Гравелис).

Дождется ли столь популярный в 60-е годы Михаил Шолохов такого же ренессанса в Латвии, как Достоевский, Чехов, Гоголь и Александр Островский? Вряд ли.

Иван Шмелев (1873–1950)

Изучение контактов Ивана Шмелева с Латвией ждут своего исследователя. Пока же известно лишь то, что напечатал в газете «Сегодня» Петр Пильский и что авторам этих строк рассказала Вера Николаевна Цытович о посещении Шмелевым Русской правительственной гимназии.

В 1936 году, как пишет Петр Пильский¹, «Шмелев совершил довольно большое путешествие. Из Парижа приехал в Берлин, отсюда – к нам в Латвию, отдохнуть в Инчукалнсе, затем отправился в Эстонию, был в Печорах, был в Изборске, вернулся в Инчукалнс, отсюда в Ригу, потом поехал в Резекне. И, вот, теперь, надо отменить вечера в Лиенае, отказываться от милого приглашения в Литву и т. д. и т. д.»

«Ему понравилась латгальская областная ярмарка:

– Хороша, – говорит он. – Особенно приятное впечатление на меня произвел воспитательный отдел. У вас отличные грунтовые дороги. В Латгалии надо признать высокую сельскохозяйственную культуру. Вера в способности русского народа у меня не угасает.

С улыбкой прибавляет:

– Удивительна у русского человека страсть к хорошему коневодству. Он поставит ребром последнюю копейку, чтобы вырастить и выходить рысака.»

Приятно поразила дорога среди болот – эта вдруг возвышающаяся дамба на протяжении целых 15 верст. Наблюдательный взор Шмелева отметил много положительных черт латыша: любовь к порядку, к труду, и, главное то, что здесь все работают с охоткой и любовно. Писатель жалеет: на Празднике Жатвы ему

¹ Трубников Н. «Что видел Н. С. Шмелев в Латвии и Эстонии», «Сегодня», – 1936, – № 261.

так и не удалось побывать, – помешала болезнь. Плохо он почувствовал себя уже в Резекне, а оттуда пришлось ехать южной дорогой, покрыть 300 километров, но в самом Резекне было отрадно. Его поместили в частном латышском доме у заботливых хозяев в какой-то девичьей комнате, было уютно и легко. Там он познакомился с помещиком А. К. Воцининым, владельцем имения, когда-то принадлежавшего поэту Жемчужникову. Там же произошла встреча Шмелева и с художником академиком С. А. Виноградовым. Раскинулся, расцвел старый яблочный сад, повсюду – приволие, легкий латгальский воздух, ширина и раздолье полей, и бесчисленное количество сверкающих озер. – Эх, пожили бы вы здесь, – уговаривали Шмелева. Но и на это приглашение откликнуться было нельзя: он торопился назад в Ригу. Давно ли живет он среди нас? Много ли, часто ли появляется на наших улицах? Ведь большую часть своего пребывания в Риге он находится за городом, в Инчукалнсе. Тем не менее его знают многие, узнают с первого взгляда, называют по имени даже... в бане.

«Что греха таить, – всякий москвич любит попариться веничком, – не мог отказать себе в этом удовольствии и Шмелев, – отправился на Московский форштадт в баню.

– Что говорить, – приятно. Помилуйте: русская баня! Во Франции их нет. В бане его все-таки узнали. Голый человек подошел к нему, голому, и вежливо спросил:

– А вы не Иван Сергеевич Шмелев?

Было удивительно:

– Да, это я. А как же вы узнали меня?

И незнакомец объяснил:

– Как же не узнать? Если б я даже никогда не видал вас на портретах, я, все-таки, угадал бы, что это вы. Уже по одному вашему говору.»

И, в самом деле, Шмелев говорит так, как это дано только москвичу: ясно, отчетливо, зернисто, выдавая в слове каждый его слог.

Москвич, человек, влюбленный в старину, верный преданиям, он не мог не посетить и Гребенщиковской старообрядческой общины. Большое впечатление на него произвел храм-моленная.

С большим чувством Шмелев говорит о старообрядческом наставнике И. С. Мурникове. Он Шмелеву и давал объяснения.

«— Обаятельный человек, этот Мурников! И умница. Просвещенный. Отлично объясняет все.»

И эти пояснения, моленная, древние иконы разбудили в Шмелеве спящие бессознательные воспоминания о давнем, о былом. Сказалась старина, заложенная в его душе. Дело в том, что предки самого Шмелева были старообрядцами, а прабабка вышла из беспоповщины. Потом уж она приняла единоверчество. И вот, эта старина, древность, потемневший иконостас зазвучали, как голос из давнего-давнего времени. Эти часы в старообрядческой молельне, благоразумные лица, распевное чтение «Вечного псалтыря» принесли Шмелеву большое спокойствие и глубокое удовлетворение. Как-то сразу почувствовалась им духовная крепость старообрядчества. И эта постоянная, неизбывная, заложенная в сердце, в его душе связь наших дней, нашей преходящей жизни с преданиями, заветами и предречениями прошлого, сказывается у Шмелева во всем. Отсюда вырастают его верования, его устойчивость, его писания и все духовные влечения.

Проходит сентябрь. В конце этого месяца Шмелев выступит с чтением своих произведений, потом вернется в Париж [...]

Но и теперь, зная сроки своего пребывания у нас в Латвии, Шмелев признательно и тепло говорит об этих днях и неделях, проведенных в Риге, в Латгалии, в Инчукальне. Болезнь — не в счет. Шмелев не придает ей никакого значения. Это случайность. О ней забудется на другой день по выздоровлении. Память сохранит другое: латгальские картины, общую ласковость, окружавшую здесь Шмелева, встречи, — среди них были удивительные по неожиданностям совпадений. Оказалось, например, что Шмелев учился в одной и той же гимназии с предпринимателем С. А. Майкапарсом. От актера Зацкого узнал, что у них один и тот же общий знакомый профессор, кстати сказать, переведший и издавший в Голландии рассказы Шмелёва, а встреча с С. А. Виноградовым была встречей двух москвичей, влюбленных в свой белокаменный город.

Немало хороших минут Шмелев пережил за это время своих путешествий с директором Латвийского телефонного агентства писателем Р. Берзиньшем (Roberts Bērziņš), познакомился с поэтом Эдвартсом Вирзой (Edvarts Virza) – с ними двумя он и ездил в Резекне. Вспомнить есть о чем, и никогда из памяти не уйдут Печоры, Изборск, маленький укромный поселок Малы, уюты жизни людской, ласковость...

По страницам рижских газет, особенно «Сегодня» можно собрать довольно много материалов о Шмелеве. Так, до его приезда в номере 345 от 1930 года К. Бальмонт пишет о Шмелеве, «какого никто не знает». В 1933 году (№ 284) П. Пильский отмечает 60-летие писателя, а в 1935-м (№ 335) 40-летие литературной его деятельности.

Приезд Шмелева освещён чуть ли не ежедневной информацией о днях и делах его в Риге: в 221 номере – сообщение о приезде писателя в Ригу и отъезде в пансион Клиновых в Инчукалнс. В 225-м номере «День с Иваном Сергеевичем Шмелевым» Петра Пильского; в 267 номере «Как читает И. С. Шмелев», в 272 – «На вечере чтения И. С. Шмелева». В 273 номере С. А. Виноградов рассказывает о своей встрече с писателем, о «зарождении <Союза русских художников>».

В 190 номере газеты «Сегодня вечером» помещен фотоснимок «У директора ЛТА Р. Берзиня», а в 226 номере – о посещении Ив. Шмелевым Кружка ревнителей старины.

Перед выступлением самого писателя руководители кружка организовали чтение его произведений; таким образом, присутствующие с некоторыми его произведениями были ознакомлены. Шмелева приветствовали Л. С. Мурников, И. Н. Заволоко, иконописец К. А. Павлов и другие деятели кружка. Писатель выслушал духовные песнопения, исполненные хором кружка под управлением И. М. Крылова, обратившего особое внимание не только на чисто религиозные песнопения, но и на недавно записанные в Латгалии старинные духовные стихи.

По просьбе участников собрания (присутствовало более 100 человек) И. С. Шмелев «к большому удовольствию собравшихся

прочел несколько отрывков из своих произведений, выслушанных всеми «с настороженным вниманием».

Далее за чашкой чая продолжалась общая беседа о русском искусстве, русской литературе, собирании старины. Вечер прошел в интимной обстановке в высшей степени удачно и доставил большое удовольствие всем его участникам.

О рижских днях и делах Шмелева писали и газеты соседних городов, в частности, виленское «Русское слово» (№ 209), поместив статью «На даче у Ивана Сергеевича Шмелева».

Не все воспоминания о рижских днях Шмелева собраны и опубликованы. Так, нигде не удалось отыскать информацию о выступлении Шмелева в Русской правительственной гимназии, ученики которой, как рассказывала Б. Инфантьеву выпускница этой гимназии Вера Николаевна Цытович, собирали и отсылали Шмелеву в Париж крупы и другие продукты.

Иван Бунин (1870–1953)¹

И русским и латышским читателям имя Бунина хорошо известно уже до его приезда в Латвию в 1938 году, даже до получения им Нобелевской премии в 1933. На страницах газеты «Сегодня» имя Бунина появляется в 1921 году 6 раз, в 1926 году – 8, в 1927 – 10; его произведения печатаются в «Слове», «Перезвонах». Хорошо знают его и латыши по обстоятельным статьям Зенты Маурини, Виктора Третьякова в журнале «Daugava» в 1928 году.

Присуждение Бунину Нобелевской премии в 1933 году – мировая сенсация. Об этом пишут все латышские газеты, «Сегодня» печатает 12 статей по этому поводу, в том числе и сообщение о намерении нового лауреата посетить Латвию. Осуществилось это лишь в 1938 году и вызвало новый бум.

Приезд писателя в Ригу сопряжен с целой серией публикаций, которые следуют одна за другой.

Удивления начинаются уже по пути в Ригу: в окнах вагона он видит, что из паровоза искры сыпятся. Его удивлению нет пре-

¹ Žuravlevs S. «Krievu rakstnieks I. Buņins Rīgā» («Русский писатель И. Бунин в Риге»), «Сīра», – 1990, – 20.Х

дела: «Да вы топите дровами!» («Сегодня», № 118). Следующее удивление – при встрече в Риге. Писателю вручают его книги, изданные в Риге, и, как оказывается, и без его разрешения, и, что самое главное, без выплаты писателю гонорара.

Однако сердечной встречей Бунин тронут. Его встречала вся труппа Русского драматического театра, О. Лившина, Ф. Майкапар, М. Кривошапкин, Е. Тихоницкий.

Бунин поблагодарил собравшихся, сказал: будет счастлив познакомиться с Ригой, о которой слышал так много интересного и хорошего.

Остановился в гостинице «Рига» («Сегодня», № 119).

О делах и днях Бунина в Риге пространные воспоминания оставил сотрудник газеты «Сегодня» А. Перов¹. Однако, следует учитывать, что написаны эти воспоминания для публикации в советской печати, а Перов был уже «перевоспитан», возвратившись недавно из ГУЛАГа, поэтому можно предположить, что описание подчеркнутого недовольства приемами у Тентелиса и Друвы не совсем соответствуют действительности.

Перов же рассказывает, что Тентелис приветствовал Бунина по-латышски. Бунин обиделся, и когда Тентелис перешел на русский язык, Бунин упорно продолжал свой разговор по-французски, и Перов должен был слова Тентелиса переводить с русского на французский.

Недоброжелателен и отзыв о посещении Юлиуса Друвы. А посещение Кафедрального собора в воспоминаниях Перова выглядит очень бледно, о посещении Гребенщиковской моленной ничего не говорится.

В № 120 газеты «Сегодня» информация о публичных выступлениях Бунина – писатель рассказывал о своих встречах с Шалапиным, о Льве Толстом. Не забыл напомнить, что и Петр Пильский этими темами занимался.

«Ваш и наш блестящий критик-художник Петр Пильский на вечере памяти Шалапина, недавно устроенном у вас в Риге, конечно,

¹ Перов А. К. «Бунин в Риге», «Ученые записки Тартусского университета», вып. 154.

дал уже великолепную характеристику Шаляпина и поделился воспоминанием о своем друге. Тем не менее я позволяю себе остановить внимание на покойном великом артисте.»

«Послушать Бунина собралась вся Рига, – читаем дальше в информации газеты. В первых рядах писатель К. Скалбе, директор национального театра Янис Гринс, критик Артур Берзинь, видные латышские и русские деятели, руководители Русского театра, видные представители русского общества Риги. В зале заняты все места.»

3 и 4 мая – выступления Бунина с чтением своих рассказов «Сын», «Кавказ», «Про обезьяну».

«Эти рассказы, – пишет П. Пильский, – эти немногие часы, проведенные в общении с Буниным, его талантом, его живописными, умными произведениями, эти мимолетные промелькнувшие чары литературной власти и художественного обаяния останутся надолго в памяти. Бунин – отличный чтец. Прекрасные видения искусства возникали вчера...» (№ 123).

«Сегодня вечером» от 3 мая (№ 99) публикует фотоснимок: И. Бунин в гостях у корпорантов «Фратернитас Арктика». Рядом с писателем академик Н. П. Богданов-Бельский, профессор В. И. Синайский, художник М. С. Климов.

В этой же газете рассказывается о поездке Бунина со своими рижскими друзьями в Кемери (на автомобиле). Писателю очень понравилось взморье, дачный район. Новая гостиница в Кемери привела гостя в восхищение. По красоте и по благоустройству курорт и гостиница ни в чем не уступают лучшим европейским курортам.

В гостинице к гостю с приветственным словом обратился директор курорта доктор И. Либетис. В курортной библиотеке писатель на своих книгах поставил автографы.

Чествование Бунина состоялось в фойе Русского театра («Сегодня вечером», № 97). Среди участников были также К. Скалбе с супругой.

«Чествование носило очень сердечный характер и показало, насколько теплые чувства питают рижане к И. Бунину. Было ска-

зано много хороших слов, в которых звучали неподдельные нотки искренних и больших симпатий, большого уважения и благодарности за его приезд в Ригу и за достойное представительство русской культуры, в частности, русской литературы в иностранных кругах.»

В 18 номере журнала «Для вас», выпущенного в свет 1-го мая, во время пребывания Бунина в Риге, Петр Пильский в статье «Иван Бунин» попытался нарисовать его писательский портрет, дать характеристику его творчеству.

«Он холоден, замкнут, недоступен... Правда, Бунин не раз говорил, что для творчества нужны не опаляющий огонь, не жар и разгоряченность, а собранность и холод. Это суждение писателя о писательстве.

Но И. Бунин-человек сосредоточен. Он тот, кто знает себе цену. В своей жизни он много видел, путешествовал, наблюдал и, может быть, самой большой и тревожной его мыслью была неразгаданная вечность, этот мир преданий, велений предков, мертвые повелевают. [...]

Поездка Бунина по странам Балтии ожидалась давно. Скажу точно: лет пять. Предполагалось, что Бунин тотчас же после стокгольмских торжеств поедет обратно в Париж не через Гамбург, а побывает еще в Риге, Таллинне, Каунасе. Это удалось сделать только сейчас. Первый вечер – «Встреча с моими современниками», второй – «О любви». Все знают превосходные рассказы Бунина на эту тему – «Ида», «Солнечный удар», «Митина любовь», – рассказы о «радости ощущения божественной прелести человеческой души».

Но только в латышской газете «Zemgales balss» («Голос Земгалле») (5 мая) читаем высказывание Бунина о своих впечатлениях:

«В Риге и вообще в Латвии, так же как в других балтийских странах, я впервые. Ваша прекрасная столица удивила меня своим европейским характером. Еще больше меня поражает та стремительность, с которой здесь падают старые протухшие стены и возникают новые грандиозные стройки и просторные площади. Приятно чувствовать высокий уровень культуры этих стран и

своими глазами видеть, в какой великой чести и уважении в вашем государстве все отрасли искусства книги. Разные чувства во мне вызвали те факты, что мои книги вышли не только в Латвии, но и в Литве, и, коли я слышал, и в Эстонии на местных языках», – говорит писатель, держа в руках в красивых томах его роман, заслуживший Нобелевскую премию, «Жизнь Арсеньева» на латышском языке, изданный в 1933 году (то есть в год присуждения премии).

Еще собираюсь посетить Даугавпилс, – читаем в статье, – а для посещения Елгавы у меня больше не остается времени. Я слышал о пробуждении этой древней столицы герцогов к новой жизни и охотно хотел бы видеть прославленный дворец Растрелли, который теперь восстановлен и который теперь дополняют четвертым, самим Растрелли предусмотренным корпусом. Может быть, в свое время мне удастся удовлетворить это свое желание.

Из вашей страны увезу с собой самые лучшие воспоминания и прошу Вас передать мои приветы.»

Александр Фадеев (1901–1956)

Александр Фадеев как писатель известен и русским, и латышским ценителям литературы уже с 1933 года, когда рижский левый журнал «Virziens» («Направление») печатает его роман «Pēdējais udegietis» («Последний из Удэге»), а московские латыши издают его лучшее произведение – «Sakāve». С этого времени утверждается представление о писателе-реалисте, который не боится своим читателям раскрывать страшные картины неудач советской власти, все те ужасы и несчастья, которые приходилось выдерживать и выносить советским людям – и русским, и адыгейцам, – и всем другим подсоветским народам на пути к эфемерному недостижимому счастью построенного коммунизма.

И вдруг теперь при личной встрече в тот памятный день 14 июня 1941 года, когда у многих латышских писателей в ту варфоломееву ночь были похищены родственники и друзья, тот самый знаток боли и несчастья разгрома в многочасовой лекции учит латышских писателей тому, как надо писать «с позиций будущего»:

представить, чего нет, так искусно, чтобы читатель поверил, что оно есть на самом деле.

Латышские писатели, как вспоминает Аншлавс Эглитис в своей книге «Piecas dienas» («Пять дней»), недоумевают: как же надо писать? Но никто не рискнет задать этот провокационный вопрос сановному литератору. Наконец нашелся храбрец – Янис Плаудис (Jānis Plaudis), считающий себя уже совсем «советским» – ведь ему принадлежит честь переводить Маяковского. Он задает роковой вопрос Фадееву. Тот считанные секунды размышляет: что это, провокация? Смотрит на мирные лица других писателей, начинает хохотать, хлопает Плаудиса по плечу и изрекает вещи слова: «Писать надо так! Чтобы было хорошо!»¹

После войны Фадеев вместе с Твардовским частый гость Латвии, во дворце пионеров читает фрагменты «Молодой гвардии», которая многократно издается на латышском языке в 1947, 1953, 1970 годах в переводе Павилса Вилипса (Pāvils Vilips). Иллюстратор: М. Витолиньш.

В 1947 году в Театре юного зрителя режиссер В. Вецумниец ставит пьесу по роману (играли Э. Кронбергс, Г. Ковальская, Г. Пазушков).

Янис Судрабкалис захлебывается от восторга, восхваляя роман Фадеева:

«Роман Фадеева «Молодая гвардия» блистательно оправдал надежды читателей. Ясной большевистской мыслью одухотворена каждая страница книги. В каждой строке бьется горячее сердце патриота Страны Советов, гуманиста. Сильно и достоверно большой писатель представил глубинные пласты народной жизни в тяжкую годину военного лихолетья, показал самое сокровенное в советском характере. Своим романом Фадеев доказал, что при желании и таланте есть все возможности без пресловутой «дистанции» времени отобразить героику еще не отгремевших дней.»

В свою очередь и А. Фадеев не скупился расточать хвалебные слова Андрейсу Упитсу и его эпопеям.

¹ Eglītis A. «Piecas Dienas.», – Rīga: «Karogs-Prese nams», – 1992, – с. 189.

«Земля зеленая» и «Просвет в тучах» [...] дают такой глубокий – через все социальные пласты – разрез жизни латышского общества в важнейший исторический период его развития, что вряд ли можно переоценить их познавательное и художественное значение, и не только для латышского народа, а и для нас, русских, и для всех советских людей. [...] Я, как читатель, могу Вам ответить. Да, это правда. Вы вызвали в душе моей глубокий интерес и любовь к жизни Вашего народа, в которой я увидел – в особенном национальном выражении – то самое главное, большое и человеческое, что составляет содержание жизни каждого народа – и за это большое Вам человеческое спасибо.» (с. 376, 1953 год)¹

Великая Отечественная

Алексей Сурков (1899–1983)

Близость к латышам и Латвии у Алексея Суркова прежде всего – от жены Софьи Криевс, чудесным образом уцелевшей во время геноцида латышей в Советском Союзе (чекистка?).

Первые контакты с латышскими литераторами устанавливаются уже в 1929 году – с его первого выступления перед московской латышской писательской организацией.

В годы Великой Отечественной А. Сурков на Балтийском фронте. Здесь появляется ряд его стихотворений. Наиболее популярные из них:

Над хлебами битыми и мятыми
Облака белы и высоки.
Здесь когда-то малыми ребятами
Бегали латышские стрелки.
Здесь они, бездомные, батрачили,
Но не научились спины гнуть,
И отсюда, яростные, начали

¹ Фадеев А. «Избранные письма», собр. соч., Т. VII, Москва, – Худ. лит., – 1971, – с. 373–376.

Свой октябрьский легендарный путь.
С ними в ряд мы шли сквозь ветер бешеный,
И у приднепровских камышей
С нашей русской кровью братски смешана
Кровь неукротимых латышей.
Вдаль зовет пехоту поле ровное.
В той дали балтийская волна.
Снова в битвах наше братство кровное
Осеняет знаменем война,
Трудная дорога нами пройдена.
Мы у грани радости стоим.
Ныне снова все народы, Родина,
Собрались под знаменем твоим.
(1-й Прибалтийский фронт, 1944).¹

8 строф стихотворения «Ровесники» посвящено Михаилу Исаковскому. В нем такие «военные» строфы:

[...] Воет степь орудийным голосом.
Хоть бы к ночи примолкла малость!
Седина просочилась в волосы,
Подступила к сердцу усталость.
Нынче громы гремят за Люблином,
Под Варшавой, под Ригой где-то.
Сколько в юности недолюблено,
Недорадовано, недопето!.. [...]
Пусть дороги в эпоху новую
Не разведаны и опасны, –
Мы свою судьбу сквозняковую
Ни на что менять не согласны. (с. 441–442)

В другом стихотворении «Я пою победу» проводится мысль «сколько в битвах добыто славы!»:

¹ Сурков А. «Собр. соч. в 4-х томах», Т. I, – Москва: Худ. лит-ра, – 1978, – с. 433.

Это в сердце неизгладимо –
Каждый миг, каждый шаг вперед...
Над Латгалией крылья дыма
Тучей обняли небосвод.
Вплывь озера и вброд болота,
Под огнем ползком по земле.
С ходу с боем берет пехота
Меозерные дефиле. (с. 430)

В стихотворении «Короткий ливень прошумел в ночи» взаимоотношение природы и военных действий:

[...] И стало видно – бор стоит стеной,
Отражены в озерах хуторки,
Из-за холмов над Западной Двиной
Проносятся, как шквал, штурмовики.
Урчит недалёкий орудийный гром,
Не молкнет шум на желтых большаках.
Ворочаются танки за бугром,
Плывут понтоны на грузовиках.
Спешат стрелки на огневой рубеж,
Частит скороговоркой пулемет.
А ветер Балтики, порывист, свеж,
Соленой влагой лица обдаёт.
Недаром нам приснились корабли.
И белых чаек дальний перелет.
Настанет день – придем на край земли,
Морской водицей смоём пыль и пот. (с. 432)

Примечателен и дальнейший «послужной список» Алексея Суркова.

1946 год. Доклад о развитии советской литературы на Декаде лекций в филармонии.

1948 год. Содоклад Суркова к докладу Муйжниека на 12-м пленуме писателей СССР.

1950 год. Пленум Союза писателей Латвии. Участник пленума.
1952 год. Сурков на Межреспубликанском пленуме Союза писателей СССР в Дубулты.

1954 год. Сурков (с Кононовым и Рыленковым) на III съезде писателей Латвии. В декабре на II съезде советских писателей.

1955 год. Сурков на Декаде латышских писателей в Москве.

1958 год. Сурков (с Исаковским и Первенцевым) на IV съезде писателей Латвии.

1959 год. Сурков на III съезде писателей СССР докладывает о романе М. Бирзе (Miervaldis Birze) «И подо льдом вода течет», эпопеях А. Упитса, пьесах Г. Приеде, стихах В. Лукса, романах В. Лациса, литературно-критических статьях Я. Ниедре.

1965 год. Сурков открывает юбилейный вечер Райниса в Москве.

Яков Хелемский (1914–2003)

Кажется, ни у кого из русских писателей нет такого количества стихов, поэм, прозаических очерков о военных событиях на Прибалтийском фронте, о Латвии, ее природе, людях, боевых свершениях, как у Якова Хелемского, ученика Николая Ушакова, Павла Антокольского, Михаила Светлова, сотрудника редакции газеты «Суворовец», с которой он прошел всю Латгалию, взгорья и долины Видземе, полусожженные рижские форштадты, лесистые области Тукумса и Лиепаи.

Если Николай Тихонов, отступая, стремительно покидал каждый населенный пункт Латвии, еле-еле успевал написать о нем небольшое стихотворение, то длительные бои за каждый населенный пункт во время наступления Советской Армии давали Хелемскому возможность всмотреться в быт населения, страждущего от военных действий и разрушений.

«Мне здесь бывать не приходилось ранее», – так начинается глава «Ода Прибалтике»¹ Яков Хелемский в своей поэме «На тихом фронте» – это рассказ о работе корреспондента фронтовой газеты «Суворовец» (вместе с Ильей Сельвинским и Анатолсом Имерма-

¹ Хелемский Я. «Ода Прибалтике»: «Неприкосновенный запас», – Москва: Воениздат мин-ства обороны СССР, – 1965.

нисом) (Anatols Imermanis). Но затейливые, необычные названия латвийских местностей (поразившие в свое время воображение Михаила Кузмина) – Крустпилс, Прейли, Тилтагалс, Цесис – звучали для него причудливо, по-гриновски.

Вдоль Даугавы (Хелемский произносит «ау» не как дифтонг, а как сочетание двух самостоятельных гласных) двигались солдаты.

Все лето к Риге, к свежести морской:
Нам кланялись латгальские березки,
Развалины молчали у дорог.
И овевал пехоту встречный, хлесткий,
Смолистый прибалтийский ветерок. [...]
Мы шли сюда от Ржева и Торопы,
Мы у Пустошки начали прорыв... (с. 62)

Воины 2-го Прибалтийского фронта – и в их числе Яков Хелемский, – форсируют Лубанские болота, штурмуют «гребни Видземских высот».

Озера нежно называя «эзерс»,
И «свейке!» хуторянам говоря.
А люди выходили нам навстречу
И говорили «Здравствуйте!» в ответ.
Слиянье русской и латышской речи,
Сиянье лета, наступленья свет. (с. 62–63)

Новые наблюдения, новые пейзажи оставляли в сознании поэта неотразимые впечатления:

В глазах бессонных сосны отражались,
И валуны, и цвет озерных вод.
В них с чистой синевой перемежались
И рыжий дым, и прозелень болот,
В глазах сверкали то сполохи гнева,
То отблески большого торжества. (с. 62)

Примечательно сопоставление наблюдательным поэтом Латвии и Литвы: «которая была попроще, победней. Худые избы, крытые соломой, Распятыя на скрещениях путей. Ее местечки, сиротливо горбясь, Маячили, к шоссеикам прилепясь.» (с. 63)

Бок о бок с нами шел латвийский корпус,
Литовская дивизия дралась,
Мужали эти фронтовые части,
Разлучены с Прибалтикой, когда
Нас породнило общее несчастье –
Оставленные наши города. (с. 63)

Восторженно звучит гимн, воспевающий латвийский корпус как символ Латвии:

О Латвия! То был не просто корпус,
Он полноправно воплотил в себе
Ядро народа твоего. И гордость,
И цвет его. Верны своей судьбе,
Как все, в сукно шинельное одеты,
Идя с востока, от тебя вдали,
Твои министры и твои поэты
В соединенье воинском росли.
И преданы традиции, которой
Всегда стрелки латышские горды,
Они на русских снеговых просторах
Свои сердца сомкнули и ряды. (с. 63–64)

С позиций сегодняшнего дня эти восторженные строки, посвященные латышскому корпусу, воспринимаются весьма критически. Но в те годы эти вопросы трактовались иначе, и потому поэту нельзя ставить в вину то обстоятельство, что он и военные, и политические вопросы воспринимал так, как они трактовались в официальных документах и источниках.

Фронтальная газета «Суворовец» издавалась на девяти языках, в том числе и на латышском, информировала бойцов о ходе военных действий, мобилизовала на героические подвиги.

В это время появляются стихи Хелемского, повествующие о повседневной жизни бойцов. Это цикл «Мы шли к морю», «На хвое и клюкве настоян...», «Баллада о морской воде», «Голуби расхаживают сизые», «Широкое приморское шоссе», «Привал» и многие другие.

В поэтических зарисовках повествуется о том, как казахские, грузинские, узбекские, азербайджанские, армянские, латышские варианты этой газеты ожидалась и читались бойцами. Сотрудники газеты работали всю ночь напролет. Хелемский переводил литовские стихи, латыш переводил очерки самого Хелемского.

Для нас из огромного творческого наследия поэта особенно важны стихи, посвященные этапным событиям освобождения Латвии, такие, к примеру, как «Бой за Ригу»:

В ДЕНЬ ОСЕННИЙ

Входил я в этот город под огнем. [...]
Район прибрежный был и хмур, и тесен,
Клубилась в переулках полутьма,
Но молодели от гвардейских песен
Старинные ганзейские дома.
И жители, что прятались в подвале,
Навстречу выходили, осмелев [...] (с. 65)
Был праздник на центральной половине.
Район сражений превращался в тыл,
Но враг, еще державшийся в Задвинье,
По центру зажигательными бил. [...]
Но рвущимся снарядам вопреки
Рижане с москвичами целовались
Везде по эту сторону реки.
Еще дымился Дом Черноголовых,
Еще гостиница пылала «Рим»,
Но в небе кувыркался первый голубь,
Последними пожарами багрим. (с. 66)

Рижские впечатления отразились в стихах «Ганзейских улочек извивы», «В предместьях Риги вымершее гетто...», «Поезд на взморье», «Рига – Москва».

Хелемский попадает в Курземский котел. «Гитлеровское охвостье» пытается в Либаве погрузиться на корабли, чтобы бежать из Латвии. «Но порт блокирован. Он заперт с моря Балтфлотом. С суши батареи бьют.»

Одним из наиболее существенных событий, отразившихся в поэме Хелемского – бои за Тукумс. Передовые части так быстро продвигались вперед, что редакция еле-еле за ними поспевает:

[...] У часовни,
Где поутру свирепствовала буря,
Такой же тыл, как там на хуторке,
Покинутом связистами.
А мы ведь
Отсутствовали меньше двух часов. [...] (с. 74)
Бой идет за Тукумс,
Сжимаются железные тиски. [...] (с. 74)
[...] Въезжаем в город.
На разбитых стенах
Аляповатый выведен вердикт:
«Die Mauern brechen. Unsere Herzen nicht!»
Кругом развалины.
Лишь черный дрозд среди пустых развалин. (с. 77)

Опубликованы письма Хелемского периода борьбы за Тукумс. Хотя их форма прозаическая, но и здесь – стихотворная ритмическая организация текста.

«Дома последним штурмом сожжены. Безмолвие. Боев как не бывало. Внезапное начало тишины сильнее, чем вспышка огневого вала нас оглушила в мира первый час. Теперь мы свыклись постепенно с нею. Сплошная тишина ласкает нас, она все ощутимей и ясней.»

О своей «Тукумской кампании» Хелемский подробно рассказывает и в очерке об Илье Сельвинском, с которым автору поэмы

«На тихом фронте» пришлось делить и невзгоды, и горе, и радости последних месяцев войны.

«Тукумс не столица. Но бой, свидетелем которого я оказался, потребовал немалого напряжения. Все тут было – бессмысленное противоборство гарнизона, ожесточенные схватки на крутых улицах, дымные проломы в зданиях, орудийный огонь и пулеметные трассы, а в конце дня – белые флаги, выброшенные гитлеровцами в Тукумсе и по всей линии фронта.

Пока шел бой, город, где нам пришлось провести последний день войны, казался мне большим. Раскинувшийся на холме, он производил впечатление неприступного. Когда все утихло, выяснилось, что Тукумс невелик, что подъем к его центральной площади можно преодолеть пешком за считанные минуты, невзирая на воронки, битый кирпич и опрокинутые посреди дороги машины. Стены и узорчатые балконы здесь были уютно увиты плющом, вдоль тротуаров и в садах, как и на юге, росли каштаны и пирамидальные тополя. Оказалось также, что православная церковь и кирха, выглядевшие снизу монументальными, весьма скромны.

Вероятно, во время боя масштабы представлялись меньше еще и потому, что сами названия Тукумс и Либава, обозначающие крайние точки нашего фронта, без конца упоминавшиеся в военных обзорах, сводках, приказах, постепенно обрели для нас особую значительность. Да и само расположение Тукумса на скатах высоты превращало его в серьезную крепость.»

Чувство истории сопровождает Хелемского с победоносной армией и «на тихом фронте» в Курляндии.

В поэме Хелемского – картины капитулирующей германской армии:

Командующий входит. Все встают.
Он офицерам руки жмет: – С победой!
Мне кажется, что слышен стук сердец.
О сколько лет мечтали мы об этой
Минуте.
Наступила наконец! (с. 78)

Война окончена. Хелемский в Либаве (Лиепая).

И вот мы вышли на свободный берег,
На влажный, чуть утопанный песок.
Не уместаясь в точных дальномерях,
Необозримый горизонт высок.
Он растворился в майском чистом небе,
Серо-зеленый зыблется залив,
Несется к нам волны слепящий гребень,
Пучками света солнце отразив,
Салютом брызг причалы осыпая,
Торжественно вскипая белизной.

Либава, по-латышски Лиепая,
Ты на глазах становишься иной.
Воскресшая, расправившая плечи,
Ты над прибором на ветру стоишь, [...]
Вся в кронах, в гребнях черепичных крыш,
Вся в соли, в рыбьей чешуе, в мазуте,
В зюйд-вестке или в робе моряка. (с. 89)

О том, что побудило Хелемского написать эту поэму, ввести в русскую литературу не только Тукумс, но и Слоку, Даугавпилс, хутор Декшери, Лаудону и другие местности Латвии, рассказывает Хелемский в очерке об Илье Сельвинском.

Сельвинский, в свою очередь, дал высокую оценку стихам Хелемского.

«Это мог написать только тот, кто сам был на этом фронте и пережил «стыд» военного бездействия. Такой поэмы о войне я ни у кого не читал. Для того, чтобы сказать о наших тогдашних чувствах (...) нужно было немало мужества: ведь все наши поэты, даже едва нюхавшие пороху, изображали свое подразделение сверхгеройским, ну и, конечно, известный отсвет доблести падал и на них. [...]

Поэма написана в строго реалистическом стиле, с той суровой простотой, которая диктовалась самой темой.

Привлекает в поэме прежде всего широта диапазона. Одни поэты влюблены в природу, умеют ее изображать, но для них совершенно закрыт мир техники, другие совершенно глухи к природе, но хорошо чувствуют явления цивилизации. Хелемскому свойственно и то, и другое. В работе над пейзажем автор придает большое внимание культуре деталей.

Я все оглядывался на часовню.
В утреющем, как бы размытом небе
На островерхом куполе из цинка
Чернел смешной железный петушок.
Какая мирная картинка, не правда ли?
И вдруг подробность:
Над ним висело облако шрапнели.

И сразу с этой подробностью – в картинку врывается война. Так же война врывается в весну, и тоже с примечательной подробностью:

А птицы голос пробуют несмело,
Как будто состязаются с капелью.
То зазвенит синица, то в ответ
Хрустально зазвучит литая капля.
Она накапливалась постепенно
На самом кончике колючей ветки,
Потом неосторожно сорвалась.

Весна? Несомненно. Весна, собранная в капле. Но в капле же и... война.

И звякнула, разбившись о валун,
Как маленькая разрывная пуля. (с. 177–178)

В качестве бывшего конструктивиста я готов аплодировать этой великолепной локальности образа.

Таков у Хелемского военный пейзаж. Но современная война – это могучее богатство техники. Хелемский не обходит и этой ее особенности.

А в крытых кузовах –
боеприпасы,
Горючее, запчасти,
снаряженье.
Замаскированные
мокрой хвоей
В своих чехлах брезентовых
«катюши»
Подтягиваются к передовой.
А по рокадам, рокоча,
проходят
«Тридцатьчетверки»,
бронетранспортеры,
Тяжелые орудья –
самоходки.

Могут сказать, что это перечисление непоэтично, так как всем этим машинам не дается образных характеристик. Замечание на первый взгляд серьезное. Однако, поэзия в эпических вещах всегда пользовалась перечислениями, ибо они, расширяя общую картину, наполняют действие размахом. [...] (с. 179)

Но Хелемский поступил правильно, отказавшись от этой игры <ритма>: страшная проза боевых машин, подчеркнутая белым стихом, звучит в поэме гораздо сильнее рифм и музыки. Я вспоминаю движение танков в Седьмой симфонии Шостаковича; какое в них невыносимое однообразие и в то же время какая, благодаря этому, жуткая мощь. Не следует забывать, что в понятие эстетики входит не только красота, но и безобразие, если оно оправдано. Не знаю ничего более отвратительного, чем зрелище выпотрошенного трупа в картине Рембрандта «Урок анатомии», тем не менее, картина эта – великое искусство.

Я рад отметить художественную удачу поэмы Хелемского. Но я воспринимаю ее не как читатель, а как боец того же тихого фронта. [...]

Да. «Тихий фронт». Второго такого не сыщешь, пожалуй, в истории всех войн.

О нас Москва не сообщает в сводках,
Безвестны мы в тот знаменитый год. [...]

Здесь каждая строка, каждое слово режет бритвой. И пусть обыватели утешают нас: «Вы – баловни судьбы. Вы вернулись с ногами, руками, с глазами...» – меня это утешить не может; эпопея-то эта не написана и никогда написана не будет.

Конечно, Хелемский переживал те же страдания, что и я. Но темпераменты у нас разные, разное восприятие поэзии, и он нашел выход, которого не нашел я. Он понял, что держать в «котле» 300 000 вражеских штыков, не выпуская ни одного из них на защиту Берлина, – не меньший подвиг, чем любой штурм. И он сказал об этом просто и сильно.»¹

Вновь Хелемский посетил Латвию в 1978 году. И это посещение ознаменовалось новым циклом стихотворений: «Взморье», «Конец сезона», «Окно», «Прибалтийский триптих».

Эти стихотворения как бы перекликаются с военным циклом – особенно тогда, когда в стихах звучит осеннее, бушующее море («Взморье», «Конец сезона»). А там, где лазурь моря в час покоя («Окно»), – оно напоминает то ли картины Айвазовского, то ли Рокуэлла Кента.

Более чем оригинален «Прибалтийский триптих». Вильнюс в сознании Хелемского символизируется Пятницкой церковью, в которой Петр крестил Ганнибала, переулком Пилес, связанным с Мицкевичем, кварталами, в которых жили Чюрленис и Янка Купала. Вильнюс – это Антакальнис или Антоколь, который дал имя знаменитому скульптору, и Острая Брама и костел святой Анны и башня Гедимины на Замковой горе.

¹ Сельвинский И. «Я буду говорить о стихах», – Москва: «Союз писателей», – 1973, – с. 176–181.

Таллинн для Хелемского – это башни «Кик-ин-де-Кёк» и ресторан «Кянну Кукк», и яхты около Прибрежного клуба, Олевисте и Нигулисте.

А Рига – это детальное описание трубочистов и их романтического труда.

Остается только удивляться, что ни одно из столь дружественных стихов Хелемского не переведено на латышский язык.

Илья Сельвинский (1899–1968)

Илья Сельвинский известен латышам уже с 1929 года по статье постоянного информатора латышских читателей о русских советских писателях Г. Левина «Krievu vārda kultivētājs» («Культивирующий русское слов») (Даугава, с. 1139 и след.). Но писать о Латвии он стал только в годы Великой Отечественной, создавая актуальную для того времени трагедию – «Ливонская война».¹

Цель создания пьесы – доказательство исторического права России на Ливонию. В этом смысле особенно примечательна речь Иоанна – ответ на обоснование Геннингом прав немецких крестоносцев на Ливонию:

Тому уж лет 600, как Ярослав
Поставил город Юрьев, ну и прочье...
Ты в хроники-то ваши погляди.
А вы себе, немецкие монахи,
Состряпали какой-то вшивый Орден
Да к нам и влезли. Благо-де Батый
Повоевал нас. А какое право
За Орденом на эти земли? А?
Возьми хотя наречье латышей:
По-русски – «волк», а по- латышски – «вилкс»,
«Береза» – «берз». А липа так и вовсе
Чуть-чуть не то же: «лиепа». Слыхал?
А как все это будет по-немецки?

¹ Сельвинский И. «Ливонская война», – Москва: «Искусство», 1946.

Какое-нибудь, верно, «пфакен-кракен».
О чем сие нам говорит? Сие
Нам говорит о том, что наша людь
Издrevле обитала в тех угожьях.
И те угожья – наши искони,
И нам самим – вот по сих пор потребны! [...] (с. 31)

Хотя бы вы сидели тихо, смирно...
Так нет же! Только и глядите, как бы
Московии поруху учинить.
Я выписал из Лунда пушкарей –
Не пропустили. Лекарей голландских –
Не пропустили. Это что ж такое?
Вы, немцы, на краю моей державы
Вскочили, точно чирей на носу.
А мне-то как? Терпеть? Ты что молчишь-то?
Терпеть?

У автора не было компетентного консультанта немецкого языка, который втолковал бы Сельвинскому о неудачно выбранных лексических примерах. Ведь все эти слова – однокоренные с латышскими и русскими: «Wolf», «Birke», «Linde».

Сельвинский – сотрудник газеты «Суворовец», присутствовал при капитуляции дислоцированных в Курляндии гитлеровских войск, что и отражено в его стихотворении «Кандава».

Все в стихотворении примечательно.

Описание природы.

Вот река
по имени Абава. Голубая,
она через неделю стала б красной.
Березовая рощица под ней –
она из белой черною бы стала.

И далее:

Опять блеснула сизая Абава,
еще не ставшая кровавой. Снова
пошли навстречу белые березы...
И вдруг открылся мокрый, как палитра,
огромный, яркий, луговой плацдарм,
где в три ручья текла струя ромашки,
несущая запекшиеся пятна
кровавых маков.

Описание Кандавы.

И, наконец, Кандава – городок,
Который бы через пятнадцать дней
остался лишь в оперативной сводке.

Признаки недавней гитлеровской оккупации:

На первой же стене большого дома
окликнул, точно голос часового,
готическими буквами девиз:
«Sieg oder Tod!» По улочке шагали
под барабан и пикколо солдаты,
карикатурно отбивая шаг.
Фашистский офицер на курц-галопе
с ленивым видом их окинул взглядом
И, угадав «тотальников», брезгливо
ленивый взор свой перевел на нас.

«Хулиганство» Сельвинского.

У капитана, что стоял на стыке
двух батальонов, – нарукавный знак.
То был щиток из бронзы, на котором
я разглядел чеканку очертаний
расстрелянного Крыма.
Боже мой!
На нем оттиснут пунктом «Симферополь.»

(Я там родился.) «Симферополь!» (Здесь
Я обучался воинскому делу.) [...]
Я сам не помню, как это случилось...
Я, как лунатик, подошел к нему
И посмотрел в глаза [...]
«Ver zeihen Sie, Herr Hauptman!»
говорю
со всевозможной вежливостью в тоне,
и, ухватившись пальцами за Крым,
Я потянул щиток и вырвал. С шерстью!
[...] «В чем дело?» – обернулся генерал.
Но, увидавши на ладони бронзу,
С любимыми моими городами,
Он усмехнулся: «Землячка нашел?»
А «Землячок» стоял передо мной,
Не зная, как держать себя. [...]
Ему, должно быть, бешено хотелось
рвануть из кобуры свой черный «вальтер»,
или клыками впиться мне в кадык,
или хотя бы выругаться!!

Картина о контактах Сельвинского с Латвией была бы неполной, если бы не назвать посвящение его коллеге по газете сотруднику Анатолсу Имерманису – автору стихотворения «Поэзия – это любовь».¹

[...] Я знал одного латыша,
Уже пожилого лирика.
Он, Латвией милой дыша
Слегка походил на клирика.
Он был монахом слова
В келье утонченной лирики,
Он был им предан весь,

¹ Имерманис А. «Поэзия это любовь»: «Неделя», – 1967, – № 39, – с. 24.

Точно святой религии.
Но вдруг на его пути
Встретилась девушка русская.
Голубая. Русая.
Ангел во плоти.
И вспыхнула в ней душа,
И снова все чувства юны!
У славного латыша
Взыграли трубы и струны.
Но дева не слушает их,
Сидя у моря в пальтишке...
Рифмы доходят, но стих
Сработан-то по-латышски. [...]
И мастер поник от бессилья,
Ужели выхода нет?
Но вдруг сквозь латышский сонет
Дыханье пронзила Россия –
И вот от строки до строки
Прорезалась русская песня...
Как плохи стали стихи,
Зато какова поэзия!

Александр Твардовский (1910–1971)

Хотя Александр Твардовский присутствовал на съездах латышских писателей и в 1941, и в 1947 годах (в памяти рижан остались его выступления с чтением «Василия Теркина» в 1947 году) – он все же своими военными стихами, очерками, воспоминаниями принадлежит Литве.

С Латвией его связывает только большая дружба с Мирдзой Кемпе, которой он на своих книгах оставил несколько стихотворных экспромтов, вроде таких: «Чтобы песнь о счастливой земле неслась бы по белу свету».

Мирдза Кемпе, в свою очередь, ответила ему стихотворением, которое в переводе Л. Романенко звучит так:

Травы сочны и высоки,
А на них блестит роса.
По утрам поет коса
Возле дома у дороги.
Дом гудит. И с далью даль
Обнялась. И весел Теркин...
Ты, поэт мою печаль
В тяжкий час години горькой
Облегчил... С твоей душою
Мне расстаться не дано.
Нет твоей душе покоя,
Ей молчать не суждено –
И найти ей бесконечность
В тех столетях, что грядут!
Этой жизни быстротечность
Пусть на тризне отпоют.
Пусть росой трава сверкает,
Та, что у могил растет,
Но в тебе родной народ
Даль за далью открывает.¹

¹ Кемпе М. «Избранное», – Москва: «Худ. лит», – 1982, – с. 133–134.

НАША СОВРЕМЕННОСТЬ

Самуил Маршак (1887–1964)

Самуил Маршак появляется в Латвии, как только она становится советской (в 1949 году), выступает с чтением своих стихов в школах и пионерских лагерях. Пожилой литератор неоднократно лечится в Кемерском санатории, живет и работает в только что созданном Доме отдыха в Дубулты, где читает свои стихи находящимся там артистам МХАТа.

Сохранились воспоминания Маршака этого периода, в которых он с благодарностью говорит о своих днях и делах в Кемери и Дубулты.

«В прошлом году я написал в книге отзывов Дома отдыха:

Я Дубулты щедрей бы похвалил,
Будь в этом доме более чернил.» (1949)

«Здесь [в Дубулты] стихи читаются по-другому, восторженно. Еще бы – чистое небо, сосны, морской воздух, веселый народ, а написанные стихи нужно прочитывать в строгой будничной обстановке, придиричиво.»

«Здесь очень спокойно, тихо. Для меня чересчур тихо. Сейчас затопили печки, и я впервые за много лет с удовольствием смотрел, как горят дрова» (письмо 17 июня 1949 года Т. Г. Габбе); «Я почти все время за работой. Перевел, написал два своих стихотворения – «О ней поют поэты всех веков» (письмо 24 мая).

Из воспоминаний С. Маршака (1948 г.)

Однажды, С. Маршак увидел раненую сосну. Его реакция была такова:

«Место дальше, тень, сплетение кустарника, густая некошенная трава... На отутюженных дорожках парка такое инвалидное дерево не оставили бы. А я бы ни за что не спилил! Надо прикрепить

табличку: «Пострадала во время войны». Придут люди, придут наши дети, внуки и увидят – война уничтожает красоту природы, уничтожает все, что человек создает, выращивает годами, десятилетиями.» (с. 442–443)

«Какая яркая зелень! Это хорошо, что Вы любите природу. В таком лесу каждая тропинка живое, хорошее существо... Прекрасный лес. И птиц, сколько птиц!»

Существуют сведения, что С. Маршак, особенно в свой дубултский и кемерский период, интенсивно изучал латышский язык, который пригодился бы ему в его творческой деятельности.

Автограф Маршака, подаренный директору санатория «Кемери» А. А. Музыканту:

Любитель басен, эпиграмм
И поучительных историй
Я говорю директорам
Всех прибалтийских санаторий!
«Отличный в Кемери курорт,
Как говорится, первый сорт,
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в Музыканты не годитесь».

Главный вклад Маршака в развитие русско-латышских литературных контактов – его бурная переводческая деятельность в области латышских народных песен.

Высокое качество его переводов можно продемонстрировать хотя бы на таком примере:

Латышский оригинал

Mellas kājas arājam
Zelta kanna rociņā;
Tumša nakts zvejniekam
Sudrabs spīd laiviņā.¹

Перевод Маршака

Черен пахарь в день рабочий,
Золото в его руках,
Пусть черны рыбацьи ночи –
Серебро в их челноках.²

¹ Barons Kr., Visendorfs H. «Latvju dainas» («Латышские дайны»), – № 28265.

² Маршак С. Собр. соч. в 8 т. Т. IV., – Москва: «Худож. Литература», – с. 212 (далее: собр. соч).

Одну и ту же песню, перевели Маршак и Г. Горский.

Спи, усни, мой медвежонок,
Мой косматый, косолапый,
Батька твой ушел за медом
Мать пошла лущить овес
Скоро батька будет с медом,
Мать с овсяным кисельком.¹

Ай-я, жу-жу – медвежата,
Косолапые ребята.
Как ходил отец за медом,
Мать по ягоды ходила.
Полон был горшочек с медом,
Да полно лукошко ягод.²

Переводами Маршака не все специалисты, литературные критики были довольны, его попрекали введением таких образов, которых нет в оригиналах, например, оленей. Но ведь «олени» были и у Ремизова!

Отвечая на эти нарекания Мирдзе Кемпе – куратору переводчиков, Самуил Маршак разъяснял свою переводческую теорию:

«Я увеличил количество строк в «Медвежонке» не из пристрастия к многословию, а потому, что иначе перевод вышел бы у меня суше, чем оригинал. Я потратил несколько строчек на то, чтобы сплести медвежонку колыбель из сосновых, из еловых, из березовых ветвей. В эпиграмматических четверостишиях я сознательно допустил рифму. Иначе – мне показалось – четверостишие будет на русском языке расплывчатым, незапоминаемым.» [письмо к М. Кемпе 25.02.54]³

Свои чувства к Латвии, латышам Маршак выразил в стихотворении «Латвийским друзьям»:

Давно я не был в стройной Риге
У Даугавы на берегу,
Но в сердце у себя и в книге
О вас я память берегу.
Из песен вашего народа,

¹ Перевод С. Маршака (т. IV, 1969, с. 208).

² Перевод Г. Горского.

³ Музей истории литературы и искусства. Кемпе. 76–19.

Где столько радости и слез,
Как золотые капли меда
С собой я несколько увез.
Пересказал я песни эти
И склад и лад их сохранил,
Чтоб и у нас читали дети
Про серебро рыбацъей сети
И золото латвийских нив.¹

Николай Асеев (1889–1963)²

В Москве на углу Страстного бульвара собрался весь цвет московской латышии – недавние беженцы, недавние латышские стрелки. Это было 11 апреля 1922. В Центральном латышском клубе проводился вечер поэтов-лефовцев (ЛЕФ – Левый фронт Искусств).

Стихи Асеева получили всеобщее одобрение латышей.

После русского мастера выступали его ученики – левофронтовские стихотворцы Биезайс (Biezais), Скультиниш, Швалбе, Ронис.

Дебют латышских лефовцев критика не поддержала. По едкому замечанию Вилиса Кнориньша в газете «Kļievijas Sīņa», – 1923, № 72, – ЛЕФ и КРЕФ – это блефы. Только открывателям новых поэтических материков Маяковскому и Асееву воздается должное...

О Латвии, Риге, латышах Н. Асеев был наслышан задолго до ЛЕФа. Один из источников – беседы поэта с Максимом Горьким³ о том, как бурлила баррикадная Рига в Пятом году. И об «удивительном народе – латышах». О Райнисе. О янтарном море и сонях на его берегу. Рижане оказывались в горьковском кругу и за пределами Латвии: в Москве, Нижнем Новгороде, на Капри. В асеевской статье 1916 года «Из разговоров с Горьким», упоминаются юные рижанки: общению с ними нижегородские купцы на всероссийской ярмарке отдавали решительное предпочтение. «И

¹ Маршак С. Собр. соч. Т. V., – Москва: «Худож. Литература», – с. 256, 667.

² Крупников Г. «Николай Асеев», «Пролетарская правда», – 1941, – № 75.

³ Асеев Н. «Из разговоров с Горьким», Собр. соч., Т. 5, – Москва: Худ. Лит., – с. 292 и след.

полюбоваться-то на них – удовольствие. И разговоры рассыпать занятно. И в вальсе покружиться любо-дорого.»

Июнь 1941 года. Первый приезд Николая Асеева в страну латышей. «Bīvais Zemnieks» (1941 № 72) и «Сīņa» (1941, № 140), русские периодические издания печатают статьи о наиболее заметных явлениях в творчестве стихотворца – поэмах «Двадцать шесть», «Семен Просканов», «Маяковский начинается», книге стихов «Ночная флейта».

Во время войны из писем Асеев узнавал о черных днях Риги и Лиепай, Даугавпилса и Елгавы. Сергей Наровчатов пишет ему:

«С тех пор, как я писал Вам, сменилось много стран и наречий. Эстонский поход, буйный и праздничный, я начал у стен старого университетского города и окончил на берегах Рижского залива. Потом судьба провела меня через много земель, где попеременно меня вели стихи Райниса и Гиры, Янки Купалы и Франко...»

Идут первые послевоенные месяцы. Н. Асеев в Дни творчества на Рижском заливе. И денно и ночью переводит пьесу Райниса «Вей, ветерок!» Об этом рассказал Юлийс Ванас: «С драмой «Вей, ветерок!» Николай Асеев знакомился вдумчиво, напряженно. То и дело возвращался к прочитанной строфе.» Завершен перевод, подписан редактором А. Саксе (Anna Sakse) в набор. Латышские рецензенты заметили в переводе неоправданные отклонения от оригинала.

Одновременно свет увидел перевод этой пьесы, выполненный Юрием Абызовым.

Оба перевода были сопоставлены, и оказалось: ½ перевода Асеева заслуживает всякого одобрения, ½ выполнена неадекватно. У Абызова же эта вторая половина переведена идеально, но воспользоваться лучшей половиной асеевского перевода Абызов не мог, поэтому старался придумать что-то другое, что не всегда оказывалось удачным. Поэтому для школьного изучения (в русских классах) был создан «идеальный текст», в котором были объединены и абызовские, и асеевские удачи. Этот «идеальный» перевод предполагалось опубликовать в учебниках латышской литературы в русских классах.

На балтийском берегу рождались и чеканные романтически устремленные строфы о янтарном крае. В труднообозримом стиховом пространстве, наполненном Балтийским морем, Латвией и любовью к ней, взморский цикл Николая Асеева – «Латвия», «Сосны над заливом», «Сборщица водорослей», «Лиелупе», «Взморье» – не потерялся, не канул в лету.

Страна молока и меда
И странствующих облаков,
Осанистого народа –
Рабочих и рыбаков,
Чьи взоры и жесты степенны,
Достоинством важным полны,
Где чайки, как клочья пены,
Срываемой ветром с волны.
(«Латвия»)

Ночи суровые, длинные,
Млечный чуть брезжит свет...
Сосны стоят старинные,
Каждой – полтысячи лет...
(«Сосны над заливом», с. 303)¹

Рыская, сверкая и мерца,
Море шепчет сказки старины...
Это – не царевна ли морская
Век свой доживает у волны?!
(«Сборщица водорослей», с. 305)

Реке Лиелупе, волне Лиелупе
в разлуке с заливом не быть,
в своем устремленьи она не отступит
волну с его волнами слить.
(«Лиелупе», с. 306)

¹ Асеев Н. Собр. соч. Т. IV, – Москва: Худож. Литература, – 1964, с. 302.

Сквозная тема русской поэзии 30–40-х годов – взаимопонимание, сотрудничество разноплеменных людей. Об этом Н. Асеев находит свои слова:

С тех пор как шар земной наш кружится,
Сквозь вечность продолжая мчаться,
Великое людей содружество
Впервые стало намечаться.
(Т. IV, с. 148)

Приметы многовекового дружества, духовного родства, сходство в бытовом укладе видит поэт у русских и латышей:

... давность привычек латвийских
Соседствует с миром славян –
в березах и соснах ветвистых,
в задумчивой шири полян.
(«Латвия»), (с. 302)

Единение, общность родились не сегодня и не вчера. Об этом поэт говорит по-своему, по-асеевски, и его мысль, его интонацию смешать ни с чем нельзя:

Где – раньше чем скручен и скован
был цепью баронской народ,
он близок и дружен был Пскову,
а Псков был свободы оплот.
(«Латвия»), (с. 302)

Другой мотив – былое, увиденное сквозь призму настоящего. Сосны, которые из века в век что-то «шепчут друг другу по-латышски», города «в звоне лютень», закованные в латы «железнолицые рыцари», всемогущий «архиепископ из Бремена», ночные стражники с секирами, простолюдины и господа – все эти ландшафтные детали Балтии, мгновенные персонажи, тесные средневековые улочки создают выразительную ливонскую мозаику.

Поэт хочет, чтобы уроки истории для людей России не проходили бесследно. Потому-то, когда на сердце наваливается «злоба, тупа, угрюма, низколоба», то «глухую эту ношу» любой – во имя согласия народов – предназначен, чего бы это ему не стоило, сбросить, освободиться от тяжкого, опасного бремени.¹

Особый строй и тон взморскому циклу Николая Асеева придают реминисценции из латышского устно-поэтического творчества:

Где шелковый шорох залива,
В котором, сняв золото лат,
Купается нетерпеливо
Сияющий медью закат.
(«Латвия»), (с. 302)

Или:

Каждый вечер я глядела,
Как там Сауле заходила
В золотую лодочку.²

И еще:

Сауле поздно вечером
В золотую лодку села...

Не только ведро, ясный дневной свет, не только «шелковый шорох залива», «сильные плечи» Лиелупе сообщают асеевскому циклу неизъяснимую прелесть. Во взморских его стихах привлекают свежестью, незаемностью и краски иной тональности: «темные длинные ночи», «низкое, с наплывом туч небо», «сумрачные зори», «глухой ропот сурового сырого моря», над неоглядной водой – «туча, синя, сурова, сверкуча»...

Асеевская прогулочная тропа ведет к «соснам, воспетым Райнисом», с их огромными оголенными торсами, «смолистыми соками – слезами из янтаря». Великолепен в этом краю мир пернатого царства: милое «сообщество ласточек» занято повседневными

¹ Дом творчества. – «Сов. Молодежь», – 1975, 13 июля.

² Перевод латышских народных песен.

своими заботами, выют свои гнезда «ширококрылые аисты». Тревожит душу «утренняя песня дрозда, в небе сверкающая, переливающаяся». Пчелы, муравьи, стрекозы в этом радостном, сверкающем мире «трепещут, блестят, пляшут».

Первые отклики на взморскую лирику Н. Асеева помечены июлем 1948 года. Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, в письме к Н. Асееву¹ одобрительно отзываясь обо всем цикле, предлагает по-другому назвать заглавное стихотворение (в первой публикации – «Страна латыша»): «Латвия звучит красиво, спокойно и даже торжественно. А «Страна латыша» почему-то нет. Вам не кажется?» А. Эфрон заводит разговор и о стихотворении «Сосны над дюнами»: «Сегодня я тоже неподалеку от Рязани видела сосны... Они, наверное, такие же, как те, о которых Вы писали. В любую погоду верхушка стволов точно облита солнцем, а низ – охвачен тенью. И когда их, сосен, много, то распространяют они какую-то особую тишину, как в готическом храме. И будь они северные, рязанские или латвийские – воскресают в памяти Юг и Запад.»

Асеев прислушался к совету просвещенной своей читательницы и в печати озаглавил стихотворение по-иному – «Латвия».

В 1955 году в Москве проходила декада латышской культуры. Николай Асеев был благодарным, заинтересованным слушателем на вечерах поэзии. Размышлениями, вызванными днями Латвии в России, поэт решил поделиться с читателями Риги и Елгавы, Лиепайи и Цесиса. Газета «Literatūra un Māksla» в декабрьском номере (№ 50) напечатала асеевское стихотворение

«Я славлю твою культуру, Латвия»:

Близка мне культура, рожденная на Янтарном берегу,
Привет твоим полям и рощам, Латвия.
Поэтам и художникам – привет!
Строителей, формовщиков прозрачного стекла
и рыбаков я славлю,

¹ Николай Асеев, – Москва, – 1990, – с. 421.

Мне милы женщины – сборщицы водорослей на взморье,
И те, что ходят за бодливыми телятами.
Мне дорог строгий вид нынешней Риги –
Ее силуэт высечен на почерневшей от времени бронзе.
Город поднялся из пепла и
навсегда остался в памяти людской.
(Подстрочный перевод Б. Инфантаева)

В юбилейные дни Н. Асеева в 1974 году журнал «Karogs» («Карогс») (№ 7, с. 191–193) выступил со статьей о русском поэте. Латышам он оказался близким, своим.

Константин Паустовский (1892–1968)

Паустовский встретился с Латвией только в 1955 году, но полюбил ее страстно всем своим сердцем и душой. Что поразило писателя в природе, людях Латвии? Об этом он поведал в эссе «Первая встреча»¹:

«Я хочу говорить о поэзии, наполняющей эту республику – удивительной поэзии Юга и Севера, слившихся здесь воедино.

В чем Север?

В затуманенных далях, в чистых красках, в бледных, но великолепных закатах над Рижским заливом. В спокойствии людей, в русых девичьих косах, в улыбках серых глаз, в молчаливых лесах и древнем воздухе Риги.

А Юг – в звонком неудержимом смехе женщин, во влажных морских ветрах, в цветах, что не отцветают всю зиму в латышских домах, в ярких разноцветных печах, в самом колорите жизни.»

«Прелесть латвийской зимы, – особо выделяет эту тему писатель в рассказе о первой встрече, – заключается в том, как бы странном, пожелтевшем снеге, в этой серебряной мгле, в каком-то особенном уюте этой зимы, когда навстречу ей трещат каминны и возникают под шум огня детские сказки и взрослые сны.»

К первым впечатлениям можно отнести и те беглые зарисовки, которые запечатлели быструю поездку автомобиля через Латвию.

¹ Паустовский К. «Рассказы, очерки и публицистика, статьи и выступления», – Москва: «Художественная литература», – 1970, – с. 281.

«Машина тронулась. Дорога вышла к морю.

В прозрачной воде лежали огромные валуны. Вода была тонкая, как стекло. На шестах сушились сети. Даль поблекла, – на нее медленно надвигался вечер. Хвойной стеной стоял замолкший лес.

В маленьком рыбацьем поселке зажигались огни. На крыле дощатого дома сидела овчарка и ревниво вглядывалась в залив – ждала хозяина.

Вспыхнув, рассыпался звоном и тотчас умчался назад, за машину, женский смех.

Вот бы остаться здесь! Но машина уже пронеслась через поселок и врезалась в туман. Он шел с залива. Редкие огни сторожевых домов тлели в тумане, как угли.

Под Ригой в полночь туман сошел, и сотни огней, перебегая, начали путать перед нами карту незнакомого города.

Мы въехали в широкую улицу и остановились под тенью деревьев. В ушах еще долго гудел дорожный ветер.

В Риге гостиницы были переполнены. Пришлось остановиться на взморье в закрытом на зиму доме отдыха в Дубултах. Нам отвели один из флигелей в глубине парка, прибрали его и протопили.

Мои спутницы целые дни проводили в Риге, я же с наслаждением оставался в безлюдных Дубултах, в гулком и светлом доме.

Есть своя прелесть в опустевших дачных поселках. Недаром покинутые дачи были даже предметом литературы. Вспомните хотя бы осенние фонтаны над Одессой в «Гранатовом браслете» Куприна.

Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле.

Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него – несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбу чешую.

Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря.

Пески перемыты прибоем. На них ничего не осталось от многолюдного и шумного лета. Валяется только промокшая обертка

от «Беломора» да обрывок афиши о концерте тенора Александровича.

Пляж отдыхает. Крошечные сосны смело выглядывают из песчаных нор. Там они прятались летом, боясь, что их затопчут.

Почему-то эти заброшенные дачи вызывают воспоминания о юношеской любви, гимназистке со слезами на глазах, ее потерянной ленте, молчаливой разлуке. В воспоминаниях этих нет горечи! Они приходят, как улыбка. И вместе с ней уходят.

Дубулты расположены на узком перешейке между заливом и рекой Лиелупе. Можно пойти к реке. Плавным поворотом она подходит к поселку. Вдалеке виден лес, откуда Лиелупе льется широко и полноводно. Вдоль берега проходит железная дорога, и полупустые электрички мерно несутся по ней, покрикивая сиренами.

Снова тишина. Потом доносится неясный ропот волн, – с моря задувает ветер.

Дни стоят короткие. Свет иссякает. Солнце идет к западу, прижимаясь к земле.» («Ветер скорости. Из путевого дневника.»)¹

1957 год. Паустовский в Дубултском Доме творчества.

«Я живу в маленьком доме на дюнах, – так начинается рассказ «Надпись на валуне» (о нем дальше!), – рассказ из знаменитой книги Паустовского «Золотая роза».² – Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то поднимает занавеску и осторожно следит за тобой.

¹ Паустовский К. Ветер скорости. Собр. соч., Т. VIII, – Москва: «Худ. лит.», – 1967, – с. 278–279.

² Паустовский К. Собр. соч., Т. III, – Москва: «Худ. лит.», – 1967, – с. 297.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На ней видны следы зайцев.

Когда на море поднимается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара Юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем беглые косматые полосы – там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика – в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.» («Надпись на валуне», с. 297–298)

О пребывании Паустовского в Доме творчества, о делах и днях его в Дубулты сохранилось много воспоминаний.

М. Бауман, директор Дома творчества писателей рассказывал¹:

¹ «Советская молодежь», – 1972, – № 107.

«Константин Георгиевич много работал. Он не любил шума, искал уединения и даже в столовой держался обособленно, был углублен в себя. Но при всем при том Паустовский был человеком удивительно общительным. Он умел незаметно вызвать на разговор, легко и незаметно сделать другого своим собеседником.

Писатель чрезвычайно интересовался историей революционного движения в Латвии. Он часто и подолгу расспрашивал Юлия Ванаса о латышских стрелках, читал книги об истории Латвии. Побывал он на могиле Райниса, осмотрел Братское кладбище. Строгая красота парковой архитектуры, весь этот торжественный ансамбль восхитили Паустовского.

– Как жаль, что сейчас не лето и не осень! Все это надо было бы смотреть осенью, – говорил он. Сигулда не произвела на писателя особенного впечатления, зато Рига его пленила. Он исходил город, как говорится, вдоль и поперек.

Уезжая, в книге отзывов Паустовский оставил такие строки: «За полтора месяца сделал столько, что в Москве для этого понадобилось бы не меньше восьми месяцев». И еще: «Мною в Дубултах были написаны... рассказ «Ночной дилижанс», и две статьи – о Пришвине и Фридрихе Шиллере».

О пребывании Паустовского в Дубулты, «похождениях» в Риге красочные зарисовки оставил нам его друг Эмиль Миндлин, который в феврале 1957 года сопровождал писателя в этой поездке.¹

«По пути от нашего дома в столовую у фонтана белого дома мы обыкновенно сворачивали с дорожки в сторону, чтобы полюбоваться на белок. Стояли втроем – Паустовский, Гранин и я – перед белкой на ветке, в двух шагах от нее, и, улыбаясь, смотрели. Белка перепрыгнет с ветки на ветку – взглянет на нас и прыг на другую и снова на мгновение застынет. И опять новый прыжок – и взгляд на нас, взгляд – и прыжок». (с. 448)

«Однажды о поэзии мы заспорили с ним даже в бане. Не о поэзии вообще, а о поэзии Фета. [...] В жарко натопленной баньке, в пару и клочьях мыльной пены, когда терли друг другу спины,

¹ Миндлин Э. «Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний», – Москва: «Сов. писатель», – 1979, с. 422–431.

он вдруг стал читать фетовские стихи. Мыльная пена хлопьями срывалась с моей мочалки, шлепалась на мокрые стены, пузырчатыми белыми струйками стекала на шашечки пола. [...] Дочитав, Паустовский спросил, люблю ли я Фета?» (с. 449). Но оказалось, что Миндлин предпочитает Тютчева. «Фет не помогал осмыслить жизнь, как Тютчев». – «Но ведь Фет – изумительный поэт!» – настаивал Паустовский. Миндлин не уступал: «Тютчев прекрасен, потому что мудр. Но Фет мудр, потому что прекрасен. В мудрости – красота. Но ведь и в красоте своя мудрость!»

«Для Паустовского неприемлемо противопоставление художника-философа художнику «чистому». Раскрывая красоту мира, художник тем самым решает нравственную задачу, стало быть философскую». (с. 450)

«С утра мы долго бродили по Старому городу, осматривали амбары XVI века и, когда выходили на площадь перед собором, Паустовский повторял латинские строки католических молитв. Он хорошо помнил латынь. [...]

Мы уселись в самом затененном углу, отдыхая после прогулок по городу и католических служб в старинных соборах с серебряным песнопением органов. Мы находились под впечатлением этих служб, и, вероятно, поэтому заговорили о судьбах христианской проповеди любви и добра. Подействовала ли на совесть людей двухтысячелетняя христианская проповедь? Стали ли в нравственном отношении современные нам народы христианской религии выше и совершеннее, чем были их пращуровы две тысячи лет назад?

Увы, две тысячи лет проповеди всепрощения, любви к ближнему своему и добра не сделали людей нравственно благороднее. Люди и христианских цивилизаций становятся все неуживчивей, злее, жесточе [...]. И это в мире, создавшем многовековое искусство, полное образов христианства! Ведь величайшее из всего, что в прошлом создано живописью, музыкой, литературой, скульптурой, архитектурой насыщено христианскими образами любви, добра, всепрощения! Но почему, почему же великие творения гениев нравственно не преобразили людей? Я спрашивал Паустовского,

не означает ли это, что даже самое великое искусство не в состоянии преобразить нравственную сущность людей? [...]

«— А как знать, какими были бы люди, если бы эти образы искусства не оказали на них влияния? — спросил Паустовский, хмураясь». (с. 452–453)

«— А откуда вы знаете, не были бы люди так называемых христианских цивилизаций еще безнравственнее, если бы в свое время на них не влияли Рембрандт, Шекспир, Достоевский, Бах?» (с. 453)

«— Если бы мне пришлось отвечать на вопрос: во что неизменно свято верил Константин Паустовский, я бы, не задумываясь, ответил: в преобразующую силу искусства! И быть может, прежде всего литературы. Вероятно, поэтому он так бескомпромиссен в суждениях об искусстве, с такой последовательностью на протяжении всей своей писательской жизни отстаивал чистоту, честность, прямоту и нежную суровость долга художника — совесть художника!» (с. 451–452)

Константин Паустовский, живя в Доме творчества рядом с русской средней школой, не мог не завести большой дружбы с учителями и учениками. Вплоть до того, что ученики два года получали бесплатное питание за счет гонораров, вырученных Паустовским от своих концертных выступлений. В школе он и перед всем коллективом и в отдельных классах давал консультации начинающим авторам. Писатель любил фотографироваться. И вот эти фотографии, автографы Паустовского и другие материалы о нем были собраны учениками в альбом. Но когда литературоведы в 70-е годы хотели познакомиться с этим альбомом, оказалось, что ни новый директор школы, ни завуч, ни учитель-словесник даже не знали о существовании этого альбома, а сама создательница оказалась в Афганистане...

Тем не менее, кой-какие воспоминания удалось собрать и в школе, и в Дубултской библиотеке.

Ирма Карловна Коренева, библиотекарь Майорской детской библиотеки вспоминала:

«Слушателям его выступлений в библиотеке запомнилось, что уже в 15-летнем возрасте будущий писатель начинает пробовать

свои литературные возможности, чтобы познать людей часто менял вид работ и занятий. Так появились его замечательные «Кара-Бугаз», «Колхида».

Оля Клягина, ученица, пишет о том, как создавалась главная книга Паустовского – книга размышлений о пути тернистом и нелегком, ведущем в мир писателя.

Лена Щелконосова рассказала о тех концертах, выручка от которых пошла на нужды малоимущих школьников.

Паустовский во время пребывания своего в Дубулты не только охотно встречался со своими почитателями, но и сам проявлял в этом отношении определенную инициативу.

Так, в сопровождении И. Соколовой и А. Курцийса он посетил дом писателя Робертса Селиса (Roberts Sēlis), дом, построенный целиком самим хозяином.

Латвийская тема, представленная в «главной книге» Паустовского – «Золотой розе», которая является как бы слитком его морально-эстетического кредо, особенно ценна для нас двумя очерками-эссе: «Надпись на валуне» и «Старик в станционном буфете».

Первая начинается небольшим лирическим отступлением об уютной и комфортабельной жизни Паустовского в Дубулты. Затем автор мысленно с читателем переносится к знаменитому памятнику всем погибшим в морской пучине морякам.

«Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбацкий поселок. Обыкновенный рыбацкий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытасченными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салажкой. И также, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно.

Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих же товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело – опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

– Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдаются и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпитафией к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Второе, интригующее нас, произведение «Старик в станционном буфете».

«Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбацкой куртки.

Вместе со стариком пришла белая лохматая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

– Пети! – тихо позвал старик. – Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. [...]

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

– Просишь, стерва? – спросил он. – А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

– Что же это вы, гражданин! – сказал молодой человек. – Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

– Ну и отмочил, Валька! – крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

– Пети, не смей! – крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели. [...] – Не смей брать у них ни крошки! [...]

Все же у старика нашлись какие-то мелкие деньги, и он смог собачку угостить бутербродом, а сердобольная буфетчица прибавила от себя еще один бутерброд.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности – без того, что собака всем своим видом извинилась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности – неумело заштопанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги, с прилипшим к ним сором из кармана, да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее». (с. 406)

Паустовский, кажется, принадлежит к тем немногочисленным писателям, которые вызвали целый шквал ответных стихотворений, отзывов, воспоминаний, эссе, очерков.

Борис Куняев посвятил ему целое стихотворение «Человек в лесу»,¹ в котором отмечал:

На снегу то крестики, то лапки –
Вышивка – за строчкою строка.
Человек в лесу в мохнатой шапке,
С добрыми глазами лесника.

Аида Бумане (Aida Būmane) опубликовала стихотворение «К. Паустовска piemiņai» («Памяти К. Паустовского»)

Tās rozes noziedēs	Эти розы отцветут
Un paliks kaili ērkšķi,	И останутся голые шипы.
Bet visām pāri	Но повсюду
Zili sniegi snigs	Синие снега идут,
Un vārdi apklusīs,	И снова слова умолкнут,
Jo būs zem sniega,	Потому что под снегом,
Un dziesmas apklusīs	И песни умолкнут
Jo būs zem sniega,	Потому что под снегом,
Un sirds un bēdas apklusīs. [...]	И сердце и беды замолкнут. [...]

Лайма Ливена. Paustovskim («Паустовскому») (1968)²

Aizauļo vasaras zirgi	Ускачут летние кони
Pāri tomātiem, pāri rozēm,	Над томатами, над розами,
Aizauļo vasaras zirgi	Ускачут летние кони
Kā dzeltenas saulgiezes nozied.	Когда желтые подсолнухи
	отцветут.

¹ Куняев Б. «Человек в лесу. Верность», – Рига: «Лиесма», – 1975, – с. 25.

² «Literatūra un Māksla», – 1968, № 48, – с. 3.

*Анатолс Имерманис*¹

[...] Он дописал последний стих,
И люди шепчутся: «Затих!»
А он, живее всех живых,
сквозь время и пространство
пишет.

Проанализировать и оценить влияние К. Паустовского на развитие латышской литературы – нелегкая задача будущего. Здесь приводим отдельно выхваченные отзвывы.

И. Сирмбардис: «Самая неприметная тропинка, едва примечаемый всплеск озерной волны, пригреваемый солнцем серый валун обретают у Паустовского неизъяснимую прелесть, умеет же он заглянуть и в самые отдаленные уголки человеческой души».²

В. Бельшевица (переводчица «Золотой розы»): «Созданный Паустовским обычный повседневный мир подчас напоминает мне ландышевые поляны, но верхний слой этой поляны, однотонную зелень, мастер смело раздвигает и поражает читателя бесконечным множеством красок, ритмов. И, оказывается, земля и люди вокруг нее прекрасны до боли. В этом я убедилась, когда переводила «Золотую розу».³

Имантс Зиедонис: «Паустовский говорил, что у писателей есть внешняя и внутренняя биография. И это у каждого человека. Внешнюю может рассказать любой, внутреннюю – лишь немногие».⁴

Горячий отклик К. Паустовского вызвал фильм Рижской киностудии по его «Северной повести» в 1961 году.

В письме Е. Андриканису 4 марта автор повести писал:

«Впервые я всмотрелся в игру Иевы Мурнице, и она просто пленила меня своей непосредственностью и девичеством, на которые лег такой трагический груз. Хорошо! Если у Вас есть ее адрес,

¹ Имерманис А. «Рига-Москва», – Рига: «Лиесма», – 1969, – с. 93–94.

² S. J. «Zelta rozēs kalējs» («Кузнец золотой розы»): – «Literatūra un Māksla», – 1962, 2 jūn.

³ «Slīdošais stars» («Скользкий луч»): – Padomju jaunatne», – 1967, – 31 maijā.

⁴ Курземите, Рига: – «Лиесма», – 1976, – с. 111.

то пришлите его мне, пожалуйста, – я хочу написать ей маленькое благодарное письмо».

Из стенограммы выступления К. Паустовского на обсуждении фильма «Северная повесть»:

«Меня очень взволновал фильм. Я давно не перечитывал свою «Северную повесть». Фильм трогательный и гуманный. Очень хорошо подобраны актеры. Анна – искренняя и трогательная. Такую Анну я себе и представлял, когда писал повесть».

Паустовский не оставил без внимания тему Рижского гетто.

Великий гуманист, посетивший в 1955 и 1957 годах Ригу и взморье, не мог остаться равнодушным к еврейскому геноциду во время гитлеровской оккупации, хотя эта тема как-то осталась «за кадром» исследований по сравнению с популярностью «Золотой розы». В «Повести о жизни», в разделе «Начало неведомого века», в очерке «Крик среди ночи» – рассказ некоего латыша, услышанный одним латышским писателем (по всей вероятности, Имерманисом – Б. И.) и поразивший Паустовского пересказом этого страшного, и в то же время примечательного события.

«– Вот слушайте, – сказал старик. – Я живу на окраине Риги. Перед войной рядом с моим домом поселился какой-то человек. Он был очень плохой человек. Я бы даже сказал, он был бесчестный и злой человек. Он занимался спекуляцией. Вы сами знаете, что у таких людей нет ни сердца, ни чести. Некоторые говорят, что спекуляция – это просто обогащение. Но на чем? На – человеческом горе, на слезах детей и реке всего – на нашей жадности. Он спекулировал вместе со своей женой. Да... И вот немцы заняли Ригу и согнали всех евреев в гетто с тем, чтобы часть убить, а часть просто уморить с голоду. Все гетто было оцеплено, и выйти оттуда не могла даже кошка. Кто приближался на пятьдесят шагов к часовым, того убивали на месте. Евреи, особенно дети, умирали сотнями каждый день, и вот тогда у моего соседа появилась удачная мысль – нагрузить фуру картошкой, «дать в руку» немецкому часовому, проехать в гетто и там обменять картошку на драгоценности. Их, говорит, много еще осталось на руках у запертых в гетто евреев. Так он и сделал. [...] Ночью он нагрузил свою фуру

мешками с картошкой и поехал в Ригу, в гетто. Часовой остановил его, но, вы знаете, дурные люди понимают друг друга с одного взгляда. Он дал часовому взятку, и тот сказал ему: «Ты глупец. [...] У них ничего не осталось, кроме пустых животов. И ты уедешь обратно со своей гнилой картошкой. Могу идти на пари».

В гетто он заехал во двор большого дома. Женщины и дети окружили его фуру с картошкой. Они молча смотрели, как он развязывает первый мешок. Одна женщина стояла с мертвым мальчиком на руках и протягивала на ладони разбитые золотые часы. «Сумасшедшая! – вдруг закричал этот человек. – Зачем тебе картошка, когда он у тебя уже мертвый! Отойди!». Он сам рассказывал потом, что не знает, – как это с ним тогда случилось. Он стиснул зубы, начал рвать завязки у мешков и высыпать картошку на землю! «Скорей! – закричал он женщинам. – Давайте детей. Я выведу их. Но только пусть не шевелятся и молчат. Скорей!» Матери, торопясь, начали прятать испуганных детей в мешки, а он крепко завязывал их. Вы понимаете, у женщин не было времени, чтобы даже поцеловать детей. А они ведь знали, что больше их не увидят. Он нагрузил полную фуру мешками и детьми, по сторонам оставил несколько мешков с картошкой и поехал. Женщины целовали грязные колеса его фуры, а он ехал, не оглядываясь. Он во весь голос понукал лошадей, боясь, что кто-нибудь из детей заплачет и выдаст всех. Но дети молчали.

Знакомый часовой заметил его издали и крикнул: «Ну что? Я же тебе говорил, что ты глупец. Выматывайся со своей вонючей картошкой, пока не пришел лейтенант».

Он проехал мимо часового, ругал последними словами этих нищих евреев и их проклятых детей. Он не заезжал домой, а прямо поехал по глухим проселочным дорогам в леса за Тукумсом, где стояли наши партизаны, сдал им детей, и партизаны спрятали их в безопасное место. Жене он сказал, что немцы отобрали у него картошку и продержали под арестом двое суток. Когда окончилась война, он развелся с женой и уехал из Риги».

Евгений Евтушенко (1932–2017)

Первый раз имя Евгения Евтушенко в латышской печати в 1959 году. Оярс Вацетис в газете «Literatūra un Māksla» (28 февраля) рассуждает о наметившейся тенденции придавать большое значение мелким практическим вещам, маленьким человеческим делам. Сходно поступают В. Бельшевица, Евтушенко в стихотворении «Хозяйка». Сближение с латышами началось в 1967 году, когда поэт впервые в Риге с московским Театром на Малой Бронной ставит свою «Братскую ГЭС».¹ Об этом Лия Бридака в газете «Literatūra un Māksla» (1967, 8 июля): зовет рижан в зал спортивного манежа (900 мест), который не мог вместить всех желающих слушать стихи Евтушенко. Поэт не смог удовлетворить всех желавших получить автограф.

Л. Бридаке он сказал: «Я осознаю, что я нужен. И радуюсь этому. Особенно потому, что рецензенты меня баловали. Они говорят о недостатках моей лирики». Уже в этой беседе Евтушенко рассказал о дедушке-латыше, об отце-поэте.

Столь же обстоятельно рассказал о дебютах Евтушенко в Риге Янис Петерс (Jānis Peters) («Звайгзне», 1967, № 15).

В «Братской ГЭС» целый внушительный фрагмент посвящен рижскому гетто, о котором рассказывает диспетчер света Изя Крамер, бывший узник этого гетто.

«[...] Проволока рижского гетто
надвое меня разодрала.
Оба Изи в этой самой коже.
Жарко одному, другой дрожит.
Одному кричат: «Здорово, кореш!» –
а другому: «Эй, пархатый жид!»
И у одного, в тайге рождаясь,
просят света дети-города,
У другого к рукаву прижалась
желтая несчастная звезда.

¹ Евтушенко Е. «Братская ГЭС», – Москва: «Сов. писатель», – 1967, – с. 194–199.

Но другому на звезду, на кепку
сыплется черемуховый цвет,
а семнадцать лет – они и в гетто,
что ни говори, семнадцать лет.
Тело жадно дышит сквозь отрепья
и чего-то просит у весны...
А у Ривы, как молитва ребе,
волосы туманны и длинны.
Пьяные эсэсовцы глумливо
шляются по гетто до зари...
А глаза у Ривы – словно взрывы,
черные они, с огнем внутри.
Молится она окаменело,
но молиться губы не хотят,
и к моим, таким же неумелым,
черные, по воздуху летят!
И, забыв о голоде и смерти,
полные особенным, своим,
мы на симфоническом концерте
в складе продовольственном сидим.
Пальцы на ходу дыханьем грея,
к нам выходит крошечный оркестр.
Исполнять Бетховена евреям
разрешило все-таки эс эс.
Хилые, на ящиках фанерных,
поднимают скрипки старички,
и по нервам, по гулящим нервам
пляшут исступленные смычки.
И звучат бомбежки ураганно,
хоры мертвых женщин и детей,
и вступают гулко и органно
трубы где-то ждущих нас печей.
Ваша кровь, Майданек и Освенцим,
из-под пианинных клавиш бьет,
и, бушуя, – немец против немцев, –

Людвиг ван Бетховен восстает!
Ну, а в дверь, дыша недавней пьянкой,
прет на нас ээсовцев толпа...
Бедный гений, сделали приманкой
богом осененного тебя.
И опять на пытки и на муки
тащит нас куда-то солдатня.
Людвиг ван Бетховен, чьи-то руки
отдирают Риву от меня!
... Наш концлагерь птицы облетают,
стороною облака плывут.
Крысы в нем и то не обитают,
ну, а люди пробуют – живут.
Я не сплю, на вшивых нарах лежа,
и одна молитва у меня:
«Как меня, не мучай Риву, боже,
сделай так, чтоб Рива умерла!»
Но однажды, землю молчаливо
рядом с женским лагерем долбя,
я чуть не кричу... я вижу Риву,
словно призрак, около себя.
А она стоит, почти незрима
от прозрачной детской худобы,
колыхаясь, будто струйка дыма,
из кирпичной лагерной трубы.
И живая или неживая –
не пойму... Как в сон погружена,
мертвенно матрасы набивает
человечьим волосом она...
Рядом ходит немка, руки в бедра,
созерцаая этот страшный труд.
Сапоги скрипят, сверкают больно
сапоги новехонькие. Жмут.
«Эй, жидовка, слышишь, брось матрасы!
Подойди! А ну-ка помоги!»

Я рыдаю. С ног ее икрестых.
стягивает Рива сапоги.
«Поживее! Плетки захотела!
Не порви чулок! – И в грудь пинком, –
А теперь их разноси мне, стерва!
Надевай! Надела! Марш бегом!»
И бежит, бежит по кругу Рива,
спотыкаясь посреди камней,
и солдат лоснящиеся рыла
с вышек ухмыляются над ней.
Боже, я просил ей смерти, помнишь!
Почему она еще живет!
Я кричу, бросаюсь ей на помощь,
мне товарищ затыкает рот.
И она бежит, бежит по кругу,
падает, встает, лицо в крови.
Боже, протяни ей свою руку,
навсегда ее останови!..
Боже, я опять прошу об этом!
Милосердный боже, так нельзя!
Солнце, словно лагерный прожектор,
Риве бьет в безумные глаза.
Падает... К сырой земле прижалась
девичья седая голова.
Наконец-то вспомнил бог про жалость,
Бог услышал, Рива: ты мертва... [...] (с. 198)

Знает Изя: много надо света,
чтоб не видеть больше мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звезд, примерзших к рукавам.
чтобы над евреями бесчестно
не глумился сытый чей-то смех,
чтобы слово «жид» навек исчезло,
не позоря слова «человек»! (с. 199)

Ива́нов день в 1967 году Евтушенко провел в знаменитом передовом колхозе «Лачплесис». И результат этого посещения – типично евтушенковское стихотворение «Венок»¹ (опубликовано в 1969 году).

В лесу владычествовал Лиго –
латышский древний праздник – либо
сам, в стельку пьян, лукавый Пан,
шаля, под юбки лезли рожки.
Светились лунные дорожки
столов на зелени полян.
Все танцевало, пило, пело,
и плюхалась пивная пена
на папоротники шипя.
Мне рай – с отрепьем и с охвостьем,
но я – увы! – был важным гостем,
а важный гость есть род шута.
Меня за грудки кто-то тискал,
и за салфеткой кто-то рыскал,
а кто-то лучший стул волок,
То было иго, а не Лиго,
и в довершенье кто-то лихо
надел на шею мне венок –
и хрустнул шейный позвонок.
Венок, который был мне даден,
как круг спасательный, громаден,
меня душил весьма умно.
Он, сволочь, мне зажав дыханье,
сам источал благоуханье,
как ароматное ярмо.
И я сидел, глупейше важен,
губами женщин обпомажен,
в венке, как полный идиот,

¹ Евтушенко Е. «Стихотворения и поэмы», Т. II, – Москва: «Сов. Россия», – 1987, – с. 209–210.

и мне пихнул сосед радушный,
как жирный палец добродушный,
сосиску розовую в рот.
Как я хотел в лесу полночном
скакать животным безвеночным,
от скуки почестей спастись.
Будь я козлом, венок бы слопал
и с милой козочкой потопал
на травке вместе попасться!
В ста юбках, как кочан капустный,
одна прелестница искусный
мне ножкой делала намек.
Но как в порыве благотворном
прижаться к этим пышным формам?
Ведь к ней прижмусь не я – венок.
Через костер, справляя Лиго,
с веселым визгом кто-то прыгал,
а я собою еле двигал,
неповоротливый, как сом.
Как совершить прыжок победный,
когда на шее моей бедной
венок – тяжелым колесом?
Сдавили глотку мне тисками
вериги эти с лепестками.
Их разорвать – кишка тонка,
но, полный ловкости природной
(как Мартин Иден, вновь свободный,
иллюминатор пароходный)
пыхтя, я вылез из венка!
Не надо бредить славой, мальчик,
когда стихи несешь в журнальчик
или героем стать готов.
Ты поберег бы шею, право...
Я знаю, что такое слава:
она – ошейник из цветов. (1969)

К тому времени выходит в переводе Я. Петерса «Sloku pārli-dojums» («Тяга вальдшнепов»)¹, а также сборник стихов Евтушен-ко. Рецензент Янис Плотниекс («Literatūra un Māksla» 21 декабря). Заслуга Петерса в воссоздании основной мысли стиха и подтек-ста, в стремлении передать и ритм, и рифму, и аллитерации, и ас-сонансы и метафоры.

Пример такого удачного перевода:

В двух карих зрачках пригвождено
два Пушкина мертвых лежат.

Перевод

Acu zilēs kā pienagloti в глаз зрачках как прибиты
divi miruši Puškini guļ. два мертвых Пушкина лежат.

Сквозь вас, петербургские пурги,
он видит свой рок впереди,
еще до мартыновской пули,
с дантесовской пулей в груди. [...]

Перевод

Savu likteni iepriekš viņš zina. Свою судьбу заранее он знал.
cauri vētraī to saredz un dzird – сквозь бурю увидеть и слышать –
Vēl pirms lodes, ko raidīs Martinovs, Еще до пули, посланной
Krūtīs Dantesa lode tam ir. [...] Мартыновым.
В груди Дантеса пуля у него.

Дитя сострадания – муза,
но ненависть – нянька ее.²

Перевод

...mūžu piedzemdē līdzcietība, музы рождают сострадание,
mūžu izauklē naid. (с. 21–22) музы нянчат ненависть.

¹ Рига: «Лиесма», – 1968.

² Собр. соч., Т. I, – Москва: «Худ. лит.», – 1983.

Другой пример мастерства – отход от сюжета, чтобы приблизиться к идейно-художественной сущности.

Палачи понимали прекрасно:
Тот, кто мучится, – тот баламут.»
Муки совести – это опасно.
Выбьем совесть, чтоб не было мук.
(«Муки совести»)¹

Bendes saprata – ne jau pa jokam
«Тас, kurš mocās, tas dzelzi rīt kals»,
Sirdsbalss mokas ir bīstamas mokas,
Nokaut sirdsbalss – mokām lai gals.

Перевод

Палачи понимали – не на шутку
«тот, кто страдает, тот железо завтра будет ковать».
Голоса совести муки, опасные муки,
Убить голос совести – мукам придет пусть конец.

Валдис Киканс («Karogs», 1971, № 1) оценивает переводы Петерса еще выше, чем Плотниекс.

Хрестоматийным Евтушенко становится в 1975 году, когда Агис Скалбергс включает «Братскую ГЭС» в учебник по литературе для техникумов. Здесь снова упоминается латышский дедушка поэта.

В 1982 году наконец Евтушенко выполнил свое обещание, данное уже в самый первый свой приезд в Ригу – рассказать о своем латышском происхождении. Сделал он это в поэме, написанной на исключительно актуальную тему: «Мама и нейтронная бомба».²

Само это удивительное повествование стало также «нейтронной бомбой» и для читателей Евтушенко и для исследователей русско-латышских культурных связей, поэтому приводим его полностью.

¹ Евтушенко Е. «Стихотворения и поэмы», Т. I, – Москва: «Сов. Россия», – 1983, – с. 76.

² Евтушенко Е. «Мама и нейтронная бомба», – Москва: «Сов. писатель», – 1986.

Анна Васильевна Плотникова,
мать моего отца
фельдшерица, в роду которой
был романист Данилевский.
работала с беспризорниками
и гладила по голове
рукой постаревшей народницы,
возможно, Сашу Матросова.
Рудольф Вильгельмович Гангнус,
отец моего отца,
латыш-математик,
соавтор учебника «Гурвиц-Гангнус»,
носил золотое пенсне,
но строго всегда говорил,
что учатся по-настоящему
только на медные деньги.
Дедушка голоса не повышал никогда.
В тридцать седьмом
на него
повысили голос,
но, говорят,
он ответил спокойно,
голоса собственного не повышая:
«Да,
я работаю в пользу Латвии.
Тяжкое преступление для латыша...
Мои связи в Латвии?
Пожалуйста – Райнис...
Запишите по буквам:
Россия,
Америка,
Йошкар-Ола,
Никарагуа,
Италия,
Сенегал...»

Единственное, что объяснила мама:
«Дедушка уехал.
Он преподает
в очень далекой северной школе».

И я спросил:
«А нельзя прокатиться к дедушке на оленях?» (с. 39–40)

Как же Гангнус превратился в Евтушенко? Об этом также с предельной четкостью рассказывается в поэме.

До войны я носил фамилию Гангнус.
На станции Зима
учительница физкультуры
с младенчески ясными спортивными глазами,
с белыми бровями
и белой щетиной на розовых гладких щеках,
похожая на переодетого женщиной хряка,
сказала Карякину,
моему соседу по парте
«Как можешь ты с Гангнусом этим дружить,
пока другие гнусавые гансы
стреляют на фронте в отца твоего?!»
Я, рыдая, пришел домой и спросил
«Бабушка,
разве я немец?»
Бабушка, урожденная пани Байковска ответила: «нет»,
но взяла свою скалку,
осыпанную мукой от пельменей,
и ринулась в кабинет физкультуры,
откуда,
как мне потом рассказывали,
слышался тонкий учительшин писк,
и бабушкин бас:

«Пся крев,
ну а если б он даже был немцем?
Бетховен, по-твоему, кто – узбек?!»
Но с тех пор появилась в метриках у меня
фамилия моего белорусского деда.
Мой отец
Александр Рудольфович Гангнус
не носил никакой комсомольской кожанки
и более того –
вызывающе носил галстук,
являвшийся,
по мнению общественности,
«буржуазной отрыжкой» на шею.

«За что был однажды чуть не исключен из Геологоразведочного института. Об этом отец рассказал, смеясь, когда его в середине семидесятых не пропустили в ресторан «Советский» именно из-за отсутствия «буржуазной отрыжки» на шее».

Поэма, а именно это автобиографическое вкрапление, потребовала литературоведческого истолкования сочетания личного с общезначимым.¹

Драматизация поэмы в переводе Андриса Вазниса (Andris Vaznis) поставлена в Лиепайском театре.

Рассказ поэта об этом очень важен и своевременен. Ведь и раньше незнание этих весьма необычных фактов приводило к различным толкованиям. Так, Зента Мауриня, зная о том, что в жилах Евтушенко течет латышская кровь – этим она объясняла лиричность и гуманизм его лирики – и, учитывая его нелатышскую фамилию, называла латышкой его мать, которая, однако, таковой никогда не была.

Кстати, двоюродный брат Евгения – Александр и по сей день носит фамилию Гангнус.

Евгения Евтушенко с Латвией роднят и другие его публикации, выступления.

¹ См. Сидоров Е. «Литературное обозрение», № 12.

В 1983 году, прощаясь с Оярсом Вацietисом (Ojārs Vācietis), Евтушенко писал:

«Я никогда не забуду, как мы вместе с Оярсом Вацietисом в день поминовения мертвых ходили по рижскому кладбищу. Здесь и там мерцали свечи как миниатюрные дорические колонны, которые поставили руки латышей, вспоминая все на удивление прекрасное, что дала эта замечательная страна, и вспоминая все внутренние и внешние трагедии, которые пронесли над страной.

Когда я получил эту потрясающую весть об уходе моего современника, я как бы почувствовал каплю растаявшего воска, которая обожгла мою ладонь. Жалко, что мы с ним многое о чем не успели переговорить в тот вечер на кладбище, когда язычки огоньков кружились вокруг нас в своем трагическом танце.

Но возможно, что общий мировой язык искусства формирует язык множества таких видимых и невидимых огоньков свеч, я думаю, сегодня вопреки фатальному различию народов Планеты само существование мировой многоязыковой литературы является символом потенциального единения существования многоязыковой литературы человечества. Ояр Вацietис трудился, видя этот еще далекий день. И возможно, чтобы уменьшить расстояние между этим днем и будущим, он отдал те свои невозвратные неиспользованные годы короткой жизни». [перевод с латышской публикации]

В 1985 – юбилейном райнисовском году Евтушенко – лауреат премии Райниса. В своем слове о Райнисе («Ригас Балсс», 19 сент.) Евтушенко, между прочим, отмечал: «Присуждение премии для меня знаменательно еще и потому, что этой же премии удостоен мой любимый поэт Александр Чакс. Его поэзия созвучна времени, в котором он жил, и времени, которое за ним не угналось.

Меня связывает давняя дружба с латышскими писателями, с Оярсом Вацietисом. По печальному совпадению в последний раз мы виделись с ним на кладбище, когда ставили свечи к могиле Райниса. И вот мне теперь пришлось побывать на могиле Ояра... К нему идут и идут школьники, молодежь, пожилые люди. Его любят и помнят. Цветы, цветы... Как на могиле Есенина на Ваганьковском кладбище...

Для меня, русского поэта, большая честь получить премию имени великого формирователя самосознания латышского народа...»

Постскрипtum прозвучал лишь в романе Зигмундса Скуиньша (Zigmunds Skujiņš) «Jātņieks uz lodes» («Всадник на ядре») (1996, с. 142).

«Влияние Евтушенко, Рождественского, Вознесенского в начальной поэзии Вацietиса раскрывается недвусмысленно. В том факте нет ничего предосудительного».

Глубокое же, академическое изучение влияния Евтушенко на латышскую поэзию начато Валдисом Кикансом (Valdis Ķikāns) в его монографии и ждет дальнейшего продолжения.

Андрей Вознесенский (1933–2010)

После завершения архитектурного образования поэт получает назначение на работу в Латвии. Здесь архитектором он не стал, тем не менее, Латвия стала его второй родиной. В своем первом интервью о литературных пристрастиях поэт рассказал:

«Очень люблю стихи Чака. Это, конечно, великий поэт. Его книга, переведенная на русский, стала событием для нас. Мне близка поэзия В. Бельшевицы, О. Вацietиса. Впрочем, мне кажется, в Латвии вообще нельзя писать плохо, здесь удивительный какой-то микроклимат поэзии, здесь как-то само пишется, кажется, за тебя пишут облака и взморье. Я рад, что именно здесь написал «Треугольную грушу», я слышал, с каким успехом прошли недавние вечера великолепных поэтов И. Зиедониса (Imants Ziedonis) и М. Чаклайса (Māris Čaklais)».¹

Имя Вознесенского в библиографии Ояrsa Вацietиса упоминается не особенно часто: в 1961 году Вацietис переводит «Оду сплетникам» Вознесенского, в 1968 году – «Раз в годы силы мы...». Вознесенский Вацietиса не переводил. Тем не менее, высокую оценку творчеству Вознесенского Вацietис давал неоднократно.

Напрочно вошел Вознесенский в литературу Латвии своим стихотворением «Осень в Сигулде» (1961 год), в 1963 – «Возвращение в Сигулду».²

¹ «Советская молодежь», – 1959, – 25 февраля.

² «Возвращение в Сигулду» // Вознесенский А. Собр. соч. в 3-х томах, Т. I, – Москва: «Худ. лит.», – 1984, – с. 180–182 (далее: собр. соч.)

О том, что значила в эти годы Сигулда для Вознесенского, читаем в одном его письме: «Опять я попал в Сигулду. Ты не представляешь, сколько дает эта летняя лесная чистота, глубина природы, как враждебна мишура и суэта».

Большие чувства Вознесенского к тому «второму», неназываемому, громко звучат в его строфах:

.. я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо.
как легкое озерцо.
(«Возвращение...»)

Образ Сигулды, воспоминания о ней преследуют поэта, не дают покоя, проникают и в другие стихотворения:

А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,
зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.
... в орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия.
(«Лирическая религия»)¹

Не меньшее впечатление на молодого поэта оставило неоднократное пребывание на Рижском взморье в Лиелупе, на даче своего друга Мариса Чаклайса. Впечатления этих дней привели к созданию целого ряда стихотворений.

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности – от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
До иглоукальвания, до иглоукальвания...

¹ Собр. соч., I, с. 335.

Вденьте по ветке в каждую иголку,
В каждую ветку вденьте по дереву,
В каждое дерево Родину вденьте –
И вы поймете, почему так колко.
(«Сосны»)

Прежде всего, это морские пейзажи.

ты вышла на берег и села со мною,
спиною шурша,
когда ж на плечах твоих высохло море,
из моря ты вышла – и в море ушла.
(«У моря»)¹

Затем – Марис Чаклайс и его стихи.

Возвратившись в 1971 году в Латвию из Канады, в интервью корреспонденту газеты «Советская молодежь» Вознесенский сказал: «Я рад новой встрече с читателями. Я рад снова быть на земле, милой моему сердцу и поэтической, где живут прекрасные поэты. Сейчас я работаю над переводом некоторых их стихов, и надеюсь, что они увидят свет на страницах вашей газеты».

На самом деле это переводы стихов Мариса Чаклайса «Играй, кузнечик, играй!», «Заросшее озеро», «Украинскому поэту Ивану Драчу».

Об этих стихах в очерке Вознесенского «Ноты поэзии» находим такое признание:

«Когда я остолбенел от лирики Мариса Чаклайса, мне захотелось дать на русском языке не только буквальную фотографию его стихов, но и впечатление от них, от него, да и от Лиелупского пейзажа.

Скрипачей-кузнечиков было много, целые летучие стаи в литературе. Но трогательные ноты Чаклайса, его музыка – единственны.

¹ Собр. соч., III, с. 109.

Сегодня я предлагаю вниманию читателей переводы из Мариса Чаклайса. Это – не фотографии. Мне хотелось, чтобы в них отразилась не только форма и сюжет, а нечто «третье», ради чего и существует поэзия».

Стихотворения Чаклайса имели счастливую судьбу. Они еще не были опубликованы по-латышски, как подстрочник прочел его лиелупский летний сосед Андрей Вознесенский. Он как раз переживал время апогея своей юности и счастья, которые оставили стихотворения, исполненные ностальгией, как «Мы обручились с тобой сквозь время», «Молитва ТВ», «Рождественские пляски» и другие.

Особый интерес вызывает стихотворение о том, как Чаклайс и Драч с башни Кулдигской церкви святой Катерины обозревали беспредельные латвийские просторы. Эти стихотворения в переводе Вознесенского вызвали ответную реакцию – стихотворение Драча, посвященное одновременно и Вознесенскому и Чаклайсу. О последнем стихотворении М. Чаклайс в 1982 году вспоминал («Сҗа», 1983, 1 мая).

Из нескольких подстрочников А. Вознесенский отобрал «Кузнечика», «Заросшее озеро» и то, посвященное Драчу. Оба первых тем же летом появились в газете «Советская молодежь», а посвящение Ивану Драчу под названием «Украинскому другу поэту Ивану Драчу» в апреле 1972 года в журнале «Дружба народов».

Прошло еще несколько месяцев, и был получен от Ивана Драча ответ в стихах «Андрею Вознесенскому и Марису Чаклайсу отдающая обратный колокол дружбы».

Марис Чаклайс в 1968 году познакомил гостящего у него латышского поэта Олафса Стумбрса (Olafs Stumbrs) из Америки с творчеством Андрея Вознесенского. В тот вечер американский поэт написал стихотворение, которое в силу своей уникальности приводим здесь полностью.¹

¹ Stumbrs O. «Dzejoļi vecākiem cilvēkiem» («Стихи для старшего поколения»), – Rīga: «Liesma», – 1992, – с. 125–126.

Andreju Voznesenski klausoties
(«Слушая Андрея Вознесенского»)

Gandrīz
kā Svētā gara liesmas,
Ne jau to balsi,
vecu bez plaisām zvanu,
bet savā galvā
atbalsi
dzirdu.
(Protams, šī atbalss ir mana!)
Skatos, uz tā krēsla viņš jā –
mazs zēns
savā koka zirdziņā, it kā
ar smaidu uzvarēt
visas pasaules
krustnešu tumsu;
brauc motociklā –
Svētais Sebastiāns,
sadurts
visu pasaules krustceļu bultām,
pārmetis kāju celim,
sarunā
dzīves visvientuļākajā
divatā
ar savu Dievu –
bet vienmēr
pie sava krēsla
pienaglots,
jo dzejā ir tas augstākais krasts,
no kura daudzos šūpuļos,
no kura visos kapos
jāskatās vienmēr
Svētais ārprāts staro
Tie, Kas vēl Drīkst,
aizlūdziet par viņa dvēseli!
(1968.12.08. Rīgā)

Олафс Стумбрс «Слушая Андрея Вознесенского»

Почти
как Святого духа искры.
не уж этот голос,
старого без трещин колокола,
но в своей голове отголосок слышу.
(Конечно, этот отзвук мой!)
Смотрю, на этом стуле он верхом –
маленький мальчик
на своей деревянной лошадке, будто
с улыбкой победить
всего мира
крестоносцев темноту;
едет на мотоцикле –
Святой Себастьян,
пробитый
всего мира перекрестков стрелами,
перекидывает ногу через колено,
в разговоре
жизни наиболее одиноко
вдвоем
со своим Богом –
но всегда
к своему стулу
пригвожден,
потому что поэзия – это высочайший берег,
с которого многие в колыбелях,
с которого все в могилы
должны смотреть всегда
Святое безумие сияет
Те, Кому еще Можно,
помолитесь о его душе
(1968. 12. 08. Рига)

Стихотворение это требует своего анализа и комментария. В данном случае важен самый факт международных контактов русских писателей, тем более, что А. Вознесенскому не удалось оставить своего имени в стихах зарубежных латышей, особенно, Америке.

Андрей Вознесенский не чужд и политике.

Существует даже предание (и об этом упоминает А. Приставкин в своей «Тихой Балтии»), что, не поладив с Хрущевым, Вознесенский «спасался» в Латвии. Как бы это ни было на самом деле, но он, кажется, единственный в эти годы отважился не только написать, но и напечатать такое крамольное стихотворение, как:

Латышский «набросок» (эскиз)¹

Уходят парни от невест.
Невесть зачем, из отчих мест
Три дурака бегут на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.
«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой –
ополоумевши любя,
Я, Рута, выдала тебя –
из тюрем приходят иногда,
из заграницы – никогда...»

¹ Собр. соч. Т. I, с. 95.

... Он бьет ее, с утра напившись,
Свистит его костыль над пирсом.
О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!» (с. 45–46)

Общественно-политические симпатии Вознесенского объясняют и то, что свои стихотворения, например, «Ливы», он посвящает таким личностям как художнику Куртсу Фридрихсонсу, и по своим художественным и по общественным симпатиям весьма далекому от «социалистического реализма».

[...] Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки...
Ливы? Ливы?..
(Собр. соч.: Т. I, с. 228)

Кстати, это первое и пока единственное стихотворение русских поэтов о ливах.

К тому же 1968 году относится статья Яниса Сирмбардиса («Jaunās grāmatas» [«Новые книги»] № 3), обстоятельно анализирующая поэтику Вознесенского, чтобы помочь переводчикам лучше, точнее и адекватнее переводить его произведения на латышский язык.

«В поэзии Андрея Вознесенского, – пишет Сирмбардис, – самым необычным видом свиваются фантастика с реальностью, древность с современностью, глубокий лиризм с гротеском и иронией, взрыв радости переходит в трагические переживания, светлое, ясное встречается в кровавой схватке с темным, нечистым».

Литературные критики Ремасс (Padomju Jaunatne [«Советская молодежь»], 1968, 24 мая), С. Палу (Литература и искусство, 1968, 8 июня) хвалят переводы самого Сирмбардиса. Ниже приведем один из этих переводов.

У Вознесенского:

А там, в заморских казематах,
шпионы в куртках шпионатных,
Как рентгенологи или филины
Меня присматривают в фильме.

У Сирмбардиса:

Aiz jūras kazemātos smagos
sēd spiegi salātkrāsas jakās,
Kā naktī pūces acīm platām
Tie savās filmās mani skata.

Обратный перевод:

За морем в казематах тяжелых
сидят шпионы в салатových куртках
Как ночью сов глазами широкими,
Они в своих фильмах меня смотрят.

Менее удачными оказались переводы парадоксов, основанные на фольклоре:

«Но сохнет сокол без змеи» в переводе звучит неадекватно: «Nīkst vanagi, ja čūskas pazūd» («Жиреют соколы, если змеи исчезают»).

Здесь, по мнению рецензента, отсутствует звукопись – «сохнет – сокол» и ритмическая конструкция всего выражения. В результате, этот один из оригинальнейших образов Вознесенского, представляющий единство противоречий и борьбы, теряет свою оригинальность.

Одновременно с проблемами перевода латышский литературовед Валдис Киканс провел глубокие и убедительные сопоставления творчества русских и латышских шестидесятников.

«Лед» Вознесенского (Собр. соч. II, с. 45) и в идейном, и образном отношении убедительно сопоставляется с «Поэмой огня» Марцинкявичюса, «Эйнштейнианой» О. Вацетиса, поэмой-трагедией «Нож в солнце» И. Драча.

1970 год принес новый вклад Вознесенского в русско-латышское сотрудничество выходом в свет его поэмы «Доктор Осень». Это повествование о подвиге латышского врача Манфреда Эсси Эзинга, спасшего тысячи советских военнопленных из гитлеровского лагеря смерти.¹

¹ «Доктор Осень» // Собр. соч., Т. II, – с. 123 и след.

Герой поэмы – внук балтийского рыбака и сын латышского красного стрелка – в годы Великой Отечественной, будучи сам военнопленным, стал участником антифашистского подполья в Павлоградском лагере для военнопленных. Лагерный врач, он спас от неволи и верной смерти тысячи советских людей.

«Окруженный смертью, подозрительностью, – пишет Вознесенский в предисловии, – он превратил госпиталь в комбинат побегов к партизанам. Провоцируя признаки страшной болезни, людей списывали и вывозили из лагеря. Так было переправлено более тысячи человек, а около пяти тысяч молодых павлоградцев было спасено от угона в Германию».

В интервью для «Курортной газеты» автор о своей поэме и его герое говорил:

«Конечно, это большое счастье – найти героя своего произведения не в пыльных фолиантах, а в жизни, в сегодняшнем дне. И здесь мне сказочно повезло. Я знаком с этим чудесным человеком, удивительно земным, с мягкой детской улыбкой больших голубых глаз. Это человек – легенда... Я вижу большую символику в том, что латыш в лихолетье спасал жизнь русских, украинцев, белорусов... Брат спасал брата!...»

Поэма Вознесенского послужила поводом интервью журналиста Г. Биезиса с самим легендарным доктором (Сов. мол., 1971, 25 авг.).

Исчисление стихов Вознесенского на латвийскую тему можно продолжать и продолжать...

Это «Стихи о брачных объявлениях в газете «Ригас балсс» – первом веянии европеизации Латвии, и миниатюрный экспромт «Зачем из Риги плывут миноги»,¹ и стихи о трагической гибели собаки Раймонда Паулса («Собака»²).

Коллекция стихов латышских поэтов – посвящений Вознесенскому, такая обильная, что не оставляется ничего иного, как только их перечислять.

¹ Собр. соч., Т. II, – с. 385.

² Собр. соч., Т. III, – с. 70.

П. Зирнитис «Tu smaržo rēc āboliem» («Ты пахнешь яблоками») (По мотивам Вознесенского «Женщины пахнут яблоками»)¹

Ария Элксне. А. Vozņesenska dzejoļu vakara atbalss (Воспоминание о вечере поэзии Вознесенского).²

В. Белшевица. Ziemeļblāzma. Andrejam Vozņesenskim (Северное сияние. Андрею Вознесенскому).³

О. Вацietис. Lasa Andrejs Vozņesenskis (Читает А Вознесенский).⁴

1995 год. Андрей Вознесенский снова в Риге. На пути в Стокгольм, чтобы хлопотать о присуждении Нобелевской премии Визме Бельшевице.

Его принимает президент республики Гунтис Улманис (ордена, правда, не дают, время награждения русских Орденом трех звезд еще не настало).

Все газеты занимают целые страницы фотографиями старых друзей, высказываниями русского поэта.

Роберт Рождественский (1932–1994)

С того самого 1966 года, когда Роберт Рождественский впервые приехал в дубултский Дом творчества, поэт стал постоянным его посетителем. Отвечая на вопросы корреспондентов латвийских газет, автор «Стихов о моем имени» и «Латышских стрелков» не устает повторять, как хорошо ему работается в Латвии.

В интервью с поэтом, опубликованном 9 сентября 1981 года в газете «Циня», поэт называет имена Ояrsa Вацietиса, Мариса Чаклайса, Имантса Зиедониса, без которых он не представляет себе современной поэзии. Поэт немало странствовал по Латвии, видел уголки, куда не ведут туристские тропы. Ему хорошо известна гордая история латышских красных стрелков, имя одного

¹ Zirņītis P. «Laineri paceļas gaisā» («Лайнеры поднимаются в воздух»), – Rīga: «Liesma», – 1969, – с. 83.

² Elksne Ā. «Raksti» («Сочинения»), II s., – Rīga: «Preses nams», – 1996, – с. 225.

³ Belševica V. «Raksti», – Rīga: «Jumava», – с. 199.

⁴ Vācietis O. «Kopotī raksti» («Собрание сочинений»), V, – Rīga: «Liesma», – 1991, – с. 680.

Он приезжал в морозы,
 по-сибирски лютые,
своей несокрушимостью
недругов разя.
Не пахло иностранщиной!
Пахло
Революцией!
И были у Революции
 ясные глаза... (с. 151–152)

Когда поэт прочел свое стихотворение в клубе чекистов, один из современников Роберта Эйхе ему сказал: «Это хорошо, молодой человек, что вы пытаетесь восстановить истину и справедливость. Но это надо делать до конца. И если уж зашел разговор о бесславном конце латышского чекиста, то нельзя умолчать и о том, сколько безвинных жертв отправил и он на тот свет!»

Столь же боевиты и бескомпромиссны стихи Роберта Рождественского «Латышские стрелки».

Берзини,
 Спрогисы,
 Клявини...
Годы людей переплавили.
Перетряхнули.
 Расслабили
И разделили их надвое
не по богам,
не по нациям,
не по семейным симпатиям,
а по фронтам.
И по партиям. [...]
Ленцманы,
 Лепини,
 Крастыни
шли, будто в молодость, –

на сочинения школьные,
на палисадники бурые,
на электричку до Булдури
падает снег... [...]

Дозиты,

Лутеры,

Луцисы

отдали все

Революции.

Все, что могли. (с. 324–326)

Исполнены жгучей боли о невозвратимой утрате стихи, посвященные памяти Ояrsa Вацietиса:

[...] Ояр!

Куда же ты, Ояр?!

Не отвечает Ояр.

Сумрачно и таинственно

палец подносит к губам...

Но знал Р. Рождественский и веселые ритмы. Вместе с Раймондсом Паулсом он оставил и веселую песенку о Юрмале:

[...] Здесь в любое время года

Быть охота, жить охота,

Возвращаться в сотый раз не зря.

Кто не знает, пусть поверит:

Это очень добрый берег,

Будто сделан весь из янтаря.

Сергей Баруздин (1926–1991)

Книги Сергея Баруздина начинают издаваться на латышском языке уже с 1960 года. С этого времени, надо полагать, он и частый гость Латвии, Рижского взморья, Дома творчества писателей. Как общительный человек, выступает с чтением своих стихов и рассказов перед различными аудиториями.

Автору этих строк однажды пришлось сопровождать писателя в Елгаву на встречу со студентами Сельскохозяйственной академии. В автомашине С. Баруздин рассказал своим спутникам эпизоды из своей биографии, которые нигде в печати не появлялись – о том, как его исключали из пионеров после ареста и расстрела родителей.

– Верил ли писатель, что его родители – враги народа? – В это он никогда не верил.

– Но как же он в таком случае относился к их аресту и расстрелу? – Думал, что так нужно.

Тем не менее вырос советским патриотом, что и отражено в его книгах.

В 1972 году увидела свет его книга «Литературные интервью». Это о тех людях, с которыми он встречался в Латвии, в Доме творчества – о В. Катаеве, А. Гайдаре, А. Барто, Д. Кугултинове, С. Смирнове, А. Суркове, Имантсе Зиедонисе и родившемся в 1909 году в Риге сибирском писателе Владиславе Гравишкисе.

В этих литературных заметках часто упоминается Латвия, взморье, Дом творчества, где писатель неоднократно встречался с Мариеттой Шагинян (всю эпопею о Ленине она написала, по собственному свидетельству, именно здесь, в Дубулты), со С. Смирновым, с А. Абу-Букаром. В литературных очерках рассказывает о встречах с Имантсом Зиедонисом и Гунарсом Приеде (Gunārs Priede), участии в Днях поэзии, посещении лимбажских «Румбини» – усадьбы Фрициса Барды под Лимбажи.

Высокую оценку дает Баруздин книге «Курземите» Имантса Зиедониса. Такие произведения не часто появляются и в мировой литературе.

Остается рассказать о немногочисленных, находящихся в нашем распоряжении, стихах и рассказах Баруздина о Латвии.

Стихи преимущественно посвящены морю. Жанису Гриве (Žanis Grīva) адресовано «Море штормует»:

Море штормует
В Кемери, Майори, Булдури...
Смотрю телевизор:
Севиля и страсти,
Футбол!
Идет состязание...
А я вспоминаю
Испанию,
Которую каждый
В тридцатые годы прошел.¹

Фрагменты из других стихотворений:

Здесь в Дубултах,
Где мы с тобой бродили,
С войны вернувшись,
Много лет назад...
[...] А сейнер рыбацкий
Ушел его
Давно, тридцатые сутки.
И нет никаких
Вестей от него.
Из старой
Радиорубки.
Латышские красные стрелки,
Мы смотрим на них
Из сегодня.
Мы видим старых ветеранов,
Они честны, как стары,
И, как сказал Твардовский,
Тут ничего не прибавить... [...]
[...] Я – за тех,
Кто в войну

¹ Баруздин С. «Книга стихотворений», – Москва: «Современник», – 1977, – с. 49.

В Латвийской дивизии,
А не среди «Лесных братьев»
Воевал за правду!
(«Латышские красные стрелки», с. 190)

Из прозаических произведений назовем «Туман».¹ На фоне прибрежного взморского тумана Язеп скорбит о погибшем в войну своем русском однополчанине Антоне, именем которого назван сын рассказчика.

«Туман. Глухой, бесконечный и совсем не как молоко, хотя и говорят так, а хуже. Рыбак, если он настоящий, знает, что такое «молоко» над морем. Это хуже «молока» – глубокий туман.

И берег – в тумане. В тумане прибрежные сосны и дома, а новые здания, которые растут здесь, как грибы, совсем не видны. Словно их и построили так, чтобы они уходили в небо, в туман. Пусть там, наверху, живут люди и разбираются, что к чему, а вокруг них туман». (с. 280)

«Ян-Ваныч» – «шпионский» детектив, довольно примитивный для этого жанра.

Добродушный, трудолюбивый, вежливый и сострадательный старичок-латыш, так любящий русских и знающий многие языки, оказывается... комендантом барака № 44 концлагеря, участвовал в расстрелах 93 тысяч женщин и детей разных национальностей. А его подружка, представленная Ян Ванычем как «старейший член партии, старая большевичка» – оказалась немецкой фашисткой! (с. 289–297)

Александр Солженицын (1918–2008)

В одном из первых художественных произведений Александра Солженицына «В круге первом» (М. 1990, с. 226) упоминается студенческий городок на Стремынке, где писатель познакомился и дружественно сошелся с однокашницей своей жены Наталии Решетовской – рижанкой Надеждой Кравчонок. Ее именем «Надя»

¹ Баруздин С. Собр. соч. в 3-х томах, Т. 2, – Москва: «Детская литература», – 1985.

писатель в романе именовал свою жену. Новая знакомая, а также родственники Решетовской – рижане и привели писателя в Ригу и на Рижское взморье еще до его всемирной славы.

О днях и делах мужа в Риге Н. Решетовская обстоятельно рассказала в книге «Александр Солженицын и читающая Россия».¹ Писатель страстно, с увлечением собирал материалы для своих будущих разоблачительных книг.

И действительно, в Риге писателю удалось встретиться с «знатым» гулаговцем А. Формаковым – бывшим редактором «Двинского листка». Но особенно он подружился с Леонидом Власовым, бывшим военным комендантом, затем также товарищем по ГУЛАГу, которого через некоторое время под именем Васи Зотова отобразил в рассказе «Случай на станции Кречетовка». С ним-то Солженицын на велосипедах исколесил чуть ли не всю Латвию вдоль и поперек в поисках бывших товарищей по ГУЛАГу. Особой удачей оказалась встреча на хуторе Эглитес (неподалеку от Кокнесе) с Ольгой Звиедре и ее мужем Иваном Карпуличем. Сама хозяйка – бывшая коммунистка-подпольщица – после победы Октября сделала головокружительную дипломатическую карьеру, завершившуюся, как обычно, ГУЛАГом. Солженицын неоднократно посещал Ольгу и впоследствии, обещая вывести ее в задуманной повести «Год 1914-й».

На хуторе Уки (на Видземском побережье Рижского залива) Солженицын сдружился с Милдой Можяевой и ее мужем Борисом, с которым подолгу обсуждал свои творческие замыслы.

Н. Решетовская почему-то ни словом не обмолвилась о двухнедельном пребывании Солженицына в рижской квартире Карла Либтала, отца Надежды Либталь-Кравчонок. Старик только что был освобожден из рижской центральной тюрьмы, и очевидно, именно это привлекало Солженицына к продолжительным беседам с хозяином квартиры. Как рассказывала Н. Либталь-Кравчонок автору этих строк, ее отец водил Солженицына по старому городу, рассказывал его историю.

¹ Москва: «Сов. Россия», – 1990.

Семейство Н. Либталь-Кравчонок привлекло внимание Солженицына еще в большей степени, когда из Сибири вернулся ее муж Кравчонок, осужденный как сотрудник Псковской духовной миссии. Однако, бывший гулаговец так был «перевоспитан», что ничего не мог рассказать писателю такого, что бы тот потом мог использовать в своих книгах.

После всего сказанного неудивительно, что латыши в книгах Солженицына занимают весьма почетное место, хотя он сам в одном месте «Архипелага» писал: «К латышам у меня отношение сложное. Тут рок какой-то. Ведь они это сами сеяли» (Архипелаг V–VII, изд-во «Книга», с. 46).

Сказалась, очевидно, память о красных стрелках и латышах-чекистах, которые и теперь, впав в немилость и высланные из столицы, все же и в ГУЛАГе занимали не последние места, вплоть до обслуживающего персонала в виде кухарок и уборщиц. Возможно, сказалось и более позднее различие в отношениях к писателю, с одной стороны, латышей, с другой – эстонцев, для которых приезд писателя, например, в Тарту, превращался чуть ли не во всенародный праздник, в то время как советские латыши даже переводить его произведения не очень собирались.

Тем не менее, без латышей обойтись Солженицын никак не мог в силу уже реальных обстоятельств.

Какими же все-таки предстают латыши в книгах Солженицына?

В «Одном дне Ивана Денисовича»¹ в 104-ой эковской бригаде – на стройке «наружной фасадной стены ТЭЦ» совместно трудятся Иван Денисович Шухов (сам рассказчик и автор книги) и латыш Янисом Кильдигс «первый во всем лагере каменщик».

К делу своему Кильдигс относится старательно, ответственно, равнодушно. Слово бы стену возводит не в тени от конвойных вышек, а где-нибудь на свободе, в Резекне или Краславе. Эта сторона натуры латышского персонажа Солженицыну весьма симпатична: «потому с Кильдигсом Шухов любит работать», «кладет он кирпичи, как в аптеке лекарство вешают».

¹ Москва: центр «Новый мир», – 1990.

Земляки со всей зоны оказывают Янису самые разные знаки почтения. От Тюрина до Сеньки Клевшина – каждый ласково зовет Яниса Ваней. Надзирателям, оперчекистам не под силу разрушить прочно хранимое даже в ГУЛАГе рабочее братство. Целый день на объекте или в бараке, за мисками с баландой или в подконвойном строю – группа бригадира Тюрина оставалась неразлучной.

Для латыша Кильдигса типична склонность к юмору, шутке (вспомним Вайлиса в «Капитальном ремонте» Леонида Соболева). «Кильдигс без шутки слова не скажет». (с. 37)

Вот какой диалог происходит между ним и одним из членов бригады:

«Ну, скажи, Ваня, если б начальство умнее было, – разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбить?» (с. 37)

«Я с начальством дела не имею. Только, если он с трапа свалится. Тогда меня позовешь».

Нерадивых, ко всему безучастных плотников, сварщиков, каменщиков Кильдигс именует «стакановцами». Дескать, куда ближе они к стакану, чем к прославленному шахтеру Алексею Стаханову.

Рожденный в латгальском селе, Янис Кильдигс с отроческих лет овладел плотницкой сноровкой, стал заправским каменщиком, перенял мастерство у мастеров-старообрядцев из соседней, за озером, деревни.

В огромном «Архипелаге ГУЛАГе» латышей гораздо больше. Они самого различного происхождения, и с ними происходят самые различные события. Поскольку материал этот только собран, не проанализирован и не систематизирован, перечислим «латышские эпизоды» главного произведения Солженицына в том порядке, в каком они появляются на страницах книги.

На первых же страницах «Архипелага» (I–II, с. 21) читатель знакомится с Ансом Берштейном. В первый раз он упоминается как пример разнообразной изощренности ареста чекистских жертв. С ним связан такой вариант, когда арестовывают на больничной койке с температурой в 39°, причем «и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!)».

Далее этот же персонаж используется для объяснения различия между «спецконвоем» и «спецнарядом» (с. 555): «Например, едет латыш Анс Бернштейн по спецнаряду с Севера на нижнюю Волгу, в сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут «шаг вправо, шаг влево...» и вдруг ссаживают на маленькой станции Занзеватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: «Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтра пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь». И Анс гуляет! Да вы понимаете ли, что значит – гулять человеку, у которого срок десять лет, который уже с жизнью прощался сколько раз, у которого сегодня утром еще был вагон – зак, а завтра будет лагерь, – сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масла и дынь, собираются уходить. Он идет вбок три, четыре и пять шагов, и никто не кричит ему «Стой!», он неверящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет».

«Бернштейниана» продолжается и в III–IV книгах.

В Буреполоме частенько свидетелями на своих бригадников бывали сами бригадиры. Их заставлял следователь – чуваш Крутиков. «А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю!» У латыша Бернштейна бригадир Николай Ронжин (из Горького); выходит и подтверждает: «Да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, да подольские не годятся». Ну и довольно! Для выездной сессии Горьковского облсуда (председатель Буханин, а две местных комсомолки – Жукова и Коркина) – разве не довольно? Десять лет! (с. 355)

Завершается «Бернштейниана» лишь в V–VII томах (с. 457). «Ансу Бернштейну и через одиннадцать лет снятся только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключенным, никогда – вольным, а нет-нет и сегодня приснится, что я зэк (и во сне нисколько этому не удивляюсь, веду себя по старому опыту)».

В I–II томах (с. 23) напечатан рассказ о том, как одному латышу удалось спастись от ареста, самому добровольно отправившемуся в Сибирь и на глазах у всех проживающему на полной свободе:

«Он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению». В этой связи Солженицын этот эпизод обобщает: «Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, еще до первого допроса, – никогда не ловились и не привлекались, а те, кто оставались дожидаться справедливости, – получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так малодушно, беспомощно, обреченно».

На стр. 80 I–II томов Солженицын иронизирует по поводу судьбы красных латышских стрелков и чекистов. «Да, латыши, акушеры Революции (пришвинский термин, Б. И.), составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК! И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменяли в 1921, освободив их от ужасных латвийских сроков в два и в три года. Закрываются в Ленинграде: латышские отделения института Герцена; дом культуры латышей; латышский техникум; латышская и эстонская газеты».

Дальше подробное повествование о началах арестов в Латвии, даже еще до официального включения в состав Советского Союза (с. 84), за ними следовали жертвы послевоенных репрессий (с. 85), жертвы раскулачивания (с. 97).

В III–IV томах рассказывается о необычных судьбах латышей, связанных и с пребыванием в ГУЛАГе, и со счастливыми побегами из него. Последнее удалось некоему Янису Л-с (с. 370).

«Янис Л-с в 1946 дошел пешком из Пермского лагеря до Латвии, причем явно коверкая русский язык и почти не умея объясниться. Самый уход его из лагеря был прост: с разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу (а на ногах – лапти) долго питался одними ягодами. Как-то из деревни он увел в лес корову, зарезал. Отъедался говядиной, из шкуры коровьей сшил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок (беглец, к которому враждебны жители, невольно становится и врагом жителей). В людных местах Л-с выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документы. И хотя в тот

год еще не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде, не вымолвив словечка, пройти до Варшавского вокзала, еще четыре километра отшагать по путям и там сесть на поезд.

Такой побег, как у Л-са, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин, да еще старик, на 5 лет посаженный за пересказ анекдота?...»

Удивительное приключение с латышом Мартинсоном рассказано на стр. 421:

«Крупный крепкий латыш Мартинсон имеет неосторожность появиться в зоне в кожаных коричневых шнуровых высоких сапогах английского летчика, зашнурованных через крючки на высоту всей голени. Он даже на ночь не снимает их с ног. И он уверен в своей силе. Но вот его подстерегают чуть прилегшим на помост в столовой, на него мгновенно налетает шайка и так же мгновенно улетает – и сапог нет! Все шнурки перерезаны и сапоги сдернуты. Искать? Куда там! Сейчас же через надзирателя (!) сапоги отправляют за зону и там продают за высокую цену. (Чего только не сплавляют малолетки за зону). Всякий раз, когда, пожалев их юность, лагерное начальство дает им чуть получше обувь или одежду, или какие-нибудь жалкие лепешки матрасов, отобранные от Пятьдесят Восьмой, – в несколько дней это все загонятся за махорку».

На стр. 459 – кажется, самая значимая для русско-латышских культурных контактов история судеб Нины и Освальда Глазников.

Один из самых старых вахтанговцев Освальдс Глазникс-Глазунов и его жена были (может, и хотели быть) захвачены немцами на даче под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших они получили по десятке за измену большой Родине. Теперь оба были в ансамбле.

«Изольда Викентьевна Глазник уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели ее в каком-то необычном для нашего времени танце, назвал бы я его импрессионистическим, да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посе-

ребренном темном закрытом костюме на полуосвещенной сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев – показ женского тела, и на этом почти все. А ее танец был какое-то духовное мистическое напоминание, чем-то перекликался с убежденной верой в переселение душ».

А через несколько дней внезапно, по-воровски, как всегда готовятся этапы на Архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность. (с. 459)

В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она еще его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустил голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь: создавал зачем-то два театра, из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе...

Я скульптурно запомнил их: как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки, не шевелясь, смотрела на него сострадающе и старалась не плакать.

Ну, да что говорить, – старуха не оправдывала своей пайки... » (с. 459–460)

В последнем V–VIII томе Солженицын возвращается к судьбе «идейных» коммунистов-латышей (с. 383): «Надо было Петру Виксне в 1922 году дезертировать из реакционной буржуазной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз, тут в 1934 году за переписку с оставшейся латышской родней (родня в Латвии не пострадала нисколько) быть сосланным в Казахстан, не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо Аягуза выйти в стахановцы, чтобы 3 декабря 1937 года повесили в депо плакат: «Берите пример с т. Виксне!», а 4 декабря товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено».

Остается сказать несколько слов о восприятии книг Солженицына в Латвии. Если в 1963 году его первые книги встречали с восторгом, то позже и русские, и латышские литераторы и журналисты с охотой и рвением присоединились к травле, начатой

Москвой. И только зарубежные латыши не только сразу же перевели «Архипелаг» на латышский язык, но и латышам – латышскому пастору в Англии Волдемару Сапиетису, принадлежит честь первому интервьюировать Солженицына вне пределов Советского Союза.

Существует информация о положительной оценке солженицынских книг классиком латышской современной литературы Гунарсом Янковским.

А проживающая в Америке латышская поэтесса Аустра Балоде (Austra Balode) в своем сборнике «Mirkļu meli» («Ложь мгновений»)¹ посвятила Солженицыну такие стихи:

PRAVIETIS

(Par Solženicinu domājot)

Tā teic, ka praviet's
Savā zemē netiek cienīts...
Nu viņš ir trimdnieks
bez savām mājām
un bez savas tautas.
Kaut savā zemē ienīsts,
nicināts un nievāts,
no moku kausa dzēris,
savu brāļu šaustīts,
nu izdzīts, vientulis,
bet spēkā nesalauzts –
viņš vārdos brāzmainos
pēc cilvēcības sauc!
Viņš deg –
deg viņa vārdi
atzīšanā svētā,
un patiesības dārdos
nodreb dvēsele...
Viņš jaunu laiku jundī,
jaunu atdzimšanu

¹ ASV: Vaidava, – 1982, – с. 142.

ik cilvēkam,
ik tautai mocītai.
Bet – atbalss nav...
Jo viņa ugunsvārdi
noslāpst dzīru dziesmā,
ko zelta teļa
pielūdzēji dzied.

ПРОРОК

(С мыслями о Солженицыне)

Так говорят, что пророк
В своей семье не чтим...
Ну он изгнанник
Без своего дома
И без своего народа.
Хотя в своей земле ненавидим,
Уничтожаем и презираем,
из мученика кубка пил,
своим братом бичеван,
и изгнан, одинок,
но духом не сломлен –
он словами порывистыми
к человечности призывает!
Он горит –
Горько его слова
Признание святое,
И в правды раскатах
Вздрагивает душа.
Он новое время возвещает,
Новое возрождение
Каждому человеку
Каждому народу мукам.
Но – отклика нет...

Потому что его огненные слова
Заглушает пира песня,
Которую золотого тельца
Поклонники поют

Евгения Гинзбург (1906–1977)

Если Солженицын своим Архипелагом хотел не только показать все ужасы сталинского тоталитаризма, но собирая, комментируя, систематизируя и обобщая факты, наметить какую-то основу для будущих социологических исследований, то Евгения Гинзбург рассказывает только то, что она сама видела и пережила. А видела и пережила она многое, прошла все этапы становления ГУЛАГовского Архипелага (Солженицын стал его узником только после войны!). Гинзбург арестована одной из первых, как троцкистка, приверженка каменевско-зиновьевского клана. Она видела и ощутила на себе (Солженицын об этом знает только понаслышке) все этапы этих удивительных, невиданных в мировой истории (даже в ужасные годы французской революции, которая в какой-то степени была образцом для Ленина событий).

Обстоятельный обзор книги Евгении Гинзбург дал в 1991 году Аншлавс Эглитис во II томе своих эссе¹, пересказав содержание анализа Генрихом Беллом английского издания книги Е. Кушнер.

Риге, Латвии принадлежит честь первой публикации текста «Крутых маршрутов» в журнале «Даугава»² с комментариями приемной дочери Антонины Аксеновой; в публикации рассказано о латвийских днях матери, о первых и тщетных попытках опубликовать книгу в московских издательствах.

«Приехали мы в Ригу в 1958 году, после жутких квартирных мытарств, летом, уже с очень больным отцом Антоном Яковлевичем Вальтером. Это было в Лиелупе, дом у реки, отец на раскладушке в сосновом лесу и мать, которая ему читает первые главы своей трилогии. Удивительно умела она каждый свой миг использовать для любимого дела – писать, и это было ее счастьем

¹ Egļītis A. Esejas. (Эссе) II. s. – 1991, – с. 168-178.

² Eugenia Ginzburg. Within the Wirlwind. – New York. – 1982. – 432 с.

и спасением от всех бед. После смерти А. Вальтера в 1959 году жила в Булдури у Вильгельмины Ивановны Руберте (муж ее, секретарь Свердловского обкома был арестован и расстрелян), с которой мать прошла Эльген. Удивительная, умнейшая женщина – ее нет уже в живых. Когда мама останавливалась у Вилли (так Е. Гинзбург называла В. Руберте) в двухэтажном деревянном доме – все наполнялось юмором и жизнью от этих эльгеновских подруг, прошедших вместе адовый маршрут. До позднего вечера мать читала главы из своих черновиков, и я, и дети Вилли слушали, замерев – так страшно, но с такой артистичностью и заразительностью она это делала. А какая необыкновенная рассказчица! С юмором и озорством зачитывала из своей записной книжечки наблюдения – зарисовки...

В 1962 году Е. Гинзбург отдала первую часть и часть второй своей книги в «Новый мир» и в «Юность». К 1966 году все надежды на публикацию, все замечательные отзывы Каверина, Аникста, Горелова, Эренбурга, Чуковского, Пастернака, Паустовского, Пановой, Евтушенко, Вознесенского и многих других – все это рухнуло...

Для матери было потрясением издание ее книги в Милане (1967). Как? Каким образом? Рукопись «без моей правки, без всякого моего участия в издании?» Как потом выяснилось, на магнитофонную пленку был наговорен текст и вывезен за границу. Очень горько, тяжело перенесла она это – почему не на Родине, а Там? «Книга стала чем-то вроде взрослой дочери, безоглядно пустившейся по заграницам, начисто забыв о брошенной на Родине старухе-матери». [как говорила Евгения Гинзбург. – Б. И.]

Уже писалась третья часть книги, мама приезжала в Москву из своей Юрмалы и в очень узком кругу, в основном из оставшихся в живых политкаторжан проверяла написанные главы. Из своей квартиры рукопись «Крутой маршрут» не выпускалась. Сработал Великий Страх, который сопутствовал ее поколению... До конца жизни мама под подушкой в сумке держала свой паспорт и партийный билет и куда бы она ни выходила – носила с собой. На подтрунивание близких она отшучивалась: «Без бумажки ты –

букашка». Чего ей стоил этот паспорт?! Чего ей стоила партийная реабилитация?!

Каждый день в десять утра она садилась за машинку – ежедневный труд ее радость. «Трилогия «Крутой маршрут» была закончена, мама торопилась успеть – и успела. Было много планов, обдумывалась новая книга – но увы... Уже «море... сосны... воздух» – все это было недоступно ей: страшные физические боли, страдания уничтожали ее...

Семнадцать лет мама приезжала в Ригу, и когда я прохожу по ее местам в Юрмале, я думаю: пусть будет благословенно это «море... сосны... воздух... культура...» и низкий поклон всем тем людям, с которыми прошла так много бед и унижений эта красивая, мужественная женщина – Евгения Семеновна Гинзбург.»¹

«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, – писал уже в 1990 году В. Турбин,² – драгоценнейший документ для анализа inferнальной эстетики культа личности».

Теперь о «Крутом маршруте» – целая литература не только на русском и латышском языках. Это не только литературный, это общественно-политический, морально-психологический источник для самого различного рода исследований и обобщений. Мы здесь остановимся, разумеется, на теме латышей в «Крутом маршруте», на которую уже указал Аншлавс Эглитис и которая в книге Е. Гинзбург представлена весьма богато.

Латыши появляются уже на первых страницах ее книги. Это секретарь обкома Лапа, «немного флегматичный латыш», объявляющий своим сотрудникам об убийстве Кирова; и жена бывшего оппозиционера Когана, которая была личным секретарем Смилги, принимавшая участие в известных «проводах Смилги в Москве при отправлении его в ссылку»; это и начальник секретно-политического отделения НКВД (в Казани) капитан Веверс, который «был очень мил и любезен», с «голыми» глазами кокаиниста, при допросе чуть не убивший Евгению Гинзбург (с. 35); жены латыш-

¹ Антонина Аксенова «О матери.» // Е. Гинзбург. «Крутой маршрут», – Рига: «ЦККП Латвии», – 1989, – с. 4–5.

² «Знамя», – 1990, апрель, – с. 226–228.

ских ответственных работников, арестованные на званом ужине у Яниса Рудзутакса, и в тюремных камерах остававшиеся в бальных платьях;

Во II книге: Софья Межлаукс – жена заместителя Молотова на этапе лагерниц (с. 235). Полные любви воспоминания о латышских друзьях-солагерниках изложены в дальнейших главах, которые предлагаем с небольшим сокращением.

Бутырские ночи (кн. I, с. 102)¹

«Подавленные, все быстро улеглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, пожилая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка с картины Архипова. Этой женщине предьявлялось обвинение, что она кутила с иностранцами в шикарных ресторанах, соблазняла дипломатов, выуживая у них секретные сведения. Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях.

Перед тем, как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие желтые волосы и, вытащив из-под соломенной подушки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила:

– Меня взяли еще зимой. У меня есть зимнее пальто. Я из него выдергиваю вату.

– Но зачем затыкать уши?

Милда устало пожимает плечами.

– Чтобы не слышать. Чтобы спать.

Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить, так уж до дна. И я выпила чашу до дна в ту жаркую июльскую ночь 1937 года.

Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры. Под ночные допросы в Бутырках было отведено целое крыло какого-то этажа,

¹ Заглавия сформулированы Евгенией Гинзбург.

вероятно, оборудованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере, Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток безусловно вывезены из гитлеровской Германии».

Часть II, с. 187 «Разные звери в божьем зверинце»

«Нет, нельзя давать себе волю. Ведь я в тысячу раз счастливее Зои. Я знаю, где мои дети. И счастливее Милды Круминь, которая получила в Ярославке письмо от своего Яна. Одно письмо за два года. Из специального детдома, где жили дети заключенных. Ян писал: «Милая мама! Я живу хорошо. На 1 Мая у нас был концерт самодеятельности». А внизу торопливыми каракулями было приписано: «Мамочка! Я забыл латышские буквы, напиши мне их, и тогда я напишу тебе по-латышски, как мне здесь плохо без тебя».

Глава VI, с. 246-247 «На легких работах»

«Аффект настолько силен, что я сразу забываю подробные инструкции старика кубогрея о том, как вести себя в подобных случаях («Прямо тряпкой по морде и шли его подальше на его же языке»). Вместо этого откуда-то из глубины подсознания вырывается:

– Негодяй! Как вы смеете!

Прихваченные морозом, коричневые, облупленные щеки моего покупателя расплываются в улыбке. Он сдвигает шапку набок.

– Ишь ты! Глазки. Красючка... 58-я, что ли? Айда, 200 дам...

Синие от мороза со скрюченными пальцами лапы снова тянутся ко мне:

– Отойдите, – кричу я, хватаясь за ведро, – оболью...

И вдруг чья-то рука (кожаный рукав) поднимает моего питекантропа за шкурку, как котенка, и от сильного удара чьей-то ноги (добротные валенки) он летит в дальний угол коридора, наполняя воздух россыпями отборного мата.

Защитивший меня человек был Рудольф Круминьш, один из реабилитированных коридорных жильцов, только что вышедших после двухлетней отсидки из дома Васькова.

С этого эпизода завязалась моя дружба с коридорными жильцами, ждущими первого корабля для отправки на материк. Я нача-

ла торопиться и у Солодихи, чтобы успеть до отправки в лагерь побыть хоть часок в этом секторе коридора. Наскоро простирнуть ребятам бельишко. Пришить пуговицы. Перемыть кружки и миски.

Оазис в пустыне. Человеческие лица. Разговор о сокровенном, волнующем нас всех. Полное доверие. Никто из них не боялся рискнуть отправкой «через волю» моей корреспонденции.

– Женя, да не пришивайте вы так крепко пуговицы к этому кожаному пальто, – говорит смешливый чернявый геолог Цехановский, которого так избивали во время следствия, что остался непроходящий кашель, – право, не старайтесь, все равно он их каждый вечер ножичком отрезает.

Это про кожаное пальто моего защитника Рудольфа Круминьша. Его взяли временно до весны работать в управление, и он одет совсем добротнo, не в пример другим.

Милый Рудольф! А я-то думала, почему пуговицы так рвутся. Это для того, чтобы под предлогом благодарности за труд совать мне в карман конфеты и куски сахара.

Энергичное белое лицо Рудольфа краснеет.

– Ты есть один большой звинья! – ворчит он на Цехановского. [...]

До самого вечера я неподвижно лежала в пустом бараке. Острая сверлящая боль в сердце относилась не столько даже к мысли о ржавом кайле и удушливой стуже «общих». Страшнее была мысль, что не увижу больше моих новых друзей – реабилитированных из гостиничного коридора, не услышу прерываемых кашлем шуток Цехановского, не буду больше пришивать аккуратно отрезанные перочинным ножиком пуговицы с кожаного пальто Рудольфа. (с. 247)

Вечером, перед самым возвращением наших тюрзаковок, дверь барака открылась, и в клубах белого плотного воздуха, ворвавшегося в барак, я сразу различила франтоватые фетровые валеночки бригадирши уборщиц Аньки Полозовой.

– Т-ш-ш... – заговорщически оглядываясь, сказала Анька. – Само главное – не тушуйся. Они тебя не бросили, фрайера-то твои... Первое дело – вот тебе передача от того, что в кожаном. Все честь

по чести – сахар-масло-белый хлеб... Потом деньги, держи... Это главное – вот...

Анька вытащила из кармана своей новенькой кокетливой телогрейки кучку смятых бумажек.

– Верке-нарядчице... Чтоб не на общие тебя... В гостиницу-то, конечно, обратно не попадешь. Ей нагоняй от УРЧа был, что контрика на работу к вольняшкам послала. Но она что-нибудь придумает, чтобы не на общие все же...

– Откуда деньги?

– От твоих фрайеров... Сначала спорили часа два, как спасти тебя, что, мол, этично, а что неэтично... Потом собрали вот... И тебе велели не отказываться. В таком, мол, положении все средства хороши. А то запросто загнешься». (стр. 246–247)

Глава 16, с. 307 «Молочные реки, кисельные берега»

«Молоферма – после лесоповального Сударя! Это все равно как, скажем, Лазурный берег после Камчатки или сливочный торт после нашей баланды. [...]

Тикают ходики на стене. Доярка Августина Петерсон распаривает в жестяной ванночке свои онемевшие пальцы и степенным латышско-фермерским голосом повествует о своей любимой корове, что осталась где-то около Елгавы. Точно и не идет второй год неслыханной войны, точно не пылают печи Освенцима, точно в полудне ходьбы от нас не находится центральная зона Эльгена, а в ней Циммерманша, УРЧ, режимная часть, карцеры всех сортов. (с. 308)

Счастливые молфермовские дни озарились для меня еще одной нечаянной радостью – страстной дружбой, вспыхнувшей почти мгновенно при первой же встрече, напоминавшей о чем-то юном и почти забытом, давшей возможность пустить на полный ход уже основательно заржавевшую душевную машину.» (с. 309)

«Вилли Руберт, Вильгельмина Ивановна, как ее звали все на молферме, где она занимала почти невысказанное для заключенного место учетчика, а по сути – экономиста.

Вилли здорово посчастливилось во время следствия. Почему-то ее, работника «теоретического фронта», коммуниста с подполь-

ным латышским стажем, жену секретаря Сталинградского обкома партии, решили «пустить» не по предназначенным для людей этого круга тяжелым тюрзаковским пунктам, а просто «по национальной линии», как любую из латышских молфермовских дюрок. Всего-то ей и отвалили пять лет по сиротской статье ПЭША (подозрение в шпионаже!). Это и дало ей возможность осесть на благословенной ферме, тем более, что старший зоотехник Рубцов, зорко приглядывавшийся к окружающему, различил в ней светлую голову.

В год нашей встречи ей было под сорок, и лицо ее еще дышало не только умом и добротой, но и женской прелестью. Особенно примечательны были глаза, очень точно отражавшие душу. «Круглые да карие, горячие до гари».

Объединила нас не только общая страсть к книгам. Мы сразу почувствовали друг в друге тревожное мучительное стремление размышлять над жизнью, несмотря на ее явное безумие. Приглядываться, сопоставлять, обобщать...

– И о чем это вы до самой полуночи? – дивилась Августина Петерсон, до которой через стенки доносились нескончаемые наши разговоры.

И в самом деле, – о чем? Да обо всем сразу. О войне, о фашизме. О Бухенвальде и об Эльгене. О судьбе трех поколений: наших родителей, нас самих и наших детей. О великих загадках Вселенной и неисчерпаемости человеческого гения. А в промежутках о том, как весело, бывало, хрустит снег под ногами, когда бежишь по вечерней Москве. Или даже по Казани и Сталинграду. Или о том, как нравилось в юности шагать рядами на демонстрациях. И не знали, как это странно, когда надо идти обязательно по пяти в ряд.

Мы очень торопились высказать друг другу все. Понимали: скоро расставаться. Противоестественное пребывание тюрзачки на блатной бесконвойной работе не могло длиться долго.

И вот уже на пороге милой комнатухи с отдельной железной койкой стоит конвоир. И ружье у него за плечами. Он пришел за мной, чтобы этапировать меня на Теплую долину. Этим идиллическим именем обозначен глухой болотистый уголок тайги,

километров за двадцать пять от центральной зоны, где зимой – лесоповал, а летом – сенокос, где нет даже бараков, а живут в самодельных шалашах и кривых продувных хавирках, где, главное, не будет ни минуты покоя, потому что там содержатся одни блатные, масса блатных.» (с. 309)

Глава 25, с. 370 «Ээка, эска и бэка»

«Это была моя первая встреча с людьми, вынесенными сюда из другого ада – из ада войны и гитлеризма. Среди них были самые различные категории. Некоторые на вопрос «За что?» отвечали: «За то, что не покончил самоубийством». Другие – латыши, эстонцы, литовцы – были мобилизованы в германскую армию при оккупации Гитлером Прибалтики. Третьи бежали из плена или были вывезены из освобожденных нами районов.» (с. 373)

«Эска делились на срочников, имевших шесть лет, и бессрочников – «до особого распоряжения». Считалось, что режим Эска мягче нашего, ээковского. Однако те, кто лежал сейчас в туберкулезном корпусе, прошли через знаменитый прииск Бурхала, где молодые заболели сначала воспалением легких, потом скоротечным туберкулезом. Особенно быстро протекал этот процесс у рослых прибалтов, которым требовалось много калорий.

Первые дни здешней жизни были для меня острой пыткой. Ночью я не могла уснуть, ворочаясь до одури на коротком топчане. (Тот, что подлиннее, не влезал в кабинку). Непрерывные кашли – сухие и влажные, осторожно сдерживаемые и отчаянно пароксизмальные – сотрясали воздух. Разноязычные стоны, хриплые проклятия, а иногда и просто плач самых молоденьких – ко всему этому предстояло привыкнуть.» (с. 374)

С утра я начинала вливания хлористого кальция всем больным подряд. Я садилась на край койки, ища вену. Я входила в близкое, почти родственное соприкосновение с этими латышскими мальчиками, в каждом из которых я видела своего Алешу. Они были почти его ровесниками, года на два-три постарше. Такие же высокие, как он, с такими же пушистыми ресницами и доверчивыми, еще пухлыми мальчишескими губами. Они должны были жить.

А они умирали. Ежедневно, еженощно умирали, отчаянно отбиваясь от смерти, но терпя поражение. И на смену им привозили все новые транспорты мальчишек, и они снова умирали. Погибали, то отчаянно отбиваясь от гибели, то уже сдавшись и зовя перед концом маму. Потом я пыталась подсчитать, сколько человек умерло на моих руках, сколько последних вдохов я приняла. Получалось что-то близко к тысяче...

Туберкулезное отделение вел заключенный врач Баркан. Похожий на обедневшего остзейского барона, весь какой-то обесцвеченный, с симметричными мешочками под глазами, он был погружен в себя и не очень реагировал на внешние раздражители. Ему оставалось досидеть всего несколько месяцев, и он умел говорить и думать только об этом.

Я долго не могла привыкнуть к его стилю работы. Не то чтобы он был недобросовестен. Нет. Он аккуратно совершал дневные и вечерние обходы, выслушивал, выстукивал, делал назначения, исходя из скудных возможностей нашей аптеки. Но никто из больных не догадывался, что он тоже заключенный, и все называли его «гражданин доктор». Когда я однажды в первые недели моей работы здесь прибежала за ним ночью с возгласом: «Андрис умирает! Андрис! Тот мальчик, что у самой двери...» – он спокойно ответил: «Да, я так и полагал, что сегодня...» И даже не подумал встать. Я вспомнила, как Антон бегал по всему поселку, разыскивая глоток вина для бродяги, которому перед смертью уж очень хотелось выпить, или как врач сидел по ночам у койки молодого парня только потому, что тот боялся темноты... Вспомнила, сказала: «Извините, гражданин доктор». И ушла. Больше я его никогда не будила». (с. 376)

«Даже когда умер Андрис, с которым Грицько обменялся клятвой вечной дружбы, он все равно, обливаясь слезами, попросил:

–Та не спешить до конторы, сестрица! Вот получимо хлеб та баланду на Андриса, тоди и пойдете...

К Грицьку не приставала лагерная грязь. Он был приветлив, никогда не произносил гнусной ругани, вошедшей в обиход даже у многих бывших интеллигентов. Только однажды я видела его в

приступе неукротимой ярости. Это тоже было связано с Андрисом, с его смертью.

У того на указательном пальце левой руки было массивное кольцо с камеей. Он пронес его через все обыски и не расставался с ним, считая талисманом. Перед смертью он снял кольцо и отдал Грицьку, попросил переслать матери в Даугавпилс, в Латвию.

Мы с Грицьком долго шептались, как быть. Сами мы никакого доступа к почтовой связи не имели. Хранить кольцо долго у себя было опасно: могли отнять. И мы решились обратиться к нарядчику Пушкину. У него вольное хождение и тысяча связей. Ему ничего не стоит отправить кольцо Андрисовой маме. «Хучь он и дуже охальный, цей Пушкин, але мабуць на таку мельку речь не позарится!» – задумчиво соображал Грицько.

Пушкин охотно взял красивую вещицу, небрежно сунул в карман, но сказал, что сделает обязательно, что мать – это дело святое. Прошло недели две, и вдруг Грицько обнаружил Андрисов перстень на грязном заскорузлом пальце заключенного-бытовика, торговавшего в нашем продуктовом ларьке.

– За полкило масла та дві банки бычки в томати, – прошипел Грицько, и я не узнала его голоса.

Когда через несколько дней нарядчик Пушкин вошел в наш корпус, чтобы переписать прибывших-убывших, я не удержалась и с притворным спокойствием спросила, отослал ли он уже кольцо в Латвию.

– Как же! Давно уже! – с готовностью ответил Пушкин.

– Брешешь, гадука! – воскликнул вдруг Грицько и, бросившись на худого, тщедушного нарядчика, начал всерьез душить его. Еле отняли ходячие больные». (с. 377–378)

Варлам Шаламов (1907–1982)¹

Так же, как Евгения Гинзбург, и Варлам Шаламов, в отличие от Солженицына, описывает свои переживания и чувства 17-летнего пребывания в ГУЛАГе. По общему признанию и русских, и латышских рецензентов, его произведения, так же, как и гинзбург-

¹ Френкель Вл. В кругу последнем. Даугава, 1990, № 4.

ские, выше должны быть оцениваемы и в идейно-политическом, и психологическом, и художественном отношениях. Почему же мировая слава первым из трех художников ГУЛАГа называет Солженицына – это предстоит выяснить последующим поколениям литературоведов.

Что же касается латышей, то в своих произведениях Шаламов воздвиг нерукотворный памятник герою Магадана и Сибири Эдуарду Берзину – разоблачителю Локкартовского заговора, создавшего на месте непроходимой тайги цветущую Магаданскую область и оставившего в памяти людей, с которыми он сотрудничал и общался, неизгладимую память об идейном коммунисте, умелом руководителе, простом и доступном каждому человеку.

Воссоздать образ шаламовского Берзиня также представляем будущим исследователям, а здесь я хочу спасти от леты забвения моего школьного товарища – выпускника 1-й рижской правительственной гимназии – Висвалдиса Гарлейса, который в рассказе «Цикута» выведен под собственным именем.¹

«Условились так: если будет отправка в спецлаг <Берлаг> – все трое покончат с собой, в номерной этот мир не поедут.

Обычная лагерная ошибка. Каждый лагерник держится за пережитый день, думает, что где-то вне его мира есть места и похуже, чем то, где он переночевал ночь. И это верно. Такие места есть, и опасность переместиться туда всегда над головой арестанта, и один лагерник не стремится куда-то уехать. Даже ветры весны не приносят желания перемен. Перемена всегда опасна. Это один из важных уроков, усвоенных человеком в лагере.

Верьт в перемены не побывавшие в лагере. Лагерник против всяких перемен. Как ни плохо здесь – там за углом может быть еще хуже.

Поэтому решено умереть в решительный час.

Художник-модернист Анти, эстонец, поклонник Чюрлениса, говорил по-эстонски и по-русски. Врач без диплома Драудвилас, литовец, студент пятого курса, любитель Мицкевича, говорил

¹ Шаламов. В. «Цикута» // «Колымские рассказы», – Москва, – 1992, – с. 331 и след.

по-литовски и по-русски. Студент второго курса медфака Гарлейс говорил по-латышски и по-русски.

Договорились о самоубийстве все трое прибалтов на русском языке.

Анти – эстонец, был мозгом и волей этой прибалтийской гекатомбы.

Но как?

Письма нужны ли? Завещания? Нет. Анти был против писем, да и Гарлейс тоже. Драудвилас «за», но друзья убедили его, что если попытка не удастся – письма будут обвинением, осложнением, требующим объяснения на допросе.

Решили писем не оставлять.

Все трое давно попали в эти списки, и всем было известно: их ждет номерной лагерь, спецлаг. Все трое решили не испытывать больше судьбы. Драудвиласу как врачу спецлагерь ничем не грозил. Но литовец вспомнил, как трудно было ему попасть на медицинскую работу в обыкновенном-то лагере. Нужно было случиться чуду. Так же думал и Гарлейс, а художник Анти понимал, что его искусство хуже даже, чем искусство актера и певца, и наверняка не будет нужно в лагере, как не было нужно до сих пор.

Первый способ самоубийства – броситься под пули конвоя. Но это ранение, побои. Кого там застрелят сразу? Лагерные стрелки вроде солдат короля Георга из пьесы Бернарда Шоу «Ученик дьявола» и могут промахнуться. Надежды на конвой не было, и вариант этот – отпал.

Утопиться в реке? Колыма – рядом, но сейчас зима, и где найти дыру, чтоб просунуть тело. Трехметровый лед затягивает проруби на глазах почти мгновенно. Найти веревку – просто. Способ надежный. Но где подвеситься самоубийце – на работе, в бараке? Нет такого места. Спасут и опозорят навсегда.

Стреляться? У заключенных нет оружия. Напасть на конвой – еще хуже, чем бежать от конвоя – мученье, а не смерть.

Вскрыть вены, как Петроний, и совсем невозможно. Нужна теплая вода, ванна, а то останешься инвалидом, со скрюченной рукой – инвалидом, если довериться природе, собственному телу.

Только отравы – чаша цикуты, вот надежный способ.

Но что будет цикутой? Ведь цианистого калия не достать. Но ведь больница, аптека – это хранилище ядов. Яд идет по болезни, уничтожая больное, давая место жизни.

Нет, только отравы. Только чаша цикуты – сократовский смертный кубок.

Цикута нашлась, а Драудвилас и Гарлейс ручались за ее достоверное действие.

Это – фенол. Карболовая кислота в растворе. Сильнейший антисептик, постоянный запас которого хранится в тумбочке того же хирургического отделения, где работают Драудвилас и Гарлейс.

Драудвилас показал эту заветную бутылку Анти-эстонцу.

– Как коньяк, – сказал Анти.

– Похож.

– Я сделаю этикетку «Три звездочки».

Спецлаг собирает свои жертвы раз в квартал. Устраиваются просто облавы, ибо даже в таком учреждении, как Центральная больница, есть места, где можно «затыркаться», переждать грозу. Но если ты не способен затыркаться, ты должен одеться, собрать вещи, рассчитаться с долгами, сесть на скамью и терпеливо ждать, не обрушится ли потолок над головой приехавших или, в другом варианте – над твоей. Ты должен покорно ждать, не оставит ли начальник больницы – не выпросит ли у покупателей товар, начальнику нужный, а покупателю – безразличный.

Прошел этот час или день, и выясняется, что никто тебя спасти и отстоять не может, ты все еще в списках «на этап».

Тогда наступает время цикуты.

Анти взял из рук Драудвиласа бутылку и прикрепил на ней коньячную этикетку, поскольку Анти вынужден был быть художником-реалистом, упрятав свои модернистские вкусы на дне души.

Последней работой поклонника Чюрлениса была коньячная этикетка «Три звездочки» – чисто реалистическое изображение. Таким образом Анти в последний момент отступил перед реализмом. Реализм оказался дороже.

– А зачем три звездочки?

– Три звездочки – это мы трое, аллегория, символ.

– Что же ты так натуралистически изобразил эту аллегорию? – пошутил Драудвилас.

– Так ведь если войдут, если схватят, объясним – пьем коньяк на прощанье, по консервной банке.

– Умно.

И действительно, вошли, но не схватили. Анти успел сунуть бутылку в аптечный шкаф и вынул ее, едва вошедший стражник ушел.

Анти разлил по кружкам фенол.

– Ну, ваше здоровье!

Анти выпил, выпил и Драудвилас. А Гарлейс хлебнул, но не проглотил, а выплюнул, и через тела упавших добрался до водопровода, прополоскал водой обожженный свой рот. Драудвилас и Анти корчились и хрипели. Гарлейс пытался сообразить, что же ему придется сказать на следствии.

Пролежал Гарлейс в больнице два месяца – обожженная гортань восстановилась. Через много лет в Москве Гарлейс был у меня проездом. Уверял меня клятвенно, что самоубийство – трагическая ошибка, что коньяк «Три звездочки» был настоящий, что Анти спутал бутылку с коньяком в аптечном шкафу и вынул похожую бутылку с фенолом, со смертью.

Следствие тянулось долго, но Гарлейс не был осужден, был оправдан. Бутылка с коньяком никогда не была найдена. Трудно судить, кому дана в виде премии, если существовала. Следовательно ничего не имел против версии Гарлейса, чем мучиться, добиваясь признания, сознания и прочего. Гарлейс предлагал следствию разумный и логический выход. Драудвилас и Анти – организаторы прибалтийской гекатомбы, никогда не узнали, говорили о них много или мало. А говорили о них много.

Свою медицинскую специальность Гарлейс за это время изменил, сузил. Он оказался зубным протезистом, овладел этим доходным ремеслом.

Гарлейс был у меня, ища юридического совета. Ему не разрешили прописку в Москве. Разрешили только в Риге, на родине

жены. Жена Гарлейса тоже врач, москвичка. Дело в том, что когда Гарлейс писал заявление о реабилитации, он попросил совета у одного из своих колымских друзей, рассказав подробно все свое латышское юношеское дело, вроде скаутизма и чего-то еще.¹

– Я попросил совета, спросил – писать ли все. И мой лучший друг сказал: «Пиши всю правду. Все, как было дело.» Я так и написал и не получил реабилитации. Получил только разрешение на жительство в Риге. Как он меня подвел, мой лучший друг...

– Он не подвел вас, Гарлейс. Это вам понадобился совет по делу, по которому нельзя советовать. При всяком другом его ответе что бы вы делали? Ваш друг мог думать, что вы – шпион, стукач. А если вы не стукач, то зачем ему рисковать. Вы получили тот единственный ответ, который может быть дан на ваш вопрос. Чужая тайна гораздо тяжелее, чем своя» (1973).²

В свое время Гарлейс свою версию о перепутанных бутылках рассказывал и автору этих строк. В таком случае версию Шаламова можно было бы рассматривать как «сочинительство», творческий этюд писателя, воспользовавшегося «зацепкой», распространенной побывальщиной о смерти Драудвиласа и Анти, если бы не веские слова писателя о том, что говорили об этом событии много. К сожалению, эту свою фразу он не раскрывает, не аргументирует, не подкрепляет фактами. Если бы удалось в архиве Шаламова такие материалы разыскать, это было бы веским доказательством существования процесса фольклоризации не только событий Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной, но и Великой Гулаговской эпопеи (или эпохи). Слово в этом вопросе за дальнейшими исследователями.

¹ Гарлейс был членом организации «мазпулков» – привезенной К. Ульманисом из Америки сельскохозяйственной юношеской организации, которая в Латвии приобрела националистическое направление.

² Автору этих строк, которому в свое время инкриминировалось также членство в мазпулках, в дни хрущевской оттепели, даже не близкие друзья, а просто знакомые советовали «ничего лишнего, компрометирующего в своих анкетах не писать: органы и так о вас знают всю подноготную, а зачем глаза мусолить посторонним людям, которым неудобно иметь дело с такими «подмоченными».

Рассмотрение латышской темы в творчестве Шаламова было бы неполным, если бы не привести его ценные наблюдения и выводы о том, почему прибалты хуже выдерживали убийственные условия гулаговской жизни, чем славяне и другие подсоветские люди, оказавшиеся в этом человеконенавистническом режиме гораздо раньше.

Так, в рассказе «Шоковая терапия» из книги «Колымские рассказы» читаем:

«Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми доходили, что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не были менее выносливыми, они просто были крупнее ростом». (с. 126)

И Шаламов называет таких великанов. Это безымянный «гигант латыш, получавший вполне официально тройной паек. Всякий раз, когда гигант принимался за еду, Флеминг садился напротив, не умея сдержать восхищения перед могучей жратвой».

Дальше, Бокис – «огромных размеров латыш», будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлялся» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. «Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся в ней он не того, чего нужно бояться, – растления собственной души. Равнодушие – это еще не подлость».

Анатолий Приставкин (1931–2008)¹

О своей военной службе в Риге – первом контакте с Латвией А. Приставкин в дневнике «Тихая Балтия»² писал:

«Теперь-то я понимаю, какое это было везение попасть в молодые годы сюда, в тихую Балтию, в которую я прямо-таки влюбился, увидав впервые зимним утром 30 декабря 53-го года». Часть,

¹ Трофимов Р. «Литература, выношенная в сердце» – Родник, – 1987, – № 12.

² Рига: «Лиесма», – 1991.

в которой предстояло служить Приставкину, находилась в Задвиньи. В дневнике сразу же появилась запись: «Город мне понравился. Аккуратный. Чистый. Красивый. Жители – народ вежливый и культурный. Культурнее даже, чем у нас в Москве. Уборная у них в одном зданьице вместе с буфетом, где мы перекусили. Продавцы вежливы и услужливы необычайно, не успеешь подойти, как начинают предлагать, помогают выбрать...» (с. 61)

«В чужом городе, даже таком прекрасном, как Рига, мы ощущали себя еще чужаками.» И лишь в семье бывшего военного Петра Стефановича оживали, в общении с его дочкой Аллой и ее подружкой Мариной.

Хозяин рассказал, как в сороковом их части входили сюда, в Прибалтику по просьбе ихних коммунистов, и как эта страна их поперву всех поразила, наверное потому, что они впервые увидели буржуйскую заграницу. (с. 62–63)

«Офицерские жены, ошалев от обилия в магазинах, бросились, конечно, покупать, напихивали в чемоданы тряпье; красивое тряпье, ничего не скажешь, особенно женское белье, которого мы сроду не видывали, и отсылали скорей на родину, где царила в ту пору, впрочем, как и в другие поры, обычная наша российская бедность».

«Ну, а у них, то есть у военных дел было поболее: выявить всех тайных врагов, а любой латыш и есть тайный враг, и «оформить» прямым плацкартом в Сибирь.

Так Петр Стефанович шутил». (с. 63)

Сам Приставкин, попав в Братск в конце 50-х, еще встречал бывших зеков-латышей, отсидевших в ГУЛАГах сроки и оставшихся здесь жить... «А где-то в низовьях Ангары, прямо в тайге, мне попадались странные кладбища, одно из них запомнилось в Нижней Мызе: прямые кресты из листвяков с вырезанными именами: сплошь литовские имена... Годы рождения разные, а смерти до 53 года. Но это позже...» (с. 63)

Из разговоров со своим старшим другом Приставкин усвоил, что вся красота Латвии – одна видимость, а на самом деле все кругом сплошь скрытые враги: шпионы и диверсанты.

«– А коммунисты? – спрашивал я недоуменно.

– И коммунисты... Все! Все! Я бы их всех пострелял... Им верить нельзя! Они все до поры затаились, их всех надо побыстрее в Сибирь.» (с. 63)

Хозяин утверждал, что латыш обязательно укажет в противоположную сторону, на вопрос русского, как пройти. Это «из-за вредности своей, потому что он нас ненавидит! (..) Он буржуй, недо-би-тый, вот и ненавидит. Дочь Алла и в школу ходить не хочет с латышами. Изучать язык их вражий». (с. 64)

Однако, эти разговоры в душу Приставкина не запали. «Нас враги не интересовали. Нас девочки интересовали!» (с. 64)

Тут Приставкин в своей книге приводит письмо с датой 1940 Георгию Федорову:

«Тяжелый грех лежит на нас всех – солдатах оккупационной армии, осуществивших в 1940 году захват Литвы, Латвии и Эстонии. Тяжкий грех лежит на мне лично. С тех пор неустанным покаянием, всеми доступными мне средствами, пытаюсь я искупить или хотя бы уменьшить свою вину...» (с. 65)

После советов и предупреждений Петра Стефановича Приставкин и его друзья стали опасаться латышей. Но вот молодой солдат познакомился с девушкой по имени Вия. Приставкина насторожило, что девушка спросила, где он служит. Значит, она выполняет шпионское задание. Однажды, назначив свидание в кино, сам туда не пришел, боясь попасть в руки шпионов.

Наступила весна и молодой солдат простаивает у витрины Сообторга, где слон как живой поднимает хобот, а морж в это время топорщит вверх усы.

Отправившись однажды в командировку в Тукумс, Приставкин с писарем Петровым забрел на старое латышское кладбище.

«Петров пытался прочесть надпись, не смог и выругался:

– Дохлые латыши! – сказал он. – Пошли отсюда.

– Они тебе что, мешают?

– Конечно, мешают... Они мне портят настроение.

– Так не смотри! Жри своих петушков и думай о танцах!

– Они мне вообще мешают, – заявил он капризно.

– Где? В Тукумсе?

– И в Тукумсе... И в Риге...
– Не смотри, – предложил я, разозлившись.
– А куда я денусь?
– А куда они денутся?
– Но лучше я, чем они! – И он, довольный, захохотал своей шутке». (с. 69)

На обратном пути Приставкин в Булдури сошел с поезда и искупался. «Я до той поры моря не видел. А тут сошли с поезда и за барханами песка, за кривыми соснами открылось оно очень синее, в белых гребешках волн. «Оно, – как написал я в дневнике, – шумело.» Этот шум меня почему-то тогда больше всего поразил». (с. 70)

Целую страницу исписал Приставкин, пытаясь рассказать, какая это красота, когда видишь море.

«Навстречу подул свежий сырой ветер. Вдоль берега тянулась полоска песка, шириной в сто метров, а дальше стена сосен. Сосны полукругом огибали побережье, и было такое впечатление, что они кочевали толпой, но вышли сюда и увидели вдруг море и замерли на пригорке, онемев от открывшегося им величия и красоты...»

Теперь свою запись Приставкин оценивает так: «Наивно. Но так я все тогда увидел». (с. 70)

Приставкину велено организовать художественную самодеятельность. Тяжко было с хором – пригнанными «в добровольно-принудительном порядке солдатами. Ребята грянули строевую «Эх, Россия, да русская земля...»

«– От орут... – выглянул из своей каптерки украинец-старшина. – Страшно слушать! Да собери моих земляков. Мы впятером споем лучше!» (с. 71)

У них получалось хорошо. Приставкин специально для них даже песню сочинил:

Ох, погоны, вы погоны, ох пилотка со звездой,
Полюбил меня, девчонку, авиатор молодой.
А вот этою весною вдруг, откуда ни возьмись,
Познакомился со мною привлекательный танкист.

Политрук велел писать пьесу об американцах, «как там негры линчуют». Вспомнил, как в раменском литобъединении рабочие парни про Америку писали: «Идет миллионер по Нью-Йорку, покуривая махорку...»

В Доме офицеров произошло «разбирание» приставкинской пьесы. В результате автор должен ее переделывать. Когда стали репетировать, замполит спросил: кто линчует негра? Не получив внятного ответа, замполит сам взялся разъяснить ситуацию:

«Обыкновенные белые люди, вот, как эти... латыши... Они потому и скрываются под масками, что они в жизни скрывают свою звериную сущность.

– Кто? Латыши?

– Ну, я же к примеру, – сказал замполит. – Они все друг друга стоят. И готовы нашего Фастовского размазать по стенке... – Но он тут же поправился: – Негра, негра... Вот что нужно отразить на сцене: это их моральный звериный облик... Понятно?

– По-нят-но! – воскликнули мы. И правда, пример с латышами сразу показал нам въяве, как мы должны играть.» (с. 76)

«Пилсони, лудзу санемт билети!» – вспоминает Приставкин слова трамвайного кондуктора в Риге, демонстрируя свои познания в латышском языке. Вспоминая эти слова, шагая по Риге, отправляясь в отпуск в Москву, поступать в Литинститут, Приставкин вспоминал и свои литературные намерения, записанные в том же дневнике: «Показать внутренний мир солдата, его любовь к Родине, к партии, патриотизм, широкую русскую душу... На фоне боевой части». (с. 77)

«Вот так я и дошел до реки, на посветлевшем небе обозначились шпили и башни старой Риги. Вода в Даугаве поголубела, наполнилась красноватой, золотыми столбцами отражались лампочки, висящие над мостом.

По мосту я вышел на набережную, свернул на привокзальную площадь. Тут уже у воинской кассы занял очередь и через три часа получил билет».

Потом были годы учебы в Литинституте, летние недели и месяцы отдыха и работы на Рижском взморье, в дубултском Доме

творчества. В один из таких месяцев Приставкин оказался в водовороте событий, описанных в книге «Тихая Балтия» .

Латвийская печать публикует различные статьи и высказывания Приставкина (в форме его собственных статей, в форме интервью), в которых писатель касается и своего творчества, и большой политики, и своего отношения к Латвии и латышам.

Рига для Приставкина примечательна и в том отношении, что здесь, в Домском соборе на концерте Баха, в январе 86 года он познакомился с Мариной, своей будущей женой. Теперь, в дни рижских событий он помнит даже ту скамейку в Домском соборе, стоящую в правом крыле, боком к органу (и на эти «так себе места» билеты доставались с большим трудом). Девушка приехала всего на три дня пожить в Доме творчества у приятельницы Приставкина – Инны Громовой. Ее посадили за стол Приставкина, слева от него. А вечером они поехали в Домский собор и оказались рядом. «...вдруг ощутилось», что никого кроме Приставкина и Марины, и музыки в этом прекрасном храме нет. «Звучал орган, он обращался лишь к ним двоим, хоть и не было вымолвлено ни слова между ними...»

«Конечно, спасаясь от космического холода в душе, в теплой Балтии я не мог тогда знать, что рядом со мной сидит выброшенная судьбой из жизненной колеи женщина и эта короткая поездка для нее спасение, хоть на несколько дней... А потом она стала моей женой». (с. 97)

В большую литературу Анатолий Приставкин вошел по короткой и прямой дороге, но к признанию шел долго и трудно. В конце пятидесятых годов, после окончания литературного института, он отправился в Сибирь возводить Братскую ГЭС и писать об этом книгу. Потом перебрался в Смоленскую область, затем в Поволжье и вот теперь живет в Москве. Его рассказы, повести, романы долгое время не имели громкого успеха – очень долго шли к читателю: руководству не по вкусу приходились его произведения, публичные выступления. После лекции в Воркуте с высокой оценкой, данной Солженицыну, на него состреляли «Дело» и отлучили от литературы на несколько лет. Перебивался случайными заработками и писал повесть «Солдат и мальчик» (1971).

Критика повесть замолчала. С 70-х годов он «пишет в стол». Это: «Рязанка», «Судный день», в 1980-м – «Ночевала тучка золотая». Семь лет пролежала она в столе. Опубликованная в «Знамени», вызвала настоящий взрыв. С поразительной глубиной и жесткой откровенностью повесть рассказала о межнациональных проблемах, поставила их в ряд неотложных за много лет до событий в Нагорном Карабахе, Грузии, Прибалтике. Государственная премия, всеобщее признание – качественно новый этап творческой и общественной жизни.

«Моя квартира превратилась в своего рода комитет по делам национальностей. Пишут, звонят, приходят те, кто так или иначе стал жертвой сталинщины, последствия которой проявляются и в наши дни».

С 1989 года Приставкин издает свой альманах «Апрель». 1-й номер открывается стихотворением Евгения Евтушенко «Танки идут по Праге» (1968).

В статье 1989 года, опубликованной в «Сīņa» У. Норьетисом, собраны материалы о восприятии этого произведения в Латвии.

Рассказывается о встрече писателя с латышскими читателями в здании Академии наук в январе 1989 года. На этом вечере писатель напомнил: «Нельзя, нельзя выдумать такую повесть. Это я, действительно, пережил. И много еще раз могу удостоверить. И вот это: если какой-нибудь мальчик принадлежал к репрессивным нациям, он всячески старался скрыть свое происхождение... Такова была жизнь. Был ли у меня брат? нет. Но все, что я написал о братьях, – это две стороны моей души».

И писатель продолжал пояснять: «Мы были озлоблены, малокультурны. Но, с другой стороны, были очень благодущны. Таковыми двойственными были».

В. Вавере («Karogs», 1988, № 7) стремится проанализировать публикации последних лет в русской литературе, которые давным-давно написаны и только теперь увидели свет божий... В свое время русская литература создала целую галерею образов представителей кавказских, молдавских, татарских, балтийских народов, которые многим поколениям передавали принципы равенства народов

и взаимное уважение. В этой галерее свое место занимают и маленькие мальчики А. Приставкина, которые детским своим сердцем лучше, чем взрослые, понимали превосходство братства и взаимопомощи над национальными и политическими заблуждениями.

На собрании читателей 17 января у Приставкина спросили, что он знает о латышской литературе, о латышских писателях. Писатель сослался на свою старинную дружбу с Имантсом Аузиньшем, с которым поддерживает постоянные дружественные связи и продолжал:

«Здесь у вас живет моя ученица, которую однажды вывел в люди в самое трудное для нас время – Марина Костенецкая. У нее ужасный характер, я не могу даже ее терпеть, но то, что она в последнее время сделала для детей... Это просто замечательно. И я знаю также, что она работает в Народном фронте, с чем я могу ее тепло поздравить».

В этом же номере газеты «Циня» опубликовано факсимиле приставкинских строк: «Читателям газеты <Циня> с уважением к вашей замечательной стране, которую я люблю, и которая в лице удивительной Юрмалы подарила мне спокойствие (это тоже важно для писателя) и вдохновение. А уж наши книги – вторичны! С уважением к Вашей культуре и удивительному трудолюбивому народу. До встречи – на страницах газеты, в книгах, и лично. Ваш А. Приставкин.»

Но особое внимание латвийской общественности Приставкин привлек не только своими литературными произведениями, но и фильмом на сюжет этого произведения.

Приставкин оказался и в центре бурлящей политической жизни Латвии 1989–1991 годов.

«Советская молодежь», «Юрмала» в мартовских и майских номерах 1989 года публикуют во весь газетный лист фотографии Приставкина с лозунгом на его переднике: «Требуем немедленно закрыть ЦБЗ.» Это дубултские жители протестуют против загрязнения почвы и воздуха Слокским целлюлозным заводом. Как известно, протесты эти побледнели перед доказательством экономической выгоды «загрязнения атмосферы». Но в данном случае

хочется подчеркнуть стремление известного русского писателя включиться в жизнь латышей, ступить с ними в едином ряду против насилия и неправды, хотя цель борьбы пока еще и для самих латышей не совсем ясна и понятна. Нет еще единодушия в Латвии.

Примечательны в этом отношении интервью с Приставкиным корреспондентов «Советской молодежи» и «Юрмалы» Александра Ольбика и Викторией Юджиной. Ответ на вопрос «Почему вы решили присоединиться к протесту?» – «...первой в пикет стала моя жена. Она прогуливала дочь, увидела людей с плакатами на груди и, уяснив суть происходящего, вместе с ребенком встала с ними рядом. Потом я ее сменил и в общей сложности мы с ней простояли там несколько часов. Приходили и в другие дни. Затем к нам присоединился писатель Георгий Садовников.

Как я вообще представляю русского интеллигента? Академик Лихачев постоянно подчеркивает, что истинно интеллигентный человек к чужому мнению и образу мыслей всегда относится терпимо. А я к этому добавил бы: интеллигентный человек должен терпимо относиться и к чужому образу жизни. Речь идет об уважении к стране, куда приезжаешь. Я пользуюсь юрмальским пляжем, ароматом сосен, морем. Природа дает мне вдохновение, без чего творчество мертво. Эта красота, фигурально выражаясь, меня поит и кормит. И если у меня есть возможность чем-то поделиться с этой страной, чем-то помочь, я это обязательно должен сделать. А иначе... как понимать значение слова «интернационализм»? По-другому просто нельзя. Поэтому ничего сенсационного в наших поступках не нахожу. Это естественно. Я бы так сказал: любой интеллигентный человек поступил бы так же.

У меня большая вера в здравый смысл латышского народа. Я не верю чиновникам, которые сегодня говорят одно, завтра – другое, сегодня принимают одно решение, завтра – совершенно противоположное. И с вашим ЦБЗ то же самое. Ведь его судьба в руках города, людей, населяющих Юрмалу. И вам на месте, наверное, виднее, нежели с высот Среднерусской возвышенности. Более того, если вы на этом пятачке боя потерпите поражение, то этим самым

ослабите борьбу за природу на других участках. Я примерно знаю, что вам возражают: дескать, ЦБЗ дает лишь незначительный процесс загрязнения реки и залива. Но исключив эти «незначительные проценты», вы сделаете то, что примерно сделал Горбачев, добившийся сокращения «всего на несколько процентов».

Те же корреспонденты в газете «Юрмала» (1989, 11 мая) это же интервью публикуют в более расширенном варианте. Здесь Приставкин дает положительную оценку деятельности Союза писателей Латвии. Ответы Приставкина были следующие:

То, что Союз писателей стал главным застрельщиком перестройки, увлекшим за собой другие творческие союзы, Приставкин считает замечательным явлением. «У нас тоже многие писатели требуют созыва чрезвычайного съезда, но те, от кого это зависит, вряд ли на это пойдут. Хотя я считаю, им особенно нечего бояться: на съезд ведь будут избираться руководители республиканских СП, которые далеко не все прогрессисты. Это у вас Петерс... А большинство делегатов, думаю, будут держать сторону тех, у кого реально власть.»

3 марта 1990 года на страницах «СМ» свое интервью с Приставкиным печатают старшекласники Пушкинского лицея Михаил Зильберман и Александр Гаррос (латышская фамилия Гарозс). Интервью касается преимущественно политики, а также руководимого Приставкиным «Апреля».

Самое примечательное в наследии Приставкина для Латвии и латышей его книга – «Тихая Балтия».

Это книга «о сетовании» автора на злых людей, конфисковавших его записки о событиях 90-х годов в Риге и на Рижском взморье, его сказки, которые он писал для своих детей и внуков: о ежике, лебедях и людях; о тихой милой Балтии... Милой, мирной... Тихой, тихой, тихой... Тихой, «куда вырываешься из московского ада и наслаждаешься тишиной этого не тронутого распадом мира спокойных, аккуратных домиков, желтых дюн и кривых на побережье соснах».

Дальше в книге рассказывается о письме проживающих в Дубулты писателей Сильвы Капутикян, П. Катаева, В. Оскоцкого,

Г. Поженяна, Г. Садовникова, А. Приставкина в редакцию газеты «Балтийское время»:

- о противоправных действиях «черных беретов» в Риге;
- о вильнюсских событиях, переданных по телевидению («Отчего кричат птицы»);
- о телеграмме Приставкина Горбачеву с протестом против вильнюсских событий (там же);
- о рижских баррикадах, на которых были: Приставкин с Леной Ковалем и Владимирсом Кайяксом («Как попасть на баррикады»);
- о надписях на баррикадных заборах («Заборгазета»);
- о переходе омонцовцев в наступление («Нужны взрывы»);
- о крови и первых жертвах, гибели операторов из группы Подниекса – Андриса Слапиньша и других («Смотрите и думайте», «За правду убивают», «Прощание», «Идол»).

Книга охватывает солидный отрезок времени – от 1953 до 1991 года – период, за который из сверхсознательного и наивного ефрейтора, беспредельно преданного делу Ленина-Сталина, литератор Приставкин превратился в сознательного и последовательного демократа, категорически отрицающего коммунистическую теорию и практику, равно и различные националистические течения, такие как «Память».

Отсюда его глубокая любовь и уважение к латышам, латышской культуре, литературе, которые росли вместе с ростом его общественно-политического возмужания.

После памятного своего выступления по телевидению перед взором Приставкина Рига предстает как брейгелевский пейзаж:

«В дымке наступающих голубоватых сумерек сквозь сетку оголенных ветвей, и правда, как на известной рождественской картинке Брейгеля, там даже ракурс выбран как бы с высоты, виднелось огромное зеркало темной реки и противоположный берег с размытыми силуэтами домов... Светились первые зажженные окна. Такая прекрасная, невиданная мной никогда Рига!» (с. 36–37)

И вот к каким размышлениям писателя приводит этот брейгелевский пейзаж Риги:

«Вдруг подумалось: Господи! За что им такое! В чем они провинились, разве только в одном, что не хотят они жить рабами, как прежде, а хотят жить как все нормальные люди и без большевиков!

Так и получилось мое выступление, это было как мольба о мире для этой красивой, дивной страны» (с. 37).

«Такой была в те дни и такой запомнилась Рига: трагической и одновременно безмятежно молодой и веселой [...] После <моего> выступления <на Домской площади> меня окружили люди, какой-то парень, коренастый, цыганистого вида, пожал мне руку как земляку и даже в доказательство, хотя от него никто не требовал, протянул «мандат», там было написано, что рабочий делегируется «Демократической Россией» от города Димитриева Московской области от автобазы для представительства и поддержки латышских друзей и Народного фронта... Я лишь запомнил, что звали рабочего Володя».

Это один из тех эпизодов, который позволит Приставкину в конце книги заявить, что российские демократы в Латвии учились бороться за свои демократические свободы.

Но такие же симпатии автор «Тучки» приобрел и среди латышских слушателей, присутствовавших на его выступлении на Домской площади.

«Долго топтался рядом, не решаясь подойти, высокий, я бы сказал, очень крупный человек, как выяснилось потом в разговоре, латыш. Работает он газосварщиком, объездил всю Россию и никогда, по его словам, не испытывал чувства национального ущемления, а вот теперь почему-то испытывает... То есть, он понимает, почему: встречаясь с русским, приходится теперь думать, а как русский отреагирует на него как латыша.

– Прежде у меня такого чувства не было, – сказал он смущенно, – и я стал комплексовать, но вашу руку я жму без всяких комплексов. Послушал вас и знаю, что вы достойный человек.

Говорил он медленно, основательно, ему хватило на несколько улиц, чтобы произнести эти несколько фраз. А потом он интеллигентно откланялся, в шляпе, красивом пальто, видны сорочка и

галстук, прямо, как дипломат на приеме, но такой трогательный и скромный.

Прощаясь, он сказал:

– Приезжайте, когда мы с вами будем свободными.

– Ох, боюсь, не доживу, – отвечал я. – Вы то, может, доживете, а мы, пожалуй, нет.

Я имел в виду Россию. И воистину верил, что Балтия, первой прорвавшая большевистскую блокаду, вернется к свободе. И слава Богу! Пусть хоть они...» (с. 93).

Приставкин – не сторонний наблюдатель рижских событий. В них он принимает активное участие:

«Леня Коваль и я, мы вместе разносили газеты, дошли до Дома правительства, и тут, в одной из маленьких кухонек, вынесенных на улицу, мы закусили, почувствовав вдруг острый голод. Сами себе налили душистый травяной чай в бумажные стаканчики и смастерили по бутерброду: хлеб и рыбные из банки консервы... И даже соленый огурчик нашелся.

Все бесплатно.

Отойдя в сторонку, попивали чай и в разговоре я сознался Лене, что в прошлый приезд, несмотря на голод, я не решился подойти к кухне, не считал себя вправе есть бесплатно то, что полагается ребятам с баррикады. А вот сегодня мы как бы с ними заодно.» (с. 93)

С восторгом всматривается писатель в одухотворенные лица бойцов за свободу:

«Замерзнув, мы зашли сюда просто погреться и вдруг попали в иной, не баррикадный, а божественный мир спокойствия и тишины. Даже медсестры в белых халатах не нарушали этой гармонии... Да и что может быть естественнее, чем сестры милосердия, расположившиеся в божьем храме!

Звучала тихая музыка, орган. [...]

Я прошел вдоль скамеек, вглядывался в лица. Я давно понял, что надо сейчас смотреть, всматриваться в лица этих людей, они не такие, как в обыденной жизни.

В трамвае таких лиц не бывает.

Внутренняя сосредоточенность и одновременно отрешенность в них. Они будто очистились от случайного, от бывшего, и оттого кажутся почти святыми.» (с. 95)

«Забор-газета»

«Мы хотим одной лишь доли,
С латышами и на воле,
Нам с Рубиксом не по пути,
Жить в страхе, в сумерках и в лжи.» (с. 122–123)

«Так держать, латыши! Молдова за вас.» (с. 124)

Возмущенный насилием омонцовцев, Приставкин пишет: «Ну, правда, для успокоения обывателей произносится привычное: это-де не у нас, это далеко, а там (там!) восточные народы...

Правда, про Балтию так достоверно уже не звучит, ибо придется говорить: «Западные нравы...» Или... Какие там еще... Но так и это далеко, вот и до Подмосковья добрались: зверски убит священник Мень, а люди из общества «Память» прямо в Союзе писателей могут вслух бросить писателю Адамовичу: «Подождите, мы скоро вас на фонарях будем вешать!» (с. 139).

И вот заключение о роли латвийских событий для всей России:

«Школа, которую мы прошли, защищая рижский телецентр и здание правительства Латвии, не прошла даром. Теперь, кажется, ясно, что это была не репетиция заговора, а начало заговора, в Вильнюсе и Риге мы увидели начало того, что потом произошло в Москве. Кстати, когда я звонил в панике своим московским друзьям, а потом по приезде рассказывал, некоторые иронизировали надо мной: «Мол, это у тебя с испугу, что везде мерещатся перевороты и танки... Но я-то видел въяве, что крючковы, пуги, рубиксы и язovy на месте и они наглеют, получив от президента Горбачева полный карт-бланш в своем терроре. И он не мог не произойти в Москве.

И еще напоминаю, на страницах дневника я воспроизвел разговор с моим приятелем, мол, а как поведут себя в таком случае москвичи... Я тогда, кажется, затруднился ответить. Но теперь я могу

сказать: они себя достойно повели, не хуже, чем рижские ребята. В Риге мы защищали и свою, и свободу Латвии, и не случайно после победы над путчистами была признана независимость Прибалтийских стран...»

* * *

Приставкинская «Тихая Балтия» на своих страницах таит много материалов, ценных и для историка литературы, и для краеведа. На страницах книги находим информацию об Андрее Вознесенском и Владлене Дозорцеве, Владимирсе Кайяксе и Анатоле Имерманисе, Галине Дробот и Леониде Ковале, Адольфе Шапиро и Максиме Горьком, Марке Соболе и Борисе Ларине, Николае Гумилеве и Анне Ахматовой, Генрихе Белле и Татьяне Фаст, Владимире Соколове и Александре Солженицыне, Иосифе Бродском. Вскользь упоминаются Шукшин, Трифонов, Шаров, Эдельман, Орлов.

Андрей Вознесенский появляется в дубултском Доме творчества сразу же после хрущевской «проработки». «Именно тогда в здешней библиотечке я неожиданно обнаружил маленькую крошечную книжечку Андрея Вознесенского «Мозаика» с пестро-золотистой обложкой... Ее вдруг отдали мне на руки читать, и я, не будь дураком, тут же решил не возвращать обратно. То есть, ее хотели стащить и другие из нашей «семейки», но я первый углядел, записал на себя и нахально увез домой, заплатив за нее какой-то мизерный штраф. [...]

Конечно, мы не имели такого блистательного начала, как Вознесенский: несколько стихотворений в «Дне поэзии», в газете, кажется, в «Литературке» и сразу – громкая слава! (с. 27)

Но это его, такое фантастическое начало было и нашим началом и обещало нам, тоже, в самом ближайшем же будущем такую же звездную славу.

Строчки из самых первых его тогда стихов мы читали вслух, и не знали, не ведали, что совсем это не про какую-то там невесту, а про нас всех, про нашу будущую жизнь... Как и другие пророческие строчки: «Крест на воротах, на жизни крест...» (с. 28)

Мы вовсе не различали тех особенных событий в Москве, которые тогда произошли. А там, как выяснилось, «наш дорогой Никита Сергеевич» (это название одного из фильмов, посвященных ему) встречался с творческой интеллигенцией и устроил ей грозный разнос, всяким там писателям и художникам, в том числе и любимому нами Андрею Вознесенскому.

Но издалека мы всей сложности ситуации как-то не разобрали, да и печать, хоть и опубликовала отчет, но далеко не полный, и понять по нему, что там в действительности произошло и насколько оно серьезно, мы, конечно, не смогли. [...]

Мы прозевали тот самый момент, когда эти двери с грохотом закрылись. Это услышали вперед нас те, кто присутствовал тогда в Кремле на приеме: Алигер, Щипачев, некоторые другие...

Ну, и, конечно, Андрей Вознесенский.

Он вдруг объявился тогда в Дубулты, но не в Доме писателей, а где-то на отшибе, может быть, в гостинице, и мы, столкнувшись на улице, чуть не силой затащили его к себе.

Встречались мы тогда в комнате Марка <Соболя>, он проживал в каменном двухэтажном доме, что с левой стороны от дороги; на первом этаже была столовая, а на втором – несколько уютных комнат, объединенных коридорчиком с общей ванной и туалетом.

По соседству с Марком проживал один провинциальный поэт, обладавший, как потом выяснилось, замечательным слухом. После гостевания Андрея он поинтересовался, встретив меня в столовой:

– Вы там стихи, кажется, читали... Андрей, что, тоже читал?

– Какой Андрей? – спросил почему-то я.

– Ну, какой... Вознесенский Андрей... Он же приходил к вам, я сам видел! А он, что, разве не у вас остановился?

– Нет.

– А где?

– Не знаю, – сказал я. Я, и, правда, не знал.

Но я не придал тогда значения этому разговору. Лишь по возвращении в Москву вдруг выяснилось, что в «Литературке» (я тогда числился в ней) лежал подробный отчет о всех наших

разговорах, застольных и прочих, было там и о появлении крамольного поэта из столицы. И о том, какие стихи якобы он читал.

Спасибо моему личному начальнику дяде Жоре (писатель Георгий Радов), он под большим секретом мне это все передал и приказал немедленно скрыться в командировку, что я и сделал.

Но это все потом». (с. 28–29)

«Если же по правде, Андрей в тот вечер не читал никаких стихов, как мы его ни упрасивали, а был молчалив и даже как бы насторожен. Зато остальные из «семейства» были в ударе [...]. К концу даже Андрей оживился, что-то рассказывал, вообще, но ни о встрече в Кремле, ни о своем тревожном состоянии он не произнес ни слова. Но растрогался от стихов, прочитанных Борисом <Лариным>: Гумилева, Ахматовой, Мандельштама... И пообещал подарить Борису, как только случится, свой собственный новый сборник стихов... если он, конечно, выйдет.

Вот это вскользь брошенное «если» и подсказало нам истинное настроение Андрея.

Ну, а Борис, не будь дураком, тут же воскликнул, в шутку, конечно:

«– Пиши расписку, а то забудешь!»

Андрей вдруг с улыбкой согласился, и тут же начиркал на листке «расписку», да еще присовокупил две стихотворные строчки, выдать, в этот момент и рожденные: «Без булды люблю Дубулты!». (с. 29)

Хрущевская «оттепель» сменилась долгой брежневской зимой с холодами, на десятилетия заморозившей все вокруг, и литературу тоже...

Мы стояли на пороге этой зимы, но по-настоящему, теперь-то я понимаю, догадывался о ней, там в Дубулты, лишь Андрей... [...]

Что касается той шуточной «расписки», выданной Андреем моему другу, сам Борис утверждал и был, наверное, прав, что «расписка» ему, как книголюбу не менее драгоценна, чем обещанный подарок. Но подарок-то он, кажется, получил. Об этом мне однажды, Бориса уже не было в живых, рассказал Марк Соболев. [...]

– Знаешь, – сказал Марк, – Андрей потом часто и по разному поводу возвращался к этой встрече в Дубулты... И однажды

он сказал даже так: «Я вам благодарен за тот вечер... Я вырвался тогда из Москвы и после криков Хрущева полагал, что меня вот-вот арестуют... Нет, я, конечно, не прятался, это смешно, но не хотел быть на виду... И оказался как бы совсем в одиночестве. А тут вдруг встреча с вами и такой неожиданный теплый вечер...» [...]

Борис умер от инфаркта, рано, что-то около сорока. И все мы ощущали и холод, и то самое одиночество, предшественником которого некогда оказался Андрей...» (с. 30)

Для историка латвийского театра ценными окажутся страницы книги (с. 84 и посл.) – «Приставкин в гостях у Адольфа Шапиро».

«В гостях у Адольфа разговор шел все о тех же проблемах, а о чем еще мы могли сейчас говорить!

Вот дочка уезжает «туда». Он переживает, но не отговаривает. А как можно отговаривать, если она так говорит: «Папа, – говорит, – все, кого ты видел на свадьбе, исчезли... Вокруг меня уже нет друзей...» А когда Адольф это рассказал одному приятелю, тот сказал: «Пусть едет.» И добавил при этом: «Только скажи: пусть едет быстрее, а то форточку закроют!»

Оказалось, что Адольф хорошо знает и Пуго, и Рубикса, и тот и другой из бывших коммунистических работников иногда посещали его театр.

– Комсомольские ребята – это особенные ребята, – сказал я. [...]

– Но они разные, – сказал Адольф. – Были на просмотре какого-то спектакля. Пуго поблагодарил и ушел, а Рубикс тут же заявил, что он сделает все, чтобы спектакль не появился!

– Он прямолинейней?

– Ну, может, в чем-то и честнее... И он, правда, все тогда сделал, чтобы спектакль закрыли. А вот Пуго, хоть и поблагодарил и промолчал, но тут же собрал актив и объявил, мол, если кто-то пришлет письма протеста против спектакля, он их поддержит и пойдет навстречу.

– Вон откуда у него милицейские манеры! – воскликнул я.

– Ну, скорей, полицейские... Я имею в виду – тайную, конечно, полицию. Да он весь гэбэшный от пяток до макушки... А вот Рубикс – он другой... Он упрямый, самолюбивый, если бы с

ним по-другому власти обошлись, он не был бы таким, – сказал Адольф. – Да, вот, и сестра о нем примерно то же самое пишет.» (с. 84–85)

«Но вспомнил я об Адольфе Шапиро по другому поводу. В эти дни в рижском молодежном театре произошла премьера пьесы Иосифа Бродского «Демократия». Шапиро тоже сказал свое «слово» о том, что происходит вокруг.

О пьесе я как-нибудь скажу. Сейчас об ответственности художника, чье слово может двинуть танки на незащищенных людей, а может эти танки остановить.

В программе театра, которую я сохранил на память, приведены слова Бродского, я хочу их здесь привести:

«Распад империи, как учит история, редко бывает бескровным. История также учит нас, что политические события отесняют литературу на задний план, оставляя ей роль в лучшем случае свидетельницы, а в худшем – плакальщицы.

Мне думается, однако, что на сегодняшний день, когда в распоряжении литературы оказались весьма эффективные средства коммуникаций и массовой информации, существует определенная возможность вывести литературу из подчиненного истории положения, что следует попытаться навязать истории взгляды на жизнь и общественную организацию, присущие литературе. В частности, я имею в виду свойственную литературе мысль об уникальности всякой человеческой жизни, о бессмысленности любого идеала или принципа, требующего для своего осуществления кровопролития...»

Это и Невзорову, но прежде всего писателю, ну хотя бы такому, как Паламарчук, и его тридцати семи коллегам. Но продолжаю Бродского:

«Мне представляется, что следует использовать ЛЮБУЮ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ донести до сознания подданных распадающейся ныне империи идею о том, что зрелость общества, как и зрелость отдельного индивидуума, определяется не исторической, но этической необходимостью, провозглашенной не с политической трибуны, но со страниц романа или в ритме стихотворения; что оружие и насилие объединяют людей гораздо

менее надежным образом и на более короткий отрезок времени, нежели книга и слово.» (с. 85)

Давид Самойлов (1920–1990)¹

Поэт принадлежит к сфере русско-эстонских литературных контактов, хотя и нередко посещал Латвию, своему закадычному другу Юрию Абызову посвятив немало шуточных стихотворений.

Контакты с другими латышскими писателями – Визмой Бельшевицей, Оярсом Вацетисом, Имантсом Зиедонисом, Анатолсом Имерманисом, Роальдом Добровенским, Дагмарой Кимеле и другими – задача для будущих исследователей.

Переводит Д. Самойлов и с латышского – дайны, пьесу Райниса «Играл я, плясал».

В оригинальных стихах упоминается Екабпилс², где он как бы наслаждался прелестями Антонины, и «Соловьиная улица»³ в Риге, поразившая его своим названием. Это все, что пока известно. Хотя Абрам Петрович Ганнибал и строил Рижские укрепления, все же изложенные в поэме события до того тесно связаны с Пярну, что говорить о них придется исследующим русско-эстонские связи литературоведам и краеведам.⁴

Тема, которая затрагивает непосредственно латвийские события – это драматургический эскиз о Марте Скавронской – Екатерине и ее первом муже Иоганне Раабе. Самойловская версия удивительным образом совпадает с версией Александрса Гринса в его трилогии «Всадники». Первый муж царицы не погиб, он оказывается в Санкт-Петербурге еще при жизни Петра. Но в отличие от версии Гринса, императрица в стихах Д. Самойлова только и думает о том, как бы от него избавиться. Приводим эту импровизацию Самойлова полностью.

¹ Абызов Ю. «Без судьбы – поэта нет...» // «Даугава», 1989, – № 10, – с. 72–73.

² Самойлов Д. «Голоса за холмами», – Талинн: «Ээти раамат», – 1985, – с. 49.

³ Самойлов Д. «Второй перевал», – Москва: «Сов. писатель», – 1963, – с. 31.

⁴ «Сон о Ганнибале» (с. 518)

СОЛДАТ И МАРТА

*Первую брачную ночь Марта и драгун Рааб
провели в доме пастора Глюка.*

(Эпиграф Д. Самойлова)¹

Он. Любимая, не говори,
что надо нам прощаться!
Пускай до утренней зари
продлится наше счастье!..
Она. Драгун! Драгун! Ведь завтра бой,
нам суждены печали.
Не на разлуку ль нас с тобой
сегодня обвенчали?
Он. Любимая! Не говори!
Нам суждено прощаться.
Но пусть до утренней зари
продлится это счастье. [...]
И грянул Бой. И обречен
был город. Град чугунный
низвергся. Рядом с трубачом
упал воитель юный.
Его латали лекаря.
И он узнал от друга,
что слух идет: мол, у царя
живет его супруга.
Там купола, как янтари
над старою Москвою. [...]
Он. Любимая, не говори!
Вот я перед тобою...
Она. Зачем здесь этот инвалид,
игрушка чьих-то козней!
Беги! Не то тебя велит
убить супруг мой грозный!

¹ Из «Разысканий об императрице Екатерине I», Т. I, с. 86.

Он. Любимая! Не говори!
Как разошлись дороги!..
И он упал ей в ноги.
Она. Деньгу солдату! Пусть он пьет!
Не знает сам, что мелет!
Гляди, коли великий Петр
словам твоим поверит!
Он. Любимая! Не говори!
Уже настало утро!
И поскорей умри, умри
та ночь Мариенбурга!
Она. Да, поскорей умри та ночь!
Умри то утро боя!
Солдат, ступай отсюда прочь,
я не была с тобою.
Ступай, ступай, хромой драгун,
и обо мне – ни звука!
Забудь про то, что ты был юн,
про свадьбу в доме Глюка.
И пей, хоть день, хоть два, хоть три –
хоть до скончанья света!
Он. Любимая! Не говори!
Не говори про это!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ¹

Итак, написана последняя страница объемистой книги Бориса Инфантьева «Латышско-русские литературные связи» (с предваряющими экскурсами в область сопоставления латышско-русской лексики (как основы культурных взаимодействий и взаимообогащения культурными ценностями) в область мифологии и фольклора (как первых шагах проявления этого обмена культурными ценностями).

Что хотели сказать этой книгой и его многочисленные благожелатели – Иван Павлович Михайлов – инициатор этого издания и Илларион Иванович Иванов – издатель?

Предлагаемая книга – не энциклопедия, не обстоятельно аргументированный научный труд, подводящий итоги и раскрывающий перспективы перед последующими исследователями, не, наконец, научный отчет самого Инфантьева о своих собственных открытиях и находках.

Весьма расплывшееся определение характера книги возникло от поставленной автором цели – собрать воедино всё самое важное в области латышско-русских культурных взаимоотношений, что на протяжении последнего столетия создавалось в этой области многочисленными энтузиастами, начиная с Юровского, историка, краеведа и литературоведа Вальдмана² и первого продолжателя его дела – доцента филологического факультета Михаила Петровича Николаева³, не нашедшего на факультете поддержки своим лите-

¹ Выделив заголовок «Послесловие», Б. Ф. Инфантьев не оставил соответствующего текста. Но нашлись две страницы рукописного текста, отвечающие по содержанию этому названию. Автор пишет о себе в третьем лице. Обнаруженный материал скорее относится к первоначальному варианту издания, включающему в себя все стороны русско-латышских культурных взаимоотношений. Однако позже, из-за большого объема материала, было решено издать две книги. Первая – «Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор» издана в 2007 году. Вторая – «Русско-латышские литературные связи» предоставляется читателю в данном издании.

² Вальдман – Waldmann Franz (1847–1903) автор статей «Russische Dichter und Schriftsteller in Kurland» и «Russische Dichter und Schriftsteller in Livland», опубликованных в журнале «Baltische Monatschrift» (Reval) в 1892–1893 гг. (прим. Б. Равдина).

³ Николаев Михаил Петрович (1911–2001, Рига) – преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Латвийского государственного университета им. Петра Стучки (прим. Б. Равдина).

ратурно-краеведческим устремлениям в области исследования латышско-русских культурных взаимосвязей. Но посеянное им семя – интерес к этим исследованиям – попало на плодородную почву его коллег и слушателей-студентов, имена которых, обильно цитируемые на предыдущих страницах позволяют хотя и медленно, но постепенно приближаться к идеалу, очерченному Романом Тименчиком в его эссе «Сон»¹.

В книгу вошло, разумеется, не всё, выявленное и отысканное исследователями.

Возможно, повторный просмотр этимологических словарей выявит еще немало слов, общих по своему происхождению в латышском и русском языках.

Сопоставительный анализ латышских и русских сказок, преданий, загадок и заговоров, можно сказать, только в самом зачаточном состоянии. В какой-то мере это можно сказать и о песнях, особенно, бытовых, которые представляют также большие возможности новых открытий. Почти ничего не сделано в области анекдота, хотя и здесь, как показывает опыт, неизмеримые возможности в самых различных сферах жизни и деятельности (семейной, общественной, производственной).

Литературная часть книги представлена, на первый взгляд, солиднее, но и тут нельзя сказать, что представлены все русские литераторы, так или иначе упомянутые в творениях латышских авторов. Даже если это относится к двум русским поэтам, упомянутым в книге Свена Бирнерта² (Иосиф Бродский), или упоминающий в своих стихах город Ригу (Петр Вяземский).

Да, единому человеку не под силу выполнить сложные задачи целого исследовательского института. Но пусть эта книга станет основой следующих свершений.

Feci quod potui, faciant meliora potentes. [«Я сделал (всё), что мог, пусть те, кто смогут, сделают лучше»] (латинское – прим. Б. Равдина).

¹ Имеется в виду статья Р. Тименчика «Сон о книге» (Даугава, 1995, № 3–4. С. 135–140), в которой идет речь о необходимости издания, где были бы собраны основные материалы по теме «Латвия в русской культуре» (прим. Б. Равдина).

² Свен Бирнерт – правильно: Свен Биркергс (Sven Birkerts), – известный американский эссеист латышского происхождения, в 1979 году взял у И. Бродского многократно тиражировавшееся интервью (прим. Б. Равдина).

PERSONU RĀDĪTĀJS (ВЫБОРОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹)

А

- Adamovičs Fricis (Адамовичс Фрицис) – 38, 147, 251
Adamsons Ēriks (Адамсонс Эрикс) – 74, 197
Aizpuriete Amanda (Айзпуриете Аманда) – 315, 367-372
Akuraters Jānis (Акуратерс Янис) – 67, 197, 231
Alunāns Ādolfs (Алунанс Адольфс) – 75
Alunāns Indriķis (Алунанс Индрикис) – 83
Alunāns Juris (Алунанс Юрис) – 64, 73, 90, 92
Ansabergs Gotfrīds (Ансабергс Готфридс) – 218
Apsītis Augusts (Apses dēls) (Апситис Аугустс) – 411
Apsīšu Jēkabs (Апсишу Екабс) – 75, 139
Arājs-Bērce Augusts (Арайс-Берце Аугустс) – 233
Āronu Matīss (Арону Матис) – 194
Asars Jānis (Асарс Янис) – 196
Aspazija (Rozenberga Elza) [Аспазия (Розенберга Эльза)] – 74, 177, 196, 231-232, 250-251, 273, 275, 412
Austriņš Antons (Аустриньш Антонс) – 179-180, 191, 194, 226, 252, 277, 289, 292
Auziņš Imants (Аузиньш Имантс) – 39, 367-372
Avotiņš Viktors (Авотиньш Викторс) – 179

В

- Balode Austrā (Балоде Аустра) (Amerika) – 564
Balodis Andrejs (Балодис Андрейс) – 331, 446
Balodis Pēteris (Балодис Петерис) – 81, 139, 142-144
Bārda Fricis (Барда Фрицис) – 252, 274, 277, 554
Barons Krišjānis (Баронс Кришьянис) – 92-96, 102-103, 124
Bauze Roberts (Баузе Робертс) – 317
Bebru Juris (Бебру Юрис) – 194
Beļševica Vizma (Бельшевица Визма) – 67, 332, 523, 526, 538, 549, 601
Belteņu Ernests (Белтеню Энестс) – 338
Belkovskis Stanislavs [Эдгарс Эго] (Белковскис) – 377-378
Bendrupe Mirdza (Бендрупе Мирдза) – 67, 132

¹ Указатель имен подготовлен автором Б. Ф. Инфантьевым.

Bērsons Ilgonis (Берсонс Илгонис) – 442
Bērziņš Artūrs (Берзиньш Артурс) – 293, 415
Bērziņš Roberts (Берзиньш Робертс) – 477,
Bērziņš-Ziemelis Jānis (Берзиньш-Зиемелис Янис) – 226
Biezais (Биезайс) –, LEF 506
Biezbārdis Kaspars (Биезбардис Каспарс) – 97-98, 109, 113, 118, 124-125, 209
Birkerts Antons (Биркертс Антонс) – 184, 191, 274
Birkerts Svens (Биркертс Свенс) – 373
Birze Miervaldis (Бирзе Миервалдис) – 487
Birznieks-Upītis Ernests (Бирзниекс-Упитис Эрнестс) – 194, 226
Blaumanis Rūdolfs (Блауманис Рудолфс) – 194-195, 209, 231
Briņķa Lija (Бридака Лия) – 20, 290, 526
Brigadere Anna (Бригадере Анна) – 191, 140, 453
Būvzemnieks Frīcis (Бривземниекс Фрицис) – 19, 76, 97, 100-103, 150
Būmane Aida (Бумане Аида) – 522

C

Celms Teodors (Целмс Теодорс) – 173, 175
Ceplis Alvis (Цеплис Алвилс) – 446
Čaklais Māris (Чаклайс Марис) – 538, 540-542, 549
Čaks Aleksandrs (Чакс Александрс) – 272, 331, 428-429, 442-444, 537-538

D

Dāle Austrā (Дале Аустра) – 67, 151, 252, 292, 378
Dāle Pauls (Дале Паулс) – 175
Dambergs Valdemārs (Дамбергс Валдемарс) – 133, 250
Dāvids Valts (Давидс Валтс) – 273, 278, 289, 291, 387, 397, 422
Deičs Felikss (Дейчс Феликс) – 66
Dievkociņš Jūlijs (Диевкоциньш Юлийс) – 230
Dorbe Herberts (Дорбе Хербертс) – 188, 289, 375, 442
Dziļleja Kārlis (Дзильлея Карлис) – 140, 375

E

Egle Kārlis (Эгле Карлис) – 63, 135, 180, 185, 192, 218
Egle Rūdolfs (Эгле Рудолфс) – 272, 402, 404-407, 428

Eglītis Anšlavs (Эглитис Аншлавс) – 277-278, 301, 362, 483, 566, 568,
Eglītis Viktors (Эглитис Викторс) – 64, 67, 132, 179, 199, 241, 250-
252, 273, 277-280, 407, 411, 427, 452
Eidemanis Roberts (Эйдеманис Робертс) – 234
Eldgasts Haralds (Эльдгастс Харальд) – 228
Elksne Ārija (Элксне Ария) – 67, 272, 549
Ērmanis Pēteris (Эрманис Петерис) – 66, 67, 140, 177, 187, 190,
272, 276, 375, 389-390
Erss Ādolfs (Эрсс Адольфс) – 273, 292

F

Freijs Alberts (Фрейс Альбертс) 175

G

Glück Ernst (Глюк Эрнест) – 17, 18, 49, 205, 339
Grēviņš Valdis (Гревиньш Валдис) – 67, 375, 447, 473
Grigulis Arvīds (Григулис Арвидс) – 21, 173, 201, 271, 332, 378, 442
Grīns Aleksandrs (Гринс Александрс) – 133, 304, 329, 338, 353,
423, 601
Grīns Jānis (Гринс Янис) – 67, 301, 378, 415, 480
Grīva Žanis (Грива Жанис) – 554
Grīziņš Jānis (Гризиньш Янис) – 234
Grots Jānis (Гротс Янис) – 66-67, 113, 228, 272, 331, 375, 446
Gruzna Pāvils (Грузна Павилс) – 283
Gudriķe Biruta (Гудрике Бирута) – 417
Gulbis Fricis (Гулбис Фрицис) – 387

I

Imermanis Anatols (Имерманис Анатолс) – 446, 487, 488, 500, 523-
524, 596, 601
Indriķis Latvietis (Индрикис Латыш) – 13

J

Jākobsons Kārlis (Jēkabsons) (Якобсонс Карлис) – 231, 250, 273, 279
Jākobsons Valentīns (Якобсонс Валентинс) – 315, 413, 439
Janovskis Gunars (Яновскис Гунарс) – 379, 564

Jansons-Brauns Jānis (Янсонс-Браунс Янис) – 30, 76, 173, 194, 226, 231, 250

Janševskis Jēkabs (Яншевскис Екабс) – 139, 378

Jaunsudrabiņš Jānis (Яунсудрабиньш Янис) – 179, 191, 197, 291

К

Kaijaks Vladimirs (Кайякс Владимирс) – 132, 592, 596

Kalniņš Jānis (Калниньш Янис) – 317

Kalve Aivars (Калве Айварс) – 32

Karstenis Jānis (Карстенис Янис) – 250, 273, 291, 407

Kaudzīte Matīss (Каудзите Матис) – 64, 75-76, 82, 191

Kaudzīte Reinis (Каудзите Рейнис) – 75-76

Ķikāns Valdis (Киканс Валдис) – 533, 539, 547

Ķimele Dagmāra (Кимеле Дагмара) – 601

Ķīpers Jānis (Киперс Янис) – 446

Knoriņš Vilhelms (Кнориньш Вилхемс) 173

Krauliņš Kārlis (Краулиньш Карлис) – 173

Krodērs Roberts (Кродерс Робертс) – 139

Kronvalds Atis (Кронвалдс Атис) – 75

Krūklis Alfreds (Круклис Алфредс) – 67

Krūza Kārlis (Круза Карлис) – 64, 191, 194, 199, 251, 273, 275, 291-292

Kurcijs Andrejs (Курцийс Андрейс) – 74, 151, 233, 250, 259-262, 339-402, 519

Kuzņecovs-Kalējs Jūlijs (Кузнецовс-Калейс Юлийс) – 94

Ķempe Mirdza (Кемпе Мирдза) – 39, 67, 202, 271, 287, 288, 327, 332, 501-502, 505

Ķeniņš Atis (Кениньш Атис) – 67, 151, 251-252

Л

Lācis Vilis (Лацис Вилис) – 487

Laicēns Linards (Лайценс Линардс) – 132, 291, 443, 445

Lapiņš Kārlis (Лапиньш Карлис) – 315, 423

Lasmanis Imants (Ласманис Имантс) – 67, 445

Līvena Laima (Ливена Лайма) – 522

Ločmelis A. (Лочмелис А.) – 446
Losberga Milda (Лосберга Милда) – 67, 271
Lukss Valdis (Лукс Валдис) – 331, 443, 487

M

Mancelis Georgs-Juris (Манцелис Георг-Юрис) – 90
Māteru Juris (Матеру Юрис) – 19
Mauriņa Zenta (Мауриня Зента) – 140, 173-174, 376, 441-442, 447, 478, 536
Mēklers Eduards (Меклерс Эдуардс) – 65
Melngailis Emils Jūlijs (Мелнгайлис Эмилс Юлийс) – 65
Merķelis Garlībs (Меркелис Гарлибс) – 30, 53, 90, 144-146
Muižnieks Ignats (Мужниекс Игнатс) – 286

N

Niedra Andrievs (Ниедра Андриевс) – 176, 177, 427
Niedre Jānis (Ниедре Янис) – 14, 30, 487

P

Paegle Leons (Паэгле Леонс) – 74, 234, 264, 266-267, 269
Pelēcis Aleksandrs (Пелецис Александрс) – 148, 245-247
Pelše Arvīds (Пелше Арвидс) – 387
Pērsietis (Kārlis Zemītis) [Персиетис (Карлис Земитис)] – 196
Peters Jānis (Петерс Янис) – 526, 532-533, 552, 591
Pētersons Pēteris (Петерсонс Петерис) – 443
Pilsonu Jēkabs (Пилсоню Екабс) – 205, 423-424
Plaudis Jānis (Плаудис Янис) – 151, 442, 483
Plotnieks Jānis (Плотниекс Янис) – 532, 533
Plūdonis Vilis (Плудонис Вилис) – 63, 67, 259-261, 273, 411
Poruks Jānis (Порукс Янис) – 67, 177-178, 189, 251
Priēde Gunārs (Приеде Гунарс) – 487, 554
Priednieks-Ozols Kārlis (Предниекс-Озолс Карлис) – 458
Pumpurs Andrejs (Пумпурс Андрейс) – 75, 81
Purvs Ziedonis (Пурвс Зиедонис) – 67

R

- Rainis (Jānis Pliekšāns) [Райнис (Плиекшанс Янис)] – 64, 67, 74, 140, 164-165, 172-173, 191, 214-215, 231-232, 250-252, 287-288, 331-332, 487, 506-507, 516, 537, 601
- Ramats Eduards (Раматс Эдуардс) – 139
- Raudive Konstantīns (Раудиве Константинс) – 175-176
- Rokpelnis Jānis (Рокпелнис Янис) – 272
- Remass Rainis (Ремасс Райнис) – 546
- Ronis LEF, (Ронис) – 506
- Roze Jānis (Розе Янис) – 402-404
- Rozītis Pāvils (Розитис Павилс) – 218, 228, 234, 291
- Rudzutaks Jānis (Рудзутакс Янис) – 569
- Rūja Valdis (Руя Валдис) – 444
- Rutku Tēvs (Arveds Mihelsons) [Рутку Тевс (Михельсонс Арведс)] 397

S

- Sakne L. (Сакне Л.) – 67
- Sakse Anna (Саксе Анна) – 507
- Saulietis Augusts (Саулиетис Аугустс) – 194, 197
- Sēlis Roberts (Селис Робертс) – 519
- Sirmbārdis Jānis (Сирмбардис Янис) – 151, 367, 523, 546-547
- Skalbe Kārlis (Скалбе Карлис) – 132, 139-140, 180, 184, 231-233, 251, 275, 411, 453, 480
- Skalbergs Atis (Скалбергс Атис) – 533
- Skuja Harijs (Скуя Харийс) – 67
- Skujiņš Zigmunds (Скуиньш Зигмундс) – 538
- Skultiņš, LEF (Скултиньш) – 506
- Sproģis Jānis (Спрогис Янис) – 94, 97-99, 101
- Stenders Gothards Frīdrihs (Стендерс Готхард Фридрихс) – 18, 90
- Stumbrs Olafs (Amerika) (Стумбрс Олаф) – 542, 544
- Sudrabkalns Jānis (Судрабкалнс Янис) – 67, 74, 132, 152, 271, 272, 326, 331, 278, 435, 483
- Šalkonis (Шалконис) – 411
- Šillers Eduards (Шиллерс Эдуардс) – 291

Štrāls Kārlis (Штралс Карлис) – 63, 133, 189, 195, 273, 285
Švalbe, LEF (Швалбе) – 506

V

Vācietis Ojārs (Вацетис Оярс) – 332, 387, 526, 537-538, 547, 549, 550, 553, 601

Valdemārs Krišjānis (Валдемарс Кришьянис) – 19, 94-92, 95-97, 100-101, 104-106, 109-111, 113, 115-119, 121, 124, 209

Valdis (Zālītis Voldemārs) [Валдис (Залитис Волдемарс)] – 195

Valters Ēvalds (Валтерс Эвалдс) – 83, 429

Vanags Jūlijs (Ванагс Юлийс) – 331, 507

Vaznis Andris (Вазнис Андрис) – 536

Veidenbaums Jevgeņijs (Вейденбаумс Евгенийс) – 180-182

Veidenbaums Eduards (Вейденбаумс Эдуардс) – 74, 150

Vējāns Andris (Веянс Андрис) – 67, 332, 446

Veselis Jānis (Веселис Янис) – 378, 442

Viducis Pēteris (Видуцис Петерис) – 179

Vīlipsis Pāvils (Вилипис Павилс) – 446, 483

Virza Edvarts (Вирза Эдвартс) – 67, 250, 273, 477

Vulfs Edvards (Вулфс Эвардс) – 76, 197, 226, 228, 291, 407

U

Uprīts Andrejs (Упитс Андрейс) – 67, 76, 139, 173, 196, 228, 375-378, 423, 483-484, 487

Z

Zālīte Elīna (Залите Элина) – 151

Zariņš Kārlis (Зариньш Карлис) – 264-265, 268, 273

Ziemeļnieks Jānis (Зиёмельникс Янис) – 272

Zīverts Mārtiņš (Зивертс Мартиньш) – 301

Zirnītis Pēteris (Зирнитис П.) – 549

Ziedonis Imants (Зиедонис Имантс) – 203, 265, 267-268, 270, 441, 443, 446, 523, 538, 549, 554, 601

*Dr. iur., Mg. art. Ivans Jānis Mihailovs
Rīgas Stradiņa universitātes docents,
Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieks*

LITERATŪRU DIALOGA KRUSTPUNKTOS

Rietumeiropā zinātniskajā pētniecībā 20. gadsimta vidus tiek saistīts ar pakāpenisku pāreju uz daudzveidības akceptēšanu, meklējot katrā tekstā (šī vārda plašākajā nozīmē) „nozīmju un interpretāciju bibliotēku”, kura ir savam laikam atbilstoša, daudzveidīga, konkrētu cilvēku un sabiedrības veidota. Tādējādi jebkurš teksts tiek saistīts ar noteiktu sabiedrību un laiku, ar kultūras un zinātnes tradīciju, ar autora, pētnieka un lasītāja pozīciju, ar kontekstu un vidi, sniedzot ieskatu pagātnes faktos un notikumos vai arī piedāvājot ielūkoties nākotnē, ļaujot meklēt analogijas un paralēles utt. Šie meklējumi bieži vien izpaužas interdisciplinārā pieejā, daudzdimensionālā skatījumā uz parādībām, lietām un norisēm. Tādējādi dažādu tradīciju un uzskatu dialogs savā būtībā veicina pasaules skatījuma paplašināšanos, reizē ļaujot vietējā rakstura notikumos saskatīt pasaules līmeņa norišu fragmentus, apzināt neordināru skatījumu, pieejas un risinājumus, meklēt jaunus krustpunktus, bieži vien pārsniedzot tradicionālās, iepriekš noteiktās robežas un atceļot ierastos stereotipus.

Arī Latvijā, lai gan tajā (padomju) laikā bija ideoloģiskais diktāts, cenzūra un noklusējamo jautājumu loks, kopš 20. gadsimta piecdesmito gadu otrās puses, atkušņa tendenču inspirēti, parādās (sākumā visai piesardzīgi) centieni pastāvošās oficiālās retorikas ietvaros pievērsties jauniem un mazizpētītiem jautājumiem vai arī no cita skatpunkta paskatīties uz plaši aplūkotām parādībām.

Šo laikmeta tendenci spilgti apliecina arī profesora Dr. habil. paed. Borisa Infantjeva (1921–2009) 20. gadsimta piecdesmito gadu otrajā pusē Pedagoģijas (sākumā – Skolu) zinātniskās pētniecības institūtā uzsāktie pētījumi krievu un latviešu literāro sakaru jomā, tādējādi cenšoties paplašināt skolu mācību grāmatās skopi sniegto informāciju par krievu un latviešu rakstnieku dzīvi un savstarpējo sadarbību, raksturot literārā procesa mijiedarbību, izgaismot divu kaimiņtautu literatūru dialoga krustpunktus, ieviešot literārās novadpētniecības elementus literatūras stundās gan latviešu, gan krievu vispārizglītojošajās skolās un sagatavojot

attiecīgu kursu Latvijas Valsts universitātes (tagad – Latvijas Universitāte) filoloģijas studentiem. (Vēlāk šo studiju kursu ieviesa arī filoloģijas un pedagoģijas studiju programmās citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, tādējādi literāro sakaru studijas un pētniecība arvien vairāk attīstījās un joprojām paliek nozīmīgs virziens salīdzināmajā literatūrpētniecībā mūsdienā Latvijā.) Ilgu meklējumu gadu gaitā, sadarbojoties ar Aleksandru Losevu (1925–1997), ir tapušas metodiskās rekomendācijas¹, vairākas publikācijas un mācību līdzekļi, kā arī divas mācību grāmatas²; bijusi iecere šo sēriju turpināt, kas gan nav piepildījies finanšu līdzekļu trūkuma un izglītības programmu izmaiņu dēļ³, un tikai šobrīd vienkopus sagatavotā monogrāfija sāk savu ceļu pie lasītāja.

Jāatzīmē, ka interese par Baltiju, par Latvijas zemi, tās iedzīvotājiem krievu literatūrā ir izpaudusies kopš pašiem tās pirmsākumiem. Arī vairākas valodu un tautas daiļrades (folkloras) paralēles, ģeogrāfiskās robežas, politiskie un ekonomiskie sakari veicināja kultūras kontaktus gadsimtu garumā. Tomēr līdz pat šim laikam, lai arī ir darbojušies vairāki Latvijas un Krievijas literatūrpētniecības centri, nav bijis apkopojošas monogrāfijas par krievu un latviešu literārajiem sakariem. Tādēļ šis izdevums – Borisa Infantjeva gandrīz 60 gadu garumā veikto pētījumu rezultāts – sniedz oriģinālu, salīdzinoši mūsdienīgu skatīju-

¹ Инфантьев Б., Лосев А. Русско – латышские литературные связи. Методические рекомендации и программа. – Рига: [b.i.], 1976. – 78 с.; Инфантьев Б., Лосев А. Единое пространство культуры. – Рига: Министерство образования ЛР, 1992. – 92 с.; Инфантьев Б., Лосев А. Программа курса “Русско – латышские литературные связи” // Программы курсов по литературе для групп с профильным обучением. – Рига: Министерство образования ЛР, 1992. – С. 4–36.; Инфантьев Б., Лосев А. Программа профильного курса по литературе “Русско – латышские литературные связи. XX век”. – Рига: Министерство образования ЛР, 1993. – 54 с.

² Инфантьев Б., Лосев А. Латвия в судьбе и творчестве русских писателей. – Рига: Звайгзне, 1994, 1996. – 316 с.; Инфантьев Б., Лосев А. Обращённые к Латвии строки. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 254 с.

³ 2013. gadā, izmantojot plānoto izdevumu tekstus, rakstnieks Sergejs Žuravļovs (1954)niecīgā metienā izdeva šo divu mācību grāmatu turpinājumu. Sk.: Инфантьев Б., Лосев А. Русские писатели в Латвии: 2-я пол. XIX – 1930-е гг.: из истории русско-латышских литературных и театральных связей: тома 3–4. – Рига: Петровская академия наук и искусств. Балтийское отделение, Русский культурный центр «Улей», 2013. – 188 с.

mu uz krievu un latviešu literatūru kopprocesiem plašā vēstures un kultūras kontekstā.

Kopš akadēmiķa Roberta Pelšes (1880–1955) pamatīgās, bet stipri ideoloģizētās un tādējādi satura un faktoloģijas ziņā ierobežotās monogrāfijas par krievu un latviešu kultūras sakariem¹ izdošanas ir pagājuši nedaudz vairāk par 70 gadiem. Arī Veras Vāveres (1929) un Georga Mackova (1926–1963) monogrāfija par latviešu un krievu literatūras sakariem² tika izdota vairāk nekā pirms 55 gadiem.

Tādēļ Borisa Infantjeva pētījums, kopā ar jau iepriekš izdoto grāmatu par valodu, mitoloģijas un folkloras paralēlēm,³ ir pirmais tik apjomīgs, plašu avotu, dokumentu, pētījumu un literatūras klāstā balstīts, analītisks, sistematizēts apkopojums par krievu un latviešu literatūras, bet plašākā kontekstā – par kultūras sakariem. Apvienojot zinātnieka rokrakstu ar novadpētnieka pieeju, B. Infantjevs rūpīgi restaurē notikumu gaitu, savā veidā atdzīvina vairākus izcilu kultūras darbinieku dzīvē un darbībā “piemirstus” vai mazpazīstamus fragmentus, eklektiski papildinot attiecīgā laikmeta kultūras ainu, atspoguļojot arī krievu literatūras uztveri dažādos laikmetos Latvijā – gan sabiedrībā, gan literatūrā, gan vizuālajā mākslā un teātrī, meklējot sižetiskas paralēles, analizējot latviešu autoru interesi par krievu literatūru, aplūkojot nozīmīgākos tulkojumus, tādējādi iezīmējot literatūru dialoga vēsturisko ainu, akcentējot spilgtu personību un notikumu savdabību un literārā procesa kopīgās iezīmes. Ne mazāku uzmanību ir pelnījuši atsevišķi krievu literātu daiļrades fragmenti, kurus caurstrāvo Latvijas motīvi. Tādēļ šo izdevumu var izmantot gan studenti un skolēni, bagātinot savas zināšanas literatūras studijās, gan novadpētnieki un zinātnieki, paplašinot savu zināšanu bagāžu, gan ikviens interesents, kuram nav sveši literatūras un kultūras jautājumi un kuru interesē latviešu un krievu tautu likteņi pagātnē.

¹ Pelše R. Latviešu un krievu kultūras sakari. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951. – 388 lpp.

² Вавере В., Мацков Г. Латышско-русские литературные связи. – Рига: Зинатне, 1965. – 473 с.

³ Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор. – Рига: Веди, 2007. – 312 с. Ievērojamas pūles šīs grāmatas izdošanā ir ieguldījis Latvijas Vecticībnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Illarions Ivanovs (1943).

Šajā sakarībā ir jāatgādina, ka Borisa Infantjeva veikuma vainagojums, tostarp gatavojot šo izdevumu, ir saistāms ar viņa darbību Latvijas Kultūras akadēmijā, 1999. – 2000. gadā lasot krievu kultūras programmas studentiem vairākus studiju kursus: “Krievu – latviešu folkloras sakari”, “Krievu – latviešu literatūras sakari” un “Krieva tēls latviešu literatūrā”¹, attiecīgi sagatavojot studiju materiālus un cenšoties radīt apkopojosu ainu abu tautu tūkstošgadu kultūras kontaktos.

Būdams profesora students, gribu uzsvērt, ka studējošo atmiņā Boriss Infantjevs ir palicis ar saviem stāstiem un atmiņām, ar ko viņš arī dāsni dalījās gan starpbrīžos, gan lekciju laikā. Tai pašā laikā viņš nebūt neaizmirsā izstāstīt studentiem paredzēto mācību vielu, painteresēties, vai mēs spējam to apgūt, paskaidrot, kā arī ielikt labas atzīmes. Var teikt, ka B. Infantjevs nebija īpaši prasīgs, bet viņš gribēja, lai mēs – studējošie iedziļinātos attiecīgā jautājuma tematā. Tāpat viņš aktīvi interesējās par mūsu pētniecisko darbu, deva padomus, ieteica literatūru, bet bieži vien nākamajā tikšanās reizē atnesa mums retas grāmatas, kuras mēs varējām kādu laiku arī izmantot.

Būdams reizē daļa gan no latviešu, gan no Latvijas krievu sabiedrības, pagātnē “piedzīvodams un pārdzīvodams vairākus režīmus”, Boriss Infantjevs dāsni bagātināja lekcijas ar daudzām 20. gadsimta notikumu detaļām un faktiem. Viņa notikumu un personu raksturojums allaž bija asprātīgs, humoristisks un pārsteidzošs, bagātināts ar salīdzinājumiem, detaļām un vērtējumu, bet tai pašā laikā arī subjektīvs un emocionāls, ievadot savu auditoriju vairākās kultūras dzīves aktivitātēs, informējot par nozīmīgiem notikumiem un norisēm, publicētām grāmatām un rakstiem.

Šīs aktivitātes, bez šaubām, bija nozīmīgas arī pašam zinātniekam, jo tās pagarināja, kā profesors mēdza teikt, viņa dzīves un darba mūžu.

Nobeigumā gribu minēt citātu, kas vainago vienu no darbiem, kura tapšanā Boriss Infantjevs ir piedalījies, veicot „unikālu tulkojumu no latviešu valodas sanskritā”, nevis otrādi: „Cilvēks atnāk, aiziet un atstāj stāstu par sevi. Stāsts dzīvo savu dzīvi – garāku vai īsāku... Cilvēku stāsti pārvēršas stāstā par cilvēku...”

¹ Daļēji šī studiju kursa materiāli vienkopus ir publicēti vēsturnieka Sergeja Mazura (1966) sagatavotajā izdevumā “Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев”. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – 272 c

ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИИ БОРИСА ИНФАНТЬЕВА

BORISA INFANTJEVA BIBLIOGRĀFIJAS PAPILDINĀJUMS¹

Публикации Бориса Инфантьева Borisa Infantjeva publikācijas

489. Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор. – Рига: Веди, 2007. – 312 с.

Rec. Reidzāne V. Mums visiem vajadzīga grāmata // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 2009. – Nr. 3/4. – 75.–78. lpp.

Reidzāne V. Mums visiem vajadzīga grāmata [Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор.] // Letonica. – 2009. – Nr. 19. – 297.–301. lpp.

Рейздане В. Нам всем необходимая книга. Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор. Рига: Веди, 2007. 312 с. // Поморский вестник. – Nr. 22–23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – С. 114–116.

490. Инфантьев Б. Юрий Иванович Абызов – фольклорист // Даугава. – 2007. Nr. 1. – январь-февраль. – С. 74–86.

491. Инфантьев Б. Латышский и русский язык: Сходство? Общность? Единство? // Русло. – 2007. – Nr. 1. – С. 7–11.

492. Инфантьев Б. Взаимообмен культурными ценностями залог развития культуры // Альманах Русский Мир и Латвия: Противоречивая история. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – С. 12–21.

¹ Borisa Infantjeva publikāciju sarakstu līdz 2007. gadam sk.: Boriss Infantjevs: dzīve un darbi. Biobibliografiskais rādītājs. Борис Фёдорович Инфантьев: жизнь и труды. Био-библиографический указатель / sast. I. Mihailovs. – Rīga: VEDI, 2004. – 76. lpp.; Публикации Бориса Инфантьева / Borisa Infantjeva publikācijas / сост. Михайлов И. Я. // Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. – Рига: ВЕДИ, 2007. – С. 274 – 309.

Šajā sarakstā publikācijas ir kārtotas to izdošanas secībā.

493. Инфантьев Б. По латвийским следам Ильи Муромца // Альманах Русский Мир и Латвия: Противоречивая история. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – С. 21–25.

494. Инфантьев Б. Православные священники в Риге в XV–XVI веках // Поморский вестник. – 2007. – №. 20. – октябрь. – С. 80–83.

495. Инфантьев Б. Отношение к русской культуре в Латвии в 20 – 30-е гг. // Альманах Русский Мир и Латвия: Русская культура вне метрополии. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – С. 44–48.

496. Инфантьев Б. Вклад Ивана Дмитриевича Фридриха в сопоставительную фольклористику // *Fridriha lasījumi / Фридриховские чтения.* – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – С. 13–23.

497. Инфантьев Б. Светлой памяти Людмилы Константиновны Круглевской // Альманах Русский Мир и Латвия: Две судьбы, две истории. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – С. 74–77.

498. Инфантьев Б. Русский мир латвийских городов // Балтийский Мир. – 2007. – №. 3. – С. 77–81.

2008

499. Инфантьев Б. В латвийском подполье // Альманах Русский Мир и Латвия: Осознание множественности миров. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – С. 37–38.

500. Инфантьев Б. Светлой памяти Александра Германовича Лосева // Альманах Русский Мир и Латвия: Осознание множественности миров. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – С. 81–84.

501. Инфантьев Б. Эпизод из жития Феодосия Печерского в записях латышского народного творчества // Православие в Латвии. – Вып. 7. – Рига: Филокалия, 2008. – С. 7–10.

502. Инфантьев Б. Среди рижских монархистов и кокаинистов // Альманах Русский Мир и Латвия: Гуманистические аспекты проб-

лемы будущего. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – С. 40–43.

503. Инфантьев Б. Митава в русской литературе (по произведениям Георгия Иванова) // Альманах Русский Мир и Латвия: Гуманистические аспекты проблемы будущего. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – С. 106.

504. Инфантьев Б. Изображение воина Красной армии в период Великой Отечественной войны в латышской литературе // Вторая мировая война и страны Балтии. – Рига: RETORIKA A, 2008. – С. 141–147.

505. Инфантьев Б. Авторецензия на книгу “Балто-славянские культурные связи” // Альманах Русский Мир и Латвия: Феномен восприятия русского. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – С. 127–134.

506. Infantjevs B. Vecticībnieku askēze Rietumu civilizācijas skatījumā: latviešu rakstnieku vērtējums // Nacionālā mutvārdu vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā. Letonikas otrais kongress. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2008. – 218.–226. lpp.

507. Инфантьев Б., Томасе Д. Мать за тремя замками // Acta Baltico – Slavica. – 2008. – Nr. 32. – С. 117–134.

508. Инфантьев Б. Обращение к читателям // Выдающиеся русские латвийцы. – Рига: IK ZORIKS, 2008. – С. 7.

2009

509. Инфантьев Б., Лосев А. Восхождение к Гоголю // Гоголевский вестник. – 2009. – Nr. 1. – С. 1–4.

510. Инфантьев Б. Миф о русских в латышской литературе // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 27–36.

511. Инфантьев Б. Проблемы смешанных браков в рассказе “В деревню” Яниса Порукса // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 39–41.

512. Инфантьев Б. Русский воин Первой мировой войны в видении латышских писателей // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 42–44.

513. Инфантьев Б. Американцы засылают в Латвию шпионить... русского! // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 45–47.

514. Инфантьев Б. Эдвардс Вулфс. “Придорожник” // Русский мир и Латвия: Индивидуалистическая и коллективистская тенденции в культуре. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 21–30.

515. Инфантьев Б. Малоизвестные страницы жизни и деятельности Кришьяна Валдемара // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 47–60.

516. Инфантьев Б. Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии (беседа современника) // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 61–64.

517. Инфантьев Б. Василий Синайский – фольклорист // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 64–66.

518. Инфантьев Б. Незамеченные страницы русских в летописи // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 67–73.

519. Инфантьев Б. Этнографические экскурсии Андрея Пумпура – автора латышского эпоса “Лачплесис” // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 73–74.

520. Инфантьев Б. Черная сотня, драгуны, солдаты-усмирители в романе Андрея Упита “Северный ветер” (Из цикла “Робежниеки” //

Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 74–76.

521. Инфантьев Б. Латвийские проекции Михаила Кузмина // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 77–78.

522. Инфантьев Б. Птица Сири́н на латвийском клене // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 84–85.

2010

523. Инфантьев Б. Русские в Курземском мешке // Русский мир и Латвия: История знания. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 71–73.

524. Infantjevs B. Atmiņas par Ilmāru Freidenfeldu // Markus D. Latviskais pamatīgums. Par emeritēto profesoru Ilmāru Jāni Freidenfeldu // Laikmets un personība. 12. – Rīga: Raka, 2010. – 262–264. lpp.

525. Инфантьев Б. Петр Великий в русском фольклоре // Русский мир и Латвия: Проблемы перевода в диалоге социокультурных парадигм. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 149–155.

2011

526. Инфантьев Б. Авторецензия на книгу «Балто-славянские культурные связи» (Рига. 2007 год) // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 61–71.

527. Инфантьев Б. Образ Латвии 20-х – 30-х годов в творчестве русских зарубежных писателей // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 72–81.

528. Инфантьев Б. Русский язык и русская культура в Латвии в 20-е – 30-е годы // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 82–86.

529. Инфантьев Б. Птица Сири́н на латвийском клене // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 87–89.

530. Инфантьев Б. Учебник русского языка – зеркало души человеческой // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 90–92.

531. Инфантьев Б. О русских ремесленниках в Ливонии // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 93–94.

532. Инфантьев Б. Незамеченные страницы русских в летописи // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 95–103.

533. Инфантьев Б. По латвийским следам Ильи Муромца // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 104–108.

534. Инфантьев Б. Различия в дохристианских воззрениях латышей и восточных славян // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 109–116.

535. Инфантьев Б. Латыши помнят русских властителей // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 117–119.

536. Инфантьев Б. ДРАНГ НАХ ВЕСТЕН. Участие русичей в становлении Ливонского государства // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 120–121.

537. Инфантьев Б. Быт и культура, характер русских в восприятии латышских литераторов // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 143–155.

538. Инфантьев Б. Этнографические экскурсии Андрея Пумпура – автора латышского эпоса «Лачплесис» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 156.

539. Инфантьев Б. «Русские времена». Индрикис Страумите (Янис Лицис) и его «Записки православного латыша» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 157–159.

540. Инфантьев Б. Неприязни и конфликты между русскими и латышскими православными семинаристами в 80-е – 90-е годы. По роману Павила Грузны «Бурсаки» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 160–162.

541. Инфантьев Б. Проблемы смешанных браков в рассказе «В деревню» Яниса Порука // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 164–166.

542. Инфантьев Б. Скандал на Петербургском курорте // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 167–168.

543. Инфантьев Б. Эдвард Вулф «Придорожник» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 169–181.

544. Инфантьев Б. Русские как образец для подражания. Материалы из романа Рутку Тева (Микельсона) «Латыш и его господин» («Latvietis un viņa kungs») // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 182–185.

545. Инфантьев Б. Изображение Янисом Гресте школы в Пскове «Как живот Дрозда» (Kā dzēņa vēders) Конец XIX века // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 186.

546. Инфантьев Б. Учитель-обруситель // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 187–191.

547. Инфантьев Б. Торжество православия в сознании героя романа «Сатир и крест» Адольфа Эрса // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 192–193.

548. Инфантьев Б. Черная сотня, драгуны, солдаты-усмирители в романе Андрея Упита «Северный ветер» (Из цикла «Робежниeki») // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 194–197.

549. Инфантьев Б. Русский воин в видении латышских писателей // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 198–201.

550. Инфантьев Б. Размышления латышских крестьян о политике царского правительства в начале войны в книге Валдемара Дамберга «Пути изгнания» («Gaitniecības ceļi») // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 202–203.

551. Инфантьев Б. Карлис Зариньш и его роман «Сыновья брата» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 204.

552. Инфантьев Б. Рассказы Антона Аустриньша «Длинная миля» («Garā jūdze») // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 205–206.

553. Инфантьев Б. Фрагменты из романа прозаика и драматурга Анны Бригадере «В пылающем кругу» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 207–208.

554. Инфантьев Б. Среди рижских монархистов и кокаинистов // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 209–213.

555. Инфантьев Б. Виктор Эглитис о русских и России // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 214–216.

556. Инфантьев Б. Белорусы, украинцы, русские в видении шущмана и легионера. Янис Зариньш, «Годы зарниц» («Kāvu gadi»), (Изд. «Vaidava», 1971) // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 217–225.

557. Инфантьев Б. Русские в Курземском мешке // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 226–228.

558. Инфантьев Б. Русский воин Второй мировой войны в творчестве латышских писателей // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 229–230.

559. Инфантьев Б. Американцы засылают в Латвию шпионить... русского! // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 231–234.

560. Инфантьев Б. Московская номенклатура и латышские рыбки По роману Вилиса Лациса «Поселок у моря» («Ciems pie jūras») // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 235–239.

561. Инфантьев Б. Русский – иностранец в России» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 240–247.

562. Инфантьев Б. Дружба народов в интерпретации Регины Эзере // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 248–250.

563. Инфантьев Б. Каучуковый Нос или начало взаимопонимания // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 251–253.

564. Инфантьев Б. «Седьмая. Фацетия» Валентина Екабсона // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 254–257.

565. Инфантьев Б. Русские латвийцы в восприятии американского латыша // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 259–259.

566. Инфантьев Б. Гребенщиковская моленная и её прихожане в творчестве русских писателей // Рижский Старообрядческий сборник. Выпуск II. – Рига: Старообрядческое общество, 2011. – С. 63–71.

567. Инфантьев Б. Русский язык в Ливонии XII–XVII века. Переводчики как посредники в распространении русского языка // Час. – 2011. – 14 сентября.

2012

568. Инфантьев Б. Что такое Рекот, Радогож, Скуян? // Русский мир и Латвия: Маяки прошлого. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2012. – С. 114–130.

569. Инфантьев Б. Православие в видении латышских писателей // Виноградная лоза. – 2012. – №. 4. – Апрель. – С. 18–19.

2013

568. Инфантьев Б., Лосев А. Русские писатели в Латвии: 2-я пол. XIX – 1930-е гг.: из истории русско-латышских литературных и театральных связей: тома 3–4. – Рига: Петровская академия наук и искусств. Балтийское отделение, Русский культурный центр «Улей», 2013. – 188 с.

2015

489. Инфантьев Б. Стихи русских поэтов в латышском фольклоре // Русский мир и Латвия: Письма в будущее. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2015. – С. 110–133.

490. Инфантьев Б. Изображение Янисом Гресте школы Пскова в конце 19-го в. в романе «Живот дрозда» // Русский мир и Латвия: Александр Яковлевич Городинский: педагог, директор, общественный деятель. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2015. – С. 27–28.

491. Инфантьев Б. Взаимообмен культурными ценностями – залог развития культуры // Русский мир и Латвия: Борис Федорович Инфантьев: Я говорю на русском. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2015. – С. 85–95.

Публикации о Борисе Инфантьеве **Publikācijas par Borisu Infantjevu**

38. Мейден И. Корни культуры // Вести – Сегодня. – 2007. – 25 октября.

39. Мейден И. Дети Ильи Муромца – латыши! [А Пётр Великий однажды спас Ригу от злобной ведьмы...] // Вести – Сегодня. – 2007. – 29 октября.

40. Орлова Д. Новая книга профессора Инфантьева // Панорама. – 2007. – 31 октября – 6 ноября.

41. Герасимова Т. Прежде всего латыши и русские сходны в языке // Образование и Карьера. – 2007. – 2–15 ноября.

42. Михайлов И. Человек, который русифицировал Латвию // Балтийский Мир. – 2007. – №. 3. – С. 60–63.

43. Дементьева О. Балты и славяне: всегда рядом [Вышла в свет книга профессора Балтийской международной академии Бориса Федоровича Инфантьева “Балто-славянские культурные связи”] // Час. – 2007. – 6 ноября.

44. Морозова Н. Ветви одного ствола // Телеграф. – 2007. – 8 ноября.

45. Ažāns R. Dzimtā – ar vārdnīcu // Republika.lv – 2007. gada 26. oktobris

46. Синельникова Т. Милая Режица его детства // Панорама Резекне. – 2007. – 28 ноября.

47. А. Е. Неугомонный “патриарх” русской культуры в Латвии // Поморский вестник. – 2008. – №. 21. – июнь. – С. 90–91.
48. Памяти Бориса Фёдоровича Инфантьева // Час. – 2009. – 20 марта.
49. Морозова Н. Умер Борис Инфантьев // Телеграф. – 2009. – 20 марта.
50. Некролог // Вести – Сегодня. – 2009. – 21 марта.
51. Avotiņš V. Boriss Infantjevs // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. – 2009. gada 21. marts.
52. Кабанов Н. Свидетель Инфантьев // 7 секретов. – 2009. – №. 14.
53. Павлов Ю. Борис Фёдорович Инфантьев // Русло. – 2009. – №. 2. – С. 138.
54. Памяти Бориса Фёдоровича Инфантьева // Образование и карьера. – 2009. – 27 марта – 9 апреля.
55. Vīksna M. Dr. h. ped. Boriss Infantjevs 14.09.1921.–18.03.2009. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 2009. – №. 3/4. – 80.–82. lpp.
56. Rižakova S. Viddivtātās: Boriss Infantjevs (1921 – 2009) // Letonica. – 2009. – №. 19. – 354.–357. lpp.
57. Мазур С. Памяти учителя и наставника // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 45–46.
58. Список опубликованных в Альманахе статей Бориса Фёдоровича Инфантьева // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – С. 86.
59. Журавлев С. В урну антипушкинистам-зоилам; Памяти профессора Бориса Федоровича Инфантьева, уроженца Резекне (1921–2009) // Пушкинский вестник. – 2009. – №. 3. – С. 6–7.
60. Grek-Pabisowa I. Borys Fiodorowicz Infantiew // Acta Baltico – Slavica. – 2009. – №. 33. – P. 9–12.
61. Мазур С. Биографический очерк Б. Ф. Инфантьева // Русский мир и Латвия: Русская интеллигенция. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 81–117.
62. Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS на тему:

«Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» с участием историка Бориса Равдина, доктора исторических наук Татьяны Фейгмане, историка Олега Пухляка, доктора философии Арнольда Подмазова, библиофила Анатолия Ракитянского, председателя Латвийского общества русской культуры Елены Матьякубовой, журналиста Игоря Ватолина, преподавателя истории Сергея Мазура // *Русский мир и Латвия: История знания*. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 68–70, 73–78.

63. А. Е. Вечер памяти Б. Ф. Инфантьева в Старообрядческом обществе Латвии // *Поморский вестник*. – №. 22–23. – Декабрь 2009 – февраль 2010. – С. 92.

64. Мазур С. Изучение наследия и биографии Бориса Фёдоровича Инфантьева // *Поморский вестник*. – №. 22–23. – Декабрь 2009 – февраль 2010. – С. 92–93.

65. Борис Фёдорович Инфантьев (1921–2009) // *Поморский вестник*. – №. 22–23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – С. 141.

66. Алексеев А. Памяти профессора Рижской Духовной семинарии Бориса Фёдоровича Инфантьева // *Православный церковный календарь*. – Рига: SIA “JUMI”, [b. g.]. – С. 143–145.

67. Научно-практический семинар «Инфантьевские чтения. Памяти Бориса Федоровича Инфантьева». Дискуссия на тему «Кто делает русскую культуру в Латвии» с участием Б. Аврамца, Ю. Касянича, И. Цыгальской, Г. Гайлита, Р. Добровенского // *Русский мир и Латвия: Проблемы перевода в диалоге социокультурных парадигм*. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 110–125.

68. Мазур С. Не делать из человека кумира // *Балтийский мир*. – 2010. – №. 1. – С. 85–88.

69. Кто делает русскую культуру в Латвии? // *Русский мир и Латвия: Проблемы перевода в диалоге социокультурных парадигм*. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 110–125.

70. Мазур С. Не делать из человека кумира // *Русский мир и Латвия: Проблемы перевода в диалоге социокультурных парадигм*. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 126–128.

71. Мазур С. О рукописи Б. Инфантьева „Петр Великий в русском фольклоре” // Русский мир и Латвия: Проблемы перевода в диалоге социокультурных парадигм. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – С. 129–148.

72. Котикова Н. Семинар, посвященный памяти Б. Ф. Инфантьева // Юрмала. Новости недели. – 2010. – 16 сентября.

73. Kempele T. Mans vectēvs // Ievas Stāsti. – Nr. 25. – 2010. gada 3.–16. decembris. – 32.–35. lpp.

74. Мазур С. Памяти учителя и наставника // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 5–6.

75. Мазур С. Не делать из человека кумира // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 7–10.

76. Мазур С. Биографический очерк Бориса Федоровича Инфантьева // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 11–60.

77. Мазур С. О рукописи Б. Ф. Инфантьева «Петр Великий в русском фольклоре» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 122–142.

78. Отзывы современников о Б. Ф. Инфантьеве // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 260–262.

79. XL Чтения гуманитарного семинара 15 декабря 2009 года «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» // Русский мир и Латвия: Борис Фёдорович Инфантьев. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2011. – С. 263–270.

80. Дементьева О. Борис Инфантьев: ученый от бога // Час. – 2011. – 14 сентября.

81. Дементьева О. Памяти Памяти Абызова и Инфантьева // Час. – 2011. – 14 ноября.

82. Дементьева О. «На перекрестке культур» // Виноградная лоза. – 2011. – Nr. 12. – декабрь. – С. 9.

83. Мазур С. Латвийский фольклорист и историк Б. Ф. Инфантьев о торговых связях Ливонии с Великим Новгородом // Русский мир и Латвия: Non hay saminar, hay que caminas – Путей нет, но идти надо вперед. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2012. – С. 80–88.

84. Мазур С. О значении наследия Б. Ф. Инфантьева для сохранения традиций русской культуры // Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиции. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиции в контексте современной культуры Балтии» 4–6 июня 2012 года, г. Рига, Латвия. – Рига: Балтийская Международная академия, Фонд развития культуры, 2012. – С. 93–113.

85. Мазур С. Библиографический очерк Бориса Федоровича Инфантьева // Русский мир и Латвия: Борис Федорович Инфантьев: Я говорю на русском. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2015. – С. 8–71.

86. Дименштейн И. Фольклорист, краевед, педагог // 7 секретов. – 2017. – 29 июня.

87. Дименштейн И. Русскому – не больше тройки // Латвийские вести. – 2020. – 16–22 апреля.

Составитель И.-Я. Михайлов

От издателя

Текст в книге Б. Ф. Инфантьева, библиографические ссылки печатаются в авторской редакции. Сохранена структура книги, последовательность расположения материала, заголовки разделов.

При подготовке издания выполнена корректура русского и латышского текстов. Переведены на русский язык названия произведений русских писателей, деятелей культуры, названия журналов и газет, а также географические названия, помещенные в книге на латышском языке.

Дан подстрочный перевод на русский язык стихотворений некоторых латышских поэтов. Уточнено написание имен и фамилий латышских авторов и деятелей культуры в соответствии современным требованиям.

Борис Федорович Инфантьев

РУССКО-ЛАТЫШСКИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ

Редакторы – *Наталья Гратковская, Иева Бечере*

Консультант при подготовке книги к изданию – *Борис Равдин*

Корректоры – *Ольга Коба, Арта Яне*

Обложка – *Татьяна Зубарева*

Компьютерная верстка – *Анна Снегирева*

На обложке слева направо,
вверху: *Я. Райнис, Зента Мауриня, О. Вацетис*
внизу: *И. Тургенев, Ф. Достоевский, А. Чехов*